

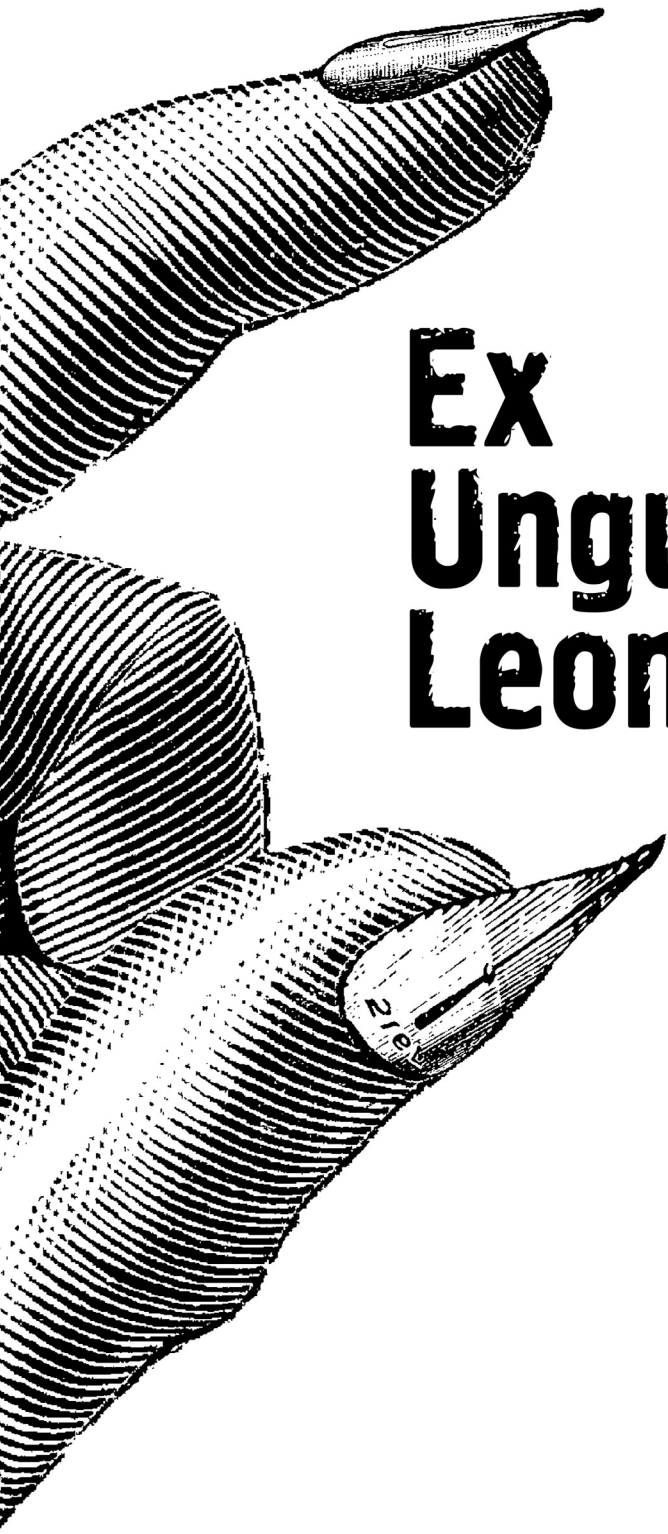


Ex  
Ungue  
Leonem

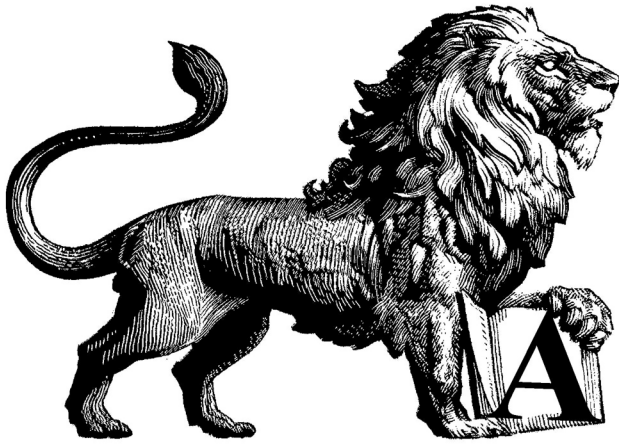


Ex  
Ungue  
Leonem

К 90-ЛЕТИЮ ЛЬВА САМУИЛОВИЧА КЛЕЙНА



**Ex  
Ungue  
Leonem**



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

# Ex Ungue Leonem

Сборник статей  
к 90-летию Льва Самуиловича Клейна



Нестор-История  
Санкт-Петербург  
2017

УДК 902  
ББК 63.4

Редакционная коллегия:

*Л. Б. Вишняцкий* (ответственный редактор),  
*А. Г. Козинцев, В. А. Лапшин, Б. А. Раев, М. Е. Ткачук, О. В. Шаров*

Рецензенты:

д. и. н. *Ю. Е. Березкин* (МАЭ РАН),  
чл.-корр. РАН *Е. Н. Носов* (ИИМК РАН)

**Ex Ungue Leonem** : Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна /  
отв. ред. Л. Б. Вишняцкий. — СПб.: Нестор-История, 2017. — 360 с.

ISBN 978-5-4469-1154-7

В сборнике статей в честь выдающегося российского археолога Льва Самуиловича Клейна представлены работы его коллег из России, Австралии, Англии, Германии, США и Молдавии. Тематика статей отражает основные направления научных интересов Л. С. Клейна, среди которых теория и история археологической науки, спорные вопросы археологии медного и бронзового века, варяжская проблема и другие. Книга рассчитана на археологов, историков, этнографов и представителей смежных с этими науками дисциплин.

**УДК 902**  
**ББК 63.4**

ISBN 978-5-4469-1154-7



© Авторы и переводчики, 2017  
© Б. Х. Петрушанский, О. А. Кукулина, оформление, 2017  
© Издательство «Нестор-История», 2017

## Содержание / Contents

<i>Вишняцкий Л. Б., Раев Б. А.</i> Предисловие .....	5
<i>Vishnyatsky L. B., Raev B. A.</i> Foreword	

### О Клейне / About Klejn

<i>Козинцев А. Г.</i> Клейн и мы .....	9
<i>Kozintsev A. G.</i> Klejn and the rest of us	
<i>Лич С. Л. С.</i> Клейн и Р. Г. Коллингвуд об истории, археологии и криминалистике .....	13
<i>Leach S. L. S.</i> Klejn and R. G. Collingwood on history, archaeology, and forensic science	
<i>Тихонов И. Л.</i> Л. С. Клейн как историк археологии .....	24
<i>Tikhonov I. L.</i> L. S. Klejn as a historian of archaeology	

### История археологии. Наука, люди, судьбы / History of Archaeology

<i>Murray T.</i> Does the history of archaeology serve a practical purpose? .....	41
<i>Муррей Т.</i> Служит ли история археологии практическим целям?	
<i>Васильев С. А.</i> Франсуа Борд и отечественная школа палеолитоведения ....	53
<i>Vasiliev S. A.</i> François Bordes and the Russian school of Paleolithic research	
<i>Кузьминых С. В., Усачук А. Н.</i> «С нетерпением жду ответа от Вас» (письма Н. Е. Макаренко Э. Х. Миннзу) .....	64
<i>Kuzminykh S. V., Usachuk A. N.</i> "Looking forward to hear from you soon" (N. E. Makarenko's letters to E. H. Minns)	
<i>Кирпичников А. Н., Ефимов С. В.</i> Дело Всеволода Арендта. Возвращенная память .....	93
<i>Kirpichnikov A. N., Efimov S. V.</i> The case of Vsevolod Arendt. Restored memory	

### Медь и бронза / Copper and Bronze

<i>Манзура И. В.</i> Восточная Европа на заре курганной традиции .....	107
<i>Manzura I. V.</i> Eastern Europe at the dawn of the kurgan tradition	
<i>Избицер Е. В.</i> Модели «арбы» и погребение с повозками из кургана 9 могильника Три Брата I .....	130
<i>Izbitser E. V.</i> "Arba" models and a burial with wagons from kurgan 9 of the Tri Brata I cemetery	
<i>Кашуба М. Т.</i> Идеи и материалы на исходе бронзового века на западе Северного Причерноморья .....	139
<i>Kashuba M. T.</i> Ideas and materials at the end of the Bronze Age in the west of the North Black Sea region	
<i>Сава Е., Кайзер Э., Сырбу М., Мистрянэ Е.</i> Новые исследования поселений с «зольниками» эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье ..	151
<i>Sava E., Kaiser E., Sirbu M., Mistreanu E.</i> New works at the Late Bronze Age settlements with "ashmounds" in the Prut-Dniester interfluvium	
<i>Палагута И. В.</i> Антропоморфная пластика неолита — медного века Европы: проблемы и перспективы исследования .....	179
<i>Palaguta I. V.</i> Anthropomorphic figurines of the Neolithic and Copper Age Europe: the problems and prospects of research	

<i>Платонова Н. И.</i> «Неонорманизм», постмодернизм и Славяно-варяжский семинар: размышления археолога.....	203
<i>Platonova N. I.</i> “Neonormanism”, postmodernism and Slavonic-Varangian seminar	
<i>Мусин А. Е.</i> «Столетняя война» российской археологии .....	223
<i>Musin A. E.</i> “Hundred Years War” in Russian archeology	
<i>Романчук А. А.</i> Варяжский антропонимикон ПВЛ (до середины X века) и антропонимикон скандинавских рунических надписей: сравнительный анализ .....	245
<i>Romanchuk A. A.</i> The Varangian anthroponyms of Primary Chronicle (prior to the middle of the X c.) and the anthroponyms of the Scandinavian runic inscriptions: a comparative analysis	
<i>Санкина С. Л.</i> О западнославянской версии происхождения словен новгородских, скандинавской проблеме и древнеевропейском субстрате (данные антропологии) .....	256
<i>Sankina S. L.</i> The presumed origin of Novgorod Slavs from West Slavs, the Norse problem, and the European Urvolk in the light of physical anthropology	
<i>Назаренко В. А.</i> Приладожская курганная культура, колбяги и все-все-все ..	275
<i>Nazarenko V. A.</i> Ladoga Kurgan culture, Kolbjags, and All, All, All	

#### Язык вещей / Language of Things

<i>Раев Б. А.</i> Гагатовые пряжки из Жутовского могильника. Археологические признаки миграций.....	291
<i>Raev B. A.</i> Jet buckles from the Zhutovsky cemetery. Archaeological signs of migrations	
<i>Шаров О. В.</i> Концепция «живой» и «мертвой» культур Г.-Ю. Эггерса — Л. С. Клейна и возможности познания прошлого на примере изучения амфорной тары.....	306
<i>Sharov O. V.</i> H.-J. Eggers’ and L. S. Klejn’s concept of “live” and “dead” culture and the possibility of apprehension of the past (with special reference to amphora tare)	
<i>Воронятков С. В.</i> Сарматская пара «зеркало — ножницы» в Усукском кладе предметов стиля «варварских эмалей» .....	317
<i>Voroniatov S. V.</i> Sarmatian set “mirror — scissors” in the Usukh hoard of “enamelled-style” items	
<i>Виноградов Ю. А.</i> Молотильный ток или сельское святилище? К интерпретации объекта, открытого на поселении Артющенко-1 (Таманский полуостров).....	322
<i>Vinogradov Yu. A.</i> The threshing floor or the rural sanctuary? To the interpretation of the site found at the settlement Artyushchenko-1 (Taman peninsula)	
<i>Белецкий С. В.</i> Размеры и вес актовых печатей.....	334
<i>Beletsky S. V.</i> Size and weight of business seals	
Злоба дня: «археология» под черной маской / Acute: Archaeology under the Black Mask	
<i>Щавелёв С. П.</i> Российская археология в черно-белую полосу (развивая критику Л. С. Клейном незаконной добычи древностей и уточняя отношение к ней дипломированных археологов) .....	345
<i>Shchavalev S. P.</i> Russian archaeology striped black and white (developing L. S. Klejn’s criticism of illicit antiquities trade)	
Список сокращений / Abbreviations .....	356
Сведения об авторах / Authors.....	358

## Предисловие

Все главное, что надо знать о Клейне, уже написал сам Клейн. То, о чем он написать забыл, постеснялся или не считал нужным, написали другие, включая и некоторых авторов этого сборника. А упущенное из виду или недооцененное современниками обязательно заметят, раскопают, поймут и «дооценят» будущие исследователи. Мы, во всяком случае, уверены, что библиография «клеяноведения», и сегодня-то уже насчитывающая десятки статей, монографию и несколько сборников, пополнится еще множеством работ, в том числе книг и диссертаций. Потому что Лев Самуилович Клейн — уникальное явление в нашей науке. Да и не только в нашей.

По широте кругозора, глубине познаний в самых разных областях исследований (причем не только гуманитарных), владению языками (помимо русского и основных европейских — еще несколько славянских и скандинавских), а также работоспособности и энергии (которые, судя по количеству выходящих статей и книг, с каждым годом только прибывают) ему нет равных, возможно, не только среди археологов (в этом-то сомневаться не приходится), но и среди ныне действующих российских ученых вообще. Клейн и филолог, и лингвист, и историк. И этнолог. И философ. И музыковед. А еще он публицист. А еще поэт...

Но прежде всего он, конечно, археолог. Археолог-исследователь и археолог-учитель. Именно в учительстве раньше всего и в полной мере проявились разнообразные дарования Клейна. Благодаря ему созданный при кафедре археологии Ленинградского университета кружок и организованные позже проблемные семинары стали сообществами увлеченной и вовлеченной в науку молодежи, из которой рекрутировались сначала студенты кафедры, а затем сотрудники научных и музейных центров страны. Многие курсы, которые читал Лев Самуилович, до сих пор вспоминаются с благодарностью выпускниками кафедры; они по-прежнему актуальны, и полученные знания используются в практической работе.

Прежде всего, это, конечно, «Методика кабинетного исследования» — курс, который включал последовательное изложение всех этапов научной работы: от выбора темы и библиографических разысканий до оформления аппарата научной статьи. Он не только учил тому, «как надо», и предостерегал от того, «как не надо», но и прививал вкус к исследовательской работе. В изложении Клейна скучная на первый взгляд работа с отщепами и черепками, с горами литературы в библиотеках и рукописями в архивах приобретала особое звучание, безусловное очарование новизны открытия. Без преувеличения можно сказать, что



это был самый нужный и важный для студентов кафедры курс. Сейчас, слава богу, он издан и доступен не только тем, кому выпало счастье непосредственно учиться у Льва Самуиловича.

Среди тех, кто считает себя его учениками, и палеолитчики (хотя сам Клейн палеолитом специально никогда не занимался), и специалисты по неолиту, бронзовому и железному векам, а также антропологи, этнографы, медиевисты. О том, что значат для учеников и просто коллег Клейна его личность, его пример и его работы, прекрасно сказано в открывающей этот сборник статье А. Г. Козинцева.

Клейн главный и самый известный теоретик археологии (см. статью С. Лича в этом сборнике), он же и главный ее историк (см. статью И. Л. Тихонова в этом сборнике). Но при этом он и практик, прошедший немало сезонов в поле и раскопавший несколько важных памятников бронзового и железного веков. Название этого сборника, кстати, восходит именно к экспедиционному периоду деятельности Льва Самуиловича, о чем стоит сказать несколько подробнее.

В те годы, когда археология, в том числе и полевая, была занятием совершенно безденежным, экспедиции собирали тех, кто посвятил себя этой гуманитарной, а потому бесперспективной науке, а также их друзей и просто людей, которым не хватало романтики и хорошего общения. Они приезжали на время своего отпуска «за дорогу (и то не всегда!) и еду». Это были коллективы со своими песнями, легендами, фольклором, своими героями и «мучениками науки». Такой коллектив, как правило, оформлялся внешними атрибутами, из которых главными были вымпел, штандарт или флаг с самой разной, чаще шутливой символикой, связанной с экспедиционными легендами.

Новочеркасская экспедиция кафедры археологии, которой в 1969–1973 гг. руководил Клейн, для своего флага, конечно, избрала Льва, изобразив его в геральдической позе с лопатой в руках. Прописная буква в имени и руки вместо лап — не описка: новочеркацкий Лев был в очках и не гриваст... Геральдическому Льву потребовался соответствующий антураж — флаг или, скорее, вымпел в форме щита, и девиз, с которым вышла заминка. Крылатое выражение *Ex ungue leonem* в качестве девиза предложил сам Клейн. В те годы это выражение Лев Самуилович употреблял не только, когда речь заходила о его работах (в шутку; но кто знает границы шутки?), но и когда видел в работах своих учеников, участников семинара, толковое развитие как своих, так и вообще перспективных проблемных тем. Так родился символ экспедиции, девиз которого нам показался подходящим для названия сборника посвященных юбилею работ его коллег и учеников.

А завершить наше краткое предисловие, наверно, вполне уместно будет теми же пожеланиями, которыми завершалась вступительная статья к предыдущему сборнику в честь юбилея: ясных Вам дней, Лев Самуилович, верных друзей, захватывающих идей и новых книг!

Л. Б. Вишняцкий, Б. А. Раев



**О Клейне**



А. Г. Козинцев

## Клейн и мы

*Тем, кто любит и ищет истину, не может быть не тесно  
в любых марширующих рядах, куда бы они ни маршировали.*  
Борис Пастернак

*...и призрачность заслуг в глазах ничтожеств.*  
Шекспир

Это вторая моя статья, посвященная Льву Самойловичу, первая вышла в предыдущем юбилейном сборнике «Археолог: детектив и мыслитель». Мне доводилось писать и о других моих учителях — И. И. Гохмане (не раз), А. Д. Столяре, Я. А. Шере. Каждому из них я многим обязан и ни с одним из них мне не хотелось спорить — менее всего по юбилейному поводу. О разногласиях в подобных статьях если и упоминаешь, то вскользь, сосредоточиваясь на чертах личности. И не потому, что жанр чествования в принципе исключает спор, а потому что общаться с ними можно было, не то чтобы обходя острые углы, но уж точно не стремясь их отыскать. Так жить комфортнее, но от Клейна, которому я обязан не меньше, я научился другому — не смягчать противоречия, когда дело касается самого для нас дорогого. *Amicus Plato*, но «не для ласковых слов я выковыивал дух».

Так мы общаемся вот уже более полувека. Я не только превратил в полемику с ним предыдущую юбилейную заметку, но ухитрился даже статью о Шере использовать в качестве очередного повода для спора с Клейном. Лев Самойлович не остается в долгу. Не успел я совсем недавно опубликовать предварительный вариант своей гипотезы происхождения индоевропейцев, как мой учитель немедленно и публично (в Интернете) разнес ее в пух и прах, после чего, как ни в чем не бывало, спросил моего совета — где, по моему мнению, этот разнос можно было бы напечатать? Лишь в его устах такой вопрос не кажется издевкой.

Он не церемонился ни со студентами, ни с академиками. Когда я добрался до середины своей первой курсовой работы — про скифские золотые нашивные бляшки, — мой руководитель захотел посмотреть черновики. Меня эта просьба ужаснула, но выхода не было. Поглядев мои наброски, Лев Самойлович сказал: «Представь себе, что ты повар, а я посетитель ресторана, и вот зашел к тебе на кухню, а там грязь и беспорядок. Захочется ли мне есть кушанье, которое ты приготовил?» Вторую курсовую он предложил мне написать про

марани — грузинский вариант древних керносов (восточносредиземноморских сосудов с добавочными сосудиками сверху). Ему хотелось, чтобы я обнаружил между ними генетическую связь, но я и тут его разочаровал. Официальный отзыв на защите был таким: «Я бы не сказал, что перед нами ленивый исследователь, но я вижу тут ленивую, вернее, несмелую мысль». После такого в самый раз повеситься, но сделай я это, я бы не написал дипломную работу и не заслужил его похвалу на защите.

Физики делятся на теоретиков и экспериментаторов. Археологам в таком праве отказано. Каждый археолог-практик мнит себя теоретиком по совместительству и именуется истинных теоретиков «кабинетными учеными». Такое слышишь и от иных учеников Клейна, причем талантливых. А ведь возразить на это просто. Археология — не физика? Так ведь и этнология не физика, а что сказал Фрэзер, когда его спросили, доводилось ли ему жить среди тех дикарей, о которых он столько написал? «God forbid!» — ответил тот. Титул «armchair anthropologist» был им вполне заслужен, но его «Золотая ветвь» не поблекла и в наши дни. Можно подумать, что практик Малиновский, живший среди «дикарей» (которых он именовал «ниггерами»), причем не столько ради науки, сколько для целей британской колониальной политики, навсегда заменил теоретическую антропологию практической! Другим кабинетным теоретиком был Дюркгейм, а Кант так и не выезжал из Кёнигсберга. Да и кому придет в голову требовать от каждого теоретика практической деятельности? Невысоко же археологи-практики ставят свою науку, если отказывают коллегам в праве заниматься чистой теорией!

В сутках 24 часа, в году 365 дней, а если повезет — 366. Так для всех. Но археологи-практики тратят огромную часть этого времени на раскопки, разведки, написание отчетов, обработку материалов, а достигшие высот — еще и на административную деятельность. Чем же, по их мнению, занимаются кабинетные теоретики, свободные от таких занятий? Ведь легко сообразить — надо быть либо форменным недоумком, либо отпетым лентяем, чтобы не суметь потратить такую уйму времени на что-то полезное. У Клейна мощный интеллект и на работу он до недавнего времени тратил почти все время, которое оставалось от сна и еды. Каков же результат? Реакцией большинства практиков до недавнего времени было отторжение, в лучшем случае доброжелательно-юмористическое. Ростовский археолог Е. В. Вдовченков в шутку выразил это так: «Слава богу, есть Л. С. Клейн — вот пусть он и теоретизирует!»

В худшем же случае не было и доброжелательности. Гамлет сетовал на «призрачность заслуг в глазах ничтожеств». Клейну было хуже — многие из тех, кто презирал его теории, отнюдь не ничтожества, а люди, увенчанные лаврами и добившиеся высших постов в академической иерархии. «Мне кажется, Лев Самойлович сам во всё это не верит», — бросил один из них на его кандидатской защите. А другой начертал на полях книги одного из тех, для кого клейновские теории — не пустой звук: «Вот откуда это логическое суемудрие: это же Лёва Клейн!!!» Так вот чем, оказывается, занимаются теоретики, по мнению иных практиков. Смотрящие в корень нашли более ядовитый синоним — талмудизм. Что на это сказать? Диалектичность действительно свойственна еврейской учености, но ни Сократ, ни Гегель вроде бы не были евреями.

Сuemудрие — пустое умствование. Выходит, избыток времени тратится попусту. Зачем мудрствовать, усложнять, создавать теории, в которых предстоит еще разбираться и разбираться, если для практических целей и так все

ясно? Да, но оборотная сторона этой мнимой ясности — дефицит логики, примитивизм, косноязычие, многословие, хвастовство, игнорирование зарубежного опыта, слабая конкурентоспособность, словом, весь букет с могилы той поры, когда мы были оторваны от мировой науки. Оторванности больше нет, теперь можно пригласить в совместный проект иностранцев. Они с радостью изучат наши материалы, включат нас в число соавторов, поднимут за нас много тостов — а напишут все равно по-своему. И хорошо еще, если пришлют черновик статьи на согласование! Да ведь он по-английски, его так сразу не прочтешь, а с языками и с Интернетом мы не в ладах... Уму непостижимо, как можно не знать английского и не пользоваться Интернетом, если наш вклад в мировую науку — горсточка песка на морском берегу? Можно пригласить в проект представителей смежных наук, но и это не поможет восполнить отсутствие европейской образованности, широты кругозора, стройности мышления. Короче говоря, всего того, чему еще в студенческие годы можно было бы научиться у людей вроде Клейна. А впрочем, никакого «вроде» здесь быть не может. Клейн вне конкуренции. И до чего же повезло его ученикам!

Есть три стадии ученичества. На первой стадии ученик сознательно и немело копирует внешние черты стиля учителя. На второй он осваивает суть его научного метода. А на третьей стадии, которая длится всю оставшуюся жизнь, он бессознательно, спустя многие десятилетия, воспроизводит все это, будучи уверен, что теперь-то он сам зрелый исследователь, а посему и метод, и стиль — его собственные. Особенно интересно обнаруживать скрытые заимствования, когда пути учителя и ученика разошлись, кажется, необратимо, и развилка давным-давно скрылась из виду. «Мы приходим к неожиданному, но непреложному выводу: у юмора нет никакой семантики» (это из моей книги 2007 г. о смехе); сравните: «Отсюда... вытекает неожиданный, но непреложный вывод: каткомбная культура не существует» — это из статьи Клейна 1970 г. Обратите внимание на общий ход мысли: нечто, казавшееся незабываемым, вдруг, неожиданно для нас самих, рушится под натиском диалектики. Не в подобных ли неожиданных заключениях заключена главная радость научной работы? Кстати, и в трудах Льва Самойловича можно, по его словам, заметить отголоски научного стиля его учителя М. И. Артамонова.

Любая навязываемая сверху доктрина вызывает критическую реакцию Клейна — и соответствующие неприятности для него. Маршировать в ногу с более дисциплинированными коллегами он никогда не мог. Так было с марризмом, антинорманизмом, ортодоксальным марксизмом. Но вот наступило время перемен, Клейн деятельно включается в создание Европейского университета — уж там-то никто никому ничего навязывать не будет! Поначалу надежды сбываются, новое начальство его превозносит — а потом начинается та же маршировка, только в противоположном направлении. Клейну становится тесно и в этих рядах.

«В развертывающейся дискуссии я вижу спор с мощным натиском постмодернизма. Натиск этот сказывается в деконструкции основных, фундаментальных понятий ряда наук. В этнографии это дискредитация понятия “этнос” (реквием по этносу), в археологии — радостное избавление от трудного понятия “археологическая культура”, а заодно и понятий “первобытное общество”, “бронзовый век” и т. п., в физической антропологии — трусливое прятанье от понятия “расы” (дабы избежать расизма)». Это написано им в Интернете, а вот что было сказано с трибуны Европейского университета: «Вы, Николай Евгеньевич (это декану

постмодернистского Смольного колледжа Копосову. — А. К.), начитавшись модных французских дурачков-конструктивистов, типа Мишеля Фуко (общий хохот в зале), склонны думать, что исторической реальности нет, что это наивное представление XIX века, что все в истории — наши конструкции... Нет, Николай Евгеньевич, история — наука. Есть твердые исторические факты... и есть фальсификации... И это никогда, понимаете, никогда, ни при каких условиях не может быть опровергнуто. Никого научного спора тут не может быть».

Обратим внимание на ремарку в стенограмме. На съездах советского времени смех значил коллективное одобрение, самих ораторов не высмеивали (выступления Сахарова и Афанасьева на съезде народных депутатов в 1989 г. прерывались не смехом, а гневными возгласами). А тут можно понять двояко: в душе-то мы с тобой согласны, но надо ведь привыкать к новому стилю маршировки, а ты, по обыкновению, ходить в строю отказываешься — так почему бы над тобой не посмеяться, как академики некогда смеялись над твоим суемудрием?

Ту встречу в Европейском университете организовал вместе с Копосовым некий новоиспеченный боец идеологического фронта, археолог по образованию, поступающий в аспирантуру этого вуза, дабы продолжить свои занятия, но переквалифицировавшийся там в «политолога» и «борца за гражданские права» (о, эти новые эвфемизмы!). Когда я посетовал на это Клейну, тот написал, что потеря невелика: «Всегда был на верхнем уровне заурядности. Таким и остается». А про новоявленного историка российской антропологии он выразился еще сильнее: «Заносчивая дура, напичканная постмодернистскими идеями». Их сочинения подобны политическим доносам былых времен. Их любимое занятие — деконструировать ученых и науку (другая дамочка из той же компании сравнила науку с чемоданом, в котором пытаются провезти вредную политическую контрабанду). Кто бы подумал, что у академиков Митина и Презента найдутся сторонники в наши дни! Вот только деконструировать их самих не моги — тут же пожалуются, что на них написали политический донос.

Ну, а что же произошло с Клейном? Формально он больше не числится ни при каком учреждении — ни учебном, ни научном. Ломоносов уже описал такую ситуацию. Пользуясь его словами, не Клейна отставили от обоих университетов, а их — от него. А он, как и прежде, в центре огромного сообщества людей, верящих в науку и не верящих в то, что она — всего лишь оболочка для политики. Его изолированность не увеличилась, она исчезла. «Понимаешь, я не чувствую себя одним, — написал он мне на днях, — наоборот, в последнее время лед сломлен. И на родине меня принимают гораздо более всерьез, чем раньше, и за рубежом внимания больше, тут и книга Лича — симптом (имеется в виду книга: S. D. Leach. *A Russian Perspective on Theoretical Archaeology: The Life and Work of Leo S. Klejn*. Walnut Creek: Left Coast Press, 2015. — А. К.). И создание кафедры теоретической археологии в Лондонском университете. Не случайно предисловие к книге Лича написал Стив Шеннан, ее зав».

Что ж, все это замечательно. Дай бог Льву Самойловичу здоровья и сил!

С. Лич

## Л. С. Клейн и Р. Дж. Коллингвуд об истории, археологии и криминалистике\*

**Резюме.** В «Идее истории» Р. Дж. Коллингвуд отметил сходство между работой историка и работой детектива. В этом эссе я провожу мысль, что детективу на самом деле подобен не историк, а археолог. Обосновывая данное утверждение, я использую труды российского археолога Л. С. Клейна, который подробно исследовал как сходства между археологией и криминалистикой, так и различия между археологией и историей. По мнению Клейна, сходство между археологией и криминалистикой является в то же время и основным различием между археологией и историей. Сопоставление взглядов Коллингвуда и Клейна на историю, археологию и криминалистику интересно, в частности, потому, что они возникли в совершенно разной среде. Взгляды Коллингвуда формировались в довоенной Британии, а взгляды Клейна — в послевоенном Советском Союзе. Свою работу в области теории они также представляют по-разному: Коллингвуд считал себя философом истории, тогда как Клейн считает себя не философом, а теоретиком археологии. И тем не менее и их подходы, и некоторые из их выводов покоятся на некоторой общей основе. Как будет показано ниже, Клейн, сравнивая с детективом именно археолога, а не историка, ближе к истине, чем Коллингвуд, но за вычетом этого нюанса их взгляды на историю совместимы.

**Ключевые слова:** Л. С. Клейн, Р. Дж. Коллингвуд, история, археология, криминалистика.

**S. L. Leach. S. Klejn and R. G. Collingwood on history, archaeology, and forensic science.** R. G. Collingwood is well-known for noting, in *The Idea of History*, similarities between the work of the historian and the work of the detective. In this essay I argue that it is not the historian who is similar to the detective but rather the archaeologist. In presenting this argument I make use of the work of the Russian archaeologist L. S. Klejn, who has explored in detail both the similarities between archaeology and forensic science and the differences between archaeology and history. In Klejn's view the similarity between archaeology and forensic science is also the main difference between archaeology and history. Part of the interest in comparing the views of Collingwood and Klejn on history, archaeology and forensic science is that Collingwood and Klejn are from radically different backgrounds. Collingwood's views were formed in pre-war Britain whereas Klejn's views were formed in the post-war Soviet Union. How they conceive of their work on theory is also different: Collingwood saw himself as a philosopher of history; whereas Klejn sees himself not as a philosopher but as a theoretical archaeologist. Yet there is common ground in their approaches and in some of their conclusions. It will be argued that Klejn is more accurate than Collingwood in comparing the archaeologist — rather than the historian — to the detective; but, once this concession is made then their views of history can be reconciled.

**Keywords:** Leo S. Klejn, R. G. Collingwood, history, archaeology, forensic science.

---

\* Перевод Л. Б. Вишняцкого. Оригинальный английский текст готовится к изданию в *The Journal of the Philosophy of History*.



## Введение

Как бы мы ни оценивали достижения археолога, историка и философа Р. Дж. Коллингвуда, следует помнить, что он оставил свои труды незавершенными. Его самая известная книга, «Идея истории» (1946), отнюдь не задумывалась Коллингвудом именно в таком виде: она была составлена уже после его смерти его учеником Т. М. Ноксом. Отчасти, возможно, в результате редактирования Ноксом главная цель Коллингвуда в области философии истории часто истолковывалась неверно. В частности, Патрик Гарднер (и не он один) понял Коллингвуда так, будто бы он предписывал историкам некую методологию, которой они должны следовать. На самом же деле у него никогда не было такого намерения. Его цель была концептуальной и состояла в том, чтобы обнаружить скрытые логические основания истории. Коллингвуд утверждал, что такие основания необходимы для самого существования истории как научной дисциплины, пусть даже в реальности в ходе своей работы историки могли никогда не обсуждать их. Коллингвуд доказывал, что философ истории может, тем не менее, открыть эти скрытые исходные предпосылки (*presuppositions*) — он называл их «абсолютными предпосылками» — и, таким образом, установить существенную разницу между историей и естественными науками.

Он был убежден, что различия между историей и естественными науками имеют глубинный характер. Когда историк заявляет, что понял какое-то из событий прошлого, он тем самым утверждает в имплицитной форме, что понял причину, обусловившую мотивацию и поведение агента исторического действия. Напротив, когда ученый-естественник заявляет, что понял некоторое событие, он тем самым утверждает, что понял, каким именно образом данное событие связано с тем или иным законом природы. Очевидно, что эти две формы объяснения имеют очень разную логическую структуру.

Коллингвуд был не только философом, но также археологом и историком. Однако он не смешивал эти дисциплины. Как философ он держался на достаточном расстоянии от того, что анализировал, и в этом отношении можно сказать, что метафизика была для него способом исследования второго порядка. (В словаре Коллингвуда метафизика — это та часть философии, которая занимается анализом исходных предпосылок других дисциплин.) Коллингвуд полагал, что интерес к исходным основам (*presupposed foundations*) различных наук, в том числе и к ее собственным основам, отличает философию от иных дисциплин. Действительно, для археолога или историка исследование логических оснований их работы не является делом первой необходимости.

Тем не менее, осмысление своей работы полезно и для историка, и для археолога, и из «Автобиографии» Коллингвуда ясно, что он не считал, что его метафизические изыскания никак не сказывались на исторических и археологических исследованиях. Более того, Коллингвуда интересовали не только вопросы о том, что имеет в виду историк, когда заявляет, будто понял некое событие, и о том, как вообще можно понять действия других людей, но также и вопрос о том, каким образом возможно реконструировать события прошлого.

Наиболее известной частью «Идеи истории», посвященной последней проблеме, является детектив под названием «Кто убил Джона Доу?». Его можно найти в завершающих книгу дополнениях (эпигломенах), а также еще в одном месте, где Коллингвуд и намеревался его поместить, а именно в первой главе «Принципов истории». В «Принципах истории» (неоконченная работа,

опубликованная в 1999 г.), возможно, лучше, чем в «Идее истории» видно, что «Кто убил Джона Доу?» имеет основным содержанием рассмотрение вопроса о том, как добывается надежное знание о прошлом. В других работах Коллингвуда занимает, прежде всего, проблема логической формы успешного исторического объяснения. Между двумя этими вопросами имеется тонкое, но существенное различие.

Ответ Коллингвуда на вопрос, как мы получаем пусть и элементарное, но надежное знание о событиях прошлого, заключается в том, что историк, подобно детективу, прослеживает в уме логические связи между этими событиями таким образом, что в конце концов мысленная их реконструкция приводит его к гипотезе, которая может быть подтверждена или опровергнута уликами, найденными, так сказать, на месте событий.

Однако:

Методы уголовного розыска не во всем тождественны методам научной истории, потому что нетождественны их конечные цели. В руках уголовного суда жизнь и свобода гражданина, и в странах, где граждане считаются обладающими какими-то правами, суды поэтому обязаны действовать, и действовать быстро<sup>1</sup>.

В противоположность этому:

Историк совсем не обязан прийти к какому-нибудь решению в заданный интервал времени. Для него существенно только одно — правильность принимаемого им решения, а это значит, что последнее с необходимостью должно вытекать из имеющихся в его распоряжении данных.

Здесь, я полагаю, Коллингвуд делает три ошибки. Первая и наиболее очевидная в том, что он смешивает работу детектива с работой судебных органов. Ведь как бы там ни было, но в компетенцию детектива не входит признание подозреваемых виновными или невиновными. Во-вторых, и над археологом, и над историком довлеют конечные сроки, включая и тот главный, что проистекает из их смертности. Но если историк может позволить себе роскошь предполагать, то у суда такого права нет. Приговор судьи не может иметь предположительную форму. Поэтому для судебной истории важно, прежде всего, чтобы оно было точным («вне разумных оснований для сомнений»), тогда как для решений, принимаемых историком или археологом, подобный или близкий уровень определенности не обязателен. Если в суде невозможно принять такое решение, чтобы не осталось разумных оснований для сомнений, то должен быть вынесен вердикт «невиновен» или, как это принято формулировать в некоторых странах, «невиновен за недоказанностью». В этом плане именно суду, а не историку приходится стремиться к максимально возможной определенности.

В-третьих, если говорить строго, с криминалистикой сопоставима не история, а археология. Конечно, один и тот же человек может быть и археологом, и историком, примером чему и сам Коллингвуд, и многие другие, но концептуально археология и история остаются разными дисциплинами.

В настоящем эссе я опираюсь на работы Л. С. Клейна, для того чтобы обосновать третий из этих тезисов. Клейн много — возможно, больше, чем

---

<sup>1</sup> Все цитаты из опубликованных работ Р. Дж. Коллингвуда даются здесь в переводе Ю. А. Асеева по академическому русскому изданию трудов английского ученого (Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980).

какой-либо другой автор — писал о параллелях между археологией и криминалистикой. Он придерживается твердого убеждения, что с последней схожа не история, а именно археология, и что это ее сходство с криминалистикой составляет главное различие между ней и историей. До недавнего времени труды Клейна были мало известны на Западе, но я полагаю, они заинтересуют любого, кто интересуется сходствами и различиями между историей, археологией и криминалистикой. В это число войдут и все те философы истории, кому интересен не завершённый Коллингвудом проект по выявлению различий между историей и естественными науками.

Следует признать, что сам Коллингвуд на удивление мало написал о различиях между историей и археологией. Ниже я покажу, что работы Клейна позволяют как поправить Коллингвуда в том, что касается сравнений с криминалистикой, так и дополнить его в том, что касается концептуальных различий между археологией и историей.

### Коллингвуд и Клейн

Сравнивая работу Коллингвуда и Клейна, следует, прежде всего, заметить, что Клейн не философ, и у него нет желания, чтобы его принимали за философа. По его мнению, философские дискуссии никуда не ведут, поскольку любые получаемые в их ходе выводы не поддаются проверке эмпирическими данными. Клейн историк и археолог, а главные его интересы как археолога связаны с теоретической археологией.

Теоретическая археология — это отрасль археологии, которая получила развитие в послеколлингвудовское время. Можно полагать, однако, что Коллингвуд сочувственно отнесся бы к этому направлению. Ведь при всех расхождениях между ними археологи-теоретики согласны в том, что для археологической практики необходимо осмысление самое себя, необходимо для того, чтобы правильно ставить вопросы: такие вопросы, которые вынудят сырой материал дать новую информацию. Важность такого самоосмысления четко выражена в первом из коллингвудовских принципов «исторических исследований»:

Никогда не начинайте раскопки старого поселения, которые обойдутся в пять тысяч фунтов, или даже вскрытие траншеи, которое будет стоить пять шиллингов, если вы не уверены, что можете вполне удовлетворительно ответить на вопрос: «Какова цель этой работы?».

Коллингвуд не утверждал, что этот принцип изобрел он сам, но он определенно заявлял, что в 1920-е годы он был одним из немногих, наряду с Мортимером Уилером, кто пропагандировал эту мысль вопреки упорному ее неприятию. В гораздо более раннее время этот же принцип можно обнаружить в работе археолога Флиндерса Петри: «Старая поговорка, что человек находит только то, что он ищет, совершенно справедлива; если же человек не обладает проницательностью, достаточной, чтобы позволить ему найти то, что он ищет, то тогда грустная истина сведется к тому, что он не может найти ничего, кроме того, что ищет».

Коллингвуд считал, что этот принцип глубоко укоренился в головах ученых, и писал, что его «поэтому больше не тревожит будущее этого принципа». Действительно, беспокоиться не стоило: за прошедшее с тех пор время рассматриваемый принцип, несмотря на отдельные попытки сопротивления, пустил

даже еще более глубокие корни. В теоретической археологии, выросшей в конце 1960-х — начале 1970-х годов из археологии практической и ради нее, он, можно считать, достиг своего расцвета.

Тем не менее, хотя Коллингвуд и отстаивал один из принципов, лежащих в основании теоретической археологии, не следует рассматривать его самого как археолога-теоретика. Во-первых, в те времена и понятия этого еще не было, а во-вторых, для Коллингвуда выявление оснований истории и археологии было занятием, представлявшим, главным образом, метафизический интерес. В этом отличие от современной теоретической археологии, которая является — или стремится быть — эмпирически ориентированной. Клейн решительно настаивает на последнем, отвергая мысль, что теория может сама по себе составлять автономную дисциплину второго порядка как «полную чушь». По его мнению, теория начинается и кончается вместе с практикой. Он полагает, что любая теория успешна лишь постольку, поскольку она служит для создания успешной методологии, которая может быть с пользой применена в эмпирических исследованиях.

Если суммировать, то основное различие между Коллингвудом и Клейном в том, что, хотя Коллингвуд и подчеркивал, что метафизик должен досконально знать ту дисциплину, исследованием которой он занимается, и считал, что его собственная работа в философии будет иметь последствия для истории и археологии, он — как теоретик — писал главным образом для философов. Напротив, Клейн использует теорию, прежде всего, в надежде оказать влияние на других археологов.

Отметив это важное различие, необходимо сказать также и о сходствах между Клейном и Коллингвудом. Как и Коллингвуд, Клейн полагает, что теоретик должен начинать с изучения методик тех исследований, которые служат общепризнанными примерами успешного решения практических задач. Проясняя причины успеха этих работ, теоретик надеется способствовать успеху будущих исследований. Здесь, признает Клейн, есть элемент цикличности, но это, по его мнению, благотворная цикличность.

### **Клейн о предмете, задачах и методологии археологии**

Для Клейна важно подчеркнуть существование границы между археологией и историей, и по этой причине он придает такое значение сходству между археологией и криминалистикой. Именно это сходство, утверждает он, и отделяет археологию от истории. Для Клейна этот пункт имеет большое значение, поскольку в советские времена — времена официального господства философии исторического материализма — археология практически не признавалась в качестве отдельной науки. Поэтому, пишет он, «я... всю свою работу в теории посвятил разработке такой системы теорий и методов, которые бы обеспечили строгость и объективность археологического познания, чтобы археология была способна противостоять конъюнктурным замыслам» (Клейн 2004: 36)<sup>2</sup>.

По мнению Клейна, опыт советской археологии учит тому, что «понимание археологии как разновидности истории приводит не только к представлению

---

<sup>2</sup> Цитаты из работ Л. С. Клейна даются здесь не в обратном переводе, а по русским оригиналам, которые в каких-то деталях могут отличаться от используемых С. Личем английских изданий.

о ненужности собственно археологической теории, но и к небрежению собственно археологическими методами — критикой источников, строгими принципами типологического и картографического методов, критериями доказанности предметных связей и т. п.» (Клейн 1993: 42). Он доказывает, что археология — это самостоятельная наука, отдельная от истории, хотя и смежная с ней.

Клейн не думает, что археология и история находятся в подчиненном или господствующем положении по отношению одна к другой. Тем не менее, разграничительная линия, которую он между ними проводит, скорее горизонтальная, чем вертикальная. На протяжении большей части советской эпохи считалось, что граница между археологией и историей — если между ними вообще следует проводить границу — должна быть вертикальной, а археология в этом случае должна считаться просто синонимом преистории. Предполагалось, что прошлое можно прочесть по вещественным источникам точно так же, как можно прочитать о нем в книге.

Клейн убежден, что археология отличается от истории по своему предмету, по своей задаче и по своей методике, и во всех трех названных отношениях она ближе к криминалистике, чем к истории.

### *Предмет*

Археолог имеет дело, прежде всего, с бессловесными вещами, он обычно лишен «канала письменной коммуникации» с прошлым. Ему по необходимости приходится иметь дело с тем, что Клейн называет «двойным разрывом». Что же он под этим подразумевает?

Без предварительной переработки информация, запечатленная в вещах, непригодна к научному использованию. Нужно ее перекодировать, и притом дважды. Сначала ее нужно перевести с того, что фигурально называют «языком вещей» на любой из естественных языков — русский, английский, немецкий и т. п. То есть описать вещи, их признаки и соотношения. На этом этапе гораздо больше, чем в истории, приходится пользоваться специальной терминологией. Затем, сопоставляя полученные сведения с другими, нужно установить, какие события и процессы отразились в описанных вещественных источниках. Только теперь информация обрела требуемую исторической наукой форму (Клейн 2004: 119).

Иными словами археолог (1) описывает найденные артефакты, (2) описывает их происхождение и то, как они попали туда, где были найдены (принимая при этом во внимание и процесс их разрушения, который историку учитывать не приходится), и лишь после этого передает свои заключения историку. Историку же, в отличие от археолога, хотя он и может отметить, например, качество выделки кожаных изделий, представленных в коллекции средневекового памятника, не приходится иметь дело с этими вещами в том виде, в каком они извлекаются из земли (покрытые глиной или грязевой коркой). Историк будет иметь с ними дело лишь опосредованно благодаря археологическим отчетам об этих находках. Таким образом, историка отделяет от его объекта не двойной, а одинарный разрыв.

Здесь возможно возражение, что археолог тоже имеет дело с письменными источниками, например с древними надписями. Клейн охотно это признаёт, но утверждает, что даже и в этом случае археолог стремится ответить не на те вопросы, которыми занимается историк. Археолог пытается ответить

на вопросы «кто? что? где? когда? каким образом? зачем? как? и почему?», но при этом вопрос «почему?» занимает подчиненное положение по отношению ко всем остальным, и может быть задан лишь для того, чтобы ответить на один из этих остальных (основных) вопросов. Отвечая на них, археолог должен руководствоваться, прежде всего, материальными особенностями артефактов. В противоположность этому историка интересует, прежде всего, вопрос «почему?», и любой другой вопрос будет служить решению этого. Отвечая на него, историку нет нужды обращать особое внимание на материальные особенности артефактов.

Клейн поясняет тезис о различии между археологией — и сходстве между археологией и криминалистикой — следующим образом:

Верно, в работе археолога есть такой элемент — «почему», но он в конечном счете подчинен вопросу «что произошло?». Например, археолог может спрашивать, «почему этот артефакт фрагментирован таким образом?» или «почему этот сосуд поставлен в эту яму?», но не «почему эта культура продвинулась в этом направлении?». Это уже вопрос преисторика или историка. Подобным же образом детектив может спрашивать, «почему этот кошелек оказался в этом кармане?», но не «почему этот человек оказался вором?» (Лич 2011).

Подтверждение сходства, существующего в этом отношении между археологическим исследованием и детективным расследованием, можно получить, если обратиться к руководствам по криминалистике. Например, согласно Брудерсу (Broeders), детектива, прежде всего, волнуют вопросы «кто, что, где, когда, каким образом и, в меньшей степени, почему».

### *Задача*

Первостепенной задачей археолога является реконструкция событий: «Если в истории реконструкция лишь одна из задач, то в археологии к ней сводится всё» (Клейн 2005: 154–155). Коль скоро гипотетическая реконструкция получена, она передается историку для дальнейшей работы. Сходным же образом, и первостепенной задачей детектива тоже является реконструкция событий. Но коль скоро детектив установил, например, кто произвел выстрел, дальнейшие вопросы о том, почему выстрел был произведен — это уже не его прерогатива, хотя они могут обсуждаться коллегией присяжных.

Клейн любит говорить, что археолог — это детектив, который прибыл на место преступления с опозданием на тысячу лет. Здесь имеется в виду вовсе не то, что археолога могут интересовать лишь события, случившиеся достаточно давно, имеющие определенную минимальную древность, а то, что задачи археолога и детектива одни и те же — реконструкция событий, восстановление «событий и процессов прошлого по материальным следам и фрагментарным остаткам». Различаются лишь цели, для которых потом используются результаты их работы. В одном случае они служат историку, в другом — суду.

Главная задача археологии заключается в «переводе информации с языка вещей на язык истории, язык исторических явлений, событий и процессов» (при этом, предупреждает Клейн, надо учитывать, что язык вещей полисемантичен в гораздо большей степени, чем наш язык). После того как такой перевод завершен, интерпретация археологического памятника и археологических артефактов становится доступной для историка в форме отчета или книги. Таким

образом, будучи концептуально разными науками, археология и история связаны очень тесными «деловыми отношениями»:

Археология, безусловно, связана с историей, но связана деловыми отношениями — как партнер. В остальном они не только не идентичны друг другу, но даже не родственны. Они разной методологической природы. Если история — индивидуализирующая наука, а с учетом индивидуальности человеческих произведений — гуманитарная, то археология — нет. И это кардинальное различие (Клейн 2004: 159).

### *Методика*

Для того чтобы преодолеть первый из двух разрывов, отделяющих его от понимания события прошлого, археолог опирается на типологию (в гораздо большей степени, чем историк). Для него типология имеет определяющее значение. В этом плане методика археолога та же, что и методика детектива. Пусть детектива обычно больше интересует классификация пуль и групп крови, а археолога — классификация горшков и монет, оба они «ищут вещи, принадлежащие к одному типу или классу, а также ищут аналогии в других, уже известных комплексах».

Клейн пишет, что археолог находится в том же положении, что детектив, нашедший на месте преступления сигаретный окурок:

Оставлен ли окурок преступником, жертвой, свидетелем или случайным прохожим, который ничего не видел? Выкурена ли сигарета в момент и на месте события, интересующего следствие, или пепел сброшен с нее до события? Список возможных соответствий между вещами и событиями не безграничен — вполне очевидно, что сигарету не выкурила ни лошадь преступника, ни собака следователя, — но всё же список очень велик и трудно гарантировать его полноту (Клейн 2004: 123).

Согласно Клейну, «история стремится проникнуться неповторимостью событий и героев, тогда как археология одержима обобщением, типизацией, и “тип” — ее центральное понятие» (Клейн 2004: 146). То же самое относится и к криминалистике: она занимается установлением типичного.

Неудивительно поэтому, что археология и криминалистика оказывали плодотворное воздействие друг на друга. Заимствование методов археологии криминалистикой хорошо известно. Менее известно участие детективов в расследовании археологических подделок. В качестве примеров последнего Клейн приводит дела о глосельской фальшивке и тиаре Сайтаферна. В случае с изучением отпечатков пальцев мы имеем пример метода, который был порожден интересом к следам пальцев гончаров на древних сосудах, затем был взят на вооружение полицией, а недавно вновь вернулся в археологию.

## **Согласовывая Клейна с Коллингвудом**

Хотя Коллингвуд в «Идее истории» сравнивал с детективом историка, согласовать Клейна и Коллингвуда нетрудно. Коллингвуд размышлял над сходством с криминалистикой начиная с 1920-х годов, а в детективной литературе этого и последующего десятилетия общим местом было сравнение криминалистики

с археологией. Первое свидетельство наличия такого сравнения в работе Коллингвуда можно найти в отчете о докладе, прочитанном им в 1928 г.:

Мистер Р. Дж. Коллингвуд из оксфордского Пембрук-колледжа прочел вчера в Холле философии Лидса лекцию на тему «Новые успехи в изучении Адрианова вала» для членов Лидского философско-литературного общества, сопроводив ее показом диапозитивов. Он и мистер Джеральд Симпсон в последние годы были заняты исследованием этого римского вала, причем мистер Коллингвуд уподобляет их исследование распутыванию тайны Шерлоком Холмсом. «Сам я являюсь доктором Ватсоном», заявил мистер Коллингвуд, и на протяжении всей лекции он старался облечь свой рассказ в одежды детективной истории (The Yorkshire Post, 19 декабря 1928 г.).

Вполне можно считать, что в данном случае Коллингвуд рассказывает о своих находках и проводит сравнения с детективом как археолог.

Как уже упоминалось, Коллингвуд мало говорит о различиях между археологией и историей, не вдаваясь специально в обсуждение этой темы. Однако там, где у него все же заходит речь о различиях, он близок Клейну. Например, в неопубликованных рукописях он использует термин «критическая история» как синоним археологии, описывая ее следующим образом:

Критическая история классифицирует ее источники по группам, а затем делит эти группы на более дробные, а затем снова делит, вырабатывая правила оперирования разными подразделениями. В целом этот метод представляет собой некую отвлеченную или классификационную науку, которая не имеет общепринятого названия, если только не называть ее археологией, и которая делится на множество субдисциплин.

Это вполне соответствует клейновскому пониманию археологии. Равным образом и описание Коллингвудом в «Принципах истории» сбора и классификации материала, осуществляемых археологией, как существенного предварительного условия написания истории, также соответствует концепции Клейна. Среди работ Коллингвуда есть книга, посвященная исключительно археологическим материалам. Это его «Археология римской Британии» (1930). В предисловии он характеризует ее как «руководство сугубо по археологии, а не по истории». Эта книга, мало читанная исследователями творчества Коллингвуда и теперь уже устаревшая в результате проведенных с тех пор археологических исследований, полностью состоит из различных пересекающихся классификаций: монет, керамики, планов поселений, планов вилл и т. д. (возможно, неслучайно, что работа над этой книгой непосредственно предшествовала началу работы над «Очерком философского метода» (1933), где Коллингвуд подробно описал системы пересекающейся научной классификации, противопоставив их системам пересекающейся философской классификации).

Но может быть, то, что Коллингвуд сравнивал с детективом историка, а не археолога, объясняется простой небрежностью? Это предположение было бы допустимо, если бы не то обстоятельство, что в «Идее истории» Коллингвуд пишет об археологии как о «методологии истории». Следовательно, мы имеем дело с ошибкой иного сорта. Это принципиальная ошибка, поскольку для археологии, как описывают ее и Клейн, и сам Коллингвуд в предисловии к «Археологии



римской Британии» (и как она предстает на практике в этой же его книге), вопрос «почему?» не имеет первоочередного значения. Не имеет он его и для криминалистики, как явствует из руководств по этой дисциплине. Для истории же, пусть даже истории, написанной, как коллингвудовская книга «Римская Британия и английские поселения» (1936), в основном по археологическим данным, приоритетным является именно этот вопрос.

Клейновское сравнение не только ближе к истине, чем коллингвудовское, но оно также, как кажется, точнее описывает отношения между историей, археологией и криминалистикой. Однако моя критика Коллингвуда не распространяется на его выводы относительно фундаментальной природы истории. Сохраняет силу его положение — разделяемое и Клейном, — что история является по своей сути гуманитарной дисциплиной, занятой, прежде всего, поисками ответа на вопрос «почему?». Сохраняет силу и тезис, что получение удовлетворительного ответа на этот вопрос предполагает выявление мотивов, лежащих в основе поведения агента исторического действия. История как таковая — это гуманитарная дисциплина, но она зависит от данных археологии — дисциплины, по существу, позитивистской. И наоборот, археология может зависеть от истории, поскольку среди множества вопросов, мотивирующих исследовательскую активность археолога, могут быть и вопросы, возникшие внутри исторической науки.

Конечно, один и тот же человек может быть одновременно и историком, и археологом — примером чему сами Коллингвуд и Клейн, — но при этом обе дисциплины все же остаются концептуально различными.

Сказанное не означает, конечно, что и на более глубоком уровне между археологией и историей тоже не существует сходств. Например, и в археологии, и в истории — и во многих других научных дисциплинах (но не в философии) — неизменно проводится различие между данными и их интерпретацией. В случае с археологией данные — это (1) исходные материалы (памятники и артефакты) и (2) описания этих материалов, причем (2) является интерпретацией по отношению к (1), но в то же время данными по отношению к заключительным выводам археолога о том, «что произошло». Это отражает то уже упоминавшееся выше обстоятельство, что археолог имеет дело с двойным разрывом между ним и его источниками. Он должен сначала описать найденные артефакты, а затем, с учетом процессов разрушения, описать их происхождение и то, как они оказались там, где были найдены.

Однако самая главная причина, по которой следует различать данные и интерпретацию, связана с уже высказанным ранее замечанием о том, что ни один историк — равно как и ни один археолог или криминалист — не свободен от давления конечных сроков. В один прекрасный день в будущем прежняя интерпретация может быть отринута или модифицирована, данные же при этом могут сохранить некоторую ценность. Но здесь мы выходим на более глубокий уровень, нежели уровень видимых основ истории, археологии и криминалистики — мы оказываемся на уровне их скрытых абсолютных предпосылок. Реальность в том, что история и археология расходятся в самих своих основах, поскольку приоритетными для них являются разные вопросы. Что же касается различий между археологией и криминалистикой, то возможно, как полагает Клейн, главное из них — это всего лишь различие целей.

## Заключение

Итак, можно утверждать, что Клейн, сравнивая с детективом именно археолога, а не историка, ближе к истине, чем Коллингвуд, но за вычетом этого нюанса их взгляды относительно легко поддаются согласованию. Сопоставление их взглядов интересно, в частности, потому, что они возникли в совершенно разной среде. Идеи Коллингвуда формировались в Британии периода между двух мировых войн, а идеи Клейна — в послевоенном Советском Союзе. Кажется странным, что Коллингвуд уделил столь мало внимания различиям между археологией и историей, но нужно помнить, что он оставил свою философию истории незавершенной. Что касается Клейна, то его внимание к этому вопросу вполне понятно, поскольку, как он показал в своих работах, в Советском Союзе автономия археологии как научной дисциплины была под угрозой. Перед лицом этой угрозы он и другие археологи в СССР и задались вопросом о том, что же именно отличает археологию от истории.

Хотелось бы думать, что этот очерк благодаря использованию в нем идей Клейна будет способствовать укреплению коллингвудовской философии истории. Во всяком случае, я надеюсь, мне удалось показать, что если оставить границу между историей и археологией неясной и неопределенной, то и разногласия относительно природы истории и природы археологии тоже, скорее всего, останутся неразрешенными. Такое состояние дел не может удовлетворять ни историка, ни археолога, ни детектива, как не может оно удовлетворять и философа, ибо, как писал Кант<sup>3</sup>, «смещение границ различных наук ведет не к расширению этих наук, а к искажению их».

Возможно, сам Клейн и не слишком благоговеет перед философией, но с этими словами Канта, я думаю, он согласится.

## Литература

Клейн Л. С. 1993. Феномен советской археологии. СПб.: Фанн.

Клейн Л. С. 2004. Введение в теоретическую археологию. СПб.: Бельведер.

Лич С. 2011. В беседах с Л. С. Клейном // Лынша В. А., Тарасенко В. Н. (ред.). Актуальные проблемы Сибири и Дальнего Востока. Уссурийск: Изд-во Уссурийского педагогического ин-та, 36–44.

---

<sup>3</sup> В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума». *Прим. перев.*

## Л. С. Клейн как историк археологии

**Резюме.** В статье рассматриваются публикации Л. С. Клейна, полностью или частично связанные с историей археологии. Его первые работы в этой области появились еще в 1960-е гг., но главные книги вышли в начале XXI столетия. Особенно следует отметить двухтомник 2011 г. «История археологической мысли», ставший одним из наиболее значимых и фундаментальных трудов по истории археологии в мировом масштабе. Совокупность этих работ позволяет охарактеризовать Л. С. Клейна как крупнейшего специалиста по истории археологии, внесшего огромный вклад в ее изучение и популяризацию.  
**Ключевые слова:** история археологии, Л. С. Клейн.

**I. L. Tikhonov. L. S. Klejn as a historian of archaeology.** The paper presents an overview of L. S. Klejn's publications partly or entirely devoted to the history of archaeology. His first works in this field appeared as early as the 1960s, but the principal books were published in the beginning of the present century. Worthy of special note is a two-volume book «The History of Archaeological Thought» (2011), which is one of the most fundamental studies of the subject on a global scale. The author concludes that L. S. Klejn's works are a great contribution both to the study of the history of archaeology and its popularization.  
**Keywords:** history of archaeology, L. S. Klejn.

Среди более чем полутысячи опубликованных работ Льва Самуиловича Клейна не менее четырех десятков, полностью или частично, связаны с историей мировой и отечественной археологии. Это несколько солидных монографий, серия статей, тезисов докладов и рецензий. Его труды в этой области вызывают неподдельный интерес и среди профессионалов, и у широкой публики. Сам был свидетелем, как активно раскупали участники III (XIX) Всероссийского археологического съезда, проходившего осенью 2011 г. в Новгороде и Старой Руссе, только что вышедший двухтомник «История археологической мысли» (Клейн 2011).

Первые работы Л. С. Клейна в этой области появились еще в 1960-е гг. Это были публикации к юбилею его учителя М. И. Артамонова (Клейн 1961; 1968а; Клейн, Шилов 1968) и статьи, анализирующие взгляды основоположников марксизма на первобытную археологию и ее связи с этнографией (Клейн 1968б; 1968в; 1970).

Отличное владение иностранными языками позволяло ему следить за зарубежной литературой и публиковаться за рубежом. В 1974 г. в восточногерманском журнале появилась большая статья Л. С. Клейна, посвященная анализу научной деятельности и личности известного немецкого археолога Густава Коссины (Klejn 1974). Статья вызвала большой интерес в немецкой археологии по обе стороны железного занавеса, в том числе и у прямых учеников Коссины. Дело в том, что в ней впервые были четко систематизированы и сформулированы методы работы ученого, имя которого стало одиозным из-за использования

его идей нацистской пропагандой. В советской литературе Коссина упоминался только в ругательном контексте. Впервые было детально рассмотрено отношение к работам ученого и при его жизни, и после смерти. Л. С. Клейн показал значимость трудов Коссины для внедрения картографического метода и становления этногенетической проблематики в первобытной археологии Европы, несмотря на все его ошибки и заблуждения. По сути это было первой попыткой реабилитации научного реноме крайне противоречивой, но весьма заметной фигуры в истории археологии XX столетия. Через четверть века в международном журнале *Stratum plus* появилась значительно расширенная и дополненная версия этой статьи на русском языке (Клейн, 2000). А через три года в Берлине в Университете Гумбольдта состоялась конференция «Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890–1930) im europäischen Vergleich. (The beginnings of academic pre- and protohistoric archaeology (1890–1930) in European perspective)», приуроченная к столетию начала профессорской деятельности Г. Коссины в Берлинском университете. Доклады, прозвучавшие там, подтвердили правильность подхода и оценок Л. С. Клейна.

В определенной степени историографический характер имела и нашумевшая большая статья 1977 г. «A panorama of theoretical archaeology» (Klejn 1977), являвшаяся критическим разбором трудов по теоретической археологии, выходивших на Западе в 1960–1973 гг. С точки зрения Льва Самуиловича история археологии вообще, или, по крайней мере, история археологической мысли является составной частью теоретической археологии. Эта англоязычная статья была переведена на несколько других иностранных языков и вызвала множество откликов в зарубежных изданиях.

Следующей заметной работой в области историографии стал «Феномен советской археологии», вышедший одновременно на русском и испанском языках (Клейн 1993; Klejn 1993a). Основой книги послужила статья Л. С. Клейна 1982 г., опубликованная в *World Archaeology* под тремя фамилиями (вместе с учениками) (Bulkin, Klejn, Lebedev 1982). Собственно истории советской археологии в привычном хронологическом порядке изложения в этой книге была посвящена вторая глава, и хотя она являлась скорее ярким и насущным произведением в публицистическом жанре, чем строго научным исследованием, многие основные черты и тенденции там были обрисованы верно. Следующие главы рассматривали в большей степени не событийную историю советской археологии, а ее специфику в послевоенный период, который автор имел возможность непосредственно наблюдать и даже участвовать в событиях. Важнейшими достижениями книги стала одна из первых свободных от идеологической цензуры оценка влияния марксизма на отечественную археологию и выделение семи направлений, сложившихся в ней в 1960–1970-е гг. и отличающихся по используемой методологии и приоритетным целям изучения. В качестве приложения к книге был помещен очерк о сложных и противоречивых взаимоотношениях Гордона Чайлда с советской археологией. Через несколько лет вышел вариант этой книги на немецком языке (Klejn 1997). Он заметно отличался от предшествующих большим объемом, поскольку туда были включены биографические очерки о крупнейших деятелях советской археологии.

С 1990-х гг. Л. С. Клейн стал участвовать в отечественных и зарубежных научных конференциях историографического характера. На конференции «Проблемы истории отечественной археологии», организованной в конце 1990 г.

возникшим в Ленинградском университете семинаром по истории археологии, он представил доклад об основных направлениях в археологии предреволюционной России (Клейн 1993а). По характеру участников эта конференция стала первым всесоюзным форумом подобной направленности, а пока издавались тезисы ее докладов, СССР распался, так что она оказалась и последней. В сборнике трудов семинара Л. С. Клейн поместил обстоятельную рецензию на книгу Г. С. Лебедева по истории отечественной археологии (Клейн 1995).

В 1992 г. он принял участие в Лондонской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Гордона Чайлда (Клейн 1994). Затем была череда юбилейных конференций, посвященных 150-летию Ф. К. Волкова (Клейн 1997) и А. А. Спицына (Клейн 2008а); 100-летию М. И. Артамонова (Клейн 1998б) и Г. Ф. Корзухиной (Клейн 2006), Н. П. Кондакову (Клейн 2005). Все доклады на этих конференциях являлись попыткой определить место и роль этих ученых в истории мировой и отечественной археологии, соотнести их творчество с ведущими направлениями в науке и развитием ее методологии. На конференции, посвященной 70-летию исторического факультета, Л. С. Клейн впервые представил свою классификацию типажей российских ученых прошлого, основанную на их специфической роли в истории науки (Клейн 2004). Позднее она была использована в его двухтомнике по истории российской археологии.

На уже упоминаемой конференции в Берлинском университете мне выпала честь представить наш совместный доклад о начале университетской археологии в России (Клейн, Тихонов 2006). В материалах конференции по истории археологии, прошедшей в 2004 г. в Гетеборге, Л. С. Клейн поместил заключительный обзор представленных на ней пленарных докладов (Клейн 2004).

Л. С. Клейн написал несколько рецензий на вышедшие за рубежом издания по истории археологии: на сборник, посвященный проблемам взаимоотношения археологии и идеологии в Германии в XX в. (Клейн 2007); на статью Г. Коссака об истории и современном состоянии первобытной археологии в Германии в норвежском археологическом журнале (Клейн 1993б); на фундаментальный труд немецкого профессора Г. Грюнерта о биографии Г. Коссины (Клейн 2008б). Рецензированию подверглось второе издание «Истории археологической мысли» Брюса Триггера (Клейн 2007), а после кончины канадского ученого, последовавшей в 2006 г., Лев Самуилович, отдавая дань памяти коллеги, опубликовал статью, анализирующую его роль в мировой археологии и ее истории (Клейн 2008).

В оксфордском справочнике по археологии появилась статья об истории европейской археологии до 1900 г. (Клейн 1996). Особо следует отметить участие в первой и пока единственной «Энциклопедии по истории археологии», изданной под редакцией австралийского профессора Тима Марри. Кроме общего очерка о России, Лев Самуилович поместил там биографические очерки о Г. Косинне, Г. Шлимане, Н. П. Кондакове, В. А. Городцове (Клейн 1999а, б, с, d).

Но это все было всего лишь прелюдией! Свои основные труды по историографии Л. С. Клейн выпустил в свет, перешагнув порог восьмидесятилетия. В 2009 г. вышли сразу две книги, в которых историографическая составляющая играет заметную роль. Монография о «Новой археологии» (Клейн 2009а) детально разбирала теоретические основы одного из самых заметных и влиятельных направлений в археологии США и Западной Европы в 1960–1970-е гг. Дитя эпохи научно-технической революции — новая археология с ее ориентацией на точные и естественные науки, с попытками придать процедуре исследования

артефактов строго научный характер, сыграла очень заметную роль и в развитии теоретической базы археологии, и в применении конкретных методов изучения материала. Начало создания основной части этой книги было положено Л. С. Клейном еще в 1970-е гг. Протоколы заседания кафедры археологии ЛГУ за 1972/1973 учебный год сохранили записи об изменении темы его будущей докторской диссертации. Новая тема формулировалась как «Новая археология. Критический анализ современного направления археологии Запада», и книгу с таким названием было предложено включить в план изданий Исторического факультета ЛГУ на 1974 г. (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 24. Д. 267. Л. 60б, 160б.). О непростой судьбе этой рукописи, утерянной в Новосибирске, автор написал в предисловии (Клейн 2009а: 9). Прошло 35 лет, и книга вышла, правда, издал ее уже Донецкий национальный университет. Так что рукописи не гора, но иногда теряются, и, слава богу, потом находят!

Вторая книга — «Спор о варягах» (Клейн 2009б) была посвящена продолжающейся с середины XVIII в. дискуссии о роли норманнов на ранних этапах русской истории. К сожалению, и тогда, и позднее дискуссия очень часто выходила за рамки науки и приобретала политический и идеологический характер. Начало такому подходу положил еще Михайло Ломоносов, обвинив своего оппонента Г. Ф. Миллера в «политических ошибках» и апеллируя к властям. Книга содержит обстоятельный экскурс в историографию проблемы, биографический очерк о Миллере, детальное описание легендарной «варяжской дискуссии», состоявшейся в декабре 1965 г. на историческом факультете ЛГУ.

В 2010 г. вышли из печати мемуары Л. С. Клейна (Клейн 2010), пополнив полку воспоминаний, написанных археологами. До 1995 г. — посмертного выхода книги воспоминаний Б. Б. Пиотровского (Пиотровский 1995) (книги Б. Г. Федорова, М. Е. Массона, В. Я. Янина являлись не мемуарами, а рассказами о своей работе) такого жанра в литературе по истории отечественной археологии не существовало вовсе. Зато в первые полтора десятилетия XXI в. вышли в свет более десятка подобных трудов, созданных археологами прошлого или нашими современниками (см.: Тихонов 2015: 310). Но даже в этой немалой серии мемуары Л. С. заняли особое место. Строго говоря, это и не совсем воспоминания в привычном мемуарном стиле. В подзаголовке обозначено: «автобиография в монологах и диалогах», но и это не совсем точно. Существенную часть текста составляют отрывки из книг Л. С. Клейна, подобно цитатам, иллюстрирующие те или иные рассуждения автора. Лоскутный характер текста иногда затрудняет общее восприятие материала, а иногда наоборот делает его более выпуклым и четким. В немалой степени этому способствует использование в книге материалов многочисленных интервью, личной переписки, широкое привлечение различных документов. Книга хорошо проиллюстрирована, снабжена библиографией и указателями. Ну а без определенной степени субъективизма отдельных оценок и суждений, особенно о коллегах, представить себе мемуарный жанр вообще не возможно!

Трудный путь «вхождения в науку» по воспоминаниям Клейна представлен всеми этапами: от учительства через аспирантуру к началу преподавания в университете. Именно в этой главе автор уже полностью погружает читателя в глубины археологической науки и археологических источников. Одна за другой появляются на страницах книги «катакомбная культура», «спор о варягах», «прародина индоариев» и другие проблемы археологии, которыми жил научный мир 1950–1970-х годов. Рядом с наукой — личные дела и простые человеческие

проблемы, о которых автор тоже пишет с большим юмором. Романтические стихи, сопровождающие эти страницы воспоминаний, говорят о бесспорном поэтическом таланте автора (воистину: талантливый человек талантлив во всем!).

В разных главах книги мы имеем возможность познакомиться с обширным кругом научных проблем, к решению которых Л. С. Клейн обращался в разные периоды своей творческой работы: это земледельческий энеолит, культуры боевых топоров и шнуровой керамики Центральной Европы, бронзовый век степей, скифские и сарматские памятники, происхождение славян, норманнские древности, египетская хронология, филологические труды, посвященные составу Гомеровского эпоса, и многое другое. Взгляды автора часто радикально расходились с взглядами официальной советской науки и идеологии, создавая тернии на его пути, которые Л. С. Клейн преодолевал благодаря своему таланту, твердости характера, трудолюбию и внутренней дисциплине. Продолжает он отстаивать свою позицию и сейчас, часто выступая с публицистическими статьями и заметками по различным вопросам научной и общественно-политической жизни на страницах газеты «Троицкий вариант». Поэтому во многих местах автобиографическая книга приобретает остропублицистический характер. Так, например, ее заключительная часть и приложения содержат оценку положения дел в современной российской археологии, науке и высшей школе в целом, и даже мнение автора об уровне общественного состояния в нынешней России. Название книги, понятное только знакомым с романом советских писателей-фантастов братьев Стругацких «Трудно быть богом», порождено случайным эпизодом. Одну из своих давнишних рецензий на английский сборник об австралийских аборигенах Клейн, проводя сравнение участников сборника с героями романа Стругацких, назвал «Трудно быть богом» (Klejn 1993c). В Москве была пущена острота, что Клейн подготовил автобиографию с подобным названием. Корректируя по-своему эту остроту, Л. С. и назвал свою реальную научную автобиографию «Трудно быть Клейном».

В 2011 г. выходит «История археологической мысли» в двух томах (Клейн 2011). Книга эта беспрецедентна в нашей литературе! До ее выхода в ответ на вопрос студентов перед экзаменом: «Что нам почитать по истории зарубежной археологии?» я был вынужден отвечать — «Монгайта», имея в виду историографическую главу в первом томе «Археологии Западной Европы», написанной А. Л. Монгайтом почти полвека назад (Монгайт 1973: 10–59). Конечно, были еще «История зарубежной этнографии» С. А. Токарева (Токарев 1978), публикации по отдельным персоналиям или проблемам, но обобщающих работ не было. По объему, всеохватности, степени детализации, хронологическим и географическим рамкам, концептуальности и структурированности книга Л. С. Клейна значительно превосходит все, что было создано на русском языке на эту тему. Превосходит и зарубежные аналоги, прежде всего книгу Б. Триггера с аналогичным названием (Trigger 1989).

В мировой истории археологии наряду с многочисленными монографическими изданиями, или посвященными отдельным этапам и разделам сложения археологии как области знания и научной дисциплины, или рассматривающими эти процессы в отдельных странах, или рассказывающими об известных археологах прошлого, не так уж много работ, претендующих на полноту охвата всего материала, связанного с историей археологии. Книги Г. Кюна, Г.-Ю. Эггерса, К. Керама, Г. Даниела, Я. Малины и З. Вашичека, Б. Триггера, А. Шнаппа, У. Стибинга и других авторов стали серьезным вкладом в изучение истории

археологии. Все они обладали массой достоинств, неповторимой индивидуальностью, как то: занимательность Керама, немало популяризовавшего археологию; фундаментальность Шнаппа, собравшего все, что было возможно, по самым ранним периодам становления археологии; теоретическая обоснованность Триггера, рассмотревшего историю археологической мысли в связи с общественным развитием; методологическая строгость и концептуальность Даниела и т. д. Правда, следует помнить, что многие из них вышли в свет уже достаточно давно, и естественно не могли учесть новые открытия или течения в археологии, появившиеся во второй половине или даже в последней четверти XX столетия.

Книга Л. С. Клейна, проработавшего огромный массив литературы не только монографического, но и частного характера, вобрала в себя многие вышеуказанные достоинства. Она и занимательна, и фундаментальна, и теоретически обоснованна, и методологически строга. Она охватывает всю историю археологии от самых ранних свидетельств об интересе людей к вещественным древностям в эпоху Древнего мира до теоретических концепций и школ конца XX века. При этом в ней присутствуют и анализ теоретических основ археологии в разные периоды, и история наиболее значимых открытий и трудов, и биографические сведения о выдающихся археологах, и общественный резонанс, вызываемый археологией.

Текст хорошо структурирован, каждая глава делится на разделы, связанные между собой строгой логичностью. Библиографическая, она же и источниковедческая база, поскольку архивные источники не привлекались, чрезвычайно обширна и близка к исчерпывающей. Л. С. Клейн имел возможность много работать в зарубежных библиотеках. Это для русскоязычного читателя имеет большое значение в связи с тем, что очень многих используемых публикаций в российских библиотеках попросту нет. А использование архивных источников вообще не характерно для историографических работ Л. С. Клейна. Это не его стезя, поскольку его кредо — это синтез, обобщение и критический анализ, стремление уловить и нарисовать общую картину, подчас не вдаваясь в детали. Подобный подход характерен для представителей старших поколений современных российских археологов, пишущих об истории своей науки. В таком же ключе создавали свои работы А. В. Арциховский, А. А. Формозов, А. Л. Монгайт, Д. Л. Бродянский, Г. С. Лебедев, А. Д. Пряхин, В. И. Гуляев и др. Для представителей следующей генерации совершенно очевидно, что без опоры на документальные материалы, отложившиеся в архивах, полной и достоверной истории науки быть не может.

Конечно, в столь большом тексте при таком огромном охвате материала оказались неизбежны некоторые ошибки и неточности, которых легко можно было бы избежать, если проводить обсуждение до, а не после выхода книги. Подробное обсуждение монументального труда Л. С. Клейна состоялось на заседании Методологического семинара ИИМК РАН в феврале 2012 г. (Обсуждение 2013). Можно найти ряд неточностей в изложении научных биографий и взглядов Н. П. Кондакова, Б. В. Фармаковского, других персонажей. Не убеждает меня выделение «комбинационизма» как особого направления, присущего школе Н. П. Кондакова. На мой взгляд, нет ничего принципиального, что отличало бы работы этих российских ученых от диффузионизма, становившегося все более популярным в европейской науке с конца XIX в. В некоторых случаях стремление Л. С. Клейна четко выделить отдельные школы и направления



вступает в противоречие с историческими фактами и не учитывает возможность сочетания в творчестве одного исследователя довольно противоречивых взглядов, относящихся к разным подходам и направлениям. А вот представление о том, что различные парадигмы могут не сменяться, а сосуществовать и конкурировать друг с другом, абсолютно верно.

Есть, на мой взгляд, и некая разница между первым и вторым томом. В первом томе излагается практически полная история археологии почти до середины XX в., там присутствует много информации о раскопках и открытиях, изданиях, деятельности учреждений, объединений и музеев, занимающихся археологией. Примечательно, что вслед за А. Шнаппом автор начинает рассмотрение истоков археологии с древнего мира и большое внимание уделяет такому знаковому явлению для европейской культуры, как антикварианизм. Второй же том является в большей степени историей теоретической археологии, сформировавшейся при активном участии самого Л. С. Клейна во второй половине XX в. Для него это не история, а большая часть собственной научной жизни и творчества. Здесь фигурируют только те археологи, которые, по мнению Л. С. Клейна, внесли какой-то вклад в развитие археологической теории или совершенствование методов археологического исследования. Для него главное в истории науки — движение мысли, развитие ее теоретической базы. Конечно, могут быть и другие подходы: «Можно изучать историю коллекционирования и создания музеев, поскольку без накопления коллекций археология невозможна. Несомненный интерес представляет история возникновения и развития научно-исследовательских учреждений, что иллюстрирует процесс движения науки. Захватывающе интересна история археологических раскопок, показывающая постепенное наполнение древнейшей истории человечества конкретным содержанием, открытие исчезнувших цивилизаций. Практическое значение имеет история развития теоретической мысли, не говоря уже о постоянно волнующей борьбе идей на этом поприще. Несомненно, интересны биографии отдельных археологов, практически необходимо знакомство с ними, так как личность исследователя накладывает отпечаток на результаты его труда. Наконец можно сосредоточиться на истории законодательства, касающегося археологии, что отражает отношение общества к своему прошлому» (Каменецкий 2006: 3). У Клейна это именно «история археологической мысли», так что такой подход вполне оправдан.

По своему жанру это, конечно, курс лекций, этим объясняется и некоторая дидактичность изложения, и наличие вопросов после каждой главы для «самостоятельной работы». Курс блестящий, вероятно, лучший из когда-либо читавшихся на эту тему. Для российских студентов, изучающих археологию, это издание, несомненно, станет основным пособием по истории зарубежной археологии и намного облегчит им жизнь при подготовке к экзамену по историографии. Как отметил сам Лев Самуилович, этот курс был всегда любимым для него (Клейн 2011: 6). Начало ему было положено еще в 1960-е гг. на кафедре археологии ЛГУ, т. е. не будет преувеличением сказать, что книга эта создавалась почти полвека и вобрала в себя мудрость и опыт мэтра.

Но тем более обидно, что такой замечательный текст не получил самого высокого, соответствующего уровню и статусу (и книги и автора), полиграфического оформления. Мелковатый шрифт, плотные строчки, маленькие поля осложняют для читателя восприятие столь большого объема информации. Никак не могу согласиться с мнением рецензентов, отмечающих «ценность многочисленных

иллюстраций: исключительно полный портретный ряд ученых, живописные и фотоизображения множества “рабочих моментов” на раскопках эталонных памятников, пейзажи и интерьеры полевой и камеральной работы с древностями» (Тункина, Щавелев 2013: 237). На мой взгляд, иллюстративный ряд мог бы быть значительно богаче и разнообразнее. Почти нет изображений археологических памятников и их раскопок, где и должна начинаться мысль. Цветных иллюстраций, хотя бы на вклейке, тоже нет, преобладают черно-белые портреты ученых небольшого размера, более подходящие для энциклопедии или справочника. Если мы сравним двухтомник по этим параметрам с книгами зарубежных авторов, например, с прекрасно иллюстрированной работой А. Шнаппа (Schnapp 1996), сравнение, увы, явно будет не в нашу пользу. Полагаю, что это случилось, потому что подбором иллюстраций занимались недостаточно опытные и компетентные в этой области лица. Суперобложка, на которой так много лиц, в итоге оказалась «безликой», потому что так могла бы быть оформлена книга и по истории математики или философии, в ней нет ничего «археологического». Винкельман — фигура, безусловно, более чем достойная, но вряд ли его портрет может символизировать собой развитие археологической мысли к XXI веку. Впрочем, все эти упреки по части оформления в адрес не автора, а издательства, которое и так задержало выход книги на несколько лет.

На мой взгляд, это лучшая книга Л. С. Клейна из тех, что уже вышли в свет (самая лучшая, смеем надеяться, как положено, должна быть впереди!). Это, конечно, не значит, что автор подвергает сомнению достоинство и значение других уже опубликованных книг Льва Самуиловича. Просто с его концепциями в области теории и методологии археологической науки можно соглашаться или спорить, принимать или отвергать их полностью или частично. Эта же книга бесспорна, с гигантским материалом, изложенным и систематизированным в ней в соответствии с оригинальной авторской концепцией, не соглашаться нельзя.

Археология и ее история как науки не только исторической, но и, в значительной степени, культурологической, на ранних этапах тесно связанной с историей искусства и развитием европейской культуры, всегда привлекали внимание не только специалистов, но и самых широких читательских масс. Поэтому уверен, что круг читателей данной книги будет значительно шире археологической аудитории. Такого полного свода по истории археологии нет ни на одном из европейских языков. Поэтому было бы очень полезно ее издание на английском языке.

В 2014 г. вышло сразу два издания, продолживших труды Л. С. Клейна в области истории науки. «История антропологических учений» (Клейн 2014а) также имеет прямое отношение к истории археологии, поскольку очень многие идеи и теории приходили в археологию именно из антропологии и этнологии. Как одновременно учебник, концептуальную монографию и справочник охарактеризовал эту книгу рецензент Ю. Е. Березкин (Березкин 2015: 243).

В том же году появился двухтомник, посвященный истории российской археологии (Клейн 2014б; 2014в). Первый том содержит небольшие очерки, рисующие общую картину развития отечественной археологии. Первый из них описывает событийную историю, второй — историю развития археологической мысли в России. Во многом здесь использованы материалы «Феномена советской археологии» Отсюда, наверное, и излишняя политизация, публицистичность стиля, и в некоторых случаях даже поверхностность. К перечню мелких

ошибок, ляпов и неточностей, ранее приведенных в уже опубликованных рецензиях (Васильев 2016; Щавелев 2016), можно было бы добавить еще немало. Например, на с. 32 утверждается, что известная российская государственная реликвия «шапка Мономаха» «была изготовлена восточными мастерами Казанского ханства». Между тем обычно ее связывают с ханом Узбеком и датируют второй половиной XIII — началом XIV в., а Казанское ханство, как известно, возникло только в XV в. после распада Золотой Орды. Весьма оригинальной выглядит версия о том, что «истинным родоначальником Петровских реформ» был его старший брат Федор (с. 34). Не очень понятно употребление термина «археология» при рассмотрении реалий XVIII в. (с. 37). В то время в русском языке вообще не существовало такого термина, да и в Европе он появляется только в 1760-е гг. в лекциях геттингенского профессора Х.— Г. Гейне. Весьма странно выглядит пассаж о начале сбора антиков в Императорском Эрмитаже: «Закупка классических древностей на Западе возросла, а в 1768 г. (через год после гибели Винкельмана) был открыт построенный возле Зимнего дворца Эрмитаж — специально для царских коллекций античного искусства и европейской живописи Ренессанса... новое здание было заполнено именно древностями, причем преимущественно как раз предметами классического искусства. Собрание античных гемм Екатерины II насчитывало 10 тысяч камней...» (с. 38). По этому поводу можно заметить, что единственной крупной покупкой антиков в XVIII в. являлось приобретение коллекции античной скульптуры Д. Лайд-Брауна в 1785 г. Винкельман погиб как раз в 1768 г. (это конечно, просто описка, потому что Л. С. Клейн, написавший очерк о Винкельмане, не может не знать этого). Если имеется в виду Малый Эрмитаж, то он был построен в 1763–1767 гг. Около десяти тысяч резных камней насчитывала вся коллекция гемм Екатерины II, античных среди них было значительно меньше. Как показывает изданный в 1828 г. путеводитель по Эрмитажу, античные древности занимали в то время его экспозициях ничтожное место (Тихонов 2014: 471–472).

Вряд ли можно считать раскопки кургана «Литая могила» проведенными «с изрядной по тому времени фиксацией» (с. 39), если не было сделано ни плана, ни словесного описания как лежали находки. Л. С. Клейн ошибается, когда утверждает, что впервые в русский язык термин «археология» был введен переведенным немецким изданием «Ручная книга древней классической словесности, содержащая археологию...» И.-И. Эшенбурга (с. 40). Первый том этого издания появился только в 1816 г., а в уставе Московского университета 1804 г. уже фигурировала кафедра «теории изящных искусств и археологии». Я об этом писал еще в 2003 г. (Тихонов 2003: 24).

На с. 43 утверждается, что Боспорские древности в 1854 г. были изданы «под редакцией руководителя отдела Эрмитажа академика Л. Э. Стефани». В действительности же начальником I отделения, в котором хранились эти древности, был Ф. А. Жиль. Он также был и инициатором, и руководителем этого издания. На этой же странице ниже можем прочитать, что возникшее в 1846 г. в Петербурге Археолого-нумизматическое общество имело «сугубо классическую ориентацию» и издавало свои труды исключительно на французском языке. Здесь Л. С. повторяет расхожий тезис, запущенный в оборот А. А. Формозовым. Интересно, как это согласуется с первым параграфом устава общества, который гласил: «Цель Общества будет состоять не только в изучении классической археологии в собственном ее смысле, но и в особенности археологии и нумизматики новейших времен стран западных и восточных» (Веселовский

1900: 12). Интересы создателей общества были сосредоточены на нумизматике, а первые тома «Записок» общества с 1847 г. выходили параллельно на французском и русском языках.

Раскопки Десятинной церкви в Киеве, инспирированные митрополитом Евгением Болховитиновым, начались в 1824 г., а не в 1827 г., как указано в тексте (с. 45). Можно поспорить с опять-таки повторяемым вслед за А. А. Формозовым тезисом о прекращении исследований по каменному веку вследствие наступления реакции в 1880-е гг. (с. 52). Отсутствие кафедр антропологии в русских университетах не мешало работать и даже создать Антропологический музей при Московском университете Д. Н. Анучину. В Петербургском университете на кафедре географии и этнографии преподавали Э. Ю. Петри, Д. А. Корочевский, Ф. К. Волков. Трудно согласиться с мнением, что крупных исследований по палеолиту не было с 1883 по 1920 г. А работы и публикации Ф. К. Волкова, П. П. Ефименко, П. А. Путятина, А. А. Спицына? Или крупными исследованиями Л. С. Клейн предлагает считать только монографии?

Называя А. А. Спицына и В. А. Городцова «влиятельными» археологами к концу XIX столетия (с. 55), Л. С. переносит то значение, которое оба приобрели в науке начиная со второй трети XX в., и особенно их место в истории археологии по современным представлениям, на ту далекую пору. В те времена ни тот, ни другой никакого особого влияния не имели, никаких руководящих постов нигде не занимали и воспринимались окружающими как рядовые работники. Некоторые коллеги вообще не понимали смысла их деятельности, так, товарищ председателя Русского археологического общества граф И. И. Толстой записывал в своем дневнике: «Бедный Спицын — несомненно замечательно туп и не ему заниматься наукой!.. Докладчиком был Спицын, причем его изложение было образцом ненаучного отношения к предмету» (Толстой 1997: 259, 261).

На с. 60 утверждается, что в 1923 г. Археологическое отделение факультета общественных наук (ФОН) МГУ было «преобразовано в Институт археологии и искусствознания, возглавленный Луначарским». В действительности же это две различных структуры: учебная, которая в конце 1923 г. при слиянии с художественным циклом литературно-художественного отделения образовала отделение археологии и искусствознания, после разделения ФОН в 1925 г. вошедшее в состав этнологического факультета под названием «Историко-археологическое отделение», и научно-исследовательский институт археологии и искусствознания, созданный в 1921 г. при ФОН и позднее выделенный в РАНИОН (Янин, Канторович 2015: 7; Кузьминых, Белозерова 2017).

Конечно, эти краткие главы не могут претендовать на полное изложение этого материала на таком уровне, какой мы видели в «Истории археологической мысли». Они скорее служат введением или фоном к основному содержанию книги — биографическим очеркам о 59 археологах прошлого. Сгруппированы эти очерки по характеру их научной деятельности и той роли, которую, по мнению автора, они играли в истории науки. В первый том вошли биографии дореволюционных ученых, а во второй — жизнеописание деятелей советской эпохи. Многих из археологов советской поры Л. С. Клейн знал лично и мог поделиться своими собственными впечатлениями от общения с ними. Биографии исследователей изложены очень ярко и образно, читать их захватывающе интересно. И это притом что практически о каждом из приведенных персонажей уже были какие-либо публикации. Автор проделал колоссальную работу по выявлению и суммированию огромного разрозненного материала и сумел внести свои,

правда, иногда очень субъективные, черты в портреты героев. Такого полного сборника биографических очерков об отечественных исследователях древности у нас ранее не было. Можно много спорить, почему выбраны были те или иные фигуры, а какие-то, может быть, не менее достойные, оказались обойдены вниманием. Но это, в конце концов, дело автора, тем более что он оговорил свои принципы отбора, и за немногими исключениями на страницах этой книги представлено большинство ведущих фигур отечественной археологии.

Очень наглядно проявился в этой книге и основной принцип и подход Л. С. Клейна к истории археологии, выражающийся в стремлении внести строгую упорядоченность, систематизацию и классификацию в рассматриваемый материал. Эмпирическое изложение не для него, его кредо — синтез и обобщение, максимальный охват, подведение концептуальной базы, картина прошлого науки широкими мазками.

Историографический аспект присутствует и в вышедшей совсем недавно научно-популярной книге Л. С. Клейна, посвященной сарматским курганам (Клейн 2016а). Рассматривается история раскопок и изучения кургана Хохлач в Новочеркасске, начавшаяся еще в 1864 г., а также проводившиеся через столетие самим Л. С. Клейном там же раскопки Садового кургана. В обеих историях есть и некий детективный след, связанный с пропажей части вещей, что делает чтение этой книги еще более увлекательным.

В октябре 2016 г. Л. С. Клейн принял участие в работе Международной научной конференции «Университетская археология: прошлое и настоящее», посвященной 80-летию кафедры археологии СПбГУ, поделившись с участниками своими соображениями о совершенствовании университетской подготовки археологов (Клейн 2016б). Мало кому удастся дожить до столь почтенного возраста, сохранив удивительную работоспособность, которой могут позавидовать и молодые исследователи, полную ясность ума, творческие и жизненные силы, острое перо, чувство юмора, подтянутость и элегантность. Остается только пожелать юбиляру все это сохранять и дальше, и надеяться на выход новых интересных и увлекательных работ по истории археологии.

## Список литературы

- Березкин Ю. Е.* 2015. Рец. на книгу: Клейн Л. С. История антропологических учений / под ред. Л. Б. Вишняцкого. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2014. 744 с. // Антропологический форум 24, 242–252.
- Васильев С. А.* 2016. История археологии российской от Мессершмидта до Формозова (Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Т. 1. Общий обзор и дореволюционное время. 704 с.; Т. 2. Археологи советской эпохи. 640 с. СПб.: Евразия, 2014) // SP 1, 339–350.
- Веселовский Н. И.* 1900. История Императорского Русского Археологического общества за первое пятидесятилетие его существования 1846–1896. СПб.
- Каменецкий И. С.* 2006. Археология: История раскопок и историография. Лекционный курс по специальности «Музейное дело и охрана памятников культуры». М.: МГУКИ.
- Клейн Л. С.* 1961. Научная деятельность М. И. Артамонова // Исследования по археологии СССР. Сб. статей в честь М. И. Артамонова. Л.: ЛГУ, 5–6.
- Клейн Л. С.* 1968а. К семидесятилетию М. И. Артамонова // СА 4, 151–156.
- Клейн Л. С.* 1968б. Вопросы первобытной археологии в произведениях Маркса и Энгельса // Вестник Ленинградского университета 8, 38–43.

- Клейн Л. С. 1968в. Связь археологии и этнографии по К. Марксу и современная наука // Тезисы докладов годичной сессии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР. Л., 15–17.
- Клейн Л. С. Шилов В. П. 1968. Выдающийся исследователь скифской культуры (К семидесятилетию проф. М. И. Артамонова) // ВДИ 4, 190–191.
- Клейн Л. С. 1970. Фридрих Энгельс как исследователь раннегерманского общества // СЭ 5, 20–32.
- Клейн Л. С. 1993. Феномен советской археологии. СПб.: Фарн.
- Клейн Л. С. 1993а. Археология предреволюционной России // Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конф. (11–13 декабря 1990 г.). СПб.: СПбГУ, 4–6.
- Клейн Л. С. 1995. Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии. Рец. на: Лебедев Г. С. История отечественной археологии 1700–1917. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1991 // Тихонов И. Л. (ред.). Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб.: СПбГУ, 173–183.
- Клейн Л. С. 1997. Российское палеоэтнологическое направление в контексте мировой археологии // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Междунар. конф., посвященной 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб.: СПбГУ, 49–52.
- Клейн Л. С. 1998а. Генрих Шлиман в Петербурге // Шлиман, Петербург, Троя. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург, 19 июня — 18 октября 1998 года. СПб.: Славия, 8–15.
- Клейн Л. С. 1998б. Место М. И. Артамонова в истории российской археологической мысли // Скифы, хазары, славяне, Древняя Русь. К 100-летию со дня рождения М. И. Артамонова. Санкт-Петербург, 9–12 декабря 1998 г. Тезисы докладов. СПб.: ГЭ, 18–20.
- Клейн Л. С. 2004. Типы ученых в истории российской археологии // Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и исторической науки. Мат-лы юбилейной конф., посвященной 70-летию исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: СПбГУ, 230–231.
- Клейн Л. С. 2005. Византиец // Кондаковские чтения. I. Проблемы культурной преемственности. Мат-лы I междунар. науч. конф. Белгород: Изд-во Белгородского ун-та, 5–24.
- Клейн Л. С. 2006. Из кладов России: Г. Ф. Корзухина // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Междунар. науч. конф., посвященная 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 10–15 апреля 2006 г. СПб.: Нестор-История, 7.
- Клейн Л. С. 2007. Археология и идеология: немецкая археология при двух диктатурах. Рец. на сборник: Harke H. (ed.) *Archaeology, ideology and society: The German experience*. Peter Lang, Frankfurt a.M. et al. [Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel. Bd.7], 2000 // SP 3, 384–389.
- Клейн Л. С. 2008а. Место А. А. Спицына в мировой археологии // Носов Е. Н., Тихонов И. Л. (ред.). История и практика археологических исследований. Мат-лы Междунар. науч. конф., посвященной 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, профессора Александра Андреевича Спицына. СПб.: СПбГУ, 61–72.
- Клейн Л. С. 2008б. Облик Косинны на пороге нового века (новая биография Косинны в труде Г. Грюнерта) // АВ 15, 234–237.
- Клейн Л. С. 2009а. Новая археология. Критический анализ теоретического направления в археологии Запада. Донецк: Изд-во Донецкого ун-та.
- Клейн Л. С. 2009б. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб.: Евразия.
- Клейн Л. С. 2010. Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах. СПб.: Нестор-История.

- Клейн Л. С. 2011. История археологической мысли. В 2 т. СПб.: СПбГУ.
- Клейн Л. С. 2014а. История антропологических учений. СПб.: СПбГУ.
- Клейн Л. С. 2014б. История российской археологии. Учения, школы и личности. Т. 1. Общий обзор и дореволюционное время. СПб.: Евразия.
- Клейн Л. С. 2014в. История российской археологии. Учения, школы и личности. Т. 2. Археологи советской эпохи. СПб.: Евразия.
- Клейн Л. С. 2016а. Первый век. Сокровища сарматских курганов. СПб.: Евразия.
- Клейн Л. С. 2016б. Об идеальной среде для преподавания археологии // Мат-лы Междунар. науч. конф. «Университетская археология: прошлое и настоящее», посвященной 80-летию первой в России кафедры археологии. 19–21 октября 2016 г. СПб. (в печати).
- Кузьминых С. В., Белозерова И. В. 2017. Василий Алексеевич Городцов и Институт археологии и искусствоведения РАН ИОН: у истоков становления московской археологической школы // Мат-лы Междунар. науч. конф. «Университетская археология: прошлое и настоящее», посвященной 80-летию первой в России кафедры археологии. 19–21 октября 2016 г. СПб. (в печати).
- Монгайт А. Л. 1973. Археология Западной Европы. Т. 1. Каменный век. М.: Наука.
- Обсуждение 2013. Обсуждение книги Л. С. Клейна «История археологической мысли» на методическом семинаре ИИМК РАН // РАЕ 3, 583–608.
- Пиотровский Б. Б. 1995. Страницы моей жизни. СПб.: Наука.
- Тихонов И. Л. 2003. Археология в Санкт-Петербургском университете. Историографические очерки. СПб.: СПбГУ.
- Тихонов И. Л. 2014. Археология в Императорском Эрмитаже // РАЕ 4, 470–552.
- Тихонов И. Л. 2015. Много историй одной науки (о различных жанрах в истории археологии) // КСИА 240, 302–317.
- Толстой И. И. 1997. Дневник 1906–1916. Публ. Л. И. Толстой. СПб.: Фонд регион. развития Санкт-Петербурга.
- Токарев С. А. 1978. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа.
- Тункина И. В., Щавелев С. П. 2013. Мысль об истории мысли: когнитивный портрет развития мировой археологии // Эпистемология & философия науки XXXVIII (4), 235–240.
- Щавелев С. П. 2016. Отечественная археология в лицах: версия Льва Клейна (Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Т. 1. Общий обзор и дореволюционное время. 704 с.; Т. 2. Археологи советской эпохи. 640 с. СПб.: Евразия, 2014) // SP 1, 351–364.
- Янин В. Л., Канторович А. Р. 2015. К 75-летию кафедры археологии исторического факультета МГУ // Исторические исследования 3, 5–45.
- Bulkin V. A., Klejn L. S., Lebedev G. S. 1982. Attainments and problems of Soviet archaeology // WA 13, 272–295.
- Klejn L. S. 1974. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren // Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 58, 7–55.
- Klejn L. S. 1977. A panorama of theoretical archaeology // CAn 18, 1–42.
- Klejn L. S. 1993a. La arqueología soviética. Historia y teoría de una escuela desconocida. Con prefacio de G. Ruiz Zapatero. Barcelona: Crítica.
- Klejn L. S. 1993b. Is German archaeology atheoretical? Comments on Georg Kossack. Prehistoric archaeology in Germany: its history and current situation // NAR26, 49–54.
- Klejn L. S. 1993c. It's difficult to be a god (Yoffee and Sherratt's Archaeological theory: Who sets the agenda?) // CAn 34, 508–11.
- Klejn L. S. 1994. Childe and Soviet archaeology: a romance // Harris D. R. (ed.). The archaeology of V. Gordon Childe. Contemporary perspectives. London: UCL Press, 75–90.
- Klejn L. S. 1996. History of archaeology before 1900. European archaeology // Brian M. Fagan (ed.). The Oxford Companion to Archaeology. New York — Oxford: Oxford University Press, s. v. History of archaeology, 286–287.

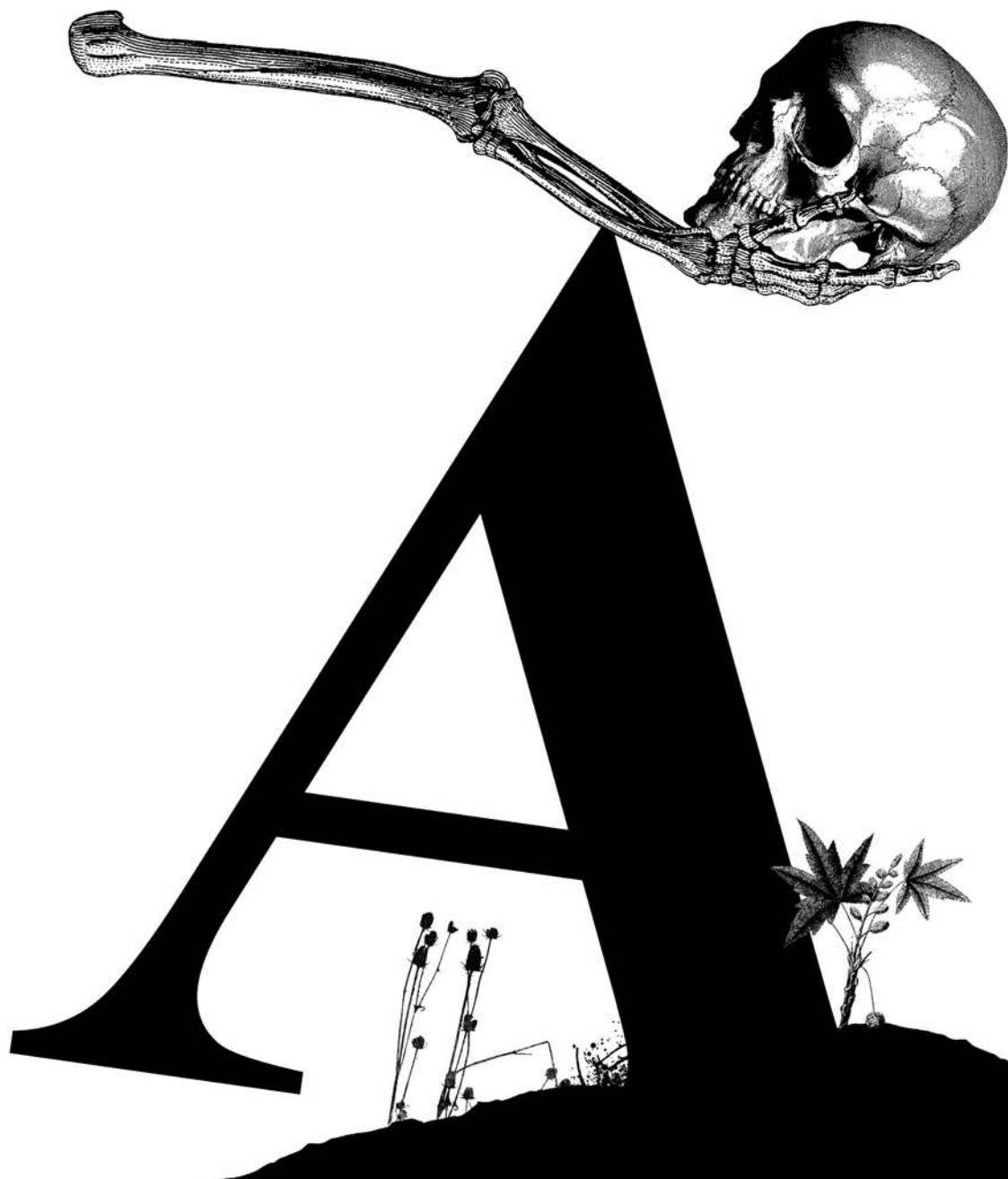
- Klejn L. S. 1997. Das Phänomen der Sowjetischen Archäologie: Geschichte, Schulen, Protagonisten. Übersetzt von D. Schorkowitz unter Mitwirkung von W. Kulik. Berlin: Peter Lang.
- Klejn L. S. 1999a. Gustaf Kossinna // Murray T. (ed.). *Encyclopedia of Archaeology: The Great Archaeologists*. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clío, 233–246.
- Klejn L. S. 1999b. Heinrich Schliemann // *Ibid.*, 109–125.
- Klejn L. S. 1999c. Vasily Alekseevich Gorodcov // *Ibid.*, 247–262.
- Klejn L. S. 1999d. Nikodim Pavlovich Kondakov // *Ibid.*, 165–174.
- Klejn L. S. 2004. Histories of archaeology: The view from Petersburg (Concluding comments) // *Histories of archaeology: archives, ancestors, practices*. Göteborg, 17–19 June 2004. Göteborg University — Institut national d'histoire de l'art — Archives of European archaeology. Göteborg, 44–47.
- Klejn L. S. 2007. Review of Trigger's *History of archaeological thought*, Second edition // *European Archaeological Journal* 9, 141–143.
- Klejn L. S. 2008. Bruce Trigger in world archaeology // *Bulletin of the History of Archaeology* 18 (2), 4–12.
- Klejn L. S., Tikhonov I. L. 2006. The beginning of university archaeology in Russia // Callmer J., Meyer M., Struwe R., Theune Cl. (Hrsg.). *Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890–1930) im europäischen Vergleich*. Berlin, Internationale Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin ... März 2003 (Berliner Archäologische Forschungen, Bd. 2). Rahden, Westf., Verlag Marie Leidorf, 197–208.
- Schnapp A. 1996. *The discovery of the past. The origins of archaeology*. London: British Museum Press.
- Trigger B. 1989. *A history of archeological thought*. Cambridge University Press (2<sup>nd</sup> ed. 2006).





# История археологии

Наука, люди, судьбы





T. Murray

## Does the history of archaeology serve a practical purpose?

**Abstract.** After a long period at the margins of archaeology, the history of archaeology has begun to find its way into the disciplinary mainstream. Nonetheless little consideration has yet been given to the value of the history of archaeology in fostering critical reflection about the fundamental structures of our discipline. My primary purpose in this essay is to contribute to this reflection by arguing for the importance of the history of archaeology for the conduct of two fundamental disciplinary activities. First, in the formulation and assessment of archaeological theory. Second, in the discussion of archaeological epistemology and archaeological metaphysics that together comprise the foundations of a coherent philosophy of archaeology.

**Keywords:** history of archaeology, theory, epistemology.

**Т. Мюррей. Служит ли история археологии практическим целям?** После длительного пребывания на задворках археологии история археологии попала, наконец, в мейнстрим дисциплины. Тем не менее, вопросу о ценности истории археологии для развития критического осмысления основных устоев нашей науки до сих пор уделялось мало внимания. Главная цель настоящей статьи заключается в том, чтобы стимулировать такое осмысление посредством показа важности истории археологии для успешного осуществления ее деятельности в двух основополагающих областях. Первая — это разработка и оценка археологической теории. Вторая — это обсуждение археологической эпистемологии и археологической метафизики, которые вместе составляют основы целостной философии археологии.

**Ключевые слова:** история археологии, теория, эпистемология.

### Introduction

This essay is a personal acknowledgement of the influence that Leo Klejn has had on the discipline of archaeology in general, but the history of archaeology in particular. I can well remember as a graduate student the influence of Klejn's broad discussion of archaeological theory (1977), the dialogue with Bruce Trigger (1978) and his path-breaking work on archaeological typology (1982) where I first encountered the work of Mats Malmer. When it came to editing the 5 volume Encyclopedia of the

History of Archaeology (Murray 1999–2001) I first turned to Professor Klejn for biographies of Schliemann, Kondakov, Kossinna and Gorodcov (1999a, 199b, 1999c, 199d). Klejn's superb short history of archaeology in Russia, soon followed (2001a). Between that time and the present Klejn has significantly expanded the range and nature of his contribution to archaeological thought (see eg 2001b; 2013; Trigger 2006) and provided others with important insights to his thinking about archaeology theory and the philosophy of our discipline (Kristiansen 1993; Immonen 2003; Taylor 1993).

After a long period at the margins of archaeology, the history of archaeology has begun to find its way into the disciplinary mainstream. Nonetheless little consideration has yet been given to the value of the history of archaeology in fostering critical reflection about the fundamental structures of our discipline. My primary purpose in this essay is to contribute to this reflection by arguing for the importance of the history of archaeology for the conduct of two fundamental disciplinary activities. First, in the formulation and assessment of archaeological theory. Second, in the discussion of archaeological epistemology and archaeological metaphysics that together comprise the foundations of a coherent philosophy of archaeology (see e. g. Murray 2013).

My necessarily general and superficial argument springs from the now quite banal observations that archaeologists rarely build archaeological theory, and that even those interpretive or explanatory systems they frequently borrow (from sources such as anthropology, biology, geography or cultural studies), are rarely adapted or transformed through their contact with archaeological phenomena. I take these to be worrying signs that raise issues about the significance of archaeological data, and the possibility of achieving an engagement with the past that does more than simply confirm contemporary social or cultural orthodoxies (or current *unorthodoxies*). Whether the structural properties of archaeological data can or should constrain our interpretations or explanations of them is an issue that resonates far beyond a conventional antinomy between the status of empirical and theoretical knowledge. At stake is our capacity to reflect critically about the role of archaeology in society, of our capacity to convincingly explore alternative pasts and presents, and of course our capacity to speak honestly and directly about the ways we seek understanding of archaeological phenomena.

My discussion here is based on a brief and partial consideration of a complex question: what makes archaeological interpretations or explanations convincing or believable? Analysis of the history of archaeology, and comparison with the histories of sciences such as geology and physics, indicates that notwithstanding appeals to determinate rules of scientific method, the primary basis of conviction is the cognitive plausibility of the interpretations or explanations on offer. I will develop this argument and consider its implications through a case study — that of the acceptance in the 19<sup>th</sup> century of there being a high human antiquity — which will foster a brief discussion of some of the social and cultural contexts of archaeological knowledge, specifically of the role of tradition in our discipline. It will be necessary to describe some of the more concrete epistemological consequences of tradition, but I will also outline a speculative contextual history of modern theoretical archaeology that will stress the need for practitioners to look very closely at conventional accounts of the rise and fall of processual and post-processual archaeologies between 1962 and the present. This speculative history underpins current work on the manuscript of a more encompassing analysis I have provisionally titled, with apologies to Sir Karl Popper, *The Poverty of Archaeological Theory*.

## Plausibility and tradition

One of the consequences of the turn towards critical self-reflection in archaeology has been that we now understand more about the power of tradition. Tradition guides the socialization of practitioners (especially in matters related to the goals of archaeology, problem selection, methodology and assessments of the plausibility of knowledge claims). Tradition also structures the terms in which practitioners of disciplines cognate to archaeology establish the meaning or plausibility of archaeological knowledge claims. In this sense tradition both oversees the production and the legitimation of archaeological knowledge.

Over the last twenty five years disciplinary traditions have come under close scrutiny from practitioners operating under increasingly divergent epistemic and theoretical regimes. All sides in contemporary debates about the goals of archaeology and the nature of the discipline have noted the tendency for attitudes, concepts, and categories to survive the process of “doing archaeology” unscathed. The result has been an increasingly diverse discipline where there is little effective consensus about how to evaluate knowledge claim, or the utility of interpretive perspectives.

A variety of epistemic and theoretical evaluative strategies have been tried out during this period. Epistemic strategies have tended to focus on the search for explanatory logics that have been argued to possess the twin virtues of internal coherence and the likelihood that they can take account of the special conditions of archaeological knowledge production, rather than on exploring an account of the context of discovery (which is a more broadly-based inquiry into why some kinds of arguments are deemed plausible and others are not). At the same time theoretical strategies have been somewhat more diverse, but have tended to emphasize either the nature of archaeological data (ontological matters), or the fact that the archaeological record must be understood in terms of a particular suite of theories (most often social theories).

Understanding the reasons why interpretations and explanations are found to be plausible or implausible when no evaluative consensus exists (or the pre-existing one has broken down) has proved to be a more challenging problem. Work in the sociology of science undertaken during the same period has been of some assistance here, especially in the discussion of the power of disciplines. These discussions have fostered an understanding of two important and different senses of the term ‘discipline’ — on the one hand a body of specialized knowledge and/or skills, and on the other, a political institution. While there has been no rejection of the former sense as being a critical facet of the identity of disciplines (this was also the primary concern of older-style disciplinary histories), in practice research and discussion has focused on the sense of disciplines as institutions marking-out areas of human knowledge and socializing their members.

In this latter sense disciplines act as socializing mechanisms where individual and community values and interests collide, and where practitioners acquire their perceptions of what explanations and interpretations are cognitively plausible, what theories materially advance knowledge of observable and unobservable phenomena, what problems are worth pursuing, and what methodologies are likely to yield reliable knowledge of the phenomena under review. Analysis of the disciplinary ‘culture’ of practitioners allows us to chart the ways in which social and cultural ‘givens’ (normative values) can be incorporated as privileged assumptions analytically prior to induction.

Critical self-reflection employing perspectives from both the context of discovery and the context of justification has a significant role to play in understanding plausibility in archaeology, and more studies of the sociology of archaeological knowledge are badly needed. If we recognize that values are present in archaeological statements then we need to understand the ways in which those values 'produce' an archaeological record that accords with our expectations. Of course there is the danger of adhering to a simplistic relativism here, and of arguing that the archaeological record is totally constructed by ourselves. Perceiving the fact that archaeology is social practice and that it cannot (and should not) produce ethically and politically neutral knowledge claims does not imply that "anything goes", in fact it implies the reverse. What it does mean is that practitioners need to understand much more about the traditions of their practice (the context of discovery), to reflect on the implications of this richer and more nuanced history, and to explicitly justify their acceptance or rejection of interpretations or explanations.

Critically, relativisms within archaeology (and the lack of evaluative consensus) reflect the existence of divergent perspectives and interests among the community of practitioners. Histories of archaeology that probe deeply into the context of justification have shown that practitioners rarely manage to reach the standards set by their own brands of methodological rhetoric. I have stressed the importance of plausibility in this context because I am convinced that a core part of an explanation for our failure to build coherent and relevant archaeological theory can be found in explaining why there is a distinct difference between the methodological rhetoric of archaeology (this includes all the argument about a commitment to objectivity and the rigorous assessment of hypotheses, and the need to build archaeological theory) and what archaeologists *actually do*.

Although archaeologists may well be resistant to the view that their reasons for preferring one explanation over another might well have more to do with cultural and socio-political factors than with some abstract epistemological basis of judgment, there is mounting evidence that such is the case. In this view, no matter whether one seeks assurance from either the context of justification or the context of discovery (or a combination of both), it can be argued that the values and meanings of different approaches to the past are assessed on primarily cultural (hence substantially unexamined) grounds. The presently overt bases for judgment such as testability, connectedness to other areas of knowledge, empirical fruitfulness, and synoptic power tend to act more as scientific or hermeneutical conventions appealed to in the course of argument. It is a sobering thought that covert factors such as fundamentally unexamined (but culturally meaningful) presuppositions, the inertia of tradition or worse, authority, prejudice, ignorance or fear might also have a significant role to play in establishing plausibility.

In this analysis we can speculate that the vast bulk of archaeological hypotheses never come under threat during the process of doing archaeology for one of three reasons. First, because we do not know how to derive subsidiary test implications that allow us to use archaeological data to probe core provisions of theories, assumptions or hypotheses (a shortcoming of middle range theory building). Second, because the relationships such hypotheses purport to address have no clear empirical referents (that we do not know what would constitute critical test data). Third, because practitioners find it difficult to imagine how the human past could be made intelligible without culturally meaningful, but archaeologically questionable hypotheses.

Taking this speculation a step further, while we can confidently expect that the interpretive dilemma will strike at more abstract theoretical levels, the survival of hypotheses

(and outmoded exemplars of archaeological practice) might well have more to do with the fact that our failures of theory building are hidden by the power of disciplinary tradition, than with any robustness on the part of the theoretical instruments involved. In this analysis plausibility links closely with the power of convention and disciplinary tradition, and this is one of the most compelling reasons why plausibility matters, and why we need to understand a great deal more about how it operates in our practice.

### **The consequences of high human antiquity**

The first half of the 19th century has been identified as one of the most significant periods in the history of archaeology for three linked reasons. First, it was during this period that high human antiquity was established and links with the natural sciences were regularised. Second, the use of ancient material culture to plausibly 'reconstruct' the histories of ethnic groups (and newly created nations) was widely accepted. Third, archaeology was 'enrolled' by social anthropology to provide empirical examples of the stages of human social and cultural evolution, thereby increasing the plausibility of social evolutionary theory.

Existing histories of archaeology do not carry analysis any further than this, because they explicitly accept an orthodox reading of relationships between archaeology, anthropology, and history. But as George Stocking (1968) has noted, there are many unwritten histories of 19th century anthropology and archaeology, which revolve around people or ideas which both disciplines have attempted to expunge from their collective memories.

According to Grayson (1983) and van Riper (1996) between the years 1858 and 1870 the science of prehistoric archaeology was firmly established. Furthermore, the archaeological demonstration of social and cultural evolution was [according to Gruber (1965) and Harris (1968) at least] crucial to the successful foundation of anthropology.

In this re-examination I offer no new facts concerning the events surrounding the excavation of Brixham Cave or the Somme Gravels. Nor will I be breaking new ground by arguing that Evans, Prestwich, Lubbock, Tylor and others gave meaning to the material culture found at those places by claiming that traditional Tasmanian aboriginal society had been (to all intents and purposes) the living representation of the Palaeolithic. Furthermore, I most certainly will not be claiming that the use of ethnographic analogy as a source of inference about human prehistory began with the need to interpret the meaning of high human antiquity. Historians of archaeology have already demonstrated that inferences drawn from ethnographic analogy were a central feature of both antiquarianism and archaeology. Indeed, the fact that ethnographic analogy continued to provide the crucial source of inference for this new class of archaeological data provides a focal point for the re-examination.

I will, however, produce a partial analysis of the significance of a continued use of ethnographic analogy by stressing the fact that the practice of this new prehistoric archaeology systematically violated the scientific canons laid down by its practitioners (without any significant reduction in the plausibility of their statements). I have published a more complete analysis, which considers the consequences of undimensional human antiquity until the advent of radiometric chronologies in the 1950s and 1960s (a century later).

There is no doubt that the establishment of a science of prehistoric archaeology was considered to be a major advance in human knowledge. Indeed, even Armand de Quatrefages and Sir John Lubbock, both adversaries on central issues concerning



the study of mankind, found a measure of commonality in their enthusiastic welcome for the new science:

To plunge into this obscurity with the hope of finding in it any certain land-marks, and to discover facts of which even legends say nothing, would thirty years ago have appeared a senseless enterprise. It is, nevertheless, the work accomplished by one of the most recent sciences, *Prehistoric Archaeology* (Quatrefages 1879: 131 — original emphasis).

Of late years, however, a new branch of knowledge has arisen; a new science has, so to say, been born among us, which deals with times and events far more ancient than any of which have fallen within the province of the archaeologist (Lubbock 1971 (7th edition): 1; 1st edition 1865).

Much had been achieved since the 1830s, but by common consent the greatest achievement of the European antiquaries, the students of language and society, and the natural historians, was that a methodology had been developed which rescued understanding of the prehistoric past from the realms of speculation. Anthropologists such as Quatrefages (1875) might disagree among themselves, and collectively diverge from the positions taken by supporters of ethnology such as Lubbock or palaeontologists such as Boyd Dawkins (1874), or even antiquaries such as John Evans (1872), but all shared the optimistic and scientific mood of the moment — a celebration of the possibility of rational knowledge of the past, where imagination did not “usurp the place of research” (Lubbock 1971: 1). In this new regime previously insoluble problems in ethnology would acquire solution.

While it is true that the authors of the new anthropologies and synthetic prehistories did not necessarily regard knowledge of the prehistoric past as having the same certainty or credibility as geology, physics, or chemistry (often choosing to substitute ‘light’ for ‘knowledge’), they were absolutely clear that sciences such as geology could, if used by archaeologists, guarantee a fair measure of credibility. If the archaeologist added the information about prehistoric ‘conditions of existence’ and diet which had been procured through inferences and inductions based on geological, palaeontological and ethnographic knowledge, the broad agenda of prehistoric archaeology could be defended against the attacks of those who were not persuaded that rational knowledge of the prehistoric human past was possible.

Contrasting the certainties of palaeontology with the less-definite knowledge produced by archaeology, and admitting that “in the present state of our knowledge the skeleton of a savage could not always be distinguished from that of a philosopher”, Lubbock still felt it possible to argue that sufficient data remained to give a reliable basis for the reconstruction of prehistoric human action because it could be interpreted through uniformitarian propositions:

But on the other hand, while animals leave only teeth and bones behind them, the men of past ages are to be studied principally by their works; houses for the living, tombs for the dead, fortifications for defence, temples for worship, implements for use, and ornaments for decoration (1971: 2; see also Boyd Dawkins 1874: viii).

The methodological rhetoric of the new synthetic prehistories emphasised that plausible understanding could now only be derived from the description and analysis of the material facts of human action, geological time, environmental and ecological context, and human physical form, as well as the ethnographic and ethno linguistic evidence for the history of human society and language.

Notwithstanding disagreements about core ontological issues, especially the importance of mind as the basis for distinguishing human from animal, propagandists

of the science of prehistoric archaeology collectively sought justification for the new enterprise from histories of research into prehistory and human palaeontology. Significantly these same people were propagandists for other sciences such as geology, ethnology and anthropology. The intellectual links of prehistoric archaeology were clearly established. These histories were written both by natural historians, whose primary interest was in geology and palaeontology, and by antiquaries, who sought to link the advances made in the classification of prehistoric material culture with the new interpretative and explanatory possibilities provided by the natural historians, the physical anthropologists, the ethnographers, and the philologists.

This history writing had several goals. First, to justify the importance of the new science by demonstrating that it had a long history marred by a failure to recognise the value of remnant material culture and/or stratigraphic contexts. Second, to justify the methodological credentials of geology, palaeontology and prehistoric archaeology by portraying them as having been rescued from obscurity by the power of 19<sup>th</sup> century science, and of prehistoric archaeology having been rescued by the certainties of geology and palaeontology. Importantly, this form of presentist history was being produced for most other human, earth, and life sciences during the same period.

Just as the participants in the new science were generally agreed on the essentials of the history of prehistoric archaeology, so were they agreed that its methodology must be based on firm empiricist principles. Although there was a greater emphasis on the use of 'strict inductions' than on inference, analogy and deduction, these aspects of methodology were acceptable as long as they could be securely grounded in empirical data. In the event, as I have said, some practitioners found it more difficult to banish every aspect of *apriorism* from their activities than others. They also found it difficult to empirically assess the truth value of their premises, despite the fact that the premises of ethnology and anthropology were a major source of conflict. Consequently there was every justification for banishing the power of the *a priori* from the investigation of human affairs. The twin bogeys of authority, and the metaphysics of final causes and essences, were seen as the elements of unreason, powerful forces hindering the development of a science of human society that would help humans to attain the Enlightenment goal of a good and just society based on an appreciation of the laws governing human action through all space and time.

Henceforth prehistoric archaeology, whether conducted under the aegis of ethnology or anthropology would pursue the positivist path of a search for law. It would defend itself against prejudice and unreason, for in unreason lay the seeds of a return to an understanding of the prehistoric past that owed more to the rationalism of moral philosophy and to presuppositions about the nature of society than to an objective description and explanation of the empirical facts. Just like the geologists, biologists, ethnologists and anthropologists, the practitioners of prehistoric archaeology well understood the potentially unpalatable conclusions of their science, after all they engaged in long and bitter conflict among themselves about these issues. However, the rhetoric demanded that the search for truth should be held more important than a rearguard action in the defense of unreason — a charge they frequently leveled against each other.

Another aspect of the methodological rhetoric stemmed from the new data discovered by natural historians and archaeologists. It was widely felt that through a multiplication in the quantities and range of material facts, and through the development of true theory (read the Three Age System) prehistoric archaeology was considered to have won its spurs as a 19th century science. Again, while there were definite

differences of opinion as to whether prehistoric archaeology could be seen to be the link between geology and history, an argument favoured by Boyd Dawkins (1880 — especially Chapter 1), or whether it found its true home within the human sciences, the argument favoured by Lubbock (1971), Evans (1872), Quatrefages (1875), Pouchet (1864) and Vogt (1864), there was no doubt that the new science was not considered to be a threat to the cognitive map of 19th century science.

For instance, both the ethnologists and the anthropologists argued the facts of human socio-cultural variation, the facts of human physical difference and similarity, the facts of philology, and the facts of prehistoric archaeology, would provide clear support for a discipline that would synthesise the mounting array of information about human beings into a science of which humans were the sole subject. Although practitioners of prehistoric archaeology were to express support for either ethnology or anthropology during this period, often for moral and political, rather than purely scientific reasons, there was general agreement among them about the importance of using prehistoric data to assist the process of recasting universal human history in terms of empirically justified scientific laws.

I have claimed that there were distinct differences between this rhetoric and everyday performance and located its core in the epistemology of the new science — a strong emphasis on induction, with implicit approval of deduction, as long as the premises could be assessed for their truth value. However, not only were the observation statements produced by practitioners heavily dependent on theory, those theories used were undeveloped to the point that there were no generally agreed-upon means of testing them.

The prospect of an almost unimaginably deep human history was simultaneously threatening and liberating — threatening because it broke down the distinctions between humans and other animals and because a conceptual vacuum now existed which had to be filled, liberating because the restrictions of the old Biblical chronology had been lifted, and the search for an understanding of human nature could be pursued over a longer time span.

The discovery of stone tools in unimpeachably old strata raised two questions: what kind of human being made them, and how long ago? Lubbock, among others followed standard ethnological practice by providing a solution to the former question based on comparative ethnography, and a standard of empirical practice by substituting the methods of geology for an appeal to 'untrustworthy tradition'.

Both Lubbock and Tylor (1865, 1870) needed a 'human face for the palaeolithic', because of the standards of proof and interpretation established by ethnology and anthropology required such an image. Palaeolithic humans would be only the most ghostly of shadows without the Van Diemener, and both Lubbock's and Tylor's (and, of course, Morgan's) systems demanded more than that.

By providing a meaningful image of palaeolithic humanity, evolutionary archaeology and anthropology not only effectively denied a history to contemporary 'savages', but they also made an understanding of the palaeolithic effectively synchronous with the present. The vast time scale had disappeared for the very reason that it was undimensionable by any of the ethnological or anthropological theories then available.

Added to this there were the difficulties of quantifying time itself. It was all very well to speak of a vast and near limitless antiquity, but archaeologists had to begin to set limits if only to more clearly conceptualise processes of change and variation operating in the Palaeolithic. Here the physicists and the geologists — themselves locked in conflict over determinations of the age of the earth — were of little or no

help. Just about everyone knows about the outcome of the debate between Thomas Henry Huxley and Bishop Wilberforce over Darwin's theory. What is less well-known is the destruction of Huxley's speculations over the age of the earth by Lord Kelvin. These were tense times indeed! (see e. g. Burchfield 1975).

If we focus on the methodological rhetoric of the new science of prehistoric archaeology, the traditional claims for a link between the foundation of a new science and the establishment of a high human antiquity lose some of their force but gain a great deal of texture. Clearly the linking of palaeontology and geology to archaeology allowed practitioners to claim a scientific reliability for their reconstructions of human life during the palaeolithic. I do not dispute that practitioners believed their own positivist rhetoric (there is no need to accuse them of deception). Nonetheless, a careful analysis of this passage of the history of archaeology reveals a structure of assumption about the nature and significance of archaeological knowledge which established that archaeological representations of human action should mirror those of contemporary social theory. Significantly, these *a priori* assumptions violated the positivist epistemology of the practitioners. Moreover, this disjunction between rhetoric and practice went, for the most part, unremarked either by practitioners or by consumers of archaeological knowledge.

The discovery of high human antiquity provides an excellent example of the potential of the archaeological record to shock practitioners, and of the process of 'normalisation' or 'naturalisation' which practitioners have traditionally undertaken to bring anomalous information back into the realm of conventional understanding. It is also an excellent example of nexus between systematic violation of methodological rhetoric and the normative assumptions which underwrite the immunity of interpretation from the constraint of evidence.

In my view this nexus provides the strongest link between the inherent conservatism of archaeological theory (even when it is pretending to be radical), and our inability to rise to the challenge posed by our developing understanding of the ontology of archaeological records. I think, perhaps naively, that if we establish that archaeological perspectives have histories and that our disciplinary culture is not *sui generis*, then it surely follows that this might be a powerful force for liberating the archaeological imagination so that we might make a better fist of constructing an archaeology which can be both meaningful and more directly related to the structural properties of its data. I also think, again naively, that the new perspectives on humanity which will flow from this changed psychology of research might actually produce pasts which can form the basis of an effective critique of how we construct presents.

### **A speculative history of theoretical archaeology 1962–2000**

Regular discussion of the discrepancies between methodological rhetoric and performance has really only taken place within the last twenty five years, and that these have been most directly associated with the proposition of new approaches such as processual and post-processual archaeology. It is worth considering why such discussions were rare before this time, and increasingly common after it.

By the end of the 19<sup>th</sup> century the connections and distinctions between archaeology and anthropology and archaeology and history had essentially been established. Archaeology, its conceptual field defined and secure within various traditions of anthropological and historical research, and its methodology developed to a stage where the discussion of temporal and cultural classifications could appeal to a widening

store of empirical phenomena, was free to pursue problems of largely internal moment. Although in the United States the predominance of cultural rather than social anthropology, meant that the boundaries between archaeology and 'historical' anthropology were somewhat blurred, the same emphasis on the writing of prehistory, and on technical matters of classification and data retrieval was still present.

While it is certainly the case that changes in fashion and orientation in anthropology and history directly impacted on the interests and approaches of archaeologists working under the aegis of either anthropological tradition, practitioners could keep pace with such changes in meaning by changing the terms of their translations of material phenomena into first, archaeological and subsequently anthropological, data. These changes were readily accomplished for four reasons.

First, archaeological data were considered to be impoverished testaments of human action in comparison with the richer data derived from socio-cultural anthropology. Meaning and the power to convince thus lay with the disciplines that 'managed' that latter data set.

Second, archaeological methodologies of description and classification were substantially relative rather than absolute. Given the anthropological and historical construction of archaeological data, there were few empirical grounds upon which those data, of themselves, could seriously disturb the intentions of their interpreters.

Third, despite notable exceptions, the bulk of archaeologists were largely implicit consumers of theory, devoting their energies to methodological and technical issues of data collection and classification. Given the essentially empiricist orientation of archaeologists in the years before the 1960s theoretical disputes were either settled on the authority of the archaeologists involved, rarely explicitly discussed because they were considered to be speculative and lacking the possibility of an archaeological contribution to their solution, or were simply set aside for some future time when the data were in. Thus, again with notable exceptions few archaeologists recognized that extant conceptual and epistemological relativisms within the source areas of archaeological theory could act as spurs to the development of such theory.

It would be going too far to argue that in the period prior to the proposition of the core epistemological insights of the 'new' archaeology the discipline was untroubled by conflict and dispute. This patently is not the case, especially when we consider such issues as the proposition of diffusion or independent invention as alternative 'motors' of culture change, the conflict between unilinear and multilineal views of the same process, and the celebrated disagreements between Graeme Clark and Gordon Childe over the merits of historical materialist analysis and the relations between archaeology and society. Differences of opinion were not confined to conceptual issues, being present in the epistemological realms of the discipline as well. It is also true, as Fahenstock (1984) has noted, that after the 1930s archaeologists sought to understand aspects of the archaeological record through a variety of theoretical perspectives that looked to be quite 'contemporary' in orientation and substance.

Notwithstanding these qualifications however, the archaeology of the period was far less troubled and divergent than that of our own time. Given the means of dispute settlement, and the overarching emphasis on empiricist epistemology with its links to a contained, essentially self-concerned archaeology, perceived differences between rhetoric and performance were either considered to be part-and-parcel of an 'impoverished' database with the inherent insecurities expressed by the notion of the 'ladder of inference' first discussed by Christopher Hawkes (1954), as being of no great significance given the greater meaning attached to socio-cultural anthropological

or historical researches, or as being resolvable by further technical sophistication in data gathering and analysis.

The fact that such discrepancies had become controversial with the advent of the 'new' archaeology, and the points raised by Fahenstock and Daniel (1975), though from very different perspectives, make it clear that a re-evaluation of the origins of processual and post-processual archaeology may well reveal significant continuities and commonalities between rival archaeological 'paradigms' proposed over the past 40 years (a point touched upon by Meltzer among others). If this is the case (and I suspect that it is) then our reflections about the links between tradition and the state of contemporary theoretical archaeology and archaeological philosophy gain additional value and significance.

### Concluding remarks

Re-establishing evaluative consensus in archaeology is not desirable because the presence of relativisms within the conceptual and epistemological realms of the discipline cannot be eradicated by applying determinate rules of the scientific method, or some notion of universal rationality. However we can be clear about our need to evaluate archaeological knowledge claims in a consistent and transparent fashion. The history of archaeology allows us to investigate the terms under which rival archaeological knowledge claims are produced and justified. By doing this it also aids our efforts to facilitate communication between them, and to assist in theory building, so that rival positions could be clear enough to allow informed judgments to be made by practitioners about their strengths and weaknesses.

I have argued that strategies derived from the context of justification and the context of discovery all have roles to play here, and all have to be used with caution. Not one of these strategies is universally upheld as being the most powerful, rational, or objective. Significantly each strategy has its own context and its own costs and benefits, all of which need to be carefully considered by archaeologists and their audiences. What really is important about this exercise is not constructing an abstract calculus of rules which we will abandon (or make elastic) when the situation demands, but enhancing our power to reflect on what we want from archaeology and what we think its role in our search for understanding might be, to make judgments, and to accept the responsibility for making those judgments.

### Literature

- Boyd Dawkins W. B.* 1874. *Cave hunting: Researches on the evidence of caves respecting the early inhabitants of Europe.* London: Macmillan.
- Boyd Dawkins W. B.* 1880. *Early man in Britain and his place in the Tertiary period.* London: Macmillan.
- Burchfield J.* 1975. *Lord Kelvin and the Age of the Earth.* London: Macmillan.
- Daniel G. E.* 1975. *One hundred and fifty years of archaeology.* London: Duckworth.
- Evans J.* 1872. *The ancient stone implements, weapons and ornaments of Great Britain.* London: Longmans, Green, Reader and Dyer.
- Grayson D. K.* 1983. *The establishment of human antiquity.* New York: Academic Press.
- Fahenstock P.* 1984. *History & Theoretical Development: The Importance of a Critical Historiography of Archaeology // Archaeological Review From Cambridge* 3: 7–18.
- Gruber J. W.* 1965. *Brixham Cave and the antiquity of man // Spiro M. E. (ed.). Context and meaning in cultural anthropology.* New York: Free Press, 373–402.

- Harris M.* 1968. *The Rise of Anthropological Theory*. New York: Free Press.
- Hawkes C.* 1954. Archaeological theory and method: some suggestions from the Old World // *American Anthropologist* 56: 155–168.
- Immonen V.* 2003. The stratigraphy of a life. An archaeological dialogue with Leo Klejn // *Archaeological Dialogues* 10: 57–75.
- Klejn L. S.* 1977. A panorama of theoretical archaeology // *CAn* 18: 1–42.
- Klejn L. S.* 1982. *Archaeological typology (BAR International series 153)*. Oxford: Archaeopress.
- Klejn L. S.* 1999a. Heinrich Schliemann. In: T. Murray (ed.) *Encyclopedia of the History of Archaeology III*: 109–126. Santa Barbara: ABC–Clio.
- Klejn L. S.* 1999b. Nikodim Pavlovich Kondakov // Murray T. (ed.). *Encyclopedia of the History of Archaeology I*. Santa Barbara: ABC–Clio, 165–174.
- Klejn L. S.* 1999c. Gustav Kossinna // Murray T. (ed.). *Encyclopedia of the History of Archaeology I*. Santa Barbara: ABC–Clio, 233–246.
- Klejn L. S.* 1999d. Vasily Alekseyevich Gorodcov // Murray T. (ed.). *Encyclopedia of the History of Archaeology I*. Santa Barbara: ABC–Clio, 247–262.
- Klejn L. S.* 2001a. Russia // Murray T. (ed.) *Encyclopedia of the History of Archaeology III*. Santa Barbara: ABC–Clio, 1127–1145.
- Klejn L. S.* 2001b. Metaarchaeology // *Acta Archaeologica* 72: 1–149.
- Klejn L. S.* 2013. *Soviet archaeology: trends, schools, history*. Oxford: Oxford University Press.
- Kristiansen K.* 1993. Exploring the limits. An interview with Leo Klejn // *Journal of European Archaeology* 1: 184–94.
- Lubbock J.* 1882. *The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man*, 4th edition. London: Longmans, Green.
- Lubbock J.* 1971. *Prehistoric Times*, reprint of the 7<sup>th</sup> edition, first edition 1865. Freeport: Books for Libraries.
- Murray T.* (ed.) 1999–2001. *Encyclopedia of the History of Archaeology*, 5 volumes. Santa Barbara: ABC–Clio.
- Murray T.* 2013. Why the history of archaeology is essential to theoretical archaeology // *Complutum* 24 (2): 21–31.
- Pouchet G.* 1864. *The plurality of the human race*. London: Longman, Green, Longman and Roberts for the Anthropological Society of London.
- Quatrefages A.* 1875. *Natural History of Man*, trans. E. A. Youmanns. New York: Popular Science Library.
- Quatrefages A.* 1879. *The Human Species*. London: Kegan Paul.
- Stocking G. W. Jr.* 1968. *Race, Culture and Evolution*. New York: The free Press.
- Taylor T.* 1993. Conversations with Leo Klejn // *CAn* 34: 723–35.
- Trigger B. G.* 1978. No longer from another planet // *Antiquity* 52: 193–198.
- Trigger B. G.* 2006. *A history of archaeological thought*, 2<sup>nd</sup> ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tylor E. B.* 1865. *Researches into the Early History of Man*. London: John Murray.
- Tylor E. B.* 1870. *Primitive Culture*. London: John Murray.
- Van Riper A. B.* 1996. *Men Among the Mammoths: Victorian Science and the Discovery of Human Prehistory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Vogt K.* 1864. *Lectures on Man*. London: Longman.

## Франсуа Борд и отечественная школа палеолитоведения

**Резюме.** Статья посвящена взаимоотношению научного творчества Ф. Борда и российской школы палеолитоведения. Подход Ф. Борда был во многом стимулирован новаторскими разработками советских археологов 1920–1930-х гг. Так, идеи Г. А. Бонч-Осмоловского явно сказались на формировании методики полевого исследования пещерных памятников и статистического подхода к анализу каменных индустрий у Ф. Борда. Если выдвинутые советскими исследователями подходы повлияли на сложение концепций Ф. Борда 1950-х гг., то начиная с 1960-х гг. происходит обратное воздействие идей французского исследователя на развитие отечественной науки.

**Ключевые слова:** Россия, Борд, типология, технология, статистические методы, леваллуа, мустье.

### **S. A. Vasiliev. François Bordes and the Russian school of Paleolithic research.**

The aim of the paper is to elucidate the relationships between the Russian school of prehistoric research and the scholarly works of F. Bordes. It seems that the approach of Bordes was heavily influenced by the advances in Soviet archaeology of the 1920s and 1930s. In particular, G. A. Bonch-Osmolovsky's works stimulated the development of both the excavation techniques and statistical approach to the analysis of lithic industries put forward by Bordes after World War 2. While the concepts pioneered by Soviet prehistorians apparently stimulated the lines of research developed by Bordes in the 1950s, the 1960s witnessed a reverse process. Since that time Bordes' ideas have exerted a serious influence on the work of his Soviet colleagues.

**Keywords:** Russia, Bordes, typology, technology, statistical methods, Levallois, Mousterian.

Интерес к фигуре одного из крупнейших археологов XX века Франсуа Борда (1919–1981) не ослабевает. В фундаментальном труде Л. С. Клейна по истории мировой археологии Ф. Борду уделен специальный раздел (Клейн 2011: 645–648). На русском языке недавно опубликован пространный биографический очерк Дж. Сэкетта, хорошо знавшего французского исследователя (Сэкетт 2013). В одной из последних монографий по среднему палеолиту Восточной Европы (Анисюткин 2013) еще раз подчеркнута актуальность «системы Борда» для описания мустьерских индустрий. Цель данной статьи — осветить различные стороны взаимного влияния идей советской археологии и творчества французского ученого.

Подобно другим национальным школам исследования палеолита, русская формируется под непосредственным воздействием французской палеоэтнологии. Напомню, что «отец-основатель» российской науки о палеолите Ф. К. Волков был учеником и сотрудником Г. де Мортилье, регулярно публиковавшим на страницах журнала *l'Anthropologie* информацию о доисторической археологии России. Послереволюционный период, 1920-е и 1930-е гг., был наиболее интересным временем в развитии археологии в России, когда молодые



исследователи смело выдвигали новые концепции и идеи, некоторые из которых предвосхитили разработки Ф. Борда.

Начнем с методов раскопок пещерных стоянок. Г. А. Бонч-Осмоловский создал оригинальную методику комплексного исследования, примененную им в 1924–1926 гг. в гроте Киик-Коба и позже в Сюрени и ряде других памятников Крыма. В основе его работ лежал принцип: «В палеолите нет бросового материала» (Бонч-Осмоловский 1940: 12). Исследователь использовал тактику вскрытия линий квадратных метров или небольших участков с частым (через 1–2 м) профилированием. Находки фиксировались на специальных карточках и нивелировались.

Такие приемы раскопок позволили Г. А. Бонч-Осмоловскому перейти от узко стратиграфического подхода к исследованию планиграфии. Г. А. Бонч-Осмоловский (Там же: 94) указывал на «исключительное значение, которое придается советскими археологами изучению поверхностного распределения находок на площади палеолитических стоянок». В своей книге он привел схемы количественного анализа распределения кремневых изделий и кости по квадратам, соотношения костных и кремневых остатков.

В целом методика Г. А. Бонч-Осмоловского заметно опережала приемы, практиковавшиеся в то время на западе, где пещерные памятники раскапывались исключительно с целью прослеживания стратиграфии. Поразительно, что исследователь парадоксальным образом сумел разработать опережавшую время методику, не имея ни собственного опыта раскопок, ни непосредственных предшественников в России. Г. А. Бонч-Осмоловский совершил поездку во Францию уже после завершения работ в Киик-Кобе в 1926 г. В ходе этой поездки он ознакомился с материалами классических мустьерских стоянок и общался с ведущими специалистами того времени — Д. Пейрони, А. Мартеном, А. Брейлем. В ряде существенных моментов методика Г. А. Бонч-Осмоловского была близка приемам раскопок, разработанным уже после Второй мировой войны Ф. Бордом в Пеш-дель-Азе (Bordes 1972).

Второй аспект исследования среднепалеолитических комплексов, также предвосхищавший достижения Ф. Борда, это подход того же Г. А. Бонч-Осмоловского к анализу каменного инвентаря. Основной вклад ученого в палеолитоведение можно кратко определить как введение в науку представления о единстве каменной индустрии, необходимости анализа не только «выразительных», «типичных» вещей, а всей совокупности артефактов как неразрывного целого. Еще в 1928 г. он призывал «рассматривать индустрии не как собрания отдельных орудий, а как комплексы, отражающие соответствующие стадии культурного развития» (Бонч-Осмоловский 1928: 149). Отсюда ясен интерес, который проявлял исследователь к статистическим методам, позволяющим на количественной основе вести сопоставление памятников. «Статистика должна, как мне кажется, стать для советских ученых основным правилом интерпретации археологических фактов» (Бонч-Осмоловский 1940: 14). В основу сравнения стоянок Г. А. Бонч-Осмоловский положил «количественный учет различных типов орудий». Таким образом, в теоретическом плане здесь содержалась база для бордовского подхода к изучению инвентаря. Г. А. Бонч-Осмоловский остановился «за полшага» до Ф. Борда, следующие усовершенствования (создание типлистов, построение системы индексов и кумулятивных графиков как метода наглядного представления результатов) на этом пути уже являются заслугой французского археолога.

Рассмотрим теперь, следуя за мыслью Г. А. Бонч-Осмоловского, этапы анализа комплекса изделий из камня, столь блестяще продемонстрированного им на примере инвентаря Киик-Кобы. Начнем с вопроса о соотношении сырья и техники. Исследователь в целом утверждал тезис о приоритете технических приемов над характером сырья. Он писал: «Достигнув известных усовершенствований в обработке кремня как основного материала, человек — при его отсутствии — переносил выработавшиеся приемы и на другие породы камня» (Там же: 150). Подобное утверждение по сути дела аналогично высказанному много позже Ф. Бордом мнению: «Всегда можно из любого первичного материала... получить форму, какую пожелаешь, применив подходящую технику» (Bordes 1961a: 11). Вместе с тем Г. А. Бонч-Осмоловский отмечал, что сырье (величина и форма материала в большей степени, чем порода) накладывает отпечаток на облик индустрии. Так, размеры отдельностей камня обусловили, по его мнению, миниатюрность орудий из Киик-Кобы и Ильской стоянки (Бонч-Осмоловский 1940: 151).

Особенно важен вклад Г. А. Бонч-Осмоловского в методику изучения первичного расщепления. Для материалов Киик-Кобы исследователь дал общую схему раскалывания, провел анализ формы бугорка и ударных площадок, угла скалывания (Там же: 75–76). При членении заготовок он отметил группы сколов (отщепов), примитивных пластин и пластинок, введя правила измерения длины заготовок (по направлению скалывающего удара) и ширины (перпендикулярно к длине) (Там же: 74). Классификация Г. А. Бонч-Осмоловским типов ударных площадок по сути дела аналогична бордовской. Он выделил изделия со «сбитой площадкой», площадки, покрытые коркой, площадки без следов подправки (гладкие), а также площадки с признаками грубой и тонкой подправки.

Другой аспект изучения каменного инвентаря — вторичная обработка. Здесь Г. А. Бонч-Осмоловский задолго до Ф. Борда провел статистический анализ типов ретуши. При этом он подразделил ретушь на отделку, формирующую рабочее лезвие, и ретушь как средство приспособления для захвата или крепления изделия в рукоятке (аккомодационная обработка). Среди выделенных исследователем видов вторичной отделки — ретушь противоположащая (нанесенная на брюшке), грубая зубчатая отделка, ретушь с заломами, ретушь со слабо выраженными заломами, тонкая отделка без заломов (Там же: 107–110, табл. 8).

Рассматривая третий аспект анализа комплекса изделий из камня — типологию, Г. А. Бонч-Осмоловский применил иерархически организованную трехуровневую систему описания, которая в его монографии иллюстрируется таблицей процентного соотношения типов в верхнем слое Киик-Кобы (Там же: табл. 9). На первом уровне классификации орудия подразделяются на группы, соответствующие современному понятию «категория». Это остроконечники, скребла, ручные рубила, резцы, орудия неопределенной формы. Отдельно отмечаются осколки со следами ретуши и употребления. Далее в пределах категорий орудия делятся на одно- и двусторонние. Затем, на третьей ступени, определяются разновидности изделий, наиболее близкие понятию «тип» (в системе бордовской типологии). Для выявления типов исследователь предложил методически четкую процедуру классификации, установив закономерности формообразования каменных орудий (Там же: 110). По мнению Г. А. Бонч-Осмоловского, в основу выделения типа следует положить сочетание определенных рабочих элементов, формы заготовки и характера оформления рукоятки (там, где это явление прослеживается). Очень важным представляется введенное им понятие «типологического ядра», вокруг которого распределяются сходные формы (Там же: 87–88).

Что касается конкретных моментов типологии, то Г. А. Бонч-Осмоловский разработал схему членения группы скребел, основанную на форме и количестве рабочих краев, а также отнес так называемые «тупые острокопечники» к числу скребел (задолго до Ф. Борда, определившего данные вещи как «конвергентные скребла»; Bordes 1961a: 27). Интересно, что наряду с типом Г. А. Бонч-Осмоловский обратил внимание на характер «рабочих элементов» орудий, выделив три разновидности таковых — режущий край, острие и выемку (Бонч-Осмоловский 1940: 86–87).

Г. А. Бонч-Осмоловский по праву может считаться одним из основоположников технологического подхода к изучению каменной индустрии, то есть рассмотрению комплексов инвентаря не в плане типологической статике, а в динамике изготовления, использования и выбрасывания орудий из камня. Подобный аспект анализа археологических остатков явился следствием уже упомянутого представления о комплексности изучения индустрии. Он писал: «Если центром тяжести археологического исследования становится выявление процессов, а не только вещей, то и бросовые осколки приобретают известное значение» (Там же: 77). «Только углубленное проникновение в индустриальные технологические процессы, базирующееся на статистическом методе в связи с попытками общей реконструкции хозяйственно-экономических форм данной эпохи, может освободить палеоэтнологию от субъективности и наметить основные пути эволюции первобытного человека» (Бонч-Осмоловский 1930: 63).

Ярким образцом подхода, позволяющего задействовать для научного анализа всю сумму археологических остатков, явилось его описание индустрии грота Киик-Коба. Г. А. Бонч-Осмоловский рассматривал каменный инвентарь, вычлняя звенья технологической цепочки действий, производившихся древним человеком с камнем, прослеживая сложные причинно-следственные взаимосвязи между доставкой сырьевого материала, расщеплением, вторичной отделкой и использованием орудий.

Как мы видим, подход Г. А. Бонч-Осмоловского к изучению каменного инвентаря является непосредственным предшественником «системы Борда» (Bordes 1972). В работах Ф. Борда нет прямых ссылок на труды Г. А. Бонч-Осмоловского, но стоит отметить, что основная монография Г. А. Бонч-Осмоловского (1940) снабжена пространственным французским резюме и подробным переводом подписей к рисункам и таблицам.

Среди других выдающихся новшеств, связанных с российской наукой и оказавших влияние на Ф. Борда, отметим разработанный С. А. Семеновым функционально-трассологический метод изучения каменных орудий. В своем классическом труде «Первобытная техника» (Семенов 1957) он критикует Ф. Борда за предложенные тем модели техники расщепления. Говоря об отношениях двух исследователей, нельзя обойти вниманием их заочную дискуссию, развернувшуюся на страницах журнала *Quartär* (Bordes 1967; Semenov 1970). Ф. Борд высоко оценил вклад С. А. Семенова в выяснение функций древних орудий труда. Глубокий интерес к технологии обработки камня и экспериментам сближал двух выдающихся ученых. В то же время, по мнению Ф. Борда, функциональная типология может быть лишь дополнением к морфологической типологии, а не ее заменой.

С. А. Семенов, в свою очередь, рассматривал бордовскую классификацию заготовок и типов площадок как чисто искусственную схему. Более того, предложенная Ф. Бордом графическая реконструкция расщепления черепаховидного ядрища трактовалась им как ошибочная. Для С. А. Семенова бордовская

типология была не более чем средством первичного описания и классификации археологического материала, в то время как только функциональный анализ являлся подлинно научным методом познания древности. С. А. Семенов неоднократно указывал на крайнюю степень variability изделий из камня, их полифункциональность и неустойчивость формы. Это делает, по его мнению, статичное описание морфологии предметов недостаточным и неизбежно поверхностным. Исследователь считал, что форма орудия является результатом технического процесса, а не отражением ментального шаблона изготовителя. Именно поэтому С. А. Семенов столь критично относился к масштабным типологическим систематизациям типа бордовской схемы.

Существует много свидетельств интереса Ф. Борда к российскому палеолиту. Так, говоря об особенностях исследовательских установок у археологов различных стран, Ф. Борд (Bordes 1968a) отмечал существование трех основных школ палеолитоведения: стратиграфо-типологической французской, энвайронменталистской англо-американской и социологической советской.

В обобщающих трудах по мировой доистории Ф. Борд (Bordes 1968a; 1984a; 1984b) использовал доступные источники по палеолиту России и сопредельных стран, опираясь на переведенные труды А. П. Окладникова и В. А. Ранова по Средней Азии и обзоры Р. Клейна по Крыму и Сибири. Анализируя средний палеолит России и сопредельных стран, Ф. Борд отмечал сходство восточноевропейских и среднеазиатских индустрий с материалами Западной Европы. Так, он отмечал параллели в облике находок из Тешик-Таша и мустье типа кина, Кик-Кобы и средневропейского микока (памятники Германии и Польши). В качестве единственного исключения Ф. Борд рассматривал индустрию Сухой Мечетки, которая, по его мнению, не демонстрировала никаких связей с западом континента. Напротив, говоря о верхнепалеолитических культурах, Ф. Борд постоянно подчеркивал оригинальность облика восточноевропейских памятников (Молодова V, Костенки).

Вот еще один, уже частный сюжет: во время раскопок перигордийской стоянки Корбьяк Ф. Борд (Bordes 1968b) расчистил остатки двух очагов со своеобразными видимыми в плане «хвостами» — углистыми канавками. Он обратил внимание на сходство данных структур с очагом с канавкой, изученным П. И. Борисовским (1963) на стоянке Костенки XIX. Следует отметить, что П. И. Борисовский в 1957 г. соорудил экспериментальную копию данного объекта, наглядно продемонстрировав значение канавки для усиления притока воздуха к огню.

Новая ориентация французского палеолитоведения, связанная с появлением в конце 1940-х — начале 1950-х гг. трудов Ф. Борда (Bordes 1961a) и переходом на стандартные процедуры статистического описания комплексов каменного инвентаря, нашла отклик в нашей стране с некоторым опозданием.

Решающим шагом по пути широкого внедрения бордовской системы в практику советской археологии стал выход в свет обширной статьи В. П. Любина (1965), содержащей как подробное критическое изложение итогов работы Ф. Борда, так и предложения автора по ее усовершенствованию. Если применить к отечественной литературе по палеолиту индекс цитируемости, то, вероятно, упомянутый труд является лидером. Интересно, что в том же году В. А. Ранов в своей монографии по палеолиту Таджикистана детально изложил систему классификации площадок сколов, заготовок и нуклеусов, систему индексов Ф. Борда (Ранов 1965).

Для В. П. Любина классификация Ф. Борда носила чересчур общий характер, он шел по пути максимального дробления материала, предлагая, например, очень детальную схему деления форм ударных площадок. Таким же образом В. П. Любин поступил с бордовскими типами. «Почти каждый из 63 типов-эталонов может стать объектом отдельного исследования, которое в какой-то мере еще предстоит сделать» (Любин 1965: 60). В соответствии с поставленной задачей исследователь показал на примере остроконечников и угловатых скребел возможности идентификации более дробных, чем у Ф. Борда, подразделений. Целью этой работы являлось, по мысли В. П. Любина, создание «региональных типологических списков» для различных территорий, учитывающих по возможности все нюансы морфологического разнообразия материала.

А. П. Черныш, исследуя серию многослойных среднепалеолитических стоянок Днестра, применил для сопоставления комплексов типлист Ф. Борда и построенные на его основе кумулятивные графики, сравнивая свои материалы с графиками инвентаря западноевропейских стоянок. При этом исследователь подчеркнул единство леваллуа-мустьерских индустрий и отрицательно относился к выделению особой «молодовской культуры» (Черныш 1977).

Следует сказать, что, за исключением А. П. Черныша и Ю. Г. Колосова (1972), другие отечественные исследователи не применяли напрямую бордовский типлист для анализа среднего палеолита Восточной Европы. Так, Н. Д. Праслов отмечал невозможность механического перенесения бордовской типологии на среднепалеолитические памятники Русской равнины. «Применение лист-типа Ф. Борда при изучении коллекций Рожка I и грота Мустье могло бы дать под одними и теми же номерами... одинаковое количество предметов. Но разве цифровые выражения отражают сходство этих двух совершенно различных типов изделий? Именно поэтому автор не нашел возможности при изучении коллекций мустьерских памятников Восточной Европы применять метод Ф. Борда, разработанный на материалах Западной Европы, и не отражающий всего своеобразия памятников других мустьерских общностей» (Праслов 1968: 141).

Парадоксально, но значительно больший эффект идеи типолого-статистической классификации имели в отдаленной от Франции Сибири. На базе «сращивания» типлистов Ф. Борда и Д. де Сонневиль-Борд — Ж. Перро для среднего и верхнего палеолита с некоторыми видоизменениями появились классификационные списки для позднего палеолита Енисея (Абрамова 1979а, б), памятников бассейна Томи (Маркин 1986) и Западной Сибири (Петрин 1986).

Другая сторона бордовской методики, также получившая широкий отклик в России, — классификация ядрищ, неразрывно связанная с проблемой леваллуа. Постороннему наблюдателю может показаться странным размах дискуссий и обилие публикаций по этой тематике в 1960–1980-е гг. «Список работ по леваллуазскому вопросу обширен. Редко кто из археологов-палеолитоведов не посвятил леваллуазскому “искусству” специальной работы. Это стало своего рода, делом чести» (Кулаковская 1990: 211). Данное обстоятельство объясняется тем, что, по сути, речь шла не об узком сюжете, касающемся реконструкции определенного приема расщепления или классификации форм ядрищ и заготовок, а о гораздо более широких проблемах эволюции и характера технического прогресса в нижнем палеолите.

Первой к вопросу об углубленном изучении нуклеусов с еще чисто типологической точки зрения («формальный принцип» классификации по И. И. Коробкову) обратилась в конце 1950-х гг. М. З. Паничкина (1959). Классифика-

ция М. З. Паничкиной основывалась на морфологии ядрищ. Среди ашельских форм она выделила дисковидные (радиальные) нуклеусы с обработкой одной и двух сторон, черепаховидные нуклеусы и формы, переходные к ядрищам с параллельным снятием заготовок. Последние были подразделены по форме в плане на треугольные и четырехугольные. М. З. Паничкина рассматривала изменение типов ядрищ как отражение прогрессивной эволюции техники — от дисковидных форм к параллельному скалыванию. Отсюда проистекало и ее стремление придать понятию леваллуа (по Ф. Борду) значение узко хронологического показателя, а именно приема первичного раскалывания, использовавшегося в позднем ашеле — раннем мустье.

Следующим шагом в разработке данной тематики стала уже упоминавшаяся работа В. П. Любина (1965). В отличие от М. З. Паничкиной, В. П. Любин положил в качестве основы классификации нуклеусов количество и дислокацию ударных площадок. Он выделил одно-, дву- и многоплощадочные нуклеусы, подразделенные, в свою очередь, на одно- и двусторонние с различными вариантами взаимного расположения площадок. Эта классификация, названная И. И. Коробковым (1963) «технической», приобрела широкое применение в конкретных исследованиях. Как и большинство археологов той поры, В. П. Любин рассматривал совершенствование технических навыков в нижнем и среднем палеолите как линейный эволюционный процесс (переход от более древней радиальной к параллельной системе расщепления).

Столь же типологический и эволюционный характер носила классификация ядрищ И. И. Коробковым (1965). Этот исследователь систематизировал ядрища в основном по форме и характеру ударной площадки. Им были выделены долеваллуазские (дисковидные, многогранные, чопперовидные, пирамидальные и др.), леваллуазские (треугольные, четырехугольные, ладьевидные и др.) и поздние нелеваллуазские (призматические, конусовидные) группы нуклеусов. Генезис леваллуазской техники, по его мнению, был связан с эволюцией веерообразного принципа расщепления и распространением техники подправки площадки. Для И. И. Коробкова нуклеусы леваллуа идентифицировались по наличию уплощающего скалывания, скошенной ударной площадке и пластинчатым негативам снятий.

Споры о леваллуа разделили исследователей на два лагеря. Первые — сторонники «узкого леваллуа», писали о том, что сущность данного технологического приема заключается в методике подготовки ядрища для снятия одной-двух качественных заготовок с заданными предварительными операциями параметрами. Так, Н. Д. Праслов (1968) разделял сосуществовавшее на протяжении всего нижнего палеолита параллельное («грубопризматическое») расщепление, возникшее раньше леваллуа, и собственно леваллуазскую технику. К леваллуазским исследователи этого направления относили либо только ядрища, предназначенные для снятия одного-двух сколов (или даже единственного скола), то есть черепаховидные формы и нуклеусы для острий (Гладилин 1976; 1989; Кухарчук 1989), либо добавляли к ним ядрища со следами параллельного скалывания, но несущие следы предварительного оформления (Григорьев 1972). Именно в наличии подготовительной обработки ядрищ до скалывания, предопределяющей параметры скола, последний автор видел основной признак леваллуа.

Другая группа археологов тяготела к расширительному пониманию термина леваллуа как основной системы получения стандартных заготовок в среднем палеолите путем параллельного плоскостного скалывания (Любин 1965; Коробков 1965; Ранов 1965; Медведев и др. 1974; Казарян 1981; Смирнов 1983).

В итоге возник, по выражению В. А. Ранова (1989; 1992), «парадокс леваллуа» — отсутствие точного определения леваллуазской заготовки и вопрос о реальной ценности вычисления индексов леваллуа. О возможном получении леваллуазских заготовок с ядрищ различных видов писали Г. П. Григорьев (1972) и В. А. Ранов (1972).

Естественно, различными оказались мнения относительно исторической сути леваллуа, роли этой техники в общем прогрессе ниже- и среднепалеолитической культуры. Если для В. П. Любина (1965) и С. В. Смирнова (1983) распространение леваллуазской техники являлось крупнейшим техническим достижением нижнего палеолита, основанием для пересмотра периодизации, то Г. П. Григорьев (1972) не придавал этому моменту важного значения.

Начиная с 1970-х гг. намечается новый поворот в затянувшейся «леваллуазской дискуссии», связанный с развитием технологического подхода к смене статичного описания ядрищ и сколов динамичными моделями.

Получившая широкое звучание в мировой археологии 1960–1970-х гг. полемика Ф. Борда с Л. Бинфордом (Binford, Binford 1969; Bordes, Sonneville-Bordes 1970) относительно значимости вариации мустьерских индустрий нашла свое отражение на страницах русских изданий. Правда, здесь дискуссия не носила столь бурного характера. Абсолютное большинство отечественных исследователей (Любин 1977; Абрамова 1979б; Григорьев 1987) встало на позицию Ф. Борда, считая, что размах вариации в инвентаре между разнофункциональными памятниками всегда менее значителен, чем между разнокультурными.

Вслед за Ф. Бордом (Bordes 1961b) была поставлена проблема существования культур в мустье. Для обозначения этих явлений Г. П. Григорьев (1968) употреблял термин «вариант» вместо «археологическая культура», так как в его представлении одним из основных показателей археологической культуры была пространственная локализация, а для мустье характерно сосуществование на одной территории 4–5 вариантов. Все же понятие археологической культуры было распространено на средний палеолит Кавказа в работах В. П. Любина (1977) и Средней Азии у В. А. Ранова. Правда, последний автор применительно к мустье предпочитал термины типа «локальная группа» или «технический вариант» (Ранов 1971; Ранов, Несмеянов 1973).

Для обозначения мустьерских культур, расположенных на различных территориях, но попадающих в единый вариант по классификационной шкале Ф. Борда, В. П. Любин предложил термин «линия развития» (Любин 1977). С точки зрения Н. Д. Праслова (1984) подобные явления не более чем артефакт, вызванный повсеместным применением бордовской типологии. Как образно сказал по этому поводу В. Н. Гладилин: «С методической палубы сработанных по французским меркам “каравелл” не всегда можно отличить, что открывается не вновь и вновь желанная бордовская “палеолитическая Индия”, а совершенно иные, еще не изведенные раннепалеолитические “земли и континенты”» (Гладилин, Ситливый 1990: 15). Добавим, что в сходном с В. П. Любиным ключе трактовал прослеживаемые им черты преемственности в индустриях ашель-мустье юго-запада Восточной Европы Н. К. Анисюткин (2001), выделивший здесь две различные линии развития. Подобная модель во многом напоминает концепцию «кустящейся эволюции» каменных индустрий Ф. Борда.

Другая сторона расчленения палеолита в глобальном масштабе — временной аспект, выделение эпох развития и анализ эволюции индустрий в большом хронологическом диапазоне. Что касается проблем периодизации, то це-

лостная концепция подобного рода не без влияния работ Ф. Борда была представлена Г. П. Григорьевым (1977; 1988). Согласно его схеме, эпохи палеолита различаются по характеру своей внутренней структуры, то есть пространственно-временной изменчивости археологического материала и тех аналитических единиц, на которые его можно разделить. Если на олдувайской ступени локального разнообразия не прослеживается, то в ашеле могут быть выделены разновидности. К ним относятся северный ашель (с рубилами), южный ашель (с колунами; по Ф. Борду), ашель с чопперами (например, памятники клектонского типа в Европе). Эти разновидности имеют определенную территориальную приуроченность, хотя и располагаются во многом чересполосно. Для Африки более характерны комплексы южного ашеля (иногда со своеобразными пиками), в то время как в Европе и Азии встречены все три разновидности. Однако если на западе и юге Азии доминирует ашель с рубилами, то на востоке континента получает развитие ашель с чопперами, хотя памятники с рубилами здесь также встречены.

В заключение отметим, что если пионерские разработки советских исследователей 1920–1930-х гг. оказали существенное влияние на формирование как полевой методики, так и системы взглядов Ф. Борда на классификацию каменных индустрий, то начиная с 1960-х гг. наблюдается обратное воздействие концепций французского археолога на отечественную науку. Идеи статистической типологии сыграли заметную роль в развитии палеолитоведения в нашей стране, особенно в Сибири. Долгая история российской и французской школ изучения палеолита демонстрирует плодотворное взаимовлияние, которое продолжается в наши дни.

## Литература

- Абрамова З. А. 1979а. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. Новосибирск: Наука.
- Абрамова З. А. 1979б. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Новосибирск: Наука.
- Анисюткин Н. К. 2001. Мустьерская эпоха на юго-западе Русской равнины. СПб.: Европейский дом.
- Анисюткин Н. К. 2013. Мустьерская стоянка Кетросы в контексте среднего палеолита Восточной Европы. СПб.: Нестор-История.
- Бонч-Осмоловский Г. А. 1928. К вопросу об эволюции древне-палеолитических индустрий // Человек 2–4, 147–186.
- Бонч-Осмоловский Г. А. 1930. Шайтан-Коба, крымская стоянка типа Абри Оди // БКИЧП 2, 61–82.
- Бонч-Осмоловский Г. А. 1940. Палеолит Крыма, вып. 1. Грот Киик-Коба. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Борисковский П. И. 1963. Очерки по палеолиту бассейна Дона. М.; Л.: Изд-во АН СССР (МИА 121).
- Гладилин В. Н. 1976. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. Киев: Наукова думка.
- Гладилин В. Н. 1989. Что же такое техника леваллуа? // Бибииков С. Н. (ред.) Каменный век: памятники — методика — проблемы. Киев: Наукова думка, 30–45.
- Гладилин В. Н., Ситливый В. И. 1990. Ашель Центральной Европы. Киев: Наукова думка.
- Григорьев Г. П. 1968. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens. Л.: Наука.
- Григорьев Г. П. 1972. Проблемы леваллуа // МИА 185, 68–74.
- Григорьев Г. П. 1977. Заселение человеком Азии // Чебоксаров Н. Н. (ред.). Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М.: Наука, 47–61.



- Григорьев Г. П. 1987. Ф. Борд и проблемы развития мустьерской культуры // Тугиев Т. Б. (ред.). Проблемы интерпретации археологических источников. Орджоникидзе: Изд-во Северо-Осетинского ун-та, 5–18.
- Григорьев Г. П. 1988. Эпохи палеолита как показатель развития // Любин В. П. (ред.). Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы. Л.: Наука, 13–15.
- Казарян Г. П. 1981. К проблеме техники леваллуа // Историко-филологический журнал 94 (3), 261–273.
- Клейн Л. С. 2011. История археологической мысли, т. 1. СПб.: СПбГУ.
- Колосов Ю. Г. 1972. Шайтан-Коба — мустьерска стоянка Криму. Київ: Наукова думка.
- Коробков И. И. 1963. О методике определения нуклеусов // СА 4, 10–19.
- Коробков И. И. 1965. Нуклеусы Яштуха // МИА 131, 76–110.
- Кулаковская Л. В. 1990. Мустье Азии: взгляд из Европы // Хроностратиграфия палеолита Северной, Восточной и Центральной Азии и Америки. Новосибирск: Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, 210–214.
- Кухарчук Ю. В. 1989. К историографии проблемы леваллуа // Бибииков С. Н. (ред.). Каменный век: памятники, методика, проблемы. Киев: Наукова думка, 17–30.
- Любин В. П. 1965. К вопросу о методике изучения нижнепалеолитических каменных орудий // МИА 131, 7–75.
- Любин В. П. 1977. Мустьерские культуры Кавказа. Л.: Наука.
- Маркин С. В. 1986. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск: Наука.
- Медведев Г. И., Михнюк Г. Н., Лежненко И. Л. 1974. О номенклатурных обозначениях и морфологии нуклеусов в докерамических комплексах Приангарья // ДИНЮВС 1, 60–90.
- Паничкина М. З. 1959. Палеолитические нуклеусы // АСГЭ 1, 7–77.
- Петрин В. Т. 1986. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука.
- Праслов Н. Д. 1968. Ранний палеолит Северо-восточного Приазовья и Нижнего Дона. Л.: Наука (МИА 157).
- Праслов Н. Д. 1984. Ранний палеолит Русской равнины и Крыма // Борисковский П. И. (ред.). Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука, 94–111.
- Ранов В. А. 1965. Каменный век Таджикистана, вып. 1. Душанбе: Дониш.
- Ранов В. А. 1971. К изучению мустьерской культуры в Средней Азии // МИА 173, 209–232.
- Ранов В. А. 1972. О некоторых вопросах, связанных с выделением локальных вариантов (фаций) в эпоху палеолита // УСА 2, 7–12.
- Ранов В. А. 1989. Парадокс леваллуа // Бибииков С. Н. (ред.). Каменный век: памятники, методика, проблемы. Киев: Наукова думка, 46–50.
- Ранов В. А. 1992. Еще раз о «парадоксе леваллуа» // Бессуднов А. Н. (ред.). Теория и методика исследования археологических памятников лесостепной зоны. Липецк: Изд-во Липецкого педагогического ин-та, 43–44.
- Ранов В. А., Несмеянов С. А. 1973. Палеолит и стратиграфия антропогена Средней Азии. Душанбе: Дониш.
- Семенов С. А. 1957. Первобытная техника. М.: Изд-во АН СССР (МИА 54).
- Смирнов С. В. 1983. Становление основ общественного производства. Киев: Наукова думка.
- Скетт Дж. 2013. Франсуа Борд и древний каменный век // РАЕ 3, 554–567.
- Черныш А. П. 1977. Многослойная палеолитическая стоянка Кормань IV и ее место в палеолите // Горещкий И. Г., Цейтлин С. М. (ред.). Многослойная палеолитическая стоянка Кормань IV. М.: Наука, 7–77.
- Binford L. R., Binford S. R. 1969. Stone tools and human behavior // Scientific American 220 (1), 70–84.

- Bordes F.* 1961a. Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux 1. Bordeaux: Delmas.
- Bordes F.* 1961b. Mousterian cultures in France // *Science* 134, 803–810.
- Bordes F.* 1967. Considérations sur la typologie et les techniques dans le Paléolithique // *Quartär* 18, 25–55.
- Bordes F.* 1968a. *The Old Stone Age*. New York–Toronto: Toronto University Press.
- Bordes F.* 1968b. Emplacement de tente du Périgodien supérieur au château de Corbiac, près Bergerac (Dordogne) // *La revue des musées de Bordeaux*. Bordeaux: Société des amis des musées de Bordeaux, 14–15.
- Bordes F.* 1972. *A Tale of Two Caves*. New York: Harper and Row.
- Bordes F.* 1984a. Leçons sur le Paléolithique, t. II, Cahiers du Quaternaire 7, Paris: Ed. CNRS.
- Bordes F.* 1984b. Leçons sur le Paléolithique, t. III, Cahiers du Quaternaire 7, Paris: Ed. CNRS.
- Bordes F., Sonneville-Bordes D. de.* 1970. The significance of variability in Palaeolithic assemblages // *WA* 2, 61–73.
- Semenov S. A.* 1970. The forms and functions of the oldest tools (a reply to Prof. F. Bordes) // *Quartär* 21, 1–20.
- Vasil'ev S. A.* 2011. La préhistoire russe et François Bordes: les influences reciproques // *Delpech F., Jaubert J. (Dir.). François Bordes et la préhistoire*. Paris: Ed. CTHS, 71–85.

## «С нетерпением жду ответа от Вас» (письма Н. Е. Макаренко Э. Х. Миннзу)

*...Я читать его стал.  
Било десять. Одиннадцать било.  
Я не просто прочел —  
я как путник, прошел то письмо.  
Начиналось, как водится,  
с года, числа, обращенья;  
Видно, тот, кто писал,  
машинально начало тянул,  
За какую-то книжку  
просил у кого-то прощенья...  
Пропустив эти строчки,  
я дальше в письмо заглянул...  
Константин Симонов «Пять страниц»*

**Резюме.** Недавно мы ознакомились с письмами украинского археолога и искусствоведа Н. Е. Макаренко (1877–1938) известному английскому археологу Э. Х. Миннзу (1873–1953). Коллекция — 16 писем и открыток, отправленных в период между 1927 и 1933 гг.— отложилась в фонде Миннза в библиотеке Кембриджского университета (Minns Add. 7722, папка № 586). В представленной публикации мы представляем все тексты писем этой коллекции. Письма пронумерованы от № 1 до № 16 согласно датам их написания. Пятнадцать раз — а с учетом четырех писем, не попавших в кембриджскую коллекцию, девятнадцать — Макаренко писал английскому коллеге из Киева, и только одно письмо — с раскопок Мариупольского могильника. Лейтмотив почти всех писем Макаренко Миннзу — книги. То же отмечалось нами ранее в переписке Макаренко с А. М. Тальгреном (1885–1945). Отметим, что письма Макаренко Миннзу и Тальгрену в определенной мере помогли нам выявить книги библиотеки Макаренко среди личных собраний книг современных ар-

**S. V. Kuzminykh, A. N. Usachuk. «Looking forward to hear from you soon» (N. E. Makarenko's letters to E. H. Minns).** Recently we have studied letters of the Ukrainian archeologist and art critic N. E. Makarenko (1877–1938) to the famous English archeologist Ellis Hovell Minns (1873–1953). The collection includes 16 letters and cards, which were sent between 1927 and 1933, and is kept in Minns' fund in Cambridge University Library (Minns Add. 7722, folder No. 586). We publish full texts of letters of this collection. Fifteen times (nineteen if take into account 4 letters which have not got to the Cambridge collection) Makarenko wrote to his English colleague from Kiev, and only one letter (No.6, 10/12/1930) he sent from excavation of the Mariupol cemetery. A keynote of almost all Makarenko's letters to Minns is books. The same we have earlier noted concerning Makarenko's correspondence with Aarne Michael Tallgren (1885–1945). We should note that Makarenko's letters to Minns and Tallgren in a certain way have helped us to reveal books from Makarenko's library among private collections of books of modern archeo-

хеологов и в библиотеках. Помимо книг, в письмах Макаренко идет разговор об археологических исследованиях — в основном, о раскопках курганов эпохи бронзы в Донбассе. Среди сведений о раскопках выделяется обстоятельное письмо об исследовании Мариупольского могильника. С самого начала работ Макаренко осознал уникальность памятника, и именно письмо Миннзу явилось первой попыткой познакомиться с зарубежными специалистами с материалами нового могильника. В письмах Макаренко Миннзу проскальзывают яркие детали археологической жизни того времени, переплетаясь с отголосками повседневной жизни украинского археолога. Из писем мы узнаем и про еще один интересный нюанс археологической деятельности тех лет: Миннз выступил посредником в деле приезда в экспедицию Макаренко известной английской исследовательницы М. А. Мюррей (1863–1963). Предполагалось, что Мюррей будет участвовать в раскопках курганов в Донбассе в 1933 г. К сожалению, из-за административных и финансовых трудностей, связанных с организацией раскопок в 1933 г., поездка Мюррей не состоялась и была отложена на 1934 г. Невеселым письмом, написанным в последний день уходящего года, заканчивается переписка Макаренко с английским коллегой. К сожалению, 1933 г. стал последним годом, когда Макаренко вел раскопки: в апреле 1934 г. его арестовали.

**Ключевые слова:** история археологии, Н. Е. Макаренко, Э. Х. Миннз, письма, Мариупольский могильник.

logists and in libraries. In Makarenko's letters, in addition to the books, the issues of archaeological researches are involved, mainly about excavations of the Bronze Age barrows in Donbas. Among the information on excavation, a detailed letter on exploration of the Mariupol burial ground stands alone. From the very beginning of the excavation, Makarenko realized a uniqueness of the site, and the letter to Minns was the first attempt to acquaint foreign scholars with materials of the new burial ground. In Makarenko's letters to Minns, there are bright details of archaeological life of the time along with echoes of everyday life of the Ukrainian archeologist. One more interesting fact of the archaeological activity of those years is in the letters: Minns has mediated in arrival of the famous English researcher M. A. Murray (1863–1963) to the Makarenko's expedition. It was supposed that Murray would participate in excavations of barrows in Donbas in 1933. Unfortunately, because of the administrative and financial problems with organization of excavation in 1933, Murray's trip was postponed for 1934. Makarenko's correspondence with his English colleague comes to an end with the melancholic letter written in the Old Year's Day. The year of 1933 was the last year when Makarenko did excavation: he was arrested in April, 1934.

**Keywords:** history of archaeology, N. E. Makarenko, E. H. Minns, letters, Mariupol cemetery.

Обращаясь к творческому наследию юбиляра, остановимся только на одной книге Л. С. Клейна, правда, не уместившейся под одной обложкой. Речь идет о сравнительно недавно вышедшем двухтомнике «История российской археологии: учения, школы и личности» (Клейн 2014а; 2014б). Книга своеобразная (об этом говорит и автор: Клейн 2014а: 27, 28), заставляющая не выпускать при чтении карандаш из рук, а многие строки перечитывать, затем откладывать том и задумываться — в основном как-то невесело. А затем вновь читать те строки, на которых остановился.

Для предлагаемой нами на страницах этого сборника работы важно то, что среди личностей, отобранных Л. С. Клейном для представления отечественной археологии, оказался Николай Емельянович Макаренко (1877–1938). Причем интересно, что очерк о Макаренко не попал у автора во 2-й том «Археологи советской эпохи», а оказался в 1-м: «Общий обзор и дореволюционное время»

(Клейн 2014а: 525–538), хотя бóльшую часть своих исследований, в том числе и раскопки знаменитого Мариупольского могильника, Макаренко осуществил как раз в советскую эпоху. Но по существу Л. С. Клейн прав: назвать Макаренко советским археологом язык как-то не поворачивается... Особенно после того, как мы в течение ряда лет, занимаясь вопросами истории отечественной археологии, постоянно видели в поле зрения эту своеобразную фигуру. Нам удалось найти и обработать материалы, связанные с деятельностью Макаренко (Кузьминых, Усачук 2008; 2011; Усачук 1993; 2012а; 2012б; Усачук та ін. 1995; и др.). Недавно мы смогли ознакомиться с письмами Н. Е. Макаренко известному английскому археологу Эллису Хоуэллу Миннзу (1873–1953). Коллекция — 16 писем и открыток, отправленных в период между 1927 и 1933 гг. — отложилась в фонде Миннза в Cambridge University Library (Minns Add. 7722, папка № 586)<sup>1</sup>. Краткая информация об этих письмах опубликована (Кузьминых, Усачук 2015; Кузьминых, Усачук 2015; 2016а). Кроме того, дав в печати полные тексты писем Макаренко А. М. Тальгрену, мы сравнивали их с письмами Макаренко Миннзу (Кузьминых, Усачук 2016б: 382–384, 387, 388, 405, 410, 415).

Теперь же, вслед за письмами Макаренко Тальгрену, мы хотим представить все тексты писем Макаренко Миннзу. Письма пронумерованы от № 1 до № 16 согласно датам их написания — здесь автор писем был аккуратен, и даты проставлены везде. Как и с иными письмами Макаренко (Кузьминых, Усачук 2016б: 380, сноска 2), текст этих писем дается без исправлений, с присущей автору орфографией. Обратим внимание, что Николай Емельянович напрямую писал Миннзу: «Относительно орфографии, то я сам пишу по старой. Новой не переносу и не признаю как видите» (№ 1, 31.10.1927). Некоторые нюансы старой орфографии («с ея участием», «ея мнение», «необходимыя» и т. п.) все-таки изменены для удобства чтения. Сокращения восстановлены и даются в квадратных скобках. В квадратных же скобках даются указания на детали оформления писем (зачеркнутые слова, перпендикулярно основному написанный текст, пометки Миннза и пр.). Оговариваются слова, вставленные в написанный текст, редкие украинизмы. Упоминания изданий (монографий, сборников, статей) даются в круглых скобках. В сноски вынесены какие-либо комментарии, помогающие лучше понять текст письма. Полное описание упомянутой в письмах литературы — в библиографическом списке.

Уже письмо № 1 свидетельствует, что оба исследователя как-то общались друг с другом ранее. Впрочем, судя по ответам Макаренко в этом письме на вопросы «Ильи Егоровича» (так обращались к Миннзу археологи из России и СССР, ср. с обращением к Тальгрену: «Михаил Маркович» (Кузьминых, Усачук 2016б: 380, сноска 2)), можно предположить, что до конца октября 1927 г. оба ученых обменялись несколькими письмами (во всяком случае, в первом

<sup>1</sup> На всех первых листах писем стоит ярко-красный прямоугольный штамп: University Library Cambridge. Как правило, его ставили внизу. Вверху — только один раз (письмо № 14). На письмах-открытках (№ 7–9) штамп отсутствует, однако нам были доступны сканы только оборотных сторон писем-открыток с текстом. Возможно, штамп стоит на лицевых сторонах открыток. Если говорить о пометках на письмах, то, скорее всего, карандашные пометки «МАКАRENKO (N.)», сделанные прописными буквами неровным почерком, являются поздними и не проставлены Миннзом (почерк явных пометок Миннза отличается от указания фамилии адресанта). В верхней части листа над началом письма № 13 тонким простым карандашом (не тем, которым сделаны надписи «МАКАRENKO (N.)») проставлена явно архивная пометка: «Add 7722 box 1 folder M».

сохранившемся письме Макаренко упоминает про то, что писал Миннзу в мае 1927 г.). Кроме того, из текста сохранившихся 16 мы узнаем еще о четырех письмах, которых по каким-то причинам (не дошли?) нет в фонде Миннза (май 1927 г., 16.12.1931, 28.01.1932 и 16.12.1932). Наиболее активно переписка Макаренко и Миннза происходила в 1931–1932 гг., на это время приходится 12 писем — больше, чем за все предыдущие годы. Мы отмечали, что к началу 30-х гг. интенсивность переписки Макаренко с Тальгреном падает, и предполагали, что так случилось со всеми зарубежными корреспондентами Николая Емельяновича (Кузьминых, Усачук 2016б: 382). Реальность, как всегда, оказалась сложнее. Зато интенсивность писем Макаренко по месяцам и Тальгреному, и Городцову, и Миннзу оказалась сопоставима (Кузьминых, Усачук 2016б: 382, 383). 12 писем за разные годы переписки с Миннзом отправлены Макаренко с января по май (январь — апрель — 8 писем, май — 4 письма). В летние месяцы и в сентябре Николай Емельянович Миннзу не писал: организация и проведение экспедиций не оставляли времени для переписки. Единственное исключение — одно июньское письмо, тогда, когда финансирование затягивалось, и Макаренко вообще думал, что в поле в этом году не сумеет выехать: *«К сожалению, видимо, никуда не поеду в этом году на раскопки. Буду безвыездно сидеть в Киеве»* (№ 15, 14.06.1933). В октябре переписка возобновлялась: два письма (одно — с места осенних раскопок Мариупольского могильника), в ноябре — одно, а в декабре — уже четыре, что предвосхищало более интенсивную переписку с Миннзом в начале следующего года.

Пятнадцать раз — а с учетом не попавших в кембриджскую коллекцию четырех писем девятнадцать — Макаренко писал английскому коллеге из Киева и только одно письмо (№ 6, 12.10.1930) из Мариуполя, с раскопок своего удивительного могильника. Это письмо написано в воскресенье. Рискнем предположить, что в выходной день рабочие отдыхали, и у Николая Емельяновича появилась возможность подвести итоги предыдущей недели на раскопе (последней полной недели работы на раскопе) и среди прочих дел написать довольно большое письмо Миннзу<sup>2</sup>. Вообще-то анализ писем по дням недели не показал каких-то привычек Макаренко в ведении корреспонденции: в понедельник и вторник в разные годы написано по два письма, в остальные дни, кроме субботы, — по три, в субботу — два, в воскресенье — четыре. Отметим, что письмо из Мариуполя — первое воскресное в переписке с Миннзом. Остальные три «воскресных» письма датируются 1932–1933 гг.: видимо, в выходной день, без суеты и беспокойства (ср. письма: № 3, 27.04.1928; № 4, 12.05.1928) можно было обдумать и написать письмо, и постепенно Николай Емельянович начал склоняться к этому. Кстати, анализ по дням «киевской группы» писем Макаренко Тальгреному показал, что в субботу и воскресенье в сумме написано чуть больше писем, чем в любые остальные дни недели по парам. Письма № 1–5

<sup>2</sup> Сроки раскопок Мариупольского могильника известны: с 10 августа по 15 октября 1930 г. (Макаренко 1933: 3, 10). Получается, что Макаренко этим письмом подводил первые итоги почти исследованного могильника (в письме говорится о 124 вскрытых погребениях — это общий итог раскопок могильника (Там же: 16, 34, 54, 110, 111). Рискнем предположить, но с большой долей вероятности, что в эти дни Николай Емельянович пишет о раскопках и А. А. Спицыну, судя по тому что ответ Спицына, использованный Макаренко в виде эпиграфа к книге, датирован 21 октября 1930 г. (Там же: 1). Получается, что для распространения информации об уникальном могильнике в археологическом сообществе автор раскопок избрал Миннза, Спицына и чуть позже — Тальгрена.

написаны густыми черными чернилами. Экспедиционное мариупольское письмо (№ 6, 12.10.1930) — простым карандашом. Открытки конца марта — начала мая 1932 г. (№ 7–9) — синими чернилами. С конца ноября 1932 г. до середины июня 1933 г. все письма (№ 10–15) написаны зелеными чернилами<sup>3</sup>. В последнем письме (№ 16, 31.12.1933) адресант вернулся к черным чернилам<sup>4</sup>.

Лейтмотив почти всех писем Макаренко Миннзу — книги. Мы отмечали, что разговор о книгах — постоянная тема переписки Макаренко и Тальгрена (Кузьминых, Усачук 2011: 198; 2016б: 384, 385). То же можно сказать и о его письмах Миннзу. Причины того, что книги занимают почти все внимание Макаренко, видны из самих писем: «*В Европе издано так много интересных книг <...>*<sup>5</sup> по археологическим вопросам, что я даже начинаю завидовать тем, кто имеет возможность ими пользоваться» (№ 10, 27.11.1932); «*У меня настоящий книжный голод. Выписать ничего не могу, ни на одну копейку, а потребность в ознакомлении, как движется любимая мной дисциплина, большая. <...> В былые времена я много книг и выписывал и покупал*» (№ 12, 12.02.1933); «*... я ведь уже не знаю каждого из этих изданий. Может быть каждое из них стоит много дороже всего того что я мог бы предложить в обмен. <...> Если бы нашлись люди которым необходимы наши издания я был бы рад обменяться*» (№ 13, 28.03.1933); «*Приношу Вам мою искреннюю и глубокую благодарность за присылку книг <...> Между тем лично я испытываю голод в книжных поступлениях*» (№ 15, 14.06.1933).

Помимо книг, в письмах Макаренко идет разговор об археологических исследованиях. Как правило, это краткое упоминание: «*Наступающим летом мне предстоит произвести много археологических работ, если позволит здоровье*» (№ 3, 27.04.1928); «*Только сейчас возвратясь из длительной командировки —*

<sup>3</sup> Эта группа писем объединяется еще тем, что письма № 10, 13–15 написаны на бумаге со слабо видимым водяным знаком: круг, разбитый на сектора в виде сходящихся в центре линий, изображающих заклеенный конверт, и буквами в секторах. Буквы не опознаются: скорее всего, в одном из секторов прописная Э (и вторая буква —?), в другом — S. Попытка отыскать подобный знак в специальной литературе не увенчалась успехом, тем более что мы не знаем срока залежности бумаги, но констатируем снижение роли филигранны и штемпелей на бумаге 20-х гг. прошлого века (Костина 1975: 75, 76). Возможно, подобный знак просто не попал в поле зрения специалистов.

<sup>4</sup> Использовать зеленые чернила Макаренко начал раньше первого «зеленого» письма Миннзу (№ 10, 27.11.1932) — по крайней мере, в октябре 1932 г. (видимо, даже раньше). Среди книг из библиотеки Макаренко, которые мы сумели отыскать в Донецке (Кузьминых, Усачук 2016б: 384, сноска 12), есть, например, издание (Тоттра 1929) с экслибрисом, подписью «*Микола Макаренко*» в правом верхнем углу авантюла и надписью «*Від Венгерського Національного Музею. Жовтень 1932 р.*» внизу заднего форзаца. Подпись и надпись выполнены зелеными чернилами. Вообще, ситуация со сменой чернил в письмах и книгах из библиотеки Макаренко сопоставима. Есть издания, вышедшие в 1931 и 1932 гг. и через какой-то промежуток времени попавшие в библиотеку Макаренко, — они подписаны зелеными чернилами. Возможно, это поможет для более точной датировки появления той или иной книги в библиотеке Макаренко или даст возможность очертить, пусть приблизительные, рамки выявленных в будущем писем Николая Емельяновича без даты. При работе с обширной перепиской Макаренко с Тальгренем мы были лишены возможности сравнивать цвет чернил, поскольку работали с качественными, но черно-белыми копиями текстов писем коллекции 230 из архива финского ученого.

<sup>5</sup> Здесь и далее в угловых скобках — пропуски в цитатах.

пробыл на археологических раскопках четыре месяца — получил Ваше симпатичное письмо» (№ 10, 27.11.1932); «Только что вернулся из раскопок, пробыл около трех месяцев на работе. <...> Средства были настоящие малы, что рассчитывать на длительные раскопки нельзя было. Потом они были увеличены, и я заканчивал уже во время снега и морозов» (№ 16, 31.12.1933). Но наряду с этим единственное письмо, которое Макаренко написал Миннзу не из Киева, а из экспедиции, относится, как мы упоминали выше, к осени 1930 г., когда Николай Емельянович раскапывал Мариупольский могильник (№ 6, 12.10.1930). С самого начала работ Макаренко осознал уникальность памятника, и именно письмо Миннзу явилось первой попыткой познакомить зарубежных специалистов с материалами могильника (Кузьминых, Усачук 2016а: 245, 246; 2016б: 388). В Донбассе Макаренко помимо Мариупольского могильника в 1930–1933 гг. раскопал более двух десятков курганов (Усачук и др. 2004: 69, 70; Кузьминых, Усачук 2011: 204; 2016а: 247; 2016б: 388). Эти исследования тоже отразились в переписке с английским коллегой: «Только что прошедшим летом я работал, как и в прошлом году, исключительно над исследованием летуры скорченных и окрашенных скелетов» (№ 10, 27.11.1932); «Собрал прекрасный материал по эпохе медно-бронзовой» (№ 16, 31.12.1933). К слову, в 1933–1934 гг. Николай Емельянович готовил к печати статью «Розкопки скорчених поховань на західній околиці м. Маріуполя» (Макаренко 1992: 56), но довести ее до конца не успел. Уже в ссылке Макаренко заканчивал большой труд о раскопках в Донбассе в начале 30-х годов, но из-за нового ареста и эта работа оказалась утраченной — рукопись ее не найдена (Кузьминых, Усачук 2016б: 391).

С раскопками курганов эпохи бронзы в Донбассе связан еще один интересный нюанс археологической деятельности Макаренко. Из писем мы узнаём, что Миннз выступил посредником в деле приезда в экспедицию Макаренко известной английской исследовательницы Маргариты Алисы Мюррей (1863–1963)<sup>6</sup>. Возможно, интерес к бронзовому веку Причерноморья мог появиться у Мюррей в связи с ее исследованиями в 1920-е гг. на Мальте и особенно — после ее раскопок (начиная с 1931 г.) на Менорке (Murray 1963: 129–137; Drower 2004: 121–124; Sheppard 2013: 197–222; Whitehouse 2013: 122). Известно, что в 1926 г. Мюррей в качестве туристки приезжала в СССР для осмотра музеев Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева (Murray 1963: 98, 99; Drower 2004: 125). Очевидно, раскопки на островах Средиземноморья и знакомство с музейными собраниями крупнейших городов СССР сформировали желание неутомимой исследовательницы познакомиться поближе с древностями бронзового века и нашими древностями в частности<sup>7</sup>. Во всяком случае, Миннз написал о Мюррей Макаренко в августе 1932 г. В ответе мы читаем: «Относительно Miss M. A. Murray <...> могу сказать следующее: я думаю что украинская археология вообще будет чрезвычайно благодарна если бы такой специалист как Miss M. A. Murray появился на нашей почве, а я лично

<sup>6</sup> Подчеркнем, что эта информация не отложилась более нигде — во всяком случае, в значительном массиве разнообразных документов, связанных с жизнью и деятельностью Макаренко, мы сведений о взаимоотношениях с М. А. Мюррей до сей поры не находили.

<sup>7</sup> Мюррей в своих воспоминаниях пишет о впечатлении, которое произвели на нее увиденные в Киеве материалы трипольской культуры. Исходя из своего опыта, она увидела в них сильное египетское влияние: «It was at Kiev, however, that I first saw the finds from the excavations at Tripolye. They were most exciting as they showed strong Egyptian influence» (Murray 1963: 99).



был бы очень рад быть полезным Miss M. A. Murray, если бы она нашла возможным принять участие в моих работах <...>» (№ 10, 27.11.1932). Далее в переписке с Миннзом вплоть до последнего письма Макаренко затрагивал вопрос о возможном приезде английской исследовательницы. Кроме того, нам становится известно, что Мюррей и Макаренко начали писать друг другу напрямую<sup>8</sup>: «Получил письмо от M. A. Murray. Если только в наступающем сезоне у нас будут производиться археологические исследования — я буду весьма рад устроить ее в качестве члена экспедиции. Об этом я одновременно с настоящим и пишу ей» (№ 12, 12.02.1933); «Вашими заботами я очень тронут. <...> чувствую себя виноватым что на два последних Ваших письма отвечаю лишь одним настоящим. <...> Также виноватым чувствую я и перед ms Murray. Около недели тому назад получил от нее ответное письмо <...> Завтра думаю написать ей. Ей не будет дорого стоить пребывание у нас, а если она привыкла к неудобствам египетской жизни, и жизни в других подобных странах, то у нас ей не покажется тяжело. Мы сумеем устроить ей на раскопках жизнь <...> А если удастся провести в жизнь наши исследования скифских курганов она будет довольна» (№ 13, 28.03.1933); «Сегодня одновременно с этим я посылаю Miss M. A. Murray свое извинительное письмо. Я обещаю ей сообщить немедленно как только станет мне известно что либо о предстоящих археологических исследованиях» (№ 14, 11.05.1933).

Из-за проволочек с финансированием (это видно по письмам) полевой сезон 1933 г. оказался под угрозой срыва (Кузьминых, Усачук 2016а: 244). Мы знаем, что в конце концов определенные финансы были выделены, но достаточно поздно. Во всяком случае, приезд М. А. Мюррей в 1933 г. не состоялся. Вероятно, знакомство и совместная работа двух опытных исследователей могли дать интересные результаты, тем более что в одном из писем Николай Емельянович пишет: «В последнем письме Mss Murray, <...> сообщила что интересуется керамикой бронзового периода и орнаментом. Хочу ей писать что я занимаюсь уже давно этим вопросом и собрал колоссальный материал, который ждет обработки. Я с большой охотой поделюсь с Mss Murray своим материалом и наблюдениями над ним» (№ 15, 14.06.1933). Подводя итоги прошедшего года, Макаренко вновь пишет Миннзу и о несостоявшемся участии Мюррей в раскопках курганов: «Ах, как жаль что в закончившемся 33<sup>м</sup> году не удалось поработать у нас Mss A. Murray. <...> На будущее лето предположительно думаю о больших раскопках, если M. Murray пожелала бы, очень хорошо было бы поработать вместе» (№ 16, 31.12.1933). Как оказалось, 1933 г. стал последним в экспедиционной деятельности Макаренко — помешала начавшаяся ссылка. Интересный сюжет о совместных раскопках в Приазовье и общей научной деятельности двух таких разных специалистов остался, к глубокому сожалению, не реализованным. Жаль, очень жаль, было бы интересно посмотреть, как восприняла бы материалы наших степных курганов такой своеобразный специалист, как Мюррей<sup>9</sup>, как отразились бы ее раскопки с Макаренко в интересных воспоминаниях, которые Мюррей написала к своему столетию (Murray 1963).

<sup>8</sup> Возможно, в сохранившихся бумагах М. А. Мюррей в различных архивных фондах Лондона (ср. Drower 2004: 140) можно отыскать и письма Макаренко?

<sup>9</sup> Подводя итог своей долгой и насыщенной жизни, Мюррей все-таки склонялась к тому, что иные ее раскопки не могут соперничать с блеском и очарованием Египта: «All the excavations in which I have taken part have been interesting and even exciting, but none of the others had the glamour and the splendour of Egypt» (Murray 1963: 140).

Помимо информации о попытках налаживания научных связей с М. А. Мюррей, в письмах Макаренко Миннзу проскальзывают яркие детали археологической жизни того времени, переплетаясь с отголосками повседневной жизни украинского археолога. Они не столь обширны, эти детали, как в письмах Макаренко Тальгрёну (Кузьминых, Усачук 2011: 206–210; 2016б: 390, 391), но содержат порой информацию, которая не прозвучала в переписке с финским ученым: «Здесь на Украине трудно работать. Мои прежние приятели и сослуживцы либо умерли либо в эмиграции» (№ 1, 31.10.1927); «Ваша открытка с указанием на окна вашей квартиры на меня произвела большое впечатление. <...> Спокойный, почти средневекового характера дом. Большие окна, много свету. Спокойствие способствующее <...> работе сосредоточенной, без мысли о куске хлеба на завтрашний день, о суете, беготне. Кроме того жизнь в одноэтажном домике всегда меня привлекала. В Петербурге я жил на шестом этаже и оттого получил полное отвращение к “небоскрегам”. Их не выношу» (№ 3, 27.04.1928); «Одна беда — раскопок делаем много, публикаций о них не печатаем» (№ 3, 27.04.1928); «Приходится в большинстве случаев печатать мелочи, состряпанные наспех, в промежутках между тьмой случайных и иных занятий, не сосредоточившись, безпокойно, в постоянной суете под давлением материальных, а еще более моральных невзгод, несчастий» (№ 4, 12.05.1928); «Обремененный лекциями, я мало сейчас работаю, научные интересы постепенно отходят на задний план перед насущными вопросами существования, голод весьма ощутительно сказывается <...> Кое над чем работаю, но медленно, вяло» (№ 5, 4.02.1930); «Ах, как бы хотелось быть в Лондоне, на съезде. У меня дома имеется очень важный доклад для этого съезда» (№ 8, 18.04.1932); «Дорогой Илья Егорович! <...> Очень бы хотел прочитать на Съезде доклад <...> Необходим вызов со стороны Организационного Комитета в Комиссариат Народного Просвещения» (№ 9, 7.05.1932); «Если бы Вы знали, как больно мне было получить отказ в поездке на конгресс! Я так хотел Вас видеть <...>. Так много было о чем поговорить. Так много у нас накопилось всякого материала» (№ 10, 27.11.1932); «А вот, неудобно ли, каково культурное отношение Римской Академии к Украинской: первый том Записок Археологического Комитета был послан Академией Наук в Римскую, с просьбой вступить в обмен изданиями. На это был получен от Римской Академии ответ, гласящий, что Римская Академия не находит ничего для себя интересного в издании Украинской Академии и отказывается вступить в обмен. Вот это называется культурным отношением!!!... У нас об этом много говорят. Хороши же итальянские ученые!!!» (№ 15, 14.06.1933)<sup>10</sup>; «С некоторых пор я все опаздываю, все делаю не своевременно, одно забываю, другое поздно вспоминаю. <...> я чувствую, что с каждым годом я все более и более отстаю от тех научных приобретений, которыми обогащается наша дисциплина. Литература не доходит. Собранный мною колоссальный научный материал с трудом удается обрабатывать» (№ 16, 31.12.1933).

Невеселым письмом, написанным в последний день уходящего года (№ 16, 31.12.1933), заканчивается переписка Макаренко с английским коллегой. В следующем году Тальгрёну, например, Николай Емельянович успел написать еще трижды: две открытки и письмо, Миннзу же более он не писал.

<sup>10</sup> Вряд ли виноваты в таком ответе те или иные «итальянские ученые». Скорее всего, ответ придумали чиновники от науки, главная мысль которых была, как у чеховского Беликова: «Ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло».

Своеобразная усмешка судьбы: переписка с Тальгреном в 1934 г. касалась исключительно статьи, которую Макаренко спешил доделать для сборника в честь Миннза (Макаренко 1934). С Тальгреном — составителем и редактором Eurasia Septentrionalis Antiqua Макаренко ведет разговор об иллюстрациях, вычитывает корректуру, беспокоится о сроках — успеет ли он (Кузьминых, Усачук 2016б: 416). Успел. Но, не считая долгожданной книги «Маріюпільський могильник» (Макаренко 1933), вышедшей не ранее лета 1934 г. (Клейн 2014а: 534; Кузьминых, Усачук 2016б: 390), статья в IX том ESA (Макаренко 1934) оказалась последней печатной работой, представленной Макаренко научному сообществу. 26 апреля 1934 г. Николая Емельяновича арестовали и в начале сентября отправили в ссылку (Кузьминых, Усачук 2016б: 390), которая закончилась новым арестом, новым сроком, лагерем, вновь арестом, судом и расстрелом (Граб 1990: 31; Макаренко 1992: 60–63; Клейн 2014а: 536, 537; Длужневская 2014: 151; Кузьминых, Усачук 2016б: 391, 392)<sup>11</sup>.

## № 1

Киев 31/X 1927.  
отв[етил] 9.XI.27. [пометка Миннза]

### *Многоуважаемый Г-н Minns!*

*Вчера только получил ваше письмо от 30/IX<sup>го</sup>. Лежало оно и ждало моего возвращения из раскопок. В течении 4<sup>х</sup> месяцев я вел археологические раскопки в разных частях Украины<sup>12</sup>.*

*Смешные вещи иногда бывают: в мае месяце я отправил вам несколько своих работ. Через месяц я получил их обратно к своему удивлению с надписью: «адресат не розыскан». Я не мог понять почему вас не розыскали и только через несколько дней снова взглянул на возвращенный пакет и прочел тот свой адрес по которому я направил свои работы. Там стояло: «Оксфорд». Почему я направил в Оксфорд, а не в Кембридж — я сам себе ответа дать не мог. После этого вскоре я уехал на исследования. Теперь получив ваше письмо я с большим удовольствием исполню ваше желание.*

*Вы пишете встречали ли меня в России. Да, мы встречались. Но я тогда служил в Императ[орском] Эрмитаже в Петербурге<sup>13</sup>. Эрмитаж я оставил лишь в 1919 году и переехал в Киев<sup>14</sup> где избрали меня директором музея Академии*

<sup>11</sup> За помощь в работе над этой статьей авторы считают приятным долгом поблагодарить своих коллег: Н. Б. Щербакова, И. А. Шутелеву, М. Радивоевич, И. А. Ходак, В. Н. Горбова, М. В. Горбову, В. К. Гриба, Д. В. Пилипенко, а также библиотеки Кембриджского университета.

<sup>12</sup> Разведки и раскопки на Полтавщине, исследование раннескифского поселения у с. Головач недалеко от Полтавы, работы в Густыньском монастыре (Звагельский 1990: 58; Граб, Супруненко 1991: 17, 18; Макаренко 1992: 45, 46; Супруненко 2007: 40, 41; Усачук 2012а: 319; 2012б: 96).

<sup>13</sup> Н. Е. Макаренко работал в Эрмитаже с 1911 г. С 1915 г. — кандидат на классную должность (Качалина и др. 2004: 102–104; Длужневская 2014: 151).

<sup>14</sup> О причинах переезда Макаренко в Киев см.: Макаренко 1992: 34; Кузьминых, Усачук 2016б: 383; и др.

наук<sup>15</sup> и профессором университета. Директором я состоял до момента когда меня заменили коммунистом ничего общего с музейным делом не имеющим<sup>16</sup>. В настоящее время я член Всеукраинского Археологического Комитета<sup>17</sup>. Ваше желание получать интересующие вас книги я охотно исполню.

Одновременно с этим посылаю вам заказной бандеролью 1) «Трипільський Збірник» (Трипільська культура... 1926) 2) Городище «Монастырище» (Макаренко 1925) 3) Халеп'є (Макаренко 1926а) і<sup>18</sup> Досліди на Остерщині (Макаренко 1926б). 4) Етюди з обсягу Трипільської культури (Макаренко, 1926в). 5) Орнаментація української книжки XVI–XVII ст.» (Макаренко 1926г).

На другие свои работы я должен еще получить разрешение на высылку их из пределов нашего Союза и пополучении немедленно вышло.

С своей стороны убедительнейше прошу не оставить меня посылкой своих работ. Вашу: «Scythians and Greeks» (Minns 1913) я в свое время выписал и она у меня имеется служа настольной книгой. Что будет необходимо вам — пишите и я всегда рад буду вашу просьбу исполнить. Если бы вы имели возможность достать и выслать мне работу В. Гордон Чайльда<sup>19</sup> (журнал Королевского Антропологического Института т. XXXXIII. Июль-Дек[абрь] 1923 г. (Childe 1923) — вам это легче сделать чем мне здесь — и послали бы ее мне. — Я был бы вам премного благодарным<sup>20</sup>. Хотел я писать Чайльду но его адреса не знаю и так же не знаю насколько он охотно исполнил бы мою просьбу.

<sup>15</sup> Музей Мистецтв Української Академії наук (Франко А., Франко О. 2013: 78).

<sup>16</sup> Подробнее об этом см.: Кузьминых, Усачук 2011: 197; 2016б: 384.

<sup>17</sup> Археологическая комиссия, созданная в 1921 г., была преобразована в Археологический комитет (1923 г.) и, наконец, во Всеукраинский Археологический комитет — ВУАК (1924 г.). Н. Е. Макаренко был последовательно действительным членом этих организаций (Макаренко 1992: 37, 38, 145).

<sup>18</sup> Среди украиноязычных названий работ Макаренко машинально написал союз «и» по-украински.

<sup>19</sup> Чайлд Вир Гордон (1892–1957), британский археолог, уроженец Австралии. Основные труды в области европейской и ближневосточной археологии и доистории эпох неолита и раннего металла; основоположник теории антропологического неозолуционизма. В 1927 г. завершил службу в Королевском антропологическом институте в Лондоне и возглавил кафедру доисторической европейской археологии в Эдинбургском университете; см. подробнее: Trigger 1980; 1999: 385–399; Белозерова, Кузьминых 2015: 684.

<sup>20</sup> Очевидно, Миннз выполнил эту просьбу Макаренко, потому что в библиотеке последнего этот номер журнала был. Это известно благодаря письму донецкого археолога В. М. Евсеева (Усачук, Колесник 2012; 2014) в библиотеку ИА АН УССР от 17 декабря 1951 г. о том, что он отправил для обмена «Журнал Британского и Ирландского антропологического института, ч. VIII. Лондон, 1923... на титульном листе автографы — Микола Макаренко В. Евсеев. Эклибрис Макаренко» (копия письма на пишущей машинке В. М. Евсеева с квитанцией об отправке бандероли сохранились в его архиве, который обрабатывается в настоящее время одним из авторов). Заметим, что в письме Евсеев ошибся, напечатав неверную римскую нумерацию журнала: VIII вместо LIII. Обратим внимание, что в письме Макаренко вообще дал своеобразное: XXXXIII. Очевидно, журнал и поныне находится в научной библиотеке ИА НАН Украины.

Здесь на Украине трудно работать. Мои прежние приятели и сослуживцы либо умерли либо в эмиграции. Ростовцев<sup>21</sup> в Америке, Смирнов<sup>22</sup> умер. Это те с которыми я наиболее имел дела.

Глубоко извиняюсь что пишу на русском, а не по английском языке<sup>23</sup>. Относительно орфографии, то я сам пишу по старой. Новой не переносу и не признаю как видите.

С искренним уважением и товарищеским приветом  
Н. Макаренко [подпись]

Адрес: Украина. Киев. Левашовская 17. дом Акад[емии] Наук  
Николаю Емельяновичу Макаренко

## № 2

Киев 14/XII. 1927<sup>24</sup>.

Многоуважаемый Илья Егорович!

Рад весьма что хоть чем нибудь из своих работ мог вас заинтересовать.  
Ваше письмо мною получено.

В предыдущем письме вы сообщали о том что Чайльд у известно о моем желании иметь его работу. К сожалению и до сих пор от него не имею никаких известий. Хотел бы обратиться к нему с письмом, но не решаюсь предвидя тот же результат. Между тем работу эту мне необходимо иметь, поэтому буду вас убедительно просить послать мне тот том записок где она помещена. Равно очень прошу неотказать выслать его же работу — *Civilisation in Evropa* [зачеркнуто] *Eastern Evropa* (Childe 1925). О последней я лишь слышал.. Да и третью его работу об отношении культуры *Domini* к европейским<sup>25</sup>. Мне неловко просить вас об этом. Раньше я выписывал все необходимые книги, денег на это не жалел. Теперь же едва хватает на самое элементарное. О покупке книг думать не приходится. Раньше я не задумался бы выписать и вашу «*The Russian Icon*» (Kondakov 1927)<sup>26</sup>. Я книгу очень люблю и все то что выходило в области меня интересующей по искусству древнему особенно, покупал. Теперь же ваша работа для меня недостижима.

<sup>21</sup> Речь идет о Михаиле Ивановиче Ростовцеве (1870–1952), выдающемся историке античности, археологе; см. подробнее: (Бонгард-Левин 1997; Бонгард-Левин, Литвиненко 2003; Тункина 2008: 736, 737; Длужневская 2014: 170).

<sup>22</sup> Речь идет о Якове Ивановиче Смирнове (1869–1918), историке-византинисте, хранителе (1899–1909), затем старшем хранителе (1909–1918) Отделения Средних веков и эпохи Возрождения Императорского Эрмитажа, ученике Н. П. Кондакова; см. подробнее: (Олсуфьев 2006: 383; Тункина 2008: 750; Длужневская 2014: 177, 178).

<sup>23</sup> Написано так. Очевидно, адресант хотел написать «а не по[-английски]», но, написав «по», закончил фразой: «[на] английском языке».

<sup>24</sup> На день раньше (13 декабря) Макаренко написал В. А. Городцову (Звагельский 1993: 3).

<sup>25</sup> Прочтение слова «*Domini*» предположительно. Речь, возможно, идет о книге: Childe 1926.

<sup>26</sup> Эллис Миннз был переводчиком и редактором книги Н. П. Кондакова (Бонгард-Левин 1997: 315). Отсюда выражение Макаренко — «вашу “*The Russian Icon*”».

Между прочим — навел справки в Лаврском Музее. Она там получена давно. Пристыдил их что они до сих пор не собрались вам ответит[ь]. Неделю тому назад дали мне слово и благодарить вас и послать свои издания. Вероятно вы уже имеете от них уведомление.

И все же вашу «The Russian Icon» мне очень хотелось бы иметь, а т[ак] к[ак] она дорога, то не захотели бы вступить со мной в какойнибудь обмен книгами, возможно что вас чтонибудь интересует из русских изданий каких у вас неимеется. —

Относительно словарей могу сообщить что таковые имеются и одной из ближайших посылок я вам направлю и укр[аинско]-российский и рос[сийско]-укр[аинский].

В течении месяца выйдет несколько моих мелких работ — сочту своим долгом послать их вам. Равно как пошлю и то что печатается ныне в Германии (о статуэтках Трип[ольской] культуры) как только получу<sup>27</sup>.

Буду весьма благодарным если найдете возможным послать мне работы Child'a (все три). Нуждаюсь также и в последнем издании Osborn'a: Men of the old stone age ... Lond[on] 1924. —<sup>28</sup>

С искренним к вам уважением

Н. Макаренко [подпись]

Адрес мой: Украина. Киев  
Левашовская, 17. (дом Академии Наук)  
Николаю Емельяновичу Макаренко  
(украинцы обрусели: отчество употребляют).

### № 3

Киев 27/IV.28.

Глубокоуважаемый Илья Егорович!

Рад что мои ничтожные работы не совсем ненужным балластом будут в вашей библиотеке.

Статья о Борзенских эмалях (Макаренко 1928а) также как и сейчас посылаемая статья: «Старогородська Божниця та її малювання» (Макаренко 1928б) есть отдель[ные] оттиски из книги: «Чернігів і Північне лівобережжя» (Чернігів... 1928) Т[ак] к[ак] редакция оттисков совсем мало дает и при том без обложки<sup>29</sup>, то внешний вид своим статьям я придал сам.

<sup>27</sup> Речь идет о работе: Макаренко 1927.

<sup>28</sup> Речь идет об очередном переиздании книги Г. Ф. Осборна, впервые вышедшей в Нью-Йорке (Osborn 1915) и выдержавшей много переизданий: в 1916, 1923, 1924, 1925, 1936 гг. Макаренко говорит об очередном издании. В том же году книга Осборна вышла и в русском переводе (Осборн 1924).

<sup>29</sup> По поводу отдельных оттисков и типографских обложек к ним: видимо, какое-то количество таких оттисков издательство все-таки давало авторам. В библиотеке Донецкого областного краеведческого музея хранятся оттиски работ Макаренко (1928а; 1928б) в типографских обложках. Оттиск «Старогородська Божниця та її малювання» Макаренко подписал: «Николаю Ивановичу Репникову НМакар [подпись]». О Н. И. Репникове (1882–1940) см.: Бернштам, Бибииков 1941: 121–123; Тихонов 2011: 543, 544; Длужневская 2014: 92, 93, 167, 168. Типографская обложка статьи «Борзенські емалі й старі емалі України взагалі» интересна тем, что на ней стоит год выпуска: «Київ — 1927», хотя сборник вышел в 1928 г. Как и с монографией Макаренко по раскопкам Мариупольского

*Думаю, что быть может сам сборник может заинтересовать вас, и если так, то я могу вам послать его.*

*Я несказанно рад вашему сообщению о посылке книги о русской иконе. До сих пор еще не получил, но обычно книги дольше идут чем письма. Жду с нетерпением. —*

*Ваша открытка с указанием на окна вашей квартиры на меня произвела большое впечатление. Мне представляется мирная чистая улица с массой любимой мною зелени. Спокойный, почти средневекового характера дом. Большие окна, много свету. Спокойствие способствующее работе и при том не той сумасшедшей какая известна нам, а работе сосредоточенной, без мысли о куске хлеба на завтрашний день, о суете, беготне. Кроме того жизнь в одноэтажном домике всегда меня привлекала. В Петербурге я жил на шестом этаже<sup>30</sup> и оттого получил полное отвращение к «небоскрегам». Их не выношу. Теперь, к этому виду домика мне не хватает портрета самого обитателя дома. Тем более, что мой портрет, как вы когда то писали вам, известен (хоть и в более суровом и злом виде чем на самом деле)<sup>31</sup>.*

*Наступающим летом мне предстоит произвести много археологических работ, если позволит здоровье. В самом начале поеду в Одессу на лиман поправить свою ногу<sup>32</sup>, которая целую зиму не давала покоя, а потом — за работу. Одна беда — раскопок делаем много публикаций о них не печатаем.*

*Хочу опубликовать свой Мордвиновский курган<sup>33</sup> где нибудь в Европ[ейских] странах. У нас на это сил не хватит. Посоветуйте где? Около 25 таблиц + около*

---

могильника, публикация которой затянулась (Кузьминых, Усачук 2016б: 390), мы видим и здесь ситуацию с подготовкой сборника к печати в 1927 г. (даже напечатали обложки отдельных оттисков), а затем какую-то задержку. О том, что «Чернигівський збірник» намечался к выходу в середине 1927 г., есть упоминание в письме Макаренко Тальгрену (№ 14, 3.04.1927): «Начался печататься «Чернигівський збірник». Очевидно будет готов летом» (Кузьминых, Усачук 2016б: 402).

<sup>30</sup> В Петербурге Макаренко жил на Церковной ул., д. 4<sup>а</sup>, кв. 18 (Кузьминых, Усачук 2016б: 393). Д. Е. Макаренко указывает иные адреса: Церковная ул., д. 3, кв. 36; Зверинская ул., д. 17<sup>б</sup>, кв. 8, затем в том же доме, но в кв. 32; Мясницкая ул., д. 2, кв. 22 (Макаренко 1992: 24). С последним адресом какая-то путаница, потому что Д. Е. Макаренко указывает, что дом принадлежал Сытову, но доходный дом С. И. Сытова (Мясницкая ул., д. 22/2) — это Москва (Смолицкий 2004: 12, 20).

<sup>31</sup> Очевидно, речь идет о портрете Макаренко в книге Тальгрена (Tallgren 1926: fig. 9).

<sup>32</sup> Летом 1928 г. Н. Е. Макаренко лечился в грязелечебнице в Евпатории, о чем упоминал в сентябре 1928 г. в письме А. М. Тальгрену (Кузьминых, Усачук 2011: 203; 2016б: 406).

<sup>33</sup> Раскопки 1914 г. (Лесков 1974: 45–48; Манцевич 1987: 6; и др.). Опубликовать полностью материалы раскопок Первого Мордвиновского кургана Макаренко так и не смог, только кратко: Макаренко 1916. Интересно, что донецкий археолог В. М. Евсеев (Усачук, Колесник 2012; 2014), озаботившись в начале 50-х гг. прошлого века изданием сохранившихся рукописей Макаренко, предполагал и издание материалов Первого Мордвиновского кургана. Об этом мы узнаём из письма М. Я. Рудинского (о нем см.: Шовкопляс та інші 2001: 3–6, 13–24) В. М. Евсееву от 15.01.1953: «Спасибо большое за память о моем желании получить данные о раскопках 1<sup>го</sup> Мордвиновского кургана. Я — после некоторых рассказов Н. Е. об этих раскопках, как и после памятного доклада о раскопках Соханева и Ростоуца в 1916 году, считаю их опорными в исследованиях скифских курганов. Как хорошо было бы издать имеющиеся об этом материалы Н. Е.! Вы сделали бы огромное дело, многоуважаемый Виктор Михайлович, собрав эти материалы» (архив В. М. Евсеева).

30–40 рисунков в тексте и сам текст около 6–7 печатн[ых] листов. Не вещами, а теми открытиями об устройстве Мордв[иновский] курган занимает исклю-чит[ельное] положение<sup>34</sup>. Правда и сам похорон<sup>35</sup> и вещи интересны. Кто бы мог опубликовать? Но, в приличном виде. — А, не думаете ли вы навестить Укра-ину и принять участие в раскопках?

С искр[енним] уважением и наилучшими пожеланиями

Н. Макаренко [подпись]

[На полях слева перпендикулярно основному тексту]:

Киев, Левашовская, 17 (дом Академии Наук).

#### № 4

Киев 12/V. 1928.

МАКАРЕНКО (Н.) [пометка карандашом]

*Глубокоуважаемый Илья Егорович!*

Позвольте выразить вам мою самую искреннюю и глубокую благодарность за богатый не заслуженный мной подарок ваш.

Третьего дня получил вашу: «The Russian Icon». Это подарок и неожиданный и ценный для меня вдвойне, во первых сам по себе, во вторых по тому отноше-нию вашему ко мне выразителем которого —желанная книжка.

Очевидно — я ваш вечный должник. Очевидно по тому, что мне едвали когда либо представится возможность написать что либо эквивалентное. Приходит-ся в большинстве случаев печатать мелочи, состряпанные на спех, в промежут-ках между тьмой служебных и иных занятий, не сосредоточившись, безпокой-но, в постоянной суете под давлением материальных, а еще более моральных невзгод, несчастий. Да, кроме того, у нас теперь больших книг и не напеча-туют. Не обладаем для этого соответственной материальной базой. Так же как с моим Мордвинавским курганом, как с моей работой о древностях эпохи ве-ликого переселения народов на Украине<sup>36</sup>, что лежит с прекрасным матери-алом уже несколько лет<sup>37</sup> и т. д. Все жду когда представится случай напечатать. —

Сейчас сдаю в печать свой отчет о раскопках еще 1923 года возле Чернигов-ского собора и в нем самом. Это самая древняя у нас постройка (до 1036 года). Пришлось долго ожидать случая приступить к печати. —<sup>38</sup>

Еще раз — мое большое спасибо ..

Был бы рад быть полезным вам и готов выполнить всякие ваши поручения. —

С искр[енним] уважением и преданностью

ваш Н. Макаренко [подпись]

Киев. Левашовская, 17 (дом Акад[емии] Наук)

<sup>34</sup> Интересно сравнить взгляд Макаренко и практически такие же выводы докапывав-шего курган в 1970 г. А. М. Лескова (Лесков 1974: 53).

<sup>35</sup> «Сам похорон» — написано по-украински. По смыслу нужно перевести не дословно «сами похороны», а скорее: «само погребение».

<sup>36</sup> «на Украине» вписано над строкой.

<sup>37</sup> О том, что он работает над материалами эпохи великого переселения народов, Макаренко писал позже (в феврале 1930 г. из Киева и в сентябре 1935 г. из казанской ссылки) Тальгрену (Кузьминых, Усачук 2016б: 410, 417).

<sup>38</sup> Речь идет о работе: Макаренко 1929.



№ 5

Киев 4/II. 1930.

*Глубокоуважаемый и дорогой Илья Егорович!*

Позвольте мне послать вам мое искренне спасибо за память, дорогую для меня, и посылку своей весьма интересной работы: «Small Bronzes from Northern Asia» (Minns, 1930). Вчера получил ее. Пока еще не прочитал, но по первым страницам вижу что Вы правы — ничего в этих вещах нет чтобы указывало на Южную Россию.

Летом прошлого 1929 года от Вас же я получил работу М[ихаила]Р[остовцева]: «Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль» (Ростовцев 1929). За эту посылку я также Вам глубоко признателен.

Так как я считаю себя вашим должником, то мне было бы приятно и выплатить свой долг. Какое издание из наших вам необходимо? Я с удовольствием вышлю. Будьте добры лишь сообщите. Могу добыть и из старых изданий. —

Обремененный лекциями я мало сейчас работаю, научные интересы постепенно отходят на задний план перед насущными вопросами существования, голод весьма ощутительно сказывается и на физическом и на моральном состоянии. Кое над чем работаю, но медленно, вяло. Нет стимула, нет литературы<sup>39</sup>. —

*Еще раз мое искреннее спасибо!*

*С истинным уважением и преданностью*

*НМакаренко [подпись]*

*Киев, Левашовская, 17.*

*(дом Академии Наук).*

№ 6

МАКАРЕНКО (N). [пометка карандашом] Гор[од] Мари[у]поль 12/X. 1930.

*Port ... k Мариуполь*

*Мариупіль*

[пометка карандашом]<sup>40</sup>

*Глубокоуважаемый Илья Егорович!*

Прежде всего позвольте извиниться за недопустимую бумагу на которой пишу<sup>41</sup>. Но, это единственно что я могу иметь. Пишу вам з<sup>42</sup> места раскопок где работаю

<sup>39</sup> Через три дня Макаренко о том же написал Тальгрону: «...Работается плохо. Вся энергия направлена на добычу куска насущного хлеба, а не творческую работу. Таковы условия» (Кузьминых, Усачук, 2011: 210; 2016б: 410).

<sup>40</sup> Пометка Миннза: «Port ... k» — второе слово неразборчиво. Обратим внимание, что Миннз написал название города по-русски и повторил его по-украински; к вопросу об интересе английского исследователя к изучению украинского языка — см. письмо № 2 (Кузьминых, Усачук 2016а: 244).

<sup>41</sup> Обратим внимание на то, что при изучении повседневной жизни археологов Украины 20–30-х гг. прошлого столетия современные исследователи советуют обращать внимание и на такие детали, как качество бумаги (Колесникова, Яненко 2012: 160); ср. с припиской в письме И. В. Фабрициус А. М. Тальгрону от 21.06.1932: «Простите неприличную внешность письма: таковы бытовые условия, в каких я нахожусь» (Рукописный отдел Национальной библиотеки Финляндии, Coll. 230.3).

<sup>42</sup> Украинизм — по-русски нужно «с».

уже два месяца. Тут, этими днями получил и Ваше письмо от 30/VIII. пересланное мне с квартиры сначала в Сталино (Юзовка)<sup>43</sup>, а потом уже сюда.

Завидую Вашей свободе и возможности передвижения из страны в страну. Осмотр стольких музеев, встреча с специалистами и обогащает и освежает работника. Я же засиделся, заплесневел, от своей литературы отстал. Единственная отрада — археологические исследования, над которыми я провожу все свободное время. Вот и сейчас — открыл необыкновенно ценный могильник конца неолита. Весь инвентарь состоит из кремня и кости а затем из камня. Предметы такие: кремневые ножи, скребки, навертыши, из костяных — украшения в большом количестве. Имея в виду что могильников этой эпохи у нас еще не встречено, это первый у нас в союзе, он займет выдающееся место. Любопытны скелеты (погребений открыто 124). черепа<sup>44</sup> у всех очень маленькие, руки и ноги вытянуты. Пальцы рук особенно развиты. Лежат все на спине с протянутыми ногами и сложенными на тазу руками. Лежат головами одни на Восток, другие на Запад, рядом один з<sup>45</sup> другим и один над одним в три слоя. Все пересыпаны и засыпаны красной глиной. Иногда одно погребение сталкивается в сторону кучей кости предшествующего чтобы освободить себе место. Могильник протянут широкой полосой в виде ленты, длиной в 28 метров, при ширине около 2 метров. Глубина на которой залегал первый, верхний слой ок[оло] 0,75 м. Любопытны украшения из клыков дикого кабана, ими иногда украшена вся грудь, иногда они украшают (венчают) голову, бывают<sup>46</sup> попарно и на шее. Целый ряд пластинок четырехугольных то очень широких, то узеньких з<sup>47</sup> нарезками (украшениями) и с<sup>48</sup> дырочками для прикрепления украшают повидимому одежду. Они идут целыми рядами. Бусы из кости и из перламутра — в большом количестве. Два изображения животных из кости. Обилие скребков обычных и в форме ножей.

Извините, Илья Егорович, может быть Вам совершенно не интересны эти подробности. Мне это все кажется так интересным!...

Хотелось бы издать в подобающем виде весь этот материал, да едвали это удастся. Нет возможности. —

Домой возвращусь недели через две<sup>49</sup>. К тому времени вероятно уже будет готова моя работа<sup>50</sup> о скульптуре у Славян Киевских до монгольского нашествия (Макаренко, 1931а). Она сейчас печатается. Пошлю Вам.

Преданный Вам НМакаренко. [подпись]

<sup>43</sup> Речь идет о современном г. Донецке, который первоначально был поселком Юзовкой (город с 1917 г.), в 1924–1961 гг. назывался Сталин (чуть позже — Сталино) (Стёпкин 2004: 87–93, 206, 207, 351).

<sup>44</sup> Предложение машинально начато с маленькой буквы.

<sup>45</sup> Повторение того же украинизма.

<sup>46</sup> Николай Емельянович машинально поставил «ь», хотя начал писать слово по-русски. Если бы он писал по-украински все слово, то было бы «бувають».

<sup>47</sup> Повторение того же украинизма.

<sup>48</sup> Макаренко в очередной раз написал «з», но обратил на это внимание и исправил на «с».

<sup>49</sup> Помимо Мариупольского могильника, Макаренко в 1930 г. докопал Камбуров, или Покровский, курган, нарушенный грабительскими раскопками еще в конце 60–70-х и 80-х гг. XIX в. (Макаренко 1933: 5, сноска 1; Усачук и др. 2004: 29, 30), а также раскопал еще два кургана в разных частях города (Усачук и др. 2004: 69; Кучугура 2006: 296).

<sup>50</sup> Слово написано по-украински.

№ 7 [ОТКРЫТКА]

Киев 25/III.32<sup>51</sup>.  
ans. 6 Apr. [пометка Миннза]<sup>52</sup>

Глубокоуважаемый Илья Егорович!

Пытаюсь третий раз, ныне уже [с] помощью простой открытки связаться с Вами. Направил Вам два заказных письма: одно 16/XII. 31 г. второе 28/I 1932 г. Ни на одно не получил ответа. Мои ли письма не попадают к Вам или Ваши перехватывают. Не понимаю. Сообщите получили ли. Просил письменно Академию Наук послать Вам «Київські Зборники»<sup>53</sup>. Вы их получили. Ваша благодарность в Акад[емии] есть. Где же мои письма? Или где Ваши если вы отвечали.

С искр[енним] уваж[ением] НМакаренко[подпись]

№ 8 [ОТКРЫТКА]

Киев 18/IV.1932.

Глубокоуважаемый Илья Егорович!

Сегодня получил Ваше письмо (ответ на мою открытку) из которого узнал что два моих письма отправленных заказным до Вас не дошли. Где же они? Что же это делается? Безконечно рад иметь от Вас сведения. — Ах как бы хотелось быть в Лондоне на Съезде<sup>54</sup>. У меня дома имеется очень важный доклад для этого Съезда. Хорошо было бы если бы организа[ционный] Комитет Съезда обратился к нашему Комисариату Народн[ого] Просвещения и вызвал бы меня на Съезд. Без этого не могу ехать. Нельзя ли это устроить? — Книгу М. И. Р[остовцева] «The Animal Style» (Rostovtzeff 1929) с большой благодарностью прошу у Вас. Если Вам нужны еще какая либо издания нашей Академии я с удовольствием устрою. — Нельзя ли в обмен на наши издания получить от кого либо кто нуждается в наших изданиях такую книгу: «Childe, Gord[on] The Danube in Prehistory» (Childe 1929). Мне она очень нужна. Выписать не имею возможности. —

Получив эту открытку сообщите о получении.

Искр[енне] предан[ный] Вам Н Макаренко. [подпись]

[На краю открытки слева перпендикулярно основному тексту]:

Левашовская, 17. дом Академии Наук.

<sup>51</sup> В этот же день Макаренко пишет открытку Тальгрену (№ 31) (Кузьминых, Усачук 2016б: 413, 414).

<sup>52</sup> Черными чернилами: «ans[wered] 6Apr[il]» — перевод: «ответил 6 апреля». По штампу видно, что в Кембридж открытка пришла 3 апреля 1932 г. в 10<sup>15</sup>PM, то есть поздно вечером. В понедельник, 4 апреля, открытка, очевидно, была получена Миннзом.

<sup>53</sup> Речь идет о первом выпуске сборника, в котором была напечатана статьи Николая Емельяновича (Макаренко 1931а; 1931б).

<sup>54</sup> Речь идет о I Международном конгрессе доисторических и протоисторических наук в Лондоне 1–6 августа 1932 г.; см. о нем: Богаевский 1932.

№ 9 [ОТКРЫТКА]

Киев 7/V. 1932<sup>55</sup>.

*Дорогой Илья Егорович!*

*Вашу открытку получил. Большое спасибо. Очень бы хотел прочитать на Съезде доклад: Найдревнейший могильник (неолит)<sup>56</sup> на Украине. 124 погребения с богатым и соверш[енно] новым инвентарем (кость и кремь). Необходим вызов со стороны Организационного Комитета в Комиссариат Народного Просвещения (Харьков, Улица Артема, 29) и в Украинскую Академию Наук (Киев; Короленко, 54) Если возможно что нибудь сделать искренне буду благодарен. —*

*Могильник открыт мною на берегу Азовского моря осенью 1930 года<sup>57</sup>.*

*С искр[енним] уважением НМакаренко[подпись]*

*Киев. Левашовская, 17 (дом Акад[емии] Наук).*

№ 10

Киев. 27/XI. 1932.

*Глубокоуважаемый Илья Егорович!*

*Только сейчас возвратясь из длительной командировки — пробыл на археологических раскопках четыре месяца<sup>58</sup> — получил Ваше симпатичное письмо от 11 Августа с./г.<sup>59</sup>*

*Если бы вы знали как больно мне было получить отказ в поездке на конгресс!.. Я так хотел Вас видеть... Так много было о чем поговорить. Так много у нас накопилось всякого материала из известной хорошо Вам скифской эпохи. Да и от других — немало. Что Вас бы очень заинтересовало. А больше всего хотел лично с Вами познакомиться и от чистого сердца благодарить за многое. А Вас есть за что благодарить. Уже одна та научная литература которой Вы меня время от времени снабжаете заставляет меня послать Вам мой искренний благодарный поклон по древне русскому обычаю. Далее — вообще Ваше исключительно хорошее отношение ко мне, к моим интересам. Все это наполняет меня приятной обязанностью быть бесконечно обязанным Вам и также благодарным.*

*Как я могу ответить Вам на Ваш естественный вопрос «Когда нам суждено будет увидеть друг друга?» — Одно могу сказать — что я не теряю надежды. Уверен что как нибудь увидимся. —*

<sup>55</sup> На следующий день Макаренко посылает письмо-открытку Тальгрену (№ 32) (Кузьминых, Усачук 2016б: 414).

<sup>56</sup> Первоначально Макаренко хотел написать «неолитический», но затем зачеркнул две-три буквы, оставив «неолит».

<sup>57</sup> Судя по тексту открытки, то ли Макаренко забыл, что писал Миннзу обстоятельное письмо во время раскопок Мариупольского могильника, то ли кратко напоминает ему о памятнике — между этой открыткой и письмом № 6 (12.10.1930) прошло более полутора лет.

<sup>58</sup> В 1932 г. Макаренко вел раскопки курганов под Сталино (с. Старая Михайловка) и в Мариуполе (Усачук и др. 2004: 70; Кучугура 2006: 296).

<sup>59</sup> О реакции Миннза на долгое молчание Макаренко см.: (Кузьминых, Усачук 2016б: 382).

Относительно Miss M. A. Murray — книжку которой получил от Вас<sup>60</sup>, за что шлю тысячу благодарностей: Вам за присылку. А Miss Murray за то что ее написала и напечатала, — могу сказать следующее: я думаю что украинская археология вообще будет чрезвычайно благодарна если бы такой специалист как Miss M. A. Murray появился на нашей почве, а я лично был бы очень рад быть полезным Miss M. A. Murray, если бы она нашла возможным принять участие в моих работах или даже просто посетить их. Хотелось бы знать какой период ей более интересен в нашей археологии, какая культура? Во всяком случае, какой бы период ни интересовал, я приложу все усилия чтобы археологич[еские] раскопки с ее участием осуществить. Лично я буду очень рад быть полезным Miss M. A. Murray и охотно поработал бы с ее участием и поучился бы у нее ее опытности. Будьте добры сообщите мне Ваше и ее мнение по этому вопросу. После этого я предприму необходимые шаги в этом направлении. —

Скажите — было ли издано во время конгресса какой либо бюллетень или что либо подобное. Хотел бы знать какие доклады были прочитаны и какие новости сообщены. Хотел бы получить.

Сообщите получили ли Вы I<sup>й</sup> том Записок нашего Археологического комитета. Наконец то родился пробыв пять лет в неумелых и неопытных руках редакторов. —

Академия Наук начала печатать мой краткий отчет о Мариупольском могильнике, исследованном мною в 1930 году<sup>61</sup>. Как только выйдет из под печатного станка pošлю Вам — первый экземпляр. Будет богато иллюстрирован. —

В Европе издано так много интересных книг что [зачеркнуто] по археологическим вопросам что я даже начинаю завидовать тем, кто имеет возможность ими пользоваться. —

Только что прошедшим летом я работал, как и в прошлом году исключительно над исследованием культуры скорченных и окрашенных скелетов<sup>62</sup>. И вот Вам новость: уже исследовано четыре больших кургана (из многих десятков исследованных) в которых найдены типичные для этой культуры погребения и вещи и вместе с тем на этих курганах — каменные бабы. Придется пересмотреть вопрос о происхождении каменных баб. Вот как далеко они доходят. Я не сомневаюсь в существовании каменных баб у скифов (ибо есть бабы с типичными скифскими аксессуарами в убранстве), но не думал что они идут еще глубже, именно в культуру до скифскую к скорченникам и окрашенным скелетам. А это так. Готовлю боевую работку на эту тему<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> Нам не удалось выяснить, какая из книг Мюррей была прислана в подарок Макаренко. Скорее всего, это была одна из недавно вышедших на то время книг (Murray 1930; 1931).

<sup>61</sup> Речь идет о монографии Макаренко «Мариупольський могильник» (Макаренко 1933).

<sup>62</sup> Об интересе к материалам «скорченных скелетов» Макаренко писал и Тальгрену (Кузьминых, Усачук 2011: 203, 204; 2016б: 388).

<sup>63</sup> Николай Емельянович интересовался проблемой происхождения и вообще феноменом каменных изваяний в Степи. Среди книг и статей из его библиотеки, которые нам удалось увидеть и частично собрать в разных городах (Кузьминых, Усачук 2016б: 384, сноска 12), есть литература о «каменных бабах». В частности, в Донецке с подписью «НМакаренко» в правом верхнем углу сохранился отдельный оттиск статьи А. В. Терещенко (1866). Жаль, что «боевую работку на эту тему» Макаренко так и не подготовил. Впрочем, возможно о находках каменных изваяний на курганах и попытках увязать их с найденными погребениями Макаренко писал в своей большой работе об исследованиях в Донбассе, о которой он сообщил Тальгрену (Кузьминых, Усачук 2016б: 391, 417) и следы которой затерялись в Казани.

С нетерпением жду ответа от Вас.

Крепко жму Вашу руку преданный и благодарный  
Ваш Н. Макаренко [подпись]

Адр[ес]Украина. Киев. Левашовская 17 (дом Акад[емии] Наук)  
Україна. Київ. Левашівська, 17 (будинок Акад[емії] Наук).  
Микола Омел'янович Макаренко. —

№ 11

ans. 4.II.33. [пометка Миннза]  
Киев. 21.I.1933 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Илья Егорович!

Получил Ваше поздравительное Рождественское послание с портретом Вашей и Вашей супруги. Если бы Вы знали как это меня порадовало. В моем лексиконе не хватает слов, а на бумаге лепета, чтобы выразить все то чем я преисполнен Вам за Вашу память про меня. Спасибо, без конца спасибо Вам. Передайте и Вашей глубокоуважаемой супруге мой самый искренний, самый глубокий привет и хоть запоздавшее поздравление.

16 декабря я отправил Вам заказное письмо с моим ответом на Ваш запрос относительно желания поработать у нас М<sup>с</sup> М. А. Murray. Получили ли Вы это письмо? Я ожидаю дальнейших известий по поводу этому. —

Так как Записки Всеукр[аинского] Археологического Комитета были пересланы Вам Академией Наук по моему представлению (как и все остальные издания Академии) то Акад[емия] Наук передала мне для доклада в Археологическом] Комитете Ваше письмо от 6.I. Оно сейчас у меня и будет доложено в Заседании 23.I. —

Нет ли у Вас знакомых которые бы желали обмениваться изданиями? Дело в том что мне необходимы некотор[ые] английские книги. Выписать их лишен возможности и охотно послал бы в обмен на них книги, даже старых изданий: Ханенко, Бобринского и др[угие]<sup>64</sup>.

С искр[енними] пожелан[иями] НМакаренко [подпись]

[На полях слева перпендикулярно основному тексту]:

Адр[ес] Украина. Киев. Левашовская, 17. кв. 6 (дом Акад[емии] Наук)

№ 12

Киев 12/II.1933.

Дорогой Илья Егорович!

Только что получил посланную вами книгу Cyril Fox'a: «The personality of Britain...» (Fox 1932). Большое, большое спасибо за присылку. Ведь для меня нет лучшего подарка как книга. И Вы это угадали. У меня настоящий книжный голод. Выписать ничего не могу, ни на одну копейку, а потребность в ознакомлении как

<sup>64</sup> Речь может идти о следующих изданиях: Ханенко Б., Ханенко В. 1899; 1900а; 1900б; 1901; 1902а; 1902б; Бобринской 1887; 1894; 1901.

движется любимая мной дисциплина большая. Больших археологов у нас в Киве нет. Не с кем поделиться мыслями, не у кого спросить о том в чем сомневаешься вот тут-то книжка и является и другом и советником. В былые времена я много книг и выписывал и покупал. Еще раз — большое спасибо.

Получил письмо от М. А. Murray. Если только в наступающем сезоне у нас будут производиться археологические исследования — я буду весьма рад<sup>65</sup> устроить ее в качестве члена экспедиции. Об этом я одновременно с настоящим и пишу ей.

Сегодня первый день как встал с постели: проболел 10 дней. Нога моя меня часто мучает.

Не откажите передать Вашей супруге мой глубокий привет.

С искр[енней] пред[анностью] НМакаренко [подпись]

### № 13

Add 772 Киев. 28.III.33 г.<sup>66</sup>  
box 1 folder M [пометка карандашом]

Дорогой Илья Егорович!

Вашими заботами я очень тронут. Но мне вдвойне совестно во многих отношениях. Во первых чувствую себя виноватым что на два последних Ваших письма отвечаю лишь одним настоящим. Так неприятно сложились за эти последние месяцы у меня обстоятельства, а главным образом болезнь моей ноги. Все мучаюсь с ней. Иногда совсем не дает покою. А благодаря этому и работа вся останавливается.

Также виноватым чувствую я и перед ms Murray. Около недели тому назад получил от нее ответное письмо с просьбой сообщить об условиях жизни для нее если она приедет. Кроме того, что я до сих пор не в курсе дела: как и когда будут у нас раскопки и поэтому выжидаю когда выяснится это обстоятельство и тогда сообщу, так кроме этого и болезнь отчасти виновна в замедлении моего ответа. Завтра думаю написать ей. Ей не будет дорого стоить пребывание у нас, а если она привыкла к неудобствам египетской жизни, и жизни в других подобных странах, то у нас ей не покажется тяжело. Мы сумеем устроить ей на раскопках жизнь не дороже и не хуже. А если удастся провести в жизнь наши исследования скифских курганов она будет довольна. Ведь они<sup>67</sup> чрезвычайно интересны и хранят в себе еще многое из того что нам неизвестно. —

Что же касается Вашего добрейшего сообщения на мой вопрос о книгах, то должен признаться я чувствую себя весьма неловко. Я ведь думал что есть же у Вас археологи что интересуются нашими древностями, напр[имер] скифскими или Трипольской культурой. С этими археологами я и предполагал обмениваться изданиями. Я мог бы предложить Бобринского: «Курганы и случайные археологические находки» 3 тома. Далее — Ханенко: «Древности Приднепровья» 6 томов

<sup>65</sup> «рад» вписано над строкой.

<sup>66</sup> В этот день Николай Емельянович написал и Тальгрену (письмо № 33) (Кузьминых, Усачук 2016б: 414). Некоторые мотивы двух писем перекликаются. Интересно, что ответ Тальгрену продиктован благодарностью за приглашение принять участие в сборнике в честь Миннза.

<sup>67</sup> «они» вписано над строкой.

Толстой и Кондаков: «Русские древности» 6 выпусков. Это — из старых изданий. Кроме того все то, что выходило в последнее время. Лично же мне необходимо многое. Но не все же я могу получить, а хотел кое-что из необходимых.

- 1) Childe, G. *The Danube in Prehistory*. Oxford. Clarendon Press. (Childe 1929).
- 2) Hall, H. R. *The Civilisation of Greece in the Bronze Age*. Lond[on] Methuen 1928. (Hall 1928).
- 3) Woolley, L. *The Summerians*. Clarendon Press (Woolley, 1929).
- 4) Buren, E. D. *Clay figures of Babylonia and Assyria*. Oxford. University Press. (Van Buren 1930).
- 5) Garstang, J. *The Hittite Empire: being a survey of the History, Geography and Monuments of Hittite, Asia Minor and Syria*. Constable 1929. (Garstang 1929)<sup>68</sup>.

Мое положение может быть покажется смешным: я ведь уже не знаю каждого из этих изданий. Может быть каждое из них стоит много дороже всего того что я мог бы предложить в обмен. Конечно, ни в каком случае я не имею в виду получения их бесплатно. Я хочу платить, но книгами. Если бы нашлись люди которым необходимо наши издания я был бы рад обменяться. —

Вашей глубокоуважаемой супруге и Вам мой искренний привет и наилучшие пожелания. С искр[енним] уваж[ением] НМакаренко [подпись]  
[На полях слева перпендикулярно основному тексту]:  
Киев. Левашовская, 17, дом Акад[емии] Наук

#### № 14

Киев. 11.V.33.  
МАКАРЕНКО  
(N.) [пометка карандашом]

*Глубокоуважаемый и дорогой Илья Егорович!*

Сегодня одновременно с этим я посылаю Miss M. A. Murray свое извинительное письмо. Я обещал ей сообщить немедленно как только станет мне известно что либо о предстоящих археологических исследованиях. Дело в том, что и до сих пор нам ничего неизвестно, будут-ли производимы исследования и какие будут у нас возможности. Ни в одном из предшествующих годов такой неизвестности в эти месяцы не было. Мы знали уже официально в Марте месяце кто и куда направляется и сколько имеет в своем распоряжении средств. Ждем со дня на день этой известности.

Мне так неловко перед м. Murray. Она могла подумать что я пообещав забыл сообщить ей. Но моей вины тут нет. —

Скоро повидимому выйдет моя книга о Мариупольском могильнике. Уже текст и таблицы напечатаны. Печатается Summary и остается брошюровка. Как выйдет — пошлю с удовольствием Вам. —

Где Вы обычно проводите летнее время? Над чем теперь работаете. Все хотел бы о Вас знать. —

Привет Вашей многоуважаемой супруге и Вам мой искренний.  
С ист[инным] уважен[ием] НМакаренко [подпись]

<sup>68</sup> В перечислении изданий все дано по тексту письма — мы не стали вносить исправления, поскольку список отражает ситуацию, как Макаренко услышал, где-либо увидел или переписал для себя названия книг, которые он очень хотел бы иметь.



Киев 14.VI.1933.

*Дорогой Илья Егорович!*

Приношу Вам мою искреннюю и глубокую благодарность за присылку книг Woolley и Hall. Я Ваш должник на большую сумму. Чем прикажете расплачиваться? Разрешите послать Вам недостающие выпуски Ханенко: «Древности Приднепровья», так как Вы пишете, что у Вас имеются лишь два выпуска, то Вам нехватает еще четырех выпусков. По мере возможности буду Вам посылать их. Мне так неловко и так совестно, что своими просьбами о книгах Вас ввожу в излишние расходы и причиняю беспокойство. Между тем лично я испытываю голод в книжных поступлениях. Благодаря отсутствию новой литературы отсташ[ь] от научного движения. Вы пишете что говорили с Childe и он собирался послать «Danube». Я был бы весьма рад и доволен иметь эту книжку<sup>69</sup>, но ведь чем бы я мог ему быть полезным?

С А. А. Захаровым<sup>70</sup> я в приятельских отношениях и думаю что он не откажет мне в моей просьбе ссудить на небольшой срок ему принадлежащие книги. Спишусь с ним.

А вот, неудобно ли, каково культурное отношение Римской Академии к Украинской: первый том Записок Археологического Комитета был послан Академией Наук в Римскую, с просьбой вступить в обмен изданиями. На это был получен от Римской Академии ответ, гласящий, что Римская Академия не находит ничего для себя интересного в издании Украинской Академии и отказывается вступить в обмен.

Вот это называется культурным отношением!!!... У нас об этом много говорят. Хороши же итальянские ученые!!!...

Если книги Garstang'a и Buren дороги, ради бога не покупайте. Я совсем не хочу вводить Вас в расходы.

В последнем письме M<sup>ss</sup> Murray, ... [густо зачеркнутое начало слова] сообщила что интересуется керамикой бронзового периода и орнаментом. Хочу ей писать что я занимаюсь уже давно этим вопросом и собрал колоссальный

<sup>69</sup> Мы можем говорить о том, что Чайлд все-таки выслал Макаренко книгу «The Danube in Prehistory». Эта книга есть в Донецке в библиотеке В. Н. Горбова. Она досталась ему весной 1986 г. от Е. Н. Екимовой — вдовы В. М. Евсеева, который получил много книг из библиотеки Макаренко в первой половине 1950-х гг. от вдовы Макаренко, когда ездил к ней в Казань и позже, когда она присылала ему книги (Усачук, Колесник 2012: 5; Кузьминых, Усачук 2016б: 384, сноска 12). Обычной для Николая Емельяновича подписи в книге нет, но на форзаце приклеен экслибрис Макаренко. Почему мы считаем, что книгу прислал автор, а не Миннз? В случае, если бы книга была бы прислана Миннзом, мы бы видели ответ — обычно Макаренко всегда благодарил за присланные ему книги, а в переписке с Миннзом этого по отношению к монографии Чайлда нет.

<sup>70</sup> Алексей Алексеевич Захаров (1884–1937), археолог, историк древнего мира, чл.-корр. Германского археологического института. На момент написания письма — зав. библиотекой Музея антропологии МГУ (1929–1934). Репрессирован, в 1935 г. сослан в Алма-Ату. В ноябре 1937 г. вновь арестован, расстрелян 1 декабря 1937 г.; подробнее см.: Ватлин, Канторович 2001; Длужневская 2014: 141; Белозерова, Кузьминых 2015: 624, 625.

материал, который ждет обработки. Я с большой охотой поделюсь с M<sup>ss</sup> Murray своим материалом и наблюдениями над ним. А если бы она сочла возможным то и совместную обработку этого материала для издания. — К сожалению, видимо, никуда не поеду в этом году на раскопки. Буду безвыездно сидеть в Киве<sup>71</sup>. — Вам и Вашей глубокоуважаемой супруге шлю мой искренный привет. — Нога моя плохо себя чувствует.

Крепко жму Вашу руку. Пред[анный] Вам НМакаренко[подпись]

[На полях слева перпендикулярно основному тексту]:

Р. S. Вы пишете что предполагаете быть в Стокгольме<sup>72</sup>. Если увидите Т. Arnet<sup>73</sup>, а мож[ет] быть и других моих знакомых, буду очень просить приветствовать от меня. — НМакар[подпись]

## № 16

МАКАРЕНКО (N.). [пометка карандашом] Киев. 31/XII. 1933.

*Дорогой и глубокоуважаемый Илья Егорович!*

Ваше поздравление с новым годом, которое я получил, меня и порадовало и пристыдило. Порадовало потому что я почувствовал, что я еще не забыт в этой моей глухой дыре теми кто меня знает, а пристыдило потому что я не сделал того же по отношению к Вам, что сделали Вы. С некоторых пор я все опаздываю, все делаю не своевременно, одно забываю, другое поздно вспоминаю. Все это происходит ли от того что у меня жизнь складывается с неприятностями не от меня зависящими, или от чего либо иного — трудно мне быть судьей для самого себя, хоть и виднее мне более чем кому другому все эти обстоятельства.

Только что вернулся из раскопок, пробыв около трех месяцев на работе. А уехал на раскопки после двухмесячной болезни и операции. После операционная рана зажила лишь на раскопках. Приехав, я столкнулся сразу же с двумя с двумя [зачеркнуто] неприятными фактами: книга моя напечатана еще в июне месяце но и до сих пор лежит не выпущенной<sup>74</sup>. И тут мои усилия ни в какой мере не помогут. Далее, во время моей командировки без уведомления меня, Правление Академии Наук распорядилось сломать замки части моего помещения,

<sup>71</sup> Из-за задержек в выдаче денег на экспедицию Макаренко в 1933 г. потерял почти все лето и сумел выехать на раскопки курганов в Мариуполь только в конце августа (о сроках выезда он пишет Миннзу в письме № 16, подводя итог прошедшему 1933 году).

<sup>72</sup> Речь идет, вероятно, о 2-м Международном конгрессе доисторических и протоисторических наук, который должен был пройти в Стокгольме в 1933 г. Ср. с письмом М. И. Ростовцева Тальгрёну от 15.07.1933: «<...> Очень жалко, что не могу попасть в Стокгольм на конгресс. Должен быть в это время на конгрессе в Мюнхене <...>» (Бонгард-Левин, Тункина 1997: 515).

<sup>73</sup> Речь идет о Туре Арне (1879–1965), шведском археологе, историке и общественном деятеле; см. подробнее о нем: Белозерова, Кузьминых 2015: 595. Макаренко мог познакомиться с ним еще в годы работы в Эрмитаже. Арне неоднократно бывал в России и СССР, вел раскопки Михайловского могильника под Ярославлем (1912–1913) и курганов в Юго-Восточном Приладожье (1928).

<sup>74</sup> О том, что монография «Маріюпільський могильник» (Макаренко 1933) вышла не ранее лета 1934 г., см.: Клейн 2014а: 534; Кузьминых, Усачук 2016б: 390.

выкинуть оттуда вещи (книги, негативы рисунки и др[угие] вещи) в подвал, а там за два месяца их раскрасили, растащили, порвали, побили. Еще далее — нога моя продолжает болеть и лечить ее не могу, возможностей нет. Все это не может не угнетать. Еще далее — я чувствую, что с каждым годом я все более и более отстаю от тех научных приобретений которыми обогащается наша дисциплина. Литература не доходит. Собранный мною колоссальный научный материал с трудом удастся обрабатывать. —

Ах, как жаль что в закончившемся 33<sup>м</sup> году не удалось поработать у нас Mss A. Murray. Я лично до Августа месяца не думал быть нараскопках и лишь в конце Августа получено было известие о назначении незначительных средств на исследования. Средства были настолько малы что рассчитывать на длительные раскопки нельзя было. Потом они были увеличены и я заканчивал уже во время снега и морозов<sup>75</sup>. Собрал прекрасный материал по эпохе медно-бронзовой. На будущее лето предположительно думаю о больших раскопках, если M. Murray пожелала бы, очень хорошо было бы поработать вместе. Если Вас не затруднит перешлите ей мой искр[енный] привет. —

Искренне желаю Вам всего наилучшего и Вашей супруге в наступающем 1934 году.

Искренне Ваш НМакаренко [подпись]

## Литература

- Белозерова И. В., Кузьминых С. В. 2015. Указатель имен // Городцов В. А. Дневники (1928–1944). В 2 кн. Кн. 2: 1936–1944. М.: Триумф принт, 591–693.
- Бернштам А. Н., Бибииков С. Н. 1941. Н. И. Репников (1882–1940) // КСИИМК IX, 121–123.
- Бобринской А. А. 1887. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Том первый: Дневники пятилетних раскопок. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича.
- Бобринской А. А. 1894. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Том второй: Дневники раскопок 1887–1889 гг. СПб.: Тип. В. С. Балашева и К<sup>о</sup>.
- Бобринской А. А. 1901. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Том третий: Дневники раскопок 1889–1897 гг. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов.
- Богаевский Б. Л. 1932. I Международный конгресс доисторических и протоисторических наук в Лондоне 1–6.VIII.1932 г. // СЭ 5–6, 164–177.
- Бонгард-Левин Г. М. 1997. М. И. Ростовцев и Э. Х. Миннз: от Скифии до Китая и Японии // Бонгард-Левин Г. М. (ред.). Скифский роман. М.: РОССПЭН, 305–328.
- Бонгард-Левин Г. М., Литвиненко Ю. Н. (ред.). 2003. Парфянский выстрел. М.: РОССПЭН.
- Бонгард-Левин Г. М., Тункина И. В. 1997. Письма М. И. Ростовцева А. М. Талльгрену // Бонгард-Левин Г. М. (ред.). Скифский роман. М.: РОССПЭН, 501–515.
- Ватлин А. Ю., Канторович А. Р. 2001. Из истории отечественной археологической науки (несостоявшийся судебный процесс 1935 г.) // РА 3, 123–131.
- Граб В. И. 1990. Дело Н. Е. Макаренко // Звагельський В. Б. (ред.). Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Роменського краєзнавчого музею. Суми, Ромни: б. и., 29–31.

<sup>75</sup> В 1933 г. Макаренко раскопал шесть курганов в Мариуполе на Азовстали (№ 1–6 в группе В из семи насыпей) (Усачук и др. 2004: 70; Кучугура 2006: 296).

- Грб В. І., Супруненко О. Б. 1991. Археолог Олександр Тахтай. Полтава: Полтавський краєзнавчий музей.
- Длужневская Г. В. 2014. Археологические исследования в Европейской части России и на Кавказе в 1859–1919 годах (по документам Научного архива Института истории материальной культуры РАН). СПб.: ЛЕМА.
- Звагельський В. Б. 1990. Хроніка життя і діяльності М. Макаренка // Звагельський В. Б. (ред.). Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Роменського краєзнавчого музею. Суми, Ромни: б. и., 53–60.
- Звагельський В. 1993. Нове про професора Миколу Макаренка // Червоний промінь. № 51. 18 грудня, 3.
- Колесникова В. А., Яненко А. С. 2012. Жизнь археолога в повседневном измерении как одно из направлений истории археологии // Вдовин А. С., Тункина И. В. (ред.). Евразийский археолого-историографический сборник. СПб.: С.-Петербург. филиал Архива РАН; Красноярск: КГПУ, 153–160.
- Костина Р. В. 1975. Об изучении бумаги советских документов 1917–1920 гг. // Шмидт С. О. (ред.). Археографический ежегодник за 1974 год. М.: Наука, 62–76.
- Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2008. Письма С. А. Локтюшева А. М. Тальгрёну // Ключёва И. Н. и др. (ред.). Краеведческие записки IV. Луганск: Виртуальная реальность, 59–65.
- Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2011. «Милльон этой власти проклятий!..» (письма Н. Е. Макаренко А. М. Тальгрёну) // Платонова Н. И. (ред.). История археологии: личности и школы. Мат-лы Междунар. науч. конф. к 160-летию со дня рождения В. В. Хвойки. СПб.: Нестор-История, 195–216.
- Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2015. «Так много было о чем поговорить»: (кембриджская коллекция писем Н. Е. Макаренко Э. Х. Миннзу) // Гайдуков П. Г., Тункина И. В. (ред.). Ученые и идеи: страницы истории археологического знания. Тезисы докладов Междунар. науч. конф. М.: ИА РАН, 30–31.
- Кузьминых С., Усачук А. 2015. Листи Миколи Макаренка до Елліса Міннза (Кембриджська колекція) // Ситник О. (ред.). Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині 19. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 187–192.
- Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2016а. «Так много было о чем поговорить»: (Кембриджская коллекция писем Н. Е. Макаренко Э. Х. Миннзу) // КСИА 243, 242–256.
- Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2016б. «Глубокоуважаемый и дорогой друг Михаил Маркович!»: (Хельсинкская коллекция писем Н. Е. Макаренко А. М. Тальгрёну) // Терна С., Говедарица Б. (ред.). Культурные взаимодействия. Динамика и смыслы. Сборник статей в честь 60-летия И. В. Манзуры. Кишинёв: Stratum Plus, 379–427.
- Кучугура Л. И. 2006. Глава 1. История исследования древностей Приазовья // Солюдкая М. И. и др. (ред.). Мариуполь и его окрестности: взгляд из XXI века. Мариуполь: Рената, 294–302.
- Лесков А. М. 1974. Скарби курганів Херсонщини. Київ: Мистецтво.
- Макаренко М. 1925. Городище «Монастирище» // Грушевський М. (ред.). Записки Українського Наукового товариства в Києві: Наукова збірка за рік 1924 XIX. Київ: Держвидав. України, 3–23.
- Макаренко М. 1926а. Халеп'є (Досліди 29/VII-15I/X 1925 року) // Коротке звіттовлення Всеукраїнського Археологічного Комітету за археологічні дослідження року 1925 (З каталогом звіттовної виставки). Київ: ВУАК, 33–50.
- Макаренко М. 1926б. Досліди на Остерщині // Коротке звіттовлення Всеукраїнського Археологічного Комітету за археологічні дослідження року 1925 (З каталогом звіттовної виставки). Київ: ВУАК, 61–66.
- Макаренко М. 1926в. Етюди з обсягу Трипільської культури // Козловська В., Курінний П. (ред.). Трипільська культура на Україні I. Київ: З друкарні Української Академії наук, 165–186.

- Макаренко М. 1926 г. Орнаментация української книжки XVI–XVII ст. / Труды наукового інституту книгознавства 1. Київ: Держтрест «Київ-Друк».
- Макаренко М., 1928а. Борзенські емалі й старі емалі України взагалі // Грушевський М. (ред.). Чернігів і Північне Лівобережжя: огляди розвідки, матеріали. Київ: Видавництво АН УРСР, 80–100.
- Макаренко М. 1928б. Старогородська «божниця» та її малювання // Грушевський М. (ред.). Чернігів і Північне Лівобережжя: огляди розвідки, матеріали. Київ: Видавництво АН УРСР, 205–223.
- Макаренко М. 1929. Чернігівський Спас. Археологічні дослідження року 1923. Київ: друк. ВУАН.
- Макаренко М. 1931а. Скульптура й різьбярство Київської Русі передмонгольських часів // Грушевський М. (ред.). Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва I. Київ: ВУАН, 27–96.
- Макаренко М. 1931б. Малоазійська миска в Києві // Грушевський М. (ред.). Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва I. Київ: ВУАН, 97–110.
- Макаренко М. 1933. Маріупільський могильник. Київ: УАН.
- Макаренко Н. Е. 1916. Первый Мордвиновский курган // Гермес 12, 267–272.
- Манцевич А. П. 1987. Курган Солоха. Публикация одной коллекции. Л.: Искусство.
- Олсуфьев Ю. А. 2006. Икона в музейном фонде: исследования и реставрация. М.: Паломник.
- Осборн Г. Ф. 1924. Человек древнего каменного века: среда, жизнь, искусство. Л.: Путь к знанию.
- Ростовцев М. И. 1929. Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль. Прага: Seminarium Kondakovianum; тип. Политика.
- Смолицкий С. В. 2004. На Банковском. Летопись семьи в интерьере города. М.: Дом-музей Марины Цветаевой.
- Стѣпкин В. П. 2004. История Донецка (1779–1991). Донецк: б. и.
- Терещенко А. 1866. О могильных насыпях и каменных бабах в Екатеринославской и Таврической губерниях // Бодянский О. М. (ред.). Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Книга четвертая. М.: в Университет. Тип. (Катков и К<sup>о</sup>), 1–37.
- Супруненко О. Б. 2007. З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. Київ-Полтава: Видавництво ПП «Гротеск», ВЦ «Археологія».
- Тихонов И. Л. 2011. Археология в этнографических музеях Санкт-Петербурга XIX — начала XX веков // РАЕ 1, 527–547.
- Тункина И. В. (сост.). 2008. Библиографический словарь-указатель // Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. М.: Индрик, 477–831.
- Трипільська культура на Україні. 1926. Вип. I. Київ: З друк. Української Академії наук.
- Усачук А. Н. 1993. Раскопки Н. Е. Макаренко и В. М. Евсеева на территории Донецка // Посредников В. А. (ред.). Донецкий археологический сборник 3. Донецк: Аверс Ко ЛТД, 46–52.
- Усачук А. Н. 2012а. К истории отечественной археологии: альбом рисунков Н. Е. Макаренко из фондов Донецкого краеведческого музея // Толочко П. П. (ред.). Історія археології: дослідники та наукові центри / Археологія і давня історія України 9. Київ: ІА НАНУ, 315–324.
- Усачук А. Н. 2012б. Из истории украинской археологии: альбом рисунков и письма Н. Е. Макаренко // Вдовин А. С., Тункина И. В. (ред.). Евразийский археолого-историографический сборник. СПб.: С.-Петербург. филиал Архива РАН; Красноярск: КГПУ, 93–103.
- Усачук А. М., Горбов В. М., Звагельський В. Б. 1995. Невідомий альбом малюнків Миколи Макаренка // Супруненко О. Б. (ред.). Полтавський археологічний збірник 3. Полтава: Центр охорони та досліджень пам'яток археології, 199–214.
- Усачук А. Н., Колесник А. В. 2012. Виктор Михайлович Евсеев: начало // Літопис Донбасу 20, 4–25.

- Усачук А. Н., Колесник А. В. 2014. Археологические исследования в Донбассе в конце 20 — начале 30-х гг. XX века (по материалам архива В. М. Евсеева) // Кузнецов Д. П., Пыжова О. В. (ред.). Грани гуманитарного знания. Сборник статей к 60-летию профессора Сергея Павловича Щавелева. Курск: Курский государственный медицинский университет, 412–433.
- Усачук А. Н., Полидович Ю. Б., Колесник А. В. 2004. Курганы Донбасса в народном восприятии и научной практике (до начала XX века): мифы и реальность // АА 14, 13–55.
- Усачук А. Н., Полидович Ю. Б., Цимиданов В. В., Литвиненко Р. А. Свод данных об исследованиях курганов на территории Донецкой области в XX веке. 2004 // АА 14, 56–109.
- Франко А. Д., Франко О. О. 2013. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Макаренка // Вісник Інституту археології 8, 75–81.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1899. Древности русские: Кресты и образки 1. Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1900а. Древности русские: Кресты и образки 2. Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1900б. Древности Приднепровья 3. Ч. 2: Эпоха предшествующая Великому переселению народов. Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1901. Древности Приднепровья 4: Эпоха Великого переселения народов. Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1902а. Древности Приднепровья 5: Эпоха Славянская (VI–XIII вв.). Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. 1902б. Древности Приднепровья 6: Древности Приднепровья и побережья Черного моря. Киев: Тип. С. В. Кульженко.
- Чернігів і Північне Лівобережжя: огляди розвідки, матеріали. 1928. Київ: Видавництво АН УРСР.
- Шовкопляс І. Г., Супруненко О. Б., Удовиченко О. І. (укладачі). 2001. Михайло Якович Рудинський (1887–1858): Біобібліографічний покажчик. Київ, Полтава: ВЦ «Археологія».
- Buren E. D. van. 1930. Clay Figurines of Babylonia and Assyria. New Haven: Yale University Press; London: Oxford University Press, H. Milford.
- Childe V. G. 1923. Schipenitz: A Late Neolithic station with painted pottery in Bukowina // JRAI 53, 263–288.
- Childe V. G. 1925. The Dawn of European Civilization. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co.; New York: A. A. Knopf.
- Childe V. G. 1926. The Aryans: A Study of Indo-European Origins. London: Kegan P., Trench, Trubner & Co LTD, New York: A. A. Knopf.
- Childe V. G. 1929. The Danube in Prehistory. Oxford: Clarendon Press.
- Drower M. S. 2004. Margaret Alice Murray, 1863–1963 // Cohen G. M. and Joukowsky M. S. (eds.) Breaking Ground: Pioneering Women Archaeologists. Michigan: University of Michigan Press, 109–141.
- Fox C. 1932. The Personality of Britain: its influence on inhabitant and invader in prehistoric and early historic times. Cardiff: National Museum of Wales and the Press Board of the University of Wales.
- Garstang J. 1929. The Hittite Empire. Being a Survey of the History, Geography and Monuments of Hittite Asia Minor and Syria. London: Constable.
- Hall H. R. H. 1928. The Civilization of Greece in the Bronze Age. London: Methuen.
- Makarenko N. 1927. Sculpture de la civilization Trypillienne en Ukraine // Kühn H. (hrsg.). Jahrbuch für Prähistorische & Ethnographische Kunst. Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 119–130.
- Makarenko N. 1934. Neolithic man on the shores of the Sea of Azov // ESA IX, 135–153.
- Minns E. H. 1913. Scythians and Greeks. Cambridge: Cambridge University Press.
- Minns E. H. 1930. Small bronzes from Northern Asia // The Antiquaries Journal 10, 1–23.

- Murray M. A.* 1930. *Egyptian Sculpture*. London: Duckworth.
- Murray M. A.* 1931. *Egyptian Temples*. London: Sampson Low, Marston & Co., LTD.
- Murray M. A.* 1963. *My First Hundred Years*. London: William Kimber.
- Osborn H. F.* 1915. *Men of the Old Stone Age, Their Environment, Life, and Art*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Rostovtzeff M.* 1929. *The Animal Style in South Russia and China*. New York: Princeton.
- Sheppard K. L.* 2013. *The Life of Margaret Alice Murray: A Woman's Work in Archaeology*. Plymouth: UK: Lexington Books.
- Tallgren A. M.* 1926. *La Pontide préscythique après l'introduction des métaux / ESA II*.
- Tompa F.* 1929. *Die Bandkeramik in Ungarn. Die Bükker- und die Theiss-Kultur / Arhaeologia Hungarica V–VI*. Budapest.
- Trigger B. G.* 1980. *Gordon Childe: Revolutions in Archaeology*. New York: Cambridge University Press.
- Trigger B. G.* 1999. Vere Gordon Childe (1892–1957) // Murray T. (ed.). *Encyclopedia of Archaeology: The Great Archaeologists I*. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC–CLIO, 385–399.
- Whitehouse R.* 2013. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female Archaeology Lecturer // *Archaeology International* 16, 120–127.
- Woolley C. L.* 1929. *The Sumerians*. Oxford: Clarendon Press.

## Дело Всеволода Арендта. Возвращенная память

**Резюме.** Статья посвящена биографии Всеволода Викторовича Арендта (1887–1937), историка оружия и военного дела, основателя исторического оружиеведения в России. В 2017 году исполнилось 130 лет со дня его рождения и 80 лет с момента трагической гибели. В. В. Арендт оставил заметный след в науке. Его творческое наследие до сих пор вызывает интерес специалистов и во многом не утратило своей научной актуальности. Потомок старинного дворянского рода, В. В. Арендт закончил Тулузский университет во Франции, был слушателем Московского археологического института, занимался исследованиями в музеях Вены и Парижа. В годы Первой мировой войны стал боевым офицером, получил ранение. В 1918–1923 годах бывший драгунский штабс-ротмистр служил в Красной армии, вел преподавательскую деятельность. Его судьба оказалась связанной с ведущими российскими музеями, обладающими значительными оружейными собраниями. В 1926–1933 годах В. В. Арендт работал в Государственном историческом музее в Москве (консультант, заведующий отделом). С переездом в Ленинград он более обстоятельно занялся научной работой. С 1935 года числился старшим научным сотрудником, затем ученым секретарем Артиллерийского исторического музея. Сфера его научных интересов охватывала также оружейные собрания Государственного Эрмитажа и Оружейной палаты Московского Кремля. Арендт прекрасно знал оружейные коллекции европейских музеев. 1 октября 1937 года ему присвоили звание профессора Государственного музея этнографии, а на следующий день арестовали на основании доноса сослуживца. 14 декабря 1937 г. Арендт был расстрелян на основании обвинения в антисоветской

**A. N. Kirpichnikov, S. V. Efimov. The case of Vsevolod Arendt. Restored memoir.** The article is dedicated to biography of Vsevolod Viktorovich Arendt (1887–1937), researcher of arms and military service, founder of historical arms study in Russia. 2017 is marked with the 130<sup>th</sup> anniversary of his birth and 80<sup>th</sup> anniversary of his tragic perish. V. V. Arendt left a significant mark in the science. His creative heritage still attracts interest of specialists and in many respects it did not lost its scholar urgency. V. V. Arendt originated from an ancient noble family. He graduated from the Toulouse University in France, and also attended lectures in the Moscow Archaeological Institute. He carried out research works in museums of Vienne and Paris. During World War I Arendt was the Army officer, was wounded. In 1918–1923, the former dragoon captain served in the Red Army and also was involved in educational activity. His destiny appeared to be connected with well-known Russian museums holding significant arms collections. In 1926–1933, V. V. Arendt worked in the State Historical Museum in Moscow (consultant, chief of the department). Upon moving to Leningrad he was engaged in science more thoroughly. Since 1935, he was a senior research worker and later — an academic secretary in the Artillery Historical Museum. The sphere of his scholar interests covered also arms collections in the State Hermitage and Kremlin Armoury. Arendt was well up in armories of European museums. On October 1, 1937, he was conferred the rank of Professor of the State Ethnology Museum, but the next day he was arrested on the basis of denunciation from his colleague. On December 14, 1937, Arendt was shot on charge of anti-Soviet activities. The article is based on newly found archival documents. Some of them are published in the appendix. These rare archival sources



деятельности. Статья основана на вновь выявленных архивных документах. Некоторые из них публикуются в приложении. Эти редкие архивные источники позволяют реконструировать неизвестные ранее страницы жизни и профессиональной деятельности ученого.

**Ключевые слова:** В. В. Арендт, Артиллерийский исторический музей, историческое оружиеведение, репрессии 1930-х гг.

allow to reconstruct previously unknown pages from life and professional activities of the scholar.

**Keywords:** V. V. Arendt, Artillery Historical Museum, historical arms studies, repressions in the 1930s.

Эта статья предложена в юбилейный сборник не случайно. Л. С. Клейн сам пострадал от несправедливых судов, находился в заключении, видел и описал тюремную Россию. Эта суровая линия жизни не теряет своей актуальности и поныне.

Здесь остановимся на судьбе и творчестве неординарного ученого-оружиеведа Всеволода Викторовича Арендта. Его имя продолжительное время было предано забвению, а если его современники и вспоминали, то украдкой и даже со страхом. Между тем В. В. Арендт оставил заметный след в науке. Ныне по отрывочным данным можно воссоздать биографию этого человека. Подробности удалось почерпнуть из документов архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, следственного дела, сохранившегося в архиве Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из ряда обнаруженных в различных собраниях материалов. Исследователи Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска находят все новые сведения, связанные с деятельностью В. В. Арендта (Кирпичников 1996; 1999; 2000а; 2000б; Степко 2003; Ефимов 2007; Каинов 2008; Ефимов, Рымша 2009; Игина 2013).

В. В. Арендт родился в Москве 27 февраля 1887 года. Его дворянский род восходит к далекому немецким предкам, жившим в XII веке. В документах советского времени В. В. Арендт записан русским. Мать его была русской, а отец — поляком.

В 1906–1908 годах молодой дворянин учился на юридическом факультете Университета в Тулузе во Франции, а в 1909–1910 годах был слушателем Московского археологического института. Как стипендиат этого института В. В. Арендт в 1911 году находился в заграничной командировке — занимался в музеях Вены и Парижа. Его военная служба юнкером началась в 1908 году. Во время Первой мировой войны В. В. Арендт был боевым офицером, получил ранение осенью 1914 г. В 1915 году он командовал эскадрой Первого Лейб-Драгунского Московского имени императора Петра Великого полка. В октябре 1917 года В. В. Арендт в чине штабс-ротмистра был уволен из армии «по болезни и контузии». Из этого ясно, что он участвовал во фронтовых операциях и ушел из армии, случайно или нет, в дни большевистского переворота.

В дальнейшем в 1918–1923 годах бывший драгун служит в Красной армии, ведет преподавательскую работу, консультирует учебу кавалеристов, работает в Главном управлении коннозаводства.

В 1926–1933 годах В. В. Арендт работал в Государственном историческом музее в Москве (консультант, заведующий отделом). С переездом в Ленинград он более обстоятельно начинает заниматься научной работой. С 1935 года он числился старшим научным сотрудником, затем ученым секретарем Артиллерийского исторического музея. 1 октября 1937 года ему присвоили звание

профессора Государственного музея этнографии, а на следующий день арестовали. В жизни ученого этот арест был четвертым по счету. Через два с половиной месяца В. В. Арендта не стало. Его жена Евдокия Ивановна Кожевникова и пасынок погибли в годы блокады Ленинграда. Семейные документы и большая часть библиотеки, видимо, не сохранились. Лишь некоторые книги с экслибрисом Арендта и надорванными корешками один из авторов видел в библиотеке Эрмитажа.

О творчестве ученого можно судить по его публикациям. Знание военного дела и военной археологии, а также иностранных языков способствовали тому, что в 1920–1930-х годах Всеволод Викторович взялся за изучение отдельных видов преимущественно средневекового вооружения: мечей, сабель, шлемов, пушек. Оружие он хорошо знал, свободно разбирался в тонкостях его устройства, авторские рисунки и реконструкции всегда профессиональны. Предметы военной старины рассматривались В. В. Арендтом в контексте европейского исторического оружиеведения. В своем творчестве он успешно объединил обстоятельное музейное вещеведение начала XX века с современными ему международными познаниями в области истории военного искусства. Предметы военной техники оценивались и квалифицировались с общеевропейских исследовательских позиций и сами приобретали эталонную известность. Это стимулировало изучение собранных в изобилии, но неизвестных в публикациях редкостей наших музеев. Российское оружиеведение трудами В. В. Арендта стало выходить на передовой общемировой научный уровень. Широкое знание литературы вопроса и музейных собраний позволило В. В. Арендту печататься не только в СССР, но и в Германии. Он являлся иностранным членом немецкого Общества исторического оружиеведения и активно сотрудничал в его журнале *Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde*. Также был членом Академии Тулузы во Франции.

В работах В. В. Арендта встречались ошибки в основном общеисторического плана, например, он утверждал, что древнерусские мечи принадлежали исключительно пришельцам-варягам. Да, варяги на Руси торговали мечами, но не были их монопольными владельцами. К слову сказать, В. В. Арендт первым выдвинул классификацию древнерусских мечей, используя разработки норвежского археолога Яна Петерсена. Эта классификация в виде 18 рисунков сохранилась в Государственном историческом музее в Москве. Они опубликованы в научной литературе в Германии и России.

В 1930-х годах Всеволод Викторович плодотворно занимался техникой клинкового производства и впервые открыл мечи с «накладным дамаском». Его статья о греческом огне претендует на лучшее понимание этого запутанного вопроса в европейской науке. В. В. Арендт первым разработал методику измерения сабельных клинков, ныне принятую специалистами. По его инициативе началось изучение отечественных и зарубежных пушек, включая редкие образцы корабельной артиллерии. Он впервые опознал и опубликовал пистолетные стволы из собрания Государственного исторического музея в Москве, оказавшиеся древнейшими в Европе.

По отзыву авторитетных ученых-современников В. В. Арендта — А. В. Арциховского, А. П. Смирнова, Г. А. Новицкого, написанному в 1934 году, «он является крупнейшим в СССР специалистом по истории оружия и автором нескольких десятков (более сорока. — Авт.) печатных работ, где разрешил ряд вопросов, относящихся к оружию сарматскому, тюркскому, новгородскому, московскому». Заметим, что в дальнейшем А. В. Арциховский писал об Арендте значительно

более жестко (см. приложение 1). В. В. Арендт был, несомненно, одаренным человеком и в изучении отдельных видов средневекового оружия достиг, может быть, большего, чем его предшественники. Жизнь и творчество ученого были оборваны на взлете в зловещем 1937 году. Эти трагические дни можно пред- ставить по его следственному делу, насчитывающему 46 листов.

3 октября 1937 года арестованному днем раньше В. В. Арендту было предъ- явлено обвинение в антисоветской деятельности (по статье 58 УК), что он первоначально отрицал. Ученый обменивался письмами с зарубежными коллегам- ми, музеями и издательствами. Одно это в те годы могло показаться подозри- тельным. Однако о международных связях, равно как и о научных изысканиях, в деле нет ни слова. Очевидно, программа дознания была иной.

Вызванный на допрос 11 октября В. В. Арендт уже не отрицал «своей вины», а признал, как записано в следственном деле, что в кругу знакомых «высказы- вал антисоветские взгляды». Он и его «единомышленники» (в деле названы два археолога, этнограф и архивный работник) «осуждали политическую линию ВКП(б) и Советского правительства с контрреволюционных позиций». Подпись под текстом допроса выведена неверной рукой и подчищена. Дознание явно ве- лось с пристрастием. При его чтении обращает на себя внимание поразитель- ное обстоятельство. Документ раскладывается на оговор и очевидную правду, по-видимому, затененную при жизни на свободе или даже не очень скрывавшуюся. Всеволод Викторович со смелостью обреченного высказал своим мучите- лям то, что, скорее всего, давно думал. Он, судя по следственному делу, ска- зал: «Главный вопрос, который нас всех волновал и который мы часто обсуж- дали, это положение интеллигенции в советских условиях. В данном вопросе мы единодушно сходились на том, что интеллигенция в СССР находится в по- литически бесправном положении. В процессе своих суждений мы утвержда- ли, что в Советском Союзе осуществляется жесткая диктатура партийной вер- хушки, подавляющая всякую свободу мысли особенно в среде интеллигенции, лишенной права высказывания своих убеждений и симпатий тому или другому политическому строю. <...> В стране осуществляется резкий нажим на все слои населения, от которого, с нашей точки зрения, больше всего страдает интел- лигенция. В области экономики мы резко осуждали политику коллективизации сельского хозяйства как враждебную, проводившуюся насильственным путем и уничтожившую, с нашей точки зрения, стимул развития сельского хозяйства. Мы говорили о том, что советская власть применяет на строительстве рабский труд, имея в виду строительство каналов. Лично я утверждал, что вся страна сейчас замучена, находится в подавленном состоянии».

Приведенные слова провидческие, звучат как суровое обвинение. История подтвердила их справедливость. Сказаны они, безусловно, без подсказки, иск- ренно, честно, для своего времени с захватывающей смелостью. В 1937 году по- добное выступление квалифицировалось как тягчайшее преступление. Все равно что подписать самому себе смертный приговор. Неслучайно, что допрос завер- шился стандартной, видимо, наговоренной следователями фразой: «Все наши суждения имели одну цель — показать необходимость борьбы против Советской власти, за ее свержение и восстановление в СССР капиталистического строя».

Одного признания арестованного в «антисоветских» разговорах его с това- рищами следователям показалось недостаточно, и они 17 ноября в последний раз допросили В. В. Арендта. Тот, понимая, конечно, безвыходность своего по- ложения, в ответ на вопрос о намерении использовать индивидуальный террор,

ответил, что «теракты дадут реальные результаты». Каких-либо сведений о конкретных «подрывных» действиях кружка Арендта в деле, как и следовало ожидать, нет.

В ходе следствия был допрошен единственный свидетель. Им оказалась научная сотрудница Эрмитажа, известный археолог. 25 ноября 1937 года она сообщила, что знает В. В. Арендта с 1928–1929 годов. Он, будучи музейным работником «очень низкой квалификации», в разговорах «клеветнически заявлял, что интеллигенция в СССР не имеет политических прав и устранена от участия в руководстве политической жизнью страны»; говорил, что «вся страна терроризирована, никто не может сказать свободно о своих политических убеждениях, <...> клеветал на действия органов НКВД, заявляя, что проводятся массовые репрессии, что сажают людей без основания». Допрос заключают слова о том, что «все суждения Арендта содержали в себе резкую злобу и ненависть к Советско-строю, ко всем мероприятиям ВКП(б) и Советского правительства».

В 1962 году при проверке дела В. В. Арендта ту же свидетельницу вновь попросили рассказать о ее знакомом и записали нечто противоположное прежним показаниям. Оказалось, что Всеволод Викторович был очень «увлечен своей специальностью. <...> Взаимоотношения с ним были хорошие, насколько помню, антисоветских и антипартийных взглядов я от него не слышала». Когда же свидетельнице напомнили о ее показаниях 1937 года и дали их прочитать, то, по словам допрашиваемой, оказалось, что ее первоначальные показания «не соответствуют действительности», а были даны «под принуждением». (Мы не хотим раскрывать имени этой женщины по этическим соображениям. — Авт.)

Возвратимся к основному сюжету. 26 ноября 1937 года следствие по делу В. В. Арендта было закончено. Обвинение гласило, что он «входил в антисоветскую группу и участвовал в обсуждении политической линии ВКП(б) и мероприятий Советского правительства с контрреволюционных позиций, является сторонником террористических методов борьбы против Советской власти». 14 декабря В. В. Арендт по приговору особой тройки был расстрелян. Ему было тогда 50 лет.

Утверждение следствия о существовании антисоветской группы стало разваливаться уже в период, когда по делу Арендта в конце 1937 года привлекли названных в нем людей. Осужденный как якобы член упомянутой группы заведующий архивом Артиллерийского исторического музея И. Д. Тубянский в жалобе, написанной в лагере в 1940 году, пояснил, что «с Арендтом у меня были лишь нормальные служебные отношения и некоторое уважение к нему как незаурядному специалисту в области военной археологии». Что же касалось обвинения в групповой антисоветской деятельности, то оно «неправильно и необоснованно», а признание добывалось таким путем: «На мое категорическое отрицание (вины) следователь Михайлов поставил меня на “стойку” и с применением избиений собственных и с помощью других сотрудников отдела. Так как я все же не мог сообщить ему ничего подходящего, то через сутки непрерывного допроса (следователь) заявил, что будет меня разоблачать». Жалоба не помогла. В 1942 году Тубянский умер в Онеглаге.

В 1962 году по запросу заведующего Ленинградским отделением Института археологии АН СССР профессора Б. Б. Пиотровского дело В. В. Арендта было пересмотрено, и при этом выяснилось, что никакой антисоветской группы не существовало, и все дело было сфальсифицировано. По протесту прокурора г. Ленинграда Президиум Ленгорсуда дело прекратил 25 декабря 1962 года. В. В. Арендт был посмертно реабилитирован (Кирпичников 1996: 399; 2016: 1–7).



Ныне неожиданно открылись новые подробности трагической судьбы ученого. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи сохранился исходный документ — донос (см. приложение 2. В том же архиве имеется ряд других документов, связанных с арестом В. В. Арендта). Он поражает примитивностью обвинений и почти истерическим поиском образа врага. Приведем лишь одну выдержку. Автор доноса, коллега Арендта по работе П. В. Львовский, пишет следующее: «Нам был зачитан пункт приказа Наркома Обороны о назначении начальником Артиллерийского управления комкора т. Кулика вместо комкора т. Ефимова. Узнал об этом и Арендт. Спустя четверть часа после получения этой новости, подходит к моему служебному столу и таинственно опустившись на стул, шепчет мне: “Как вы смотрите на все эти перемены? А я так думаю, что хороших, умных людей убирают с дороги, а назначают одних только...” при этом Арендт поднялся со стула, вытянулся передо мной, руки по швам, и изобразил из себя такую, дескать, безропотную покорную, глуповатую фигуру, которая остается после насильственного удаления и уничтожения умных, дельных людей, фигуру, готовую слепо и безотчетно подчиняться теперешнему режиму. Эту последнюю выходку Арендта я оценил как наглую вылазку классового врага, антисоветски настроенного и вредно влияющего на те “интеллигентные” круги, в которых он пользуется авторитетом. Полагаю, что дальнейшее пребывание Арендта в наших рядах недопустимо, а его выходки, как политического врага нашей Родины, должны повлечь за собой принятие, кроме того, и более решительных мер государственной безопасности». Донос был подан 7 июня 1937 года, арест последовал 2 октября, казнь — 14 декабря.

Здесь нельзя не добавить, что начальник музея, ознакомившись с доносом, не побоялся сообщить «по инстанции», что «Арендт проявил себя как знающий, вполне лояльный специалист и во многом содействовал в работе по реконструкции музея, особенно экспозиционных работах, за что имел две благодарности музею и был премирован начальником Артиллерийского управления РККА (комкор Ефимов) в текущем году (то есть 1937. — *Авт.*) месячным окладом».

В. В. Арендт погиб в период массовых репрессий. Бессмысленно карались многие научные люди, очень нужные стране. Время воскресить память о безвинных мучениках, которые испытав пытки, даже ступая на эшафот, не боялись говорить правду.

**Приложение 1** (Из архива А. Н. Кирпичникова)

**Письмо А. В. Арциховского А. Н. Кирпичникову**

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич!

О напечатании заметки памяти Арендта не может быть и речи.

Во-первых, подобные заметки вообще пока не печатаются. В тридцатые годы погибло слишком много людей. В том числе погибли тысячи научных работников всех специальностей, каждый из которых заслуживал бы некролога. Они теперь реабилитированы. Но если о них всех написать должным образом в научных журналах... Представляете себе, какое это произведет впечатление на читателей: во-первых, на зарубежных, во-вторых, на наших молодых. В «Правде» была напечатана заметка о Тулайкове, это хорошо, но это исключительный случай. Подобные статьи пока очень редки. Надеюсь, что они будут появляться несколько чаще. Тогда мы, археологи, напечатаем статью о П. С. Рыкове, а не о В. В. Арендте. Встанут и другие имена.

Во-вторых, 75 лет рождения — не юбилейная дата. Это важнее, чем Вы можете подумать. Мы отмечаем лишь столетия. Если будем отмечать дробные даты, наш журнал (имеется в виду «Советская археология. — Авт.») будет заполнен поминаниями, и отказывать будет трудно.

В-третьих, и это главное, Арендт враждебно относился к русской культуре вообще. О славянстве в целом он отзывался возмутительно, хотя сам был славянин. Мать его была русская, отец поляк. Его немецкая фамилия восходит к далеким предкам. Но он, к сожалению, любил все немецкое. Это не было простой болтовней. Ведь именно поэтому его научные статьи так тенденциозны. Он там всячески принижает древнюю Русь, притом принижает без всяких доказательств, вопреки фактам.

Таково мое мнение. Но если бы я, даже (предположим невероятное) поддержал Ваше предложение или если кто-нибудь иной предложил бы, редакционная коллегия все равно была бы, я думаю, против. Археологи моего поколения, как правило, относятся к Арендту хуже, чем я. У него были и другие недостатки, но я писал Вам о недостатке главном и решающем.

Благодарю Вас за оттиски.

Уважающий Вас А. Арциховский

27 мая 1962 г.

**Приложение 2** (Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Фонд «Политдонесения о политико-моральном состоянии и партийной работе». Д. 8 (1937 г.). Л. 7–8 об.)

Резолюция начальника музея Я. Ф. Куске:

**«Уволить без предупреждения.**

**Направить копию в НКВД. 7/VI. 37»**

### Начальнику музея

Доношу Вам о наблюдаемом мною неблагополучии в поведении уч. секр. Арендта, поведении, которое по совокупности всех подмеченных мною отдельных фактов выявляет его, как скрытого политического врага нашей Родины, маскирующегося под маркой лояльного к Советской Власти крупного специалиста с научной степенью доктора, полученной им от зарубежных научных учреждений, а на деле оказавшегося двурушником, рвачем и мошенником, антисемитом, политическим врагом советской власти, разлагающе влиявшего на окружающих его лиц, главным образом, из среды так называемых им «интеллигентных» работников. Все изобличающие его факты я смог расценить в их подлинном виде только с последней его выходкой, имевшей место 2 июня с. г., о которой я доложу в своем месте, а в порядке некоторой последовательности, приведу вкратце эти факты, как они мне запомнились.

Летом прошлого года, когда я только поступил на службу в Музей и мне было предложено Вами подыскивать себе помощника по должности, желательно партийного, Арендт, всегда принимавший горячее участие в подыскании «нужных», «подходящих», «незаменимых» людей, усиленно предлагал мне некоего Льва (Русский музей) как «опытного музейного работника, который при том же партийный, но такой, которого можно обработать, милейший человек — этот Лев» (подчеркнуто Львовским. — Авт.). Уже тогда такая рекомендация мне показалась подозрительной: что это за коммунист, которого, дескать, можно «обработать»? Это что-то вроде Грищенко, в том виде, как я раскусил его за последнее время. Предложение Арендта было мною отклонено.

В процессе подыскания научных сотрудников Арендт в свое время прилагал всякие старания (устраивал протекцию) дать прибежище в Музее разогнанным сотрудникам ИИНИТ'а (Института истории науки и техники. — Авт.), оказавшимся за бортом после чистки этого учреждения и перевода его в Москву. С этой целью он перед Вами еще тогда (осенью 1936 г.) выставлял необходимость всемерного увеличения штатного числа научных сотрудников, а передо мной демонстрировал ряд лиц, как авторитетных незаменимых научных работников, за которых надо хвататься обеими руками, но этот номер тоже не прошел.

Но вот весной этого года явились реальные и обоснованные возможности некоторого увеличения числа научных сотрудников. В музей стали поступать заявления желающих поступить: Арендт стремился, всегда сам первым ознакомиться с ними, а затем, обработав свои впечатления, излагал мне свое мнение о них: «Все пока одни еврейчики приходят — народ для нас неподходящий», или вот один комсомолец заявился, по-моему из него ничего не выйдет, но все ж таки взять его полезно, чтобы среди нас было бы хоть немного партийных. Это обязательно



нужно! Таким образом, партийный научный сотрудник по Арендту исполнял бы роль фигового листка для прикрытия «своей» работы.

В области научно-исследовательской работы Арендт стремился везде и всюду [л. 7 // л. 7 об] подчеркнуть свою ученую степень, полученную за границей, свои труды, которыми стремился обогатить иностранную литературу, чтобы создать себе там какое-нибудь «имя», и когда я его спрашивал, почему он давал печатать за границей (Германия, Венгрия) свои более или менее специальные и оригинальные труды (а в СССР опубликовал в то же самое время работы второстепенного характера, компилятивные и даже полухалтурные), то он старался убедить меня в том, что в его специальности (шлемы и доспехи) у нас в Советском Союзе «никто ни хрена не понимает» (другими словами, свободен путь для халтуры и очковтирательства) и печататься у нас негде: какое издательство, дескать, возьмется печатать его труды и исследования об изогнутости древне-германских мечей, когда всех занимают только вопросы текущей пятилетки.

Создание органа «Сборник материалов и исследований Артил. Ист. Музея» — нашло в Арендте ярого сторонника, но цель этого издания понималась им не только та прямая, как мы ее все понимаем, но и та косвенная, которая еще раз подчеркнула бы его ученое имя за границей, поскольку на отвороте заглавного листа должно будет красоваться «ученый секретарь Арендт В. В.». Вообще, Арендт видел и продолжает видеть скорее средство рекламы, чем орган научно-иссл. трудов, и при этом в большей степени для заграницы, к которой он так тяготеет, чем для нашего. Такой взгляд его на «сборник» находит подтверждение в его неоднократных высказываниях, хорошо Вам известных, о том, для кого предназначается этот «Сборник».

В его представлениях всегда сквозило пренебрежительное, если не полупрезрительное отношение к советской науке, восхищение и преклонение перед зарубежной наукой, и стремление приобщиться скорее к ней, чем стать полезным и авторитетным советским научным работником.

Кроме идейных соображений о «Сборнике» у Арендта несомненно были и материальные — дальнейшее показывает хоть и в слабой степени, но все же то, что для него «Сборник» служил некоторым подобием дойной коровы.

Поднатужившись над своими статьями к 1-му выпуску «Сборника» Арендт не запнулся предложить свои услуги и для 2-го выпуска. Между тем, как 1 выпуск охватывал хронологически докапиталистические формации, во 2 выпуске уже не может быть речи о шлемах и доспехах, поскольку выпуск будет охватывать XIX–XX ст. Но деньги Арендту нужны и вот он предложил для 2-го выпуска сборника ряд статей, выкапывая интересные и вообще приемлемые темы: меня только брало сомнение, насколько он справится с этими темами? Между тем, в погоне за авторскими он быстро подготовил к печати одну из статей и представил ее мне в начале апреля, поспешив притом с проведением процедуры принятия ее и получения за нее денежного вознаграждения. Эту статью я взял на просмотр и внимательно ознакомившись с ее содержанием, нашел сильно разбавленной халтурой, прикрытой лишь несколькими строчками интересными и оригинальных данных, которые единственно могли бы послужить содержанием небольшой заметки в 1 ½ — 2 страницы, но никак не с [л. 7 об. // л. 8] целый печатный лист! Сейчас эта статья у меня на руках и с соответствующими моими заметками и заключением по ней может быть Вам представлена, как образец того стиля работы, при котором из мухи делают слона: на нашем языке это называется халтурой и очковтирательством. В этом направлении Арендт весьма последователен и становится все более и более откровенным.

Не дальше, как 30 мая он заявляет мне в служебном месте и вслух при всех присутствующих: «Хочу подзаработать на Ваших последних статьях в “Сборник”. Прикажете написать Вам записку?» Я понял, что речь шла о представленных в раздел хроники «Сборника» трех статьях на темы: «К 250-летию опубликования первых теоретических исследований о движении тела в сопротивляющейся среде (Валлис. Ньютон. 1687)». — «Шарбонье (1864–1936). Некролог» и «Менделеев. К вопросу о введении в России бездымного пороха». Арендт имел в виду подзаработать на фиктивном редактировании этих статей: все же как никак можно получить по 40 руб. за печ. лист чужого труда, не ударив даже пальцем о палец! Я пробормотал ему, что мои статьи, на которые он намекает, не могут быть им отредактированы в виду их специального содержания — их отредактируют в Артил. Академии. Но что делать? Записка Арендта на мое имя уже готова: в ней изложена его просьба уплатить ему за редактирование статей, которые он даже не читал, по 40 р. за лист, а всего 112 рублей, добавив на словах, чтобы я «провернул это поскорее, так как деньги до зарезу нужны». Однако, я решил эту записку не пропускать, а в виду неправильности ее формы дал ему ее пересоставить, имея в виду оттянуть время до подачи Вам настоящего заявления, которое в устной форме Вам доложил 6-го с. июня. Пересоставленную Арендтом записку я также не пропустил (она у меня в «деле»), пояснив, что существует при музее ред. — издательская комиссия, которая согласно «Положения» и решает, между прочим, вопросы о назначении редактора поступающих от авторов статей в портфель комиссии и о объеме статей после их редактирования, протоколируя каждый раз свои решения. Только на основании этих протоколов можно требовать вознаграждение за редакторскую работу. Однако, Арендт, этим оборотом дела не смутился: это мы сейчас устроим — и комиссия, и протокол будет (а сам Арендт секретарь комиссии) — другими словами, устроим фиктивное совещание комиссии, которая бы приняла редакционную работу Арендта. Но этого еще мало. А где же тот протокол комиссии о назначении Арендта редактором моих статей? А это ерунда, дело было так давно, никто не разберет! Таким образом, с легкой руки совершается одновременно подлог, самозванство, рвачество и мошенничество в такой наглой форме, которую он может допустить передо мной вероятно только потому, что считает меня тоже «милейшим человеком», которого, конечно, много проще «обрабатывать», чем партийного. — Так и на этот раз у него сорвалось!

Далее 1-го июня подходит ко мне Арендт в моем кабинете и, здороваясь, шеп [л. 8 // л. 8 об] отом сообщает сенсацию — «знаете ли? Гамарник застрелился! Германский флот бомбардирует Испанию!» Я, зная, уже об этом по радио, не стал распространяться, но все же мне было интересно знать, как он, Арендт, реагирует на эти события? Про уход Гамарника Арендт ничего такого существенного не сказал, а про бомбардировку фашистами Альмерии все же выпалил: «Молодцы немцы. Это надо правду сказать, как они последовательны, я их вполне понимаю, себя в обиду не дадут, вот это мне нравится, черт возьми!» Эти восклицания были высказаны им беззастенчиво громко, а ведь у меня рядом с кабинетом в комнате находятся всегда разные люди: и служащие музея, и посторонние посетители по разным делам!

2-го июня Вами был зачитан мне пункт приказа Наркома Оборонны о назначении н-ком АК комкора т. Кулика вместо комкора т. Ефимова. Узнал об этом и Арендт. Что он почувствовал при этом — точно передать не смогу. Но, спустя четверть часа после получения этой новости, подходит к моему служебному

столу Арендт и, таинственно опустившись на стул, шепчет мне: «Как смотрите на все эти перемены? А я так думаю, что хороших, умных людей убирают с дороги, а назначают одних только...» при этом Арендт приподнялся со стула, вытянулся передо мной, руки по швам, и изобразил из себя такую дескать безропотную-покорную глуповатую фигуру, которая, мол, остается после насильственного удаления и уничтожения умных и дельных людей, фигуру, готовую слепо и безотчетно подчиняться теперешнему режиму.

Эту последнюю выходку Арендта я оценил, как наглую вылазку классового врага, и сейчас же сопоставил все его предыдущие сомнительные свойства проступки: передо мной вырисовалась фигура Арендта во всей своей отвратительности, как антисоветски-настроенного и вредно влияющая на те «интеллигентные круги», в которых он пользуется авторитетом.

Полагаю, что дальнейшее пребывание Арендта в наших рядах недопустимо, а его выходки, как политического врага нашей Родины, должны повлечь за собой принятие, кроме того, и более решительных мер государственной безопасности.

Начальник НИО  
в. инж. 1 р. Львовский  
7 июня 1937 г.

## Литература

- Ефимов С. В.* 2007. Оружие Западной Европы XV–XVII вв. в Артиллерийском музее. История формирования собрания (XVIII — 1930-е гг.) // Бранденбургские чтения. Вып. 2. Письменные памятники в музейных собраниях. СПб.: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, 76–86.
- Ефимов С. В., Рымша С. С.* 2009. Оружие Западной Европы XV–XVII вв. Т. 1. СПб.: Атлант, 18–20.
- Игина Ю. Ф.* 2013. Судьба Всеволода Арендта — трагическая страница отечественного оружейоведения // Средние века 74 (3–4), 390–409.
- Каинов С. Ю.* 2008. Каталог мечей из собрания Государственного исторического музея, составленный В. В. Арендтом // Двуреченский О. В. (ред.). Военная археология. Сборник материалов семинара при Государственном историческом музее. Вып. 1. М.: Квадрига, 145–156.
- Кирпичников А. Н.* 1996. Всеволод Викторович Арендт: Трагическая судьба ученого // Традиции российской археологии: Мат-лы методологического семинара ИИМК РАН. СПб.: ИИМК РАН, 558–662.
- Кирпичников А. Н.* 1999. В. В. Арендт — историк оружия и военного дела // Вопросы истории 1, 145–149.
- Кирпичников А. Н.* 2000а. Историк оружия Всеволод Арендт // Бомбардир 9, 43–45.
- Кирпичников А. Н.* 2000б. Допрос с пристрастием. Судьба историка оружия Всеволода Арендта // Зуев В. Ю. (ред.). Σισοτια: Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб.: ГЭ, ИИМК РАН, 399–404.
- Кирпичников А. Н.* 2016. Об изучении русского вооружения. Заметки и размышления // Оружейный семинар. Заседание 17 ноября 2016 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа. СПб.: ГЭ, 1–7.
- Степко Л.* 2003. Оружейовед Арендт: Из фондов Новороссийского государственного исторического музея-заповедника // Мир музея 4, 42–46.

# Медь и бронза





И. В. Манзура

## Восточная Европа на заре курганной традиции

**Резюме.** В статье рассматривается проблема возникновения курганного погребального обряда в южной части Восточной Европы. В рамках постановки исследовательской проблемы обсуждаются связанные с ней вопросы и анализируются различные подходы к ее решению. Изучаемый временной промежуток делится на четыре основных периода: ранний, средний и поздний энеолит (ок. 5000–3500 гг. до н. э.), а также ранний бронзовый век I (ок. 3500–3000 гг. до н. э.). Показано, что до сих пор отсутствуют надежные доказательства появления древнейших курганов в раннем энеолите. Более того, даже в границах среднего энеолита свидетельства существования курганного обряда выглядят не совсем убедительными. Выводится заключение, что первые курганы в степной зоне появляются лишь в начале второй четверти IV тыс. до н. э., то есть в позднем энеолите. Это событие было обусловлено сложным сочетанием социальных, экономических, технологических и природных факторов.

**Ключевые слова:** юг Восточной Европы, Северное Причерноморье, степная зона, медный век, энеолит, ранний бронзовый век, курган, погребальный обряд, погребение.

**I. V. Manzura. Eastern Europe at the dawn of the kurgan tradition.** The paper deals with the problem of emergence of the most ancient burial mounds in the southern part of Eastern Europe. The author starts with discussing the most disputable issues related to the problem in question and compares different approaches to it. The period under consideration is divided into four main stages: Early, Middle and Late Eneolithic (c. 5000–3500 BC), and Early Bronze Age I (c. 3500–3000 BC). It is shown that there are no reliable grounds to date the emergence of the first kurgans to the Early Eneolithic. Moreover, even for the Middle Eneolithic evidence for the existence of true kurgans remains rather unconvincing. It is concluded that the most ancient kurgans in the East European steppes seem to have appeared as late as the beginning of the second quarter of the 4<sup>th</sup> millennium BC. This event was conditioned by a complex combination of social, economic, technological and environmental factors.

**Keywords:** south of Eastern Europe, North Black Sea region, steppe zone, Copper Age, Eneolithic, Early Bronze Age, kurgan, burial rite, grave.

### Постановка проблемы

Курганы как разновидность монументальных погребальных памятников являются неотъемлемой частью европейского ландшафта. Они обнаруживаются в большинстве европейских регионов от Скандинавии до Средиземноморья

и от Британии до Урала, за исключением, пожалуй, пояса субарктических лесов и тундровой зоны Восточной Европы. Появление курганов на различных европейских территориях относится к разным историческим эпохам, от поздней преистории до средневековья, и в силу этого обусловлено целым рядом неодинаковых по своему характеру социально-экономических и идеологических причин и факторов в границах каждого региона и периода. Поэтому вполне можно согласиться с замечанием Э. Шерратта, что было бы заблуждением подходить к исследованию монументализма, одним из проявлений которого можно считать курганную архитектуру, основываясь лишь на какой-то одной модели (Sherratt 1997b: 333–334). Действительно, огромный хронологический и территориальный разброс данного культурного феномена изначально диктует конструирование разных археологических и культурно-исторических моделей, отражающих специфику каждого конкретного случая. Однако это не означает, что такие модели не могут сопоставляться с целью выявления каких-то общих признаков или обстоятельств, объясняющих появление курганных памятников на определенной территории. В общем-то, и сам Э. Шерратт попытался сравнить свою модель возникновения монументализма в Западной и Северной Европе с особенностями развития курганной традиции на юге Восточной Европы (Sherratt 1997a: 369–370). В обоих регионах отмечается сосуществование и взаимодействие двух совершенно противоположных культурных миров: в первом случае — древних земледельцев, ведущих происхождение от культуры линейно-ленточной керамики, и мезолитических общин, во втором — земледельческих коллективов культуры Кукутень-Триполье и субнеолитических, по выражению Э. Шерратта, групп, эволюционирующих в сторону скотоводческого хозяйственного уклада. Если в первом случае развитие происходило по линии конвергенции, завершившись распространением на новые территории производящего хозяйства, то во втором наблюдалась иная траектория, отражающая скорее дивергенцию культурного развития. Однако странно, что результатом этой дивергенции оказалась чрезвычайно однородная по своему характеру ямная культурно-историческая общность, охватившая всю степную и лесостепную зону Восточной Европы в раннем бронзовом веке. Следовательно, характер культурного развития от Карпат до Урала в энеолите и бронзовом веке мог оказаться намного сложнее, чем это представлялось Э. Шерратту, и включал в себя разные периоды, отражающие некую последовательность культурных изменений во времени и пространстве. И одним из неотъемлемых элементов этого развития, безусловно, можно считать курганное строительство.

Появление первых курганов на юге Восточной Европы, вне всякого сомнения, можно рассматривать в качестве одного из самых примечательных событий в истории этого обширного региона. И вовсе не кажется удивительным, что именно курганы вошли в список наиболее важных технологических и социальных инноваций IV тыс. до н. э. наряду с такими новшествами, как металлургия бронзы, колесный транспорт, рало или соха, шерстоткачество и др. (Hansen 2011: 164), а сам по себе этот тип погребальных памятников был использован для обозначения особой курганной культуры (Gimbutas 1956). Проблема возникновения и развития курганной архитектуры в степной зоне неизменно остается в поле зрения многочисленных исследователей из разных стран и регионов, что находит отражение в целой серии работ по этой теме, вышедших за последние пару десятилетий (Иванова 2002; Манзура 2006; Ростунов 2007; Тесленко 2007; Берестнев 2010; Говедарица 2011; Корневский 2012; Гребенников, Смирнов

2015; Rassamakin 2002; 2011a; Manzura 2009; Kaiser 2016). Перечень вопросов, обсуждаемых в рамках данной проблемы, в сущности, остается неизменным и в разных вариациях присутствует почти в каждой работе. Первую серию взаимосвязанных вопросов можно выразить предельно кратко: кто, где, когда.

Пытаясь ответить на первый вопрос, исследователи в основном рассматривают возможные кандидатуры создателей первых курганов как с точки зрения их принадлежности к той или иной археологической культуре энеолита или бронзового века Восточной Европы, так и с позиции их социально-хозяйственной организации, хотя здесь все предпочтения обычно замыкаются на двух вариантах — скотоводы *vs.* земледельцы.

Ответ на второй вопрос предполагает определение той конкретной области в границах всего региона, где регистрируются древнейшие курганные насыпи и откуда эта погребальная традиция распространяется по другим территориям. К слову сказать, изучение этого вопроса до сих пор остается полем непрекращающихся дискуссий. Другим измерением этого же вопроса выступают особенности топографического размещения древнейших курганов, прежде всего, в сопоставлении с другими видами погребальных памятников предшествующего периода или синхронными могильниками, если таковые имелись.

Третий вопрос, «когда», может пониматься в двояком плане: во-первых, установление момента возникновения первых курганов в рамках относительной и абсолютной хронологии, во-вторых, созревание во времени тех условий, при которых строительство курганов стало возможным и, по-своему, даже неизбежным. Все эти вопросы, конечно же, тесно переплетены между собой, и стремление ответить на один из них незамедлительно влечет за собой необходимость отвечать на другие, что-то наподобие эффекта падающего домино. К тому же за ними тянется череда последующих вопросов.

По своему характеру вопросы следующей серии, по-видимому, могут рассцениваться как действительно сложные, поскольку в их раскрытие вовлекаются соображения более высокого порядка, привлеченные из других областей гуманитарного знания. Пожалуй, одной из наиболее прилежно, развернуто и, не побоюсь этого слова, любовно обсуждаемых тем является религиозно-мифологическая интерпретация курганов. Здесь просторы творческой мысли поистине безграничны, хотя построения иногда зиждутся на слишком зыбкой почве всевозможных допущений. В любом случае, это направление поиска, безусловно, имеет полное право на существование, поскольку оно по-своему координируется с решением других не менее важных вопросов. К числу таковых можно отнести оценку кургана как некоего социокультурного феномена, который отражает вызревание определенных социальных и хозяйственных предпосылок, диктующих новые формы социального выражения и соответствующих характеру текущих задач социального строительства. Иными словами, здесь необходимо отследить взаимосвязь между уровнем и спецификой социально-хозяйственной организации с учетом демографических показателей, с одной стороны, и возникновением монументализма как особого культурного явления — с другой.

К этой же серии вопросов следует отнести возможное влияние природно-климатических условий на становление новых погребальных традиций. Вместе с тем такая взаимосвязь, если ее каким-то образом удастся проследить, скорее всего, будет носить опосредованный характер. Природная среда на некоторых этапах развития в состоянии существенно воздействовать



на выработку новых хозяйственных стратегий с сопутствующими преобразованиями в социальной и идеологической сфере. Это, в свою очередь, могло вызвать к жизни и соответствующие тенденции в материализации изменившихся условий. В этом случае одной из таких новых форм материального воплощения вновь возникающих социально-экономических реалий вполне могла оказаться курганная архитектура.

Несмотря на, казалось бы, однозначное понимание термина «курган», это определение в то же время применимо и применяется к сооружениям, отличающимся по некоторым конструктивным деталям, которые могут включать в себя как земляные, так и каменные конструкции. В силу этого, в общем-то, понятно стремление терминологически как-то разграничить внешне, вроде бы, похожие монументы, как, например, в Бретани, различают *tette* и *tumulus* (Cassen 2006: 22). В связи с этим при изучении проблемы происхождения курганного погребального обряда решению подлежит вопрос, насколько большим разнообразием могли характеризоваться древнейшие сооружения подобного рода или как быстро они могли эволюционировать к каким-то отдельным формам, если изначально такое разнообразие отсутствовало. Иными словами, речь может идти о том, в какой степени можно проследить некую последовательность в развитии курганной архитектуры во времени и/или пространстве. Вопрос этот достаточно важен, поскольку за ним скрывается другой вопрос о возможно разных культурных истоках курганной погребальной традиции.

Из всей совокупности, пожалуй, самым важным следует считать вопрос, почему возникают курганы на юге Восточной Европы. Он как бы аккумулирует в себе все другие вопросы и может быть, безусловно, решен только лишь тогда, когда будут в той или иной степени получены ответы на эти другие вопросы. Действительно, какие причины, факторы, предпосылки, условия способствовали появлению курганного погребального обряда и его, в общем-то, довольно быстрому распространению по всей степной полосе Восточной Европы? И оборотной стороной этой ситуации является вопрос, почему курганы одновременно не возникают на соседних или относительно близких территориях, например, в ареале культуры Кукутень-Триполье, Карпатском бассейне, болгарской Фракии или на Центральных Балканах. Как это ни странно, но именно эта тема в преисторической археологии Восточной Европы остается почти не затронутой, тогда как в исследованиях по Западной, Центральной и Северной Европе она практически постоянно находится в центре внимания на протяжении уже долгого периода, по крайней мере, со времен Г. Чайлда. Не то чтобы данная проблема вообще игнорировалась, но к ней зачастую обращаются как-то мимоходом, поверхностно, ограничиваясь, как правило, несколькими словами или предложениями. Вполне возможно, что в рассматриваемом регионе курганы настолько прочно ассоциируются в сознании исследователей со степным ландшафтом, в течение тысячелетий вмещающим многочисленные скотоводческие объединения, что вопрос как бы разрешается сам по себе: культура скотоводов кажется настолько органично связанной с курганной архитектурой, что как-то размывается актуальность вопроса о причинах появления последней. Вместе с тем такой вопрос, несомненно, существует как завершающая глава в богатом и замысловатом сюжете о происхождении курганного обряда погребения в степях Восточной Европы.

## Археология в поисках ответов

Прежде чем приступить к рассмотрению заявленной в настоящей работе темы, необходимо оговорить некоторые детали, связанные с хронологической терминологией. Как хорошо известно, в преисторической археологии юга Восточной Европы и в Юго-Восточной Европе используются различные схемы периодизации, в результате чего, в общем-то, синхронные культурные объединения на сопредельных территориях относят к разным археологическим эпохам (Govedarica 2004: 44–54). К примеру, первая фаза раннего бронзового века на Северном Кавказе оказывается одновременной среднему энеолиту в Паннонии или на Центральных Балканах, среднему или позднему энеолиту в Северном Причерноморье и Приазовье, в зависимости от предпочтений того или иного автора, либо финальному энеолиту на Восточных Балканах. Здесь вряд ли уместна ссылка на возможную неравномерность культурно-исторического развития в различных европейских регионах, поскольку, по крайней мере, с позднего неолита прослеживается удивительная сопряженность в стадияльных изменениях на самых отдаленных друг от друга территориях. Речь, скорее, может идти о различных исследовательских традициях, сложившихся в той или иной исследовательской школе, или же о разных критериях, употребляемых при построении какой-либо региональной периодизации.

Дискутировать на эту тему можно бесконечно, что не входит в задачи этого исследования, поэтому здесь используется, в какой-то мере, условная схема, согласно которой в пределах V и IV тыс. до н. э. выделяются четыре основных периода: ранний, средний и поздний энеолит и ранний бронзовый век I (РБВИ). В рамках абсолютной хронологии ранний энеолит в общих чертах определяется 1-й половиной V тыс., средний — 2-й половиной этого тысячелетия, поздний — 1-й половиной IV тыс. и РБВИ — 2-й половиной IV тыс. до н. э. В определенной степени, в таком делении заложены технологические критерии, связанные с изменениями в области обработки и распространения металла.

И действительно, в пределах первого энеолитического периода, по крайней мере, ближе к его завершению, наблюдаются первые радикальные изменения в металлообработке (металл Винчи, Карбунский клад, использование металлургических горнов на Восточных Балканах). На второй период приходится расцвет фракийско-нижнедунайского очага Балкано-Карпатской металлургической провинции, сопровождавшийся многочисленными технологическими новшествами и чрезвычайно обширной системой связей, вплоть до Волго-Уральского региона. В течение позднего энеолита, также ознаменовавшегося целым рядом технологических инноваций, основные металлургические центры перемещаются в Карпатский бассейн и на Центральные Балканы. И, наконец, в РБВИ широко распространяется технология мышьяковистой бронзы, засвидетельствованная в это время в самых различных областях Европы. Предложенная периодизационная схема, в сущности, уже была задействована и в других работах, в частности, в исследованиях В. А. Дергачева (2012: рис. 1), поэтому, наряду с другими соображениями, ее использование в данном случае позволительно считать вполне уместным. Важно другое: где-то в границах одного из очерченных здесь периодов и можно обнаружить древнейшие курганы Восточной Европы.

Как уже оговаривалось выше, первая триада из общей серии вопросов (кто, где, когда) достаточно жестко взаимосвязана. Пытаясь ответить на вопрос, когда возникают первые курганы, мы параллельно сталкиваемся с необходимостью

очертить территорию, где произошло данное событие, и следом определить конкретное культурное подразделение, которое с этим событием связано. И здесь мы сразу же попадаем в область самых противоречивых суждений. Решение одного из перечисленных вопросов — когда — строится, как правило, на радиоуглеродных датах, данных относительной хронологии, стратиграфии памятников, а также исходя из общей культурно-исторической ситуации и основных тенденций развития в том или ином регионе или же на более обширных пространствах.

Несмотря на уже довольно долгий период использования метода радиоуглеродного датирования, в том числе и в изучении степного энеолита и раннего бронзового века, список дат по ранним курганным погребениям по сей день выглядит не очень внушительным. Они сведены в таблицы в крупных обобщающих работах по отдельным регионам или по всей степной зоне (Телегин и др. 2001; Шишлина 2007; Моргунова 2011; Кореневский 2012; Юдин 2012; Rassamakin 2004), а также анализируются в отдельных исследованиях по хронологической проблематике (Петренко, Ковалюх 2003; Кореневский 2006; Выборнов и др. 2008; Моргунова 2009; Рассамакин 2009; Моргунова и др. 2010; Моргунова и др. 2011; Rassamakin 2011b). Определяя время появления первых курганов в Восточной Европе, кажется целесообразным рассмотреть этот вопрос в границах двух относительно самостоятельных регионов, которые условно можно обозначить как восточный и западный. Первый регион включает Среднее и Нижнее Поволжье и Нижний Дон с прилегающими территориями Предкавказья, тогда как второй регион охватывает Северное Причерноморье и Приазовье. На каких-то этапах эти регионы могли представлять собой некий культурный континуум, простиравшийся от Волги до Дуная, или, напротив, демонстрировать определенное локальное своеобразие с относительно самостоятельными тенденциями культурного развития. И очень интересно представить, насколько эта изменчивость может быть сопряжена с возникновением древнейших курганов.

В Нижнем Поволжье самые ранние курганы соотносятся с погребениями хвалынско-бережновского типа, выделенными в качестве особого культурного явления в начале 90-х годов прошлого века (Дремов, Юдин 1992). Радиоуглеродные даты для этих комплексов отсутствуют, поэтому их хронологическая позиция определяется по особенностям погребального обряда и инвентаря, а также на основе параллелей с аналогичными по признакам памятниками как данного региона, так и иных территорий. Исходя из присутствия керамики, которая находит соответствия в материалах грунтовых Хвалынских могильников, допускается синхронность хвалынско-бережновских погребений с последними (Моргунова 2011; Юдин 2012). В таком случае возникновение первых курганов в Нижнем Поволжье могло, действительно, относиться к первой половине V тыс. до н. э., принимая во внимание датировку двух Хвалынских могильников именно этим периодом (Телегин и др. 2001: 129, табл. 3). Однако сама датировка памятников нуждается в некоторой корректировке в силу того, что радиоуглеродные определения были выполнены по раковинам и человеческим костям без учета резервуарного эффекта, способного существенно повлиять на качество этих определений. С учетом этих поправок возраст Хвалынских I и II могильников помещается в 3-ю четверть V тыс. до н. э., что, в целом, вполне соответствует общим представлениям о культурно-исторической ситуации и характеру культурных связей в южной части Восточной Европы в данный период (Шишлина и др. 2006б: 139). По этой причине и нижняя дата

погребений хвалынско-бережновского типа, по крайней мере, может приходить к этому же периоду. Однако, кроме того, исследователи вполне резонно отмечают, что рассматриваемые погребальные комплексы в состоянии заполнить хронологическую лакуну между памятниками типа Хвалынских грунтовых могильников и курганной раннеямной культурой (Моргунова 2011; Юдин 2012) и, следовательно, относиться к более позднему периоду, то есть, возможно, к 1-й половине IV тыс. до н. э. О более позднем возрасте хвалынско-бережновских погребений также может свидетельствовать еще один важный признак: в них практически полностью отсутствует металл, который характерен для грунтовых Хвалынских могильников. Именно эта черта хорошо согласуется с особенностями ранних подкурганных погребений на других территориях юга Восточной Европы.

Примерно тот же круг проблем возникает при определении абсолютного возраста первых подкурганных погребений в других областях восточной зоны: в Предкавказье, Северо-Западном Прикаспии, Волго-Донском междуречье и на Нижнем Дону. По мнению С. Н. Кореневского наиболее древние курганы здесь могут относиться ко 2-й половине IV тыс. до н. э., хотя, как считает автор, не исключается даже более ранняя датировка, захватывающая 1-ю половину этого же тысячелетия (Кореневский 2012: 62). В свою очередь Н. И. Шишлина предполагает, что энеолитические группы рассматриваемых территорий, представленные, в том числе, и подкурганными погребениями, могут датироваться в интервале 4300–3800 гг. до н. э. (Шишлина 2007: 273). Радиоуглеродных дат по энеолитическим захоронениям, в целом, очень немного. Например, дата из погребения 17/6 могильника Айгурский-2 (Кореневский, Калмыков 2003: 70–71) выглядит довольно поздней, приблизительно ближе к середине IV тыс. до н. э., что не согласуется с обрядовыми чертами и инвентарем, указывающими на более ранний возраст (Rassamakin 2011b: 85). Две даты из погребения 13/7 в мог. Перегрузное I (Кореневский 2012: 37), сделанные по кости человека, размещаются в V тысячелетии. Однако они сильно различаются между собой и, по мнению Н. И. Шишлиной, могут оказаться слишком ранними из-за возможного резервуарного эффекта (Шишлина 2007: 272–273). Наиболее корректной может пока признаваться лишь дата из погребения ребенка 1/12 могильника Вертолетное Поле в Ростове-на-Дону (4212–3818 BC), хотя если ориентироваться на верхнюю границу этого интервала, то данный комплекс должен размещаться уже в пределах IV тыс. (Шишлина 2007: 273). Здесь следует отметить, что повторное датирование в лаборатории Мангейма детского погребения 3 могильника среднего энеолита Джурджулешть на Нижнем Дунае по костям человека и животного обнаружило разницу в возрасте примерно в 150 лет<sup>1</sup>. В силу этого к оценке возраста погребения из могильника Вертолетное Поле, видимо, также необходимо подходить осторожно. Таким образом, по-видимому, можно признать, что радиоуглеродное датирование на данный момент не в состоянии однозначно прояснить вопрос о времени возникновения первых курганов на этой территории. С другой стороны, попытка соотносить имеющиеся для курганных погребений даты с хронологической шкалой Кукутень-Триполья, балканских или кавказских раннеземледельческих культур

<sup>1</sup> Даты пока не опубликованы. Интересно, что аналогичное двойное датирование одного из погребений могильника среднего энеолита Кошары I, расположенного у места впадения Тилигула в Черное море, обнаружило расхождение в более чем 450 лет, что, возможно, также связано с последствиями резервуарного эффекта.

вряд ли оправданна, поскольку определения выполнялись по разным материалам, взятым в качестве образцов. Вместе с тем остается возможность опереться на данные относительной хронологии.

Основываясь на характере погребального инвентаря и широком круге параллелей, С. Н. Кореневский насчитал в восточной зоне 44 подкурганных захоронения, которые автор отнес к протоямной культуре и датировал 2-й половиной V тыс. до н. э. (Кореневский 2012: 114–115). При этом в сводку были включены некоторые комплексы, для которых курганная насыпь не была надежно зафиксирована, например могильник Мухин II на Нижнем Дону, погребения у хут. Стеблицкого, погребение 17/6 могильника Айгурский-2 и др. Некоторые из комплексов, соотносимых с наиболее древними курганами, действительно содержат достаточно ранний материал, как, например, погребения со скипетрами в могильнике Улан Толга в Северо-Западном Прикаспии (Телегин и др. 2001: 74) или у хут. Шляховский в Нижнем Поволжье (Клепиков 1994). Однако в первом случае над могилой, впущенной в естественное всхолмление, насыпь не была прослежена, а во втором случае ее существование также вызывает сомнение (Rassamakin 2004, Bd. II: 103). Одна из основных проблем, связанных с изучением степных культур восточной зоны, состоит в определении длительности сохранения каких-то традиций среднего энеолита в более поздний период, то есть в 1-й половине IV тыс. Бытование таких признаков, как кремневые ножевидные пластины, некоторые виды украшений, не обязательно должно ограничиваться исключительно V тыс., что, в общем-то, может относиться и к зооморфным скипетрам. В связи с этим позволительно высказать еще одно соображение.

Относя все энеолитические погребения к северу от Кавказа к V тыс. до н. э., мы можем попасть в довольно парадоксальную ситуацию. Это означало бы, что в рамках этого тысячелетия мы обнаруживаем в степной культурной среде уже вполне сложившийся и развитый подкурганный обряд захоронения, тогда как на 1-ю половину IV тыс. таких погребений практически не остается. Да, в это время в степной зоне к северу от Кавказа, возможно, появляются курганы ранней майкопской культуры (Шишлина 2007: 273–274) галюгаевско-серегинского (по С. Н. Кореневскому) или усть-джегутинского этапа (по В. А. Трифонову), но куда тогда исчезают курганы степных групп? Конечно, можно, например, допустить, что какие-то погребения, традиционно относимые к ямной культуре, в действительности являются энеолитическими и датируются 1-й половиной IV тыс., однако такое предположение вряд ли в состоянии полностью объяснить ситуацию. Впрочем, исследователи все же не исключают, что какая-то часть энеолитических по обряду курганных комплексов может относиться и к IV тыс. при сохранении многих черт предшествующего периода (Кореневский 2012). И, безусловно, ярким тому подтверждением могут служить энеолитические по обряду курганные погребения у хут. Жуковского, содержавшие материалы майкопско-новосвободненского этапа (Державин, Тихонов 1980). Конечно же, нельзя полностью отрицать возможность возникновения курганного обряда в восточной зоне степной полосы уже в V тыс. до н. э., однако для такого вывода, как представляется, требуется более весомая аргументация. Сюда входит, в том числе, и новая серия радиоуглеродных дат, которые учитывали бы последствия резервуарного эффекта или же были выполнены по другим материалам, чем кость человека. В связи с рассмотренными вопросами определенный интерес представляет их решение в западной зоне, растянувшейся от Северного Приазовья до Нижнего Дуная.

Культурно-историческая ситуация в Северном Причерноморье и Приазовье обладает своей спецификой. Это во многом связано с близостью развитых и долго существовавших раннеземледельческих культур, что дает возможность опираться на сравнительно надежную и детальную периодизацию культуры Кукутень-Триполье или хронологию культур карпато-балканского круга. Долговременные контакты степных групп с оседлыми сообществами лесостепи или Балкан воплотились в многочисленных взаимных импортах или подражаниях, позволяющих постоянно корректировать положение степных комплексов по дробной шкале абсолютной хронологии земледельческих культур.

В настоящее время для различных степных комплексов западной зоны среднего и позднего энеолита известно более 50 радиоуглеродных дат, охватывающих промежутки от середины V до середины IV тыс. до н. э. Практически все даты, выпадающие на середину или 2-ю половину V тыс., происходят из грунтовых погребений новоданиловской (по Д. Я. Телегину) или скелянской (по Ю. Я. Рассамкину) культуры (Rassamakin 2011: 81–85) и суворовской групп<sup>2</sup>. Такая датировка вполне подтверждается керамическими изделиями культур Кукутень А-Триполье VI и Гумельница А2, обнаруженными в погребениях из Кайнар, а также Новосельского и Джурджулешского могильников (Мовша, Чеботаренко 1969: 45–46, рис. 16; Ванчугов, Субботин 2002: 34, рис. 2: 22<sup>3</sup>; Наheu, Kurciatov 1993: 103, pl. 8: 6). Правда, некоторые памятники среднего энеолита Б. Говедарица определяет как курганные погребения, к которым, по его мнению, относятся комплексы из Кайнар, Суворово и Касимчи (Говедарица 2011: 177). Однако ни в одном из данных случаев нет убедительных доказательств, что непосредственно над этими погребениями сооружалась курганная насыпь, хотя ситуации, когда грунтовые захоронения перекрывались курганами более поздних периодов, отмечены неоднократно.

Достаточно большая серия радиоуглеродных определений имеется для энеолитических курганных комплексов. Самые ранние даты происходят из погребений 3/15 у с. Виноградное в Приазовье (4230–3960, 1σ), а также 3/19 у с. Ревова (4361–4165, 1σ) и 6/14 у с. Семеновка (4370 ± 78) в Северо-Западном Причерноморье (Рассамкин 2009: 294; Иванова и др. 2005: 101). Первые две даты привлекли внимание исследователей в качестве одного из доказательств очень раннего возникновения курганного обряда в Северном Причерноморье, сопоставимого с древнейшими проявлениями этой погребальной традиции в восточной зоне во 2-й половине V тыс. (Моргунова 2011: 148; Корневский 2012: 115). Вместе с тем авторы публикации комплексов из Ревова и Семеновки, исходя из их конструктивных особенностей или стратиграфии, высказали вполне обоснованные сомнения в надежности этих дат. Исследованные курганы вполне правомерно были соотнесены с аналогичными памятниками, имеющими совершенно иную датировку в пределах 1-й половины IV тыс. до н. э. (Иванова и др. 2005: 101). В силу этого очень ранняя дата из Виноградного остается пока единственной для курганных комплексов западной зоны. С другой стороны, все остальные даты по энеолитическим курганам Северного Причерноморья довольно плотно укладываются в основном во 2-ю четверть IV тыс.

<sup>2</sup> Новые, еще не опубликованные, даты из грунтовых погребений Джурджулештского и Кошарского I могильников приходятся на это же время.

<sup>3</sup> Данный сосуд, как представляется, был вполне правомерно отнесен В. Г. Петренко к периоду Кукутень А3 (Петренко 2009: 25).

до н. э. Правда, здесь необходимо принимать во внимание, что основная часть дат была получена по человеческим костям, что может сказаться на реальном возрасте памятников.

Несмотря на заверения Ю. Я. Рассмакина, что резервуарный эффект не особенно влияет на определения  $^{14}\text{C}$  для энеолитических памятников Северного Причерноморья ввиду высокой подвижности населения (2009: 292), в этом, тем не менее, можно усомниться, хотя, что скрывать, такой оптимизм не может не радовать. Во-первых, чрезвычайная подвижность степного населения в медном веке все же кажется несколько преувеличенной, как и дальние походы на Балканы в том виде, в каком они живописуются Ю. Я. Рассмакиным (Rassamakin 1999: 102–112) или Н. С. Котовой (2006: 149–150). Дело в том, что состав погребенного населения на могильниках Северо-Западного Причерноморья включает абсолютно все половозрастные группы от детей до стариков. Трудно поверить, что обитатели, допустим, Нижнего Поднепровья, будь то «элита» или просто сплоченная мужская компания, отправлялись в далекий путь за металлом в сопровождении всех чад и домочадцев. Антропология могильников от Тилигула до Дуная скорее свидетельствует о местных корнях оставившего их населения и о долгом проживании на одном и том же месте. Во-вторых, такое усложняющее жизнь археологам обстоятельство, как резервуарный эффект, обнаруживается при датировке комплексов даже таких подвижных культур, как ямная или катакомбная (Шишлина и др. 2006а; Ван дер Плихт и др. 2007). В силу этого возможные расхождения между «мнимым» и «реальным» возрастом датироваемых по костям человека памятников все-таки следует принимать в расчет.

Вместе с тем применительно к энеолитическим комплексам Северного Причерноморья обнаруживается одна интересная особенность: трипольская керамика из степных курганов обычно соответствует определенным хронологическим интервалам трипольской периодизации, которые, в свою очередь, в общих чертах совпадают с данными радиоуглеродных определений по этим курганам. Абсолютный возраст энеолитических курганов, по крайней мере, в Северо-Западном Причерноморье, можно, к тому же, проконтролировать по балканскому направлению. Здесь в некоторых подкурганных погребениях были обнаружены сосуды, которые полностью соответствуют материалам нижнедунайской культуры Чернавода I, датированной по определениям из поселения этой культуры в Орловке, главным образом, 2-й четвертью IV тыс. до н. э. (Govedarica, Manzura 2015: 442). Таким образом, используя в качестве дополнительного инструмента трипольскую колонку и балканские параллели, мы можем достаточно реально датировать начало интенсивного курганного строительства в западной зоне южнорусских степей, которое, скорее всего, должно относиться к периоду VII Триполья, или, самое раннее, около 3900/3800 гг. до н. э.

Рассматривая проблему происхождения курганов на юге Восточной Европы, весьма важным является решение вопроса о том, каким образом возникло это новое явление. Интересная схема эволюции курганного погребального обряда была предложена Ю. Я. Рассмакиным (Rassamakin 2002: 60–66; 2011а). В своих построениях исследователь отчасти опирался на предположения М. Гимбутас, пытавшейся совместить появление так называемой «курганной традиции» с отсутствием курганов. Согласно этой гипотезе, в качестве первых курганов могли рассматриваться каменные наброски, или керны, над погребениями, окруженные кромlechами (Gimbutas 1997: 197, footnote 2). Примерно

по этому же сценарию развивает свои идеи Ю. Я. Рассамкин. В основу курганной традиции в рамках первого «символического периода» (1-я половина V тыс. до н. э.) исследователь помещает некие, на его взгляд, мегалитические конструкции в виде каменных ящиков (цист), кернов и кромлехов вокруг погребений. Помимо этого, отмечается практика совершения погребений в естественные всхолмления и возможное существование каких-то небольших земляных или деревянных конструкций, которые сложно проследить. В пределах второго периода (IV тыс. до н. э.) возникает и развивается настоящая монументальная архитектура, которая достигает своего «золотого века» в период существования ямной культуры (1-я половина III тыс. до н. э.).

В какой-то степени данная схема напоминает последовательность развития монументальной погребальной архитектуры, разработанную для Бретани, где в начале долгой эволюции также размещаются каменные ящики и керны (Boujot, Cassen 1993). Однако в этой французской провинции каменные ящики и керны перекрывались такими монументальными сооружениями, как 20-метровый купольный курган Тумиак в Локмарикере или длинный 125-метровый курган Сен-Мишель высотой 10 м в Карнаке, что напрочь отсутствует в аналогичных памятниках Северного Причерноморья. В концепции Ю. Я. Рассамкина остается малопонятной именно «символическая» фаза развития курганной архитектуры. По-видимому, все-таки нельзя быть «немножко курганом». Курган, скорее всего, относится к разряду явления, которое или есть, или его нет. Также представляется спорной связь погребений в небольших возвышениях и реальных курганов. Это равноценно тому, чтобы предположить, что мезолитические раковинные кучи на балтийском побережье в Северной Европе, где иногда совершались захоронения, послужили прообразом первых длинных курганов, хотя такое предположение, в общем-то, также высказывалось (Müller 2011: 50)<sup>4</sup>.

Несколько противоречивым в построениях Ю. Я. Рассамкина выглядит переход от первой ко второй фазе курганного строительства. В изложенной версии получается как-то так, что все «символические» признаки зарождающейся курганной традиции локализуются в Нижнем Поднепровье и Приазовье, тогда как подлинная монументальная курганная архитектура почему-то появляется на степных территориях к западу от Южного Буга (Rassamakin 2002: 63). Эту же особенность подметил Д. Л. Тесленко, разграничивая ареал мегалитических памятников медного века на две разновременные зоны: Азово-Днепровский регион (первая ранняя традиция) и Северо-Западное Причерноморье (вторая поздняя традиция), где развитие мегалитических традиций происходило самостоятельно (Тесленко 2007: 79–80, рис. 1). В связи с такими трактовками, видимо, следует отметить, что возникновение курганов как особых погребальных и ритуальных памятников, по-видимому, должно пониматься не в виде некоего процесса, растянутого во времени, а, скорее, в качестве события, укладываемого в достаточно ограниченные временные пределы. Появление таких монументальных комплексов демонстрирует качественно новое отношение к концепции времени и пространства, обусловленное целым рядом взаимосвязанных факторов экономического и социального порядка. Другое дело, что в виде относительно длительного процесса могло происходить

<sup>4</sup> Гипотеза, конечно же, интересная, однако древнейшие длинные курганы появились, похоже, в Парижском бассейне и Куявии, где раковинные кучи вроде бы не наблюдаются.



распространение этого нового явления в иные регионы. Б. Говедарица, например, предполагает, что появление курганной традиции соотносится с территорией Северо-Западного Причерноморья, откуда она распространяется в восточном направлении (Говедарица 2011: 177). В свою очередь, С. Н. Кореневский обнаруживает самые древние проявления этой же традиции в восточных областях, куда входят Волго-Донское междуречье, Предкавказье и Поднепровье (Кореневский 2012: 68). И нет смысла перечислять многочисленные работы М. Гимбутас, выводившей процесс курганизации из Волго-Уральского региона в направлении Балкан, Карпатского бассейна и Центральной Европы. Но здесь хотелось бы отметить ценное, на наш взгляд, замечание Ю. Я. Рассамакина, что древнейшие курганы возникают, прежде всего, в зоне тесного взаимодействия различных культурных объединений (Rassamakin 2002: 63). В этом наблюдении, действительно, есть определенный резон.

В литературе по-разному оцениваются причины возникновения курганов. В общих чертах исследователи видят причину в развивающихся процессах социальной дифференциации, изменении религиозно-мифологических устоев и т. п. (Берестнев 2010: 14; Кореневский 2012: 114). Однако сразу же возникает вопрос: а какие причины обусловили такие социальные и идеологические преобразования? Как правило, именно этот вопрос остается без ответа. Существуют и другие объяснения. Н. Я. Мерперт, например, видел в причинах сооружения курганов какие-то психологические моменты, связанные со стремлением древних скотоводов разбить однообразие бескрайних степных просторов и сделать видимыми последние стоянки усопших соплеменников (Мерперт 1974: 131). В чем-то вторит этому предположению мнение Б. Говедарицы, полагавшему, что при помощи долговременной монументальной архитектуры скотоводы пытались преодолеть своеобразный «степной синдром», создавая хорошо заметные визуальные символы стабильности в качестве некоего культурного противовеса подвижному образу жизни (Говедарица 2011: 178). В последних двух замечаниях хотелось бы выделить четыре составляющие: скотоводы, территория, заметность курганов и их долговечность. Каждая из этих составляющих так или иначе раскрывает проблему происхождения древнейших курганов Восточной Европы.

Тезис о том, что первыми создателями курганов в восточноевропейской степи были скотоводы, в общем-то, в настоящее время никем даже не оспаривается. Ну, в самом деле, кому же еще быть? Вместе с тем возникновение скотоводческого хозяйства в степной зоне, по выкладкам, например, Н. С. Котовой, относится чуть ли не к VIII тыс. до н. э. (Котова 2002: 54–60). К началу V тыс., почти по всеобщему признанию, в восточной части степной зоны скотоводство сформировалось уже полностью как самостоятельная отрасль хозяйства. Исключение составляет Северо-Западное Причерноморье, где памятники этого времени пока изучены явно недостаточно. Но почему тогда курганы в степи появляются, по самым смелым, я бы сказал, фантастическим, оценкам, только в середине V тыс.? То ли скотоводы были не те, то ли скотоводство было другим. С другой стороны, кто являлся строителями ранних курганов в бассейне Эльбы-Зале, Западной Франции, Северной Европы, в ареале культуры воронковидных кубков? Вряд ли это были скотоводы в том понимании, которое используется для характеристики социально-хозяйственного уклада в степях Восточной Европы в эпоху неолита или энеолита. В то же время есть нечто общее, что объединяет курганы восточноевропейской степи с аналогичными сооружениями

на перечисленных территориях на концептуальном уровне — это три других составляющих: территория, видимость и долговечность. И эта тема требует более детального рассмотрения.

### Происхождение степных курганов: причины и условия

В культурном развитии южной части Восточной Европы в V и IV тыс. отчетливо выделяются три последовательных периода. Их условно можно обозначить как период металла, период курганов и период металла/курганов. Первый период приблизительно уместается в границы 4500–4200/4100 гг. до н. э., второй — 3900/3800–3500 гг. до н. э. и третий — 3500–3300/3200 гг. до н. э. Наиболее ярким признаком первого периода, безусловно, можно считать металл: медь и, гораздо реже, золото. Он в больших количествах встречается в степных погребениях на Нижнем Дунае (Джурджулешть), Днепре (Петро-Свистуново) и Волге (Хвалынские могильники I и II). Показательна редкостная унификация погребального обряда в это время, когда скорченные на спине индивиды обнаруживаются от Волги до Дуная. Эта черта, наряду с другими обрядовыми элементами, в какой-то степени свидетельствует о существовании определенного культурного континуума, охватывающего самые обширные территории.

Такой же отличительной чертой для второго периода являются курганы. Однако из степных погребений почти полностью исчезает металл, да и в целом они характеризуются довольно бедным погребальным инвентарем. Однако это было не единственное существенное изменение. Именно этому периоду присуще большое разнообразие погребальных обычаев, за которыми скрываются совершенно различные культурные традиции. Особенно заметно данная ситуация проявляется в Северном Причерноморье и Приазовье, где одновременно сосуществуют квинтянская (постмариупольская), нижнемихайловская и среднестоговская культуры. Вместе с тем аналогичное положение обнаруживается в Нижнем Поволжье, где соседствуют хвалынско-бережновская, алатинская и, вероятно, ранняя репинская традиции. В Предкавказье в это время можно предположить параллельное развитие протоямной (по С. Н. Корневскому) и раннемайкопской культур, в равной степени практикующих курганный обряд погребения. Представляется значимым, что, скорее всего, на этот период, по крайней мере, на его завершающую часть, приходится тот сгусток инноваций (Hansen 2011; 2014), который положил начало самому впечатляющему третьему периоду.

Последний период объединяет в себе два признака, которые по отдельности составляли главную специфику предшествующих периодов — металл и курганы. Особенно яркое выражение этого сочетания обнаруживается, в большей степени, на Северном Кавказе, в ареале майкопско-новосвободненской культуры, и в Северо-Западном Причерноморье, где формируются усатовская культура. Курганный строительный обряд в это время продолжается по всей степной полосе в рамках поздних квинтянской, нижнемихайловской и стоговской культур. Параллельно с этим, как определенное веяние времени, между Днестром и Доном возникает собственный очаг металлообработки, обозначенный Н. В. Рындиной как постмариупольский (Рындина 1998: 170–179). Разумеется, по своей активности данный очаг не мог конкурировать с майкопско-новосвободненским и усатовским центрами, но, тем не менее, он вполне адекватно отражает общие тенденции развития в рассматриваемый период.

Можно заметить, что между первым и вторым периодом наблюдается своего рода «смутное» время, когда степные культуры развиваются в каком-то латентном режиме, из-за чего как бы теряется связь между предшествующими и последующими подразделениями. Именно этот временной промежуток в свое время был обозначен Ю. Я. Рассмакиным в качестве своеобразного «хиатуса», который соответствует в основном периоду Кукутень АВ — Триполье VI-VII в лесостепной зоне (Rassamakin 1999: 128). Во многом возникновение такой ситуации может объясняться довольно простым обстоятельством: с одной стороны, из степного контекста в это время практически полностью исчезают трипольские импорты, позволявшие относительно точно «пристегнуться» к разработанной хронологической шкале этой культуры, с другой — полностью размываются балканские ориентиры, поскольку на востоке этого региона также наступают свои «темные века». По всей видимости, в это время во многих европейских областях происходит серьезная культурная перестройка, продолжительность которой не везде была одинаковой. Например, в Карпатском бассейне она совершилась достаточно быстро, что привело к появлению культур Бодрокерестур и Балатон-Ласинья. На Восточных Балканах, наоборот, наблюдался более замедленный процесс и новые культуры Чернавода I и Хотница, сменившие культурный блок КГК VI, появились там, по последним данным, только ближе к концу 1-й четверти IV тыс. Интересно, что территория Северной Мунтении и южной части румынской Молдовы в это время обозначается как *terra deserta*, поскольку после исчезновения поселений периода Кукутень З и Гумельницы А2 там не обнаруживаются какие-либо археологические памятники (Fînculesa 2012: 193). Можно сказать, тоже своего рода хиатус, только в пространственном выражении.

Следует предположить, что наблюдаемая от периода к периоду культурная трансформация каким-то образом коррелирует с изменениями природно-климатической обстановки. Интерес, в первую очередь, представляют те отметки на хронологической шкале, которые, с одной стороны, не вызывают непреодолимых разногласий среди специалистов в области изучения палеоклимата, причем желательны на разных территориях, с другой — как-то согласуются с представлениями археологов о каких-то заметных поворотных пунктах в культурном развитии<sup>5</sup>. К ним можно отнести такие даты, как 4200/4100, 3800/3700 и 3300/3200 гг. до н. э. Помимо этого, интересно проследить, в какой степени стадийные культурные преобразования в степной зоне соответствуют возможным изменениям в хозяйственной сфере и в области социальных отношений.

Середина и 2-я половина V тыс. характеризуются подлинным расцветом земледельческих культур балкано-карпатского круга. Это проявляется в существовании многочисленных сложно организованных поселений, примером которых может служить телья Пьетреле-Мэгура Горгана (Ханзен и др. 2011), в развитии передовых по тому времени технологий, прежде всего, в сфере металлообработки, и высоких стандартах материальной культуры. Примерно такой же характер развития демонстрирует культура Кукутень-Триполье к востоку от Карпат. В Северном Причерноморье и на Нижнем Дону в этот период формируется скелянская (новоданиловская) культура, представленная в основном грунтовыми

<sup>5</sup> Довольно перспективной в этом отношении является схема, предложенная коллективом одесских ученых, в которой выполнена калибровка дат, полученных по образцам из палинологических комплексов. Это позволяет более адекватно сопоставить различные климатические периоды с этапами культурного развития (Иванова и др. 2011: 103–108).

погребальными памятниками, тогда как в Северо-Западном Причерноморье распространяются могильники суворовской группы, независимо от того, как трактуется ее статус: самостоятельное явление или вариант скелянской культуры. Одной из отличительных черт степных могильников этого времени является сложное устройство погребальных сооружений, включая глубокие ямы-колодцы, катакомбы, каменные ящики в ямах, каменные перекрытия-керны и т. п. В погребениях относительно часто обнаруживаются достаточно богатые и разнообразные инвентарные наборы, содержавшие, в том числе, изделия из меди и золота, что свидетельствует о хорошо налаженных обменных связях с культурами раннеземледельческого ареала. Каким же образом могут трактоваться такие неординарные комплексы?

Для понимания сути этих особенностей скелянских и суворовских могильников можно вспомнить вопрос, которым задался Э. Шерратт относительно того, кому было, в первую очередь, адресовано послание (*message*), выраженное средствами погребального обряда в Варненском могильнике? Исследователь вполне правомерно приходит к выводу, что такое послание, прежде всего, было обращено к непосредственным участникам похоронного ритуала или к членам определенной группы, с которой усопший был связан родственными узами или социальными связями (Sherratt 1997a: 360). В развитом энеолите Балкано-Карпатского региона сложный погребальный ритуал, по мнению Дж. Чапмена, явился новой формой социальной арены, где могло реализоваться социальное соперничество, подавляемое в обычной жизни, по преимуществу, эгалитарной идеологией теллевых поселений (Chapman 1991)<sup>6</sup>. Примерно в таком же ключе могут трактоваться богатые погребения скелянской культуры, которые, в большей степени, отражают существование внутригрупповой конкуренции и стремление отдельных семей занять лидирующее положение в обществе. Для достижения этой цели могли использоваться различные средства: богатый погребальный инвентарь, сложные могильные конструкции в виде каменных ящиков, закладов или небольших кромлехов, окружавших могилы. Однако при этом отсутствуют три важных взаимосвязанных аспекта: видимость, долговременность и территория, которые присущи курганным сооружениям, к которым еще можно добавить такой элемент, как монументальность. Именно эти черты нашли воплощение в курганной архитектуре следующего периода.

Развитие культур среднего энеолита происходило в условиях климатического оптимума среднего голоцена, отличавшегося относительно высокими среднегодовыми температурами и повышенной увлажненностью, что отмечается на самых различных территориях юга Восточной Европы (Кременецкий 1998; Спиридонова, Алешинская 1999; Трифионов 2002: 244; Герасименко 2004; Корневский 2005: 92–94, 103–104; Todorova 2007: 2). Такая природно-климатическая обстановка, безусловно, способствовала процветанию раннеземледельческих культур Балкано-Карпатского региона и лесостепной зоны Восточной Европы, достигших максимального уровня развития. Сложно сказать, каким образом эти же условия могли сказаться на обитателях степной зоны. Несмотря на то что степные культуры этого периода принято относить к разряду скотоводческих,

<sup>6</sup> Выводы Дж. Чапмена об эгалитарном характере социальной организации обществ раннего энеолита Балкано-Карпатского региона, возможно, могли прозвучать несколько категорично, принимая во внимание устройство поселений в Пьетреле и Полгар-Чёсхаломе (Ханзен и др. 2011; Raczky, Anders 2006).

весьма вероятно, что носители этих культурных традиций практиковали достаточно гибкую систему жизнеобеспечения, активно эксплуатируя окружающие природные ресурсы самого широкого спектра. Это, конечно же, не означает, что они могли содержать какое-то количество домашнего скота, но не совсем понятно, насколько эти занятия были доминирующими в данном обществе. Примерно в таком же ракурсе некоторыми исследователями характеризуется хозяйственная специфика хвалынской культуры (Шишлина и др. 2006: 139).

По сути, степные популяции в это время отчасти напоминают мезолитические группы Балтийского побережья, у которых отмечается наличие глиняной посуды, домашних животных и даже какие-то следы использования культурных злаков. В этой среде также был вполне отлажен дальний обмен, в результате чего сюда поступали, например, ценные жадеитовые топоры из западно-альпийской зоны. Вместе с тем основой жизнеобеспечения являлись охота, рыболовство и собирательство. К слову сказать, отсутствие производящего хозяйства не обязательно служит препятствием для создания сложной социальной организации. Высокопроизводительное и специализированное при-сваивающее хозяйство в состоянии стимулировать процесс социальной дифференциации и построение иерархически построенных или ранжированных обществ. Индейцы северо-западного побережья Америки, квакиютли, тлинкиты, хайда и др., служат лучшим тому доказательством. В любом случае, вывод о степном высокопродуктивном скотоводстве в рассматриваемый период, по-видимому, нуждается в более веском обосновании.

В конце V тыс., примерно с 4200-х гг. до н. э., отмечается возросшая аридизация климата при сохранении высоких температур (Todorova 2007; Voinea, Caraivan 2011). Негативные последствия ухудшения природно-климатической обстановки сильнее всего проявились на Восточных Балканах, где практически одновременно прекращают существование более 600 поселений культурного блока Коджадермен — Гумельница — Караново VI. Заметные культурные перемены прокатились и по многим другим европейским территориям. В Карпатском бассейне в это время возникают культуры Балатон-Ласинья и Бодрогкерестур, в Западной и отчасти Центральной Европе на смену культуре Рёссен приходит культура Михельсберг, а на севере Центральной и на юге Северной Европы распространяется культура воронковидных кубков, с которой связан переход к производящему хозяйству в этом регионе. Показательно, что к востоку от Карпат смещается на север южная граница кукутенско-трипольского ареала. Данные события, по всей видимости, повлияли на ситуацию и на юге Восточной Европы. В это время, вероятно, деградирует прежняя система культурных взаимосвязей, во многом ориентированная на достижения восточно-балканских земледельческих культур. Как следствие, в Северном Причерноморье исчезает практика богатых погребений скелянской (новоданиловской) культуры, и дальнейший ход культурного развития приобретает неясные очертания («степной hiatus», по Ю. Я. Рассамкину). Примерно в таком же ключе может рассцениваться культурно-историческая остановка в Волго-Донском регионе и к северу от Кавказа. Вполне возможно, что именно в этот сложный период радикальных культурных изменений вырабатывались какие-то новые формы социально-хозяйственной деятельности, которые проявились на следующем этапе развития.

Очередные заметные изменения природно-климатической обстановки произошли приблизительно на рубеже 1-й и 2-й четверти IV тыс., или 3800/3700 гг. до н. э. Как полагают специалисты, они должны были иметь повсеместный

характер, но особенно хорошо прослежены в районе свайных поселений на берегах предальпийских озер (Magny, Haas 2004; Arbogast et al. 2006). В это время устанавливается холодный и влажный климат, который сохранялся, при значительных колебаниях, примерно до 3300/3200 гг. до н. э.<sup>7</sup>, то есть до начала суббореала, и имел, скорее, негативные последствия для обитателей северной предальпийской зоны. В то же время, по некоторым данным, климат степной зоны в 1-й половине IV тыс. также отличался повышенной увлажненностью, что, вероятно, связано со снижением среднегодовых температур, характерных для рубежа V и IV тыс. По крайней мере, такой климатический режим отмечается для Северных Ергеней (Демкин и др. 2010: 332). По всей видимости, в степной полосе Восточной Европы, а также на Балканах и Северном Кавказе в рассматриваемый период складываются вполне благоприятные, в отличие от лесной зоны, природно-климатические условия, своего рода климатический оптимум, что, в определенной мере, подтверждается очередными культурными преобразованиями.

Следует упомянуть еще об одной трансформации, в данном случае связанной с хозяйственной сферой. Как показали аналитические разработки В. А. Дергачева, в позднем энеолите и особенно при переходе к бронзовому веку в степной зоне Восточной Европы отчетливо наблюдается существенное увеличение доли мелкого рогатого скота в составе домашнего стада (до 50–60 %). Одновременно происходит относительно резкое смещение животноводческого комплекса из лесостепной полосы на степные территории (Дергачев 2012: 33). Сходные тенденции в этот же период обнаруживаются и в других европейских регионах, в частности, в Паннонии, где отмечается возрастание роли козы/овцы на памятниках с керамикой, украшенной техникой накола в борозде (Furchenstich), а также культуры Протоболераз и ранний Болераз (Grabundžija, Russo 2016: 317–318). По всей вероятности, в это время вырабатываются какие-то новые модели скотоводческого хозяйства, основанного в большей степени на разведении мелкого рогатого скота со всеми сопутствующими новыми элементами жизненного уклада. Данные процессы, вероятно, вполне соответствуют изменившейся культурной обстановке на юге Восточной Европы того времени.

На Северный Кавказ примерно в конце 1-й четверти IV тыс. продвигаются земледельческие коллективы из Северной Месопотамии. На основе этих традиций формируется майкопская культура галюгаевско-серегинского этапа, носители которой, вероятно, уже достаточно скоро начинают осваивать прилегающие степные территории. На противоположной стороне Черного моря, на Восточных Балканах, наблюдается своеобразная земледельческая «реконкиста», связанная с возникновением культур Хотница (Певец, по Г. Тодоровой) и Чернавода I. Последняя занимает практически всю Мунтению, проникая также в Северо-Западное Причерноморье, тогда как в южной части румынской Молдовы появляются своеобразные памятники с гибридной культурой, совмещающей кукутенские и чернаводские элементы, например, Сэрата-Монтеору. Целая серия различных по признакам и происхождению культур или культурных групп распространяется в Северном Причерноморье и Приазовье. Не менее сложной выглядит культурно-историческая ситуация в Нижнем Поволжье.

<sup>7</sup> Приблизительно в тех же пределах, 3625–3330 ВС, датируется переход от атлантического к суббореальному периоду в Северном Причерноморье (Иванова и др. 2011: 108).

Вместе с тем присутствует одна общая черта, которая объединяет все эти разнородные культурные образования, — курганы. Именно с этого момента мы можем уже уверенно говорить о возникновении и утверждении принципиально нового типа погребальных памятников, навсегда изменивших степной ландшафт.

Наиболее монументальные и разнообразные формы курганная архитектура приобретает, прежде всего, на территориях, как бы тяготеющих к южной границе кукутенско-трипольского ареала, между Днестром и Прутом/Дунаем, тогда как далее к востоку в это время курганы чаще всего представляют собой простые земляные насыпи. Устойчивость этой тенденции постоянно подтверждается в результате публикации материалов старых раскопок и недавних открытий (Черных, Дараган 2014; Попович и др. 2016; Rassamakin 2011a). Помимо земляной насыпи, такие сооружения включают купольные или кольцевые обкладки-панцири, кромлехи или, скорее, ограды из вертикально установленных плит, кольцевые рвы с одной или двумя перемычками, изредка деревянные столбовые конструкции, жертвенники в виде каменных вымосток, небольших округлых или прямоугольных оградок и ям, что, вероятно, свидетельствует о функции этих комплексов в качестве ритуально-культурных центров. Под насыпью, как правило, располагалась только одна могила, причем нередко погребения оказываются полностью или частично разрушенными, похоже, по истечении относительно незначительного времени после совершения. В отличие от грунтовых могильников предшествующего периода, устроенных преимущественно на краю высоких плато, вблизи от берега реки, древние курганы располагались на самых высоких точках ландшафта, обычно на гребне водоразделов, где они были хорошо заметны с дальнего расстояния. Определенным диссонансом этому ярко выраженному монументализму является довольно скудный погребальный инвентарь, который обычно ограничивается одним сосудом, единичными орудиями из кремня и украшениями, что абсолютно несопоставимо с инвентарными наборами в могилах среднего энеолита. Как можно совместить эти два противоречивых явления: бедность и монументальность?

Как совершенно справедливо указывал некогда Э. Шерратт, рассматривая древнейшие курганы Западной и Северной Европы, это никакие не могилы выдающихся «вождей», находившихся на вершине сложной иерархической пирамиды. Речь, скорее всего, может идти о захоронениях представителей тех семейных групп или линиджей, которые посредством воздвигнутого комплекса декларировали свои права на данную территорию, своего рода предков-основателей (Sherratt 1997b: 337–338). В этом случае высокое социальное положение индивида и его семьи по отношению к членам всего социума, которое должно было подтверждаться при погребальном обряде престижными и богатыми приношениями, как бы отступало на второй план. В данных условиях большее значение приобретала демонстрация престижа всей группы по отношению к внешнему окружению, выраженная средствами монументальной архитектуры, своего рода, послание остальному миру, оставленное навеки. Именно поэтому здесь сошлись такие признаки, как монументальность, видимость и длительность. Сравнивая богатые погребения грунтовых могильников среднего энеолита с бедными погребениями позднего энеолита, расположенными в центре монументальных сооружений, мы, наверное, вправе предположить, что на смену внутригрупповому соперничеству пришла внутригрупповая консолидация. Но тогда возникает естественный вопрос, а чем была обусловлена необходимость в такой консолидации?

Ключевым для понимания этой ситуации, по-видимому, должно быть слово территория. Как уже указывалось выше, именно на данный период приходится возрастание роли мелкого рогатого скота, что, вероятно, привело к выработке новой формы полуподвижного, или отгонного, скотоводства, предполагающего, в том числе, эксплуатацию открытых степных участков, расположенных достаточно далеко от поселений. В этих условиях могла возникнуть определенная конкуренция между различными группами за права на соответствующие пастбищные угодья. Тогда воздвижение монументальных курганных сооружений могло оказаться весьма действенным средством для легитимации прав на новые ресурсы, как справедливо отмечал А. В. Епимахов (2013: 30). Кажется важным, что речь идет, во-первых, именно о новом виде ресурсов, что представляла собой открытая степь, и, во-вторых, о контактной зоне между разными в культурном отношении сообществами. Показательно, что в лесостепной зоне между Днестром и Карпатами, на Центральных Балканах и в Карпатском бассейне, где территория была хорошо освоена и была занята ареалами культуры с почти непрерывным развитием преимущественно эволюционного характера, курганы в это время не появляются. Они распространяются на этих территориях только во 2-й половине (трипольский ареал) или в самом конце (Потисье и Трансильвания) IV тыс., что было связано с очередным изменением траектории развития европейских культур.

Совершенно иное значение курганная архитектура приобретает в середине IV тыс., когда на Северном Кавказе распространяются памятники иноземцевско-костромского этапа майкопской культуры, а в Северо-Западном Причерноморье возникает усатовская культура. В этот период соединяются два прежде самостоятельных признака: металл и курганы. В совокупности они отражают совершенно новую ступень в социально-хозяйственном развитии, характеризующуюся формированием сложных ранжированных обществ. И тот, и другой признак в изменившихся условиях выступает действенным инструментом социальной дифференциации, некой разновидностью сумпуарных законов, диктующих запрет на использование некоторых социально престижных символов для определенной категории населения. Однако развитие этих обществ нового типа, по-видимому, продолжалось не очень долго и в начале последней четверти IV тыс. они заметно деградируют, уступив место более простым по своей организации сообществам. Однако идея кургана не исчезла, она продолжала существовать, иногда с незначительными перерывами вплоть до средневековья, охватив большую часть европейских территорий.

## Литература

- Берестнев С. И.* 2010. К вопросу об истоках культовой курганной архитектуры // Проблемы истории и археологии Украины. Мат-лы VII Междунар. науч. конф. (Харьков, 28–29 октября 2010 г.). Харьков: ООО «НТМТ», 14–15.
- Ванчугов В. П., Субботин Л. В.* 2002. Новосельский энеолитический могильник в Нижнем Подунавье // Кетрару Н. А. (отв. ред.). Северное Причерноморье: от энеолита к античности. Тирасполь: НИЛ «Археология», 33–41.
- Выборнов А. А., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В.* 2008. О корректировке абсолютной хронологии неолита и энеолита Северного Прикаспия // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 191–193.
- Говедарица Б.* 2011. Сакральная символика круга: размышления о сокровенном смысле курганных погребений // SP 2, 167–180.



- Гребенніков Ю., Смирнов Л. 2015. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор'ї (на прикладі пам'яток Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми // *Емінак* 3 (11), 21–30.
- Демкин В. А., Борисов А. В., Удальцов С. Н., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Каширская Н. Н., Саламахин А. Ю. 2010. Палеоэкологические условия Волго-Донских степей в эпоху энеолита и бронзы (IV–II тыс. до н. э.) // Яровой Е. В. (отв. ред.). *Индоевропейская история в свете новых исследований. Сборник трудов конференции памяти профессора В. А. Сафронова*. М.: МГОУ, 326–342.
- Дергачев В. А. 2012. Динамика развития домашнего стада неолита — бронзы юга Восточной Европы как возможный индикатор климатических изменений прошлого // Отрощенко В. В., Круц В. А., Гладких М. И., Скакун Н. Н., Цвек Е. В. (ред.). *Земледельцы и скотоводы древней Европы (проблемы, новые открытия, гипотезы)*. Киев; СПб.: ИА НАНУ: ИИМК РАН, 26–44.
- Державин В. Л., Тихонов Б. Г. 1980. Новые погребения майкопской культуры в центральном Предкавказье // *КСИА* 161, 76–79.
- Дремов И. И., Юдин А. И. 1992. Древнейшие подкурганные захоронения степного Заволжья // *РА* 4, 18–30.
- Епимахов А. В. 2013. Гипотеза 8 Артура Сакса и погребальные памятники бронзового века Южного Урала // *КСИА* 229, 25–33.
- Иванова С. В. 2002. Погребальная обрядность: дискурсивно-мировоззренческий аспект // *Структурно-семиотические исследования в археологии* 1, 45–54.
- Иванова С., Петренко В., Ветчинникова Н. 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса: КП ОГТ.
- Иванова С. В., Киосак Д. В., Виноградова Е. И. 2011. Модели жизнедеятельности населения Северо-Западного Причерноморья и климатические аномалии (6200–2000 лет до н. э.) // *SP* 2, 101–140.
- Клепиков В. М. 1994. Погребения позднеэнеолитического времени у хутора Шляховский в Нижнем Поволжье // *РА* 3, 97–102.
- Кореневский С. Н. 2005. Ориентация культур древнейших земледельцев и скотоводов эпох энеолита — раннего бронзового века Кавказа и Подунавья в системе схемы Блитта-Сернандера // Мамаев М. М. (ред.). *Древности Кавказа и Ближнего Востока*. Махачкала: Эпоха, 67–119.
- Кореневский С. Н. 2006. Радиоуглеродные даты древнейших курганов Юга Восточной Европы и энеолитического блока памятников Замок-Мешоко-Свободное // *Вопросы археологии Поволжья* 4, 141–147.
- Кореневский С. Н. 2012. Рождение кургана. М.: Таус.
- Кореневский С. Н., Калмыков А. А. 2003. Новые данные о курганах эпохи энеолита и раннего бронзового века севера степного Предкавказья // *Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее. Тезисы конф. Часть I*. М.: ГИМ: ИА РАН: ИИМК РАН: ГЭ: Сам. ГПУ, 70–74.
- Котова Н. С. 2002. Неолитизация Украины. Луганск: Шлях.
- Котова Н. С. 2006. Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля.
- Манзура И. В. 2006. Энеолитический погребальный обряд южнорусских степей в ракурсе европейских параллелей // Моргунова Н. Л. (отв. ред.). *Проблемы изучения ямной культурно-исторической области*. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 60–62.
- Мовша Т. Г., Чеботаренко Г. Ф. 1969. Энеолитическое курганное погребение у ст. Кайнары в Молдавии // *КСИА* 115, 45–49.
- Мерперт Н. Я. 1974. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М.: Наука.
- Моргунова Н. Л. 2009. Хронология и периодизация энеолита Волжско-Уральского междуречья в свете радиоуглеродного датирования // Моргунова Н. Л. (отв. ред.). *Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы*. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 6–27.

- Моргунова Н. Л. 2011. Энеолит Волжско-Уральского междуречья. Оренбург: Изд-во ОГПУ.
- Моргунова Н. Л., Выборнов А. А., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В. 2010. Хронологическое соотношение энеолитических культур Волго-Уральского региона в свете радиоуглеродного датирования. РА 4, 18–27.
- Моргунова Н. Л., Зайцева Г. И., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В. 2011. Новые радиоуглеродные даты памятников энеолита, раннего и среднего этапов бронзового века Поволжья и Приуралья // Археологические памятники Оренбуржья 9, 53–75.
- Петренко В. Г. 2009. Проблема «Триполье и Степь» и памятники энеолита — ранней бронзы Северо-Западного Причерноморья // МАСП 9, 10–38.
- Петренко В. Г., Ковалюх Н. Н. 2003. Новые данные по радиоуглеродной хронологии энеолита Северо-Западного Причерноморья // Корвін-Піотровський О. Г., Круц О. В., Рижов С. М. (ред.). Трипільські поселення-гіганти. Мат-ли міжнар. конф. Київ: Корвін Пресс, 102–110.
- Ван дер Плихт Й., Шишлина Н. И., Хеджес Р. Е. М., Зазовская Э. П., Севастьянов В. С., Чичагова О. А. 2007. Резервуарный эффект и результаты датирования катакомбных культур Северо-Западного Прикаспия // РА 2, 39–47.
- Попович С., Чебан И., Агульников С., Норок И. 2016. Спасательные археологические исследования кургана № 8 у г. Чимишлия, Республика Молдова в 2016 г. (предварительная информация) // Стародавнє Причорномор'я XI, 450–452.
- Рассамакин Ю. Я. 2009. Новые даты к абсолютной хронологии эпохи энеолита степного Причерноморья (предварительная информация) // Археологический альманах 20, 289–296.
- Ростунов В. Л. 2007. Эпоха энеолита — средней бронзы Центрального Кавказа. Т. III. Опыт реконструкции сакрального пространства ранних курганов Европы и Северного Кавказа. Владикавказ: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева.
- Рындина Н. В. 1998. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы. М.: Эдиториал УРСС.
- Телегин Д. Я., Нечитайло А. Л., Потехина И. Д., Панченко Ю. В. 2001. Среднестоговская и новоданиловская культуры энеолита Азово-Черноморского региона. Луганск: Шлях.
- Тесленко Д. Л. 2007. Об эволюции мегалитических сооружений в Северном Причерноморье и Приазовье // Матеріали та дослідження з археології Східної України 7, 76–85.
- Трифонов В. А. 2002. Ареалы древних культур и климатические изменения на Кавказе в эпоху энеолита — ранней бронзы // Пиотровский Ю. Ю. (отв. ред.). Степи Евразии в древности и средневековье. Мат-лы междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. Кн. I. СПб.: ГЭ, 244–247.
- Ханзен С., Тодераш М., Райнгрубер А., Вундерлих Ю. 2011. Пьетреле. Поселение эпохи медного века на Нижнем Дунае // Stratum plus 2, 17–86.
- Черных Л. А., Дараган М. Н. 2014. Курганы эпохи энеолита — бронзового века междуречья Базавлука, Соленой, Чертомлыка. Киев: Издатель Олег Филюк.
- Шишлина Н. И. 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V–III тысячелетия до н. э.). Труды ГИМ. Выпуск 165. М.
- Шишлина Н. И., ван дер Плихт Й., Севастьянов В. С., Зазовская Э. П., Чичагова О. А. 2006а. К вопросу о поправке на резервуарный эффект и радиоуглеродной хронологии ямной культуры Северо-Западного Прикаспия // Моргунова Н. Л. (отв. ред.). Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 112–114.
- Шишлина Н. И., ван дер Плихт Й., Зазовская Э. П., Севастьянов В. С., Чичагова О. А. 2006б. К вопросу о радиоуглеродном возрасте энеолитических культур Евразийской степи. Вопросы археологии Поволжья 4, Самара, 135–140.

- Юдин А. И. 2012. Поселение Кумыска и энеолит степного Поволжья. Саратов: Научная книга.
- Arbogast R.-M., Jacomet S., Magny M., Schibler J. 2006. The significance of climate fluctuations for lake level changes and shifts in subsistence economy during the late Neolithic (4300–2400 B.C.) in central Europe // *Vegetation History and Archaeobotany* 15, 403–418.
- Boujot C., Cassen S. 1993. A pattern of evolution for the Neolithic funerary structures of the west of France // *Antiquity* 67, 477–491.
- Cassen S. 2006. From underground to extramound: recognition and interpretation of funerary barrows in southern Armorica (France, 5<sup>th</sup> millennium BC) // Šmejda L. (ed.). *Archaeology of Burial Mounds*. Plzeň: DRYADA, 22–37.
- Chapman J. 1991. The creation of social arenas in the Neolithic and Copper Age of South East Europe: the case of Varna // Garwood P., Jennings P., Skeates R., Toms J. (eds.). *Sacred and Profane*. Oxford: Oxbow Books, 152–171.
- Fînculesa A. 2012. Despre o datare absolută de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) și posibilele implicații // *Memoria Antiquitatis XXVIII*, 185–202.
- Gimbutas M. 1956. The Prehistory of Eastern Europe. Part I. Mesolithic, Neolithic and Copper Age cultures in Russia and the Baltic Area. American School of Prehistoric Research, Bulletin No. 20. Cambridge, Mass.: Peabody Museum, Harvard University Press.
- Gimbutas M. 1997. The first Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe // Dexter M. R., Jones-Bley K. (eds.). *The Kurgan Culture and the Indo-Europeanization of Europe. Selected articles from 1952 to 1993*. Washington, D.C.: Institute for the Study of Man, 195–239.
- Grabundžija A., Russo E. 2016. Tools tell tales — climate trends changing threads in the prehistoric Pannonian Plain // *Documenta Praehistorica XLIII*, 301–326.
- Haheu V., Kurciatov S. 1993. Cimitirul plan eneolitic de lângă satul Giurgiuiești // *Revista arheologică* 1, 101–14.
- Govedarica B. 2004. Zepterträger – Herrscher der Steppe. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas. Mainz am Rhein: Zabern.
- Govedarica B., Manzura I. 2015. The Cooper Age Settlement of Kartal in Orlovka (Southwest Ukraine) // Hansen S., Raczyk P., Anders A., Reingruber A. (eds.). *Neolithic and Copper Age between the Carpathian Basin and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE*. Bonn: Habelt, 437–456.
- Hansen S. 2011. Technische und soziale Innovationen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. // Hansen S., Müller J. (Hrsg.). *Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000–1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus*. Berlin: Zabern, 153–191.
- Hansen S. 2014. The 4th Millennium: A Watershed in European Prehistory // Horejs B., Mehofer M. (eds.). *Western Anatolia before Troy: Proto-Urbanisation in the 4th Millennium BC? Proceedings of the International Symposium held at the Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna, Austria, 21–24 November, 2012*. Vienna: OAW, 243–259.
- Kaiser E. 2016. Die ältesten Grabhügel in Ost- und Südosteuropa // Țerna S., Govedarica B. (eds.). *Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday*. Kishinev: Stratum Plus, 133–144.
- Magny M., Haas J. N. 2004. A major widespread climatic change around 5300 cal. yr BP at the time of the Alpine Iceman // *Journal of Quaternary Science* 19 (5), 423–430.
- Manzura I. 2009. Entstehung der ersten Grabhügel in nordpontischen Steppen im Kontext der nordwesteuropäischen Parallelen // *Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000–500 v. Chr.)*. Humboldt-Kolleg in Chișinău, Republica Moldova, 4.–8. Oktober 2009. Chișinău, 20–22.
- Müller J. 2011. Megaliths and Funnel Beakers: Societies in Change 4100–2700 BC. Amsterdam: Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie.

- Raczky P., Anders A.* 2006. Social Dimensions of the Late Neolithic Settlement of Polgár-Csöszhalom (Eastern Hungary) // AAH 57, 17–33.
- Rassamakin Yu.* 1999. The Eneolithic of the Black Sea Steppe: Dynamics of Cultural and Economic Development 4500–2300 BC // Levine M., Rassamakin Yu., Kislenko A., Tatarintseva N. Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 59–182.
- Rassamakin Yu.* 2002. Aspects of Pontic Steppe Development (4550–3000) in the Light of the New Cultural-Chronological Model // Boyle K., Renfrew C., Levine M. (eds.). Ancient interactions: east and west in Eurasia. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 49–73.
- Rassamakin Ju. Ja.* 2004. Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit. Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v. Chr. Bd. I und II. Archäologie in Eurasien 17. Mainz am Rhein: Zabern.
- Rassamakin Yu. Ya.* 2011a. Eneolithic Burial mounds in the Black Sea Steppe: From the First Burial Symbols to Monumental Ritual Architecture // Borgna E., Müller-Celka S. (eds.). Ancestral Landscapes: Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th–2nd millennium B.C.). Proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th–18th 2008. Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 293–305.
- Rassamakin Ju. Ja.* 2011b. Zur absoluten Chronologie des Äneolithikums in den Steppen des Schwarzmeer Gebiet anhand neuer 14C-Daten // Sava E., Govedarica B., Hänsel B. (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000–500 v. Chr.). Band 2: Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Rahden/Westf.: Leidorf, 80–100.
- Sherratt A.* 1997a. Instruments of Conversion? The Role of Megaliths in the Mesolithic-Neolithic Transition in North-West Europe // Economy and Society in Prehistoric Europe: Changing Perspectives. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 354–371.
- Sherratt A.* 1997b. The Genesis of Megaliths: Monumentality, Ethnicity and Social Complexity in Neolithic North-West Europe // Economy and Society in Prehistoric Europe: Changing Perspectives. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 333–353.
- Todorova H.* 2007. Die paleoklimatische Entwicklung in VII–I Jt. vor Chr // Todorova H., Stefanovich M., Ivanov G. (eds.). The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the International Symposium “Strymon Praehistoricus”, Kjustendil-Bla-goevgrad-Serres-Amphipolis, 27.09–01.10.2004. Sofia: Bulged, 1–6.

## Модели «арбы» и погребение с повозками из кургана 9 могильника Три Брата I

**Резюме.** С территории Северо-Западного Прикаспия происходят два глиняных предмета эпохи средней бронзы, которые принято считать моделями арбы. Основанием для такого отождествления послужило открытие одной из моделей в кургане, содержавшем также погребение, сопровождавшееся деревянными повозками, и оба комплекса считали одновременными и связанными друг с другом; сохранившиеся в погребении шесть колес относят к одной четырехколесной и одной двухколесной повозкам или к трем двухколесным повозкам. Однако уже несколько десятилетий назад было установлено, что погребение с повозками и комплекс с моделью относятся к разным хронологическим периодам, а анализ остатков повозок из погребений III тыс. до н. э., происходящих из того же региона, что и глиняные модели, показал, что повозки, сопровождавшие погребения, были исключительно четырехколесными. При утверждении же, что рассматриваемые предметы являются моделями арбы, должны быть представлены убедительные доводы, а не надуманные реконструкции с использованием чужеродных элементов.

**Ключевые слова:** глиняные модели, повозки, средний бронзовый век, Северо-Западный Прикаспий, интерпретация археологических находок.

**E. V. Izbitser. “Arba” models and a burial with wagons from kurgan 9 of the Tri Brata I cemetery.** There are two clay objects of the Middle Bronze Age from the northwestern Caspian region that are reconstructed as the arba models. The main reason for such a reconstruction became the discovery of a grave with the remains of several wagons in the same kurgan with one of the models, with both depositions considered contemporary and connected; six wheels found in the grave were attributed to either three two-wheeled or one four and one two-wheeled vehicles. Meanwhile, several decades ago it was firmly established that the grave and the model belong to the different chronological periods, and the analysis of the burial rite with wagons of the 3<sup>rd</sup> millennium BC from the same region revealed that only four-wheeled wagons were used at that time. Those who continue believing that the discussed clay models can be identified with prehistoric arbas should abandon their artificial reconstructions and unsupported interpretations but instead begin to provide convincing arguments.

**Keywords:** clay models, wagons, Middle Bronze Age, northwestern Caspian region, archaeological interpretations.

С территории Северо-Западного Прикаспия происходят две глиняные модели эпохи средней бронзы, которые принято считать моделями арбы. Обе открыты в комплексах предкавказской культуры, одна из них — в «жертвенном месте»/кенотафе кургана 9 могильника Три Брата I, а другая — также в кенотафе, в кургане 5 Элистинского могильника.

Первая модель (рис. 1) была обнаружена экспедицией Саратовского областного музея под руководством П. С. Рыкова в 1935 г. при раскопках кургана 9



Рис. 1. Глиняная модель. Три Брата I, курган 9, «жертвенное место» (фото Д. С. Рабинович)  
Fig. 1. Clay model. Tri Brata I, kurgan 9, "sacral deposition" (photo by D. S. Rabinovich)

в урочище «Три Брата» (могильник Три Брата I) недалеко от г. Элисты. Согласно описанию П. С. Рыкова, глиняная модель находилась в яме неправильной многоугольной формы. В яме была обнаружена груда костей ног и черепа теленка, поверх которой лежал большой глиняный горшок (названный П. С. Рыковым «сооружение»), и находившийся рядом кувшин несколько меньшего размера. Все это было накрыто плоской, грубо оббитой песчаниковой плитой пятиугольной формы, максимальные размеры которой составляли до 0,80 м в длину и до 0,68 м в ширину, с толщиной 12–15 см. Поблизости от трех углов плиты сохранились остатки трех столбов, верх двух из них был обожжен. В яме также оказалось ожерелье из 32 грубо нарезанных (и в местах отреза надломанных) колец диаметром 1,5–2,2 см, сделанных из трубчатой кости, и две пронизи; на кольцах сохранились следы красной краски. Рядом с ожерельем, близ меньшего сосуда, в насыпи был найден мелкий фрагмент кварцевой пластинки, трехгранной в поперечном сечении. Почти рядом с ожерельем лежал на боку глиняный предмет неопределенного назначения. Дно предмета было покрыто жировой накипью. Внутри него находился камешек молочного цвета пятиугольной формы, несколько стертый и служивший, вероятно, амулетом (Рыков 1935). «Глиняный предмет неопределенного назначения» и есть тот предмет, который впоследствии стали называть моделью арбы.

Второй подобный предмет (рис. 2) был открыт в 1964 г. экспедицией под руководством И. В. Сеницына в погребении 8 кургана 5 Элистинского могильника. При его описании И. В. Сеницын прямо называет предмет «моделью повозки», поскольку он имеет явное сходство с моделью из могильника Три Брата I. Погребение, в котором находилась модель, представляло собой кенотаф. Это была яма прямоугольной формы с сильно округленными углами,



Рис. 2. Глиняная модель. Элистинский могильник, курган 5, погребение 8 (по: Конь и всадник 2003: илл. 9)

Fig. 2. Clay model. Elistinsky cemetery, kurgan 5, grave 8 (after: Конь и всадник 2003: fig. 9)

2,10 × 1,8 × 1,8 м, с вогнутыми внутрь длинными сторонами, ориентированными по линии «север — юг». На глубине 1 м от поверхности был устроен порожек шириной до 0,35 м. По углам могильной ямы сохранились ямы от столбов глубиной до 20 см, конусовидной формы; их диаметр на уровне дна составлял 12–15 см. В центре могильной ямы, ниже порожка, на глубине 1,35 м находился глиняный миниатюрный сосудик высотой 7 см, с диаметром устья 4 см и диаметром дна 3,5 см. Вместе с сосудиком была расчищена глиняная модель крытой двухколесной повозки. Около повозки находилась тонкая трубчатая кость животного с тщательно срезанными и заполированными концами; ее длина — 8 см, диаметр трубочки около 1 см. Дно могилы было покрыто темно-серым слоем растительного тлена, а в центре прослежен слой порошкообразной органической массы желтого цвета, покрывавший площадь до 0,50 м в диаметре. Вдоль западной стенки ямы в ряд стояли пять хорошо сохранившихся глиняных сосудов; здесь же находился бронзовый нож листовидной формы, длиной 10,5 см и шириной лезвия 4 см (Синицын 1964).

Обе модели близки по внешнему виду и размерам, они, без сомнения, относятся к одной категории предметов, но не идентичны и отличаются некоторыми деталями. Модель из кургана 9 могильника Три Брата I (рис. 3: 1) изготовлена из темно-серой глины; по-видимому, из-за того, что во время обнаружения она лежала на боку, первоначально была описана П. С. Рыковым как предмет, представлявший собой «как бы трубку в виде четырехгранника с округленными гранями», с одной стороны которой «укреплена широкая полость, в виде рукояти, очень толстой в месте соединения с предметом и утоньшающейся по мере удаления от него» (Рыков 1935). В вертикальном положении эта «трубка» составляет

верхнюю часть модели, ее переднее отверстие шире и немного длиннее заднего; над и под отверстием в задней стенке идет ряд точек. Нижняя часть модели представляет собой сужающееся книзу основание; впереди на ней, по центру, имеется неглубокое отверстие диаметром около 0,5 см, а через боковые стороны проходит сквозное отверстие диаметром около 2,5 см. Общая высота модели 17 см, из которых высота основания 7 см, а верхней части 10 см; длина модели по верху 13,5 см, ширина 13 см при длине основания 10 см и ширине от 7 до 6 см. Эти размеры, приведенные при публикациях комплекса (Синицын 1948: 149–150; Шилов 1984: 248; 2009: 114) несколько отличаются от приведенных П. С. Рыковым в отчете (Рыков 1935), возможно вследствие последующей реставрации предмета.

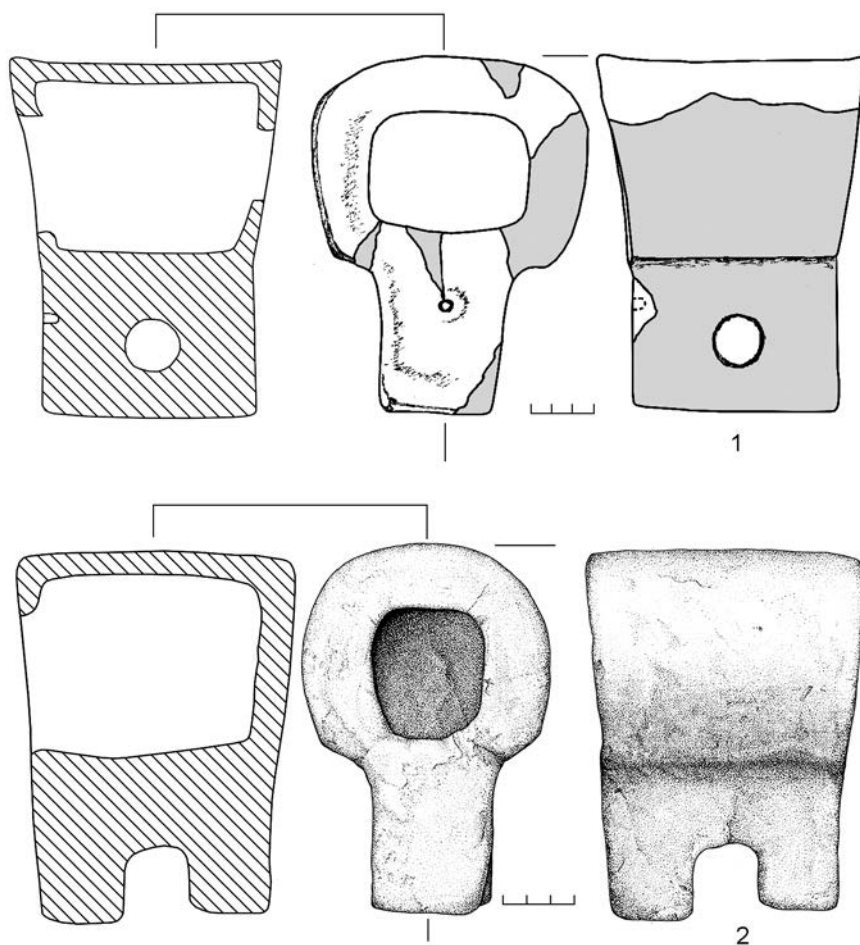


Рис. 3. 1 — Глиняная модель. Три Брата I, курган 9, «жертвенное место» (рисунок Д. С. Рабинович); 2 — Элистинский могильник, курган 5, погребение 8. Глиняная модель (рисунок Н. И. Шишлиной)  
 Fig. 3. 1 — Clay model. Tri Brata I, kurgan 9, "sacral deposition" (drawing by D. S. Rabinovich); 2 — Elistinsky cemetery, kurgan 5, grave 8 (drawing by N. I. Shishlina)



Модель из Элистинского могильника (рис. 3: 2) также изготовлена из темно-серой глины; ее поверхность коричневатого-серого цвета. В отличие от модели из Трех Братьев, у нее отсутствуют отверстия в задней стенке верхней части и впереди на нижней части; посередине нижней части, сбоку, вместо сквозного поперечного отверстия сделана выемка арковидной формы шириной около 2,7 см. Общая высота модели 16 см, ширина верхней части 10,5 см; ширина нижней части от 6 до 5 см, длина 10 см.

Ни с одной, ни с другой моделью колес не было. Основанием для отождествления рассматриваемых предметов с моделями колесных повозок послужило открытие в том же кургане 9 могильника Три Брата I погребения 8, содержавшего остатки деревянных повозок (рис. 4), а также появившееся в процессе раскопок предположение о связи жертвенника с погребением. Помимо некоторых деталей конструкции повозок, в погребении 8 сохранились шесть деревянных колес. И. В. Сеницын считал, что эти колеса принадлежали трем двухколесным арбам (Сеницын 1948: 146); поэтому как арба была реконструирована и глиняная модель (рис. 5: 1, 2). Для объяснения шести колес в погребении предлагались и иные варианты. В. П. Шилов полагал, что они относятся к одной четырехколесной и одной двухколесной повозкам (Шилов 1984: 42); С. Пигготт предполагал, что шесть колес могли быть или от трех двухколесных, или от одной четырехколесной и одной двухколесной повозок, или могли быть просто символами повозок, безотносительно к какому-либо конкретному колесному средству (Piggott 1983: 57); Е. Е. Кузьмина, со ссылкой на «Махабхарату», допускала возможность принадлежности этих шести колес к двум трехколесным повозкам (Кузьмина 1974: 69). Однако анализ расположения повозок в степных подкурганых погребениях показал, что во всех случаях повозки были четырехколесные (Избицер 1993). В погребении 8 четыре колеса лежали на площадке вокруг ямы, а два оказались в заполнении могилы — одно в вертикальном и одно в горизонтальном положении (см. рис. 4). В данном случае следует предположить, что погребение сопровождало две четырехколесные повозки, одна из которых была разобрана, и колеса от нее положили плашмя по углам верхнего края ямы, а другая поставлена в неразобранном виде. Неразобранная повозка стояла частично на площадке, частично на перекрытии, поэтому два колеса этой неразобранной повозки оказались в заполнении могилы, упав туда вместе с перекрытием. Остатки повозок, установленных в неразобранном виде у верхнего края погребения, для данного региона известны, например, в погребении 3 кургана 6 Ергенинского могильника (Шилов 1982). Поэтому реконструировать глиняную модель как двухколесную повозку, ссылаясь на шесть сохранившихся в погребении колес, неверно.

Во время раскопок кургана и последующих публикаций материалов погребения 8 с повозками и «жертвенного места» считалось, что жертвенник располагался непосредственно над погребением 8, и эти два комплекса определялись как одновременные (Рыков 1935; Сеницын 1948: 143 сл.). Однако более тридцати лет назад В. П. Шилов опубликовал статью, в которой изложил результаты, полученные им после тщательного изучения дневниковых записей П. С. Рыкова и сравнительного анализа инвентаря погребения 8 и «жертвенного места»; сам жертвенник был определен В. П. Шиловым как кенотаф с непрослеженной конструкцией (Шилов 1984: 249). Им было установлено, что эти два комплекса стратиграфически между собой не связаны и относятся к разным хронологическим горизонтам предкавказской культуры: погребение 8 — к более

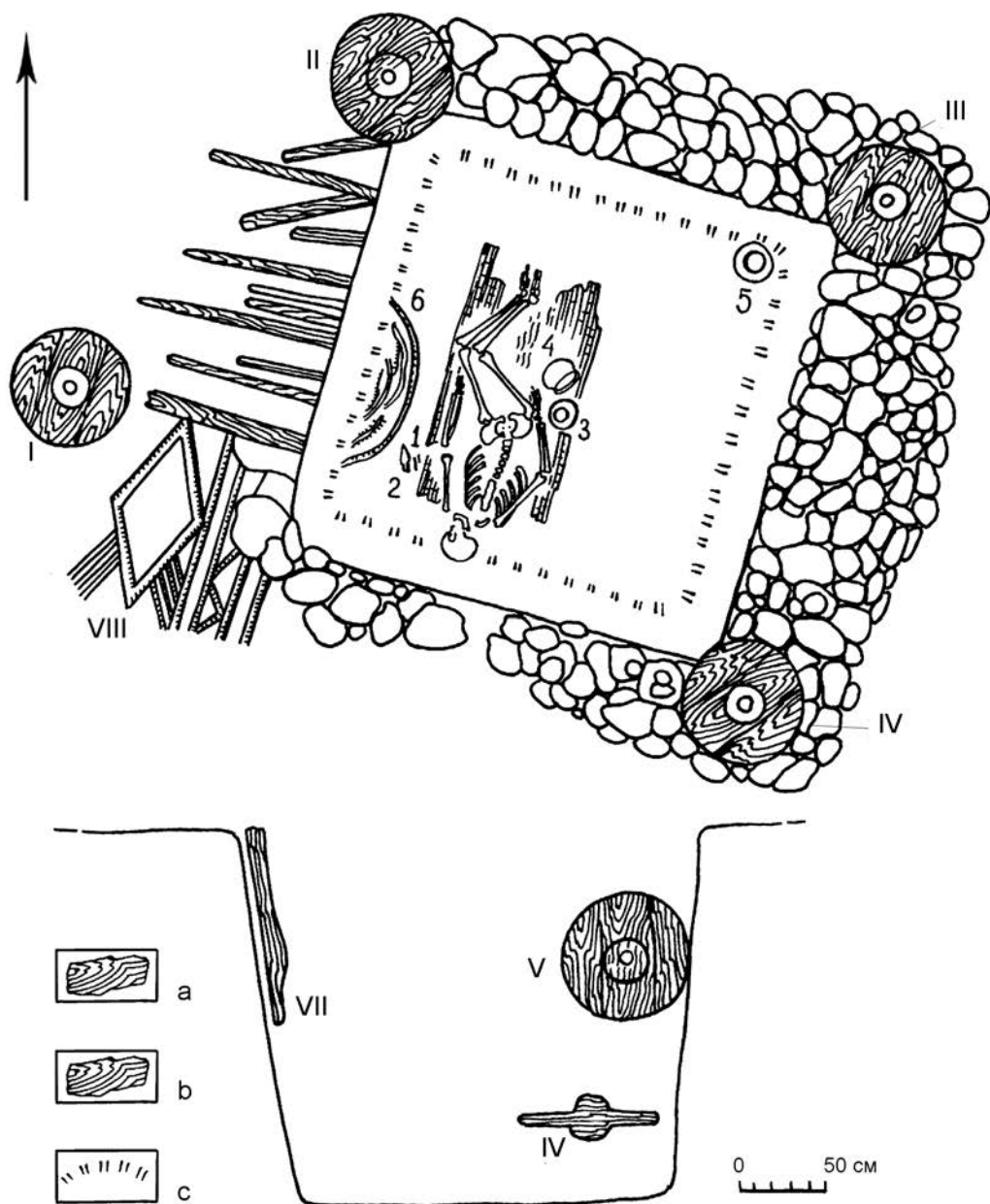


Рис. 4. Три Брата I, курган 9, погребение 8 (по: Синицын 1948: рис. 16–17): а — дерево; б — камень; с — границы подстилки; I–VI — колеса; VII — ярмо; VIII — «ковер»; 1 — бронзовые шилья; 2 — бронзовый нож; 3 — деревянный сосуд; 4 — глиняный сосуд; 5 — курильница; 6 — скелеты змей  
 Fig. 4. Tri Brata I, kurgan 9, grave 8 (after: Синицын 1948, fig. 16–17): a — wood; b — stone; c — floor covering; I–VI — wheels; VII — oxbow; VIII — “carpet”; 1 — bronze awls; 2 — bronze knife; 3 — wooden vessel; 4 — clay vessel; 5 — censer; 6 — snake skeletons

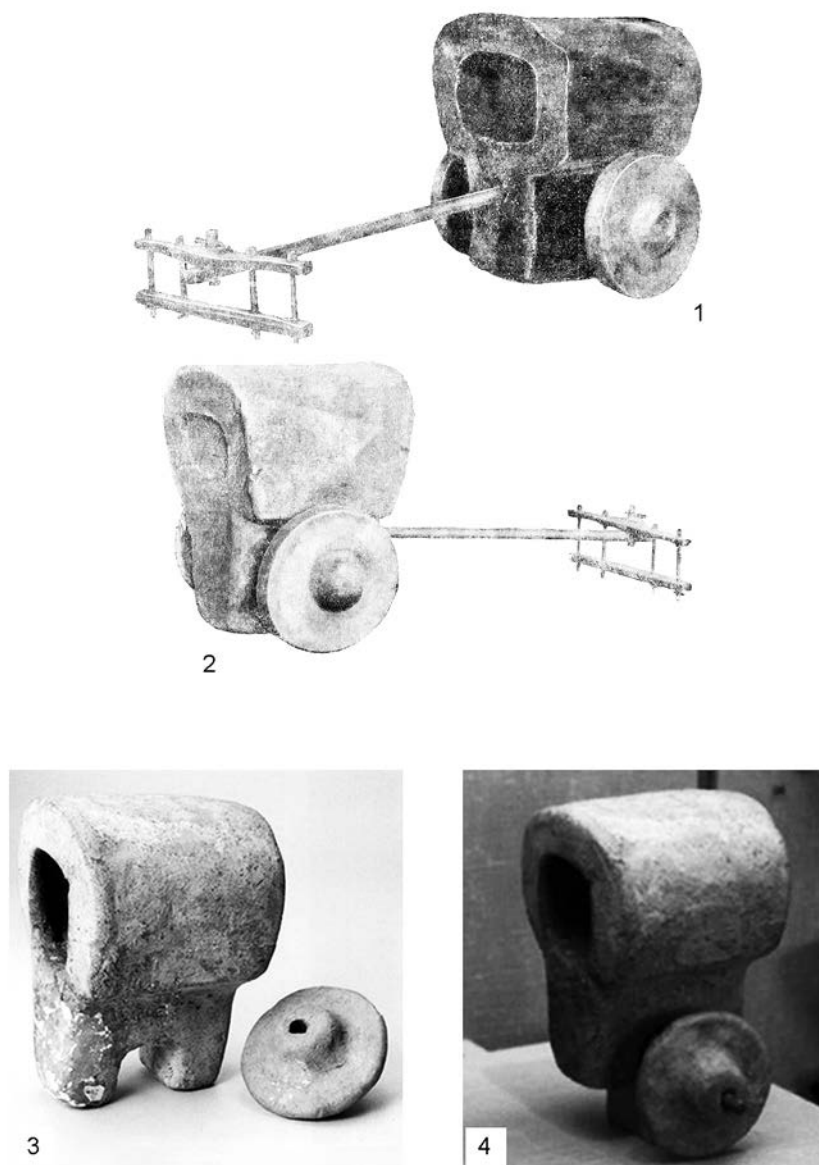


Рис. 5. 1–2 — глиняная модель. Три Брата I, курган 9, «жертвенное место». Реконструкция арбы (Синицын 1948: рис. 14); 3 — глиняная модель из Элистинского могильника, курган 5, погребение 8, и глиняная модель колеса из Элистинского могильника, курган 27, погребение 1 (Конь и всадник 2003: рис. 9; Rad und Wagen 2004: Abb. 147); 4 — реконструкция модели двухколесной повозки в экспозиции Государственного исторического музея, Москва (фото Л. В. Петрова)  
Fig. 5. 1–2 — Clay model. Tri Brata I, kurgan 9, “sacral deposition”. Reconstruction (Синицын 1948: fig. 14); 3 — clay model from kurgan 5, grave 8 of the Elistinsky cemetery and clay wheel model from kurgan 27, grave 1 of the Elistinsky cemetery (Конь и всадник 2003: илл. 9; Rad und Wagen 2004: Abb. 147); 4 — Reconstruction of a two-wheeled wagon exhibited at the State Historical Museum, Moscow (photo by L. V. Petrov)

раннему, а жертвенник — к более позднему. Погребение 5 кургана 8 Элистинского могильника синхронно последнему. И хотя глиняные модели В. П. Шилов по-прежнему считал моделями двухколесных повозочек, основания для такого определения исчезли.

Доводы, на которые опиралась интерпретация моделей, оказались несостоятельны. В настоящее время единственными показателями для отождествления обоих предметов с моделями двухколесных повозок являются их весьма произвольные реконструкции. Так, к модели из могильника Три Брата I были добавлены колеса, дышло и ярмо, а также заделано отверстие в задней стенке (см. рис. 5: 1, 2). Из модели Элистинского могильника сделать двухколесную повозку сложнее — отверстие в центре нижней части, куда можно было бы вставить дышло, отсутствует; выемка в основании слишком велика для оси, и даже при наличии колеса с отверстием, соответствующим диаметру оси, нарушались бы пропорции «повозки». При экспонировании модели из Элистинского могильника на временных выставках рядом с ней кладется модель колеса, открытая в том же могильнике, но в другом кругане и, соответственно, в другом погребении (рис. 5: 3). На постоянной выставке в Государственном историческом музее для объединения моделей «повозки» и колеса под выемку в основании подставлен блок, и колесо посажено на ось, которая проходит через этот блок (рис. 5: 4).

Нужно признать, что оснований для сравнения моделей из «жертвенного места» кургана 9 могильника Три Брата I и погребения 8 кургана 5 Элистинского могильника с двухколесными повозками нет. При утверждении же, что рассматриваемые предметы ими являются, должны быть представлены убедительные доводы, а не надуманные реконструкции с использованием чужеродных элементов.

Рассматриваемые предметы не имеют прямых этнографических соответствий, и что они отображают — неясно. При гипотезах об их прототипе должны быть учтены и наличие жировой накипи на модели из «жертвенного места», и инвентарь, непосредственно связанный с обеими моделями. Интересно отметить, что оформление нижней части моделей находит аналогии в оформлении оснований некоторых курительниц и чаш на поддонах, но хочется надеяться, что наличие в них отверстий не приведет к увеличению числа реконструкций моделей колесного транспорта.

## Литература

- Избицер Е. В.* 1993. Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Северного Кавказа. III–II тыс. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.
- Конь и всадник.* 2003. Конь и всадник. Взгляд сквозь века. Каталог выставки, ГИМ; Мошинский А. П., Шишлина Н. И., Журавлев Д. В. и др. (авторы). М.: Государственный исторический музей.
- Кузьмина Е. Е.* 1974. Колесный транспорт и проблема этнической и социальной истории древнего населения южнорусских степей // ВДИ 4, 68–87.
- Синицын И. В.* 1948. Памятники предкифской эпохи в степях Нижнего Поволжья // САХ, 143–160.
- Синицын И. В.* 1964. Отчет об археологических работах, проведенных на территории Калмыцкой АССР в 1964 году. Архив ИИМК РАН. Ф. 35, оп. 1/1964.
- Рыков П. С.* 1935. Отчет П. Рыкова о раскопках курганов в урочище «Три Брата» в Калмыцкой автономной области. Научный архив ИИМК РАН. Ф. 2, оп. 1, № 107.
- Шилов В. П.* 1982. Отчет об исследованиях Волго-Донской археологической экспедиции в 1982 г. Научный архив ИА РАН. Р-1, 9516.

*Шилов В. П.* 1984. Стратиграфическое соотношение «жертвенного места» и погребения 8 кургана 9 группы Три Брата I в Калмыкии // Мелюкова Л. И., Мошкова М. Г., Петренко В. Г. (ред.). Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.: Наука, 246–251.

*Шилов В. П.* 2009. Древние скотоводы калмыцких степей. Элиста: Герел.

*Rad und Wagen.* 2004. Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Führer durch die Ausstellung. Oldenburg: Isensee Verlag.

*Piggott S.* 1983. The Earliest Wheeled Vehicles. From the Atlantic Coast to the Caspian Sea. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

## Идеи и материалы на исходе бронзового века на западе Северного Причерноморья

**Резюме.** Статья посвящена инновациям и трансферту идей/технологий в преисторической археологии. Рассматривается ситуация второй половины XI — X в. до н. э. в Северном Причерноморье на примере изделий из железа и бус из стекла. Проанализированы находки железных изделий в позднебелозерской культуре и раннегалштаттской культуре Сахарна. Фактически одновременное появление в регионе изделий из железа и стекла, их совстречаемость в одних погребальных комплексах позволяют предположить трансферт идей/технологий вследствие карпато-дунайских связей и дальних контактов населения вплоть до северной Италии. Трансферт новых идей/технологий осуществлялся отдельными группами населения, в среде которого явно присутствовали мужчины, носившие плащи/накидки с фибулой на левом плече, ожерелья и кольца для волос. Вследствие стимулированной трансформации в Северном Причерноморье появились местная железообработка и «белозерская» школа стеклоделия.

**Ключевые слова:** Юго-Восточная Европа, Северное Причерноморье, финал бронзового века, железо, стекло, трансферт идей/технологий, инновации.

**M. T. Kashuba. Ideas and materials at the end of the Bronze Age in the west of the North Black Sea region.** The paper deals with innovations and transfer of ideas/technologies in the final Bronze Age (second half of the XI — X c. BC) of the North Black Sea region, with particular reference to iron objects and glass beads of the Late Belozerskaya culture and Early Halstatt culture of Sakhar-na. The nearly simultaneous appearance of iron and glass articles in the region, and their co-occurrence in burial assemblages, give grounds to suggest the transfer of ideas/technologies from both the Carpathian-Danube area and the north of Italy. The transfer of new ideas/technologies was executed by some groups, which included men who wore necklaces, hair-rings and cloaks fastened with a fibula on the right shoulder. The local iron working and the Belozerskaya school of glass-making appeared in the North Black Sea region due to what may called the stimulated transformation.

**Keywords:** Southeastern Europe, North Black Sea region, final Bronze Age, iron, glass, transfer of ideas/technologies, innovations.

### Введение

Археологические данные показывают, что в преистории инновации революционного характера или технологические прорывы в разных областях (обожженная глина, бронза, фаянс, стекло) нередко связаны друг с другом. Технологические поиски в одном направлении могли способствовать «неожиданным открытиям» в другом. Складывается впечатление, что ситуация такого рода имела место во второй половине XI — X в. до н. э. в Северном

Причерноморье<sup>1</sup>. Для этого времени прослежены инновации в технологической сфере (железо, стекло) и в обществе, затронувшие его внутреннюю структуру (появление «богатых» погребений) и контакты с внешним миром, которые доходили до юго-восточной приальпийской зоны и северной Италии. Железо и стекло в быту разных групп населения региона (рис. 1, 4, 7; 2, 3; 3, 2, 3; 4, 1, 12) появились фактически одновременно (см. ниже). Что за этим стояло: инновация или трансферт идей/технологий, — остается под вопросом.

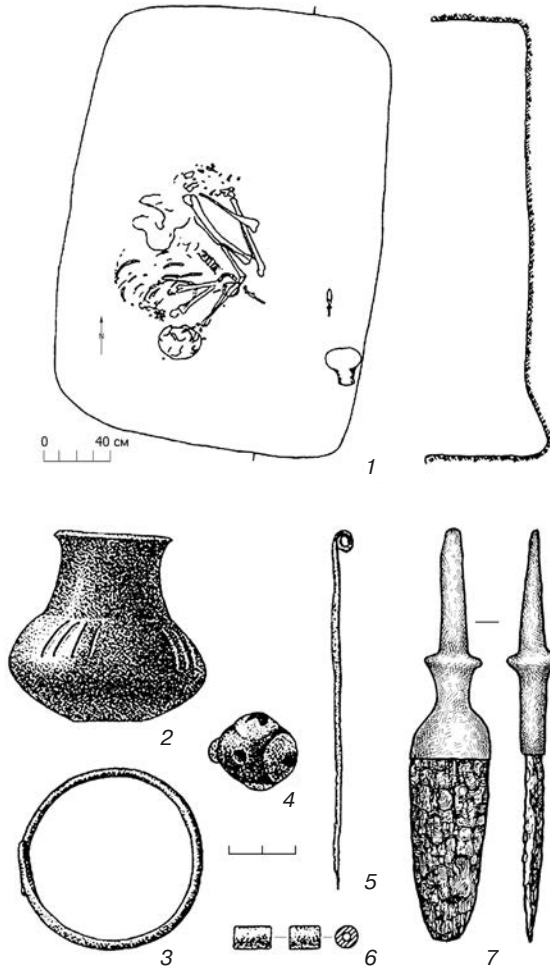


Рис. 1. Белозерская культура, могильник Степной, погребение 5/2: 1 — план и разрез; 2–7 — погребальный инвентарь (2 — обожженная глина; 3, 6 — бронза; 4 — стекло; 5 — кость; 7 — бронза и железо) (по: Otroshchenko 2003: fig. 10)

Fig. 1. Belozerskaya culture, Stepnoi cemetery, burial 5/2: 1 — plan and profile; 2–7 — burial goods (2 — fired clay; 3, 6 — bronze; 4 — glass; 5 — bone; 7 — bronze and iron) (after: Otroshchenko 2003: fig. 10)

<sup>1</sup> В статье регион Северного Причерноморья рассматривается расширительно, включая степную и прилегающую лесостепную части.

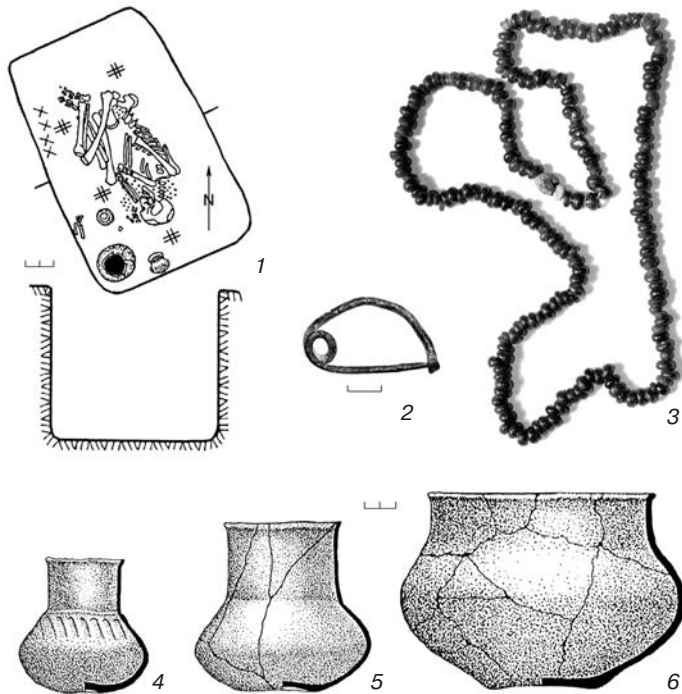


Рис. 2. Белозерская культура, могильник Казаклиа, погребение 1: 1 — план и разрез; 2–6 — погребальный инвентарь (2 — бронза; 3 — стекло, янтарь; 4–6 — обожженная глина) (по: Agulnikov 1996: fig. 5, 1–3, 6, 11, с дополнениями — фото М. Василяки)

Fig. 2. Belozerskaya culture, Kazakliya cemetery, burial 1: 1 — plan and profile; 2–6 — burial goods (2 — bronze; 3 — glass, amber; 4–6 — fired clay) (after: Agulnikov 1996: fig. 5, 1–3, 6, 11, with additions — photo by M. Vasilaki)

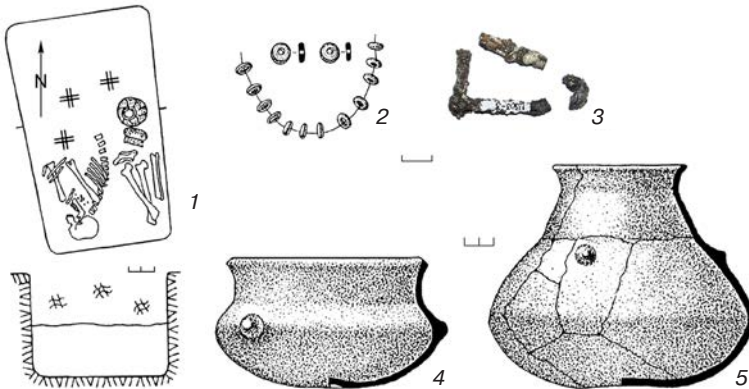


Рис. 3. Белозерская культура, могильник Казаклиа, погребение 55: 1 — план и разрез; 2–5 — погребальный инвентарь (2 — стекло, раковины; 3 — железо; 4, 5 — обожженная глина) (по: Agulnikov 1996: fig. 19, 1–5, с дополнениями — фото И. Лицук)

Fig. 3. Belozerskaya culture, Kazakliya cemetery, burial 55: 1 — plan and profile; 2–5 — burial goods (2 — glass, shells; 3 — iron; 4, 5 — fired clay) (after: Agulnikov 1996: fig. 19, 1–5, with additions — photo by I. Litsuk)



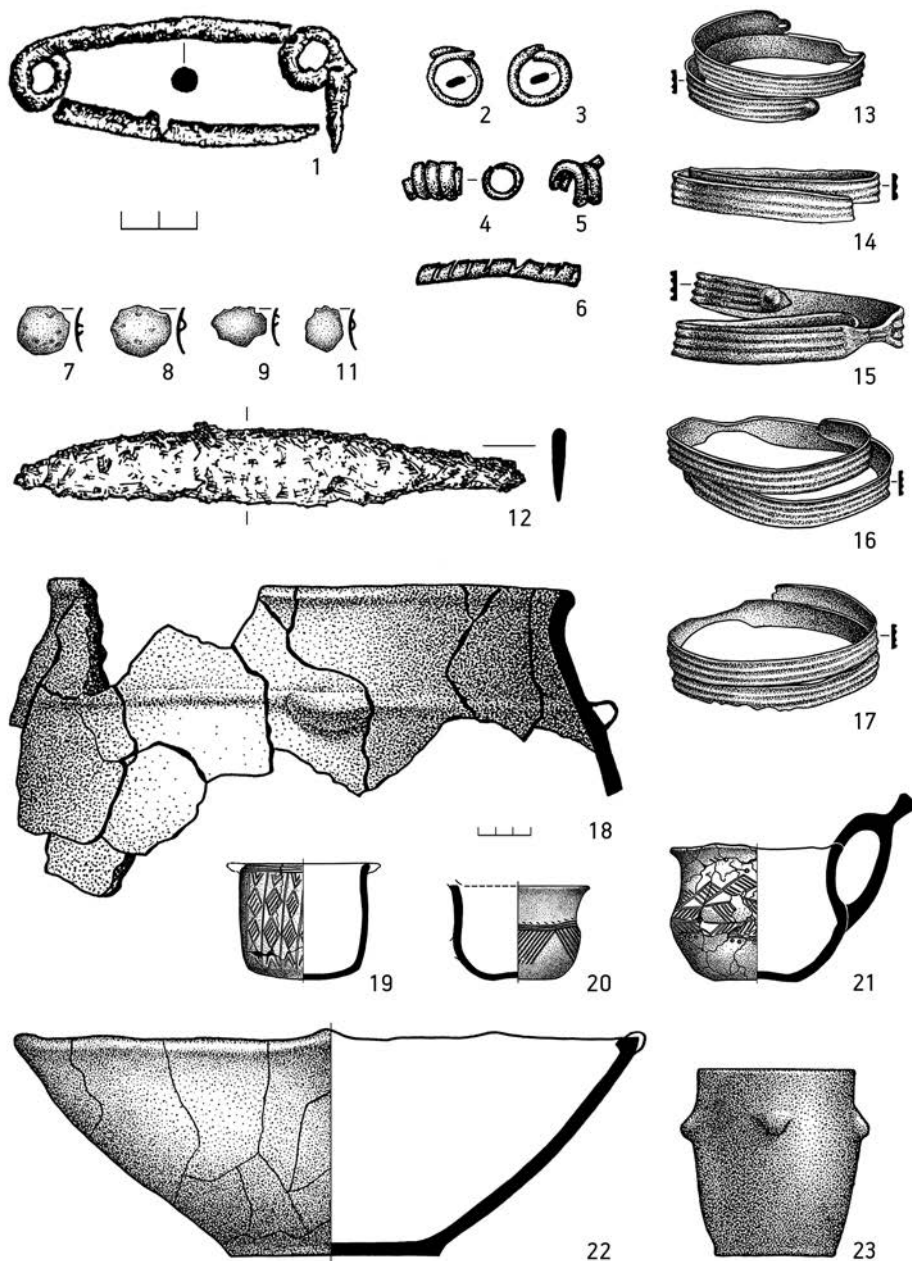


Рис. 4. Раннегалльштаттская культура Сахарна, могильник Сахарна I, погребение III/1: 1-23 — погребальный инвентарь (1, 12 — железо; 2-11, 13-17 — бронза; 18-23 — обожженная глина)  
 Fig. 4. Early Halstatt culture of Sakharna, Sakharna I cemetery, burial III/1: 1-23 — burial goods (1, 12 — iron; 2-11, 13-17 — bronze; 18-23 — fired clay)

## Новый металл в Северном Причерноморье — железо

На исходе бронзового века в Северном Причерноморье появляется железо. С новым металлом местные мастера работали в условиях кризиса, охватившего северопонтийское металлопроизводство. Развитие металлопроизводства позднего бронзового века южной части Восточной Европы охарактеризовано в новейшей работе В. С. Бочкарёва (Бочкарёв 2017). Согласно В. С. Бочкарёву, в VII завадовской группе металлопроизводства наблюдаются дефицит сырья и глубокий упадок, как это следует из уменьшения количества кладов и единичных случайных находок, сокращения ассортимента, прекращения выпуска отдельных важных категорий, а также миниатюризации многих предметов (Там же: 176–178, табл. 1). Тем не менее, стали производить 10 новых типов металлических изделий, морфология которых показывает как местные корни (ножи с параллельными лезвиями), так и западное происхождение, что справедливо для почти половины новых типов. Согласно данным В. С. Бочкарёва, VII завадовская группа относится к позднебелозерским памятникам и прекращает существовать с гибелью белозерской культуры (Там же). В завершающем периоде металлопроизводства позднего бронзового века Восточной Европы появляются железные и биметаллические (бронза/железо) изделия. Они засвидетельствованы в степной позднебелозерской культуре (рис. 1, 7; 3, 3), но также известны в лесостепных культурах Восточного Прикарпатья (рис. 4, 1, 12). Последние не относятся к местным северопричерноморским образованиям, они имеют карпато-дунайское происхождение (см. Кашуба 2013: 234 сл., рис. 1).

**Железные и биметаллические изделия в степной позднебелозерской культуре** представлены фибулой и 15 ножами. Их культурная принадлежность не вызывает сомнений, так как все эти изделия входили в состав погребального инвентаря белозерских захоронений (рис. 1, 7; 3, 3), за исключением одного обломка биметаллического ножа из поселения Остров Хортица (общие сведения см. Никитенко 1998: 36 сл.; Паньков 2014: 87–88). Сомнения в принадлежности к белозерской культуре вызывает лишь найденное на поселении Дикий Сад шило, анализ которого показал высокое качество его изготовления и содержание мартенсита (см. Паньков 2014: 87, рис. 58; Горбенко, Гошко 2010: 77 сл.).

Анализ ассортимента железных и биметаллических изделий позднебелозерской культуры дает выразительные результаты: речь идет об их местном северопричерноморском производстве, но также трансферте идей и/или копировании. Все ножи (однолезвийные, широчанского типа и биметаллические), за исключением одного экземпляра из поселения, обнаружены в погребениях: в общей своей совокупности они составляют более трети находок ножей в могилах (см. Бочкарёв, Кашуба 2017). Биметаллический нож входил в состав инвентаря погребения Степной, 5/2<sup>2</sup> (рис. 1, 7), для которого имеется уточненная радиоуглеродная дата Ki 982: 1087 ± 78 лет до н. э. (Otroshchenko 2003: 343, 349, 361 ff., fig. 10, 7). Железные и биметаллические ножи — изделия местных мастерских. В основном они представляют собой копии бронзовых изделий VII завадовской группы (Бочкарёв 2017: 176–177, рис. 12, 6, 7). Только в случае однолезвийных ножей можно предполагать их среднеевропейское происхождение (Там же), однако фибула явно заимствована или как готовый предмет (одежда с застежкой), или как идея жесткого крепления распашного одеяния.

<sup>2</sup> Здесь и далее при упоминании погребений первоначально указывается номер кургана, затем — номер погребения.

Характеристики смычковой фибулы из погребения 55 Казаклийского могильника (односпиральная треугольная с гладкой спинкой, рис. 3, 3) позволили сопоставить ее с подобными итальяскими фибулами, отнести к типу VBF.I.3.A по Кашубе и с большой долей вероятности датировать второй половиной — концом XI в. до н. э. (Kašuba 2008: 199 ff., Abb. 6). Копирование изделий и/или трансферт изделий/идей из юго-восточноприальпийской зоны показывают и другие позднебелозерские смычковые фибулы, которые имеют две спирали и сделаны из бронзы, а также подобные фибулы из железа, найденные в погребениях раннегалльштаттской культуры Сахарна (см. ниже). Это несколько фибул «северопонтийского» типа — четырехугольные с прямой или слегка изогнутой гладкой спинкой (тип VBF.II.1.A по Кашубе), а также треугольные с гладкой спинкой (тип VBF.II.3.A по Кашубе). Последние фактически идентичны с экземплярами из мастерских северо-восточной Италии, где они являются ведущим типом периода BF2 (около 1060–1035/10 гг. до н. э.), который был синхронизирован с позднеэлладским/позднеминойским IIIС поздним (1100–1085/80 гг. до н. э.) и субмикенским (1070/40–1000 гг. до н. э.) периодами эгейской хронологии (см. Jung 2006: 216, Abb. 24; Wenginger, Jung 2009: Fig. 14). Эти синхронизации чрезвычайно важны, потому что позволяют с большой долей уверенности датировать такого рода находки в пределах второй половины XI в. до н. э. В свою очередь, и типологически близкие смычковые фибулы из Северного Причерноморья также можно отнести ко второй половине — концу XI в. до н. э.

В южной лесостепи Восточного Прикарпатья<sup>3</sup> в синхронное с позднебелозерской культурой время (от рубежа XI/X и в X в. до н. э.) известно сравнительно много находок из железа (19 целых и обломки), которые обнаружены фактически на каждом раскопанном памятнике раннегалльштаттской культуры Сахарна (восточный вариант культуры Козия-Сахарна) (рис. 4, 1, 12). Кроме того, находки кусков болотной руды (31 обломок) и нескольких железных криц (кузнечные шлаки) на поселении Матеуць-Ла башне (Кашуба 1989: 59–60), наряду с заготовками и самими изделиями, говорят в пользу местной железообработки (Кашуба 2000: 329 сл.). Среди ранних железных изделий также известны фибулы (рис. 4, 1). По количеству и ассортименту железных находок весьма показателен могильник Сахарна I (Цыглэу), который был заложен на рубеже XI/X вв. или около 1000 г. до н. э. (см. Kašuba 2014: 152–154, fig. 5, 11, 17; 8, 3, 5; 13, 3; 17, 3).

Две археологически целые и еще одна найденная в обломках железные фибулы «северопонтийского» типа (тип VBF.II.1.A по Кашубе) обнаружены в погребениях III/1 и IV/1 рассматриваемого некрополя (рис. 4, 1). Важен факт присутствия в захоронении Сахарна I, III/1 вместе с фибулами украшений головы — пяти бронзовых колец для волос/кос (рис. 4, 13–17), которые типологически восходят к североиталийским и восточно-приальпийским образцам XI–IX вв. до н. э. Обычно бронзовые кольца с продольным рифлением считают браслетами (см. Дергачев 2012: 168 сл., ил. 9–10), однако это мнение не может быть принято, так как эти изделия имеют специфические характеристики (перехват

<sup>3</sup> В статье не рассматриваются данные по железу в других раннегалльштаттских культурных образованиях: Гава-Голиграды-Грэничешть, Кишинэу-Корлэтенъ и группе Тэмэоань-Холеркань-Ханска. Это связано как с местоположением памятников за пределами Северного Причерноморья (по ту сторону Карпат), так и неясными контекстами обнаружения находок (соответственно, широкими датировками предметов).

и шишечки на концах), отсутствующие у всех остальных браслетов. Напротив, в юго-восточной приальпийской зоне с конца XI в. и вплоть до VII в. до н. э. были весьма популярны бронзовые пластинчатые серьги и височные кольца с перехватом и шишечками на концах (Кабуца 2008: 212–214, Abb. 17). В пользу того, что эти изделия являются украшениями головы, говорят обстоятельства их обнаружения: в рассматриваемом захоронении Сахарна I, III/1, как и в погребении Сахарна II, III/1 (рис. 5, 2, 3), они были найдены возле головы погребенного (рис. 5, 1). Любопытно, что в последнем случае кольца для волос/кос находились возле головы мужчины<sup>4</sup>.

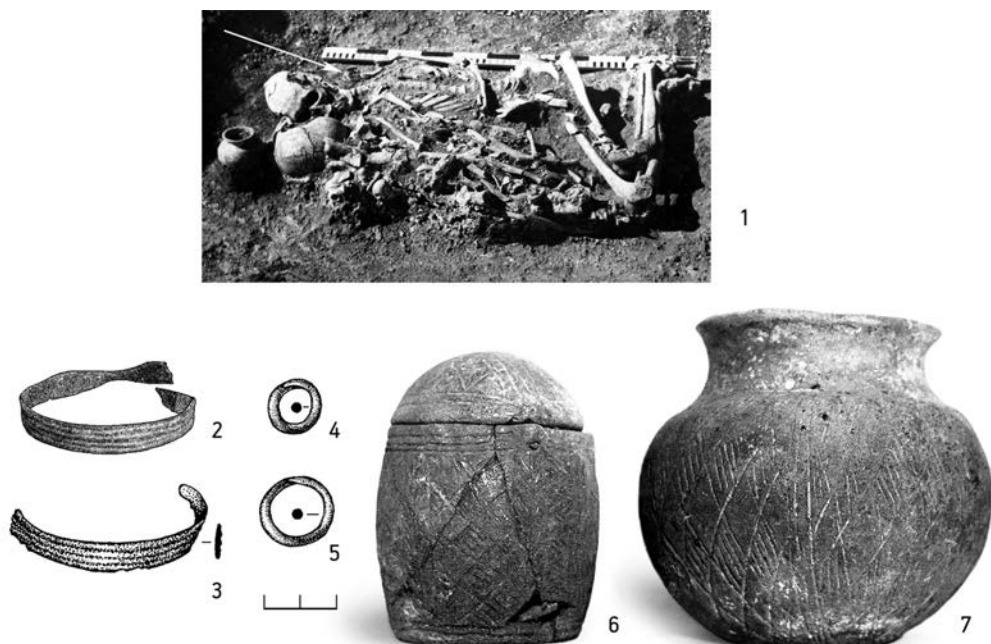


Рис. 5. Раннегалльштаттская культура Сахарна, могильник Сахарна II, погребение III/1: 1 — план погребения (стрелкой показано местоположение пластинчатых рифленых колец); 2–7 — погребальный инвентарь (2–5 — бронза; 6, 7 — обожженная глина)

Fig. 5. Early Halstatt culture of Sakharna, Sakharna II cemetery, burial III/1: 1 — plan (the arrow marks the position of ribbed rings); 2–7 — burial goods (2–5 — bronze; 6, 7 — fired clay)

В могильнике Сахарна I заслуживает внимания сравнительно большое число (восемь) находок из железа. Спектр железных предметов: орудия труда/оружие (ножи), предметы конского снаряжения (удила) и детали одежды (фибулы), — охватывает фактически все категории, когда производились новые изделия и удачно копировались в новом металле бронзовые прототипы. Среди раскопанных комплексов этого могильника половину (52%) составили металлоносные погребения (с бронзовыми, бронзовыми/железными и железными предметами), из них больше трети (36%) — это могилы с бронзовыми/железными и только железными изделиями. Приведенные данные и фактическое отсутствие случайных находок бронзовых изделий и кладов, синхронизированных

<sup>4</sup> Антропологический анализ был проведен М. С. Великановой.

с культурой Сахарна, показывают специфику депонирования металла, который закладывался в погребения, фактически не выпадал в виде случайных находок и не аккумулировался в кладах.

Культурная принадлежность рассматриваемого памятника, его насыщенность железными изделиями, как и весь комплекс данных по раннему железу в культуре Сахарна и других гальштаттских (карпато-дунайских) культурах региона, в том числе типологический анализ самих железных предметов, позволили мне сделать вывод о наличии в Северном Причерноморье, а точнее, в его западной лесостепной части или Восточном Прикарпатье, раннегальштаттской (карпато-дунайской) традиции железообработки (см. Кашуба 2013: 252–253). Ее корни уходят в Карпато-Подунавье, которое для Северного Причерноморья было важнейшим регионом, откуда шла передача технологии производства железа. Этот вывод имеет силу не только в случае раннегальштаттских культур, носители которых принесли новые технологии железообработки в Восточное Прикарпатье (Там же), но также и для населения белозерской культуры, железообработка которой была стимулирована западными влияниями (ср. Никитенко 1998: 46).

### **Новый материал в Северном Причерноморье — стекло**

Одновременно с железом в степях Северного Причерноморья появляется и новый материал — стекло (рис. 1, 4; 2, 3; 3, 2). Украшения из настоящего стекла найдены в комплексах авадовской группы (речь идет исключительно о позднебелозерской культуре) — это тысячи бус из 14 памятников (см. Kaiser, Kašuba 2016: Abb. 1). Среди трех известных типов преобладают миниатюрные кольцевидные одновитковые бусы (диаметром 0,4–0,8 см) бирюзового, глухого белого и красного цветов (рис. 2, 3; 3, 2). Два других типа представлены единичными экземплярами — это рубчатая, полихромная и глазчатая (рис. 1, 4) бусины.

В свое время В. А. Галибин и А. С. Островерхов проанализировали химический состав 73 миниатюрных бусин из нескольких памятников (Галибин 2001: 418 сл.; Островерхов 2001: 3 сл.; 2003: 406 сл.). Опираясь на полученные результаты (особый химический состав, распространение в степной зоне Северного Причерноморья и бытование в XI–X вв. до н. э.), они высказали идею о существовании в конце бронзового века в Северном Причерноморье местной «белозерской» школы стеклоделия (Галибин 2001: 74–75; Островерхов 1986: 48 сл.; 2001: 3 сл.). Современные аналитические данные по синхронным материалам из Средней Европы подтверждают эту гипотезу. Оказалось, что химический состав белозерских миниатюрных бус аналогичен смешанно-щелочному стеклу. Они производились в позднем бронзовом веке Средней Европы, в частности, в северной Италии (Фраттезина ди Ровиго) работали мастерские по производству стекол такого же химического состава (Angelini et al. 2004: 1175–1184; Bellintani 2011: 257–282; 2015: 17 ff.).

### **Инновации и трансферт идей/технологий на исходе бронзового века в Северном Причерноморье**

Новшества глубоко укоренились в культуре Северного Причерноморья. Изделия из новых материалов, как и сами новинки, нередко присутствовали в одном и том же погребении (рис. 1, 4, 7; 2, 3; 3, 2, 3). В свое время В. П. Ванчугов

выделил стандартный обряд белозерского захоронения и выявил группы богатых и рядовых погребений. Богатые могилы отличались высотой и диаметром кургана, крупными размерами погребальных камер и количеством инвентаря. Обычными атрибутами богатых погребений являются украшения, в том числе височные кольца, фибулы, браслеты из бронзы, серебра и золота, стеклянные и янтарные бусы (Vančigov 1996: 306; Ванчугов 1996: 23–24; 1997: 154–167; 2004: 67–77). Считается, что в XI в. до н. э. в среде белозерского общества выделилась социальная верхушка (Ванчугов 1997: 164; Otroščenko 1998: 353 ff.; Отрощенко 2001: 180 сл.; Otroshchenko 2003: 336 ff.). Новшествами-атрибутами одной из групп населения с высоким социальным статусом были одежда с фибулой и ожерелье, состоящее большей частью из стеклянных бус (Kašuba 2008: Abb. 2, 1, 7; 5, 2, 5, 9, 13; 6, 2, 4, 9, 10; 7, 2, 3, 10; 11). Как же могли появиться эти новинки?

Проанализированные данные дают основание полагать, что состоялся трансферт идей/технологий и импорт костюма из северной Италии в Северное

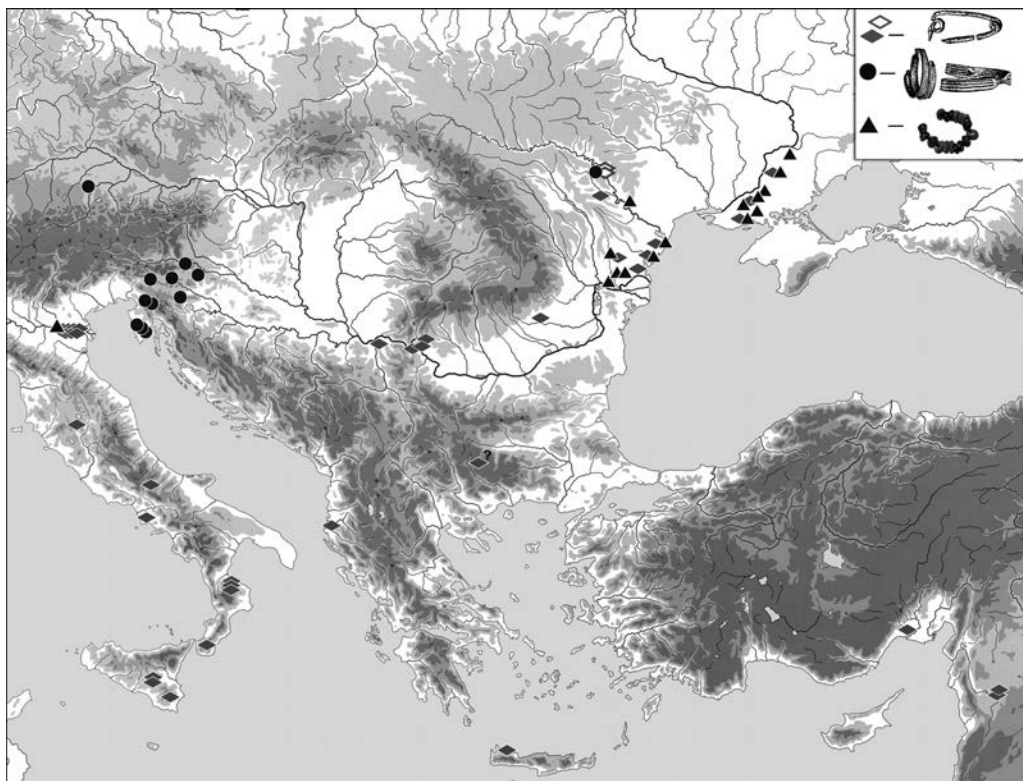


Рис. 6. Европа, включая Северное Причерноморье, и Средиземноморье около 1000 г. до н. э. — распространение смычковых двуспиральных фибул, пластинчатых рифленых колец (около 1000–700 гг. до н. э.) и смешанно-щелочных стеклянных бус (незакрашенный ромб при обозначении фибул — железо, остальные — бронза) (по: Kašuba 2008: Abb. 18, с дополнениями)

Fig. 6. Europe (including the North Black Sea region) and Mediterranean ca. 1000 BC — distribution of bowed double-spiral fibulae, ribbed rings (ca. 1000–700 BC) and mixed-alkali glass beads (unshaded rhomb stands for iron, all the rest is bronze) (after: Kašuba 2008: Abb. 18, with additions)

Причерноморье по трансдунайскому дальнему пути (рис. 6), проходившему от северо-востока Италии по р. Сава до Дуная и далее вдоль Дуная на восток (Ibid., 211, 214 ff.). В качестве сообществ-посредников могли выступить племена культуры Белегиш II/Кручень-Белегиш II, проживающие в районе Железных Ворот на Среднем Дунае, в среде которых известны ранние смычковые двуспиральные фибулы с прогнутой спинкой (типы VBFII.2.A и VBFII.2.B по Кашубе). Их продвижение на восток начиная с конца XIII в. до н. э. привело к появлению в Восточном Прикарпатье культуры Кишинэу-Корлэтеу и способствовало трансферту идеи жесткого крепления одежды или самой одежды, в частности, на поселении Лукашеука II найдена смычковая фибула с прогнутой спинкой, тип VBFII.2.B по Кашубе (Левицкий, Кашуба 2014: 253–256).

Дальние контакты означали перемещение идей, вещей и, в конечном итоге, людей. Исходным регионом инноваций могла быть северная Италия, как в случае с простыми смычковыми фибулами и кольцами для волос, так и в случае стеклянных бус. Именно там, в нижнем течении р. По (Фраттезино ди Ровиго) работали мастерские по производству изделий из смешанно-щелочного стекла, а также известны серии простых смычковых фибул (рис. 6).

Северного Причерноморья эти новшества достигли во второй половине — конце XI в. до н. э.: в одних комплексах встречены как стеклянные бусы с фибулами, в том числе из железа (рис. 2, 2, 3; 3, 2, 3), так и фибулы с кольцами для волос (рис. 4, 1, 13–17), а для упомянутого выше погребения Степной III/1 (с глазчатой бусиной) имеется уточненная радиоуглеродная дата  $Ki\ 982: 108 \pm 78$  лет до н. э. В финале бронзового века, несмотря на упадок металлообработки, активно велись технологические поиски, кризис стимулировал техническое развитие. Выработка и обработка железа, как и производство настоящего стекла, требовали новых технологий и новых навыков. Как видно, производство стекла было налажено сравнительно быстро, настоящее железо (сталь) стали выработывать позднее (см. Шрамко и др. 1977: 63 сл., 72; Никитенко 1998: 37 сл.; Терехова, Эрлих 2002: 134 сл.; Завьялов, Терехова 2016: 206 сл.). Сравнительно высокий уровень северопонтийской металлообработки позднего бронзового века способствовал принятию и внедрению мастерами новинок в местное производство. Трансферт новых идей/технологий осуществлялся отдельными группами населения, в среде которого явно присутствовали мужчины, носившие плащи/накидки с фибулой на левом плече, ожерелья и кольца для волос. Они продвинулись на восток в общей канве того динамичного состояния и мобильности, в котором около 1000 г. до н. э. находилось население древней Европы в преддверии новой эпохи: века железного. Вследствие стимулированной трансформации в Северном Причерноморье появились местная железообработка и «белозерская» школа стеклоделия.

## Литература

- Бочкарёв В. С. 2017. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на юге Восточной Европы // SP 2, 159–204.
- Бочкарёв В. С., Кашуба М. Т. 2017. Между бронзой и железом // Носов Е. Н. и др. (ред.). Принципы датирования в бронзовом, железном веках и в средневековье. Мат-лы русско-германского коллоквиума. СПб.: СПбГУ (в печати).
- Ванчугов В. П. 1996. О социальной структуре населения белозерской культуры (по материалам погребальных памятников) // Древнее Причерноморье. III чтения

- памяти проф. Петра Осиповича Карышковского, 12–14 марта 1996 года. Одесса, 23–24.
- Ванчугов В. П. 1997. Погребальный обряд белозерской культуры Северо-Западного Причерноморья (опыт социальной реконструкции) // Булатович С. А. (ред.). Археология и этнология Восточной Европы. Мат-лы и исследования (сб. науч. работ, посвященный 60-летию В. Н. Станко). Одесса: Гермес, 154–167.
- Ванчугов В. П. 2004. Фибулы белозерской культуры // Давня історія Карпато-Дунайського ареалу та суміжних регіонів (Carpatica-Carpatika 31). Ужгород, 59–77.
- Галибин В. А. 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: ИИМК РАН.
- Горбенко К. В., Гошко Т. Ю. 2010. Металеві вироби з укріпленого поселення доби фінальної бронзи «Дикий сад» // Археологія 1, 77–85.
- Дергачев В. 2012. Новые комплексы и единичные находки металлических предметов поздней бронзы — раннего гальштатта на территории Республики Молдова // RA VIII (1–2), 161–181.
- Завьялов В. И., Терехова Н. Н. 2016. К проблеме перехода от эпохи бронзы к эпохе железа (технологический аспект) // КСИА 242, 199–211.
- Кашуба М. Т. 1989. Новое поселение типа Сахарна-Солончены в лесостепной Молдавии // Виноградов Ю. Г. (ред.). Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тезисы докладов всесоюзной конф., посвященной 90-летию проф. Б. Н. Гракова. Запорожье, декабрь 1989. Запорожье: Изд-во Запорожского ун-та, 59–60.
- Кашуба М. Т. 2000. Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (культура Козия-Сахарна) // SP 3, 241–488.
- Кашуба М. Т. 2013. «Ускользающее» железо, или Переход к раннему железному веку в Восточном Прикарпатье // РАЕ 3, 233–257.
- Никитенко Н. И. 1998. Начало освоения железа в белозерской культуре // РА 3, 36–47.
- Левицкий О. Г., Кашуба М. Т. 2014. Финал эпохи бронзы в Карпато-Подунавье: культурно-исторический ландшафт и его восточные (прикарпатские) рубежи // Алёкшин В. А. (ред.). Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти Вадима Михайловича Массона (03.05.1929–19.02.2010). СПб.: ИИМК РАН: Арт-Экспресс, 240–270.
- Островерхов А. С. 1986. Стекло легендарных киммерийцев // Химия и жизнь 4, 48–51.
- Островерхов А. С. 2001. Склярство білозерського часу // Археологія 2, 3–21.
- Островерхов А. С. 2003. Древнейшее археологическое стекло Восточной Европы (конец IV тыс. до н. э. — первая половина VII в. н. э.) // SP 2 (2001–2002), 386–430.
- Отрощенко В. В. 2001. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-стратиграфічні зіставлення). Київ: Наукова думка.
- Паньков С. В. 2014. Стародавня чорна металургія на території України. Частина 1. Передскіфський і скифо-античний період. Київ: ІА НАН України.
- Терехова Н. Н., Эрлих В. Р. 2002. К проблеме перехода к раннему железному веку на Северном Кавказе. Две культурно-исторические традиции // Носкова Л. М. (ред.). Материальная культура Востока. Вып. 3. М.: Государственный Музей Востока, 134–152.
- Шрамко Б. А., Фомин Л. Д., Солнцев Л. А. 1977. Начальный этап обработки железа в Восточной Европе (доскифский период) // СА 1, 57–74.
- Agulnikov S. 1996. Necropola culturii Belozerka de la Cazaciia. București: IRT.
- Angelini I., Artioli G., Bellintani P., Diella V., Gemmi M., Polla A., Rossa A. 2004. Chemical analyses of Bronze Age glasses from Frattesina di Rovigo, Northern Italy // Journal of Archaeological Science 31, 1175–1184.
- Bellintani P. 2011. Progetto “Materiali vetrosi della protostoria italiana”. Aggiornamenti e stato della ricerca // Rivista di Scienze Preistoriche LXI, 257–282.
- Bellintani P. 2015. Bronze Age Vitreous Materials in Italy // Lazar I. (Ed.). Annales du 19<sup>e</sup> congrès de l’association internationale pour l’histoire du Verre (Piran 2012). Koper, 15–21.



- Jung R.* 2006. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ COMPARATA — Vergleichende Chronologie von Südgriechenland und Süditalien von ca. 1700/1600 bis 1000 v. u. Z. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.
- Kaiser E., Kašuba M.* 2016. Die vorgeschichtlichen Glasobjekte der Bronzezeit im nördlichen Schwarzmeergebiet. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick // Zancu A. et al. (Hrsg.). Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur frühen Eisenzeit im Nördlichen Eurasien (Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava). Chișinău: Nat. Museum of History of Moldova, Freie Univ. Berlin, 145–161.
- Kašuba M.* 2008. Die ältesten Fibeln im Nordpontus. Versuch einer Typologie der einfachen Violinbogenfibeln im südlichen Mittel-, Süd- und Südosteuropa // EA 14, 193–231.
- Kašuba M.* 2014. Capitolul IV. Necropola Saharna I (Țiglău) și locul ei în studierea practicilor funerare a comunităților culturii Saharna (în baza rezultatelor cercetărilor efectuate de G. D. Smirnov și G. P. Sergheev în anul 1950) // Niculiță I., Niciu A. Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Țiglău. Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, "Bons Offices", 127–156, 398–423.
- Otrošchenko V.* 1998. Die Westbeziehungen der Belozerka-Kultur // Hänsel B., Machnik J. (Hrsg.). Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000–500 v.Chr.). Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 353–360.
- Otroshchenko V. V.* 2003. Radiocarbon chronology of the bilozerka culture — based on barrows near the village of Zapovitne (the "Stepnoy" cemetery) // Baltic-Pontic Studies 12, 336–364.
- Vančugov V. P.* 1996. Das Ende der Bronzezeit im nördlichen Schwarzmeergebiet. Die Belozerka-Kultur // EA 2, 287–309.
- Weninger B., Jung R.* 2009. Absolute Chronology of the End of the Aegean Bronze Age // Deger-Jalkotzy S., Bächle A. E. (eds.). LH III C Chronology and Synchronisms III. LH III Late and the transition to the Early Iron Age: Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup>, 2007. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 373–416.

## Новые исследования поселений с «зольниками» эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье<sup>1</sup>

**Резюме.** В данной статье публикуются предварительные результаты комплексных археологических и междисциплинарных исследований «зольников» эпохи поздней бронзы. Исследования проводились в 2003–2008 гг. Национальным музеем истории Молдовы, Кишинев, и Свободным университетом Берлина. Их результаты позволили сделать ряд выводов не только о модели образования и функциональности «зольников», но и о хозяйственной системе, существовавшей у носителей культуры Ноуа.

**Ключевые слова:** Буджакская степь, эпоха поздней бронзы, «зольники», археологические и междисциплинарные исследования, ландшафтная археология.

**E. Sava, E. Kaiser, M. Sirbu, E. Mistreanu. New works at the Late Bronze Age settlements with “ashmounds” in the Prut-Dniester interfluvium.** This article presents the preliminary results of the interdisciplinary research project aimed at the study of the Late Bronze Age “ashmounds” in the southern part of the Prut-Dniester interfluvium. The research was carried out in 2003–2008 by the National Museum of History of Moldova, Chisinau, and Freie Universität Berlin. The first results make it possible to draw a number of conclusions regarding the formation and functions of the ashmounds, as well as economic system practiced by the Noua culture people.

**Keywords:** Budzhak steppe, Late Bronze Age, “ashmounds”, archeological and interdisciplinary research, landscape archaeology.

В эпоху поздней бронзы на огромной территории от Восточной Трансильвании на западе до Нижнего Поднепровья на востоке и от Верхнего Поднестровья на севере до Нижнего Подунавья на юге сформировалась группа археологических культур, известная в археологической литературе как комплекс культур Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень (рис. 1).

В настоящее время однородность данного комплекса признается большинством исследователей, так как памятники типа Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень имеют между собой явное сходство. Аналогии им опознаваемы и в предшествующих культурах среднего периода бронзового века Карпато-Подунавья, и особенно евразийских степей, которые, вероятно, и составили генетическую основу данного комплекса.

Одним из основных диагностических элементов поселений комплекса культур Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень являются «зольники»<sup>2</sup>, функциональность

<sup>1</sup> Проект будет реализован в течение трех лет (2016–2018) Институтом доисторической археологии Свободного университета в Берлине (координатор д. и. н. Э. Кайзер) и Национальным музеем истории Молдовы в Кишиневе (координатор д. и. н. Е. Сава). Финансирование проекта осуществляется Немецким научным фондом Александра фон Гумбольдта.

<sup>2</sup> Термин «зольник» далее используется нами для светлых пятен, плоских или невысоких, хотя составляющий их субстрат в действительности не содержит золу как таковую

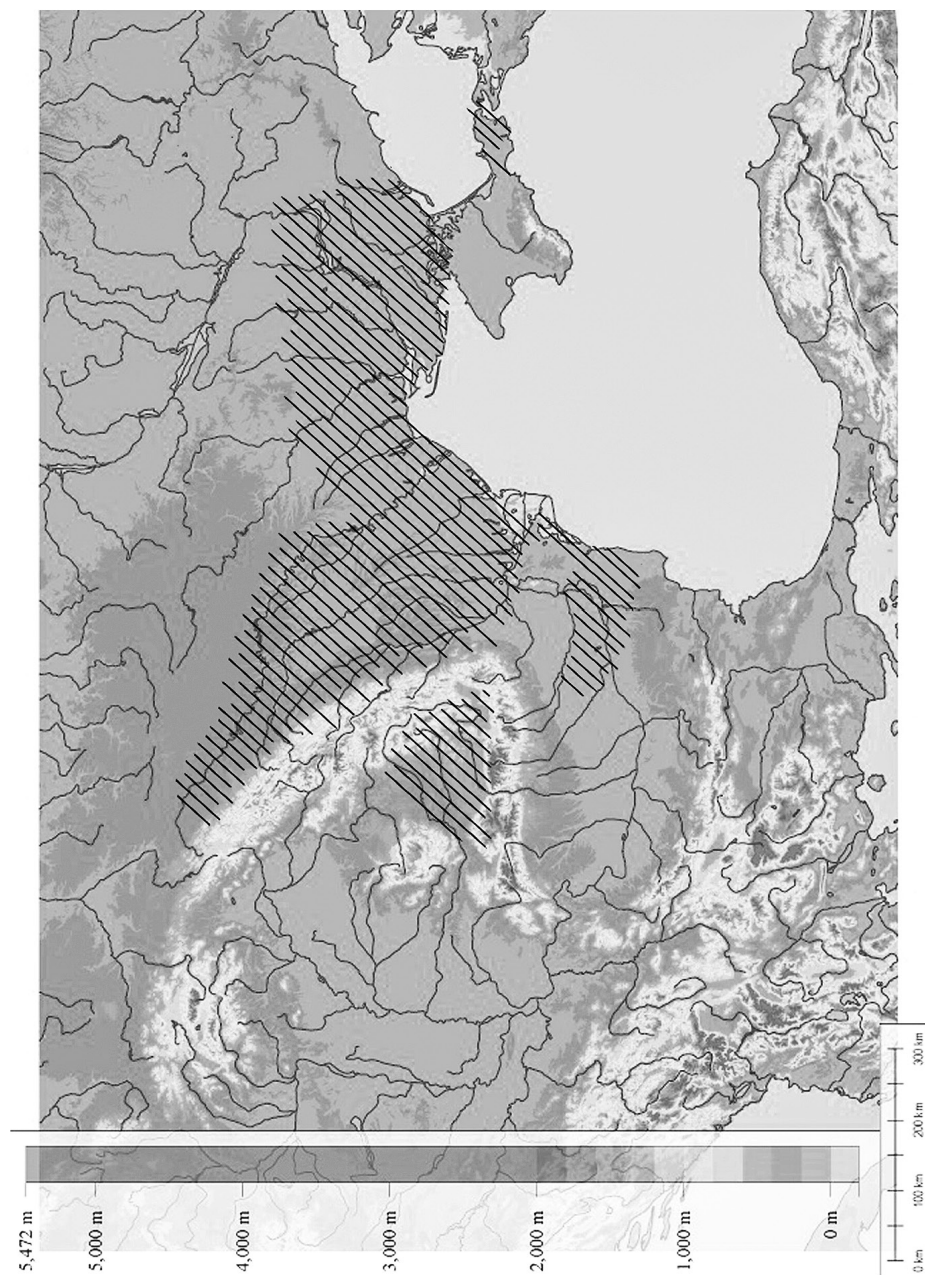


Рис. 1. Ареал комплекса культур Ноуа-Сабатиновка-Кослодженъ  
Fig. 1. Distribution area of the Noua-Sabatinoanca-Coslogeni cultures

и значение которых длительное время остаются предметом дискуссий<sup>3</sup>. Однако «зольники» известны и в других культурах позднего периода эпохи бронзы, и последующих культурах Северного Причерноморья (Березанська 1970; Березанская 1982; 1985; Sava 1998; 2005a; Гершкович 1997; 2004; 2009; Сава, Кайзер 2011). Ареал, в пределах которого в определенные, но необязательно в непрерывно последовательные периоды, встречаются такие «зольники», простирается и от Южного Урала до Восточного Казахстана, где они известны в основном в культурах андроновской культурно-исторической общности (Корочкова 1999; Sava 2005a; Корочкова 2009; Сава, Кайзер 2011). В Индии по региональной периодизации «зольники»-всхолмления датируются эпохой неолита, то есть 3000–1200 гг. до н. э. (Johansen 2004).

Археологические исследования поселений с «зольниками» в Пруто-Днестровском междуречье начались еще в 50-х гг. XX столетия. В 1956 и 1957 гг. А. И. Мелюкова провела раскопки на нескольких поселениях с «зольниками» культуры Ноуа возле сел Гиндешть и Рошетичий Векь. Именно тогда она впервые установила, что помимо территории Румынии культура Ноуа была также распространена и в лесостепной зоне Пруто-Днестровского междуречья (Мелюкова 1961: 6–34). Согласно данным А. И. Мелюковой, в начале 60-х гг. было известно всего 22 поселения культуры Ноуа (Мелюкова 1961: 6–7, карта).

В последующие несколько десятилетий в лесостепной части рассматриваемого региона благодаря интенсивным разведкам были обнаружены сотни поселений культуры Ноуа. В настоящее время их насчитывается более 200, а с учетом поселений культуры Сабатиновка, распространенных в степной части, общее число поселений в Пруто-Днестровском междуречье, относящихся к культурному комплексу Ноуа-Сабатиновка-Кослодженъ, превышает 400 местонахождений (рис. 2).

Некоторые из поселений культуры Ноуа с «зольниками» были частично раскопаны. Это Остривец (Балагурі 1963; 1964; 1968), Магала (Смирнова 1957; 1969; 1972; 1978; Smirnova 1993), Слобозия-Ширеуць, Костешть (Дергачев 1969; 1982; 1986), Кобыльня, Петрушень (Демченко, Левицкий 1992; Levitskii, Sava 1993; Sava 1994; Sava, Leviți 1995), Булбоака (Борзияк, Кашуба 1990), Фетешть (Larina, Sîrbu 2014).

На одном из поселений культуры Ноуа (Одая-Мичурин) были проведены комплексные археологические и междисциплинарные исследования<sup>4</sup>. В течение пяти сезонов на поселении Одая-Мичурин на площади более 2200 м<sup>2</sup> методами различных дисциплин проводились исследования четырех «зольников» и, частично, окружавшего их пространства. На поселении были выявлены и нанесены на карту 25 «зольников»-всхолмлений высотой от 0,3 до 0,5 м и диаметром от 10 до 45 м. Однако вероятно, что поселение состояло из большего количества «зольников», так как на аэрофотоснимках видны скопления более 40 светлых пятен (Сава, Кайзер 2011: 28–47).

(Сава, Кайзер 2011: 10). Поскольку такое название традиционно используется в специальной литературе, мы также используем этот термин, но в кавычках (Гершкович 1997: 11–14).

<sup>3</sup> Более подробно, в том числе и исчерпывающий библиографический список, см. Sava 2005a; Сава, Кайзер 2011.

<sup>4</sup> Исследования проводились в течение пяти лет (2003, 2005–2008) специалистами Института доисторической археологии Свободного университета в Берлине (координатор д. и. н. Э. Кайзер) и Национальным музеем археологии и истории Молдовы в Кишиневе (координатор д. и. н. Е. Сава). Финансирование проекта было предоставлено Немецким исследовательским обществом и Национальным музеем археологии и истории Молдовы.

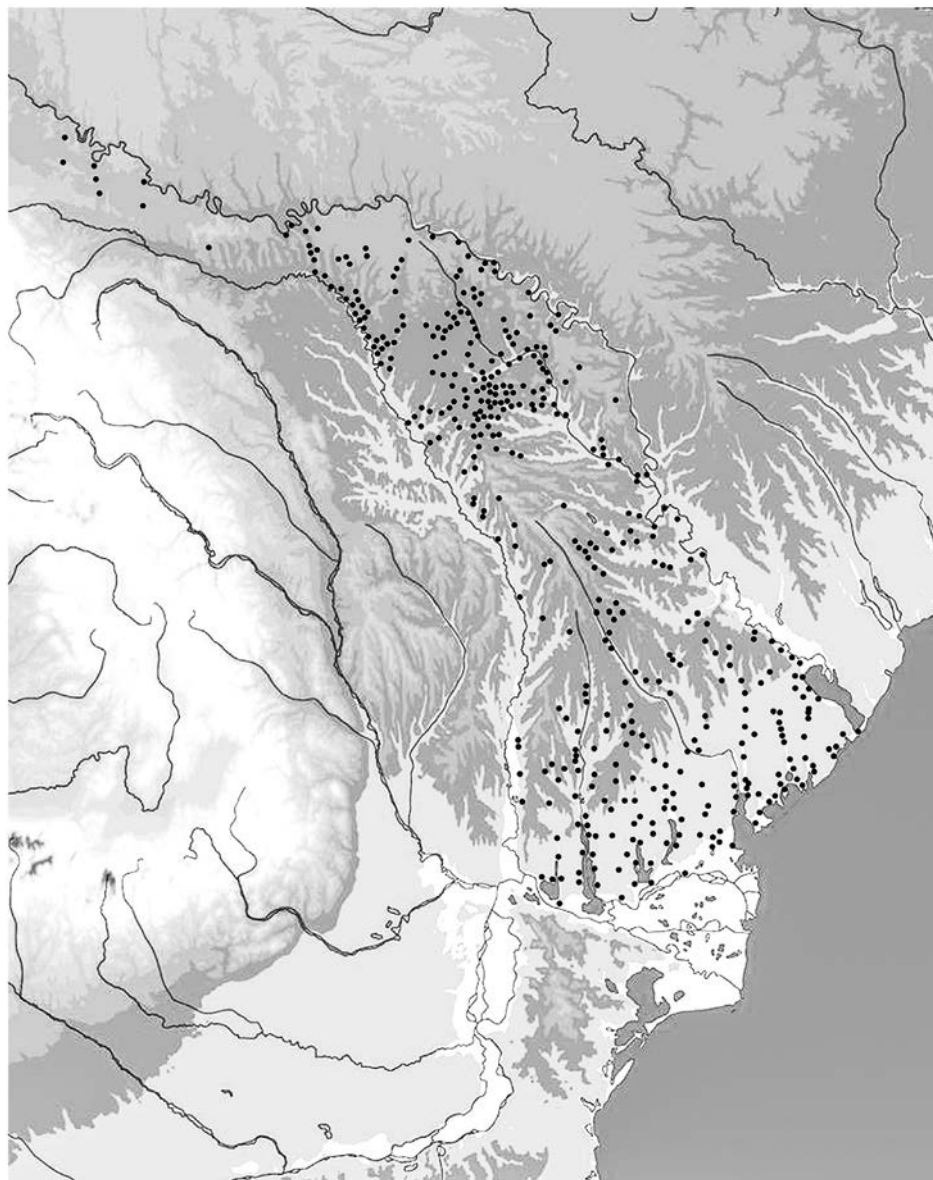


Рис. 2. Распространение поселений культуры Ноуа-Сабатиновка в Пруто-Днестровском междуречье  
Fig. 2. Distribution of the Noua-Sabatinovka settlements between the Prut and Dniester Rivers

Помимо открытых при раскопках артефактов были получены пробы для проведения антропологических, палеозоологических, палеоботанических (флорация грунта), геохимических и педологических анализов. Также был сделан химический анализ проб почвы, глиняной обмазки, шлаков и керамики. Значительной серией — в размере двадцати, были представлены образцы для радиоуглеродного датирования (Сава, Кайзер 2011: 378–397, 507–525). Проведение комплексных археологических и междисциплинарных исследований позволило сделать ряд надежных выводов не только о модели образования и функциональности «зольников», но и о хозяйственной системе, существовавшей у носителей культуры Ноа (Kaiser, Sava 2006; Сава, Кайзер 2011; Сава 2011; Sava 2014). Также было установлено, что в некоторых микрорегионах существовала исключительно высокая плотность поселений с «зольниками» культуры Ноа (Sava, Sîrbu 2009). Однако это не является свидетельством так называемого демографического взрыва в эпоху поздней бронзы, как предполагалось ранее (Sava 1998). Многочисленность поселений с «зольниками» культуры Ноа можно объяснить периодическим изменением места поселения с целью восстановления истощенных пастбищ (Сава, Кайзер 2011: 443–446). Учитывая радиоуглеродные даты (Kaiser, Sava 2009; Сава, Кайзер 2011), согласно которым поселения с «зольниками» культуры Ноа просуществовали не менее 300 лет (между 1400 и 1100 cal BC), можно предположить, что жилищно-хозяйственные подворья перестраивались многократно (Сава, Кайзер 2011: 421).

Исходя из результатов раскопок поселения Одая-Мичурин и других поселений можно сделать вывод, что во всем ареале культуры Ноа наиболее типичными являются только два типа жилищ — углубленные и наземные постройки, которые, вероятно, сооружались из жердей и глины. Остатки таких жилищ в виде овальных или прямоугольных площадок из необожженной глины были обнаружены на многих поселениях культуры Ноа на территории Румынии (Florescu, Căpitanu 1968; 1969; Florescu, Florescu 1990; Florescu 1991; Sava 2005a). Практически ни в одном «зольнике» культуры Ноа не были обнаружены каменные конструкции, аналогичные тем, которые часто встречаются на поселениях культуры Сабатиновка. Возможно, конструкция из плитчатых камней на поселении Гиндешть является исключением. По мнению А. И. Мелюковой, под «зольником» № 4 и вокруг него существовала каменная ограда (Мелюкова 1961: 12, рис. 3). Но, судя по полевым чертежам и фотографиям из отчетов, была обнаружена только часть каменной конструкции, которая, возможно, являлась остатками наземного жилища с каменным основанием. Более определенные выводы в данном случае сделать сложно, так как это сооружение не было раскопано полностью (Сава, Кайзер 2011: 175).

Для культуры Сабатиновка, особенно в восточной части ее ареала, наиболее характерны наземные жилища, у которых нижняя часть состоит из каменной кладки. Такие сооружения были обнаружены на поселениях Сабатиновка, Федоровка, Виноградный Сад, Змеевка, Новоразаново-I, Вовниги (Шарафутдинова 1968: 25–26; 1982: 18–38, рис. 2/8, 10–12), Степовое, Вершина (Ильинка), Анатолевка, Черевичное (Черняков 1985: 33–39, рис. 8/10; Клюшинцев 1997: 51–52; Елисеев 1997: 42–43; Елисеев, Клюшинцев 1997: 43–49; Черниенко 1997: 71–72). В западной части ареала культуры Сабатиновка такие сооружения малочисленны (Черняков 1985: 36, рис. 9; Тоцев, Черняков 1986: 120; Елисеев, Клюшинцев 1997: 43; Клюшинцев 1997: 51; Черниенко 1997: 71–72; 2000: 483–504; Черниенко, Елисеев 2009: 73–78). В то же время только на некоторых

поселениях культуры Сабатиновка были обнаружены глинобитные наземные жилища (Добровольский 1952: 78–88; Шарафутдинова 1968: 20 и сл.; 1982: 18 и сл.; Черняков 1985: 32; Sava 2005a: 84).

Изучение памятников комплекса культур Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень последние 15 лет шло весьма активно. Накоплен новый материал, правда, в основном для поселений и могильников культуры Ноуа из лесостепной части Пруто-Поднестровья (Sava 2002a; 2005a; 2005b; Kaiser, Sava 2006; Сава, Кайзер 2011; Сава 2011; Sava 2014), который, если не дает ответ на все вопросы, все же раскрывает новые грани ранее высказанных гипотез или же порождает совершенно новые вопросы. В то же время одной из самых сложных «старых проблем» является вопрос генезиса культур в отдельности или всего комплекса Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень в целом. Однако для решения этих вопросов необходимы новые исследования, так как в отличие от памятников культуры Ноуа, как поселения, так и погребальный обряд культуры Сабатиновка и Кослоджень изучены недостаточно.

Лишь незначительная часть поселений культуры Сабатиновка, расположенных в Пруто-Поднестровье, была раскопана. Причем небольшими площадями — Мерень (Sava 2002b), Бэлэбэнешть (Никулицэ, Каврук 1986), Калфа (Чеботаренко 1964), Кэушень (Агульников, Левинский 1990), Комрат (Рафалович, Черняков 1982), Кукоара (Бейлекчи 1974), Чалык (Агульников 2006), Молога (Черняков 1984), Трихатки (Тощев 1976), Новоселица, Болград (Черняков 1985) и др. Обобщающих работ по этой теме мало (Черняков 1985; Дергачев 1986; Gerškovič 1999; Ванчугов 2000; Sava, Agulnikov 2003; Gershkovich 2003; Ванчугов 2013), а междисциплинарные исследования вообще не проводились<sup>5</sup>. Между тем, без таких исследований невозможно определить, каковы различия между топографией и планиграфией поселений, типами жилищ, конструктивными элементами «зольников» культуры Ноуа и «зольниками» культуры Сабатиновка, а также хронологией и типом экономического уклада этих сообществ.

Возможно, что феномен «зольников» это локальное явление. Основное количество поселений с «зольниками» распространено в юго-западной части Северного Причерноморья. В предгорной части Восточных Карпат и в Трансильвании такие поселения редки. Также малоизвестны они и в восточном ареале культуры Сабатиновка.

В топографии и инфраструктуре поселений и жилищ культур Ноуа и Сабатиновка можно выделить много общих черт. Тем не менее, между ними есть и существенные различия (Sava 2005a: 67–69, 103). Поселения культуры Ноуа состоят из «зольников», являющихся остатками легких построек хозяйственного и жилого назначения, в конструкции которых в изобилии присутствовала глиняная обмазка и органика. На большинстве же поселений культуры Сабатиновка «зольники» не зафиксированы<sup>6</sup>. Вероятно, это объясняется не только степенью изученности, но и локальными традициями в строительстве жилых и хозяйственных сооружений. На поселениях культуры Сабатиновка для строительства жилищ и хозяйственных построек применялся в основном камень, что особенно типично для восточной части ее ареала. Практически все исследователи указывают

<sup>5</sup> Исключением является монография М. Пиеняжек, где автор систематизировал и интерпретировал все известные данные по археозоологии и археботанике (Pieniażek 2012: 49–58).

<sup>6</sup> Сабатиновская и срубная культуры: проблема взаимосвязей Востока и Запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов первого Всесоюзного полевого семинара. 10–18 сентября 1990 г. (Киев; Николаев; Южноукраинск, 1997).

на преобладание на этих поселениях остатков каменных и каменно-глинобитных конструкций (Клюшинцев 1997: 49–52; Елисеев 1997: 42–43; Елисеев, Клюшинцев 1997: 43–49; Черниенко 1997: 71–72; 2000: 483–504; Sava 2005a: 67–69, 103). Для поселений культуры Сабатиновка выделяются несколько типов планировки (Черниенко, Елисеев 2009: 73–78; Pieniążek 2010: 141–147). Однако раскопки в большинстве случаев производились небольшими площадями и поэтому очень сложно достоверно реконструировать общую планировку. Во многих работах указывается, что для поселений культуры Сабатиновка наиболее характерно каменное домостроительство и уличная планировка. В одной из работ (Sava 2005a: 84–88, 93–101) это положение было тщательно рассмотрено и сделан вывод о явно преувеличенном значении существования в культуре Сабатиновка каменных домов и протоурбанистических поселений (Черняков 1985: 36–39, рис. 10).

Считаем возможным предположить, что «золяники» связаны функционально с каменными сооружениями и одновременны с ними. На многих поселениях культуры Сабатиновка, расположенных в Поднепровье, нет явно видимых на поверхности «золяников»<sup>7</sup>. Однако в некоторых публикациях отмечено, что на однослойных памятниках культурный слой позднего периода эпохи бронзы обычно залегает на глубине 0,4–1,2 м, выделяется золистым цветом и насыщен большим количеством костей (Шарафутдинова 1982: 15). На поселении Ушкалка в результате делювиальных процессов «золяники» оказались перекрыты толстым слоем грунта и были обнаружены только в процессе раскопок (Телегин 1961: 3, 9; Шарафутдинова 1982: 15). Надо отметить, что в большинстве публикаций, посвященных раскопкам поселений культуры Сабатиновка, отсутствуют стратиграфические профили, но в тексте культурный слой описывается как «золистый» слой толщиной 0,6–0,8 м, содержащий кости животных и керамику (Бураков 1961: 26)<sup>8</sup>. И. Н. Шарафутдинова указывает, что на поселении Чикаловка на распаханном поле выделяются два ряда желто-пепельных пятен неправильной формы, в которых находятся кости животных и керамика (Шарафутдинова 1964: 153, рис. 1). Размеры этих пятен не указываются, однако, исходя из контекста, культурный слой буро-пепельного цвета толщиной 0,4–0,6 м, вероятно, является «золянком». На поселении Болград каменные постройки, расположенные двумя рядами, сочетались с «золянками» (Черняков 1966: 102, рис. 42; 1985: 36–37; Тощев, Черняков 1986: 120). Судя по опубликованному плану «золяника» Новоселица, под ним располагалась каменная конструкция, напоминающая каменные постройки культуры Сабатиновка (Тощев, Черняков 1986: 120–121, рис. 3). Каменные постройки и «золяники» известны также по раскопкам на поселениях Анатольевка (Погребова, Елагина 1962: 8–10), Вороновка (Ванчугов и др. 1991: рис. 3) и Сабатиновка (Добровольский 1952: 84–85). Во многих случаях отмечено, что и каменная кладка в обилии содержала «золистый» грунт.

С нашей точки зрения это указывает на то, что в восточной части ареала культуры Сабатиновка наряду с каменными сооружениями существовали

<sup>7</sup> М. Пиеняжек обобщила данные для поселений культуры Сабатиновка в степной области между Дунаем и Днепром и сделала вывод, что лишь одна шестая часть этих поселений сопровождается «золянками» (Pieniążek 2012: 164, Tab. 31). М. Пиеняжек также подчеркивает наличие очень скудных данных по всхолмлениям в отчетах по раскопкам и публикациях, что препятствует их полноценному анализу (Pieniążek 2010: 143, Fussnoten 37; 2012: 153–168).

<sup>8</sup> И. Н. Шарафутдинова, опубликовав план раскопок Буракова на поселении Змеевка, описывает только остатки каменных построек, но ничего не пишет о существовании «золистого» слоя (Шарафутдинова 1982: 41).



и каркасно-плетеные, обмазанные глиной сооружения. Также необходимо отметить, что, вероятно, верхняя часть стен каменных построек, типичных для поселений культуры Сабатиновка, также состояла из деревянных каркасов, обмазанных глиной, или же они были покрыты органическими материалами — соломой, камышом и пр. (Sava 2005a: 93; Pienązek 2010: 143–145, Abb. 8; 2012: 82–98, Abb. 20).

Возможно, что многокамерные сооружения на поселениях культуры Сабатиновка, и особенно те, в которых использовался камень, являются свидетельством определенной последовательности их сооружения, как и в случае с нашим аналогичным предположением относительно углубленных и наземных сооружений на подворьях, существовавших в культуре Ноуа. М. Пиеняжек указывает на мнение о якобы существующем противоречии между наличием многокамерных сооружений на сезонных поселениях, с одной стороны, и менталитетом мобильных обществ, которые не нуждались в таких сооружениях, с другой. Она попыталась опровергнуть данное противоречие посредством примеров из этнографии Луристана (Pienązek 2010: 147). Возможно, наша модель последовательности строительства подворья при условии его многократного переустройства и периодичности заселения подворья (Сава, Кайзер 2011: 422–458) может быть применена и для поселений культуры Сабатиновка. Но для этого необходимы дополнительные исследования и убедительные доказательства.

Все обозначенные выше проблемы явились основанием для разработки концепции проекта комплексного археологического и междисциплинарного исследования поселений культуры Сабатиновка, расположенных в степной зоне Пруто-Поднестровья.

Основная задача проекта заключается в установлении наличия или отсутствия общих элементов (топография, внутренняя планировка, конструктивные элементы «зольников», типы жилищ, хозяйственная система) между поселениями культуры Ноуа, расположенными в лесостепной зоне, и поселениями культуры Сабатиновка, расположенными в степной зоне Пруто-Днестровского региона.

Поскольку поставленная задача не может быть решена исключительно на основе археологического материала, то наряду с археологическими артефактами необходимо использовать результаты междисциплинарных исследований — археозоологии, палеоботаники, геохимии, педологии, радиоуглеродного датирования и пр.

Для изучения была выбрана только самая южная часть Пруто-Днестровского региона — Буджакская степь<sup>9</sup>, так как она является наименее исследованной.

Первый этап исследования (март-апрель 2016) предусматривал детальные полевые разведки с целью определения современного состояния сохранности поселений культуры Сабатиновка, которые были обнаружены и картографированы ранее, определения поселений, перспективных для топографической и геомагнитной съемок и проведения в дальнейшем на отдельных поселениях археологических и междисциплинарных исследований. Для этого была собрана вся доступная нам информация из полевых отчетов о раскопках и разведках, данные из публикаций, а также некоторые спутниковые изображения (рис. 3).

<sup>9</sup> Буджак — историческая область на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Прута и Днестра. Включает в себя часть дельты Дуная. На востоке омывается Черным морем. На севере историческая граница Буджака проходила по Верхнему Траянову валу. Ныне включает в себя южные районы Молдавии и юго-западную часть Одесской области Украины.



2

Рис. 3. Спутниковые изображения расположения поселений: 1 — Казаклия II; 2 — Тараклия «Гайдабул»  
Fig. 3. Satellite image with locations of settlements: 1 — Cazaclia II; 2 — Taraclia "Gaidabul"

Собранные данные были использованы для создания карты региона, на которой было учтено более 50 поселений (рис. 4). Основная часть этих поселений располагается вдоль долины реки Ялпуг и ее притоков. Археологическими разведками было проверено 51 поселение. Из них только 20 были идентифицированы как поселения культуры Сабатиновка. Также установлено, что некоторые поселения были ошибочно выделены и картографированы ранее не как одно единое, а как несколько поселений. Ошибочно, поскольку концентрация материалов на одной и другой стороне оврага или ручья не является доказательством существования двух или более поселений на компактном пространстве от 5 до 10 гектаров. Необходимо отметить, что ни на одном из этих поселений, проверенных полевой разведкой, визуально «зольники» обнаружены не были. Но на этих поселениях были собраны многочисленные фрагменты керамики (рис. 5) и орудия из камня (рис. 6), которые явно относятся к культуре Сабатиновка.



Рис. 4. I — распространение поселений эпохи поздней бронзы в микрорегионе Буджакской степи; II — топографическое расположение поселений: 1 — Казаклия II; 2 — Тараклия «Гайдабул»  
Fig. 4. I — distribution of settlements in the Budjak steppe micro-region; II — topographical location of settlements: 1 — Cazaclia II; 2 — Taraclia "Gaidabul"

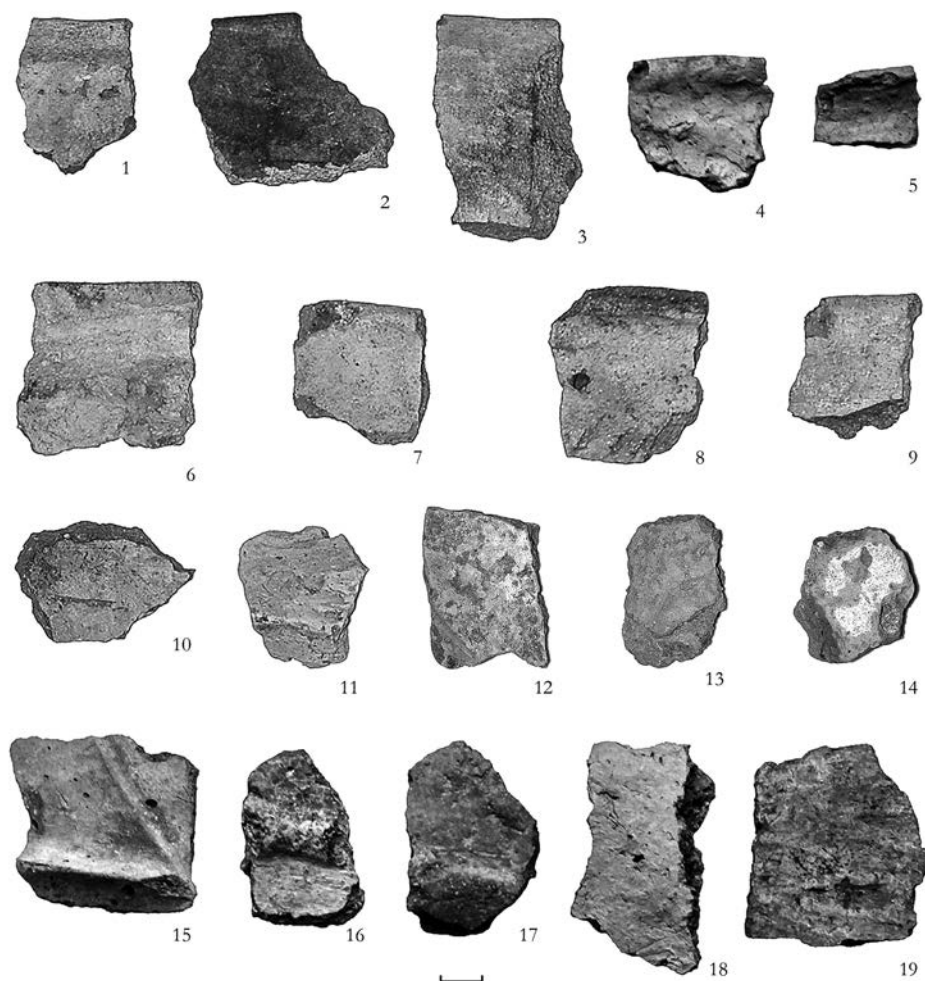


Рис. 5. Фрагменты керамики культуры Сабатиновка: 1–3 — Казакля IV; 4, 5, 15–19 — Димитрова I; 6–9 — Конгаз «Карасу»; 10, 11 — Албота де Жос I; 12–14 — Казакля III  
 Fig. 5. Fragments of Sabatinovka pottery: 1–3 — Cazaclia IV; 4, 5, 15–19 — Dimitrova I; 6–9 — Congaz “Karasu”; 10, 11 — Albota de Jos I; 12–14 — Cazaclia III

Также идентифицированы и проверены еще 12 поселений, которые ранее были отнесены к эпохе поздней бронзы, но материалов культуры Сабатиновка нами там обнаружено не было. Остальные 19 поселений найти не удалось, так как, по-видимому, они оказались полностью разрушены в процессе строительства ирригационных систем или интенсивных сельскохозяйственных работ в 80–90-х гг. прошлого столетия<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Не исключено, что некоторые из этого числа поселений еще реально существуют, но в марте-апреле 2016 г. многие участки уже были покрыты всходами различных сельскохозяйственных культур и поэтому определить наличие или отсутствие артефактов было невозможно.

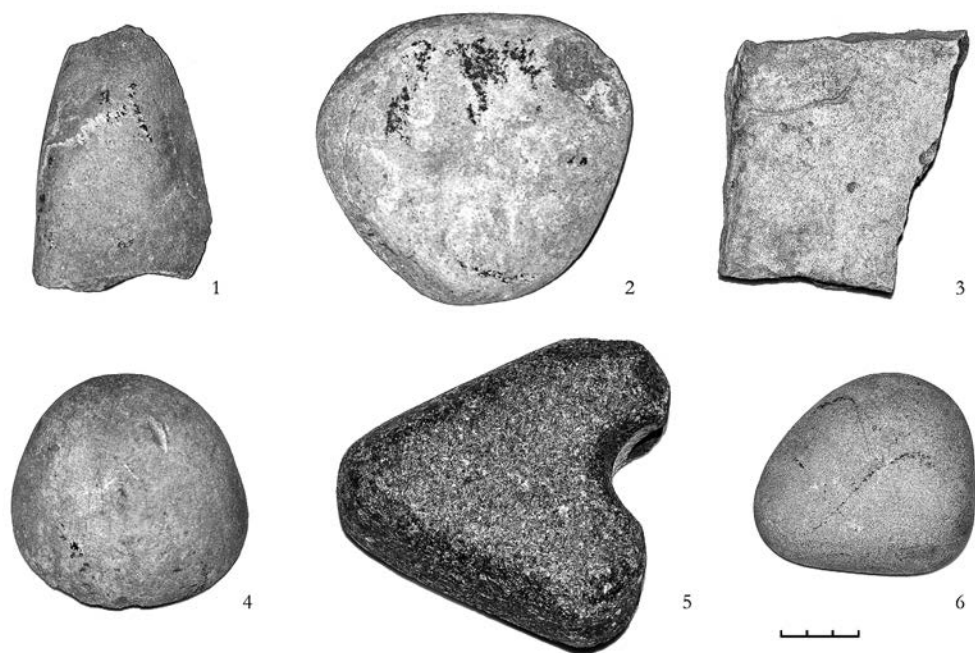


Рис. 6. Каменные орудия: 1, 2 — Казаклия III; 3 — Гайдар I; 4 — Самурза I; 5 — Кирсова I  
Fig. 6. Stone tools: 1, 2 — Cazaclia III; 3 — Gaidar I; 4 — Samurza I; 5 — Chirsova I

Второй этап исследования (октябрь 2016) предусматривал проверку только тех поселений, которые были выявлены весной 2016 года как перспективные для археологического и междисциплинарного исследования. Для окончательного решения о целесообразности работ на некоторых из них были произведены небольшие раскопки.

**Казаклия II.** Поселение расположено на пологом склоне правого берега Лунгуца и занимает площадь около 64 000 м<sup>2</sup> (рис. 4: 1; 7: 1). Весной 2016 года на этом поселении во время разведки на вспаханном участке были обнаружены и собраны более 30 фрагментов крупного сосуда типа пифоса, сконцентрированных на площади около 1,5 м<sup>2</sup> (рис. 8: 1). Для проверки места этих находок осенью 2016 был заложен шурф 4 × 4 м (рис. 8: 4). На глубине 20 см была выявлена концентрация фрагментов, происходящих от разных глиняных сосудов (рис. 8: 2–3). На этой же глубине был зафиксирован круглый контур ямы диаметром 1,2 м. Яма имела глубину не более 40 см от уровня современной поверхности (рис. 8: 5). В заполнении ямы от уровня обнаружения и до самого дна находились вперемешку фрагменты (более 600) от не менее чем десяти глиняных сосудов различного размера. При этом преобладают фрагменты от крупных сосудов типа «пифосов», в том числе многие со следами вторичного обжига (рис. 8: 7, 9; 9). В яме были также обнаружены многочисленные фрагменты обожженной глины (рис. 8: 8), древесный уголь (рис. 8: 5) и карбонизированные зерна (рис. 8: 6), которые были взяты как образцы для последующего анализа.



Рис. 7. 1 — Казаклия II, вид с юга; 2 — Тараклия «Гайдабул», вид с востока; 3–4 — топографическая и геомагнитная съемка; 5 — географическая разведка; 6 — процесс взятия проб почвы из ямы шурфа № 2

Fig. 7. 1 — Cazaclia II, view from the south; 2 — Taraclia "Gaidabul", view from the east; 3–4 — topographical and geomagnetic survey; 5 — geographic exploration; 6 — collecting soil samples from the pit in trench no. 2

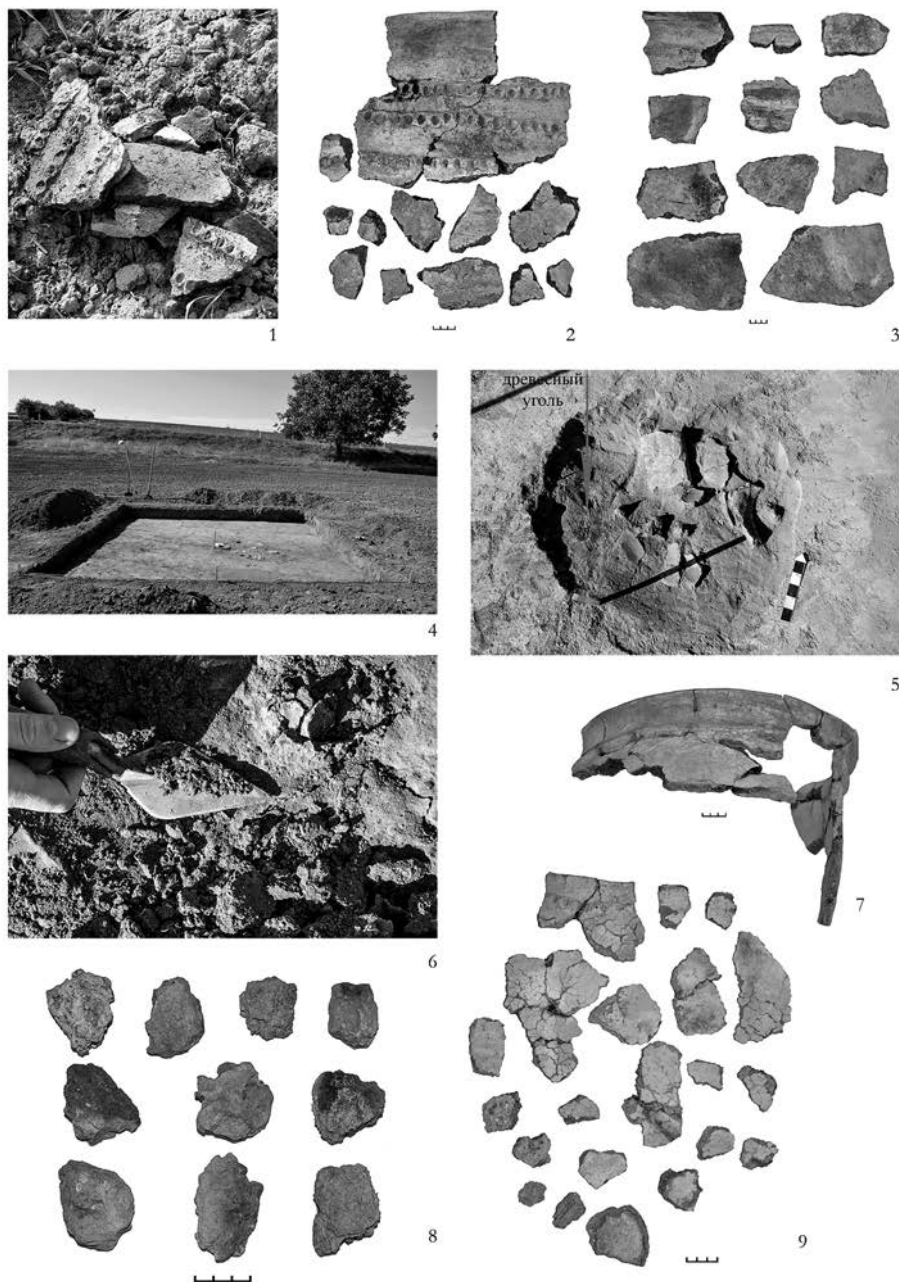


Рис. 8. Казаклия II: 1–3 — скопление фрагментов керамики на поверхности; 4 — шурф; 5 — яма; 6 — обугленные зерна; 7 — фрагментированный сосуд из ямы; 8 — фрагменты обожженной глины; 9 — развал сосуда со следами вторичного обжига

Fig. 8. Cazaclia II: 1–3 — concentration of pottery fragments on the surface; 4 — trench; 5 — pit; 6 — charred grain; 7 — fragmentary vessel from the pit; 8 — fragments of baked clay; 9 — broken vessel with traces of secondary firing

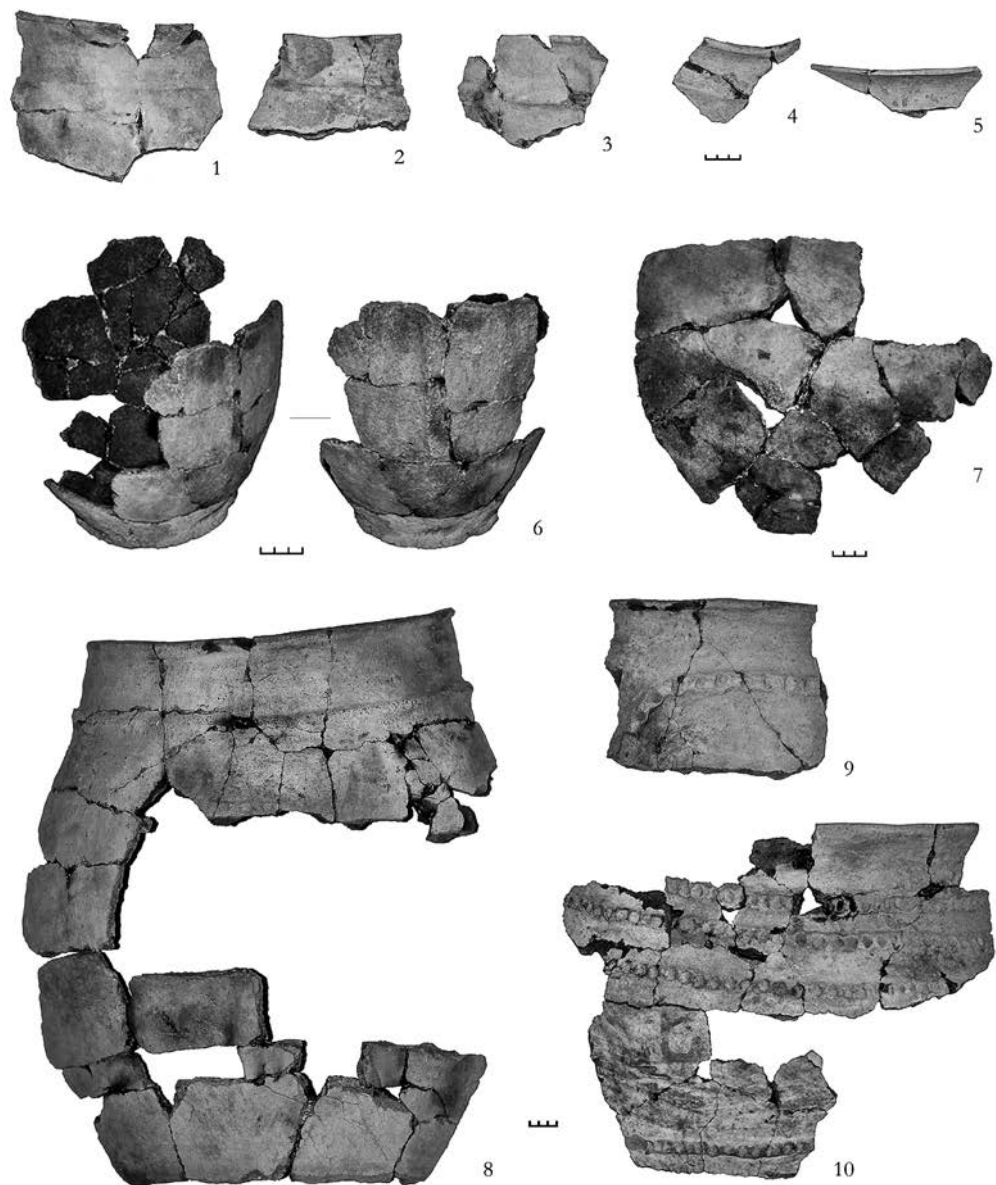


Рис. 9. Казаклия II, фрагментированные сосуды из ямы  
Fig. 9. Cazaclia II. Fragmentary vessels from the pit



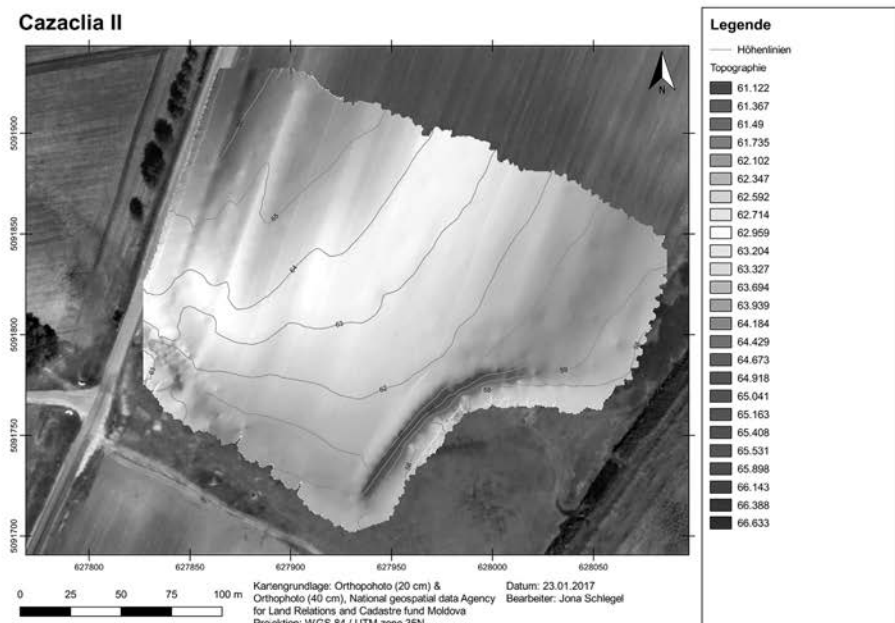
Предварительные определения, выполненные С. Янсом (Вюнсдорф, Бранденбургское отделение по охране памятников), показали, что остатки зерен относятся к *ячменю обыкновенному*. Некоторые зерна были отправлены в лабораторию радиоуглеродных исследований (Познань) для датирования, однако результаты нам еще не известны. Тем не менее, учитывая, что зерна происходят из закрытого комплекса, в котором были обнаружены исключительно материалы эпохи поздней бронзы, нет сомнения, что они относятся ко времени существования культуры Сабатиновка. Для макроботанических остатков, обнаруженных в закрытых комплексах эпохи поздней бронзы Северного Причерноморья, радиоуглеродный анализ зерен *ячменя обыкновенного* будет выполнен впервые. Необходимо отметить, что до настоящего времени макроботанические остатки на поселениях Ноуа-Сабатиновка встречались очень редко. Проведенное в лаборатории университета г. Киль изучение растительных материалов, полученных в ходе флотации грунта при раскопках «зольников» на поселении Одая-Мичурин, показало, что большинство ботанических остатков относятся к просу обыкновенному (Сава, Кайзер 2011: 360, табл. 19).

На поселении Казаклия II во время студенческой практики по ландшафтной археологии была произведена топографическая (рис. 10: 1) и частичная геомагнитная съемка (рис. 10: 2) с использованием дифференциальной ГИС-системы. Одновременно в западной части поселения, в непосредственной близости от места обнаружения большого скопления фрагментов керамики и заложенного шурфа, для определения степени концентрации находок на поверхности поселения была произведена разведка и фиксация всех находок с помощью тахиометра. Результаты этой фиксации, а также их сопоставление с аномалиями, выявленными по данным геомагнитной съемки в восточной части поселения, еще находятся в процессе обработки. Однако можно отметить, что, исходя из видимых на плане аномалий, на основе произведенных ранее геомагнитных съемок на большой площади поселения культуры Ноуа Одая-Мичурин все же невозможно определить точно, как и на поселении Казаклия II, в действительности ли соответствуют эти аномалии «зольникам» (Сава, Кайзер 2011: 28–31). Окончательные выводы можно будет сделать только после детального анализа результатов произведенной геомагнитной съемки на этом поселении.

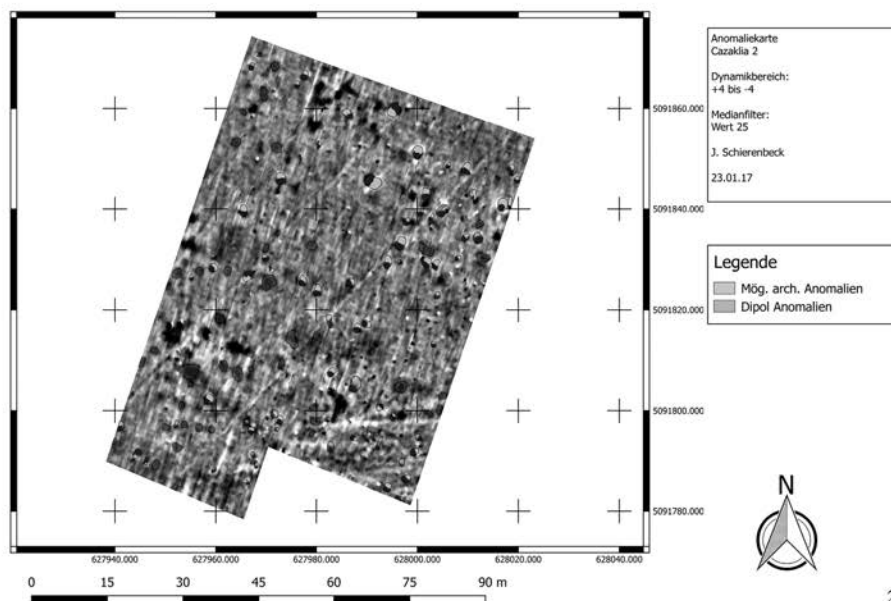
**Тараклия «Гайдабул».** Поселение расположено на возвышенности левого берега ручья Гайдабул (рис. 4: 2; 7: 2). На нераспаханной поверхности общей площадью более 40 000 м<sup>2</sup> были собраны предметы из камня и кости, а также фрагменты керамики, уверенно определяемые как относящиеся к культуре Сабатиновка. Были заложены два шурфа.

Шурф № 1 (4 × 4 м) заложен в месте, где, согласно произведенной на площади более 320 м<sup>2</sup> геомагнитной съемке, были зафиксированы некоторые аномалии (рис. 11: 2). Однако следов каких-либо сооружений в этом шурфе выявлено не было, и почти никаких находок, кроме трех фрагментов керамики, он не дал.

Шурф № 2 (1,0...1,5 × 4 м) был заложен на краю обрыва, находящегося в западной части поселения. На этом участке весной и осенью 2016 года были собраны отдельные фрагменты керамики, несколько изделий из камня и кости, а также кости животных. После снятия верхнего слоя мощностью 20–25 см был выявлен грунт пепельного цвета, который имел мощность более 1 м, что явно указывает на то, что это остатки «зольника». Раскопанная часть «зольника» (рис. 12) содержала многочисленные фрагменты керамики (рис. 13, 14), предметы из кости (рис. 15) и камня (рис. 16), кости животных, а также большое количество камней, фрагментов обожженной глины и древесных углей. В шурфе был зафиксирован профиль ямы и контуры каменной конструкции (рис. 12).



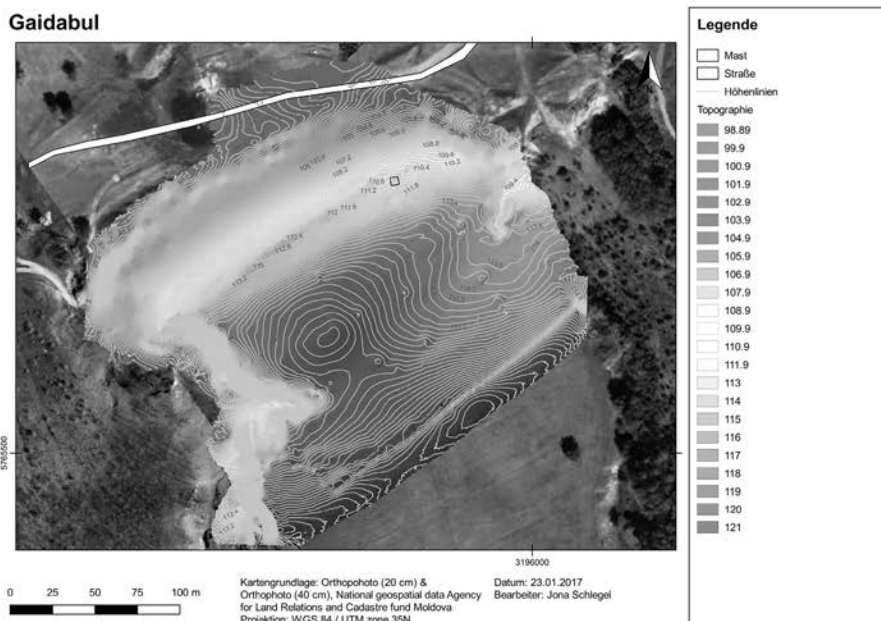
1



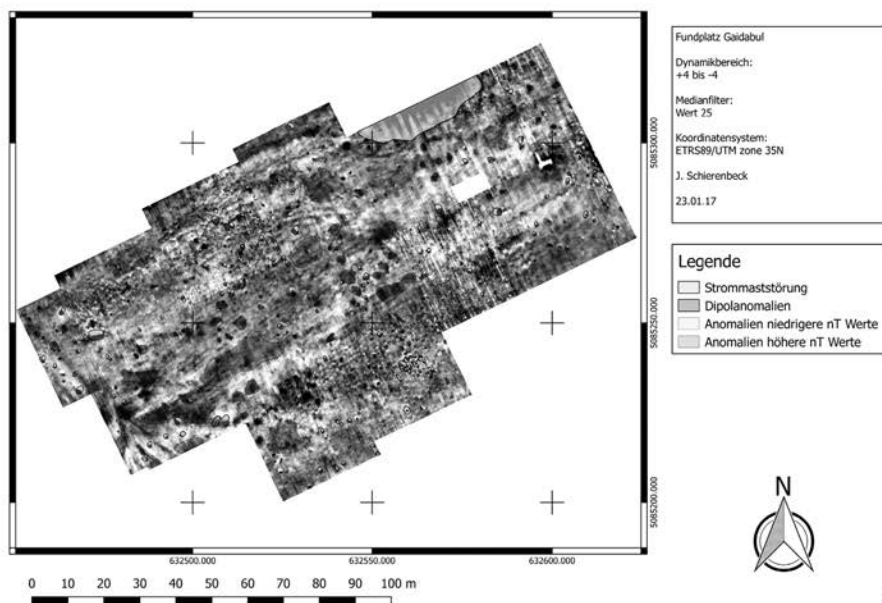
2

Рис. 10. Казаклия II: 1 — топографический план, совмещенный с планом ортофото; 2 — план геомагнитной съемки

Fig. 10. Cazaclia II: 1 — topographical plan combined with orthophotomap; 2 — plan of geomagnetic survey



1



2

Рис. 11. Тарақля «Гайдабул»: 1 — топографический план, совмещенный с планом ортофото; 2 — план геомагнитной съемки

Fig. 11. Taraclia "Gaidabul": 1 — topographical plan combined with orthophotomap; 2 — plan of geomagnetic survey



Рис. 12. Тараклия «Гайдабул». Профиль шурфа № 2 (вид с запада) с местами взятия почвенных образцов

Fig. 12. Taraclia "Gaidabul". Profile of trench no. 2 (view from the west) with the places where the soil samples were taken

На поселении Тараклия «Гайдабул», расположенном на возвышенном плато (рис. 7: 2), во время уже упомянутой студенческой практики по ландшафтной археологии была произведена топографическая и геомагнитная съемка (рис. 7: 3–4; 11). На плане отчетливо видно, что плато в результате эрозионных процессов ограничено оврагами с двух сторон. Однако, учитывая, что обнаруженный в результате проведенных раскопок «зольник» расположен на краю плато, разрушенном эрозионными процессами, можно сделать вывод, что процесс эрозии произошел уже после существования здесь поселения эпохи поздней бронзы. Сотрудники Института геологии Свободного университета (Берлин) В. Бебермайер и Ф. Хелцман провели тщательный осмотр поселения и прилегающих к нему территорий (рис. 7: 5–6). В настоящее время все данные относительно процессов эрозии и седиментации грунта, собранные в небольшой долине ручья Гайдабул, еще обрабатываются.

Необходимо отметить, что проведение интенсивной археологической разведки и фиксация тахеометром находок, обнаруженных на современной поверхности поселения Тараклия «Гайдабул», были необязательны, так как площадь поселения давно не распаивается и сильно задернована. Однако на этом плато была проведена детальная топографическая и геомагнитная съемка, которая выявила многочисленные аномалии. К сожалению, эти аномалии пока невозможно интерпретировать однозначно, так же как невозможно и сделать окончательные выводы относительно их культурно-хронологической принадлежности. Тем не менее, геомагнитная съемка и полученный в результате нее план составляют определенную основу для выбора места дальнейших раскопок на этом поселении.

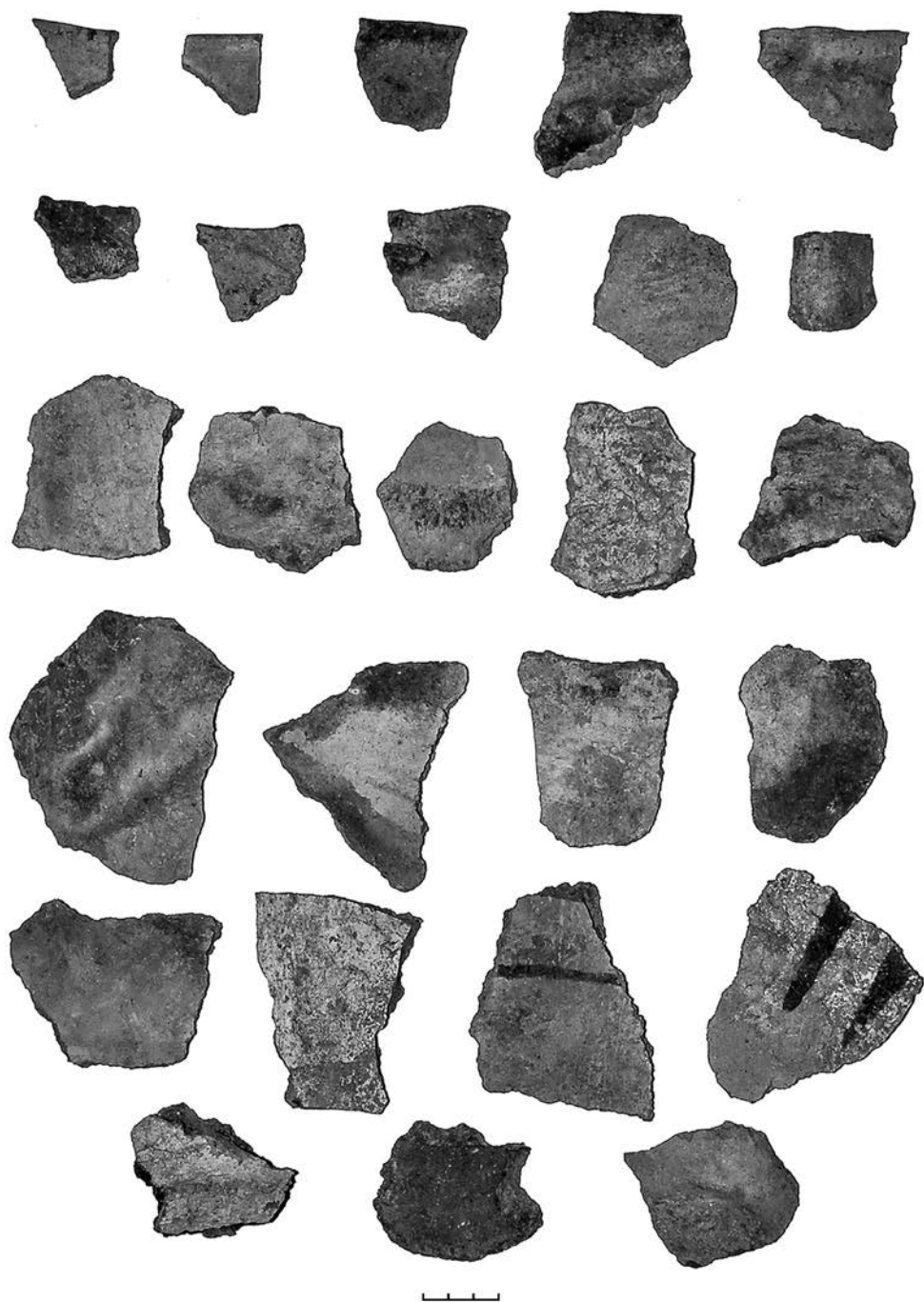


Рис. 13. Тараклия «Гайдабул». Шурф № 2. Фрагменты керамики  
Fig. 13. Taraclia "Gaidabul". Trench no. 2. Pottery fragments

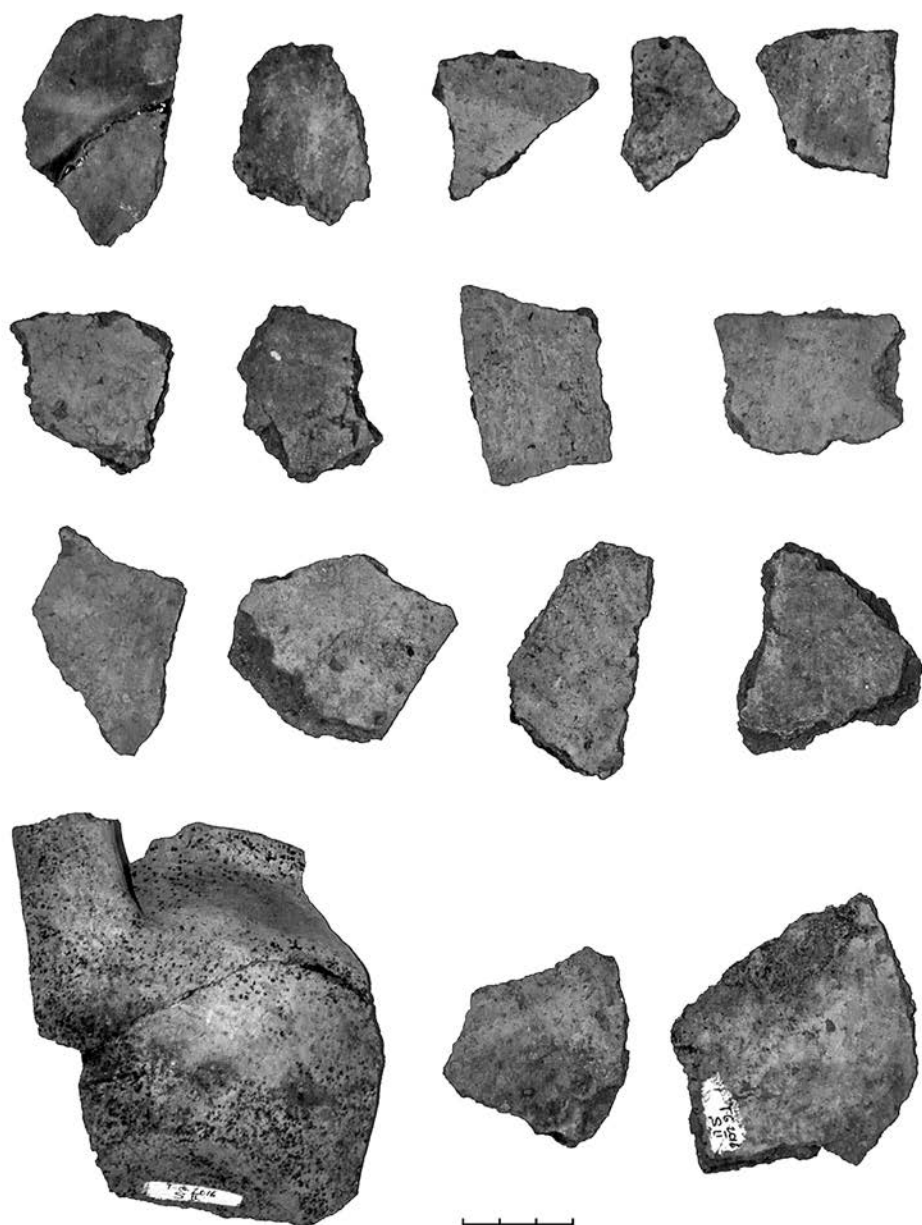


Рис. 14. Тараклия «Гайдабул». Шурф № 2. Фрагменты керамики  
Fig. 14. Taraclia "Gaidabul". Trench no. 2. Pottery fragments



Рис. 15. Тараклия «Гайдабул». Шурф № 2. Предметы из кости  
Fig. 15. Taraclia "Gaidabul". Trench no. 2. Bone objects

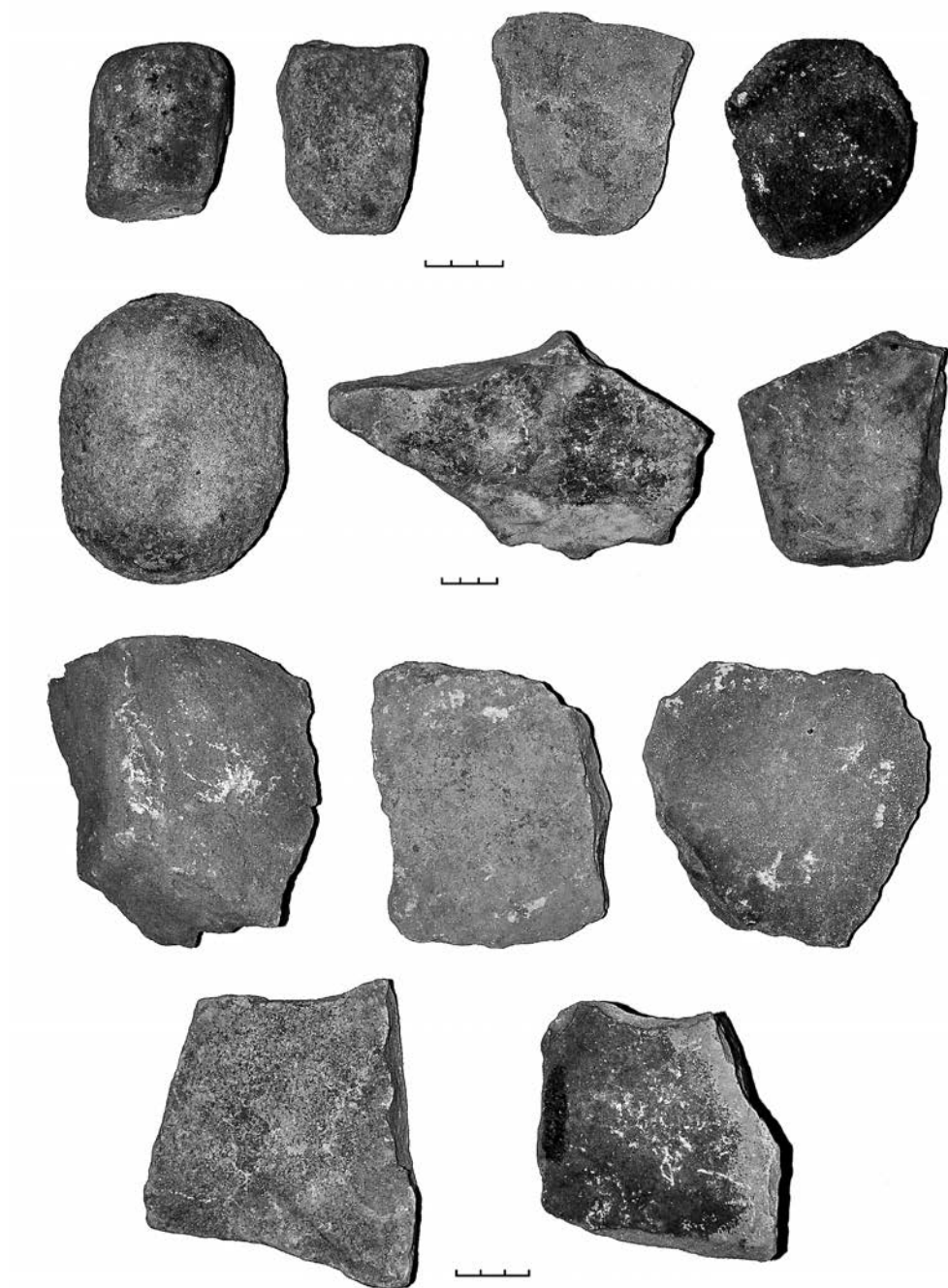


Рис 16. Тараклия «Гайдабул». Шурф № 2. Предметы из камня  
Fig. 16. Taraclia "Gaidabul". Trench no. 2. Stone objects



## Предварительные выводы

Междисциплинарные исследования и археологические раскопки, проведенные на первом этапе реализации нашего проекта, указывают на перспективность исследования поселений культуры Сабатиновка в Буджакской степи. В следующие два года основной акцент будет сделан на выявление и, по возможности, устранение «белых пятен» эпохи поздней бронзы в данном регионе. Притом что уже сейчас мы получили новые данные, возникли и новые вопросы, касающиеся структуры поселений и образа жизни носителей культуры Сабатиновка. В этом смысле довольно необычным является географическое расположение — на возвышенном плато — поселения с «зольниками» Тараклия «Гайдабул», а также наличие множества фрагментов от разных, но в основном очень крупных сосудов, обнаруженных в одной яме на поселении Казаклия II вместе с большим количеством зерен ячменя, древесных углей и глиняной обмазки.

Надеемся, что ответы на эти и многие другие вопросы мы найдем в процессе реализации следующих этапов нашего комплексного проекта изучения поселений с «зольниками».

## Литература

- Агульников С. М. 2006. Горизонт эпохи поздней бронзы поселения Чалык // Старожитності степового Причорномор'я і Криму XIII, 53–67.
- Агульников С. М., Левинский А. Н. 1990. Исследования на поселении у г. Кэушень // Кетрару Н. А. (ред.). АИМ в 1985 году. Кишинев: Штиинца, 73–89.
- Балагурі Е. А. 1964. Ливарні матриці з поселення пізньої бронзи біля с. Острівець, Івано-Франківської області // МДАПВ 5, 28–39.
- Балагурі Е. А. 1968. Поселення культури Ноа біля с. Острівець, Івано-Франківської області // Археологія 21, 135–146.
- Бейлекчи В. С. 1974. Исследования Гумельницкого поселения у с. Кокоара // Лапушнян В. Л. (ред.). АИМ в 1972 году. Кишинев: Штиинца, 51–66.
- Березанская С. С. 1982. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев: Наукова думка.
- Березанская С. С. 1985. Белогрудовская культура // Телегин Д. Я. (ред.). Археология Украинской ССР 1. Первобытная археология. Киев: Наукова думка, 499–512.
- Березанська С. С. 1970. Нове джерело до розуміння зольників білогрудівського типу. Археологія 24, 1970, 20–31.
- Борзьяк И. А., Кашуба М. Т. 1990. Исследования на поселении у с. Бульбока // Кетрару Н. А. (ред.). АИМ в 1985 году. Кишинев: Штиинца, 99–107.
- Бураков А. В. 1961. Поселення епохи бронзи біля с. Зміївка // АН УРСР 10, 26–39.
- Ванчугов В. П. 2000. Проблема погребального обряда сабатиновской культуры в Северо-Западном Причерноморье // Сминтина О. В. (ред.). Археология та етнологія східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових робіт присвячена 135-річчю Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 39–56.
- Ванчугов В. П. 2013. Сабатиновская культура // Бруяко И. В., Самойлова Т. Л. (ред.). Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (к 95-летию Национальной академии наук Украины). Одесса: СМІЛ, 293–315.
- Ванчугов В. П., Загинайло А. Г., Кушнир В. Г., Петренко В. Г. 1991. Вороновка II. Поселение позднего бронзового века в Северо-Западном Причерноморье. Киев: Наукова думка.
- Гершкович Я. П. 1997. Сабатиновско-ноические «зольники» // Доба бронзи Дно-Донецького регіону (мат-ли 3-го Українсько-Російського польового археологічного семінару). С. Капітановео Луганської області, 15–16 липня 1997 р. Киев; Воронеж; Перевальск, 11–15.

- Гершкович Я. П. 2004. Феномен зольников белогрудовского типа // РА 4, 104–113.
- Гершкович Я. П. 2009. Зольники белогрудовского типа — сложные монументальные структуры эпохи поздней бронзы // Чабай В. П. (ред.). Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. Мат-лы конф., посвященной 100-летию со дня рождения Сергея Николаевича Бибикова. 1–3 октября 2008 года. Алушта, Крым. Донецк: Донбас, 327–331.
- Демченко Т., Левицкий О. 1992. Исследования зольников культуры Ноа у станции Кобыльня // Кетрару Н. А. (ред.). АИМ в 1986 г. Кишинев: Штиинца, 120–135.
- Дергачев В. А. 1969. Поселение эпохи бронзы у с. Слободка-Ширеуць // Полевой Л. Л. (ред.). Далекое прошлое Молдавии. Кишинев: Штиинца, 110–122.
- Дергачев В. А. 1973. Памятники эпохи бронзы // Кетрару Н. А. (ред.). АКМ, вып. 3. Кишинев: Штиинца.
- Дергачев В. А. 1982. Материалы раскопок археологической экспедиции на Среднем Пруте (1975–1976 гг.). Кишинев: Штиинца.
- Дергачев В. А. 1986. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев: Штиинца.
- Добровольский А. В. 1952. Перше сабатинівське поселення // АН УРСР 4, 78–88.
- Елисеев В. Ф. 1997. Некоторые вопросы домостроительства эпохи поздней бронзы в степном Побужье // Ключинцев В. Н. (ред.). Сабатиновская и срубная культуры: проблемы взаимосвязей востока и запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов I всесоюзного полевого семинара 10–18 сентября 1990 г. Киев; Николаев; Южноукраинск: Информ-Центр, 42–43.
- Елисеев В. Ф., Ключинцев В. Н. 1997. Жилища сабатиновской культуры // Ключинцев В. Н. (ред.). Сабатиновская и срубная культуры: проблемы взаимосвязей востока и запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов I всесоюзного полевого семинара 10–18 сентября 1990 г. Киев; Николаев; Южноукраинск: Информ-Центр, 43–49.
- Ключинцев В. Н. 1997. Сабатиновская культура в Побужье (поселения и жилища) // Ключинцев В. Н. (ред.). Сабатиновская и срубная культуры: Проблемы взаимосвязей востока и запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов I Всесоюзного полевого семинара, 10–18 сентября 1990 г. Киев; Николаев; Южноукраинск: Информ-Центр Украины, 49–52.
- Корочкова О. Н. 1999. Новое в изучении зольников и погребальных комплексов эпохи поздней бронзы западной Сибири // Ковалева В. Т. (ред.). 120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чтения памяти Владимира Федоровича Генинга. Мат-лы археологической конф. 4.2: Новейшие открытия уральских археологов. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 57–63.
- Корочкова О. Н. 2009. О западносибирских зольниках эпохи поздней бронзы // РА 1, 25–35.
- Мелюкова А. И. 1961. Культуры предскифского периода в лесостепной Молдавии // МИА 96, 5–52.
- Никулицэ И. Т., Каврук В. И. 1986. Раскопки памятников бронзового века у с. Балабанешты // Борзияк И. А. (ред.). АИМ в 1982 г. Кишинев: Штиинца, 71–83.
- Погребова Н. Н., Елагина Н. Г. 1962. Работы в Тилигуло-Березанском районе в 1959 году // КСИИМК 89, 6–14.
- Рафалович И. А., Черняков И. Т. 1982. Комратское поселение эпохи бронзы // Ванчугов В. Я., Дзис-Райко Г. А. (ред.). Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 53–66.
- Сабатиновская и срубная культуры... 1997. Ключинцев В. Н. (ред.). Сабатиновская и срубная культуры: проблема взаимосвязей Востока и Запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов первого Всесоюзного полевого семинара. 10–18 сентября 1990 г. Киев; Николаев; Южноукраинск: Информ-Центр.
- Сава Е. Н. 2011. Новые данные о происхождении и функциональности «зольников» на поселениях эпохи поздней бронзы Юго-Восточной Европы // Макаров Н. А.,

- Носов Е. Н. (ред.). Труды III (XIX) всероссийского археологического съезда. Великий Новгород — Старая Русса. СПб.; М.; Великий Новгород, 273–274.
- Сава Е., Кайзер Э. 2011. Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова (Археологические и естественнонаучные исследования). Chişinău: Bons Offices.
- Смирнова Г. И. 1957. Поселение позднебронзового века и раннего железа возле с. Магала Черновицкой области // КСИА 70, 99–107.
- Смирнова Г. И. 1969. Поселение Магала — памятник древнефракийской культуры в Прикрапатье (вторая половина XIII — середина VII в. до н. э.) // Златковская Т. Д., Мелюкова А. И. (ред.). Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М.: Наука, 7–34.
- Смирнова Г. И. 1972. Новые исследования поселения Магала // АСГЭ 14, 12–31.
- Смирнова Г. И. 1978. Культурно-историческая стратиграфия поселения Магала // Столяр А. Д. (ред.). Проблемы Археологии 2. Сборник статей в память профессора М. И. Артамонова. Л.: ЛГУ, 68–72.
- Телегін Д. Я. 1961. Питання відносної хронології пам'яток пізньої бронзи Нижнього Подніпров'я // Археологія 12, 3–15.
- Тощев Г. Н. 1976. Поселение эпохи поздней бронзы Трихатки I // Першина З. В. (ред.). Археологические и этнографические исследования на территории Южной Украины. Киев: Наукова думка, 157–162.
- Тощев Г. Н., Черняков И. Т. 1986. Культурные зольники Сабатиновской культуры // Станко В. Н. (ред.). Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 115–138.
- Чеботаренко Г. Ф. 1964. Городище Калфа (по материалам раскопок 1959 года) // Зеленчук В. С., Рикман Э. А., Смирнов Г. А. (ред.). Материалы и исследования по археологии и этнографии МССР. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 197–209.
- Черниенко Ю. А. 1997. Общее и особенное в домостроительстве различных районов сабатиновской культуры // Ключинцев В. Н. (ред.). Сабатиновская и срубная культуры: проблемы взаимосвязей востока и запада в эпоху поздней бронзы. Тезисы докладов I всесоюзного полевого семинара 10–18 сентября 1990 г. Киев; Николаев; Южноукраинск: Информ-Центр, 71–72.
- Черниенко Ю. А. 2000. Некоторые итоги и проблемы изучения строительного дела на Сабатиновских поселениях Северо-Западного Причерноморья // SP 2, 483–504.
- Черниенко Ю. А., Елисеев В. Ф. 2009. Планировка сабатиновских поселений, ее ландшафтная и социально-демографическая обусловленность // Бруяко И. В. (ред.). Мат-лы по археологии Северного Причерноморья. 170 лет Одесскому обществу истории и древностей. 50 лет Одесскому археологическому обществу, вып. 9. Одесса: Печатный дом Фаворит, 73–78.
- Черняков И. Т. 1966. Слой поздней бронзы Болградского поселения // КСИА АН УССР 106, 99–105.
- Черняков И. Т. 1984. Керамика позднебронзового века из поселения Молога II // Дзис-Райко Г. А. (ред.). Новые археологические исследования на Одессчине. Киев: Наукова думка, 48–56.
- Черняков И. Т. 1985. Северо-Западное Причерноморье во второй половине II тыс. до н. э. Киев: Наукова думка.
- Шарафутдинова И. Н. 1964. Поселения эпохи поздней бронзы поблизу Кременчука // Археологія 17, 153–169.
- Шарафутдинова И. Н. 1968. К вопросу о сабатиновской культуре // СА 3, 16–34.
- Шарафутдинова И. Н. 1982. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев: Наукова думка.
- Florescu A. C. 1991. Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole // Cultură și civilizație Dunărea de Jos 9. Călărași.

- Florescu M., Căpitanu V.* 1968. Cîteva observații privitoare la sfîrșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău // *Carpica I*, 35–47.
- Florescu M., Căpitanu V.* 1969. Cercetările arheologice de la Dealul Morii // *Carpica II*, 49–79.
- Florescu M., Florescu A.* 1990. Unele observații cu privire la geneza culturii Noua în zonele de curbură ale Carpaților Răsăriteni // *Arheologia Moldovei XIII*, 49–102.
- Gershkovich Ya. P.* 2003. Farmers and Pastoralists of the Pontic Lowland during the Bronze Age // *Levine M., Renfrew C., Boyle K. (eds.). Prehistoric steppe adaptation and the horse. Cambridge*, 307–318.
- Gerškovič Ja. P.* 1999. Studien zur spätbronzezeitlichen Sabatinovka-Kultur am unteren Dnepr und an der Westküste des Azov'schen Meeres. *Archäologie in Eurasien, Band 7. Rahden/Wetf: Verlag Marie Leidorf GmbH*.
- Johansen P. G.* 2004. Landscape, monumental architecture, and ritual: a reconsideration of the South Indian ashmounds // *Journal of Anthropological Archaeology 23*, 309–330.
- Kaiser E., Sava E.* 2006. Die „Aschehügel“ der späten Bronzezeit im Nordpontikum. Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekt in Nordmoldavien // *Eurasia Antiqua 12*, 2006, 168–202.
- Kaiser E., Sava E.* 2009. Die absolute Datierung der nouazeitlichen Fundstelle Miciurin-Odaia, Nordmoldavien // *Apakidze J., Govedarica Bl., Hänsel B. (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum vom aneolithikum bis Fruheisenzeit (5000–500 v. Chr.) / Kommunikations-ebenen zwischen Kaukasus und Karpaten. Internationale Fachtagung von Huboldtianern im Humbolt-Kolleg in Tiflis/Georgien (17.–20. Mai 2007)/Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 25. Rahden/Wetf: Verlag Marie Leidorf GmbH*, 147–159.
- Levitsckii O. G., Sava E. N.* 1993. Nouvelles recherches des établissements de la culture Noua dans la zone comprise entre le Prout et le Nistre // *Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 10*, 1993, 125–156.
- Pienązek M.* 2010. Leben in der Steppe. Auf dem Weg zur Erforschung spätbronzezeitlicher Besiedlungsstruktur im nordpontischen Raum // *Kienlin T. L. und Horejs B. (Hrsg.). Siedlung und Handwerk: Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit. Beiträge zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit auf der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Schleswig 2008 und auf dem Deutschen Archäologenkongress in Mannheim 2008. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 194*, 107–119.
- Pienązek M.* 2012. Pieniązek, Architektur in der Steppe. Spätbronzezeitliche Siedlungen im nordpontischen Raum. *Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 211*.
- Sava E.* 1994. Epoca bronzului — perioada mijlocie și târzie, sec. XVII–XII î. e. n. // *Thraco-Dacica XV*, 141–158.
- Sava E.* 1998. Die Rolle der „östlichen“ und „westlichen“ Elemente bei der Genese des Kulturkomplexes Noua-Sabatinovka // *Hänsel B., Machnik J. (Hrsg.) Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeit (4000–500 v. Chr.). München: Rahden/Westf.*, 267–312.
- Sava E.* 2002a. Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten // *Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19. Kiel: Verlag Oetker/Voges*.
- Sava E.* 2002b. Materiale din epoca bronzului târziu din așezarea Mereni // *Arheologia Moldovei XXV*, 69–92.
- Sava E.* 2005a. Die spätbronzezeitlichen Aschehügel („Zol'niki“) — ein Erklärungsmodell und einige historisch-wirtschaftliche Aspekte // *Prähistorische Zeitschrift 80*, 1, 65–109.
- Sava E.* 2005b. Viehzucht und Ackerbau in der Noua-Sabatinovka Kultur // *Horejs B., Jung R., Kaiser E., Teržan B. (Hrsg.) Interpretationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 121. Berlin*, 143–159.

- Sava E. 2014. Așezări din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul pruto-nistean (Noua-Sabatinovka). Chișinău: Bons Offices.
- Sava E., Agulnikov S. 2003. Contribuții noi la definirea ritului funerar în cultura Sabatinovka // Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic. Chișinău: CEP USM, 113–138.
- Sava E., Levițki O. 1995. Așezarea culturii Noua Petrușeni „La Cigoreanu” (investigații de șantier din anul 1991) // Cercetări arheologice în aria nord-tracă I, 157–188.
- Sava E., Sîrbu M. 2009. Așezări cu „cenușare” în bazinul Răutului (Catalog) // Tyrageția s. n. 1, III [XVIII], 169–192.
- Smirnova G. 1993. Die Siedlung Mahala Ila und IIb ein Denkmal der Noua I- und II Kultur // Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 10, 57–73.

## Антропоморфная пластика неолита — медного века Европы: проблемы и перспективы исследования

**Резюме.** Проблема, рассматриваемая в представленной статье, — формирование подходов к изучению и интерпретации антропоморфной пластики раннеземледельческих культур Европы эпох неолита и энеолита (VII–III тыс. до н. э.). В последние десятилетия представления об их значении и исследовательские методы кардинально изменились. Особый интерес представляет анализ наборов статуэток, которые образуют организованные композиции. К настоящему времени в рамках «балкано-карпатского» круга «культур расписной керамики» известно 12 таких наборов. Их анализ позволяет определить несколько возможных значений. Некоторые из них связаны с кругом представлений о предках и «домашних божествах», но есть и набор, представляющий группу вооруженных воинов. Выявленные возможные функции и значения статуэток различны, они зависят от конкретного социального контекста, в котором формировалась конкретная изобразительная традиция. Очевидно, что это разнообразие невозможно втиснуть в рамки универсальной концепции о «культе плодородия» или «Великой Богини».

**Ключевые слова:** неолит, энеолит, Балкано-Карпатский регион, антропоморфная пластика.

**I. V. Palaguta. Anthropomorphic figurines of the Neolithic and Copper Age Europe: the problems and prospects of research.** The paper is devoted to the formation of different approaches to the study and interpretation of anthropomorphic figurines left behind by the early European farming societies of the Neolithic and Copper Age (VII–III millennia BC). The last decades have witnessed a radical change in our views on both their meaning and methods of analysis. Of particular interest is the analysis of whole sets of figurines, which form structured compositions. Twelve such sets are represented by “closed assemblages” associated with the “painted pottery” cultures of the Balkan-Carpathian region. Their analysis makes allows identifying several possible meanings. Some of them are connected with the circle of ideas about “home deities” and ancestors, but there is also an unusual set featuring a group of armed personages (may be warriors). Functions and meanings of the figurines can vary, depending on the social context which gave rise to that or another tradition. It is clear that this variability cannot be fitted into the framework of one universal concept such as the “idea of fertility” or “Goddess cult”.

**Keywords:** Neolithic, Copper Age, Balkan-Carpathian region, anthropomorphic figurines.

Раннеземледельческие культуры «балкано-карпатского круга» эпох неолита и энеолита (VII–IV тыс. до н. э.) представляют собой одну из ключевых составляющих того «культурного пласта», на базе которого формируются первые европейские цивилизации. Одной из их основных характеристик является наличие значительных серий разнообразных предметов мелкой глиняной пластики: антропоморфных и зооморфных статуэток, миниатюрных сосудов, моделей жилищ, других миниатюрных изделий. С самого открытия этих

культур в конце XIX столетия этот изобразительный материал рассматривается исследователями в качестве основы для реконструкции духовного мира древнейшего земледельческого населения Европы.

### От изобретения мифов к научному исследованию

Основная парадигма, в рамках которой рассматривалась и порой продолжает рассматриваться раннеземледельческая пластика, уходит корнями в XIX в. (Hutton 1997), но сформировалась в археологической науке примерно в середине XX столетия. Статуэтки здесь мыслятся исключительно как отражение древних земледельческих культов плодородия (Рыбаков 1965; 1981; Gimbutas 1974; 1991; и др.). Значительную роль в формировании этого взгляда сыграло влияние теорий сравнительной мифологии, религиоведения и культурной антропологии, которые к этому времени в рамках этих наук в целом уже себя изжили (см.: Evans-Pritchard 1965). Тем не менее, несмотря на то что иные пути анализа и интерпретаций были предложены тогда же — в 1960-е гг. (Уско 1962; 1968), авторитет маститых ученых задержал развитие этой области исследований на несколько десятилетий.

Необходимо отметить, что основным принцип, положенный в основу работ М. Гимбутас, — не тщательный анализ фактов и поиск решения научных проблем, а создание успешного карьерного и коммерческого проекта. Успех «курганной гипотезы» на фоне холодной войны, изобретение «цивилизации Великой Богини» на пике популярности феминистских и неоязыческих идей параллельны идеям Б. А. Рыбакова о раннеземледельческих корнях славянского фольклора, которые стали актуальными на фоне популяризации «народной культуры» в 1960–1980-е гг. Проблема актуализации прошлого и «изобретения традиций» (Э. Хобсбаум), сама по себе требует отдельных исследований в рамках истории новейшего времени и культурной и социальной антропологии.

Этот тренд можно продлить вплоть до сегодняшнего дня, когда он претерпевает трансформации в контексте социально-политических изменений последних десятилетий. Так, в него вписывается монография Н. Б. Бурдо «Сакральный мир трипольской цивилизации» (Бурдо 2008) — «коммерческий продукт, призванный не столько донести до читателя достоверную информацию, сколько популяризовать частные коллекции трипольской керамики, создать определенный имидж тем научным работникам, которые обслуживают потребности богатых коллекционеров, а также транслировать и навязывать массовому сознанию определенные идеи, типичные для современной Украины» (Рахно 2012: 174).

Возрастание научного интереса к проблематике, связанной с памятниками древнеземледельческого искусства, наблюдается примерно с середины 1990-х гг., когда после ухода со сцены М. Гимбутас (1921–1994) ее работы подверглись беспощадной критике (см.: Meskell 1995; Tringham, Conkey 1998 etc.). С тех пор количество посвященных этой теме работ неукоснительно растет. Важной их составляющей стал поиск новых путей и методов анализа этого крайне интересного материала.

Необходимо отметить, что параллельно серьезные положительные сдвиги происходят и в изучении античной коропластики. Именно в этой области работает большинство членов образованной в 2007 г. «Ассоциации по исследованию коропластики» (“Association for Coroplastic Studies”, ACoSt — <http://coroplasticstudies.univ-lille3.fr>). Значительный вклад в разработку направления

вносят исследования, результаты которых представлены в сборниках, опубликованных в Лилле в 2015–2016 гг. (Muller et al. 2015; Muller, Lafii, Huysecom-Naxhi 2015; 2016). Кроме того, в последние десятилетия был обозначен еще один крупный ареал находок антропоморфной и зооморфной пластики неолитической эпохи в Евразии: он связан с культурами охотников и рыболовов лесной зоны Восточной Европы (Kashina 2009; Кашина 2015 и др.).

В ключе обозначенной смены парадигм в исследовании древнего искусства необходимо обозначить основные постулаты, на которых можно выстроить дальнейшие исследования:

1) предметы мелкой пластики — от самых примитивных до подлинных шедевров (достаточно вспомнить известные фигурки культуры Хаманджия из погребения в Чернаводе в Румынии), — несмотря на свою массовость, являются произведениями искусства, так как в той или иной мере воспроизводят художественный образ (Палагута 2012а; 2012б). Этот тезис смотрелся бы банально, если бы не попытку вывести искусство архаичных обществ за рамки истории искусств, активно предпринимаемые некоторыми искусствоведами (Куценков 2001: 240; критику см.: Палагута 2011). Следовательно, к предметам пластики применима не только археологическая методика (обычно включающая в себя формальный анализ на основании классификации изделий, с последующим выявлением хронологических и локальных признаков), но и методы, разработанные в искусствоведении, прежде всего, — иконографический метод Э. Пановского (Panofsky 1955; см.: Lesure 2002; 2011; см. также рецензию на книгу Р. Лижера: Палагута 2012в).

Кроме того, рассматривать пластику необходимо в рамках не только одной какой-либо ее категории, но в пределах комплекса миниатюрных предметов: антропоморфных и зооморфных статуэток, моделей жилищ, мебели и других предметов интерьера, транспортных средств (саней и челнов), орудий труда и оружия, а также приспособлений для экспонирования предметов пластики (прежде всего, различных «алтарей» на ножках, а также других специальных подставок или емкостей). Все они объединены единым масштабом, а следовательно, могли быть взаимосвязаны и в рамках единого функционального комплекса. Этот масштаб — «масштаб рук» — определяет ее камерное, «домашнее» использование в рамках ограниченного круга лиц (см.: Bailey 2005).

В пределах этого комплекса, как и в любых памятниках искусства, могут наблюдаться значительные вариации форм предметов, связанные не только с изображением различных образов, но и с разным уровнем мастерства исполнителей, а также использованием ими тех или иных стандартных приемов изготовления фигурок и моделей;

2) подход, основанный на том, что в основе образной системы древних культур лежит набор неких универсальных образов-архетипов, для ее исследований в принципе неприемлем (детальный анализ универсалистских схем см.: Lesure 2011). Судя по этнографическим аналогиям и изменениям форм археологических находок, образная система древних обществ динамично развивалась, образы и метафоры возникали в группах человеческих сообществ в разные эпохи и под воздействием различных обстоятельств (Палагута 2012б).

Поэтому мы не можем *a priori* говорить о какой-либо единой «древнеземледельческой религии», общей для всего раннеземледельческого мира Евразии. Для построения обобщенных мировоззренческих моделей на основании некоего «общего культурного текста» (Балабина 2002) необходимы доказательства



существования этого «текста»-основы или «текстов», а также сохранения этих основ в течение тысячелетий, которых, к сожалению, к настоящему времени в достаточной полной мере не представлено<sup>1</sup>. Кроме того, совершенно очевидно, что пластика раннеземледельческой эпохи, вследствие разнообразия форм и контекстов ее обнаружения, полифункциональна и полисемантическая.

Таким образом, при интерпретации пластики на первый план выступают вопросы, связанные с выявлением связей между изделиями как с точки зрения их форм, так и в контексте археологических памятников. Исследование вариативности форм пластики (в контексте домашнего производства она должна быть велика) позволяет решить вопрос о том, один или различные образы воспроизводят формально одинаковые статуэтки. Необходимо также в каждой серии обозначить те критерии, которые могли бы отделять индивидуальные вариации от устойчиво повторяющихся закономерных признаков-атрибутов конкретного образа. Кроме того, фиксация взаимосвязей предметов в археологическом контексте позволяет выделить наборы изделий, представляющих единые комплексы пластики, связанные общей функцией, через которые возможна дальнейшая работа в направлении их интерпретации. Немало полезной информации представляют и отдельные находки в культурном слое: фрагментации и депонированию их в культурном слое посвящены недавние работы П. Биля и М. Порчица (Biehl 2006; Porčić 2012; Porčić, Blagojević 2014);

3) искусство — социально. Хотя бы потому, что оно является важнейшим средством визуальной коммуникации. Связи между искусством и обществом стали предметом исследования и в современном искусствознании, где сформировалось целое направление «social art history» (Палагута 2017). Поэтому без наличия хотя бы общих представлений об устройстве и функционировании исследуемых обществ любые интерпретации их искусства будут фикцией.

Именно здесь находится слабое место универсалистских построений: единые и религиозные концепции, стремящиеся к однозначному непротиворечивому истолкованию догматов, появляются только в крупных территориальных государствах. Для архаичных обществ более характерна модель развития, когда на общей генетической основе формируется система относительно автономных сообществ, не объединенных в единую иерархически организованную структуру. В таком случае, при достаточной мобильности групп, вариации в идеологических представлениях уже через несколько поколений могут быть довольно существенными. Формы социумов и систем связей между ними здесь могут быть различными, так что в этой области раскрывается достаточно широкое поле для дальнейших исследований.

Необходимо отметить, что на «социальность» раннеземледельческого искусства указывает и неравномерность распределения предметов пластики в пределах ареалов древних земледельческих культур. Значительная разница в насыщенности предметами пластики наблюдается между его центральными районами с высокой плотностью заселения и их периферией. Такое распределение пластики наблюдается в раннем неолите Греции (Perlès 2001: 260–261), его можно проследить и в Центральной Европе, и в ареале Триполья-Кукутени (Палагута 2012: 99–100; ср.: Ţerna 2011), где оно также в целом коррелирует с плотностью населения. К. Перлэ справедливо связывает такое

<sup>1</sup> Сомнения вызывает и предложенный В. И. Балабиной метод «точечного» сбора информации по публикациям (Балабина 2002: 214).

распределение с различной плотностью социальных взаимосвязей между отдельными сообществами, соответствующей плотности заселения территорий. Это подтверждают и приведенные ею примеры из африканской этнографии (Perlès 2001: 261–262).

Однако, на мой взгляд, функции пластики гораздо шире. Как и другие предметы материальной культуры, отражающие ее невербальные параметры, предметы пластики участвуют в «выражающих действиях», «актах коммуникации» между индивидуумами (Лич 2001). Такими «актами коммуникации», в которых могут использоваться предметы мелкой пластики, являются и коллективный ритуал, и домашний обряд, и, наконец, игра. В областях плотного заселения с возрастанием плотности социальных связей повышается и роль «актов коммуникации»: выражающих действий и связанных с ними предметов искусства. Это касается не только пластики, но и других областей материальной культуры: украшений и костюма, а также орнаментации керамических сосудов, наибольшее разнообразие которой также наблюдается в наиболее плотно заселенных центральных регионах археологических культур. Периферийные районы, наоборот, демонстрируют как более бедный набор пластики и вариаций декора, так и стойкое сохранение архаичных элементов (Палагута 2012а: 99–101). Аналогичные наблюдения легли в основу «демографической» гипотезы происхождения изобразительного искусства (Шер (ред.) 1998: 26; Вишняцкий 2005: 382–386). В рамках этой гипотезы антропоморфные изображения эпохи верхнего палеолита рассматриваются в качестве визуального средства интеграции и стимуляции контактов между группами населения, «развития социальных знаний», а также в качестве своеобразных «маркеров» групп и их территорий (Gamble 1991: 12–13; Barton, Clark, Cohen 1994: 199–202);

4) сравнительный метод в контексте палеосоциологии искусства приобретает новое звучание. Сопоставление реконструируемых систем представлений возможно с их архаичными формами, нашедшими отражение в письменных источниках и этнографическом материале. Здесь важно искать не конкретику, воспроизведение «текста» слово в слово, а соответствие отдельных мировоззренческих структур<sup>2</sup>. Таким образом, можно реконструировать значение отдельных образов и возможных сюжетов, которые, с определенной долей вероятности, могли бытовать в раннеземледельческую эпоху. Однако в любом случае пластика как предмет искусства требует предварительного анализа художественных форм и средств художественной выразительности (Palaguta 2016).

### **Формы пластики: возможности поиска закономерностей**

Важной областью исследования пластики является ее стилистический анализ. Необходимо сразу отметить, что комплекс изделий раннеземледельческой эпохи должен рассматриваться с учетом предполагаемого наличия серий изделий и деталей изображений, изготовленных из органических материалов и до нас не дошедших (то же самое нужно иметь в виду при анализе керамики,

<sup>2</sup> «Когда речь идет об интерпретации памятников первобытных бесписьменных обществ, мы даже при обеспеченности большим количеством достаточно информативных данных не можем рассчитывать на всестороннюю реконструкцию мифологии — речь может идти только о проникновении в *принципы* мировосприятия носителей этой мифологии» (Антонова, Раевский 1991: 223; курсив мой. — И. П.).

где возможно не только использование всевозможных веревочных обвязок, но и покрытие сосудов оплетками и аппликациями).

С одной стороны, это дериваты некерамических форм в терракоте. Наиболее показательны из них фигурки культуры Хаманджия, формы которых явно восходят к каменным прототипам. Плоские фигурки, формы которых могут восходить к деревянным, есть и в культуре Тиса. С этой точки зрения интересны и «биноклевидные» изделия культуры Триполье-Кукутени, где перемычки имеют антропоморфную форму, но выполнены в совершенно отличной от пластики стилистической манере, соотносящейся с возможными деревянными прототипами (Палагута 2007).

С другой стороны, многие фигурки, как в Триполье-Кукутени, так и в культурах Винча и Гумельница — Караново VI, имеют отверстия, предназначавшиеся для крепления каких-то дополнительных деталей. Это могли быть украшения, волосы, одежда (Грязнов 1964). Тогда вполне понятна дисковидная форма голов, где форма их приобретает гипертрофированную форму за счет необходимости крепления ушных подвесок. Такие изделия характерны для культуры Гумельница. Позже подобная моделировка голов фигурок (периоды Кукутени А-В и В) распространяется и в культуре Триполье-Кукутени.

Искажения форм при моделировке фигурок обусловлены также способом их изготовления и функцией. В Триполье-Кукутени лепка их производилась обычно из трех частей: двух ног и туловища. При такой моделировке широкие бедра не являются определяющим гендерным признаком (с широкими бедрами моделируются и среднеазиатские мужские фигурки, см.: Массон, Сарианиди 1973: рис. 8). При определении гендерной принадлежности важен весь комплекс признаков. Однако сила сложившихся стереотипов здесь зачастую такова, что иногда даже статуэтки с изображением фаллоса атрибутируют как женские (Бурдо 2004: 404; 2008: 217).

Форма связана и с функцией фигурок. У сидящих статуэток из раннетрипольско-прекукутенских наборов гипертрофированные ягодичцы связаны с позой, необходимостью их двигать и размещать либо на креслице, либо на плоской поверхности (рис. 1, 1–2). Такая форма придает фигуркам устойчивость. В последующие периоды смена стиля обусловлена изменением функционирования фигурок, стройное веретенообразное тело которых держат в руках, устанавливая в землю или в твердую основу с отверстиями.

При анализе декора статуэток лучше исходить из известного: из тех изображений, где возникновение их форм оказывается достаточно ясным. Формы костюма на кукутенско-трипольской пластике представлены достаточно хорошо. Мужской набор включает пояс и перевязь через плечо. Женский — юбку или платье длиной до колен. Отделка бахромой края одежды у некоторых статуэток соответствует изображениям фигур в платьях на сосудах (рис. 1, 4). Элементы одежды иногда очень детально прорисованы краской на поверхности фигурок (Погожева 1983: 120–129).

Именно как изображение одежды нужно воспринимать характерный декор из углубленных линий в виде шеврона, распространенный в период Прекукутени III — Кукутени А (Триполье А–VI). Учитывая то, что на ряде таких фигурок изображались украшения в виде бус и амулетов, а также дальнейшее развитие декора фигурок в сторону более натуралистичного изображения деталей костюма, можно утверждать, что таким образом на женских статуэтках изображались складки на драпировках и орнамент тканей, которые дополнительно

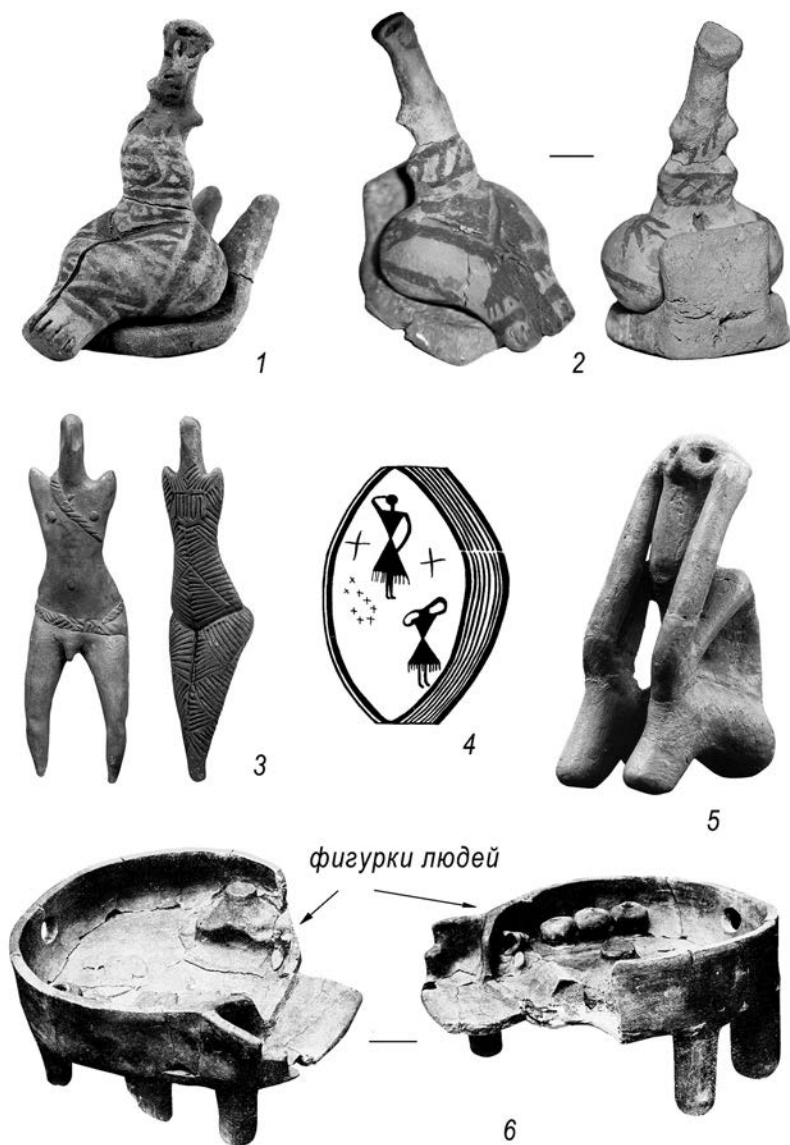


Рис. 1. Антропоморфная пластика и изображения культуры Триполье-Кукутени: 1 — женская статуэтка из Подури, культура Прекукутени; 2 — мужская статуэтка из Подури, отчетливо обозначены пояс и перевязь; 3 — мужская и женская статуэтки из Думешти (по: Моноа 1997); 4 — антропоморфные изображения на сосуде из Брынзен III, Триполье CII (по: Маркевич 1980); 5 — фигурка «мыслителя» из Тырпешти, культура Прекукутени (по: Моноа 1997); 6 — модель из Попудни, период Триполье CI (по: Химнер 1933)

Fig. 1. Anthropomorphic figurines and images of the Cucuteni-Tripolie culture: 1 — female statuette from Poduri, Precucuteni culture; 2 — male statuette from Poduri with belt and sash; 3 — male and female statuettes from Dumești (after: Monah 1997); 4 — anthropomorphic images on a vessel from Brînzei III, Tripolie CII (after: Маркевич 1980); 5 — the 'thinker' figurine from Tîrpești, Precucuteni culture (after: Monah 1997); 6 — model from Popudni, stage Tripolie CI (after: Himner 1933)

орнаментально стилизуются и приобретают декоративный характер (рис. 1, 3). Согласно такому же принципу орнаментализируются складки драпировок в изобразительных традициях античности и средневековья (Палагута 2012а: 123–125; Митина 2016).

Спецификой большинства изобразительных традиций древнеземледельческой Европы, за редким исключением (например, упомянутые фигурки из Платиа Магула Зарко), является изготовление тела фигурки обнаженным. Одежда лишь обозначается плоскостным декором. При подобной разработке образа можно предположить несколько причин развития такой изобразительной формы:

- 1) отношение к телу, где именно на нем акцентировалось внимание, а одежда воспринималась как менее существенный атрибут;
- 2) плоскость ткани, в отличие от объемности тела, предполагала ее плоскостное изображение;
- 3) использование дополнительных элементов в виде «кукольной одежды» из ткани, меха или растительных волокон (см.: Митина 2016).

Особо стоит отметить вопрос о наличии знаков на статуэтках. С находкой знаменитых «табличек из Тэртэрии» поиск знаков «дунайского письма» привел к тому, что некоторые исследователи в элементах их декора усматривают изображения знаков (Видейко 2004: 460; Merlini 2014: 93). При этом часто не учитывается общий бщей декоративной схемы. Знаки на фигурках характерны для пластики Ближнего Востока контекст этих «знаков», которые в большинстве приводимых случаев не выделяются из оока и Центральной Азии, в большинстве своем это материал достаточно поздний и синхронный появлению первых письменных систем в IV–III тыс. до н. э. (см.: Массон, Сарияниди 1973). Однако примеры изображения «знаков» на статуэтках европейского неолита и энеолита представляются не столь выразительными и поэтому вызывают некоторые сомнения.

Различные формы статуэток являются частью образной системы, отраженной в мелкой пластике. Такая система складывается в ранний период Прекукутени — Триполье А. Она включает:

- сидящие статуэтки, доля которых на ряде памятников достигает 70–80 % (Погожева 1983: 35–38, табл. 1, 2);
- стоящие фигурки, среди которых можно выделить статуэтки с конусовидным или плоским окончанием ног, с различной моделировкой рук — не только расставленных в стороны, но и поднятых вверх. Украшены они углубленным орнаментом;
- в особую группу можно выделить фигурки с обильной примесью зерен злаков в составе глиняного теста. Их сравнительно мало: в Луке-Врублевцевкой это всего 9 из 216 найденных там антропоморфных статуэток, но именно их можно связать с культами плодородия (Бибииков 1953: 206 и сл.);
- статуэтки с вертикальным отверстием в ногах, возможно, насаживающиеся на стержень (Vodean 2001: fig. 29, 2; 41, 8; Погожева, 1983, рис. 2, 5, 6; 9, 1, 2, 5–7);
- стоящие мужские статуэтки с более-менее выраженным признаком пола и отдельно моделированными ногами. В качестве дополнительного атрибута у них выступает пояс;
- фигурки «мыслителей», аналогии которым уходят в круг культур Нижнего Подунавья (рис. 1, 5).

Уже само это разнообразие форм не позволяет рассматривать всю антропоморфную пластику в едином ключе «культов плодородия»: она изображала разных персонажей и выполняла различные функции.

В ходе развития культуры эта система претерпевала значительные изменения. Можно наметить несколько последующих этапов ее трансформации. Так, например, в период Кукутени А — Триполье VI исчезают сидящие фигурки и соответствующие им креслица, образуется серия фигурок-«орант» с поднятыми вверх руками (возможно, под влиянием культуры Гумельница), стоящие статуэтки становятся стройнее и украшаются преимущественно углубленным орнаментом. В периоды Кукутени А–В, В — Триполье VII, CI пропорции статуэток становятся более стройными, головы их моделируются в виде диска, в теле статуэток появляются отверстия, используемые для крепления одежды, для их декорирования используется краска. Помимо серии стоящих фигурок здесь появляются сидящие (как правило, они более крупные). К этим периодам относится и серия фигурок с объемно и натуралистично выполненными лицами. Очевидно, что изменения в пластике отражали и соответствующие им изменения в мировоззрении. Детальное изучение этого процесса — реальная перспектива для будущих исследований.

К сожалению, наблюдений над сериями фигурок из отдельных находок часто недостаточно для детального иконографического анализа и построения обоснованных интерпретаций. Качественно иную информацию предоставляют комплексы, объединяющие группу персонажей. Такие «закрытые комплексы» — большая редкость, однако именно они дают возможность для дальнейших реконструкций, так как здесь предметы пластики представляют системы образов (или фрагменты этих систем?), относительно доступные для анализа.

### **Наборы статуэток: опыт иконографического исследования**

В пределах ареала культур «балкано-карпатского круга» позднего неолита — энеолита (Триполья-Кукутени, сформировавшейся и развивавшейся в V–IV тыс. до н. э. в северо-восточной его части — от Восточных Карпат до Днестра, а также ряда сопредельных балканских культур: Винча, Гумельница — Караново VI, Цангли — Лариса) достоверных наборов статуэток известно пока только 12. Контекст большинства находок из поселений неполон. Большинство наборов фигурок обнаружено на памятниках культуры Триполье-Кукутени. Причина этого, скорее всего, в том, что они изучены сравнительно лучше, чем памятники других культур неолита — медного века Юго-Восточной Европы.

Эти наборы представляют несколько вариантов образной структуры. Так, в двух балканских наборах — из Платиа Магула Зарко в Греции и Овчарово в Болгарии обозначается четкая связь антропоморфных фигурок с моделями жилищ, в которые они помещены вместе с изображениями элементов домашнего интерьера:

1. Набор из поздненеолитического поселения Платиа Магула Зарко в Фессалии (Греция), относящегося к периоду Цангли — Лариса, включал в себя восемь антропоморфных глиняных статуэток и несколько цилиндрических глиняных предметов, помещенных в модель жилища. Эта модель в масштабе повторяет интерьер дома, под полом которого она была обнаружена. Разномасштабность фигурок и достаточно четкие гендерные признаки позволили автору раскопок с самого начала предположить, что композиция представляет изображение нескольких поколений одной семьи (Gallis 1985);

2. К культуре Гумельница — Караново VI относится набор из четырех фигурок, обнаруженный в модели жилища на поселении Овчарово в Болгарии (Тодорова 1983). Вместе с ними там же находились и предметы интерьера: глиняные цилиндры, столики, стульчики, миниатюрные сосуды, а также три глиняных изделия в виде стоящих вертикально прямоугольников, украшенных расписным орнаментом (рис. 2, 1). Последние получили названия «алтарей». Подобный орнаментированный глиняный предмет был обнаружен вместе с фрагментами моделей жилищ на гумельницком поселении Пьетреле (Ханзен, Тодераш, Райнгрубер, Вундерлих 2011: 45, рис. 41, 42). В контексте интерьера эти «алтари» на самом деле можно рассматривать как модели вертикальных ткацких станков с натянутой на них орнаментированной тканью.

Два набора статуэток культуры Винча демонстрируют ряд существенных отличий. Целостность контекста одного из них остается под сомнением, это:

3. Различным образом декорированные и разные по размерам семь фигурок (очевидно, женских) из жилища 23/1956 Дивостина II, которые представляют одну группу, где одна из статуэток значительно превосходит другие по размеру (Leticia 1988). Они обнаружены сложены вместе, но без следов контейнера, так что вопрос об исходном числе фигурок в этом наборе остается открытым.

Особая форма набора статуэток обнаружена на поселении в Стублине, относящемся к позднему периоду культуры — Винча D2:

4. Это 43 схематических фигурки (возможно, статуэток было больше), вместе с которыми найдены семь глиняных моделей топоров и две миниатюрных глиняных булавы. Статуэтки изготовлены в виде конусов с плоским основанием, что позволяет их расставлять определенным образом на плоской поверхности. В раскопанном жилище статуэтки располагались около печи на глинобитном возвышении и образовывали несколько групп из 10–6–6–6–3–3–3 персонажей (в наибольшей последней группе — с одной крупной статуэткой в центре). Общее число фигурок и число групп статуэток не вполне ясны, так как целостность комплекса нарушена позднейшими перекопками (Црнобрња 2009; Crnobrnja 2011; Спасић 2013), но они однозначно изображали группы людей, вооруженных палицами и топорами: у каждой фигурки есть отверстие в правом плече, в которое на деревянном стержне крепилось оружие (рис. 2, 3). Таким образом, перед нами изображение отряда вооруженных мужчин-воинов, объединенного вокруг лидера (Crnobrnja 2011).

Стублине включает порядка 200–250 построек, окруженных оборонительным рвом. В процессе существования памятника его площадь была расширена за счет обводки рвом дополнительного участка, часть прежнего рва была засыпана и перекрыта постройками. Автор раскопок предполагает, что в этом поселке одновременно могло проживать от 1250 до 1750 человек (Crnobrnja 2014).

Если исходить из предполагаемого количества жителей, то число взрослых мужчин составит из них 25–30% — около 300–550 человек. Отряд, состоящий из почти полусотни воинов, который изображала композиция из Стублине, мог изображать отдельную группу бойцов, возглавляемую военным вождем.

Исходя из этнографических параллелей, аналогичные группы могли образовываться на основе различных принципов. Один из них предусматривает существование системы возрастных классов, наиболее подробно описанных у скотоводческих и скотоводческо-земледельческих сообществ Восточной Африки (Дэвидсон 1975: 62–72; Калиновская 1989: 154 и сл.; 2000).

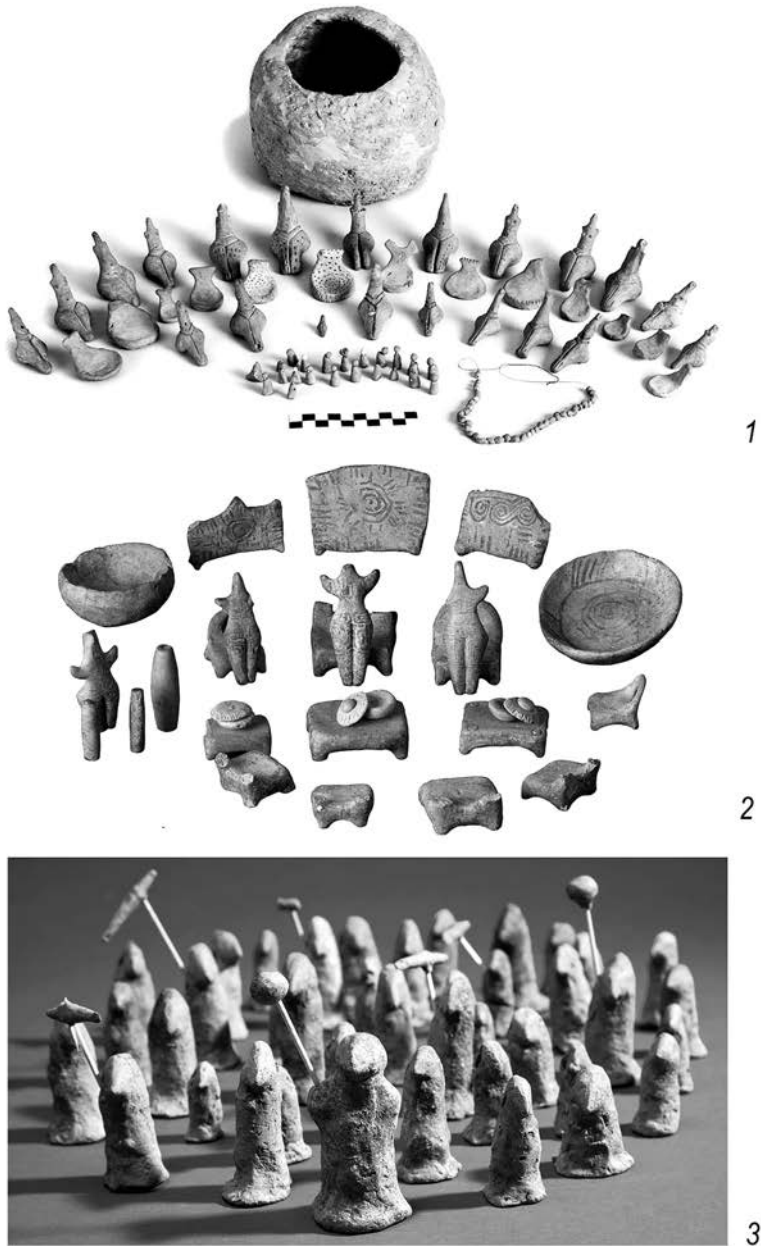


Рис. 2. Наборы статуэток: 1 — фигурки, обнаруженные в сосуде из Исаяи, культура Прекукутени, Румыния (по: Ursulescu, Tencariu 2006); 2 — фигурки из модели жилища из Овчарово, культура Гумельница — Караново VI, Болгария (по: Тодорова 1979); 3 — фигурки из Стублине, культура Винча, Сербия (по: Спасић 2013)

Fig. 2. Sets of figurines: 1 — figurines found in a vessel from Isaia, Precucteni culture, Romania (after: Ursulescu, Tencariu 2006); 2 — figurines from a dwelling model found at Ovcharovo, Gumelnitsa-Karanovo VI culture, Bulgaria (after: Тодорова 1979); 3 — figurines from Stubline, Vinča culture, Serbia (after: Спасић 2013)



Параллели таким военизированным объединениям можно встретить и среди известных по этнографическим наблюдениям «тайных мужских обществ» Меланезии, тропической Африки и Северной Америки (Шурц 2010: 151–174). О роли мужских сообществ в древней Спарте писал Ю. В. Андреев (Андреев 2014).

Таким образом, вполне вероятно, что набор фигурок из Стублине играл какую-то роль в инициациях или служил для наглядной демонстрации места членов объединения в «тактической игре» (параллельно с распределением ролей, наподобие детской игры «в солдатики», что не исключает того, что такая расстановка могла быть сделана в процессе культовой практики).

Наборы статуэток, обнаруженные на памятниках культуры Триполье-Кукутени, по-видимому, отражают две линии развития образной структуры. Одна из них — фигурки из раннетрипольских наборов из Подури и Исаяи — была детально проанализирована автором статьи (Палагута 2013):

5. Набор из 21 антропоморфной статуэтки, 13 креслиц и двух глиняных изделий (возможно, миниатюрных моделей сосудов) был обнаружен в слое фазы Прекукутени II на поселении Подури — дялул Гиндару в Прикарпатье (Monaş et al. 2003). Статуэтки были помещены в сосуд, что гарантирует целостность комплекса;

6. Аналогичная находка была сделана на поселении фазы Прекукутени III Исаяя — Балта Попии в Румынской Молдове. 21 статуэтка, 13 креслиц здесь также были сложены в сосуд, где их сопровождали 21 изделие в виде конуса и шарика с отверстиями для скрепления их деревянными штифтами, а также 42 глиняных бусины (Ursulescu, Tencariu 2006).

Статуэтки в каждом из наборов ранжированы по размерам и деталям моделировки. Анализ иконографии фигурок позволил достаточно четко обозначить гендерные признаки. Его результатом стало выделение в наборах трех групп фигурок: семи женских и шести мужских, которым соответствовало 13 креслиц, а также восьми фигурок, мужских и женских, игравших второстепенную роль (Palaguta, Mitina 2014: table 1).

Находки сидящих статуэток и креслиц присутствуют на большинстве поселений Прекукутени — раннего Триполья. Кроме того, тип статуэток, характерный для наборов, является наиболее массовым (до 70–80% антропоморфной пластики). Это указывает на то, что такие наборы в этот период были широко распространены, но не исключает и иные функции отдельных статуэток, и, как указывалось выше, параллельное использование других типов антропоморфной пластики (Палагута 2013: 155–157).

В процессе расселения носителей культуры Прекукутени-Триполье из Прикарпатья в бассейны Прута, Днестра и Южного Буга должно было быть актуально поддержание вертикальных, межпоколенческих, и горизонтальных, межгрупповых, связей прекукутенско-раннетрипольских сообществ. Наборы фигурок изображали одну группу персонажей, мужчин и женщин. Группу, иерархически организованную. Поэтому наиболее вероятно интерпретация наборов как изображения группы предков, реальных или уже мифических — «воображаемых людей, которые заняли места реальных мужчин и женщин первоначальных времен» (Годелье 2007: 213). Функция таких наборов могла, помимо общения с предками, быть связана с мантическими практиками или инициациями (Палагута 2013: 173).

Эту линию представлений, по-видимому, продолжают еще два набора из более поздних памятников культуры Кукутени-Триполье, однако число статуэток здесь уменьшилось до 12–13:

7. Комплекс из Думешти времени Кукутени А<sub>3</sub>, который включает 12 статуэток: шесть мужских и шесть женских (рис. 1, 3) (Maxim-Alaiba 2007);

8. Набор из Малиновцев периода Триполье С1 — Кукутени В, который был обнаружен в сосуде и состоял из 12 стоящих и одной сидящей статуэтки (Шманько 2008). Анализ иконографии фигурок показывает то же соотношение, что и в случае с раннетрипольскими наборами: шесть мужских и семь женских статуэток, в том числе одну более крупную сидящую женскую (Palaguta, Mitina 2014: fig. 4, 3).

Сложно сказать, насколько соотносятся по значению с приведенными выше еще два набора, происходящие из Гэлэешти и Бузня, где в сосуды было помещено четное число разнополюх фигурок:

9. На поселении этапа Кукутени В<sub>1</sub> в Гэлэешти в закрытом крышкой сосуде четыре статуэтки были установлены крестообразно (Monah 1997: 41–42, fig. 3, 2–3; 7, 1–4);

10. К тому же этапу Кукутени В относится и комплекс из поселения Бузня — Тыргу Фрумос, где четыре статуэтки, тоже уложенные крестообразно, были открыты перевернутой миской (Monah 1997: 42, fig. 6, 1; 7, 5–6; 8, 3–4).

Здесь число фигурок четное, гендерные признаки обозначены неявно. Поэтому вполне возможно, что оба комплекса отражают наличие еще одной линии представлений, сформировавшейся в западной части трипольско-кукутенского ареала в период Кукутени В.

Зато две другие находки из Гэлэешти возвращают нас к обозначенной выше восточно-балканской традиции (Платиа Магула Зарко, Овчарово), где четко обозначена ассоциация дома и обитающих в нем персонажей:

11–12. Кроме фигурок в сосуде, при раскопках поселения в Гэлэешти в одной и той же постройке были обнаружены две модели жилищ. В одной из моделей здесь было найдено четыре статуэтки, в другой — две. И в том, и в другом случае статуэтки разнополюе: как мужские, так и женские (Cisoş 1993)<sup>3</sup>. Не изображали ли они при этом такие же группы обитателей моделей жилищ, как статуэтки из Платиа Магула Зарко и Овчарово?

На связь моделей жилищ с антропоморфной пластикой указывает и ряд находок моделей построек с неподвижно закрепленными в них человеческими фигурками. Все эти находки соотносятся с томашевско-сушковской группой трипольских памятников в Буго-Днепровском междуречье. Именно к этой группе памятников принадлежат и широко известные трипольские поселения-гиганты Тальянки и Майданецкое, площадь которых достигает 300–350 га, а население, судя по количеству жилищ (до 2000), — нескольких тысяч человек.

Наиболее известная из таких моделей происходит из раскопок М. Гимнера в Попудне (рис. 1, 6) (Himner 1933). Ближайшей аналогией является модель с поселения Сушковка. Здесь идентичны все элементы интерьера, есть персонаж, растирающий зерно, но отсутствует человеческая фигурка у печи (Козловська 1926: 52–53, мал. 1–2). Эта статуэтка могла помещаться в интерьер отдельно. К этой группе изделий можно отнести и фрагмент модели из Чичирковки, где у печи сохранилось место крепления фигурки сидящего рядом с ней человека (Пассек 1941: 219, рис. 11).

На то, что эти модели изображали жилой дом, а не какую-либо специальную постройку типа святилища, указывает полное соответствие их интерьера

<sup>3</sup> Четное количество фигурок позволяет также соотнести эти комплексы с двумя предыдущими.

интерьеру типовых построек поселений томашевско-сушковской группы. Художник изобразил здесь конкретный сюжет с четко обозначенными гендерными ролями: женщина сидит стирает зерно на зернотерке, а у печи, с противоположной стороны дома сидит персонаж (по-видимому, мужчина) и наблюдает за ней. Анализ иконографии и аналогий позволил предположить, что эти модели могли изображать традиционный фольклорный или мифологический сюжет, конкретизация которого требовала натуралистической изобразительной формы. Не исключено также и то, что значение таких моделей сводилось к изобразительному выражению благопожелательной формулы, связанной с основанием домохозяйства или поселения, либо с культом предков-основателей родовой группы (Starkowa 2015; Палагута, Старкова 2017).

Выявление и анализ наборов фигурок — тема для дальнейших исследований в области интерпретации раннеземледельческой пластики. Однако очевидно, что все обозначенные варианты образных структур, отраженных в таких наборах, изображали представления, связанные с разнообразными социальными практиками, а не с абстрактным «культом плодородия».

### **Проблемы кросс-культурного анализа пластики**

Приведенный выше обзор наборов статуэток показывает, что интерпретация пластики ранних земледельцев Европы возможна отнюдь не с позиций, относительно устоявшихся в науке, но малодоказательных представлений о некоей древнеземледельческой религии, которая почему-то обязательно должна быть основана на культах плодородия. Жизнь древнего населения Европы была куда более разнообразна. Соответственно, и спектр тех представлений, которые отражены в памятниках искусства, был гораздо шире.

Связь антропоморфной пластики или моделей жилищ с культом предков отмечалась в ряде работ начала XX в. (Sehak 1933). Позже возобладала точка зрения об их связи с аграрными культами. Так, Л. И. Авилова, рассматривая находки антропоморфных фигурок в могильниках культуры Усатово-Фолтешти (Триполье СII), предположила «тесную связь заупокойных культов с производящей магией». «Смысловое содержание» антропоморфных статуэток для нее при этом все равно связывалось с «идеей плодородия» (Авилова 1987). В контексте общих размышлений о возможных значениях точка зрения о связи моделей жилищ с культами предков недавно высказывалась в статье А. В. Дяченко и Д. К. Черновола, но вне всякой связи с антропоморфной пластикой (Дяченко, Черновол 2007). Высказывалась также малообоснованная мысль о том, что сами модели являлись погребальными урнами (Гладилин 2009).

Оригинальное доказательство связи статуэток с культом предков было предложено Д. Георгиу: предполагая, что кукутенско-трипольские статуэтки изображали предков, он обратил внимание на фрагментацию материала, необычное для абрисов реального тела отсутствие рук и декор фигурок. Основным аргументом стал орнамент в виде шевронов, покрывающий фигурки, который был трактован как изображение пеленания тела текстильными лентами аналогично пеленанию мумий (Gheorghiu 2001; 2010). Однако здесь мы сталкиваемся со стилистическими особенностями, характерными только для периода Прекукутени III — Кукутени А, когда статуэтки украшались таким орнаментом. Как уже упоминалось выше, более вероятно, что таким образом изображались драпировки, а не пеленание тела.

Статуэтки в погребениях — отдельная линия использования предметов мелкой пластики. Здесь они также могли выполнять совершенно различные функции. Так, судя по наиболее масштабным на сегодняшний день раскопкам могильника Дуранкулак, в позднеолитической культуре Хаманджия статуэтки присутствуют в погребениях особого статуса. В погребениях того же могильника, но относящихся к энеолитической культуре Варна, статуэтки уже выполняют вполне ясную функцию заменителей покойников в кенотафах (Vajsov 2002).

В могильнике позднейшего Триполья (СII) в Выхватинцах статуэтки в большинстве случаев присутствуют в детских погребениях. Эта связь прослеживается и в могильниках культуры Усатово-Фолтешть, и в степных погребениях Серезлиевского типа (Палагута 2012а: 96–98; Terna 2014). И. В. Манзура предположил, что фигурки могли представлять «обитателей потустороннего мира» и быть связаны с персонами, не прошедшими инициацию — детьми и, в исключительных случаях, взрослыми (Манзура 2015). Отмечу, что здесь возникает очевидная параллель с амулетами — буллами, которые носили римские мальчики, а по достижении совершеннолетия посвящали фамильным ларам (о различных функциях буллы см.: Кофанов 1998).

Аналогии подобной практике представлены и в погребальном обряде окуневской культуры бассейна Енисея, где миниатюрные антропоморфные изображения из кости и камня тоже в большинстве своем происходят из детских могил. По мнению П. М. Кожина, они могли быть «связаны с пресечением каких-то линий прямого родства, когда не оставалось в живых родственников, правомочных продолжать обряды почитания определенных предков», в таких случаях «культурные предметы зарывали в землю, не уничтожая их» (Кожин 2013: 30; 2007).

Насколько очевидна связь между этими находками и случаями использования мелкой пластики в погребальной практике европейской эпохи бронзы, пока не вполне ясно. Традиция помещения фигурок в детские могилы присутствует в культуре Гырла Маре, существовавшей около XVII–XIII вв. до н. э. в районе Железных Ворот на Дунае (Chicideanu-Sandor, Chicideanu 1990). Преимущественно с погребениями связаны находки кикладских статуэток (Андреев 2002: 51–60). Их многочисленность наталкивает на мысль об аналогиях с египетскими «ушебти». Пластика широко представлена и в микенской культуре, где статуэтки присутствуют не только в погребениях и в святилищах (как изображения божеств или вотивы?), но и связаны с пространством дома (Tzonoу-Herbst 2002; 2003).

Выстраивание прямых связей только через формы статуэток вряд ли приемлемо: формирование ареалов мелкой пластики могло происходить самостоятельно. Так, параллельно Ближнему Востоку и Юго-Восточной Европе глиняная пластика получила распространение в культурах неолита Северной Европы — в восточной части Балтийского бассейна (Kashina 2009). Насколько связан этот ареал с зоной раннеземледельческих культур? Мелкая пластика здесь тоже является средством для выражения каких-то идей, но сами эти идеи в кругу охотников и рыболовов могли быть совершенно иными, чем у земледельцев.

Из параллелей эпохи бронзы наиболее интересная возникает в связи с использованием рядом групп европейского населения погребальных урн в виде моделей жилищ. Массивы этих находок, относящихся к позднему периоду бронзового века, сосредоточены в Северной Германии и Италии (Sabatini 2007). Именно эта традиция, вероятно, находит свое продолжение в этрусских саркофагах, смоделированных в виде постройки с двускатной крышей. Почитание предков, духи которых обитают в специально обустроенном для них доме, возможно, является

той нитью, которая может связывать энеолитические находки статуэток, помещенные в модели домов, с позднейшими представлениями античной эпохи.

Обращение к античному материалу, предпринятое ранее автором статьи (Palaguta, Mitina 2014; Палагута 2015), опирается на наличие письменных источников, позволяющих прокомментировать предметы пластики сквозь призму зафиксированных в письменной традиции представлений. Именно на основании интерпретаций представлений эпохи поздней античности в свое время сложились те представления о доисторической религии плодородия, культах Великой Богини, что легли в основу историографических клише, которые часто используются и до сих пор при попытках реконструкции религиозных представлений доисторических европейцев (Hutton 1997). Но, на взгляд автора настоящей работы, внимание здесь стоит обращать не на «полисные» культы и на мистические религии, широко распространившиеся на фоне сложения империй Древнего мира, а на культы, функционировавшие в пределах рода и домохозяйства, которые более соответствуют архаичным формам социальной организации. Образная система именно этих культов находит свое преимущественное воплощение в мелкой пластике, а не в монументальной скульптуре.

Наиболее полно отражают домашние культы римские источники. Важнейшей их составляющей являлся культ хранителей места — ларов, пенатов и гениев. Однако письменные источники относятся к тому уровню развития обществ, при котором домашние культы уже подверглись значительной переработке. Детальное исследование культа римских пенатов, проведенное А. Дюбордые (Dubourdiue 1989), показывает, что места отправления их культов были связаны с царскими резиденциями в Регии и на Велии, а сам культ восходил к почитанию духов-хранителей царских родов (*gentes*) — помпилиев, гостилиев, марциев. Свое наглядное представление лары и пенаты получили в виде двух юношей, изображения которых присутствовали во многих римских домах не только в Италии, но и в провинциях. Их помещали в специальном ларарии, оформленном в виде обрамленной портиком ниши в стене — своеобразной модели дома.

Обращает на себя внимание то, что культ ларов связан с почитанием мертвых. Об этом мы находим упоминание в сочинении Арнобия (Arnob., Adv. Nationes, III, 41), который в своих рассуждениях о природе языческих богов ссылаясь на несохранившиеся произведения Марка Теренция Варрона (116–27 гг. до н. э.). На эту связь также указывает ряд эпиграфических источников (Штаерман 1987: 49–52, 121). Можно предположить, что изначально эта связь была гораздо теснее, и лары почитались в качестве духов-покровителей и родоначальников римских *gentes*, однако позже, с дроблением родов, с утратой связи семей и родов с родовой территорией, лары утрачивают непосредственную связь с предками и ассоциируются в основном с местом, а не какой-либо мифической (или исторической) личностью. Возможно, что именно здесь существует связь этого культа с массивом упомянутых выше погребальных урн в виде домов: параллель между домом предков в могильнике и ларарием, где обитают духи предков-хранителей, проводится достаточно легко.

Еще один аспект культа ларов: его связь с младшими членами *familia*, которым покровительствовали лары. Частью обряда в праздник Компиталий было подвешивание на перекрестках вотивных фигурок — сделанных из шерсти куколок детей и шерстяных шариков, символизовавших рабов (Маяк 1983: 165–166). Нельзя ли здесь тоже провести аналогии с антропоморфной пластикой из детских погребений эпохи энеолита и бронзового века?

## Выводы

Подведу итоги. Обзор наборов фигурок и их аналогий показывает, что в пределах европейского региона можно выявить несколько линий значений предметов пластики. Характер их форм и функций разнообразен и зависит от той социально-культурной среды, в которой развивалась та или иная изобразительная традиция. Значительная часть антропоморфных фигурок при этом могла прямо или косвенно отражать различные аспекты культа предков, быть вотивами или использоваться в магической практике.

Конечно, предложенные интерпретации не являются окончательными: новые материалы могут дать основания для их корректировки и пересмотра. Однако очевидно, что они не будут укладываться в рамки одной какой-либо универсальной концепции, например абстрактной «идеи плодородия».

## Благодарности

Автор благодарит Л. С. Клейна, высказавшего ряд ценных замечаний по данной теме. Еще в начале ее разработки автором в 2011 г. Л. С. Клейн отметил, что присланная ему статья «тянет на развитие в монографию». В дальнейшем исследование статуеток вылилось в целую серию статей и докладов на конференциях, по некоторым из которых в переписке и в виде отзывов Л. С. Клейн высказывал свое мнение, предлагая идеи для дальнейшей разработки. Данная статья резюмирует ряд положений, высказанных в предыдущих публикациях.

Необходимо также отметить вклад в разработку темы моего учителя П. М. Кожина (1934–2016). Это касается, прежде всего, как методологии подхода к изучению изобразительного материала, так и понимания логики развития материальной и духовной культуры в целом.

Ряд важных замечаний высказал в процессе обсуждения темы Ю. Е. Березкин.

## Литература

- Авилова Л. И. 1987. О некоторых аспектах культов предков в культурах раннего металла // Рыбаков Б. А. (ред.). Религиозные представления в первобытном обществе. Тезисы докладов конференции. Москва: ИА АН СССР, 112–114.
- Андреев Ю. В. 2002. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тыс. до н. э.). СПб.: Дмитрий Буланин.
- Андреев Ю. В. 2014. Спартанский эксперимент: общество и армия Спарты. СПб.: Петербургское лингвистическое общество.
- Антонова Е. В., Раевский Д. С. 1991. О знаковой сущности вещественных памятников и о способах ее интерпретации / Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М.: Наука, 207–232.
- Балабина В. И. 2002. «Моление о дожде» и «иерогамия» (еще раз о некоторых невербальных текстах) // Мунчаев Р. М. (ред.). Проблемы археологии Евразии. К 80-летию Н. Я. Мерперта. М.: ИА РАН, 207–220.
- Бибиков С. Н. 1953. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевская на Днестре (к истории ранних земледельческо-скотоводческих обществ на юго-востоке Европы). МИА 38.
- Бурдо Н. Б. 2001. Теракота трипільської культури // Ришов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Ч. 1. Київ: ІА НАНУ, Товариство Коло-ра, 61–146.

- Бурдо Н. Б. 2004. Сакральний світ трипільської цивілізації // Відейко М. Ю. (ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. I. Київ: Укрполіграфмедіа, 344–420.
- Бурдо Н. 2008. Сакральний світ трипільської цивілізації. Київ: Наш час.
- Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. 2008. Трипільська культура. Спогади про золотий вік. Харків: Фоліо.
- Відейко М. Ю. 2004. Ранні знакові системи (Трипілля А–ВІ–ВІ–ІІ) // Відейко М. Ю. (ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. 1. Київ: Укрполіграфмедіа, с. 459–462.
- Вишняцкий Л. Б. 2005. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления культуры. Кишинев: Высшая Антропологическая школа.
- Гладилин В. Н. 2009. О глиняной модельке с трипольского поселения Рассоховатка на Черкасщине // Васильев С. А., Кулаковская Л. В. (ред.). С. Н. Бибииков и первобытная археология. СПб.: ИИМК РАН, 334–335.
- Годелье М. 2007. Загадка дара. М.: Восточная литература.
- Грязнов М. П. 1964. О так называемых женских статуэтках трипольской культуры // АСГЭ 6, 72–78.
- Дэвидсон Б. 1975. Африканцы. Введение в историю культуры. М.: Наука.
- Дяченко О. В., Черновол Д. К. 2007. Моделі жител трипільської культури як відображення культу предків // Матеріали та дослідження з археології Східної України: від неоліту до киммерійців. Збірник наукових праць, 7. Луганськ: Вид-во СНУ ім. Даля, 39–44.
- Калиновская К. П. 1989. Скотоводы Восточной Африки в XIX–XX вв. (Хозяйство и социальная организация). М.: Наука.
- Калиновская К. П. 2000. Система возрастных классов в Африке // Исмагилова Р. Н. (ред.). Традиционные культуры африканских народов: прошлое и настоящее. М.: Восточная литература, 74–86.
- Кашина Е. А. 2015. Наборы глиняных скульптур неолита-энеолита лесной зоны Восточной Европы: морфология, хронология, смысловая интерпретация // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции. СПб.: ИИМК РАН, 130–134.
- Кожин П. М. 2007. Дарующий вечность (портрет в Евразийской истории) // ВА 1 (15), 31–36.
- Кожин П. М. 2013. Древнейший портрет на Енисее // Научное обозрение Саяно-Алтая 1(5), 28–34.
- Козловська В. 1926. Точки трипільської культури біля Сушківки на Гуманщині (розкопи року 1916) // Трипільська культура на Україні, 1. Київ: Українська Академія наук, 43–66.
- Кофанов Л. Л. 1998. Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // IVS ANTIQVVM. Древнее право 1 (3), 35–54.
- Куценков П. А. 2001. Начало. Очерки истории первобытного и традиционного искусства. М.: Алетейя.
- Лич Э. 2001. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М.: Восточная литература.
- Манзура И. В. 2015. Статуэтки в погребении: правило и исключения в позднеэнеолитической погребальной традиции Северного Причерноморья // Кавказ как связующее звено между Восточной Европой и передним Востоком: диалог культур, культура диалога (к 140-летию А. А. Миллера). Мат-лы Междунар. науч. конф. и Гумбольдт-лектория. СПб.: ИИМК РАН, 191–194.
- Масон В. М., Сарияниди В. И. 1973. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации. М.: Наука.
- Маяк И. Л. 1983. Рим первых царей (Генезис римского полиса). М.: Изд-во МГУ.
- Митина М. Н. 2016. Антропоморфная пластика Триполья-Кукутени: особенности декора и его интерпретации // Актуальные проблемы теории и истории искусства 6. СПб.: НП-Принт, 29–34.

- Палагута И. В.* 2007. «Биноклевидные» изделия в культуре Триполье-Кукутень: опыт комплексного исследования категории «культовых» предметов // RA, SN III (1–2), 110–137.
- Палагута И. В.* 2011. К вопросу о «палеопсихологическом» подходе к изучению первобытного искусства // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. Мат-лы IV Всероссийской науч.-практ. конф., 4 февраля 2010 г. СПб.: СПбГУП, 48–51.
- Палагута И. В.* 2012а. Мир искусства древних земледельцев Европы. Культуры балкано-карпатского круга в VII–III тыс. до н. э. СПб.: Алетейя.
- Палагута И. В.* 2012б. Первобытное искусство в контексте современного искусствознания // Карпов А. В. (ред.). Современное искусствознание в системе гуманитарного знания. СПб.: СПбГУП, 17–31.
- Палагута И. В.* 2012в. Интерпретируя древние статуэтки: от «универсалистских» интерпретаций к искусствоведческому подходу (Рец. на: Lesure R. G. Interpreting Ancient Figurines. Context, Comparison, and Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 256 p.) // PAE 2, 734–737.
- Палагута И. В.* 2013. Наборы статуэток Прекукутени — раннего Триполья: опыт социокультурной интерпретации раннетрипольской пластики // PAE 3, 141–179, 208–211.
- Палагута И. В.* 2015. Античные изобразительные и письменные источники в решении проблемы интерпретации памятников искусства доисторической Европы // Актуальные проблемы теории и истории искусства, 5. СПб.: НП-Принт, 77–85.
- Палагута И. В.* 2017. О социальном аспекте доисторического и традиционного искусства (к методологическим проблемам современного искусствознания) // Сухоруков С. А. (ред.). Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: VII Всероссийская науч.-практ. конф., 17 февраля 2017 г. СПб.: СПбГУП, 65–67.
- Палагута И. В., Старкова Е. Г.* 2017. Модель жилища из трипольского поселения Попудня: новая интерпретация уникальной находки // АЭАЕ 45 (1), 68–77.
- Пасек Т. С.* 1941. Трипольское поселение у Владимировки (Раскопки 1940 г.) // ВДИ 1 (14), 212–220.
- Погожева А. П.* 1983. Антропоморфная пластика Триполья. Новосибирск: Наука.
- Рахно К.* 2012. [Рец.:] Бурдо Наталія. Сакральний світ трипільської цивілізації. Київ: Наш час, 2008. 296 с. // Бібліографія українського гончарства. 2008. Національний науковий щорічник, 10. Опішне: Українське народознавство, 170–174.
- Рыбаков Б. А.* 1965. Космогония и мифология земледельцев энеолита. I–II // СА 1, 24–47; 2, 13–33.
- Рыбаков Б. А.* 1981. Язычество древних славян. М.: Наука.
- Спасић М.* 2013. Неолитско насеље у Стублинама // Годишњак града Београда LX, 11–42.
- Тодорова Х.* 1979. Энеолит Болгарии. София: София-пресс.
- Тодорова Х.* 1983. Археологическо проучване на праисторически обекти в района на с. Овчарово, Търговишко, през 1971–1974 // Тодорова Х. (ред.). Овчарово / Разкопки и проучвания, IX. София: Археологически институт с музей, 7–104.
- Ханзен С., Тодераш М., Райнгрубер А., Вундерлих Ю.* 2011. Пьетреле. Поселение эпохи медного века на Нижнем Дунае // SP 2, 17–86.
- Црнобрња А. Н.* 2009. Неолитско насеље на Црквинама у Стублинама. Истраживања 2008 године. Обреновац: Музеј града Београда.
- Шер Я. А.* (ред.). 1998. Первобытное искусство: проблема происхождения. Кемерово: Кемеровский государственный институт искусств и культуры.
- Шманько О.* 2008. Випадкова знахідка ритуального скарбу трипільської культури з території Середнього Подністров'я // МДАПВ 12, 368–374.
- Штаерман Е. М.* 1987. Социальные основы религии Древнего Рима. М.: Наука.
- Шурц Г.* 2010. История первобытной культуры. Т. 1: Основы культуры. Общество. Хозяйство. Москва: КРАСАНД.



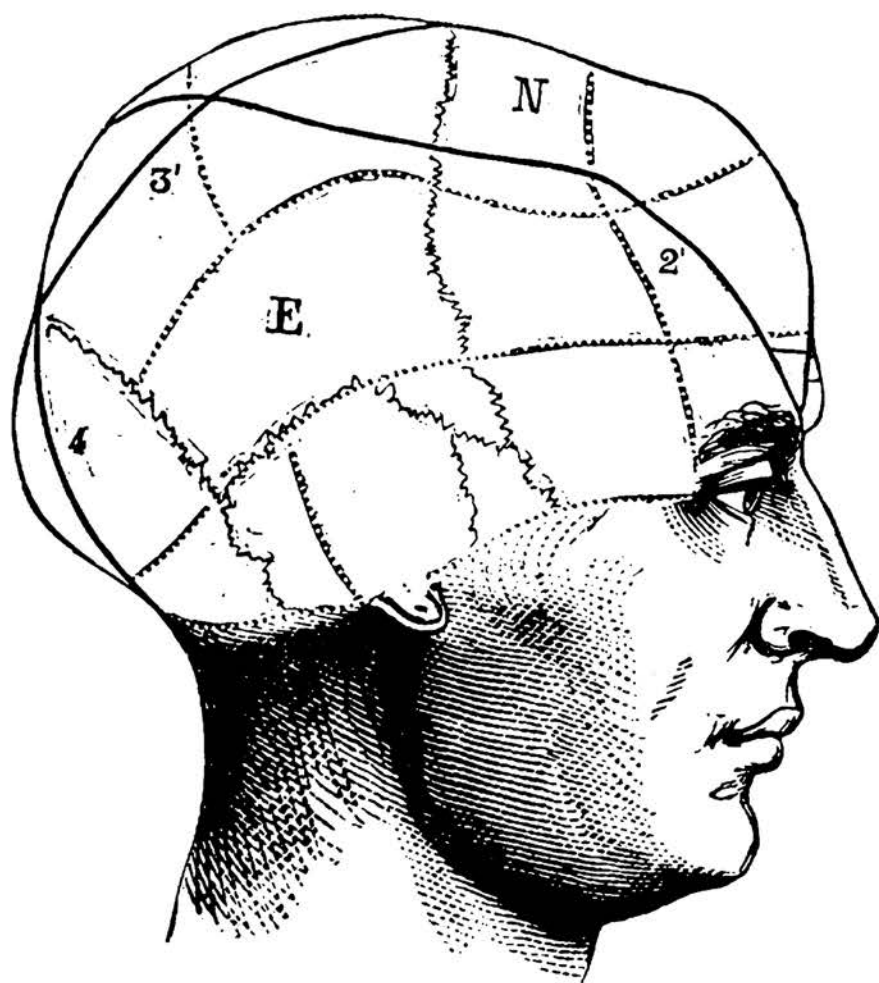
- Bailey D. W.* 2005. Prehistoric Figurines: Representation and Corporeality in the Neolithic. London: Routledge.
- Barton C. M., Clark G. A., Cohen A. E.* 1994. Art as information: explaining Upper Palaeolithic art in Western Europe // *WA* 26, 185–207.
- Biehl P. F.* 2006. Figurines in Action: Methods and Theories in Figurine Research // Layton R., Shennan S., Stone P. (eds.). *A Future for Archaeology*. London: UCL Press, 199–215.
- Bodean S.* 2001. Așezările culturii Precucuteni-Tripolie A din Republica Moldova (Reper-toriu). Chișinău: Pontos.
- Cehak H.* 1933. Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce // *Światowit* 14, 164–252.
- Chicideanu-Sandor M., Chicideanu I.* 1990. Contributions to the Study of the Gîrla Mare Anthropomorphic Statuettes // *Dacia* 34, 53–75.
- Crnobrnja A.* 2011. Arrangement of Vinča culture figurines: a study of social structure and organization // *DP XXXVIII*, 131–147.
- Crnobrnja A. N.* 2012. Group identities in the Central Balkan Late Neolithic // *DP XXXIX*, 155–165.
- Crnobrnja A. N.* 2014. The (E)neolithic Settlement Crkvine at Stubline, Serbia // Schier W., Drașovean F. (eds.). *The Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe. New approaches to dating and cultural Dynamics in the 6th to 4th Millennium BC / Prähistorische Archäologie in Südosteuropa*. Bd. 28. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf, 173–186.
- Cucoș S.* 1993. Complexe rituale cucuteniene de la Ghelăești, jud. Neamț // *SCIVA* 44, 59–80.
- Dubourdiue A.* 1989. Les origines et le développement du culte des Pénates à Rome. Rome: École Française de Rome.
- Evans-Pritchard E. E.* 1965. *Theories of Primitive Religion*. Oxford: Oxford University Press.
- Gallis K. J.* 1985. A late Neolithic foundation offering from Thessaly // *Antiquity* 59, 20–24.
- Gamble C.* 1991. The social context for European Palaeolithic Art // *PPS57*, 3–15.
- Gheorghiu D.* 2001. The Cult of Ancestors in the East European Chalcolithic. A Holographic Approach // Biehl P. F., Bertemes F., Meller H. (eds.). *The Archaeology of Cult and Religion*. Budapest: Archaeolingua, 73–88.
- Gheorghiu D.* 2010. Ritual technology: an experimental approach to Cucuteni-Tripolye Chalcolithic figurines // Gheorghiu D., Cyphers A. (eds.). *Anthropomorphic and Zoomorphic Miniature Figures in Eurasia, Africa and Meso-America. Morphology, Materiality, Technology and Context*. BAR IS2138. Oxford: Archaeopress, 61–72.
- Gimbutas M.* 1974. *The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult Images*. London: Thames & Hudson.
- Gimbutas M.* 1991. *The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe*. San-Francisco: Harper.
- Himmer M.* 1933. Etude sur la civilisation premyceniene dans le bassin de la Mer Noire apres des fouilles personnelles // *Swiatowit* 14, 26–163.
- Hutton R.* 1997. The Neolithic great goddess: a study in modern tradition // *Antiquity* 71, 91–99.
- Kashina E.* 2009. Ceramic anthropomorphic sculptures of the East European forest zone // Jordan P., Zvelebil M. (eds.). *Ceramics before farming: the dispersal of pottery among Eurasian hunter-gatherers*. Walnut Creek: Left Coast Press, 281–297.
- Lesure R. G.* 2002. The goddess diffracted: Thinking about the figurines of early villages // *CAn* 43, 587–610.
- Lesure R. G.* 2011. *Interpreting Ancient Figurines. Context, Comparison, and Prehistoric Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Letica Z.* 1988. Anthropomorphic and Zoomorphic Figurines from Divostin // McPherron A., Srejović D. (eds.). *Divostin and the Neolithic of Central Serbia*. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 173–202.
- Maxim-Alaiba R.* 2007. *Complexul cultural Cucuteni-Tripolie: meșteșugul olăritului*. Iași: Junimea. 198 p.

- Merlini M.* 2014. The sacred cryptograms from Tărtăria: unique or widespread signs? Putting the asserted literate content of the tablets under scrutiny // Marler J. (ed.). Fifty Years of Tărtăria Excavations. Festschrift in Honor of Gheorghe Lazarovici. Suceava: Editura Lidana, 73–119.
- Meskel L.* 1995. Goddesses, Gimbutas and “New Age” archaeology // *Antiquity* 69 (262), 74–86.
- Monah D.* 1997. Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie. Piatra-Neamț: Muzeul de Istorie Piatra Neamț.
- Monah D., Dimitroaia G., Monah F., Preoteasa C., Munteanu R., Nicola D.* 2003. Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie in Subcarpatia Moldoviei., Piatra-Neamț: Muzeul de Istoric Piatra-Neamț.
- Monah D. et al.* (ed.). 1997. Cucuteni. The Last Chalcolithic Civilization of Europe. Catalog of an exhibit in Archaeological Museum of Thessaloniki, 21 September — 31 December 1997. Bucharest: Athena.
- Muller A., Huysecom-Haxhi S., Aubry C., Barrett C. E., Blume C., Kopestonsky T.* (eds.). 2015. Figurines grecques en contexte. Présence muette dans le sanctuaire, la tombe et la maison. Actes du colloque international, Lille (décembre 2011) et Philadelphie (janvier 2012). Lille: Presses Universitaires du Septentrion.
- Muller A., Laffi E., Huysecom-Haxhi S.* (eds.). 2015. Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine. Vol. 2. Iconographie et contextes. Actes du colloque international organisé par l’université Dokuz Eylül d’Izmir 2–6 juin 2007. Lille: Presses Universitaires du Septentrion.
- Muller A., Laffi E., Huysecom-Haxhi S.* (eds.). 2016. Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine. Vol. 1. Production, diffusion, étude. Actes du colloque international organisé par l’université Dokuz Eylül d’Izmir 2–6 juin 2007. Lille: Presses Universitaires du Septentrion.
- Palaguta I.* 2016. An assemblage of anthropomorphic figurines of the Neolithic and Copper Age Balkan-Carpathians cultures: some observations on the structure of images and its development // Preoteasa C., Nicola C.-D. (eds.). Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context: Proceedings of the International Colloquium “Cucuteni — 130”. 15–17 October 2014, Piatra-Neamț, Romania: In Memoriam dr. Dan Monah, In Memoriam dr. Gheorghe Dumitroaia. Piatra-Neamț: Editura “Constantin Matasă”, 327–348.
- Palaguta I. V., Mitina M. N.* 2014. On the problem of interpretation of the Neolithic anthropomorphic clay sculpture: figurine sets — their structure, functions and analogies // Ursu C.-E., Ţerna S. (eds.). Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 275–301.
- Panofsky E.* 1955. Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History. N.Y.: Garden City.
- Perlès C.* 2001. The Early Neolithic in Greece. The first farming communities in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
- Porčić M.* 2012. Contextual analysis of fragmentation of the anthropomorphic figurines from the Late Neolithic site of Selevac // *EP* 7 (3), 809–827.
- Porčić M., Blagojević T.* 2014. Fragmentation, context and spatial distribution of the Late Neolithic figurines from Divostin, Serbia // Ursu C.-E., Ţerna S. (eds.). Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 91–107.
- Sabatini S.* 2007. House urns. A European Late Bronze Age Trans-cultural Phenomenon. Göteborg: Göteborgs Universitet.
- Starkowa E.* 2015. Model domostwa z osady kultury trypolskiej w Popudni — problemy interpretacji // Zakościelna A. (red.). Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia referatów XXXI konferencji. Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 9–10.

- Țerna S. 2011. The production of anthropomorphic figurines in the Cucuteni-Tripolye culture (Copper Age, 5050–3150 cal. BC). Problems and directions of research // Newsletter of the Coroplastic studies interest group 6, 12–14.
- Țerna S. 2014. Clay figurines in mortuary context in the Neolithic and Copper Age of the Western, North-Western and Northern Black Sea regions: disparate phenomena or consequent episodes? // Dumitroaia Gh., Preoteasa C., Nicola C.-D. (eds.). Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context: International Colloquium Cucuteni-130. Abstracts: Piatra-Neamț, 15–17 octombrie 2014. Piatra-Neamț: Editura “Constantin Matasă”, 154–157.
- Tringham R., Conkey M. 1998. Rethinking figurines: A critical view from archaeology of Gimbutas, the “Goddess” and popular culture // Goodison L., Morris C. (eds.). Ancient Goddesses. The Myths and the Evidence. London: British Museum Press, 22–45.
- Tzonou-Herbst I. N. 2002. A Contextual Analysis of Mycenaean Terracotta Figurines. PhD dissertation. Cincinnati: University of Cincinnati.
- Tzonou-Herbst I. 2003. Η πολυσημία των Μυκηναϊκών ειδωλίων // Βλαχόπουλος Α., Μπίρταχα Κ. (επιστ.), Αργοναυτησ. Τιμητικός τομος για τον καθηγητη Χριστο Γ. Ντουμα από τους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980–2000). Αθήνα: Η Καθημερινη Α. Ε., 645–664.
- Ucko P. J. 1968. Anthropomorphic figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete with comparative material from the prehistoric Near East and Mainland Greece / Occasional paper of Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. No. 24. London: A. Szmidla.
- Ucko P. J. 1962. The interpretation of prehistoric anthropomorphic figurines // The JRAI 92 (1), 38–54.
- Ursulescu N., Tencariu F. A. 2006. Religie și magie la est de Carpați acum 7000 de ani. Tezaurul cu obiecte de cult de la Isaia. Iași: Demiurg.
- Vajsov I. 2002. Die Idole aus den Gräberfelder von Durankulak // Todorova H. (Hrsg.). Durankulak, II. Die Prähistorischen Gräberfelder von Durankulak. Teil 1. Sofia: Anubis, 257–266.

# Норманны, славяне

И все-все-все





Н. И. Платонова

## «Неонорманизм», постмодернизм и Славяно-варяжский семинар: размышления археолога

**Резюме.** В статье рассмотрен феномен ленинградской/петербургской школы ранне-средневековых исследований второй половины XX в. Автор не согласен с трактовкой ее «истоков и итогов», высказанной недавно С. В. Томсинским (STRATUM plus, 2014, 5) и предлагает свою, альтернативную точку зрения. Однако дискуссию по этой проблеме, открытую С. В. Томсинским, автор считает полезной и давно назревшей.

**Ключевые слова:** норманизм, неонорманизм, Ленинградский университет, семинар Клейна.

**N. I. Platonova. 'Neonormanism', post-modernism and Slavonic-Varangian seminar.** The paper considers the phenomenon of the Leningrad/St. Petersburg school of early medieval studies in the second half of the 20th century. While the author disagrees with the assessment of the school's 'sources and results' put forward recently by S. V. Tomsinsky's and offers an alternative point of view, the discussion initiated by S. V. Tomsinsky is appreciated as long overdue and meaningful.

**Keywords:** Normanism, Neonormanism, Leningrad University, Klejn's seminar.

### Наука и откровение

Недавний всплеск «варяго-русской» дискуссии в журнале *Stratum plus* (2013–2015 гг.) внезапно обнажил проблему, ранее не привлекавшую внимания. Обсуждение концепций второй половины XX в. (отнюдь не времен Ломоносова или Погодина!) вдруг перешло в историографическую и социально-антропологическую плоскость. Этому способствовала публикация статьи С. В. Томсинского, претендующей на освещение «истоков и итогов» деятельности ленинградских археологов-медиевистов этого периода (Томсинский 2014: 357–370).

Указанная работа вызвала резкие возражения (Клейн 2015: 345–349; Губарев 2015: 351–355). Но знаменательна сама попытка анализа периода, очень близкого нашей современности. При этом данное произведение явно нельзя отнести к привычному нам всем жанру научного рассуждения о проблеме. Куда больше оно напоминает эссе — хлесткое, ядовитое и... бесконечно субъективное. Но именно эмоциональный заряд делает его интересным. Это рефлексия петербургского археолога моего поколения на то, с чего мы начали и к чему пришли. На что замахивались и куда «приехали».

Настоящая работа представляет собой, во многом, «заметки на полях» статьи С. В. Томсинского. Я признателен коллеге за смелость, с которой он затронул ряд весьма непростых проблем. Однако практически по всем вопросам, затронутым в статье, мы с ним расходимся очень круто. Кроме, пожалуй, одного: оценки постмодернистского вторжения в научное пространство древнерусской археологии.

В последние десятилетия постмодернистское мышление активно начало стирать границы между научным познанием истории и «вчувствованием» в прошлое. Между логическим рассуждением и мистическим озарением. Между научной интуицией и пророчеством... Опыт показывает, что такие течения всегда находят себе сторонников. Это опасная тенденция, так как в результате мы можем вместо мира науки попасть в мир фантомов, выбираться из которого потом будет очень трудно. Хотелось бы напомнить в этой связи ситуацию, создавшуюся в отечественной науке 100 лет назад. Тогда Н. Я. Марр (по признанию вполне серьезных людей — гениальный ученый!) попробовал «перескочить» через неизбежную ограниченность рационального мышления и выйти за его пределы. Но подмена системы логических доказательств *озарением* никаких открытий не принесла. Она обернулась блужданием среди хаоса отдаленных, смутно угаданных или воображаемых связей между явлениями. В соединении с некритическим отношением к себе и большой силой эмоционального убеждения это довело ученого до безумия, а российскую науку загнало в тупик.

Мне могут заметить: пример Н. Я. Марра сегодня не показателен. Его подняли на щит большевики, и внедрялось его учение внеучными методами. Да, до сих пор ученые, пытавшиеся работать на грани иррационального — от Л. Н. Гумилева до Д. А. Мачинского — поддержкой властей не пользовались. Думаю, к счастью для них самих... Но, во-первых, где гарантия, что такого не произойдет в дальнейшем? Во-вторых, во времена Н. Я. Марра еще существовал абсолютно здравомыслящий Запад, неукоснительно сохраняющий рационализм в научных подходах и могущий служить ориентиром. А сейчас «трезвомыслие» западной науки сильно пошатнулось. Ей свойственны те же проблемы, она так же переживает утрату ориентиров...

Хорошей иллюстрацией последнего служит блистательный розыгрыш, осуществленный профессором физики Аленом Сокалом, без труда сумевшим опубликовать в модном культурологическом журнале *Social Text* *откровенную пародию и абракадабру*, выданную им за «междисциплинарное» исследование. Наличия «нужных» цитат и ссылок на современных пророков постмодерна оказалось вполне достаточно, чтобы статья прошла рецензирование и была опубликована...

Это стало поводом для создания книги, в которой уже двое западных физиков — А. Сокал и Ж. Брикмон — заговорили об «интеллектуальном перерождении... университетской интеллигенции», сопроводив все это анализом трудов упомянутых «пророков» на предмет их соответствия логике и фактам из области тех смежных дисциплин, которые они привлекают. Результат оказался удручающим (Сокал, Брикмон 2002).

Конечно, эта история вызывает смех. Но и тревогу тоже. Ибо творения авторов, разобранных в книге А. Сокала и Ж. Брикмона, зачастую уже переведены на русский язык. И кем-то у нас они наверняка воспринимаются как «последнее слово» передовой науки Запада.

Таким образом, пытаюсь сегодня сохранить «трезвенность», рассчитывать приходится в основном на самих себя. И на рациональные установки отечественной науки, еще не до конца забытые. К сожалению, для наших гуманитарных дисциплин весьма характерно отсутствие традиции публичной дискуссии и вообще адекватной публичной реакции. Его далеко не всегда полноценно восполняет обмен мнениями в рамках своей «тусовки», где практически все члены оказываются либо в чем-то друг от друга зависящими, либо связаны узами старой дружбы, политическим партнерством и т. д. Одним из немногих примеров независимого высокопрофессионального анализа, пожалуй, является реакция нашего ведущего исследователя летописей А. А. Гиппиуса на публикацию Д. А. Мачинского «Почему и в каком смысле Ладогу следует считать первой столицей Руси?» (Мачинский 2002; Гиппиус 2007). Излагать ее здесь нет места, а вот прочитать внимательно я посоветую всем интересующимся.

С. В. Томсинский в своем эссе, в сущности, стремится обличить именно эту, действительно опасную тенденцию стирания границ между научным подходом и альтернативным знанием, чреватую махровым дилетантизмом в исследованиях Древней Руси.

Но ему показалось недостаточным констатировать ее рост в научном сообществе в последние 15–20 лет. Он поставил задачей проследить *истоки* данного явления — и усмотрел их в *особой эстетике восприятия* скандинавского и древнерусского средневекового мира, сложившейся в ленинградской раннесредневековой археологии в 1960–1970-х гг.: «...в ленинградском неонорманизме очень важной стала “эстетическая компонента восприятия исторической действительности”, с течением времени эта компонента должна была только усиливаться, ибо образ всегда воздействует на сознание сильнее, чем доказательства и опровержения научных гипотез. Разумеется, это не означает, что ленинградские неонорманисты пренебрегли кропотливой исследовательской работой, отнюдь нет, но результатом этой работы непременно должны были оказаться глобальные обобщения в стиле монументального историзма — на меньшее они, вдохновлявшиеся сагами, были просто не согласны. Между тем археологические источники, которыми они оперировали... по природе своей амбивалентны, а письменные источники не допускают однозначной интерпретации. И это означало, что рано или поздно реконструкции исторической действительности будут основываться не на результатах анализа материалов раскопок археологических памятников, а на интуиции, умозрительных построениях и, в конечном счете, мистических откровениях...» (Томсинский 2014: 363–364).

О понятии «ленинградского неонорманизма» разговор у нас будет ниже. А вот по поводу «эстетической компоненты» хочу заметить: тут стрелы автора бьют мимо цели. Данная компонента в ленинградской археологии указанного периода действительно была сильна. Но за особой эстетикой восприятия средневековья, сложившейся в те годы, вряд ли стояло «аутистическое мышление» интеллигенции или «решительное преобладание эмоционально-образного мышления над мышлением логическим» (Томсинский 2014: 366). Эта эстетика была исторически обусловлена и совершенно естественно может быть объяснена объективными факторами развития науки и культуры того периода.

Во-первых, в 1956 г. вышло первое рассчитанное на широкого читателя издание исландских родовых саг в русском переводе, а вскоре и академическое русское издание «Старшей Эдды» (Исландские саги 1956; Старшая Эдда 1963). В 1966 г. публикуются «Походы викингов», в 1967 г. — «Культура Исландии»,



в 1972 г. — «История и сага» (Гуревич 1966; 1972; Стеблин-Каменский 1967). Эти популярные, доходчивые книги были написаны учеными-профессионалами высочайшего уровня. Они вскрыли перед читателем целый пласт *принципиально новой информации* о северо-европейском средневековье, о Скандинавии тех самых времен, когда по соседству с нею зарождалась и складывалась Русь.

Так открылось широкое поле для всевозможных аналогий, для разработки проблем, мало освещенных древнерусской письменностью. Детально описанное изнутри исландское «народоправство» невольно вызывало в памяти наш Великий Новгород. Упоминания о поездках героев «на Восток» заставляли задумываться: а не пересекались ли пути наших предков с их путями?..

Вдобавок в трудах А. Я. Гуревича на первый план выступила совершенно новая на тот момент проблематика — изучение *менталитета* средневековья, особенностей мышления и стереотипов поведения, специфических для норманнов. И опять же: «норманнов» ли? Может быть, северного языческого средневековья в целом?.. Саги разрушали прежние стереотипы восприятия. Увиденные *человеческие образы*, действительно, запоминались:

*«...Подходя к дому, они не знали, дома ли Гуннар?.. Норвежец Торгрим поднялся на крышу. Гуннар увидел в окошке его красную одежду и нанес ему удар копьем. Торгрим поскользнулся, выпустил из рук щит и упал с крыши. Он подошел к Гицуру и его людям, сидевшим на земле. Гицур посмотрел на него и спросил:*

*— Ну что, дома Гуннар?*

*Торгрим ответил:*

*— Сами узнаете. Я знаю только, что его копье дома.*

*И он упал мертвым на землю...»* (Сага о Ньяле)

Было бы невероятно, если бы эта суровая героиня не нашла пути к сердцу тогдашней молодежи, не появились бы энтузиасты, жаждущие исследовать этот мир! Стремление «вжиться в эпоху», прочувствовать ее само по себе не предосудительно — до тех пор, пока оно занимается в работе ученого положенное место, а именно — возбуждает любовь к предмету и помогает донести свой интерес до других. Многие серьезные специалисты-античники всей душой любили героев классической древности. Почему же медиэвистам не любить раннее средневековье?.. Вот, кстати, любопытный пример такого подхода, относящийся к началу еще «александровской эпохи» — 1850-м годам:

*«...Особенным многолюдством отличались лекции Костомарова... Представьте себе худощавую фигуру среднего роста с белокурыми усами... с эпически спокойным, бесстрастным лицом — таким возвышался он на кафедре перед несметною толпою. Ни признака улыбки, ни малейшего возвышения голоса — речь его лилась с ненарушимым спокойствием летописного повествования.*

*Но какая это была речь! Летописи и легенды принимали в устах Костомарова характер живого народного говора. Сухой летописный рассказ или даже перечень передавался с своеобразным юмором, вызывавшим тем больший смех, чем невозмутимо-спокойнее был лектор. Средневековая старина удельно-вечернего периода воскресала перед слушателями в осязательной реальности... И начало, и конец лекций сопровождалось громкими и долгими рукоплесканиями...»* (курсив мой. — Н. П.) (Скабичевский 2001: 167).

Не приходится сомневаться: элементы «вживания» и «вчувствования» в эпоху присутствовали в исторической науке на самых разных этапах ее развития. И вовсе необязательно они должны были привести к отрыву от реальности,

к прекращению работы с конкретными источниками и памятниками. Кстати, именно это был вынужден оговорить и сам автор в цитированном выше фрагменте. Среди ленинградских археологов-«шестидесятников» (к которым надо было бы добавить «семидесятников», ибо эти субгенерации существовали неразрывно) встречались очень разные люди. Кто-то вправду увлекся потом мистикой и эзотерикой (только причем тут саги?). Кто-то без всякой мистики начисто бросил работать (причины всегда найдутся!). Кто-то работает и сейчас, тащит тяжелый воз...

Вряд ли нужно сегодня жалеть в том, что в 1960–1980-е гг. многие из нас знали почти наизусть скандинавский героический эпос и пересказывали его у костров вперемежку с песнями. Опасность — и тогда, и сейчас — заключалась в отрыве от главного принципа, без которого наука просто перестает быть наукой — принципа рационального познания.

К сожалению, сам автор статьи, осознанно или нет, часто переходит в рассмотрении фактов на рельсы постмодернистского подхода. Как видно, это очень заразительно... У него получается, что эстетика «направления» сама собой формирует его «особый, образный язык». Из этого языка, тоже сами собой и, вероятно, помимо воли их авторов, рождаются «идеологемы». Эти последние полностью завладевают сознанием археологов-«шестидесятников» («аутистическим сознанием»), рожают, по ходу дела, новые идеологемы, и т. д.

На мой взгляд, все это есть типичное для постмодернизма «представление мира и культуры как совокупности текстов» (Ратников 2002: 130). То есть описывается не некая реальность, объективно (в той или иной степени!) отраженная в сознании наблюдающего ее субъекта, а затем воплощенная в идею (текст). Нет, весь изучаемый процесс представляется «языковой игрой», игрой «означающих», при полном бессилии и пассивности личностей, вовлеченных в эту игру. Тексты берутся ниоткуда, объясняют сами себя и порождают следующие тексты... Реалий за ними уже не видно.

Едва анализируемое явление (текст) получает свой «ярлык», его анализ как бы прекращается. Само содержание уже никого не интересует, куда важнее продемонстрировать место, занимаемое им в схеме: «...Проблема ленинградского неонорманизма, как и любого другого направления в познании отдаленного прошлого, не в самих интерпретациях пресловутой “норманнской проблемы” в истории России, не в соотношениях тех или иных фактов, установленных в процессе раскопок, с письменными источниками — а в том, почему, когда и как именно эти интерпретации утвердились в отечественной науке и, соответственно, почему, когда и как таковые начинают пересматриваться...» (Томсинский 2014: 358).

Таким образом, научный процесс предстает перед нами как *всецело обусловленный вненаучными факторами*. Процесс построения моделей приобретает доминирующее значение; степень их соответствия реалиям полностью остается за скобками. Не знаю даже, вполне ли С. В. Томсинский отдает себе отчет, что именно он написал?

О. Л. Губарев в этой связи задает ему вопрос: как эти «второстепенные факторы» могли бы «...сказаться на утверждении в науке данного направления без подтверждения выдвигаемых гипотез историческими фактами?... То есть без соответствия... объективной исторической истине?» (Губарев 2015: 352).

Тут, пожалуй, маятник качнулся далековато в другую сторону. Объективная историческая истина — это дальняя даль, к которой все мы должны стремиться,

строя все те же объяснительные модели. Но при всем желании мы не способны исчерпывающе познать бесконечно разнообразные, многоуровневые системные связи между факторами, определяющими исторический процесс. Наше познание истории всегда обусловлено состоянием источников и методов извлечения из них информации. Оно неизбежно лакунарно и ущербно. Проходит совсем немного времени, и появляются новые факты, новые данные, заставляющие нас корректировать (или вовсе отбрасывать) очередную модель с целью *приближения* к истине, но без претензии полностью ей соответствовать.

Я могу согласиться с О. Л. Губаревым в другом: вопросы «*почему, когда и как именно* появилась та или иная концепция» при всей своей важности не могут быть поставлены во главу угла. Наука (если она — наука!) не адекватна своему социальному контексту и не исчерпывается им. Да, ученый работает не в безвоздушном пространстве. Он — не бесстрастная машина, анализирующая информацию. Он живой человек, неразрывно связанный со своим социумом и со своим временем. Социальный контекст или социальный заказ могут повлиять на подбор сюжета исследования, на выбор актуального аспекта проблемы, могут стимулировать разработку новой методики. В крайнем случае, они могут обусловить «предвзятую идею»!

Но даже с этой «идеей» научное исследование (если оно научное!) всегда имеет «сухой остаток», который принимается к сведению теми, кто будет работать позднее, другими методами и в совершенно ином социальном контексте. Именно по «сухому остатку», ни по чему другому, историография, в конечном счете, оценивает любое научное направление.

Что же касается зависимости идей и концепций от социально-исторических факторов, то ее, разумеется, всегда следует «держать в уме». Это необходимо для понимания, почему некий аспект проблемы «высветился» в работах данного направления, в чем может заключаться предвзятость подхода к нему, и т. д. Детальный анализ этой стороны вопроса осуществляется в рамках социологии науки или в жанре научной биографии.

А вот проблема «истоков» научной школы, помимо анализа контекста, должна включать еще оценку «багажа», которым располагала наука в момент зарождения данного направления, и главных тенденций его ревизии, обозначившихся тогда же.

Подведение «итогов» требует определения «сухого остатка» произведенных исследований, актуального в настоящем и в будущем.

В статье С. В. Томсинского я не нашла, увы, ни того, ни другого.

### **«Неонорманизм»: реальность или недоразумение?**

Мне бы в голову не пришло возражать в ответ на обвинение в «норманизме», если бы оно не исходило от коллеги-археолога, вместе со мной заканчивавшего ЛГУ. Сейчас и в интернете, и в публикациях такой ярлык могут приклеить всякому, кто посмеет признать хоть незначительную скандинавскую примесь в составе социальной элиты Древней Руси. Признал варяга скандинавом — значит, «норманист»! Даже если этот «варяг» был Олавом Трюггвасоном, будущим королем Норвегии. Или Харальдом Суrowым, получившим в жены Елизавету Ярославну... Или ярлом Рёгнвальдом из Восточного Гаутланда в Швеции, ушедшим на Русь со всеми людьми и добром в свите Ингигерд, будущей княгини Ирины... Между тем, это просто самые известные «варяги», имена которых попали

в письменные источники. Понятно, что приезжали они по проторенному пути, и сопровождавшие их люди вряд ли поголовно были этническими славянами с юга Балтики.

«На каждый чих не наздравствуешься», — гласит мудрая народная пословица. В описанном выше узком значении и я, и мои коллеги, разумеется, являемся «норманистами». Этим и обусловлено периодическое проскакивание в публикациях этого термина — уже как *самоназвания* (Губанов 1998: 33; 2004; Лебедев 1999: 103). У С. В. Томсинского последнее вызвало ехидное замечание: «хоть в кавычках, а все же “норманисты”!» (Томсинский 2014: 359). Но надо же как-то отличать себя от оппонентов, раз более тонких отличий терминологии не выработано.

Сам С. В. Томсинский, если проанализировать с этой точки зрения его наиболее значительные труды, — закоренелый норманист. Вот что писал он в 1999 г., будучи к тому времени вполне зрелым, состоявшимся ученым, перешагнувшим 40-летний рубеж: «...находка в 1879 г. клада арабского серебра на окраине Углича у Покровской горы на левом берегу Волги позволяла предполагать, что Угличское Поволжье уже в IX в. включается в систему торговых путей Восточной Европы, а, следовательно, и в процесс становления древнерусской государственности. Поскольку активное участие в этом процессе на разных этапах принимали скандинавы, проникновение последних в Угличское Поволжье либо с северо-запада, из Поволховья, либо с юга, из Киева, по мере продвижения в центральные районы Волго-Окского междуречья представлялось весьма вероятным... Подтверждающие это предположение материалы были получены в 1992–95 гг. в процессе раскопок в северо-восточной части угличского кремля...» (Томсинский 1999: 169).

И верно: археолог-практик, своими руками вынимавший из культурного слоя Углича X в. такие предметы специфически скандинавской культуры, как скрамасакс, молоточек Тора, кость с рунической надписью-заклинанием, обращенным к Фрейру (Томсинский 2004: 115–116, 122), не может отрицать присутствие в регионе выходцев из Скандинавии. Поэтому его заключение, изложенное в монографии о средневековом Угличе, представляется вполне правомерным: «Вопрос о присутствии в Угличе Поле скандинавов сложен. Предметы, принадлежащие североевропейской культурной традиции, попали сюда с представителями... знати, которая обосновалась, видимо, уже в середине X в. на береговых террасах мысовой площадки... Однако были ли все владельцы наконечников ножен мечей и пряжки в стиле *Vorre*... скандинавами, остается неясным, поскольку в дружинах древнерусских князей традиции скандинавской культуры воспринимались и представителями других этносоциумов. Более определенна принадлежность женщине скандинавского происхождения круглощитковой золоченой фибулы с изображением звериных головок... Об устойчивости скандинавских традиций и, видимо, этнического самосознания выходцев из Северной Европы в Угличе Поле четко свидетельствуют находки рунической и руноподобной надписей на костях... Численность собственно этнических скандинавов... установить невозможно...» (Там же: 151).

Именно такая, деловая и взвешенная, позиция по отношению к скандинавским материалам в древнерусском культурном контексте была характерна для подавляющего большинства работ ленинградских (петербургских) археологов-медиевистов второй половины XX в. Исключения из ряда, конечно, встречаются, но не думаю, что они характеризуют «направление». Существуют ведь частные мнения. Или состояния психики...

Так что же такое «неонорманизм» и почему он именно «ленинградский»? Как профессионал, С. В. Томсинский не может не знать, что начиная с 1970-х гг. отождествление варягов (или значительной части их) со скандинавами, входившими в элитарные группировки древнерусского общества, стало одинаково характерно для ленинградского и московского сообществ археологов и филологов-источниковедов. Впрочем, этот вопрос уже был задан ему в ходе дискуссии (см.: Губарев 2015: 352). Сосредоточиваться на нем я не буду.

Несколько проясняет ситуацию формулировка С. В. Томсинского, согласно которой «норманизм» — это «...утверждение скандинавского происхождения не только династии Рюриковичей, но и древнерусской государственности как таковой» (курсив мой. — Н. П.) (Томсинский 2014: 358). «Норманизм есть сугубо российский феномен... — продолжает он далее, — ибо только в России, в конечном счете, оказался по-настоящему актуальным вопрос об “основании древнерусского государства” скандинавами...» (Там же).

Хотя данное определение и расходится с другими, более общепринятыми (см.: Губарев 2015: 352), внутренних противоречий я в нем не усматриваю. Более того, я считаю его верным. На мой взгляд, тут схвачено как раз то главное, что делает «норманнскую проблему» неисчерпаемой. В конечном счете камнем преткновения действительно служит давняя, большая для русского национального самолюбия тема о «диких славянах», «неспособных самостоятельно создать государство». Именно в этом тайном грехе до сих пор подозревают — тайно или явно — каждого, кто допускает скандинавское присутствие в Восточной Европе в VIII–XI вв.

Но, как известно, подозрение подозрению рознь. Бывают они обоснованными, бывают и маниакальными. Хочу поставить другой вопрос: а какое, собственно, отношение имеет все это к ленинградским исследователям второй половины XX века? К той школе, которой мое поколение обязано научным стартом, да и научной зрелостью тоже?

Серьезного обоснования тезиса, что ленинградских археологов (читай: «неонорманистов») действительно объединяло убеждение в «скандинавском происхождении древнерусской государственности как таковой», я в статье не нашла. С. В. Томсинский приводит ссылку на одно высказывание Л. С. Клейна о «введении государственности» (Клейн 2009: 121), но она оказалась вырванной из противоположного по смыслу контекста (Клейн 2015: 346). А остается — что? Собственное озарение автора? Песенное творчество В. П. Петренко?

В статье С. В. Томсинского вполне справедливо говорится об опасности подмены анализа материалов «умозрительными построениями и мистическими откровениями» (Томсинский 2014: 364). Однако сам он, похоже, не замечает, что его исходная установка всецело зиждется на принципе «мне так кажется».

Обоснование строится так: вначале, на с. 359, говорится о том, что группы «выходцев из Северной Европы» точно присутствовали в Восточной Европе в VIII–X вв. Это «определенно удостоверяют» раскопки... Хорошо.

Раскопки, по мнению автора, помогают также определить социальный статус этих людей (подразумевается — высокий). Но вот роль скандинавов в процессе государствообразования по данным археологии уточнить невозможно... Хорошо.

До сих пор у С. В. Томсинского все было ясно и логично. Но далее начинается просто череда накладок и недоразумений.

«Следовательно, — пишет он без всякого перехода, — “норманнская проблема” — это проблема актуализации тех или иных интерпретаций источников.

Именно в этом контексте надлежит рассматривать и ленинградский неонорманизм 1960–90-х гг.» (Там же: 359).

Подождите, подождите... а из чего это следует?

Выходит, сначала (с. 358) С. В. Томсинский для себя самого определяет «норманизм» как теорию экспорта государства норманнами в земли восточных славян. Именно *из этого* он на с. 359 делает вывод, что *любая новая актуализация споров вокруг норманнов означает: одна сторона обязательно считает их такими экспортёрами, создателями государства, а другая — нет!*

Выходит, если спор возник заново в 1960-х гг., и одна сторона в нем утверждала: «Норманнов на Руси было больше, чем считалось раньше, и роль их была значительней!», — то она же обязана с железной необходимостью присоединиться к теории *экспорта государства* из Северной Европы в Восточную? По логике предыдущего рассуждения: да, именно так. А вот оппоненты — те непременно должны выступить противниками указанной теории.

Далее автор заключает: «*Соответственно*, то направление в отечественной археологии, которое возникло в Ленинграде в середине 1960-х гг., *вполне логично* именовать ленинградским неонорманизмом по отношению к норманизму двух предшествующих столетий...» (курсив мой. — Н. П.) (Там же).

Простите, но логики здесь нет никакой.

На практике решительно все обстоит наоборот. Та группа исследователей, которая сегодня однозначно утверждает: скандинавы на Руси *бывали*, и даже заметно больше, чем считали в 1960-х гг. Б. А. Рыбаков, Д. А. Авдусин и др., во все не обязательно видит в них создателей Древнерусского государства. Дочудивый пример тому — сам С. В. Томсинский, отчетливо разделяющий эти два вопроса. А вот для нынешних наших оппонентов (школы А. Г. Кузьмина или А. Н. Сахарова) признание варягов вендами, ободритами, «рериками» и т. п. вполне может снять все проблемы, связанные с экспортом государства извне. Концентрируясь на чисто этнической стороне вопроса, многие из них (возможно, не все) охотно соглашались, что государство в Приильменье привезли «в лодьях» западные славяне.

Из признания скандинавского происхождения *княжеской династии* в науке конца XVIII — третьей четверти XIX в. автоматически следовал вывод об иноземном происхождении и древнерусской *государственности*. Однако с тех пор и исторические, и социальные дисциплины несколько ушли вперед. Поэтому для того, чтобы приписать коллегам такой «правильный» норманизм, следовало бы отнестись к делу более ответственно. Надо было, как минимум, детально разобрать их труды и привести конкретные примеры, иллюстрирующие подобный подход. И при этом не путать «теорию экспорта государства» (уходящую корнями в устарелые представления XVIII–XIX вв. о народах, «не способных к самоорганизации») с более современными представлениями, согласно которым «...иноземные правители в ранних государственных объединениях — скорее закономерность, нежели исключение» (Данилевский 1998: 71). Необходимость этого возникла «...в условиях межплеменного общения, доросшего до осознания общих интересов. При решении сложных вопросов, затрагивавших интересы всего сообщества в целом, “вечевой” порядок был чреват серьезными межплеменными конфликтами...» (Там же).

Вот и пришло время вернуться к сакраментальному вопросу: что же приводит С. В. Томсинский в качестве реального аргумента, подтверждающего наш всеобщий, неискоренимый «норманизм»? — Оказывается, и вправду — песенный

экспедиционный фольклор! «...Поэтический манифест направления, созданный В. П. Петренко, называется, как известно, “Гимн оголтелого норманизма”, и нет никаких оснований усматривать в этом названии иронию...» (Томсинский 2014: 361).

Песня с хулиганским названием «Гимн оголтелого норманизма» была сочинена юношей-студентом, полным под завязку героикой и романтикой исландских саг. Вдохновленный, как и все его товарищи, результатами «варяжской дискуссии», он отправился в 1966 г. в компании четверых таких же энтузиастов искать следы варягов на волоках между Ловатью и Днепром.

Драккаров на Каспле-реке не оказалось, но на одном из поселений студенты нашли полубрактеат Хедебю. Были в полном восторге... Последние дни в маршруте им было нечего есть — питались остатками холодной лапши, предусмотрительно упакованной в рюкзак. Придя, наконец, в райцентр, обнаружили рубль — у кого-то за подкладкой. Вместе выпили пива и пошли в кино... Впрочем, связана ли история с рублем именно с той, Касплянской разведкой — за это не поручусь. Но история, несомненно, подлинная: произошла в те самые годы, примерно с теми же действующими лицами. Абсолютно феерическая, характерная для тех лет ситуация. Конечно, все это стало фольклором. Серьезные вещи в фольклор не просятся никогда, а такие — запросто:

*Мы по речке, по Каспле идем,  
Мы лапши в рюкзаки напихали,  
И для бедных славистов несем  
Норманизма седого скрижали.  
В этом брошенном Клейном краю  
Тонем в речках мы в поисках брода,  
Но в борьбе за идею свою  
Сложим кости на благо народа!*

*.....  
Под крутым и жестоким норд-остом,  
Тем, что дует сильнее и сильнее,  
Ничего, что остался лишь остов  
От бесстрашных варяжских ладей!..*

Очень хорошо помню, как мы с товарищами (и с С. В. Томсинским, кстати!) хором распевали эту замечательную песню в 1976 г., в экспедиции В. А. Кольчатова. Название «Гимн оголтелого норманизма», разумеется, вызывало смех. Тогда, как ни странно, все понимали, что это эпатаж. И прекрасно знали, в кого он метит:

*В деканат, в партбюро, в декана-а-т  
Археологи тащатся в ряд...*

Чувство юмора у всех членов компании было тогда на месте.

Увы, победное шествие постмодернистского дискурса в общественных науках приводит к тому, что забывать и о логике, и о необходимости доказательств выдвинутых тезисов становится очень просто. Могу констатировать: от частого повторения и прекрасного, очень образного языка С. В. Томсинского его исходное положение не становится более обоснованным. Самый предмет изучения — ленинградская школа раннесредневековых исследований — явно

не вмещается в рамки, которые предписывает ему автор. Основной пафос критики «ленинградского неонорманизма» — как целостного явления, взятого в социальном контексте эпохи — по большей части, «уходит в гудок».

### Концепция И. И. Ляпушкина — М. И. Артамонова

Яркую иллюстрацию тому, что «идеологема», выстроенная автором, существует отдельно от реальности, неожиданно обнаружила в себе посмертно опубликованная статья М. И. Артамонова «Первые страницы русской истории в археологическом освещении» (Артамонов 1990). Именно в этой обобщающей работе С. В. Томсинский усматривает самое исчерпывающее изложение исходной концепции «ленинградского неонорманизма». Однако при передаче ее основных постулатов им была допущена серьезная ошибка.

По М. И. Артамонову, первые славяне появляются в среднем Поднепровье из Центральной Европы, не ранее VI в. В верхнее Поднепровье они проникают только в VIII в. О том, что колонизация не была мирной, свидетельствуют пожары на балтских городищах.

Тогда же с севера на Русский Северо-Запад начинают проникать скандинавы. Встреча двух разнонаправленных потоков весьма «пассионарного» населения (у М. И. Артамонова этого слова, конечно, нет, но смысл таков) происходит в верхнем Поднепровье. Необходимость совместно противостоять аборигенному населению приводит к смешению и объединению «находников» между собой. Так возникает полиэтническое сообщество — «русь», фактически — военизированная группировка, живущая за счет местных финно-угорских и балтских насельников. Эта группировка не была замкнутой — в нее могли вступать воины из числа местного населения, тем самым повышая свой социальный статус и обеспечивая безопасность своей родне.

Между тем, в среднем Поднепровье возникает первое восточнославянское государственное объединение — «Росский каганат». Это была попытка славян, плативших дань Хазарии, «отложиться» от нее, воспользовавшись беспорядками и войной в самом Хазарском каганате. В дальнейшем «варяго-славянская дружина» Олега захватывает среднее течение Днепра, чтобы обосноваться там. Но здесь норманнская династия оказывается в плотном славянском окружении. Она смогла удержаться у власти, только слившись со славянской знатью. Это и стало основой государства, названного «Русской землей», по созвучию с «Росской землей» предшествующего периода (Артамонов, 1990: 278–288).

С. В. Томсинский представляет позицию М. И. Артамонова несколько иначе. Он почему-то уверен, что тот локализует «каганат россов» «на Среднем Днепре с центром в Гнёздове» (sic!). Но где Гнёздово, а где средний Днепр? При этом автор дает ссылку на статью Артамонова, с. 284 (Томсинский 2014: 360). На этой странице о каганате вообще нет ни слова, а говорится о набеге «руси» на Константинополь в 866 г. Эту «русь» Артамонов и вправду считает верхнеднепровской, «варяго-славянской», и осторожно предполагает, что в набег она вышла из Гнёздова. Однако подробное изложение позиции по вопросу о *каганате росов* начинается двумя страницами ниже. По смыслу оно диаметрально противоположно тому, что утверждает С. В. Томсинский:

«Каганом народа рос мог быть только глава среднеднепровских славян, принявший этот титул в знак освобождения от хазарского ига и равноправия с главой хазар» (Артамонов 1990: 286).



«Новое государственное объединение, естественно, нуждалось в военной силе, способной противостоять хазарам, и охотно привлекало на службу появившихся на среднем Днепре варягов. Этим и объясняется... что попавшие в Ингельгейм послы кагана, стремившегося установить связи с Византией, оказались норманнами» (Там же: 287).

«Славянское государство на среднем Днепре не могло получить свое имя от варягов, известных финнам под именем руотси или руси... Оно задолго до появления варягов называлось Росским, потому что его территория была известна под именем Росской, а в дальнейшем Русской земли. Вполне вероятно, название этой земли восходит к ираноязычным роксоланам (росаланам), какие позже по-готски назывались «росомонами» и при появлении гуннов первыми восстали против готов, а затем вошли в состав завладевших страной гунно-болгар...» (Там же).

Я не ставлю себе целью дать оценку высказанным здесь суждениям М. И. Артамонова. Вопрос о «хакане рус» и «кагане норманнов» — очень запутанный. Но в данном случае меня удивила небрежность, с которой критик «неонорманизма» подошел к изложению концепции, которую сам же называл *основополагающей* для данного направления (Томсинский 2014: 360). Ведь получается, что именно у основоположника «пальма первенства» в государственном строительстве на юге Руси отдана среднеднепровским славянам — вопреки тому ярлыку, который автор изначально «навесил» на все «направление».

Заподозрив случайную накладку, я открыла другую работу С. В. Томсинского, специально посвященную историографии проблемы «русского каганата». И... обнаружила там то же самое: «М. И. Артамонов, опираясь на результаты своих многолетних исследований славянских и хазарских памятников и работы И. И. Ляпушкина, полагал, что *“каганат русов”, отождествленных им со скандинавами, находился на Днепре, а центром его считал Гнездово...*» (курсив мой. — Н. П.) (Томсинский 2013: 278). И ссыла все на ту же несчастную страницу 284. Как говорится: не верь глазам своим!

Я не исключаю, что М. И. Артамонов колебался в вопросе о «росах» и «руси» как двух разных объединений. Тем не менее, его попытка «развести» между собой северных «руотси» и народ «росов» с их каганом была вовсе не случайной и основывалась на глубоком знании именно южной проблематики раннего средневековья Восточной Европы. Бестрепетно помещать «кагана» на север, в туманы Ладоги или в болота Карелии — до такого М. И. Артамонов, конечно, не мог додуматься.

В настоящее время проблема существования в среднем Поднепровье VII — начала IX в. каких-то протогосударственных образований, основанных на симбиозе славянского земледельческого населения и кочевнической по происхождению верхней страты общества — носителей всаднической субкультуры, — уже давно перешла из разряда догадок в разряд серьезных научных гипотез, требующих разработки.

Эти «протогосударства» (существовавшие, как правило, недолго, не более 50–100 лет) письменным источникам неизвестны. Но они постепенно открываются в археологических источниках, и здесь нас, вероятно, ожидает немало неожиданностей. Так, например, выясняется, что в середине — третьей четверти VII в. устойчивые системные связи прослеживаются между пеньковской культурой (анты) и какой-то кочевнической группировкой тюркского (гунно-болгарского?) происхождения. «Связь кочевого и оседлого населения не огра-

ничивалась соседскими контактами, была достаточно тесной и имела форму симбиоза... Кочевая знать в этом объединении, очевидно, главенствовала...» (Обломский 2012: 25–26).

В VIII — первой половине IX в. типологически близкая ситуация прослеживается в том же регионе, уже в рамках роменской культуры. Здесь выделяется «пласт инородных древностей» волынцевского типа, одновременных роменской культуре и существующих в симбиозе с ней (Григорьев 2000: 14). В частности, волынцевским является Битицкое городище на р. Псёл, являвшее собой мощный центр высокоорганизованного ремесла и торговли, демонстрирующий, вдобавок, большое количество находок, связанных с всаднической субкультурой (Сухобоков и др. 1989: 104). Население его было явно полиэтнично, в культуре сильны салтовские (алано-болгарские) традиции, хотя в целом волынцевская культура обычно признавалась исследователями или славянской, или очень сильно славянизированной (Березовец 1965: 55–56; Горюнов 1975).

Исследователь роменской культуры А. В. Григорьев считает Битицу административным центром Северской земли, связанным с хазарским владычеством. При этом он подчеркивает *местный характер* этой администрации — вплоть до первой половины IX в., когда городище подверглось полному разгрому и уничтожению. Более оно не возродилось, и хазарская дань, как можно предполагать, стала собираться с населения напрямую, уже не через посредство местной социальной элиты (Григорьев 2000: 174–175).

Хронологическая близость таких событий, как гражданская война в Хазарии, выход на историческую арену воинственного народа, перекрывшего путь на родину «росам» Бертинских анналов, и гибель крупнейшего торгово-ремесленного и, видимо, властного центра в среднем Поднепровье, конечно, наводит на размышления. Однако это тема отдельного исследования, и лучше нам сейчас не тропиться с глобальными выводами. Я сочла нужным остановиться на этой проблеме только для того, чтобы продемонстрировать новую актуальность некоторых положений М. И. Артамонова в контексте современной науки.

С. В. Томсинскому представляется, что, если бы М. И. Артамонов опубликовал эту работу при жизни, он считался бы главным идеологом «неонорманистского» направления. На мой взгляд, никто и так не сомневался — с самого момента публикации ключевой статьи М. И. Артамонова о расселении славян (1967), — что именно он является одним из главных создателей *нового варианта реконструкции этнокультурной истории Восточной Европы*. Конечно, в начале 1970-х гг. он уже опирался на материалы, обобщенные в том же ключе другими исследователями — И. И. Ляпушкиным, Е. А. Шмидтом, Г. Ф. Корзухиной, О. И. Давидан, Л. С. Клейном и др. Тем не менее, заслуга аккумуляции данных и выработки единой модели во многом принадлежит ему.

Сама актуальность концепции была обусловлена, по мнению С. В. Томсинского, целой серией факторов — весьма разнородных. Тут и само присутствие в Ленинграде ряда крупных исследователей раннего средневековья, и географическое положение северной столицы, и близость Старой Ладogi, и «психологический потенциал», память о былом величии города, и амбиции молодых исследователей, и давнее «противостояние с Москвой», и т. п.

Однако все это, в лучшем случае, сопутствующие обстоятельства, которые не способны объяснить: а) бьющего в глаза *гиперкритицизма* данной концепции в решении всех вопросов, связанных с проблемой славянизации Восточной

Европы (и Северо-Запада в особенности); б) особой *привлекательности этого гиперкритицизма* для «шестидесятников».

На мой взгляд, основой, его породившей, послужил общий «разоблачительный» настрой эпохи — не только молодежи, но и части старшего поколения. После разоблачения сталинщины пошло повсеместное низвержение идолов. Его отражением в археологии стало создание концепций, стремящихся ревизовать имеющиеся материалы с позиций строгого подхода. В них беспощадно отметались любые гипотезы, не подкрепленные на тот момент исчерпывающими археологическими доказательствами. Вот только в арсенале доказательств, по сути, не было ничего, кроме преемственности, прослеживаемой ретроспективно. Представления о культурных трансформациях без смены населения, о возможности рождения новых традиций на основе взаимодействия старых вообще не рассматривались. Они были скомпрометированы недавним господством марризма.

Да, это было очищение. Новый подход весь был проникнут пафосом поиска *абсолютно достоверного*. Он целенаправленно выявлял лакуны в материале, заострял внимание на сложностях, которые ранее могли затушевываться или замалчиваться. И в этом заключалась его актуальность для своего времени. Однако, как часто бывает в пылу полемики, не обошлось без двойных стандартов. Только на сей раз во всех спорных случаях доминировало утверждение *неславянской* принадлежности раннесредневековых древностей.

Вот это идейное наследие и получило в готовом виде поколение ленинградских «шестидесятников» и «семидесятников». Критицизм И. И. Ляпушкина — М. И. Артамонова однозначно оказался им ближе и понятнее, чем позиция их оппонентов (в первую очередь П. Н. Третьякова). Ибо у молодежи данная концепция ассоциировалась с «реальным подходом», с предельно честным взглядом на источники. О «безутешности» и «гиперкритичности» ее заговорили много позднее (Лебедев 1998: 146), когда путь преодоления этого подхода был уже фактически пройден. Но говоря о *преодолении*, я абсолютно не имею в виду бесплезности, зряшности затраченных усилий. Преодоление ограниченности каждой новой модели — нормальный путь развития науки. Другого нам не дано.

### **Славяно-варяжский семинар: «утверждающая» и «кризисная» мифология**

Разговор об организационных истоках «феномена ленинградской школы», разумеется, надо вести со Славяно-варяжского семинара Л. С. Клейна. С. В. Томсинский так и делает. Однако все, связанное с этим семинаром, получает у него гиперкритическое освещение. И это, пожалуй, самое неприятное для меня лично в его статье. Никаких новых фактов он не приводит. Но за едкими, ядовитыми комментариями к известным событиям ясно просматривается стремление развеять, разнести в пух и прах этот «миф», ложность которого никто, кроме автора, так и не распознал: «...Представления о предпосылках и причинах возникновения этого направления... изрядно деформированы возникшим в ленинградском неонорманизме мифом о «победоносной дискуссии 1965 г.» и последовавшей в 1970-е гг. борьбе с «антинорманизмом» Д. А. Авдусина. Уже для студентов кафедры археологии ЛГУ призыва 1970-х гг. все это стало легендой, а в легенде сложно найти рациональное зерно... В изложении Л. С. Клейна эта самая «дискуссия» предстает некоей эпической фантазмаго-

рией: «дискуссия» была устроена коварными историками-«идеологами» и партбюро истфака с санкции обкома КПСС (!) для ликвидации... семинара во главе с Л. С. Клейном... Итог шумной баталии оказывается весьма скромным: семинар студентов-единомышленников во главе с Л. С. Клейном продолжал работать...» (Томсинский 2014: 359).

Ну, коль скоро требуется верификация, будем историками и постараемся оценить достоверность. Славяно-варяжский семинар действовал с середины 1960-х до начала 1980-х гг. (позднее это будет уже только «отблеск» и легенда). Семинар на практике сформировал несколько субгенераций петербургских археологов-медиевистов. Когда в 1974 г. там появилась я, выпускники его частью успели превратиться в преподавателей и сотрудников кафедры (Г. С. Лебедев, В. А. Булкин, И. В. Дубов). Другие активно взялись за разработку славяно-финно-балто-скандинавской проблематики в ЛОИА (В. А. Назаренко, В. П. Петренко, Е. А. Рябинин, Е. Н. Носов, Н. В. Хвоцинская, А. А. Пескова, В. А. Кольчатов и др.).

«Студенты призыва 1970-х» — это представительная группа как уже ушедших, так и ныне действующих ученых (Ю. М. Лесман, С. В. Белецкий, В. А. Лапшин, Т. А. Чукова, Т. Б. Сениченкова, А. И. Сакса, А. А. Александров, Н. А. Ефимова, В. Н. Седых и др.). В числе их и мы с С. В. Томсинским (который, правда, учился на вечернем отделении и на заседаниях бывал очень редко). Мы «не успели» ни в школьный кружок, ни на семинар к самому Л. С. Клейну. Мы стали учениками его учеников. О событиях, в ту пору совсем недавних (но действительно ставших легендой!), мы узнавали от их непосредственных участников. В том числе от наших ровесников, которым в школьные годы довелось наблюдать вживую заседания семинара «старого формата» (Ю. М. Лесман).

Разумеется, рассказы очевидцев, многократно повторяемые, преобразуют информацию по законам устного жанра. Как формируются такие «саги о недавних временах», археолог имеет редкостную возможность наблюдать в поле. Мне самой не раз приходилось выступать в роли передатчика фольклора о событиях, которым я была живым свидетелем. И я утверждаю с уверенностью: фольклорная передача отсекает психологические сложности, структурирует материал однопланово, предельно просто и доходчиво. При этом смеховая составляющая расцветает, а все серьезное и проблемное выносится за скобки. Однако самую суть событий, с ненавязчивой их оценкой, такой фольклор передает однозначно. Чтобы совсем не заметить «рационального зерна» в рассказе о делах 5–10-летней давности — это надо было очень захотеть.

До нас доходили не только устные рассказы. Тексты докладов и записи прений 1965 г. (а также более поздних дискуссий — уже с Д. А. Авдусиным) тщательно сохранялись. Так что они являются не позднейшими воспоминаниями, а аутентичными документами, сродни дневниковой фиксации. Помню, как Л. С. Клейн и Г. С. Лебедев в середине 1970-х гг. зачитывали нам, студентам, большие фрагменты своих старых записей. Это немало способствовало тому, что вся атмосфера семинара первой половины — середины 1970-х гг. была пропитана духом победы. И еще — уверенностью в том, что нам предстоит делать своими руками «настоящую науку». Конечно, жизнь многократно вносила коррективы в наши юношеские оценки и самооценки... Ну и что? Разве могло быть иначе? *Разве когда-нибудь бывало иначе?*

«Утверждающая мифология» — здесь я пользуюсь терминологией К. Ю. Резникова, разделившего исторические мифы на «утверждающие» и «кризисные» (Резников 2012: 6–7) — сопутствует становлению любого нового сообщества,

будь то экспедиция, научная школа, партия, этническая группа и т. д. И наоборот — «кризисная мифология» самым фактом своего появления свидетельствует о неблагоприятии в данном сообществе (Там же). Тем самым она способствует его дальнейшему развалу и распаду. Для формирования мифа-антипода не нужны ни новые факты, ни их логический анализ. Достаточно просто эмоционального, ядовитого сомнения и стремления вывернуть хорошо известные факты наизнанку. Ибо прошлое можно обозревать по-разному. Бывают обзоры «с высоты времени», бывают — «из ямы нового кризиса».

### И еще живое свидетельство...

Я не стану занимать места повторением того, что уже было сказано другими. На мой взгляд, Л. С. Клейн вполне убедительно прояснил ряд конкретных моментов, связанных с семинаром и затронутых в статье С. В. Томсинского (Клейн 2015: 345–349). Но я приведу еще одно свидетельство очевидца, принадлежащее В. А. Назаренко. Для меня оно стало новым в том смысле, что реально высветило, насколько неудачной, катастрофически несвоевременной — для Л. С. Клейна и его учеников! — явилась инициатива проведения «варяжской дискуссии» на истфаке в 1965 г. Впрочем, пусть лучше звучат подлинные, «неполиткорректные» формулировки самого В. А. Назаренко:

«...Клейновский семинар, должен заметить, стал «славяно-варяжским» исключительно усилиями идиотов из парткома истфака ЛГУ. Первоначально он назывался «Проблемный семинар», что еще, слава Богу, может подтвердить его основатель Л. С. Клейн. Так что «возвращение первоначального названия» можно было бы считать правомерным, если бы оно не совпало с увеличением славной КПСС на двух членов.

Вообще же в 1964–1965 гг. «варяжский вопрос» в тематике клейновского семинара был лишь одной из «проблем», далеко не самой интересной, важной и актуальной. Куда уж ему было до «борьбы короткой и длинной хронологии», происхождения «культур боевых топоров» и истоков славянства. Из его участников я был единственным, проявлявшим интерес к археологии Древней Руси. Моему же знакомству с «норманнской проблемой», случившемуся на репетициях «капустника» к 30-летию Истфака, в момент зарождения в парткоме идеи «норманнской дискуссии» еще не исполнилось и года, а познания о роли варягов в русской истории ограничивались услышанной на упомянутом «капустнике» фразой Марка Петрова — Трувора: «...здесь, говорят, есть много милых граций, пригодных для ассимиляций». Но и выбора ни у Клейна, ни у меня не было — Глеб в армии, Валера отчислен с истфака за «хулиганский поступок», Василий еще учится в строительном техникуме.

В парткоме хотели научный спор с идеологическими оргвыводами, а получили идеологический демарш с научными оргвыводами и планом их реализации в будущем. Вот бы Даниле Антоновичу подъехать в начале зимы 65-го, он был бы вовремя и на месте, а в 68-м было уже «поздно пить боржомом». Оставалось, в соответствии с гэбистскими традициями, разве что, «возглавить процесс»...

В научном же отношении авдусинская позиция, мягко говоря, слабая... Я знаю, у «московских ребят» на этот счет другие представления, и даже не оспариваю их. Хочу лишь заметить, что их взгляд на «варяжскую проблему», в конечном счете и первоначально, результат наших, а не авдусинских усилий. Кстати, познакомились и подружились мы с ними еще до создания «московского сла-

вяно-варяжского семинара"...» (личное письмо В. А. Назаренко к Н. И. Платоновой от 08.06.2016).

Таким образом, можно понять: предстоящая дискуссия изначально планировалась как заведомо проигрышная для «норманиста» Л. С. Клейна и была ему сознательно навязана в заведомо проигрышный момент. По разным причинам тогда на истфаке не было его старших учеников, которые действительно интересовались проблемой (чему немало способствовало чтение в отрочестве исландских саг!). Остальных эта тема не особенно занимала. В 1964 г. Володя Назаренко оказался в семинаре единственным русистом... Так что интерес к «варягам» взлетел до небес только после «дискуссии» и именно благодаря ей.

А до того было одно: детальный аналитический обзор «норманнской проблемы», написанный Л. С. Клейном «в стол», и периодическое использование этих материалов на лекциях. Возможно, направленность обзора кого-то начала беспокоить... В результате Л. С. Клейну пришлось «большевистскими темпами» образовывать в варяжской проблематике совсем юного Володю Назаренко. И заодно — по почте руководить подготовкой доклада Глеба Лебедева (который в связи с недавним Карибским кризисом как раз дослуживал в армии третий год вместо двух положенных, но к «дискуссии» все же успел). В подобных условиях с честью выйти из положения было, конечно, феерической победой.

Два последних абзаца цитированного письма требуют некоторых пояснений. Они являются реакцией В. А. Назаренко на присланную мною статью «Проблемы раннесредневековой славяно-русской археологии: взгляд из Санкт-Петербурга». В этой статье ключевыми научно-организационными проектами 1960-х гг., определившими установки раннесредневековых исследований последующих десятилетий, названы два университетских проблемных семинара — Славяно-варяжский (Ленинград) и Смоленский (Москва). Сама статья опубликована только по-английски, и я позволю себе привести из нее обширную цитату в переводе:

«...В ходе параллельных работ (1967–1968 гг. — Н. П.) в Гнёздове двух экспедиций — московской и ленинградской — их молодые участники подружились. Идея создания проблемного семинара по раннесредневековой археологии явно запала в души москвичей, и такой семинар был открыт уже в 1968 г. на кафедре археологии МГУ. Главный парадокс заключался в том, что Д. А. Авдусин — на тот момент единственно возможный глава всего дела — сам был антинорманистом. “Норманизм” однозначно ассоциировался у бывшего фронтовика с расистским тезисом о германском превосходстве. В самом начале своих работ в Смоленске и Гнёздове он огульно отрицал скандинавский компонент в культуре Руси IX–X вв.

Однако в дальнейшем Д. А. Авдусин показал себя толерантным и вдумчивым руководителем, даже поощрявшим занятия своих учеников “крамольными” темами. Он сделал все, чтобы они исчерпывающе овладели проблемой скандинавских древностей на Руси. С 1970 г. раскопки Гнёздовского археологического комплекса стали вестись на постоянной основе — экспедицией кафедры археологии МГУ под его руководством. В результате участники Смоленского семинара получали в научную разработку новейшие, зачастую уникальные материалы. Как и в Ленинграде, это были не просто учебные упражнения, а первые шаги “взрослой”, серьезной научной работы.

Очень скоро выяснилось, что и в Москве “...стереотипы официозной историографии не принимались всерьез студенческой аудиторией, особенно той, что

была знакома с состоянием археологических источников...» (Петрухин, Пушкина 2009: 302). Да и взгляды самого Д. А. Авдусина претерпевали заметную эволюцию: профессионализм ученого в конечном счете брал верх над идеологическими клише (см., напр.: Авдусин 1988). А прежняя репутация советского ортодокса оказалась только на пользу делу. Она заранее отводила от его учеников подозрения в излишнем вольнодумстве. В результате семинар в Москве смог работать стабильно и без помех — в отличие от ленинградского. Он быстро перерос уровень студенческого образовательного проекта, приобрел широкий проблемный характер. Его старшие участники (Т. А. Пушкина, А. Е. Леонтьев, В. Я. Петрухин, Е. А. Мельникова, Е. В. Каменецкая и др.) уже в 1970-х гг. превратились в видных исследователей раннего средневековья...» (Platonova 2016: 349–350).

Ни от одного из высказанных здесь положений я не отказываюсь и сейчас.

Закончить этот раздел я хочу небольшим фрагментом очерка Ю. М. Лесмана. Его свидетельство представляется мне принципиально важным, ибо затрагивает вопрос об эволюции тематики семинара. Точнее, о преобразовании «ударной группы», сформированной на гребне «варяжской дискуссии» и заинтересованной, собственно, скандинавскими древностями, в значительно более широкую, разнообразную по тематике и подходам «ленинградскую школу раннесредневековых исследований»:

«...Темы работ участников семинара со временем менялись. Первый набор сосредоточился на памятниках, несомненно, связанных со скандинавами, как в Швеции (Бирка), так и на Востоке (Гробини, Ладога, Приладожье, Гнездово), несколько позже к этому списку добавились Ярославские курганы, Шестовицы. Но постепенно становилась очевидна необходимость разобраться и с более широким кругом памятников... Темы, которые брали для разработки студенты, руководимые оставшимися преподавателями на кафедре выпускниками семинара... в подавляющем большинстве выходили за рамки узко трактуемой славяно-варяжской проблематики, но вписывались в широкое ее понимание. Для проникновения в процессы сложения древнерусской культуры и государства мало было собрать и проанализировать скандинавский компонент, надо было понять, в какую среду он попадал... В узком контексте норманнской проблемы стало слишком тесно...» (Лесман 2009: 281–282).

## Заключение

У меня было сильнейшее желание рассмотреть в этой статье не только истоки и исторические условия появления, но и научные итоги работ ленинградской школы — на начало 10-х годов XXI века. То, как они поданы в работе С. В. Томсинского, на мой взгляд, совершенно не выдерживает критики. Однако я понимаю, что это реально «не вмещается» в одну статью, предназначенную для юбилейного сборника. Разговор об итогах я продолжу обязательно — но не столько в рамках полемики с Сергеем Владимировичем, сколько потому, что, как выяснилось, многие коллеги представляют их себе слабо и неадекватно.

Другой причиной возобновить разговор об идейном наследии ленинградской школы второй половины XX в. в контексте современной раннесредневековой археологии служит для меня то, что в этом наследии имеются вполне перспективные идеи, намеченные, но недостаточно разработанные и в настоящий момент совершенно не обсуждаемые.

На первое место среди них я поставила бы опыт реконструкции древнего этнического процесса по археологическим данным с позиций информационной модели, который остается актуальным для изучения процессов сложения идентичностей в эпоху Великого переселения народов и раннего средневековья. Имеющиеся ныне материалы памятников I тыс. н. э. в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы способны наполнить его конкретным содержанием в значительно большей степени, чем тогда, когда эта идея только появилась (Лесман 1989). Перспективными представляются мне и разработки в области исторической регионалистики, с опорой на анализ культурно-хронологических колонок по отдельным историко-культурным зонам (Герд, Лебедев 2001). В настоящий момент археологическая часть этих междисциплинарных разработок настоятельно требует пересмотра и дополнений.

Забвение таких начинаний в начале XXI в. я могу объяснить лишь глухотой к прошлому, возникающей под влиянием общего состояния уныния, в котором пребывает наша наука с 1990-х гг. и которое навязывает ей стабильно низкую самооценку. Когда «провинциальность становится самопрограммируемой», все привыкают думать, что на родной почве ничего оригинального и не может появиться, поэтому незачем тратить время и силы на проверку, поддержку и популяризацию идей соотечественников. «Периферия осознала себя периферией и уже поэтому останется ею на долгое время...» (Розов 2007). Подобная перспектива меня не устраивает совершенно. Остается только надеяться: не меня одну.

## Литература

- Артамонов М. И. 1967. Вопросы расселения восточных славян и советская археология // Ревуненков В. Г. (ред.). Проблемы всеобщей истории. Историографический сборник. Л.: Изд-во ЛГУ, 29–69.
- Артамонов М. И. 1990. Первые страницы русской истории в археологическом освещении // СА 3, 271–290.
- Герд А. С., Лебедев Г. С. (ред.). 2001. Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны. СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Гиппиус А. А. 2007. Новгород и Ладога в Повести временных лет // Носов Е. Н. (ред.). У истоков русской государственности. Историко-археологический сборник. СПб.: Дмитрий Буланин, 213–220.
- Горюнов Е. А. 1975. О памятниках волынцевского типа // КСИА 144. С. 3–10.
- Григорьев А. В. 2000. Северская земля в VIII — начале XI века по археологическим данным. Тула: Гриф и К°.
- Губанов И. Б. 1998. О гипотетическом и очевидном в современном норманизме // Мачинский Д. А. (ред.). Ладога и эпоха викингов. Четвертые чтения памяти Анны Мачинской. СПб.: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 33–35.
- Губанов И. Б. 2004. Культура и общество скандинавов эпохи викингов. СПб.: Изд-во СПбГУ. (Прил. 1: Скандинавы и Древняя Русь. <http://ulfdalir.ru/literature/1320/3217>).
- Губарев О. Л. 2015. «Неонорманизм» или «неоантинорманизм»? // Stratum plus 5, 351–355.
- Гуревич А. Я. 1966. Походы викингов. М.: Наука.
- Гуревич А. Я. 1972. История и сага. М.: Наука.
- Данилевский И. Н. 1998. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). Курс лекций. М.: Аспект Пресс.



Исландские саги. 1956. М.: Художественная литература.

Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб.: Евразия, 2009.

Клейн Л. С. 2015. Ленинградский неонорманизм — в самом деле? // *Stratum plus* 5, 345–349.

Лебедев Г. С. 1998. Темы начальной русской истории в исследованиях М. И. Артамонова // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. Междунар. науч. конф., посвященная 100-летию со дня рождения М. И. Артамонова. Санкт-Петербург, 9–12 декабря 1998. Тезисы докладов. СПб.: Изд-во ГЭ, 146–151.

Лебедев Г. С. 1999. Varangica Проблемного семинара Л. С. Клейна // *Stratum plus* 5, 102–111.

Лесман Ю. М. 1989. К постановке методических вопросов реконструкции этногенетических процессов // Герд А. С., Лебедев Г. С. (ред.). Славяне. Этногенез и этническая история. Междисциплинарные исследования. Л.: Изд-во ЛГУ, 12–18.

Лесман Ю. М. 2009. В семинаре с юных лет // Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб.: Евразия, 279–283.

Ловмянский Х. 1985. Русь и норманны. М.: Прогресс.

Мачинский Д. А. 2002. Почему и в каком смысле Ладогу следует считать первой столицей Руси? // Мачинский Д. А. (ред.). Ладога и Северная Евразия от Байкала до Ла-Манша. Шестые чтения памяти Анны Мачинской. СПб.: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 5–37.

Обломский А. М. 2012. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в. н. э. // Мельникова Е. А. (ред.). Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год. Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М.: Наука, 10–33.

Петрухин В. Я., Пушкина Т. А. 2009. Смоленский археологический семинар МГУ и норманнская проблема // Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб.: Евразия, 301–309.

Ратников В. П. 2002. Постмодернизм: истоки, становление, сущность // *Философия и общество* 4(29), 120–132.

Резников К. Ю. 2012. Русская история: мифы и факты. От рождения славян до покорения Сибири. М.: Вече.

Розов Н. С. 2007. (Не)мыслящая Россия. Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации. [http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/nonthinking.htm#\\_ftn1](http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/nonthinking.htm#_ftn1).

Скабичевский А. М. 2001. Литературные воспоминания. М.: Аграф.

Сокал А., Брикмон Ж. 2002. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. М.: Дом интеллектуальной книги.

Старшая Эдда. 1963. Древнеисландские песни о богах и героях. М.; Л.: АН СССР.

Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л.: Наука.

Сухобоков О. В., Вознесенская Г. А., Приймак В. В. 1989. Клад орудий труда и украшений из Битицкого городища // Толочко П. П. (ред.). Древние славяне и Киевская Русь. Киев: Наукова думка, 92–104.

Томсинский С. В. 1999. Скандинавские находки из Угличского кремля и легенда об основании Углича // *Stratum plus* 5, 169–178.

Томсинский С. В. 2004. Угличе поле в IX–XIII веках. СПб.: Изд-во ГЭ.

Томсинский С. В. 2013. «Блуждающий каганат русов». Перспективы дальнейшей полемики // *Stratum plus* 5, 275–282.

Томсинский С. В. 2014. Ленинградский неонорманизм: истоки и итоги // *Stratum plus* 5, 357–370.

Топоров В. Н., Трубаев О. Н. 1962. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.: Изд-во АН СССР.

Platonova N. I. 2016. Problems of early medieval Slavonic archaeology in Russia (a view from St.-Petersburg) // *European Journal of Post-Classical Archaeologies* 6, 333–416.

## «Столетняя война» российской археологии

**Резюме.** В статье анализируется рецепция книги Т. Арне «Швеция и Восток» (1914) в российской археологии в контексте истории дискуссии о присутствии скандинавов в Восточной Европе. Критика книги основывалась на идеологической подмене понятий и интерпретации колонизации как «колониализма». Обосновывается, что полемика между «антинорманизмом» и «норманизмом» является российским вариантом европейского мифа викингов, а сами термины были заимствованы из политического словаря эпохи Английской революции 1640-х гг. и искусственно приложены к российской историографии 1870-х гг. Доказывается, что «антинорманизм» не является цельной научной школой. В заключение подчеркивается роль работы Т. Арне для современных исследований.

**Ключевые слова:** история археологии, «норманизм», «антинорманизм», миф викингов, Россия, Англия, Франция, идеология, методология и психология исследования.

**A. E. Musin. 'Hundred Years' War' in Russian Archeology.** The article analyses the reception of T. Arne's book "La Suède et l'Orient" (1914) in Russian archeology in the context of the history of discussion about the presence of the Scandinavians in Eastern Europe. The criticism against the book was based mainly on an ideologically caused substitution of concepts which resulted in misinterpreting the process of colonisation as "colonialism". The author argues that the "antinormanism"-"normanism" controversy is a Russian version of the European "Vikings myth". The terminology itself was borrowed from the political vocabulary of the English Civil War of the 1640s and applied to the Russian historiography in the 1870s. "Antinormanism" is not a coherent scientific school. In conclusion, the role of the book by T. Arne for modern studies is emphasized.

**Keywords:** history of archeology, "normanism", "antinormanism", Vikings myth, Russia, England, France, ideology, methodology and psychology of research.

В отличие от юбилея Л. С. Клейна тихо и незаметно прошел в России другой юбилей — столетие книги Туре Арне (1879–1965) «Швеция и Восток» (Arne 1914). Эта тишина показательна для научного портрета его оппонентов, еще совсем недавно утверждавших, что 1914 г. стал не только годом начала Германией войны против России, но и годом развязывания со стороны германских ученых наступления на русскую историю, толчком к чему явилось создание «норманистской фикции», спровоцировавшей исследователей на разработку тупиковых тем «варяго-русского вопроса» (Сахаров, Фомин 2010).

Насколько это утверждение соответствует содержанию книги и историографической ситуации XX в.? Стоит начать с того, что новаторский по тем временам труд Т. Арне так и не был в полной мере востребован русской археологией. Трудности судьбы этой книги должны объясняться, прежде всего, ее появлением в критический момент отечественной истории. Эпоха не только не благоприятствовала чтению, но и характеризовалась сменой исследовательских

подходов и эволюцией содержания научных понятий. Оба феномена были связаны с утверждением среди российских историков марксистских взглядов, которые помогли им в целом покончить с «варягоборчеством» и воспринять концепцию норманнского завоевания Восточной Европы, как она сложилась в трудах Карла Маркса и Михаила Покровского (Платонова 2010: 239).

В начале XX в. скандинавские древности в России не выделялись в специальную область знания, будучи частью науки о местных древностях. Публикации, посвященные норманнским артефактам, включались, например, Александром Спицыным в общую библиографию собственных работ по славяно-русской археологии. В этом смысле «скандинавская археология» содержательно отличалась от науки о «периферийных» древностях: литовских, финских, тюркско-кочевнических, специальные знания в области которых были необходимы для понимания русской истории (Спицын 1928). В представлениях исследователя, в некотором смысле близких к «теории завоевания», норманны водворились в Восточной Европе как «правлящий класс» и «представители блестящей для того времени материальной культуры», постепенно продвигаясь с Северо-Запада на Верхнюю Волгу и Верхний Днепр (Спицын 1899: 308–310; 1905: 7–8; 1922: 1–12).

В сравнении с эссеистическими трудами А. А. Спицына археологический синтез Т. Арне был не только «взглядом со стороны», но и выглядел капитальным исследованием. Здесь впервые было собрано и проанализировано большинство археологических находок скандинавского происхождения и артефактов, отмеченных скандинавским влиянием, известных в Восточной Европе к началу XX в. А. А. Спицыну, несомненно, было что ответить шведскому коллеге: хотя бы то, что курганы Юго-Восточного Приладожья он приписывал вепсам и, стало быть, считал их финно-угорскими, а не скандинавскими. Однако отклик на книгу последовал не от него, а от его оппонента — Владислава Равдоникаса, критика «буржуазной» археологии и представителя марксизма в науке (Равдоникас 1930; Платонова 2002). Этот отклик в составе авторской монографии был опубликован в Швеции на немецком языке по инициативе и при участии самого Т. Арне (Raudonikas 1930), заинтересованного в научной дискуссии, что подчеркивает строгую академичность его построений в соответствии с максимой Марка Блока о том, что ценность утверждения надо измерять готовностью автора покорно ждать опровержения (Bloch 1952: 40).

В историографии утвердилось представление, что В. И. Равдоникас критически оценил книгу Т. Арне. Это явное преувеличение. Он не только благодарит коллегу за издание собственного исследования в Стокгольме, но и называет публикацию шведского коллеги «ценной и интересной работой», считая ее «блестящим вкладом в решение интересующего нас вопроса», хотя некоторые выводы и вызвали у него возражения (Raudonikas 1930: 10). Эти возражения касались методологии исследования, конкретно — формального типологического метода и географической интерпретации распределения типов, восходящих к трудам Оскара Монтелиуса. Предугадывая сложные взаимоотношения между артефактом и этническими характеристиками его владельца или изготовителя, в то время не всегда очевидные археологам самых разных школ, и исходя из теории «торгового капитала», В. И. Равдоникас предпочитал интерпретировать археологические комплексы как явления социального, а не этнического порядка. Появление элементов скандинавской материальной культуры в Приладожье X–XI вв. он объяснял торговыми связями между норманнами и славяно-финнами, возникшими в ходе формирования феодальных отноше-

ний как результат активности социальных микрогрупп внутри тогдашних племен, хотя и не исключал проникновения в Восточную Европу и оседания там небольших групп скандинавов (Raudonikas 1930: 129, 134, 138, 139–140).

Именно в связи с последним процессом В. И. Равдоникас употребил словосочетание «теория шведских викингских колоний в России» (“*theorie von den schwedischen Wikingerkolonien in Russland*”) (Там же: 128)) и написал, что некоторые ученые модернизируют историческое взаимодействие скандинавов со славянами и финнами, рассматривая связи средневековых Швеции и России как отношение современных великих держав к своим колониям в XX в. (“*einer modernen Grossmacht zu ihren Kolonien im zwanzigsten Jahrhundert*”, см.: Там же: 49).

Прежде чем разобраться, кто же на самом деле модернизировал историю раннего средневековья, стоит заметить, что это замечание адресовано В. И. Равдоникасом не Т. Арне, а, скорее, Биргеру Нерману (1888–1971) (см. его работу: Nerman 1929), которому, впрочем, он также был благодарен за помощь в издании книги. При этом сам Т. Арне, несмотря на популярное изложение содержания своей книги в одной из статей сборника, название которого — «Великая Швеция» — имело характер исторической метафоры (Arne 1917), так и не дал ему повода к подобным обвинениям.

Чтобы объективно оценить исторические взгляды самого Т. Арне, стоит непосредственно обратиться к его труду и проанализировать характер присутствующей здесь научной терминологии. Так, термин «колония/колонии» используется автором семь раз (Arne 1914: 17, 61, 62, 157–158, 207, 225), слово «колонизация» — три раза, причем один раз — в отношении освоения русскими финно-угорских территорий (Там же: 18, 36, 222–223), а глагол «колонизовать» — всего один раз (Там же: 134). Явление «колонизации» для Т. Арне — это процесс появления «*établissements suédois*», поселений-колоний, мест, где проживали «*colons Scandinaves*» и мог вырабатываться славяно-скандинавский стиль в ремесле и орнаментике (Там же: 37, 62, 88). Есть в книге Т. Арне и ссылка на статью Х. Хильдебрандта (Там же: 62), который задолго до него писал о скандинавских колониях в Восточной Европе (Hildebrand 1882).

Прочтение книги не оставляет сомнений: никакой «теории колонизации» скандинавами Восточной Европы, тем более «массовой», шведский ученый не создавал. Речь идет о колонизации как процессе появления в Восточной Европе скандинавских эмпориев («*la colonisation entreprise par eux dans ce pays*»; Arne 1914: 18). В своем труде шведский исследователь использовал строго научное понятие, заимствованное, прежде всего, из работ по истории древней Греции, но известное и исследователям европейского средневековья. К этому времени феномен античной колонизации как земледельческой или торговой миграции с ее обязательным «двусторонним характером» и «эмпориальным периодом» был достаточно хорошо описан в трудах таких европейских ученых, как Дезирэ Рауль-Рошетт, Карл Нейман, Поль Жиро, Джон Бери и Эллис Миннс (Raoul-Rochette 1815; Neumann 1855; Guiraud 1893; Bury 1900; Minns 1913), а в российской историографии — Владиславом Юргевичем, Василием Латышевым и Михаилом Ростовцевым (Юргевич 1872; Латышев 1887; Ростовцев 1918). Прилагая понятие колонизации к истории Восточной Европы, Т. Арне не ставил перед собой задачу детально сравнивать этот феномен ни с античной греческой колонизацией Причерноморья, ни со средневековой немецкой колонизацией Центрально-Восточной Европы (об этом феномене см.: Vujak 2001; Любавский

1918; Тус 1924). Такое сравнение, подразумевавшее определенные методологические ограничения и выявление не только сходств, но и отличий, явно выходило за рамки его исследования. К тому же в начале XX в. методологической процедуры, необходимой для подобного компаративистского исследования, не существовало, а достаточная для него источниковая база отсутствовала.

Очевидно, однако, что «колонизация» Т. Арне, которую роднит с античным явлением ее «эмпориальный» характер, не имеет никакого отношения к «колониализму», который обычно наделяется такими негативными качествами, как экономическая эксплуатация колоний и угнетение самобытных туземных культур, а «скандинавские колонии» (*coloni*) оказываются «колонистами», а не «колонизаторами»-культуртрегерами, несущими «бремя белого человека». Не Т. Арне и Б. Нерман модернизируют историю, а В. И. Равдоникас подменяет понятия, наполняя научную терминологию несвойственными ей идеологическими смыслами, восходящими к антиимпериалистической и антиколониальной риторике XX в. К этому времени уже состоялись Конгрессы «II интернационала» в Париже, Амстердаме и Штутгарте, принявшие антиколониальные резолюции (1900, 1904, 1907 гг.), В. И. Ульянов написал свой очерк «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.), где охарактеризовал колониализм как проявление империализма, и была создана Антиимпериалистическая лига (*Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale*, 1927 г.). Эти общественные настроения и отразил В. И. Равдоникас, не имея для этого ни малейшего основания в книге Т. Арне.

Искусственный разрыв между двумя дискурсами — академическим и политическим привел к существенному искажению идей Т. Арне в российской науке. После появившихся в 1930-е гг. русскоязычных работ Владислава Равдоникаса и Артемия Арциховского деконтекстуализация научных понятий приобрела необратимый характер. Здесь В. И. Равдоникас критикует уже «теорию массовой колонизации Восточной Европы» крестьянского характера (*Bauernkolonisation*) и идею ее «окультуривания» скандинавами-германцами как предшественниками «*Nordische Rasse*», которых называет «колонизаторами», однако возводит ее не только к Туре Арне, но и к Нильсу Обергу, «школе [Густава] Коссины» и даже Йенсу Ворсо, впрочем, без единой ссылки на их публикации, что предполагает необоснованность умозаключения (Равдоникас 1934: 128). А. В. Арциховский, как и В. И. Равдоникас, также возражал против «теории массовой скандинавской колонизации», которую все же приписывал Т. Арне, а зачатки ее находил еще в «голословных» трудах А. А. Спицына, ввел «количественный критерий» в изучение скандинавского компонента в славяно-русской археологии («скандинавские вещи — лишь небольшая часть огромного гнездовского инвентаря») и допускал только «шведское» культурное влияние в Восточной Европе, но никак не колонизацию, скептически относясь к возможности торговли (Арциховский 1934: 47–48).

Несправедливая оценка шведского археолога как апологета «норманнского колониализма» окончательно закрепилась в историографии после Второй мировой войны, когда критика «шведской колонизации» стала одной из форм борьбы с «американским империализмом». В этот период свой вклад в подмену научных понятий внес В. В. Мавродин, роль которого в деградации науки о русской истории иногда ускользает от внимания отечественных исследователей, но очевидна со стороны (Bauduin 2011: 165). Как раз во второй половине 1940-х гг. он опубликовал серию работ о якобы едином древнерусском этносе и государстве, «существованию» которых угрожала сама идея скандинавских

поселений, представлявшихся ученому реальной основой господства норманнов над славянами (Мавродин 1945; 1946; 1949).

Однако было бы неверно думать, что на этот процесс влияли исключительно политические факторы. Известно, что Т. Арне в 1920–1950 гг. написал ряд статей, где уточнял высказанные ранее взгляды (Arne 1925; 1931a; 1931b; 1952a; 1952b; 1952c). Его идеи получили продолжение и развитие в трудах Хольгера Арбмана (Arbman 1955; 1960), где, по мнению Игоря Шаскольского, «теория колонизации» нашла «наиболее полное изложение» (Шаскольский 1965: 102), и работах Адольфа Стендер-Петерсена (Stender-Petersen 1954; 1960); про «инфильтрацию» скандинавов в Восточную Европу писал Самуэль Кросс (Cross 1946). Однако критика скандинавского присутствия в Восточной Европе советскими археологами сосредоточивалась преимущественно на личности Т. Арне и его труде, теоретически базируясь на стратегии отрицания «норманнского колониализма», восходящей к книге В. И. Равдоникаса (Авдусин 1949; 1953; Арциховский 1966; Avdusin 1969). Эта критика унаследовала и тактику «красного демона археологии» (ср.: Клейн 2014), эксплуатируя сложность соотношения материальной культуры и этнической идентичности и утверждая, что «местные изделия» скандинавообразного характера изготавливались исключительно представителями автохтонного населения. Обязательным библиографическим новшеством стало упоминание газетной, следовательно, популярной, статьи Т. Арне (Arne 1947), о существовании которой авторам стало известно из отклика на нее, опубликованного Борисом Грековым (Vaillant et al. 1948; Греков 1947). Шведская газета именовалась «норвежским антисоветским журналом», что характеризует качество чтения источников, присущее критикам Т. Арне начиная с В. И. Равдоникаса. Подобная «историографическая инерция» должна объясняться сменой поколений исследователей, для которых новая европейская литература была недоступна, а владение французским языком, в отличие от более распространенного немецкого, непривычно, что исключало самостоятельное обращение к книге шведского исследователя. Очевидно, этой инерции подчинился и И. П. Шаскольский, утверждая, что «наиболее важной из новых концепций» в составе норманизма является «теория норманнской колонизации», якобы впервые выдвинутая Т. Арне в 1914 г. (Шаскольский 1965: 13, 30).

Парадоксальным образом «древнерусский антиколониализм» 1940–1960-х гг. развивался на фоне спокойно-объективного исследования античной колонизации Северного Причерноморья (Иессен 1947; Каллистов 1949; Колобова 1951; Доманский 1955; Лапин 1966)<sup>1</sup>. Впрочем, исследователи этой проблематики вполне осознавали опасность модернизации этого явления, таящуюся в использовании римской терминологии, не в полной мере отражающей содержание греческого μεταναστας (Лапин 1966: 5). Стоит добавить, что в современных европейских исследованиях, прежде всего французских, стремление к отказу от терминологии, связанной со скандинавскими колониями и колонизациями, вместо которых употребляются понятия «fondations» и «implantations» (Bauduin

<sup>1</sup> Этот историографический факт стоит сравнить с наблюдениями Х. Харке, заметившего, что отрицание миграционизма в советской археологии носило избирательный характер. Оно касалось преимущественно исторического движения готов и скандинавов в контексте истории ранних славян и становления раннеславянской государственности, тогда как другие миграции, в частности, гуннское нашествие или движение народов в Предкавказье, не вызвали отторжения. Автор связывает это не столько с марксизмом, сколько с русским национализмом и панславизмом (Härke 1998: 23).

2005), объясняется, скорее, поисками «политкорректного» языка, избегающего всяких аллюзий на колониализм, нежели выбором методологически безупречных терминов.

Лишь с началом «оттепели» 1960-х гг. в русской науке прозвучали первые слова о заслугах Т. Арне перед археологией Восточной Европы (Artsikhovsky 1962), а после его кончины в главном археологическом журнале появился некролог, заказанный, впрочем, не в Москве, а в Ленинграде: как-то неудобно было просить недавних критиков писать о мертвом «хорошо», потому что «ничего» для некролога не годилось. В некрологе было сказано, что ученый, несмотря на «норманистские манифестации», становившиеся все более «бесплодными» в 1940–1950-е гг., положил начало новой для своего времени теме исследования русско-скандинавских отношений по археологическим данным и разработал концепцию производства северных изделий на территории Древней Руси. Однако и здесь под пером А. Н. Кирпичникова скандинавские колонисты превратились в «шведских колонизаторов» славянской равнины, «создававших» русское государство (Кирпичников 1969).

Сложившееся в России отношение к книге Т. Арне, построенное на заведомо неверной интерпретации термина «колонизация» как колониализма, позволяет задаться вопросом о способе обращения с терминологией, историографией, текстами и артефактами, который присущ тем, кто называет совокупность своих представлений об истории «антинорманизм», противопоставляя ее «норманизму».

Несмотря на нюансы взаимных определений и внутренние оттенки двух явлений, их выразители, согласившиеся на публичную дискуссию, навязанную им рамками этой оппозиции, сходятся в признании ряда положений. Во-первых, «норманизм», «антинорманизм» и полемика между ними суть чисто русские явления. Во-вторых, определяющую роль в развитии как того, так и другого играет ненаучный фактор. В-третьих, присутствие варягов в Восточной Европе, будь они скандинавы или нет, рассматривается в связи с этногенезом русского народа и политогенезом российского государства. При этом предполагается, что «норманизм» и «антинорманизм» существовали как явления, по крайней мере, со времен полемики 1749–1750 гг. между Герхардом Фридрихом Миллером и Михаилом Ломоносовым по поводу *origines gentis et nomines russorum*. Обе стороны безо всяких ограничений прилагают эти историографические термины к событиям XXI и XVIII вв. Однако они имеют свою собственную историю, которая позволяет уточнить как характер дискуссии, так и характеристики ее участников.

Изначально стоит оценить утвердившееся мнение о российской специфике самой дискуссии. Так, принято считать, что ни в Англии, ни во Франции, значительные территории которых была завоеваны норманнами почти одновременно с их проникновением в Восточную Европу, своего антинорманизма нет, он характерен только для России (ср.: Клейн 2010: 138). «Норманизм» равным образом может рассматриваться как сугубо российский феномен, ибо только для России оказался актуальным вопрос об «основании древнерусского государства» скандинавами, тогда как в Западной Европе «норманизм» и «антинорманизм» бессмысленны, хотя в свое время Шарль де Монтескье и славил викингов как «провозвестников свободы».

Присутствующая здесь цитата Монтескье взята не из первоисточника, а из русскоязычной полемики (ср.: Томсинский 2014: 358). В противном случае она не вызвала бы удивления. Для философа XVIII в. викинг был символом неис-

порченного цивилизацией благородного северного варвара, свободного от королевской тирании (см.: Davy 2010). Именно здесь берет свои истоки “vikings myth”, или “le mythe viking”, характерный практически для всех политических наций Европы. Это миф подменяет в историческом сознании реалии скандинавской культуры плодами воображения и интеллектуальными спекуляциями. Он существует в самых различных формах: научных, политических, идеологических, эстетических. Так же как и в России, он порождает научные дискуссии и общественные споры о действительном вкладе скандинавов в европейскую историю (об этом в: Lönnroth 1997; Olsson 2010; Cederlund 2011; Abrams 2014; McPhaul 2016), сопровождаемые в определенных условиях и на определенных этапах их романтизацией и идеализацией викингов (о подобном феномене реинтерпретации скандинавской истории в викторианской Англии см.: Wawn 2000). Одним из культурных маркеров как самого мифа, так и его научных и общественных отражений являются путешествующие по Европе посвященные викингам периодические выставки, на которые с завидным постоянством находят средства, что отражает степень переоцененности участия скандинавов в истории континента VIII–XI вв. «Норманнский миф» оказывается, так или иначе, связан с интерпретацией собственного *origo gentis* и восходит к поискам национальной идентичности Нового времени (ср.: Kidd 1999). В ряде случаев он может принимать формы дуалистическо-«манихейской» модели исторического или современного общества, иногда связанные с социальной и политической агрессией (см., напр., роль мифа о «нормандском иге» в социальной философии М. Фуко: Foucault 1997, и его критику: Lessay 2000), чему способствует ряд условий: состояние источниковой базы, хронологическая дистанция, социальный или идейный кризис и т. д. (Lessay 2004)<sup>2</sup>.

Все это и является европейским аналогом «спора о варягах». Впрочем, скорее российская полемика «норманистов» и «антинорманистов» является своеобразным и весьма карикатурным отражением европейских переживаний роли викингов в собственной истории. Ничего специфического в самом факте такой оппозиции нет. Национальная специфика проявляется в деталях второстепенного характера.

В Нормандии, где региональная идентичность, а также местные языковые и культурные особенности зачастую характеризуются именно термином “normannisme/normandisme”, как и во Франции вообще, дискуссия, связанная с интерпретацией наследия викингов, до некоторой степени привносится извне и лишь отчасти органична местному обществу. Зачастую она становится реакцией на культурную унификацию и политико-экономическую централизацию и проявляется в искусственной демонстрации «нормандского патриотизма» (Chaline 2011; см. также: Guillet 2000) или же становится индивидуальным или групповым ответом на те же вызовы, интерпретирующим скандинавский миф в духе националистического «нордизма» (Boyer 1996; Margreau 1996; Guillet

<sup>2</sup> Очевидно, наиболее ярким проявлением этого мифа является эксплуатация образа викинга национал-социалистической пропагандой в Германии второй половины 1930-х — первой половины 1940-х гг. (см.: Lönnroth 1997: 246–247; Bütwerk 2004; Richard 2005; также: Hinrichs 2016: 260–261), которая активно использовала иллюстративный потенциал археологии (об этом: Arnold 1990; Barrowclough 2016), однако включение скандинавской идеологии немецкого фашизма в более широкий, нежели в других европейских странах, этнокультурный контекст и прочие особенности (см., напр.: Puschner, Vollnhals 2012) выводят характеристику этого явления за рамки настоящей статьи.



2005). Однако такая реакция может быть сформулирована и в виде задач этнографического и историко-археологического поиска «скандинавских истоков Нормандии» в противовес галло-римскому и франкскому наследию региона, как это полагал один из основателей французской средневековой археологии Мишель де Буар в начале своей ученой карьеры (Boyard 2009: 96; анализ этого феномена см.: Vauduin 2012).

В Англии спор о роли норманнов в собственной истории и общественная оценка нормандского завоевания имеют более долгую традицию, восходящую к эпохе Английской революции (Chibnall 1999: 35–38, 54–57; Lurbe 2004). Именно там и тогда складываются особенности интересующей нас терминологии, а «норманнский» миф превращается в «нормандский» и приобретает форму борьбы с «нормандским игом», сливаясь в идеологии протестантских фундаменталистов с социальной утопией (Borot 1991). Теория «нормандского ига» отсылает нас к общественно-политическим представлениям о противостоянии в области публичного права нормандской по происхождению английской аристократии и автохтонного крестьянства и мещанства. В этой связи Джерард Уинстенли в своем сочинении «Закон свободы» писал, что «нормандский ублюдок Вильгельм», его полковники и простые солдаты, продолжая пользоваться своей победой, заключают в тюрьму, грабят, убивают «бедных поработанных английских израильян», пребывающих в «вавилонском пленении» «нормандского ига» (Уинстенли 1950: 47–81; ср.: Hill 1983). Тогда же другой «левеллер», Джон Хэар, опубликовал свои манифесты, написанные еще в 1642 г., в которых воскрешал «дух святого Эдварда» и призывал сограждан к «антинорманизму» во имя борьбы с «норманизмом» как социально-политическими последствиями «нормандского ига». Именно он ввел в обиход терминологическую пару — “Normanisme” / “Anti-Normanisme”, ставшую впоследствии «визитной карточкой» российской историографии (Hare 1647a; 1647b).

Конкретный механизм проникновения этих терминов в российскую историческую науку может быть установлен на основе знакомства с научными сочинениями и публицистикой середины — третьей четверти XIX в. Их появление возможно связать с влиянием только что опубликованных в России трудов Франсуа Гизо и Огюстена Тьерри об Английской революции XVII в. и о нормандском завоевании Англии XI в. (Гизо 1859–1860; Тьерри 1859–1860). Труд последнего был посвящен не только самому завоеванию, но и его последствиям, одним из которых, как нам известно, и была мифологизация противостояния англо-саксонских и нормандских традиций в XVII в. как «антинорманизма» и «норманизма». Дополнительно заметим, что именно в трудах этих исследователей «борьба классов» приняла форму «борьбы рас», в которой английское и французское дворянство, нормандское и франкское по своему происхождению, сформировавшееся вследствие миграций и завоеваний, противопоставлялись буржуазии и крестьянству, англо-саксонскому и галло-римскому в своей основе (см.: Алпатов 1949). Русские переводы появились непосредственно перед диспутом 1860 г. по «варяжскому вопросу» между Михаилом Погодиным и Николаем Костомаровым и накануне активной публикаторской деятельности Степана Гедеонова и Дмитрия Иловайского. Представители российской интеллигенции не могли не обратить внимания на свежие издания.

Впрочем, С. А. Гедеонов оставался верен старой терминологии. В его труде можно встретить упоминание «норманнской» и «славянской» школы в подходе к «варяжскому» вопросу, упреки в адрес представителей первой из них —

«норманистов» и даже единожды — термины «норманизм» и «антинорманисты», но «антинорманизм» — ни разу (Гедеонов 1862; 1876). Д. И. Иловайский оказался более восприимчивым к терминологии «из заморья». Его интерес к английской истории и политике, как и надежды на сложение англо-российского союза, отражены в его публицистике (об этом: Андреев 2015). Начиная с 1870-х гг. в таких работах, как «Дальнейшая борьба о руси и болгарях и гуннский вопрос», «О мнимом призвании варягов», «Еще о норманизме», и в ответе В. Г. Васильевскому он, не без влияния Альфреда фон Гутшмида, начинает использовать выражения «норманнская и антинорманская» школы (Gutschmid 1877), а затем переходит к активному противопоставлению «норманистов» и «антинорманистов» как одушевленному отражению терминологической оппозиции «норманизм»/«антинорманизм», в полной мере присутствующей в его сочинениях (Иловайский 1876).

Таким образом, закрепившись в России к 1876 г., отмеченному целым рядом сочинений, пытавшихся обосновать славянское происхождение варягов и/или руси (Костомаров 1877), такая дихотомия в XX в., в эпоху господства прочих «-измов», окажется востребована в эмигрантской, советской и постсоветской историографии (ср.: Пархоменко 1924; Лесной 1964; Авдусин 1988). Некритическое перенесение этой пары терминов английской истории на историю российской науки создает искаженное представление о развитии ученых взглядов и препятствует объективной характеристике исследовательских позиций, нивелируя их особенности, что не позволяет рассматривать ее как необходимый инструмент историкографического исследования.

Искусственность существования в российской историографии такой терминологии, созданной в специфических условиях социально-политической жизни Англии XVII в., очевидна. В данном случае мифологизированные представления об историческом противостоянии пришлого и автохтонного населения, неизвестно культурной памяти восточного славянства, прилагаются не к истории, а к историографии. Судя по всему, этот диссонанс ощущал Аполлон Кузьмин, когда предлагал рассматривать борьбу «антинорманизма» с «норманизмом» в историографии как отражение и упрощение сложного и противоречивого процесса сложения древнерусской цивилизации, в котором участвовали выходцы из разных земель и племен (Кузьмин 2003).

Итак, российская специфика «спора о викингах» состоит в противоречии между историческим характером этой дискуссии и ее искусственным историографическим описанием, несамостоятельным в выразительных средствах. Присущее «антинорманизму», во все времена лоялистскому и иногда — славянофильскому, отрицание «норманизма» летописных варягов на проверку оказывается признанием их значимой роли в истории России, что, в силу идеологических установок, потребовало реинтерпретации этнического происхождения мигрантов.

Другой особенностью российского «спора о викингах» является обратное направление его общественной эволюции. Этот спор возник в Европе как форма политического протеста против феодальных порядков в эпоху становления капитализма, когда фольклор превращался в настоящую машину идеологической войны (Lessay 2004: 38, 45). «Антинорманизм» в России, в схожих исторических условиях, возник как явление историографическое, которому постоянно стремились придать политическое звучание. Однако парадоксальным образом государство и общество в целом остаются невосприимчивы к «антинорманизму».

Общество вполне удовлетворяется своей причастностью к мифологизированной эпохе викингов. Неудача «антинорманистов» в политике должен объясняться традиционной брезгливостью власти по отношению к интеллигенту, пытающемуся доказать ей свою полезность. Не последнюю роль здесь играет и корпоративный инстинкт самосохранения: чиновник чувствует, что перед ним — лицо, не пользующееся авторитетом в научной среде, союз с которым чреват не только репутационными, но и, что более важно, материальными потерями, связанными с низким качеством экспертных заключений и возможными ошибками прогностического анализа. Чиновник может использовать «антинорманиста» в своих целях, но не готов встать на его позицию.

Итак, термины «норманизм» и «антинорманизм» были искусственно приложены к различным взглядам, сосуществующим в российской науке. Впрочем, обоюдно принято считать, что эти взгляды не были уж столь научны. Наряду с мнением, что «антинорманизм» оказывается продуктом ложных патриотических амбиций (Клейн 2009: 224), можно прочесть, что интерес к изучению скандинавской проблематики в 1960–1970-е гг. был результатом кризиса советского общества и компонентом интеллигентской евроутопии (Томсинский 2014: 365).

Некоторые из этих наблюдений могут быть отчасти верными, однако понимание исторического контекста способствует описанию, но не объяснению претендующего на научность феномена. Для этого нужны иные критерии, связанные с методологией получения нового знания и традицией научной школы. В этой связи стоит вспомнить идею И. П. Шаскольского о том, что «антинорманизм» был течением дореволюционной российской науки и умер в эмиграции (Шаскольский 1983). Не все с этим согласились, полагая, что никаких принципиальных отличий от дореволюционного «антинорманизма» его советский (и, стоит добавить, постсоветский) вариант не содержит (Клейн 1999). Однако одно принципиальное отличие все же есть: это эпигонство, выразившееся в исследовательской стагнации и фактическом отсутствии научного преемства. Иллюзия историографической традиции создается за счет использования искусственного термина, позволяющего объединять «зонтичным» понятием разнородные явления и тем самым легитимизировать современных критиков классического исторического нарратива, вписав их в более чем двухвековую историю российской науки. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, важно оценить не исповедуемые ими положения, а те методы, на основе которых эти положения формируются.

Обращаясь к истории науки XVIII–XIX вв., нельзя не признать, что в то время все крупные критики скандинавского происхождения руси и варягов — М. В. Ломоносов, Н. И. Костомаров, С. А. Геденов, Д. И. Иловайский — это одиночки, не оставившие после себя авторитетных учеников и школ. Разделявшие подобные взгляды публицисты — не в счет. Сегодня их труды оказываются памятниками исторической мысли, не более. Их выводы стали порождением эпохи, для которой было характерно отсутствие надежной методологической процедуры и смешение в исследовании различных и разновременных текстов. Внешнее сходство слов и явлений, запечатленных разноприродными памятниками, служило основой для умозаключений об их тождестве. Стоит добавить, что публичное отрицание общепринятых взглядов было не только фактором научного развития, но и позволяло удовлетворить самолюбие, завоевать общественную известность, пусть и неоднозначную: индивидуально-психологический фактор всегда играл важную роль в истории науки.

Во второй половине XX — начале XXI в. академическая жизнь изменилась. Ей стало присуще разнообразие апробированных методов и подходов культурно-исторического анализа, формирующих верифицируемое и непротиворечивое знание. Здесь произошло несколько методологических «поворотов», в результате которых сложились принципы и процедуры эффективного исследования. Аналогия как недедуктивное умозаключение, не приводящее к достоверным выводам, более не рассматривается как средство обоснования и доказательства в науке. Сложилось понимание непростых отношений между текстом и реальностью, обусловленное причинами и контекстом появления тех или иных памятников, важности изучения механизма функционирования текста, его восприятия современниками и осмысления потомками (см.: Шатин 2002). Появились обоснованные концепции исторического мифа как совокупности массовых или элитарных представлений о прошлом, порожденных конкретной эпохой с ее культурными архетипами и идеологическими клише (Geary 2002; Репина 2008; Карнаухов 2014). Стало очевидным, что возникшие в древности этнонимы эволюционировали по мере развития языка или проникновения в иную культурную среду, наполняясь новым содержанием. С помощью схожих или одинаковых понятий разные культурно-языковые традиции могли описывать различные явления. Так, весьма вероятно, что «прусская легенда» о происхождении Рюриковичей, определенно повлиявшая на сложение этногенетического мифа XVI в. о «стране Варягии» и на отождествление варягов русской летописи и вагров латинской хронографии, что было зафиксировано Себастианом Мюнстером и Сигизмундом Герберштейном в 1540-х гг., появилась в Новгороде 1470-х гг., в среде боярства Прусской улицы, подчеркивавшего свою лояльность московским князьям мифической общностью происхождения от «пруссосв» (Мусин 2016: 182–185).

Однако все «повороты» в методологии социальных наук, включая лингвистический и антропологический, совершенно не сказались на критике классической интерпретации древнерусской летописи. Этим трудам продолжает быть свойственно механическое воспроизведение методологических установок и положений XIX в. Здесь по-прежнему господствует недифференцированный подход к разновременным и разноприродным текстам, которые, включая и историографию нового времени, оцениваются как восходящие к изначально оригинальной, равноценной и однородной информации. Это нарушает важнейшие методологические принципы исследования: историзм в подходе к появлению и функционированию конкретного текста и независимый параллельный анализ различных типов и видов источников. Отсутствие самостоятельной текстологии и вещеведения приводит к гипертрофированной роли историографии, обзоры которой носят не критический характер и становятся для исследователя главным источником исторической информации.

Редкие попытки обновления источниковедческого арсенала, например, использование немецких генеалогических сочинений раннего времени (ср.: Меркулов 2008), вновь характеризуются невниманием к влиянию культуры и идеологии этой эпохи на построение исторического нарратива, использованием «народных этимологий» (об этом феномене: Крушевский 1998; Алпатов 2009; ср.: Меркулов 2005) и смешением разновременных и разноприродных текстов, терминов и понятий. Записки путешественников XIX в., текстологический анализ которых определенно свидетельствует о книжном характере их происхождения, рассматриваются как независимое подтверждение позднесредневековых этногенетических мифов, пренебрегающее попытками установить круг

чтения автора (Marmier 1890: 25–26; ср.: Жих 2016). Традиционное для этой системы взглядов представление о том, что интерпретация позднеантичного этнонима Rhoxolani с помощью двух других — «россы» и «аланы» — имеет «прочную историкографическую базу», на проверку оказывающуюся лишь «давней историографической традицией», дополняется убеждением о связи роксолан с островом Рюген (об этом в: Плетнева 2015: 83; Пауль 2015). Попытка привлечь к изложению собственных взглядов археологию балтийских славян оказывается поверхностной компиляцией, содержащей необоснованную реинтерпретацию данных, опубликованных другими исследователями, в соответствии с избранной концепцией и игнорирующей хронологию и контекст памятников (см., напр.: Пауль 2016).

Необходимо признать: проявление взглядов, присущих критикам скандинавского происхождения летописных варягов, не имеет ничего общего с патриотизмом. Оно обусловлено личными амбициями, связанными с расчетом сделать себе карьеру в академической или университетской среде за счет критики классического исторического нарратива. Очевидна связь подобных взглядов с отсутствием у конкретного исследователя склонностей и способностей к серьезной источниковедческой работе, что не позволяет ему сформировать эффективные навыки критического анализа. Все это заставляет охарактеризовать спорадическую актуализацию таких представлений как острую провинциализацию российской науки, где под провинциализмом понимается, прежде всего, ограниченность круга чтения и набора инструментов критического мышления, а также безоговорочная самодостаточность выводов, не требующая независимой проверки. Существенную роль в этой провинциализации играет индивидуальный фактор. Особенно ярко он проявляется при смене социального, языкового и культурного окружения, например, при попадании в немецкую или шведскую культурную среду. Возможности этой среды используются для создания в России имиджа зарубежного исследователя в той нише, где это требует минимума интеллектуальных затрат, и в расчете на то, что этот имидж сможет в дальнейшем облегчить доступ в европейское академическое сообщество.

В целом такую нишу можно было бы описать с помощью модных сегодня терминов «лингвофривчество» и «фолк-хистори». Однако по мере институализации и популяризации таких взглядов, консолидирующихся в «антинорманизм», они начинают демонстрировать основные признаки лженауки, подобно «новой хронологии» Фоменко, сочинениям Мединского или убежденности Чудинова, что этруски — «это русские». В результате формируется очередной миф, который может быть лишь объектом научного исследования, но не субъектом научной дискуссии.

Итак, «школы антинорманизма» в России как преемственности научной мысли не существует. Спорадическое обострение интереса к характерному для него набору исторических представлений, маскируемое апелляцией к «историографической традиции», связано в России с индивидуальными факторами, в которых патриотические убеждения не играют значимой роли<sup>3</sup>. Невозможность создания школы на декларируемых принципах, вступающих в противоречия с закономерностями корпуса источников, хорошо видна на примере

<sup>3</sup> Так, одна из попыток начала XXI в. вернуться к гипотезе о южном происхождении этнонима «русь», принадлежащая, без сомнения, серьезному исследователю (Максимович 2006), была осуществлена непосредственно накануне защиты автором докторской диссертации и прошла апробацию в 2005–2006 гг. на чтениях памяти академика О. Н. Трубачева, разделявшего, как и их организаторы, подобные взгляды. После защиты подобные попытки прекратились.

судьбы научного наследия Д. А. Авдусина и А. В. Арциховского. Ученые преемники первого из них серьезно и плодотворно занимаются изучением скандинавских древностей Восточной Европы как в форме конкретного вещевода, так и на уровне исторических обобщений. Ситуация в новгородской археологии оказывается более инертной. В ряде публикаций до сих пор господствует свойственная ее основателю боязнь скандинавской интерпретации ископаемых артефактов как проявления «космополитизма» (об этом: Авдусин 1994: 29–30). Сохраняется здесь и введенный им «наукOMETрический подход» к изучению варяжского участия в истории Восточной Европы (ср.: «скандинавские предметы составляют лишь тысячную долю процента новгородской вещевой коллекции» (Рыбина, Хвощинская 2010: 76), что методологически некорректно, поскольку такое утверждение игнорирует хронологию эпохи викингов), тогда как становящиеся все более многочисленными в Новгороде находки скандинавского происхождения рассматриваются как свидетельства торговых связей (Янин и др. 2015)... Однако в целом археология оказалась невосприимчива к отрицанию скандинавского присутствия в Восточной Европе в силу повышенного иммунитета к нарушению методологической процедуры и чувствительности к некорректным выводам и некачественному научному продукту, обусловленного «материальностью» объекта исследования, что не должно вызывать недоумения (ср.: Томсинский 2014: 361, 365).

Возвращаясь к причинам возрождения варяжской проблематики в первой половине 1960-х гг., стоит согласиться, что они связаны не с негативными явлениями — кризисом социализма, а с позитивным ощущением свободы и творческим подъемом, сформировавшимся в условиях «хрущевской оттепели», равноценными проявлениями которых в ту эпоху были как космические полеты, так и туристические походы.

Научная полемика о национальной принадлежности летописных варягов и их роли в истории российской государственности пришлась на время господства этатизма и премоурдизма в науке. Настроения этой эпохи лучше всего характеризуются словами Д. И. Иловайского о том, что скандинавским народам было не под силу в IX в. основание такого огромного государства, как русское. Представления о существовании в это время «огромного русского государства» восходят к историческому мифу московских книжников XVI в. о *translatio imperii* из Киева в Москву, легитимизировавшему экспансионистскую политику местных Рюриковичей. Закрепленная в общественном сознании сочинением Николая Карамзина, эта мифологема в XX в. воплотилась в созданной Б. Д. Грековым концепции Киевской Руси, признававшей только одну форму политической власти — государство. В результате, по меткому замечанию А. А. Зимина, российские ученые «в духе Грекова» занялись поисками основ этого государства в седой старине (Зимин 2015: 71–72). Эти поиски изначально вызвали академическое сопротивление, которое, в силу политического веса академика, так и не стало достоянием публицистики. В ходе дискуссии звучали призывы не поддаваться тенденциозности летописи и переключить внимание с «державы Рюриковичей» на отдельные земли — «подлинные древнерусские государства», долгое время сохранявшие свою самостоятельность (об этом, напр.: Тихонов 2012).

Неудовлетворенность исследователей господствующей концепцией, где теория государства вступала в противоречие с источниками, проявила себя в многочисленных попытках конца XX — начала XXI в. дать новые определения восточноевропейской политики и связать ее с такими понятиями, как

«вождество», «потестарное общество» и т. д. (обзоры см. в.: Пузанов 2012; Джаксон 2016). Действительно, политогенез Восточной Европы с самого начала приобрел своеобразные формы, а государством Киевскую Русь можно назвать, лишь не требуя от нее четкой структуры общества и единства границ, политического центра, языка, культуры, этноса, экономического и правового пространства (Данилевский 1998: 166). Государство здесь выросло из контроля над торговыми путями и власти над территориально рассредоточенными коммерческими ресурсами, рынками и пунктами обмена, где систематическое налогообложение заменялось грабежом и сбором дани. Эти архаичные черты политической организации восточноевропейского общества прослеживаются вплоть до позднего средневековья, когда собственно и возникает Российское государство (о времени его консолидации см.: Пресняков 1918).

Отсутствие в раннесредневековой Восточной Европе государства в классическом и традиционном смысле снимает вопрос об участии скандинавов в его создании, как, впрочем, и в этногенезе русского народа, который отстоял от описываемых событий на несколько столетий. В то время здесь происходили другие процессы, которые возможно назвать «двойной аккультурацией». На первом этапе, в VIII — первой половине-середине X в. происходила аккультурация скандинавов в славянской и финской среде, приведшая к появлению этносоциальной группы русь, тогда как в конце X — XII в. завершается аккультурация руси в среде восточного славянства.

«Небывалое племя варяго-русов», до сих пор смущающее некоторых исследователей, похоже, не удовлетворяло и летописца, который, используя своеобразный «протоантропологический» подход, сначала превращает русь из рода варяжского конунга в полиэтничное княжеское окружение, а затем делает ее одним из восточнославянских этносов (Лаврентьевская летопись 2001: 19, 20 [6370 (862)], 23 [6390 (882)], 25–26 [6406 (898)]; Ипатьевская летопись 1998: 14 [6370 (862)], 17 [6390 (882)], 20 [6406 (898)]). Представления об этнической инертности руси, трансформирующие ее в отчужденный от местной культурной среды экстерриториальный анклав по аналогии с колониальными компаниями Нового времени, в свое время предложенной Р. Пайпсом (Pipes 1974: 31)<sup>4</sup>, оказываются анахронизмом. Русь предстают в истории не столько скандинавами, сколько результатом взаимодействия пришлых скандинавов и местного населения Восточной Европы. Отсутствие непроницаемых перегородок между восточноевропейскими этническими и социальными группами было хорошо различимо для современников (Бартольд 1973: 60). Результатом такой «проницаемости» становилась не ассимиляция скандинавов славянами или симбиоз, а их аккультурация. Этот феномен предполагает появление новой идентичности, находившей отражение в материальной культуре, идентичности уже не скандинавской и в некотором роде — даже не славянской, несмотря на то что ее носители могли называть себя в Восточной Европе — славянами, а в Западной — франками (см.: Vauduin 2001).

Отсутствие органической связи между скандинавским присутствием в Восточной Европе, российским политогенезом и русским этногенезом позволяет археологии освободиться от несвойственных ей функций и заняться своим делом — изучением скандинавского компонента в материальной культуре раннего средневековья. В этих исследованиях подходам, предложенным Т. Арне

<sup>4</sup> Недавно авторство этой аналогии приписал себе А. П. Толочко (Толочко 2015).

в его книге столетней давности, принадлежит важная роль. Начатое им изучение темы гибридизации предвосхитило современные научные направления (см.: Burke 2009). Основные ее сюжеты нашли свое подтверждение и развитие в исследованиях, посвященных не только «гибридным» артефактам и длительному переживанию северных традиций в восточно-европейском ремесле (см., напр.: Корзухина 1965; Клейн, Лебедев, Назаренко 1970; из числа новых работа: Peskova 2014; Лесман 2014), но и «гибридности» целых археологических культур и погребальных обрядов, складывающихся в схожих условиях контактов скандинавов с автохтонным населением (Назаренко 1982; 1983; 1990). Новые подходы в этой области, представляющие скандинавов как “transmigrant people”, позволяют найти баланс между сохранением мигрирующими группами культурной специфики и динамикой их идентичности (об этом см.: Håkansdotter 2013). Поставленные Т. Арне вопросы этнической интерпретации археологических предметов получают свои ответы в исследованиях «северообразных артефактов» Британских островов, которые свидетельствуют об эволюции идентичности местных викингов в процессе их «англицизации», растворенном в феномене моды, выходящем за рамки строгой этничности (Kershaw 2013). Затронутые им сюжеты обмена в современной научной проблематике перерождаются в изучение культурных трансферов как сложного и многоуровневого взаимодействия, при изучении которых особое внимание обращается на механизм, причины, мотивы и трансформации передаваемых явлений культуры (Abdellatif, Benhima, König, Ruchaud 2012; Bauduin 2016).

Одновременно в исследованиях складывается понимание необходимости выявления новых этнических индикаторов, свидетельствующих о географии скандинавских миграций. К ним, в первую очередь, относятся предметы культа, которые не могли быть объектом обмена или торговли, или же символы скандинавской религии, нанесенные на бытовые артефакты. Так, анализ ранних археологических слоев Новгорода, датируемых 930–950-ми гг., позволяет выявить здесь следы ритуалов северной религии, связанных с обрядами основания жилища, имеющими аналоги в материалах Швеции. Этот факт свидетельствует, что среди новгородских первопоселенцев были и носители этих культов — скандинавы (Мусин 2012: 562–565; Мусин, Тарабардина, Кокуца, Кубло 2015–2016: 162–163). В последнее время расширилась и география скандинавских находок, фиксирующая их на определенном удалении от торговых путей, как, например, в бассейне реки Ловать (материалы частично опубликованы в: Еремеев, Дзюба 2010: 490–496, рис. 384, 385), что вновь позволяет поставить вопрос о поселениях выходцев с Севера. Сегодня можно говорить о закономерности консервации импортированных элементов культуры именно на географической периферии (Voguslavskij 2014; ср.: Мусин, Афиногенов, Торопова 2007: 3–12, 36–41), вдали от быстро меняющегося мира моды. Развитие и комбинация новых тенденций в археологическом изучении скандинавского присутствия в Восточной Европе позволяют создать непротиворечивую картину ее истории в VIII–XI вв.

## Литература

- Авдусин Д. А. 1949. Варяжский вопрос по археологическим данным // КСИИМК 30, 3–12.  
Авдусин Д. А. 1953. Неонорманистские измышления буржуазных историков // ВИ 12, 114–120.



- Авдусин Д. А. 1988. Современный антинорманизм: о концепциях истории образования древнерусского государства // ВИ 7, 23–34.
- Авдусин Д. А. 1994. Артемий Владимирович Арциховский и Новгород // Янин В. Л., Гайдуков П. Г. (ред.). Новгородские археологические чтения [1]. Новгород: НГОМЗ, 28–34.
- Алпатов В. М. 2009. Н. Я. Марр и народные этимологии // Вопросы филологии 1, 8–13.
- Алпатов М. А. 1949. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.: Изд-во АН СССР.
- Андреев О. Е. 2015. Российская официальная историография об англо-российских отношениях второй половины XIX века // Приволжский научный вестник 6: 3, 102–105.
- Арциховский А. В. 1934. Археологические данные о возникновении феодализма в Суздальской и Смоленской земле // Проблемы истории докапиталистических обществ 11–12, 35–60.
- Арциховский А. В. 1966. Археологические данные по варяжскому вопросу // Монгайт А. Л. (ред.). Культура Древней Руси: сборник статей. М.: Наука, 36–41.
- Бартольд В. В. 1973. Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбār // Бартольд В. В. Сочинения: В 9 т. Б. Г. Гафуров (пред. ред. кол.). Т. 8: Работы по источниковедению. М.: Наука, 23–62.
- Гедеев С. А. 1862. Отрывки из исследований в варяжском вопросе. Прибавление в 1–3 тт. Записок Императорской Академии наук 3. СПб.: тип. Имп. Академии наук.
- Гедеев С. А. 1876. Варяги и Русь: историческое исследование. СПб.: тип. Имп. Академии наук.
- Гизо Ф. 1859–1860. История Английской революции. Пер. с фр. СПб.: тип. И. И. Глазунова и К°. Ч. 1.
- Греков Б. Д. 1947. О роли варягов в истории Руси: по поводу статьи шведского профессора Арне Туре // Новое время 30, 12–15.
- Данилевский И. Н. 1998. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): курс лекций. М.: Аспект Пресс.
- Джаксон Т. Н. (отв. ред.). 2016. Древнейшие государства Восточной Европы. 2014: Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. М.: Русский фонд содействия образованию и науке.
- Доманский Я. В. 1955. Нижнее Побужье в VII–V вв. до н. э. (историко-археологическое исследование). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. 2010. Очерки исторической географии лесной части пути из варяг в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером Ильмень. СПб.: Нестор-История.
- Жих М. И. 2016. Ксавье Мармье. Мекленбург (русский перевод записок о путешествии Ксавье Мармье в Мекленбург) // Исторический формат 3, 9–61.
- Зимин А. А. 2015. Храм науки // Хорошкевич А. Л. (ред.-сост.). Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века. М.: Аквариус, 35–383.
- Иессен А. А. 1947. Греческая колонизация Северного Причерноморья, ее предпосылки и особенности. Л.: ГЭ.
- Иловайский Д. И. 1876. Разыскания о начале Руси: вместо введения в русскую историю. М.: тип. Грачева и К°.
- Ипатьевская летопись. 1998. М.: Языки славянской культуры.
- Каллистов Д. П. 1949. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л.: ЛГУ.
- Карнаухов Д. В. 2014. Концепции истории средневековой Руси в польской хронографии эпохи Возрождения. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та.
- Кирпичников А. Н. 1969. Памяти Туре Арне // СА 2, 242–243.

- Клейн Л. С. 1999. Норманизм — антинорманизм: конец дискуссии // SP 5, 91–101.
- Клейн Л. С. 2010. Трудно быть Клейном: автобиография в монологах и диалогах. СПб.: Нестор-История.
- Клейн Л. С. 2014. Красный демон археологии. В. И. Равдоникас // Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Т. 2: Археологи советской эпохи. СПб.: Евразия, 123–142.
- Клейн Л. С., Лебедев Г. С., Назаренко В. А. 1970. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения // Носов Н. Е., Шаскольский И. П. (ред.). Исторические связи Скандинавии и России. IX–XX вв. Л.: Наука, 226–252.
- Колобова К. М. 1951. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX–VII вв. до н. э.). Л.: ЛГУ.
- Корзухина Г. Ф. 1965. находка на Рюриковом городище под Новгородом // КСИА 104, 45–47.
- Костомаров Н. И. 1877. Русская историческая литература в 1876 г. // Русская старина XVIII, 159–184.
- Крушевский Н. В. 1998. Об аналогии и народной этимологии // Крушевский Н. В. Избранные работы по языкознанию. Ф. М. Березин (изд.). М.: Наследие, 48–58.
- Кузьмин А. Г. 2003. Начало Руси: тайны рождения русского народа. М.: Вече.
- Лаврентьевская летопись. 2001. М.: Языки славянской культуры.
- Лапин В. В. 1966. Греческая колонизация Северного Причерноморья: критический очерк отечественных теорий колонизации. Киев: Наукова думка.
- Латышев В. В. 1887. Исследование об истории и государственном строе города Ольвии. СПб.: тип. В. С. Балашева.
- Лесман Ю. М. 2014. Скандинавский компонент древнерусской культуры // SP 5, 43–87.
- Лесной С. 1964. Русь, откуда ты? Основные проблемы истории древней Руси. Виннипег: Б. и.
- Любавский М. К. 1918. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). М.: М. и С. Сабашниковы.
- Мавродин В. В. 1945. Образование Древнерусского государства. Л.: ЛГУ.
- Мавродин В. В. 1946. Древняя Русь: происхождение русского народа и образование Киевского государства. М.: Госполитиздат.
- Мавродин В. В. 1949. Борьба с норманизмом в русской исторической науке: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 г. в Ленинграде. Л.: б. и.
- Максимович К. А. 2006. Происхождение этнонима Русь в свете исторической лингвистики и древнейших письменных источников // Грацианский М. В., Кузенков П. В. (ред.). ΚΑΝΙΣΚΙΟΝ: Юбилейный сборник в честь 60-летия проф. И. С. Чичурова. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 14–56.
- Меркулов В. И. 2005. «Росский» рыцарь и немецкий ученый Николай Маршалк // Научные труды Московского государственного педагогического университета. Социально-исторические науки, 43–47.
- Меркулов В. И. 2008. Мекленбургская генеалогическая традиция о Древней Руси // Труды Института российской истории РАН 7, 8–28.
- Мусин А. Е. 2012. Скандинавское язычество на Востоке по данным археологии: общее и особенное // РАЕ 2, 592–639.
- Мусин А. Е. 2016. Загадки дома святой Софии: церковь Великого Новгорода в X–XVI вв. СПб.: Петербургское Востоковедение.
- Мусин А. Е., Афиногенов Д. Е., Торопова Е. В. (ред.-сост.). 2007. В поисках утраченной Византии. Культура средневекового Новгорода и древней Руси как источник для синхронно-стадиальной реконструкции византийской цивилизации IX–XV вв. Мат-лы конф. СПб.: ИИМК РАН; Великий Новгород: НовГУ.
- Мусин А. Е., Тарабардина О. А., Кокуца Л. В., Кубло Э. К. 2015–2016. Деревянные предметы с христианской и языческой символикой из раскопок в Новгороде и Старой Руссы // РАЕ 5–6, 157–170.

- Назаренко В. А. 1982. Норманны и появление курганов в Приладожье // Столяр А. Д. (отв. ред.). Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Межвуз. сб. Л.: ЛГУ, 142–147.
- Назаренко В. А. 1983. Погребальная обрядность Приладожской чуди. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Назаренко В. А. 1990. Приладожская чужь // Кирпичников А. Н., Рябинин Е. А. (отв. ред.). Финны в Европе VI–XV вв. Прибалтийско-финские народы: историко-археологическое исследование. Вып. 2: Русь, финны, саамы, верования. М.: ИА АН СССР, 82–93.
- Пархоменко В. А. 1924. Норманизм и антинорманизм // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук 28, 71–74.
- Пауль А. 2015. Роксоланы с острова Рюген: хроника Николая Маршалка как пример средневековой традиции отождествления рюгенских славян и русских // Исторический формат 1, 5–30.
- Пауль А. 2016. Балтийские славяне: от Рерика до Старигарда. М.: Книжный мир.
- Платонова Н. И. 2002. Панорама отечественной археологии на «великом переломе» (по страницам книги В. И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // АВ 9, 261–278.
- Платонова Н. И. 2010. История археологической мысли в России: вторая половина XIX — первая треть XX века. М.: Нестор-История.
- Плетнева А. В. 2015. Истоки роксоланской теории Д. И. Иловайского // Вестник Пермского университета. История 2, 78–87.
- Пресняков А. Е. 1918. Образование Великорусского государства: очерки по истории XIII–XV столетий. Пг.: 9-я гос. тип.
- Пузанов В. В. 2012. Образование древнерусского государства в восточноевропейской историографии. Ижевск: Удмуртский университет.
- Равдоникас В. И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры. М.; Л.: Соцэкгиз (ИГАИМК 7).
- Равдоникас В. И. 1934. О возникновении феодализма в лесной полосе Восточной Европы в свете данных археологии // ИГАИМК 103, 102–129.
- Репина Л. П. 2008. Исторические мифы и национальная идентичность: к методологии исследования // Крючков И. В. (ред.). Национальная идентичность в проблемном поле интеллектуальной истории. Мат-лы междунар. науч. конф. Ставрополь; Пятигорск; М.: Изд-во Ставропольского ун-та, 9–13.
- Ростовцев М. И. 1918. Эллинство и иранство на юге России: общий очерк. Пг.: Огни.
- Рыбина Е. А., Хвощинская Н. В. 2010. Еще раз о скандинавских находках из раскопок Новгорода // Хвощинская Н. В., Мусин А. Е. (ред.-сост.). Диалог культур и народов средневековой Европы. СПб.: Дмитрий Буланин, 66–78.
- Сахаров А. Н., Фомин В. В. 2010. Слово к читателю: обзор развития норманистской теории с позиций антинорманизма // Фомин В. В. (ред.-сост.). Изгнание норманнов из русской истории: сборник статей и монографий 1. М.: Русская панорама, 6–18.
- Спицын А. А. 1899. Расселение древнерусских племен по археологическим данным // Журнал Министерства народного просвещения 8, 301–340.
- Спицын А. А. 1905. Гнездовские курганы в раскопках С. И. Сергеева // Известия Императорской археологической комиссии 15, 6–70.
- Спицын А. А. 1922. Археология в темах начальной русской истории // Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. 1882–XL-1922. Пг.: Огни, 1–12.
- Спицын А. А. 1928. Мои научные работы // Seminarium Kondakovianum 2, 331–342.
- Тихонов В. В. 2012. Забытые страницы советской историографии: дискуссия Б. Д. Грекова и Б. И. Сыромятникова о характере социально-экономического строя Киевской Руси // Исторический ежегодник 2012. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 34–45.

- Толочко А. П. 2015. Очерки начальной Руси. Киев; СПб.: Laurus.
- Томсинский С. В. 2014. Ленинградский неонорманизм: истоки и итоги // SP 5, 357–370.
- Тьерри О. 1859–1860. История завоевания Англии норманнами с изложением причин и последствий этого завоевания в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке вплоть до нашего времени. СПб.: тип. И. И. Глазунова и К°. Ч. 1–3.
- Уинстенли Дж. 1950. Избранные памфлеты / пер. с англ. Е. Г. Денисовой; ред., коммент. А. С. Самойло. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Шаскольский И. П. 1965. Норманская теория в современной буржуазной науке. М.; Л.: Наука.
- Шаскольский И. П. 1983. Антинорманизм и его судьбы // Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы историографии. К 75-летию В. В. Мавродина. Л.: ЛГУ, 35–51.
- Шатин Ю. В. 2002. Исторический нарратив и мифология XX столетия // Критика и семиотика 5, 100–108.
- Юргевич В. 1872. О именах иностранных на надписях Ольвии, Боспора и других греческих городов северного побережья Понта Евксинского // Записки Одесского общества истории и древностей 8, 4–38.
- Янин В. Л., Рыбина Е. А., Покровская Л. В., Сингх В. К., Степанов А. М., Тянина Е. А. 2015. Работы в Людином конце Великого Новгорода в 2014 г. (Троицкие раскопы: XIII-Г, Г-1 и XV) // Новгород и Новгородская земля: история и археология 29, 51–65.
- Abdellatif R., Benhima Y., König D., Ruchaud E. 2012. Introduction à l'étude des transferts culturels en Méditerranée médiévale. Aspects historiographiques et méthodologiques // Abdellatif R., Benhima Y., König D., Ruchaud E. (dir.). Construire la Méditerranée, penser les transferts culturels Approches historiographiques et perspectives de recherche. München: Oldenbourg, 14–44.
- Abrams L. 2014. Vikings: Life and legend // The Times literary supplement 5791, 17–18.
- Arbman H. 1955. Svear i Österviking. Stockholm: Natur och kultur.
- Arbman H. 1960. Skandinavisk handverk in Russland zur Wikingerzeit // Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1959, 110–135.
- Arne T. J. 1914. La Suède et l'Orient: études archéologiques sur les relations de la Suède et de l'Orient pendant l'âge des Vikings. Uppsala: K. W. Appelberg.
- Arne T. J. 1917. Svenska vikingakolonier i Ryssland // Arne T. J. Det stora Svitjod: essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser. Stockholm: Geber, 37–63.
- Arne T. J. 1925. Les rapports de la Suède avec la Russie et l'Orient au temps des Vikings // Le monde slave 5, 244–254.
- Arne T. J. 1931a. Schweden in Russland in der Wikingerzeit: die Nordmannenfrage vor der russischen Wissenschaft der letzten 15 Jahre // Congressus secundus archaeologorum Balticorum. Rigae, 19–23. VIII. 1930. Riga: S. n., 225–232.
- Arne T. J. 1931b. Skandinavische Holzkammergraber aus der Wikingerzeit in der Ukraine // AA 2, 285–302.
- Arne T. J. 1947. Ryskt statsvalde fore vikingarna utan bevis // Dagens Nycheter 26 april.
- Arne T. J. 1952a. Die Warägerfrage und die sowjetrusische Forschung // AA 23, 138–147.
- Arne T. J. 1952b. Det vikingatida Gnezdovo Smolensks föregångare // Stenberger M. (red.). Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11. 11. 1952. Stockholm: Svenska arkeologiska samfundet, 235–244.
- Arne T. J. 1952c. Svenskarna och Österlandet. Stockholm: Natur och Kultur.
- Arnold B. 1990. The past as propaganda: totalitarian archaeology in Nazi Germany // Antiquity 64, 464–478.
- Artsikhovskiy A. 1962. Archaeological data on the Varangian question // VI International Congress of Prehistorical and Protohistorical Sciences. Reports and communications by archaeologists of the USSR. Moscow: S. n., 3–9.
- Avdusin D. 1969. Smolensk and the Varagians according to the archaeological Date // NAR2, 52–62.

- Barrowclough D.* 2016. Digging for Hitler: The Nazi Archaeologists Search for an Aryan Past. Oxford: Fonthill Media.
- Bauduin P.* 2001. Autour d'une construction identitaire: la naissance d'une historiographie normande à la charnière des X<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles // Nagy P. (dir.). Conquête, acculturation, identité: des Normands aux Hongrois. Les traces de la conquête. Mont-Saint-Aignan: Publications de l'Université de Rouen, 79–91.
- Bauduin P.* (éd.). 2005. Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle du 25 au 29 septembre 2002. Caen: Publications du CRAHM.
- Bauduin P.* 2011. La polémique normanniste — antinormanniste dans l'historiographie russe // Musin A., Berthelot S. (dir.). Russie viking, vers une autre Normandie? Novgorod et la Russie du Nord, des migrations scandinaves à la fin du Moyen Âge (VIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> s.). Catalogue de l'exposition, Caen, Musée de Normandie, 24 juin — 31 octobre 2011. Paris: Errance, 165–167.
- Bauduin P.* 2012. Michel de Boüard, un regard sur l'histoire de la Normandie médiévale // Annales de Normandie 1, 61–72.
- Bauduin P.* 2016. Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux: aspects et limites d'un transfert sémantique // Mondes normands médiévaux [carnet de recherche], 7 juillet 2016, [En ligne] URL: <https://mnm.hypotheses.org/2877> (consulté le 15 mars 2017).
- Bloch M.* 1952. Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Paris: A. Colin.
- Boguslavskij O.* 2014. The region south of Lake Ladoga during the Viking Age (8<sup>th</sup> — 11<sup>th</sup> centuries AD) // Bauduin P., Musin A. (dir.). Vers l'Orient et vers l'Occident. Regards croisés sur les dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rous ancienne. Caen: Publications du CRAHAM, 297–308.
- Borot L.* 1991. Le mythe normand chez Gerrard Winstanley: une conception populaire de l'identité nationale anglaise au coeur des années révolutionnaires // Bulletin de la société d'études anglo-américaines des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles 32, 7–20.
- Boüard, de, M.* 2009. Journal de la route 1946–1956. J.-J. Bertaux (éd.). Caen: Musée de Normandie.
- Boyer R.* 1996. Sur le mythe viking en France // Levesque J.-M. (dir.). Dragons et drakkars. Le mythe viking de la Scandinavie à la Normandie, XVIII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles. Caen: Musée de Normandie, 125–136.
- Bujak F.* 2001. Studya nad osadnictwem Małopolski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- Burke P.* 2009. Cultural hybridity. Cambridge: Polity Press.
- Bury J. B.* 1900. A History of Greece to the Death of Alexander the Great. London: Macmillans and Co.
- Bytwerk R. L.* 2004. Bending Spines: The Propagandas of Nazi Germany and the German Democratic Republic. East Lansing, Mich.: Michigan State University Press.
- Cederlund C. O.* 2011. The modern myth of the Viking // Journal of maritime archaeology 6 (1), 5–35.
- Chaline J.-P.* 2011. Le millénaire normand à Rouen: apereçu historique // Chaline J.-P., Nouaud P. (dir.). 911–1911: Quand Rouen fêtait le Millénaire Normand... Rouen: Société des amis des monuments rouennais, 5–16.
- Chinball M.* 1999. The Debate on the Normand Conquest. Manchester: Manchester University Press.
- Cross S. H.* 1946. The Scandinavian infiltration into Early Russia // Speculum 21: 4, 505–514.
- Davy G.* 2010. Les derniers conquérants. Les invasions normandes et la naissance de la Normandie chez Montesquieu, retour sur un «moment» historiographique // Annales de Normandie 1, 93–166.
- Foucault M.* 1997. «Il faut défendre la société»: cours au Collège de France, 1975–1976. Paris: Seuil.

- Geary P. 2002. *The Myth of Nations: the Medieval Origins of Europe*. Princeton: Princeton University Press.
- Guillet F. 2000. *Naissance de la Normandie: Genèse et épanouissement d'une image régionale en France, 1750–1850*. Caen: Annales de Normandie.
- Guillet F. 2005. *Le Nord mythique de la Normandie: des Normands aux Vikings de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à la Grande Guerre // Revue du Nord 2 (360–361), 459–471.*
- Guiraud P. 1893. *La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine*. Paris: Hachette et Cie.
- Gutschmid, von, A. 1877. *Über: Dorn B. Caspia. Üdie Einfälle der alten Russen in Tabaristan nebst Zugaben über andere von ihnen auf dem kaspischen Meere und in den anliegenden Ländern ausgeführte Unternehmungen*. Sankt-Petersburg, 1875 // *Historische Zeitschrift. Neue Folge 1, 235–242.*
- Håkansdotter L. 2013. *Vikings as transmigrant People: a New Approach to hybrid Artifacts // Baltic Worlds 2, 24–28.*
- Hare J. 1647a. *St. Edwards ghost: or, Anti-Normanisme: being a pathetic complaint and motion in the behalf of our English nation against her grand (yet neglected) grievance, Normanisme, Quienam (malum) est ista voluntaria servitus?* London: Starre under Peters Church in Cornhill.
- Hare J. 1647b. *Plaine English to our willful bearers with Normanisme; or, Some queries propounded to and concerning the neglectours of Englands grand grievance and complaint lately published under the title of Anti-Normanisme*. London: Blew Anchor in Cornhill neere the Royall Exchange.
- Härke H. 1998. *Archaeologists and migrations: A problem of attitude? // CAn 39, 19–46.*
- Hildebrand H. 1882. *Om fynd af nordiska fornsaker i Ryssland // Thomsen V. Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna*. Stockholm: Samson & Wallin, 131–141.
- Hill C. (ed.). 1983. *Winstanley 'The Law of Freedom' and other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hinrichs N. 2016. *Wattenmeer und Nordsee in der Kunst: Darstellungen von Nolde bis Beckmann*. Göttingen: V&R unipress.
- Kershaw J. F. 2013. *Viking identities: Scandinavian jewellery in England*. Oxford: Oxford University Press.
- Kidd C. 1999. *British Identities before Nationalism. Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World. 1600–1800*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lessay F. 2000. *Joug normand et guerre des races: de l'effet de vérité au trompe-l'œil // Cités 2, 53–69.*
- Lessay F. 2004. *Joug Normand: le mythe d'un mythe (en relisant Christopher Hill) // Lurbe 2004, 37–54.*
- Lönnorth L. 1997. *The Vikings in history and legend // Sawyer P. (ed.). The Oxford Illustrated History of the Vikings*. Oxford: Oxford University Press, 225–249.
- Lurbe P. (éd.). 2004. *Le joug normand: La conquête normande et son interprétation dans l'historiographie et la pensée politique anglaise (XVII<sup>e</sup>–XVIII<sup>e</sup> siècles)*. Actes du colloque tenu à l'Université de Caen Basse-Normandie les 12 et 13 mai 2000. Caen: Presses universitaires de Caen.
- Marmier X. 1890. *Lettres sur le Nord: Danemark, Suède, Norvège, Laponie, Spitzberg*. 6-ème éd. Paris: Hachette.
- Marpeau B. 1996. *Le nordisme en Normandie après 1945: idéologie politique et mythe viking // Levesque J.-M. (éd.). Dragons et drakkars. Le mythe viking de la Scandinavie à la Normandie, XVIII<sup>e</sup>–XX<sup>e</sup> siècles*. Caen: Musée de Normandie, 115–122.
- McPhaul S. N. 2016. *Vikings and Gods in Fictional Worlds. Remediation of the Viking Age in Narrative-Driven Video Games*. MA thesis. Reykjavík: University of Iceland.
- Minns E. H. 1913. *Scythians and Greeks: a survey of ancient history and archaeology on the north coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus*. Cambridge: University Press.

- Nerman B.* 1929. Die Verbindungen zwischen Skandinaviern und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit. Stockholm: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad (Kungl. Vitterhets-, historie- och Antikvitets Akademiens Handlingar 40: 1).
- Neumann K.* 1855. Die Hellenen im Skythenlande: ein Beitrag zur alten Geographie, Ethnographie und Handelsgeschichte. Berlin: G. Reimer.
- Olsson C.* 2010. Le Mythe du Viking entre réalité et fantasme // Burle-Elrecaide É., Naudet V. (dir.). Fantasmagories du Moyen Âge: entre médiéval et moyenâgeux: [actes du colloque international, 7–9 juin 2007, Université de Provence]. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 191–199.
- Peskova A. A.* 2014. Byzantine and Scandinavian Elements in Christian Devotional Metalwork Objects of Early Rus' of the 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> centuries // Bauduin P., Musin A. (dir.). Vers l'Orient et vers l'Occident: regards croisés sur dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rus ancienne. Caen: Publications du CRAHAM, 113–131.
- Puschner U., Vollnhals C.* (Hrsg.). 2012. Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus: eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung 47. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Raoul-Rochette D.* 1815. Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Paris: Treuttel et Würtz. Vol. 1–4.
- Raudonikas W. J.* 1930. Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebiet. Stockholm: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad.
- Richard J. D.* 2005. The Vikings: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
- Stender-Petersen A.* 1954. Die vier Etappen des russische-varängische Beziehungen // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 2, 137–157.
- Stender-Petersen A.* 1960. Der älteste russische Staat // Historische Zeitschrift 191, 1–18.
- Тыс Т.* 1924. Początki kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w Wielkopolsce (1200–1333). Poznań.
- Vaillant A., Mazon A., Grabar A., Unbegaun B., Pascal P., Borschak V., Fichelle A., Grappin H., Tesnière L., Bernard R., Boissin H.* 1948. Chroniques: Publications // Revue des études slaves 24 (1–4), 185–305.
- Wawn A.* 2000. The Vikings and the Victorians: inventing the Old North in nineteenth-century Britain. Cambridge: Brewer.

## Варяжский антропонимикон ПВЛ (до середины X века) и антропонимикон скандинавских рунических надписей: сравнительный анализ

**Резюме.** В статье рассматривается структура варяжского антропонимикона ПВЛ в динамике (по хронологическим срезам двух договоров руси с греками — 911 и 944 гг.) и в сопоставлении со структурой антропонимикона рунических надписей. Для первого хронологического пласта обнаруживается отсутствие пересечений варяжского антропонимикона ПВЛ с топ-20 антропонимикона «древнешведского» ареала и с топ-листом «древнедатского» ареала. Опираясь на результаты С. Л. Николаева, автор выделяет для первого хронологического пласта две группы варяжских имен ПВЛ. Первая — «группа Олега и Игоря»; имена этой группы демонстрируют фонетику выделяемого С. Л. Николаевым «русско-варяжского диалекта» (его фонетика не соответствует фонетике ни «древнешведского», ни «древнедатского», ни древнесеверного ареалов; этот диалект, по С. Л. Николаеву, представляет собой очень раннее ответвление от северогерманского ствола). Вторая — «группа Рюрика, Трувора и Синеуса»; ее имена или не находят соответствий в Скандинавии (как Трувор и Синеус), или их фонетика не соответствует известным скандинавским языкам. Параллели именам второй группы обнаруживаются в ареале раннесредневековых континентальных германцев, а также кельтов. Для второго хронологического пласта обнаруживается десять имен, находящихся параллели в топ-20 «древнешведского» ареала, а также появляется группа имен, образованных по модели на -i (Стегги и подобные), что особенно характерно для «древнедатского» ареала. Поскольку С. Л. Николаев убедительно показал, что почти все варяжские имена второго хронологического пласта демонстрируют фонетику «русско-варяжского» диалекта, наилучшим объяснением представляется

**A. A. Romanchuk. The Varangian anthroponyms of Primary Chronicle (prior to the middle of the X c.) and the anthroponyms of the Scandinavian runic inscriptions: a comparative analysis.** The paper considers the Varangian names of the Primary Chronicle in the dynamics (as a comparison between two chronological layers, i. e. of two agreements between Russians and Greeks in 911 and 944), as well as in comparison with the top-lists of names from the Scandinavian runic inscriptions. Any parallels between the names of the first layer and the top-lists of the “Old-Danish” and “Old-Swedish” areas are absent. Basing on the results of S. L. Nikolaev’s research, two groups of names for the first layer can be established. The first group shows the fonetic features of the “Russian Varangian dialect” (according to S. L. Nikolaev; its phonetics sharply differs from the “Old-Swedish”, “Old-Danish” and “Old-Norse” ones; this dialect is an early branch of the proto-North-Germanic). The second group has no prototypes in Scandinavia (like Truvor and Sineus) or, at least, their phonetics differ from that of all known Scandinavian languages. The prototypes for second group are found in the areas of the continental Germans and Celts. Ten names of the second chronological layer have parallels in the top-20 of the “Old-Swedish” area. Besides, a new group of names formed by -i-model (like Steggi etc.) appears in this layer; this -i-model seems to have been more popular in the “Old-Danish” area. As S. L. Nikolaev proved that nearly all names of this layer belong to the “Russian Varangian” dialect, one may hypothesize that while some groups from Scandinavia did participate in the campaign of 944, their names were transformed (or substituted) in the Russian-Varangian milieu. The author provides some arguments in favor of A. G. Kuzmin’s



предположение, что хотя в походе 944 г. участвовали и выходцы из «древнешведского» и «древнедатского» ареалов, их имена подверглись трансформации (или субституции) в среде носителей «русско-варяжского» диалекта. В статье приводятся доводы в поддержку высказанной А. Г. Кузьминым идеи о локализации «руси Олега и Игоря» в Лянемаа и Сааремаа.

**Ключевые слова:** русь, варяги, антропонимика, ПВЛ, рунические надписи.

hypothesis about the localization of “Rus’ of Oleg and Igor” in the Lanemaa and Saaremaa.

**Keywords:** Rus’, Varangians, anthroponyms, Primary Chronicle, runic inscriptions.

В последние годы появилось несколько новых и важных работ, посвященных анализу варяжского антропонимикона ПВЛ (Николаев 2012; 2016; Циммерлинг 2012). Особенно следует отметить работы С. Л. Николаева, в которых он убедительно показал, что основная масса варяжских имен ПВЛ относятся к новому, ранее неизвестному северогерманскому диалекту (в работе 2012 года он именовал его «континентальным северогерманским языком» (КСГЯ); в работе 2016 предлагает использовать более удобный, по ряду соображений, термин «русско-варяжский диалект» (далее — РВД)). Мне уже приходилось обращать внимание на эти выводы С. Л. Николаева (Романчук 2013а: 290; 2013б: 105; 2015: гл. 3), и должен повторить, что их важность трудно переоценить. Было бы очень здорово проделать аналогичную работу для «русских» названий порогов Днепра у Константина Багрянородного.

Вместе с тем, как мне кажется, даже после работ С. Л. Николаева здесь еще есть о чем говорить. В этой статье я хотел бы, прежде всего, сделать две вещи. Во-первых, посмотреть не просто на «русско-варяжские» антропонимы ПВЛ, но на структуру «русско-варяжского» антропонимикона ПВЛ в целом. И сравнить его со структурой антропонимикона рунических надписей — так, как он выглядит согласно данным, приведенным в обобщающей работе Л. Петерсон (Peterson 2007). Во-вторых же, рассмотреть «русско-варяжский» антропонимикон ПВЛ в динамике, используя для этого тот факт, что мы можем выделить два естественных хронологических пласта в его составе. Выделить, используя такой четкий и прозрачный критерий, как два договора руси с греками (в которых и содержится бо льшая часть имен варягов-руси ПВЛ): договор Олега, обычно датируемый 911 годом, и договор Игоря, датируемый 944 годом (подробнее о договорах: Бибиков 2005).

Начнем с первого хронологического пласта и вначале представим его антропонимикон. Помимо Рюрика, Трувора и Синеуса, а также Аскольда и Дира, основной массив этого пласта составляют имена послов Олега (и самого Олега, а также Игоря). Что мы, прежде всего, видим? Мы видим, что среди «русско-варяжских» имен первого хронопласта нет ни одного имени из топ-10, и даже топ-20 «древнешведского», равно как и «древнедатского» антропонимикона (разумеется, ни о шведах, ни о датчанах мы говорить еще не можем, и используем эти обозначения здесь всего лишь для удобства).

С «древнедатским» топ-листом (Л. Петерсон выделила для него 29 наиболее распространенных имен (Peterson 2007: 275, Tab. 3)) мы вообще никаких пересечений для «русско-варяжского» именованного первого хронопласта не обнаруживаем. Для «древнешведского» топ-листа Л. Петерсон выделила 72 наиболее распространенных имени; среди них первые десять насчитывают более

50 фиксаций (Peterson 2007: 272–273, Tab. 1). Особенно выделяется первая пятерка: Svæinn (147 + 11); Biörn (118 + 5); Þórstæinn (90 + 1); UlfR (75 + 6) и Anundr/Önundr (63 + 3).

Первое же «русско-варяжское» имя из первого хронопласта, которое обнаруживает пересечение с «древнешведским» антропонимикон — Карл/Карлы, расположено лишь на 24-й позиции в топ-листе (28 фиксаций). При этом, заметим, имя Карл не является специфически скандинавским, но весьма популярно и у континентальных германцев. Впрочем, об этом будет лучше поговорить чуть ниже, в том числе обращаясь и к выводам С. Л. Николаева.

Следующее имя, обнаруживающее параллели в «древнешведском» топ-листе — Инегельд; оно, очевидно, должно сопоставляться с Ingialdr (25 фиксаций; 33-я позиция). Хотя, опять-таки, оно известно и у континентальных германцев (Peterson 2007: 136; Förstemann 1856: 784). Далее, имени Олег традиционно видят параллель в Hælgǫ — оно имеет 20 фиксаций и расположено на 43-й позиции в «древнешведском» топ-листе. Имя Ingvarr (которое, в свою очередь, традиционно рассматривается как параллель к имени Игорь) — еще реже; оно имеет 17 фиксаций и расположено на 53-й позиции. Прочие «русско-варяжские» имена первого хронопласта (включая имена Рюрик, Аскольд и Дир, и не говоря уж о загадочных Труворе и Синеусе) и в «древнешведский» топ-лист не попали.

Теперь, прежде чем остановиться на некоторых из этих имен подробнее, приведем ряд выводов С. Л. Николаева. Прежде всего: «историческая фонетика большинства “варяжских” имен не соответствует засвидетельствованной древнешведской» (Николаев 2016: 19). Более того, «историческая фонетика “русско-варяжского” диалекта (§ 3) заметно отличается от фонетики древнедатского, древнешведского и древнесеверного (древненорвежского и древнеисландского) языков» (Там же: 21). И, по-прежнему следует предполагать «...раннее отделение “русско-варяжского” диалекта от прасеверогерманского ствола и... его длительную изоляцию от остальных северогерманских языков... Отделение диалекта “русских варягов” от прасеверогерманского предпочтительно отнести к VI–VII вв. н. э., к эпохе, предшествовавшей умлаутизации долгих гласных, и-умлауту, дифтонгизации прасеверогерманского (далее — ПСГ) \*e в \*eR, \*eI, повышению \*e > i, \*u > o и понижению \*i > e в первом слоге словоформы, нейтрализации ПСГ \*b и \*f» (Там же: 26).

Для наших целей эти выводы имеют значение прежде всего потому, что подавляющую часть «русско-варяжских» имен как первого, так и второго хронопластов С. Л. Николаев относит именно к реконструируемому им РВД. Среди имен первого хронопласта это в первую очередь Олег (и, соответственно, Ольга — но ее имя следует учитывать уже во втором хронопласте): «Ранне-ПС \*ēlǫgǫ > ПС \*eļgǫ > вост.-слав. Ольгъ. Это имя восходит к ПСГ \*haiļ gaR, формально совпадающему с прилагательным \*haiļ gaR ‘посвященный богам, святой’. Имена др.-швед. Hælghe, др.-дат. Helghi, др.-сев. Helgi восходят к ПСГ “слабой” основе \*haiļgē» (Там же: 16, прим. 100). Причем С. Л. Николаев особо подчеркивает (и это крайне важно), что имена Олег и Ольга (а также Глеб, Рогволод, Рогнеда — упомянем их здесь тоже, хоть они фиксируются уже позднее интересующего нас отрезка времени) «были заимствованы славянами несомненно раньше X в., так как праславянское развитие \*\*ǣ > \*o, \*\*i > \*ь, \*\*ü > ь осуществилось не позднее VIII в.» (Там же: 16). То есть, можно говорить об их заимствовании «не позднее VIII в.»

К «русско-варяжскому диалекту» относится и имя Игорь. Его исходным было имя Iʀgor (Там же: 12, табл. 2), а вовсе не Ingvarr, как традиционно полагают.

Далее, имя Инегельд, также относящееся к РВД, не может быть возведено к Ingjaldr, поскольку «в “русско-варяжском” диалекте нет следов дифтонгизации в ПСГ последовательностях \*eRT > ialT, iarT; ioiT, ioiT, которая считается общескандинавской... Берн-овъ (Bern) < ПСГ \*bernuR — ср. др.-швед. Biorn, Björn, др.-дат. Biorn, др.-сев. Björn; Ингелдъ (\*Ingeld) < ПСГ \*in-geldaR — ср. др.-швед. Ingjæld, др.-дат. Ingjald, др.-сев. Ingjaldr и т. д.» (Там же: 24).

В связи с именами Карлы и Гуды (также демонстрирующими фонетику «русско-варяжского диалекта») здесь целесообразно привести еще один вывод, который будет иметь для нас значительный интерес в дальнейших рассуждениях: «В “русско-варяжском” диалекте не было палатализации зубных согласных, о чем свидетельствует передача [i] после них кириллическим ы: Бруны, Буды, Гуды, Карлы, Кары, Моны, Слуды, Туры» (Там же: 20).

Имена Аскольда и Дира, как и почти все прочие не упомянутые еще здесь имена первого хронопласта (т. е. Вельмуд/Верьмуд, Фарлоф, Руалд, Карн, Рюарь), также относятся к «русско-варяжскому» диалекту, за исключением Рюрика, Рулава, Фрелава, Стемида/Стемира и Лидульфа/Лидульфоста, а также Трувора и Синеуса (Там же: 30, табл. 5). Хотя С. Л. Николаев не исключает, что и Стемид является формой «одного из русско-варяжских говоров или другого не известного нам северогерманского языка с ранним совпадением рефлексов ПСГ \*ō и \*ū в [u:]» — поскольку «развитие ПСГ \*ō > [u:] > [ü] в скандинавских языках не представлено» (Там же: 32, прим. 128). И для имени Актеву, по его мнению, пока нет надежной этимологии, как и для имени Труан, которое, возможно, «образовано от вост.-слав. теонима Троянь» (Там же: 16). Впрочем, для Труана мы параллель (и параллель бесспорную) все же отыскиваем, но тоже не в Скандинавии. В руническом антропонимиконе фиксируется единичная параллель, которую сама Л. Петерсон определяет как кельтское имя: «Druian mn. Keltiskt namn. Nom. [t]ruian BrOlsen; 193b» (Peterson 2007: 57). То, что бесспорная параллель Труану отыскивается именно в кельтском антропонимиконе — факт примечательный, я бы даже сказал, знаковый. Но, надо заметить, что, по всей видимости, параллель имени Труан мы можем отыскать и в раннесредневековом континентально-германском именовании (каковы бы и были его истоки там). Чуть ниже мы коснемся этого вопроса.

Наконец, что касается Трувора и Синеуса, то С. Л. Николаев в их отношении тоже приходит к очень важному выводу, отрицая (и весьма убедительно отрицая) общепринятую на сегодня этимологию. Он пишет: «В отличие от прозрачного имени Рюрик, имена его легендарных братьев Синеуса и Трувора на самом деле не имеют достоверных скандинавских соответствий. Традиционное возведение имен Синеусъ и Труворъ к SignjūtR и ÞōrvarðR... наталкивается на... препятствие» (Николаев 2016: 39). «Скандинавское имя Signjūt(R) (< ПСГ \*sig(i)-niutaR) имело бы в ПВЛ вид \*Си(г)нуть, \*Си(г)нуть или \*Си(г)нить, но не \*Синеусъ. Примеры на субституцию скандинавского смычного t русским спирантом с отсутствуют. Скандинавское имя ÞōrvarðR (< ПСГ \*þunra-warðuR) имело бы вид \*Турвард. Субституция ПСГ \*\*þunra(a)- > \*þōr- русским тру- незасвидетельствована, ср. Турбънь < ПСГ \*þunra-þainaR, Турбернь < ПСГ \*þunra-þernuR, Турбридь < ПСГ \*þunra-friduR» (Там же: 39–40).

Вывод этот чрезвычайно важен, поскольку из него следует, что для имен Трувора и Синеуса скандинавской этимологии мы предложить не можем. Их «фразовая» интерпретация, давно и надежно отвергнутая в науке (упомяну здесь, прежде всего, выводы Е. А. Мельниковой), попытки возрождения (Николаев 2012)

не выдержала. Это признает и С. Л. Николаев, отмечая, что «фразовая» интерпретация этих имен «гадательна и не находит параллелей в скандинавской фразеологии» (Николаев 2016: 41).

Таким образом, если оставить пока в стороне Трувора и Синеуса, то всего пять (или даже четыре) имен первого хронопласта не относятся к «русско-варяжскому диалекту», т. е. диалекту, который достоверно и сильно отличается и от «древнешведского», и от «древнедатского», и от «древнесеверного». Применительно к трем из пяти (Рулаву, Фрелаву и Фарлофу) существенно, что для имени Рулав «фонетика... не соответствует ни одному из известных северогерманских языков», поскольку «характерны рефлексы гласных — в особенности \*ai > a» (Николаев 2012: 408); «\*ai > a (во 2-м члене композита)» (Николаев 2016: 32). Очевидно, что помимо Рулава, это же верно и для имени Фрелав (для которого также наблюдается «\*i > e» в первом компоненте — при исходном ПСГ \*frīðu-laibaR и «древнедатском» Frithlef, «древнесеверном» Fridleifr (Там же: 32)). Для имени Фарлоф С. Л. Николаев предполагает метатезу -л-, соответственно, возводя его к Фарульф. Но, замечает, «не исключено также, что это имя восходит к ПСГ \*fara-laibaR» (Николаев 2012: 407).

Не вступая здесь в дискуссию, отмечу все же, что мне второй вариант представляется перспективнее. Особенно в свете того, что в Лаврентьевской летописи мы имеем Фарло<sup>b</sup> (Николаев 2016: 15, прим. 92); Н. М. Карамзин в его «Истории» передал это имя как Фарлаф. Если это так, то в таком случае все три имени (Рулав, Фрелав и Фарлоф) образованы с общим вторым компонентом, и очевидно, что замечания по фонетическим особенностям (которые «не соответствует ни одному из известных северогерманских языков») верны для всех трех имен.

Остается, таким образом, всего два имени, но среди них такое важное, как Рюрик.

Здесь надо отметить, что в сравнении с более ранней работой, где С. Л. Николаев пытался вывести имя Рюрик из гипотетического восточношведского диалекта, в новой версии он меняет свою позицию. И весьма существенным образом: «Некоторые из них — с рефлексамися повышенных гласных — имеют предположительно вост.-др.-шведское или др.-гутнийское происхождение. Имя Рюрик относится к последней группе» (Там же: 30, прим. 115). И добавляет (выводя Рюрик из ПСГ \*hrōþ(i)-rīkaR, и рассматривая как результат умлаута ПСГ долгих гласных) чуть ниже: «с развитием oē > ŷкак в др.-гутнийском, ср. др.-гутн. dūta в сравнении с др.-швед. dōta, др.-исл. doeta < ПСГ \*dōmian» (Там же: 33, прим. 130). Действительно, в «древнешведском» и «древнедатском» ареалах имя имеет форму Rørik; в «древнесеверном» — Hroé rekr. И напомним здесь еще раз цитированный чуть выше вывод: «развитие ПСГ \*ō > [u:] > [ü] в скандинавских языках не представлено» (Там же: 32, прим. 128).

Для нас это изменение позиции действительно очень существенно, поскольку оказывается, что даже имя Рюрик мы не можем вывести ни из «древнешведского», ни из «древнедатского» ареалов (о «древнесеверном» говорить здесь и не приходится). Впрочем, и в отношении еще одного из оставшихся имен первого хронопласта — Лидульфа, где мы имеем «рефлекс ПСГ \*ai > ē > i» (т. е. имя выводится им из ПСГ \*laidā-wulfaR), С. Л. Николаев замечает: «Древнескандинавские диалекты с подобным развитием неизвестны» (Там же: 33, прим. 129).

Между тем, как раз в связи с именами Рюрик и Лидульф мы можем обратить более тщательное внимание на континентальных германцев раннего средневековья. Тем более что у нас есть и весьма существенные экстралингвистические основания

для обращения к раннесредневековому континентально-германскому ареалу (Романчук 2013а; 2013б; 2014; 2015; 2016), и даже к некоторым его конкретным зонам, в том числе Среднему Рейну, землям Рейнланд-Пфальц и Гессен (Романчук 2013б: 80, прим. 39; 100). Действительно, у континентальных германцев мы наблюдаем имя *Litulf*, вместе с *Liudolf*, *Liedulf*, *Liodulf*, а также весьма популярным *Ludolf* и пр. (Förstemann 1856: 877, 828). Исходным для них было имя *Chlodulf* (Förstemann 1856: 696). Также мы имеем имя *Ludwig* из франкского Хлодвиг/*Chlodowich* (Förstemann 1856: 694–695, 875, 857). Причем в VIII в. мы видим как формы *Luodewich* и подобные, так и формы типа *Hluduwig* (напр., в Лоршских анналах, под 793 г. (ALM: 119)).

Что касается Рюрика, то у континентальных германцев мы видим имя *Roric* (*Rorigo*, *Rorigus*, *Rorich* и пр.), которое дало немецкое имя *Röhrich/Röhric* (Förstemann 1856: 1060–1061). Однако, думаю, заслуживает внимания, что среди различных раннесредневековых форм этого имени у континентальных германцев Э. Ферстеманн приводит и форму *Rurich*. Отмечу также, что в связи с *Roric* он учитывает (со знаком вопроса) и форму *Rudrich* (Лоршский кодекс; Вормс, земля Рейнланд-Пфальц), которая далее дает форму *Rüdrich* (Förstemann 1856: 740). Исходная для *Rudrich* форма — *Hrodric*, промежуточная — *Ruoderich*.

Не следует в контексте этого вопроса упускать из виду лиможских епископов V–VI вв. по имени *Ruricus/Ruricius* (Mathisen 1999). А поскольку лиможские *Ruricus/Ruricius* представляют собой имена романизованных галльских аристократов — также и то, что в иерархии древнеирландских «царей» мы видим и титул «*ruiri < ro* (усилительный суффикс от \**pro*) + *ri*, выше которого стояли *ri ruirech*, букв. ‘царь больших царей’...» (Калыгин, Королев 2006: 35–36). Титул *ri* — из и. е. *rēġs* ‘царь, вождь’; «в германских языках произошло замещение лексемы *rēġs*... в готском *reiks* ‘царь’ заимствовано из кельтского» (Калыгин, Королев 2006: 36). Каковы именно взаимоотношения и «эволюционная история» всех этих форм имен — вопрос, который целесообразно оставить специалистам в германских языках для рассмотрения.

Помимо Рюрика, обращение к именослову континентальных германцев мне представляется необходимым и в связи с именем загадочного Синеуса. Если мы не хотим объяснять Синеуса на славянской почве, то ключевой является проблема объяснения компонента *-us* в этом имени. И, по всей видимости, единственно возможный здесь вариант объяснения — прибегнуть к интерпретации этого компонента как появившегося под латинским влиянием. Действительно, латинизация континентально-германских имен раннего средневековья — явление широко распространенное (ср. такие варианты имени Хлодвиг, как *Chlodowich* и *Clodovaeus*, *Chlodoveus*, *Chlodovicus*, *Chlodovius* и подобные (Förstemann 1856: 695)). И, надо думать, она не ограничивалась лишь письменной речью. Во всяком случае, именно под латинским влиянием в древневерхненемецком словообразовании даже возникает суффикс *-ari* (Филичева 1983а: 108). И, кстати, не только в древненемецком, но также, хоть и существенно позже, и в скандинавских языках (Вессен 1949: 46).

В этой связи отметим, что в полиптике Ирминона начала IX в. фиксируется такая латинизированная форма германского имени (Э. Ферстеманн дает пометку: «совр. нем. *Sinnig?*»), как *Sinigus* (Förstemann 1856: 1102). Возможно, дальнейший поиск в этом направлении позволит обнаружить и другие варианты этого (или другого удовлетворяющего требуемым условиям) имени.

Что касается интервокального *g* в *Sinigus*, то в средневерхненемецком «звонкое *g* в положении между гласными произносилось как *j*» (Филичева 1983а: 167),

а в ряде современных немецких диалектов (в частности, и брандербургском) «широко распространено выпадение интервокального *g*» (Филичева 1983б: 132–136). И надо здесь отдельно подчеркнуть, что применительно к континентально-германскому ареалу раннего средневековья весьма важно обстоятельство (которое мы должны постоянно держать в уме) заключается в его высоком диалектном разнообразии — при том что степень отражения этих диалектов в синхронных письменных источниках очевидно весьма неравномерна. То есть, вопрос здесь заключается в том, не была ли спирантизация (и тенденция к выпадению) интервокального *g* характерна уже для некоторых древнегерманских диалектов (в которых, соответственно, произношение имени *Sinigus* должно было принимать форму, как раз близкую к той, которая дала бы в древнерусском *Синеус*).

Впрочем, как бы ни обстояло дело с древнегерманскими диалектами, для нас здесь весьма существенно, что в древнефризском имело место чередование интервокального *g* с полугласным *w* (Жлуктенко, Двухжилов 1984: 41). Апелляция к данному по фризам здесь полностью оправдана в свете опять-таки серьезных экстралингвистических соображений, свидетельствующих о весьма значимой роли фризов в раннесредневековых контактах Юго-Запада Балтики и русского Северо-Запада (Романчук 2013а: 287, прим. 4, 285, 288; 2013б: 79–80, 98–99, прим. 50; 2015: гл. 3, прим. 8).

Наконец, что касается имени Трувор, если мы, несмотря на упорные поиски, не можем отыскать его истоки в Скандинавии, может быть, пора тоже пытаться найти их в другом месте? И в свете других фактов (что касается прежде всего имен Труан и Рюрик), возможно, стоит вспомнить о гипотезе А. Г. Кузьмина и обратиться к кельтскому антропонимикону? Во всяком случае, мы здесь видим, во-первых, кельтское племя треверов в районе современного Трира (земля Рейнланд-Пфальц, опять-таки). И у нас есть основания полагать, что еще в IV в. н. э. треверы сохраняли не только этническую идентичность, но и кельтский язык. Прочитав: «в IV веке н. э. галаты стали предметом весьма любопытных записок святого Иеронима, который, сообщает о том, что, помимо греческого, они говорили на собственном языке, родственном наречию треверов. Святой Иероним, путешествовавший по римской Галлии, несомненно, был знаком с треверами, жившими в районе Трира на реке Мозель» (Пауэлл 2009: 10).

Этноним треверы, видимо, следует сопоставлять с кельтским \*trēb ‘род, семья’: др.-брет. *trebou* ‘отряд, толпа’, ср.-брет. *treff* ‘urbs’, вал. *tref* ‘деревня’, др.-ирл. *treb* ‘дом, племя’ (Калыгин, Королев 2006: 36). Мы видим кельтское (зафиксировано у бретонцев и валлийцев) имя Тревор: «Святой Трехмор (в современном бретонском произношении Тревор или Тремер) читается в Бретани как мученик» (Чехонадская 2003: 394, прим. 58). Отметим, что все бриттские языки, включая бретонский и валлийский, «претерпели... переход ленированного *μ* в *ũ* (и далее в *v*)...» в период с VII по XI вв. (Калыгин, Королев 2006: 204).

Разумеется, остается вопрос о возможности превращения Тревор в Трувор (хотя, отметим, в более поздней Никоновской летописи имя дается как Тривор). И возможно, что это окажется ложный след. Но проверить его, на мой взгляд, тоже необходимо. При решении этого вопроса мы обязательно должны учитывать значительное количество возможных посредников (прежде всего — континентально-германских) на пути от кельтского имени к древнерусскому.

Помимо «кельтского варианта» объяснения имени Трувор я вижу еще один. Например, в том же древнефризском «в конце слова после звонких согласных *d*... может также опускаться» (Жлуктенко, Двухжилов 1984: 39). Соответственно,

континентально-германское имя Traward (Förstemann 1856: 345) с его вариантом Trabward (засвидетельствованы в Камбре (департамент Нор (фр. Nord), т. е. бассейн Шельды)) в древнефризской передаче имело бы и форму Trawar.

Здесь самое время снова вернуться и к имени Труан. В документах, характеризующих регион Среднего Рейна (особенно землю Гессен) в раннем средневековье, встречаются многочисленные варианты имени Truand: Truant, Truont, Druant, Droan, Troannus и пр. (Там же: 1198–1199).

Подведем некоторые итоги. Итак, среди имен первого хронопласта мы видим две группы: основную, «группу Олега и Игоря», отражающую «русско-варяжский» диалект и по определению не могущую быть выведенной ни «из шведов», ни «из данов», ни, тем более, из «норвежцев», и «группу Рюрика», которая тоже плохо видна в Скандинавии, зато демонстрирует отчетливые параллели в континентально-германском и даже кельтском антропонимиконе. В этой связи хочу напомнить, что, как я уже несколько раз отмечал, «мне представляется весьма перспективным и предложение А. Г. Кузьмина разделять Русь Рюрика с братьями и Русь Олега и Игоря, связывая последнюю с Роталией-Русией» (Романчук 2013а: 294; 2013б: 112; 2015: гл. 7).

Как видим, выводы С. Л. Николаева очень хорошо согласуются с гипотезой А. Г. Кузьмина. Но прежде чем поговорить об этом подробнее, посмотрим на имена второго хронопласта. Прежде всего отметим: в свете выводов С. Л. Николаева почти все имена второго хронопласта тоже можно отнести к РВД. Вместе с тем, при переходе ко второму хронопласту все же наблюдается ряд весьма существенных изменений.

Во-первых, для этого хронопласта мы уже видим 10 имен из топ-20 «древнешведского» антропонимикона. И хотя самые популярные «русско-варяжские» имена второго хронопласта в основном расположены в нижней части этого списка (как наиболее популярное Улеб — ему соответствует ÓlafR/-læifR, занимающий девятое место (Peterson 2007: 272, tab. 1), и отсутствуют некоторые имена, входящие в первую пятерку «древнешведского» топ-листа, все же количество этих параллелей слишком значительно, чтобы их можно было считать случайностью. Особенно если учесть полное отсутствие таких параллелей для первого хронопласта.

Во-вторых, во втором хронопласте к антропонимической модели на -ы, представленной в первом (Карлы, Гуды) и еще шире во втором (Слуды, Моны и пр.), добавляется и становится тоже весьма популярной модель на -і (Стегги, Фудри и пр.): 15 имен, или около 25 % всех имен второго хронопласта (в руническом антропонимиконе модель на -і составляет примерно те же 25 % (Там же: 289–290)). Видимо, она сравнительно более популярна в «древнедатском» ареале и на Эланде. Поэтому, хотя все эти имена второго хронопласта тоже демонстрируют фонетику РВД, мне представляется, что это весьма существенное изменение. И оно нуждается в объяснении.

Это объяснение может заключаться в том, что для части имен второго хронопласта (это касается имен на -і, а также некоторых имен, находящихся аналогии в верхней части «древнешведского» топ-листа) мы имеем дело с именами, «ассимилированными» русско-варяжским диалектом, трансформированными его носителями в соответствии с «русско-варяжской» фонетикой, но изначально не «русско-варяжскими». По всей видимости, речь должна идти о том, что в походе Игоря участвовали и группы скандинавов — выходцев как из «древнешведского», так и «древнедатского» ареалов. Упомяну, что Е. А. Мельникова и предла-

гала рассматривать имена послов в договоре Игоря именно как представляющих некую широкую коалицию, созданную специально для этого похода (Мельникова 2001: 328). Соответственно, здесь следует внести поправку в другой вывод А. Г. Кузьмина — о том, что скандинавы включаются в состав варягов и начинают сравнительно широко проникать на Русь со времен Владимира. И, следовательно, удревнить эту датировку до времен Игоря.

Остаются самые существенные вопросы — о локализации «родины» носителей «русско-варяжского» диалекта, или «руси Олега и Игоря», и о времени отделения этого диалекта от северогерманского ствола. Сразу замечу, что высказанное С. Л. Николаевым предположение о локализации РВД на юге Восточной Европы представляется невозможным. Его никак не получится примирить с данными археологии. Напротив, гипотеза А. Г. Кузьмина о локализации «руси Олега и Игоря» в Роталии, т. е. западной материковой части современной Эстонии (Läänemaa, Западная земля) и на Сааремаа, на первый взгляд хорошо согласуется и с данными археологии (Казанский 2010: 66–69), и с хронологическими расчетами С. Л. Николаева. Именно с началом раннего средневековья этот регион, ранее слабо заселенный, переживает расцвет и демонстрирует резкий демографический рост. «В районе Киримяэ-Лихула закрепляется какая-то милитаризованная группа, с отчетливыми следами скандинавских и балтских импульсов в материальной культуре, которая и контролирует пролив» (Там же: 69).

Насколько С. Л. Николаев прав в своей датировке отделения РВД от северогерманского ствола? Думаю, мы здесь должны соотнести соображения и лингвистов, и археологов, и лишь на основе синтеза представлений двух дисциплин принимать решение.

Итак, мы имеем ряд общескандинавских инноваций, не проявившихся в РВД (Николаев 2016: 23–24). Важнейшие из них в данном случае: «отсутствие следов *i*-умлаута на долгих и *u*-умлаута на любых гласных», а также «следов дифтонгизации в ПСГ последовательностях \*eRT > ialT, iarT; ioIT, iorT» (см. также: Стеблин-Каменский 1953: 111–119). Соответственно, у нас два основных пути объяснения распространения этих инноваций. Первый: они распространились в праскандинавском до распада праскандинавской общности в историко-археологическом смысле, т. е. до расселения отдельных скандинавских «племен» на чрезмерно широком ареале (что естественным образом сузило интенсивность контактов между ними и препятствовало распространению общих инноваций). Второй: эти инновации распространялись в общескандинавском ареале уже после его значительного расширения, т. е. интенсивность контактов между отдельными скандинавскими «племенами» все же была достаточна для такого процесса.

Очевидно, что вторая модель наталкивается на противоречие: если мы пытаемся локализовать РВД на территории Эстонии или еще где-либо поближе к Скандинавии, то почему на фоне резко возросших контактов со Скандинавией в раннем средневековье эти инновации в нем совсем не проявились? Первая же модель требует учитывать археологические датировки таких миграционных процессов, как (в первую очередь) переселение данов в Ютландию, а также освоение скандинавами Готланда и других крупных островов балтийской акватории (Зеландии, Борнхольма и Эланда). Поскольку переселение данов в Ютландию мы можем отнести к V–VI в. н. э., то и датировку вышеуказанных общескандинавских фонетических инноваций (а соответственно, и отделение РВД) следует отнести к более раннему времени.



Тут надо заметить, что С. Л. Николаев в своих хронологических выкладках исходит из того, что «в III в. разделились западногерманский и северогерманский праязыки» (Николаев 2016: 26, прим. 114). Между тем правильнее было бы, как мне кажется, исходить из общепринятой схемы: «после вычленения из северогерманской группы восточногерманских языков произошло конституирование скандинавского ареала, для которого характерны... перегласовки и преломления (т. е., умлаут и вышеуказанная дифтонгизация в ПСГ последовательностях \*eRT > ialT, iarT; ioIT, iorT. — А. Р.)» (Топорова 2000: 20). И затем, уже «к периоду, последовавшему за обособлением восточногерманской группы, относится ряд общих инноваций западногерманских и скандинавских языков в их древнем состоянии... умлаут (др.-исл. *heyrá* 'слушать', др.-англ. *hieran*, *hyran*, др.-фриз. *Héra* — гот. *hausjan*)» (Там же). Помимо того, такие ключевые прасеверогерманские инновации, как отпадение начального *j* и сонанта *w* перед губными гласными (Стеблин-Каменский 1953: 100), вовсе нет необходимости относить ко времени после прекращения интенсивных контактов западногерманских и скандинавских языков в их древнем состоянии. Эти инновации могли возникнуть и синхронно этим контактам.

Здесь надо отметить еще такой важный момент: используя для датировки фонетических процессов в скандинавских языках данные рунических надписей, мы не должны забывать, во-первых, о том, что «носитель рунической письменности... вероятно, усваивал руническое письмо не как фонетическую транскрипцию, а как трафаретные формулы, вместе с их орфографией» (Там же: 26), а во-вторых, о прослеживаемом мощнейшем западногерманском влиянии в старших рунических надписях (Макаев 2002: 69, 72).

Таким образом, отделение РВД от прасеверногерманского ствола правдоподобнее, на мой взгляд, относить ко времени после переселения готов на материк и до переселения данов в Ютландию.

Но как тогда быть с идеей размещения «родины» РВД на территории Эстонии?

Здесь надо вспомнить, что интенсивные связи региона Эстония-Видземе со Скандинавией прослеживаются еще в римское и доримское время (Казанский 2010: 58), и что наиболее правдоподобная из возможных этимология этнонима «чудь» — германская (Фасмер 1987: 378; Казанский 2010: 30; см. также: Калыгин, Королев 2006: 36). Что, очевидно, подразумевает значительное участие в этногенезе чуди и какого-то раннего и значительного германского компонента. Следовательно, мы могли бы с большим основанием предположить, что отделение носителей РВД от ПСГ и их появление в регионе Эстония-Видземе следует отнести еще к римскому времени. А их размещение с началом раннего средневековья в Лянемаа и Сааремаа — это уже результат местных, локальных миграционных процессов.

Вот те основные соображения, которые возникают у меня в связи с проблемой генезиса варяжского антропонимикона ПВЛ. Надеюсь, они будут полезны в дальнейшем прояснении и уточнении этого вопроса.

**Благодарности.** Я очень признателен редакторам сборника за приглашение принять в нем участие. Но еще больше я благодарен Л. С. Клейну — как за его неустанное и весьма плодотворное участие в дискуссии по русско-варяжскому вопросу, так и за те очень добрые слова в адрес моих работ, которые он неизменно находит, даже не соглашаясь с теми или иными их выводами.

## Литература

- Бибииков М. В. 2005. Русь в византийской дипломатии: договоры Руси с греками // Древняя Русь. Вопросы медиевистики 1(19): 5–15.
- Весен Э. 1949. Скандинавские языки. М.: Изд-во иностранной литературы.
- Жлуктенко Ю. А., Двухжилов А. В. 1984. Фризский язык. Киев: Наукова думка.
- Казанский М. М. 2010. Скандинавская меховая торговля и «Восточный путь» в эпоху переселения народов. // SP 4, 17–127.
- Калыгин В. П., Королев А. А. 2006. Введение в кельтскую филологию. М.: КомКнига.
- Кошкин И. 2006. Проблема относительной хронологии германизмов в языке древнерусских договорных грамот северо-западного ареала. // Slavica Helsingiensia 27, 210–221.
- Макаев Э. А. 2002. Язык древнейших рунических надписей (лингвистический и историко-филологический анализ). М.: УРСС.
- Мельникова Е. А. 2001. Скандинавские рунические надписи. Новые находки и интерпретации. М.: Восточная литература.
- Николаев С. Л. 2012. Семь ответов на варяжский вопрос // Повесть временных лет / пер. с древнерус. Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. СПб.: Вита Нова, 398–430.
- Николаев С. Л. 2016. К этимологии и сравнительно-исторической фонетике имен северогерманского (скандинавского) происхождения в Повести временных лет. <https://www.academia.edu/29810727/>. Дата обращения: 07.01.2017.
- Пауэлл Т. 2009. Кельты. Воины и маги. М.: Центрполиграф.
- Романчук А. А. 2013а. Варяго-русский вопрос в современной дискуссии: взгляд со стороны // SP 5, 283–299.
- Романчук А. А. 2013б. Варяго-русский вопрос в современной дискуссии: взгляд со стороны // Вестник КИГИТ 36 (6), 73–131.
- Романчук А. А. 2014. Спор о древненовгородском диалекте в контексте варяго-русской дискуссии // SP 5, 345–356.
- Романчук А. А. 2015. Норманизм vs анти-норманизм: как дойти до продуктивной дискуссии? // [http://генофонд.рф/?page\\_id=4842](http://генофонд.рф/?page_id=4842). Дата обращения: 07.01.2017.
- Романчук А. А. 2016. Варяги и варязи: к вопросу об этимологии и времени возникновения этнонима варяг // Восточно-Европейский научный вестник 2, 65–72.
- Стеблин-Каменский М. И. 1953. История скандинавских языков. М.; Л.: АН СССР.
- Тарасов В. В. 2010. «Росские» названия днепровских порогов и топонимика Юго-Восточной Балтии // Вестник РГУ им. И. Канта 12, 58–63.
- Топорова Т. В. 2000. Германские языки // Ярцева Н. В. (ред.). Языки мира: германские языки. кельтские языки. М.: Academia, 13–42.
- Филичева Н. И. 1983а. История немецкого языка. М.: Академия.
- Филичева Н. И. 1983б. Диалектология современного немецкого языка. М.: Высшая школа.
- Циммерлинг А. В. 2012. Имена варяжских послов в «Повести временных лет» // V круглый стол «Древняя Русь и германский мир в филологической и исторической перспективе». Москва, Институт славяноведения РАН и НИУ ВШЭ, 13–14 июня 2012. <https://www.academia.edu/12953687/>; [http://video.polit.ru/120613\\_Zimmerling.html](http://video.polit.ru/120613_Zimmerling.html).
- Чехонадская Н. Ю. 2003. Гильда в средневековой традиции Бретани, Уэльса, Ирландии и Англии // Филиппов И. С., Федоров С. Е. (ред.). Гильда Премудрый. О гибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды. СПб.: Алетейя, 366–439. ALM: Annales Laurissenses Minores. // Monumenta Germaniae Historica 1, 112–125.
- Förstemann E. 1856. Altdeutsches Namenbuch. Erster Band: Personennamen, 1. München.
- Mathisen R. W. 1999. Ruricius of Limoges and Friends. A Collection of Letters from Visigothic Gaul. Liverpool: University Press.
- Peterson L. 2007. Nordiskt runnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

## О западнославянской версии происхождения словен новгородских, скандинавской проблеме и древнеевропейском субстрате (данные антропологии)

**Резюме.** В дискуссии о происхождении и формировании населения Русского Северо-Запада и Севера обнаруживаются новые тенденции. Согласно новому подходу, представленному в работах антропологов и генетиков, значительная часть населения Европы восходит к одному и тому же палеоевропейскому народу-предку. Исследования, основанные на различных системах признаков, показывают наличие у средневекового и современного населения Северо-Запада и Севера древнего европеоидного компонента, общего с группами балтов, скандинавов, частью славян и финнов. Также здесь отмечается наличие умеренной восточной (уральской) примеси, фиксируемой уже в древнее время, почти незаметной в начале II тыс. н. э. и возрастающей в эпоху позднего средневековья и нового времени. Данные антропологических исследований пока не могут быть основанием для подтверждения гипотезы происхождения средневековых новгородцев от балтийских славян. Новгородское население XI–XIII вв. обладает теми же чертами, что и ряд других древнерусских групп, в отношении которых южнобалтийская версия происхождения не рассматривается. Попытка объяснить своеобразие немногочисленных новгородских групп «скандинавского» облика исключительно проявлением особенностей реликтового европейского типа встречает серьезные возражения. Данные краниологии доказывают существование специфических особенностей, сближающих древнерусских носителей этого краниологического варианта именно с населением Скандинавии. В то же время заметного влияния скандинавского антропологического типа

**S. L. Sankina. The presumed origin of Novgorod Slavs from West Slavs, the Norse problem, and the European Ur-*volk* in the light of physical anthropology.** The discussion about the origins of medieval Slavs in the northwestern and northern parts of what now is European Russia has recently received a new impetus. Some physical anthropologists and geneticists claim that many populations of northern Europe speaking unrelated languages have originated from the same ancestral group. Indeed, studies based on various trait systems have revealed an ancient European ancestry in various Baltic, Scandinavian, and, partially, Slavic and Fennic speaking groups. In addition, an early presence of a moderate eastern (Uralic) admixture is observed. This admixture is barely seen in the beginning of the 2nd mil. AD, but reappears during the late Middle Ages and the Early Modern period. Physical anthropology lends no support to the idea that the medieval *Slovene* of Novgorod originated from West Slavs. The cranial trait combination allegedly specific to both these groups has a broader distribution. The Novgorod Slavs of the XI–XIII centuries AD share cranial features with other Old Russian groups, including those which no one considers descendants of Baltic Slavs. The hypothesis that certain Novgorodian groups showing a “Norse” cranial morphology should be regarded as relics of an old European “Ur-*volk*” is incompatible with new findings. Craniological evidence links these groups specifically to the Norse. The vast majority of medieval groups of northwestern or northern Russia reveal no traces of this trait combination.

**Keywords:** physical anthropology, craniometry, ethnic history, Slavs, Balts, Fenno-Ugrians.

на средневековое население Северо-Запада и Севера не наблюдается.

**Ключевые слова:** антропология, этническая история, славяне, балты, финно-угры.

## Введение

Материальная культура, язык, антропология и происхождение средневекового населения Русского Северо-Запада вот уже много десятилетий являются объектами пристального изучения специалистов — археологов и лингвистов, антропологов и генетиков. Тем не менее, по ряду ключевых проблем единого мнения нет до сих пор. Одной из таких проблем является происхождение средневекового населения Северо-Запада, его исторические и генетические корни.

В частности, открытым остается вопрос о генезисе своеобразных антропологических черт средневекового населения Новгородской земли. Являются они результатом некоего субстратного воздействия или вызваны родством этой группы с западными (балтийскими) славянами? С этим, в свою очередь, тесно связана и так называемая «норманнская проблема». В антропологическом аспекте ее можно сформулировать так: прослеживается ли влияние скандинавов на антропологический облик средневековых обитателей Северной Руси и если прослеживается, то в какой мере?

В настоящее время острые дискуссии о происхождении словен новгородских и северных русских продолжаются. Ведутся они как на страницах публикаций, так и в сети интернет. По ходу спора в науку вводятся новые результаты антропологических и генетических исследований, предлагаются новые, подчас неожиданные, идеи и точки зрения. Отмечу то, в чем сходятся мнения большинства исследователей: полученные данные свидетельствуют о чрезвычайной древности истоков населения Новгородской земли и сопредельных географических областей, а также о большем или меньшем присутствии в разные эпохи отчетливых следов восточного (уральского) населения. Напомню, что в антропологии долгое время господствовала точка зрения, что славяне появились здесь сравнительно недавно, и их особенности сформировались в более южной зоне, на другой антропологической основе, чем летто-литовские и финские группы населения (Алексеев 1969: 77).

Моя собственная позиция по вопросу происхождения словен новгородских уже неоднократно излагалась в литературе — в кандидатской диссертации, в статьях и монографиях (Санкина 1995; 2000; 2004; 2008; 2009; 2010; 2012). Кратко мой взгляд на проблему можно изложить так: в особенностях краниологии славянского населения XI–XIII вв. с территории Русского Северо-Запада и Севера в целом не улавливается ни следов происхождения от балтийских славян, ни заметного влияния скандинавских переселенцев. Зато отчетливо выявляются черты древнего европейского субстрата, общего с рядом как древнерусских, так и других этнических групп Восточной, Северной и Центральной Европы.

Результаты моей работы позволили мне сделать следующие заключения.

1. Средневековое (XI–XVI вв.) население Новгородской земли антропологически делится на две хронологические группы, разграничиваемые рубежом XIII–XIV вв. Возникшая временная трансгрессия объясняется невозможностью достоверно разделить костные материалы XIII и XIV вв. в поздних могильниках.

Группы населения XI–XIII вв. достаточно однородны по составу. В целом они характеризуются большими размерами черепной коробки, сочетанием долихо- и мезокрании, широкими орбитами, сильно выступающим носом при относительно невысоком переносье. Подобный краниологический вариант характерен также для балтских серий I — нач. II тыс. н. э. Группы XIII–XVI вв. менее однородны и характеризуются укорочением черепной коробки, уменьшением высоты черепа и лица в комплексе с ослабленной горизонтальной профилировкой. Данному варианту находят аналогии в местных финно-угорских группах XIII–XV вв.

Объяснением всего этого может служить совокупное действие процессов смешения (в результате как метисации, так и перехода местного финского населения к древнерусскому погребальному обряду) и эпохальной изменчивости. Оба эти процесса шли наиболее интенсивно на рубеже XIII–XIV вв.

Комплекс взаимосвязанных признаков, обнаруженный в поздних группах, указывает на преемственность раннего и позднего населения. Говоря о сходстве поздних новгородцев с финнами, нужно учитывать: большая часть их либо впитала в себя финский субстрат, либо представляет собой потомков местного финского населения, принявших славянскую культуру. В основном это те древнерусские группы, в материальной культуре которых сохраняются следы прибалтийско-финских традиций.

2. Если финское влияние, проявившееся в поздних группах, исторически обусловлено и не вызывает сомнения, то несколько иначе обстоит дело с ранними (древнерусскими) сериями черепов, обнаружившими тяготение к балтским. Столь масштабное балтское присутствие на территории Новгородской земли отмечено прежде всего для дославянского времени (эпоха раннего железа), чему имеются археологические и топонимические свидетельства. Возможно, древнерусское население унаследовало целый ряд антропологических черт от проживавших здесь ранее балтов. Однако прослеживаемое значительное сходство между собой части славян, балтов и финнов может свидетельствовать и о едином древнеевропейском субстрате, когда-то имевшем здесь широкое распространение.

Из-за господства на рассматриваемых территориях в I тыс. н. э. обряда сожжения (а также погребальных ритуалов, трудно уловимых археологически) целые обширные пласты населения неизбежно выпадают из поля зрения антропологов. Однако, как показало обращение к значительно более древним материалам лесной полосы Восточной Европы — периодам каменного и бронзового века, — серии черепов того времени обнаруживают очень похожий смешанный характер и те же краниологические варианты, что и в рассматриваемых разными исследователями сериях черепов II тыс. н. э. В них представлены как выражено европеоидный, так и уральский (лапоноидный) комплексы признаков. Это говорит о том, что обнаруженные в составе новгородского населения краниологические комплексы вполне могут иметь очень древнее происхождение. Встреча двух волн разного по происхождению населения и совместное проживание их на одной территории на протяжении целых эпох, тем не менее, не приводили к полному поглощению одного комплекса другим. В области языка и культуры ситуация могла отличаться: их распространение возможно и в антропологически неоднородной среде. Например, население финно-угорской языковой группы рассматриваемой территории было представлено в эпоху позднего средневековья как европеоидным, так и уральским (лапоноидным) компонентами, которые были характерны для севера Восточной Европы и в глубокой древности.

3. Разумеется, нельзя исключать и позднего участия иноэтничных элементов в сложении облика средневековых новгородцев. Например, не случайно ближайшие аналогии группе XII в. из Пскова обнаруживаются среди населения юго-востока Эстонии — территории, сопредельной с Псковской землей. Обращает на себя внимание и сходство населения XIV–XV вв. из Висок, близ Изборска, и пограничной Латвии. Об этом говорит и сохранение в изолированных популяциях псковских поозеров генетических особенностей балтского типа, который может быть связан с балтским племенем ятвягов эпохи средневековья (Беневоленская, Давыдова 1986: 3–52). Все это отражает реально существовавшие связи населения пограничных областей.

4. Установление возможного антропологического родства словен новгородских и балтийских славян по материалам начала II тыс. н. э. крайне затруднительно. Именно в это время антропологический тип новгородцев демонстрирует, как уже говорилось выше, выраженные балтские особенности, а балтийские славяне, в свою очередь — признаки германского комплекса, обусловленные соседством с германцами и/или германским субстратом на территориях, занятых славянами в третьей четверти I тыс. н. э. на южном побережье Балтики. Особенности германского комплекса проявляются также у отдельных немногочисленных групп средневекового населения Новгородской земли. Предполагается, что они связаны с населением Скандинавии.

## Обсуждение

Давно прошло время, когда ограниченный тираж публикаций мог послужить препятствием к ознакомлению с ними. Сейчас мои работы, по большей части, доступны в интернете. Каждый желающий может прочесть их и сделать выводы. К сожалению, коллеги-антропологи, защищающие в последние годы идею западнославянского происхождения словен новгородских (Бужилова 2005: 170; Балановская и др. 2011: 52) при ссылках на них допускают досадные неточности. Эти неточности потом переходят в публикации неспециалистов, которые не могут самостоятельно оценить достоверность выводов, сделанных по антропологическим данным (Молчанова 2007: 42–44, Романчук 2013: 289; и др.). В результате смысловые искажения нарастают, как снежный ком. Сейчас я хотела бы заново обсудить различные версии происхождения средневекового населения Русского Северо-Запада и Севера, а заодно скорректировать неточности, допущенные при ссылках на мои выводы.

Одним из наиболее заслуживающих внимания результатов моих исследований, по мнению оппонентов, является то, что мне удалось обосновать хронологическую приуроченность антропологических комплексов средневековых новгородцев и, таким образом, зафиксировать смену антропологического состава населения Новгородской земли на рубеже XIII–XIV вв. Однако сама я ничуть не менее важным считаю вывод о том, что население Русского Северо-Запада и Севера XI–XIII вв. по выделенному комплексу признаков в антропологическом отношении являлось частью более широкого пласта населения, включающего как более ранние, так и синхронные новгородцам группы, проживавшие в западных областях Древней Руси (включая бассейн Припяти и Подвинье), а также в Прибалтике и Центральной Европе.

Иными словами, население Новгородчины древнерусского времени принадлежало к тому же антропологическому типу, что и ряд других древнерусских

групп, для которых происхождение от балтийских славян не рассматривается вообще, как исторически маловероятное.

Позволю себе привести обширную цитату из моей монографии: «В XI–XIII вв. население, обитавшее на западной границе Восточной Европы, включая группы латгалов, селов, эстов и восточных славян западных областей Новгородской земли, современных Белоруссии, Украины и Молдавии, характеризовались относительной однородностью антропологического типа. Это население в целом характеризуется большими размерами черепной коробки, долихо- и мезокранией, высоким носом и широкими орбитами, большим углом выступления носа при, как правило, относительно невысоком переносье. Теми же антропологическими особенностями отличались балтские серии I тысячелетия н. э. и часть групп латышей и литовцев XIII–XVIII вв. Существование подобной общности может объясняться участием в генезисе балтов, славян и ранних обитателей Эстонии единого субстрата — носителей культуры боевых топоров, обладавших выраженными европеоидными чертами...» (Санкина 2000: 97–98) (рис. 1–2).

Обозначенный мною для древнерусской эпохи ареал целиком вписывается в область распространения генетических особенностей, общих для современного населения северной части Европы, описанную коллективом авторов во главе с Е. В. Балановской: «В целом, область регулярно встречаемых высоких частот CCR5del32, выделенная на карте овалом (рис. 6), указывает на общность генофонда населения северной части Европы» (Балановская и др. 2011: 41–42).

Можно предположить, что древний генетический фон, проявившийся в данном исследовании, связан с ареалом распространения культур шнуровой керамики и боевых топоров, который охватывает большую часть континентальной Европы, за исключением стран средиземноморского и западного атлантического региона, а также севера Скандинавии.

Признавая мое право иметь иную точку зрения на происхождение и формирование новгородских славян, мои оппоненты высказывают ряд замечаний, ставящих под сомнение корректность ее обоснования. Суть замечаний сводится к следующему:

— в своих работах я преувеличиваю роль смешения новгородских славян с финнами (Бужилова 2005: 170);

— практикую выборочный подход к составу анализируемых групп, не учитывая, в частности, более раннее (до X в.) население (Молчанова 2007: 43–44, Романчук 2013: полная версия);

— допускаю смешение понятий «германского» антропологического варианта со «скандинавским» (Балановская и др. 2011: 52–53; Романчук 2013: 289).

Рассмотрим теперь, насколько корректны и обоснованы сами эти замечания.

О якобы преувеличенной мной роли метисации новгородских славян и финно-угров первой высказалась А. П. Бужилова, посвятив этой теме несколько абзацев своей книги «Homo Sapiens. История болезни»: «Выводы, полученные С. Л. Санкиной, могут указывать на активное вовлечение финно-угорского субстрата при формировании населения северо-запада в XIII–XV вв. по сравнению с более ранними эпохами. Однако, на наш взгляд, следует учитывать и последствия процесса христианизации финно-угорского населения... можно допустить, что полученные С. Л. Санкиной данные по краниологическому своеобразию жителей северо-запада в XIII–XV вв., отражают степень вовлечения в новую культуру местного населения, а не процесс метисации пришлого и местного субстратов. Иначе говоря автором были обследованы носители, возможно,

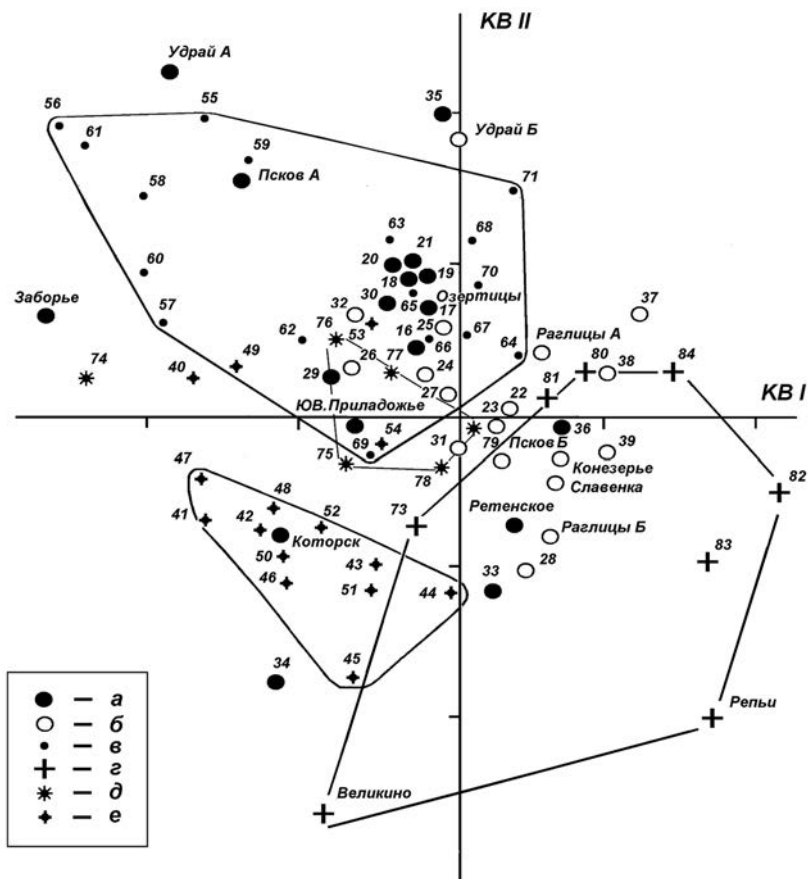


Рис. 1. Положение 84 мужских групп I и II тыс. н. э. на плоскости, образованной 1-м и 2-м KB канонического анализа по 12 краниометрическим признакам: а — ранние новгородские группы; б — поздние новгородские группы; в — балты I и II тыс. н. э., латыши и литовцы; г — финны (кроме эстонцев); д — группы Эстонии; е — группы Древнерусского государства (кроме новгородских); 1 — Псков А; 2 — Псков Б; 3 — Которск; 4 — Удрай А; 5 — Удрай Б; 6 — Раглицы А; 7 — Раглицы Б; 8 — Конезерье; 9 — Славенка; 10 — Ретенское; 11 — Репьи; 12 — Озертицы; 13 — Великино; 14 — Юго-Восточное Приладожье; 15 — Заборье; 16 — Хрепле; 17 — Беседа; 18 — Калитино; 19 — Артюшкино; 20 — Борницы; 21 — Холоповицы; 22 — Ожогино; 23 — Рутилицы; 24 — Волосово; 25 — Волгово; 26 — Плещевицы; 27 — Глядино; 28 — Жабино; 29 — Бегуницы; 30 — Лашковицы; 31 — Гатчина; 32 — Виски; 33 — б. Гдовский и Лужский у.; 34 — Вологодская обл.; 35 — Ольгин Крест; 36 — Сланцевский р-н; 37 — б. Псковско-Новгородская губ.; 38 — Старая Ладога; 39 — б. Олонецкая губ.; 40 — кривичи полоцкие; 41 — кривичи смоленские; 42 — кривичи тверские; 43 — кривичи ярославские; 44 — кривичи костромские; 45 — кривичи владими́ро-рязанско-нижегородские; 46 — вятичи; 47 — северяне; 48 — радимичи; 49 — дреговичи; 50 — поляне переяславские; 51 — поляне киевские; 52 — поляне черниговские; 53 — Василев; 54 — Бранешты; 55 — западные аукштайты I тыс. н. э.; 56 — восточные аукштайты I тыс. н. э.; 57 — жемайты I тыс. н. э.; 58 — латгалы 1; 59 — латгалы 2; 60 — литовские земгалы и селы; 61 — земгалы; 62 — селы; 63 — ят-вяги; 64 — аукштайты белорусского пограничья II тыс. н. э.; 65 — южные аукштайты II тыс. н. э.; 66 — восточные аукштайты II тыс. н. э.; 67 — западные аукштайты II тыс. н. э.; 68 — жемайты II тыс. н. э.; 69 — латыши Упланты; 70 — латыши Селспилса; 71 — латыши Тервете; 72 — латыши Яункандавы; 73 — ливы; 74 — эсты; 75 — Йыуга; 76 — эстонцы Отепя; 77 — эстонцы Варболы; 78 — эстонцы Кабины; 79 — эстонцы Кохтла-Ярве; 80 — карелы; 81 — финны-суоми; 82 — саамы (Финляндия); 83 — саамы (Кольский п-ов); 84 — коми-зыряне



Fig. 1. Results of multiple discriminant analysis: Position of 84 male groups of the 1st and 2nd millennia on the first two canonical vectors CV 1 and CV 2: а — early Novgorodians; б — late Novgorodians; в — 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> millennia AD Balts and recent Letts and Lithuanians; г — Finnic groups (except Estonians); д — Estonians; е — tribes of Old Russia (except Novgorodians); 1 — PskovA; 2 — PskovB; 3 — Kotorok; 4 — UdrayA; 5 — UdrayB; 6 — Raglitsy A; 7 — Raglitsy B; 8 — Konezerye; 9 — Slavenka; 10 — Retenskoye; 11 — Repyi; 12 — Ozertitsy; 13 — Velikino; 14 — southeastern Ladoga; 15 — Zaborye; 16 — Khreple; 17 — Beseda; 18 — Kalitino; 19 — Artyushkino; 20 — Bornitsy; 21 — Kholopovitsy; 22 — Ozhogino; 23 — Rutilitsy; 24 — Volosovo; 25 — Volgovo; 26 — Pleshchevitsy; 27 — Glyadino; 28 — Zhabino; 29 — Begunitsy; 30 — Lashkovitsy; 31 — Gatchina; 32 — Viski; 33 — former Gdov and Luga districts; 34 — Vologda oblast; 35 — Olgin Krest; 36 — Slantsy Region; 37 — former Pskov–Novgorod Province; 38 — Old Ladoga; 39 — former Olonets Province; 40–45 — Krivichi: 40 — Polotsk, 41 — Smolensk, 42 — Tver, 43 — Yaroslavl, 44 — Kostroma, 45 — Vladimir, Ryazan, and Nizhni Novgorod; 46 — Vyatichi; 47 — Severyane; 48 — Radimichi; 49 — Dregovichy; 50–52 — Polyane: 50 — Pereyasavl, 51 — Kiev, 52 — Chernigov; 53 — Vasilev; 54 — Branesti; 55 — Western Aukshtaits (1st millennium); 56 — Eastern Aukshtaits (1st millennium); 57 — Zhemaitis (1st millennium); 58 — Latgals 1; 59 — Latgals 2; 60 — Zemgals and Selonians of Lithuania; 61 — Zemgals; 62 — Selonians; 63 — Yatviags; 64–67 — Aukshtaits (2nd millennium): 64 — Belorussian frontier, 65 — southern, 66 — eastern, 67 — western; 68 — Zhemaitis (2nd millennium); 69–72 — Letts: 69 — Uplanty, 70 — Selpils, 71 — Tervete, 72 — Jaunkandava; 73 — Livonians; 74 — medieval Estonians; 75 — Jouga; 76–79 — recent Estonians: 76 — Otepa, 77 — Varbola, 78 — Kabina, 79 — Kohtla-Jarve; 80 — Karels; 81 — Suomi Finns; 82 — Sami (Finland); 83 — Sami (Kola Peninsula); 84 — Komi Zyrians

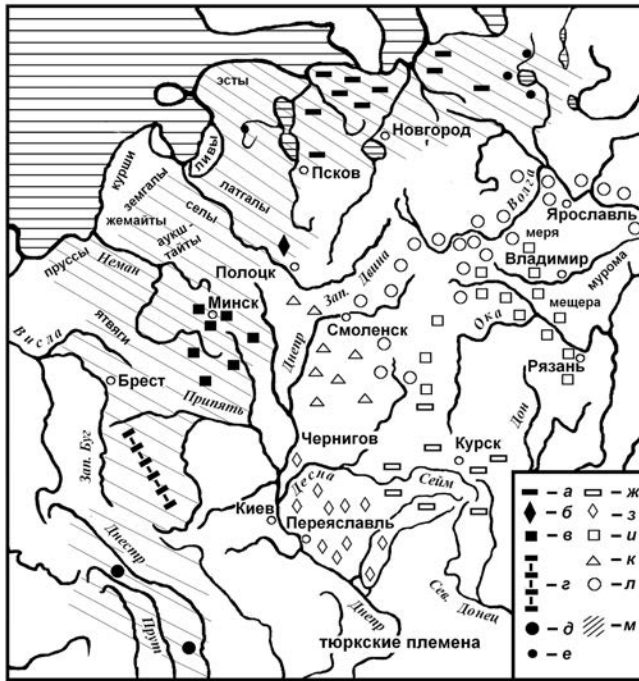


Рис. 2. Население Восточной Европы в X–XIII вв. Данные краниометрии: а — словене новгородские; б — кривичи полоцкие; в — дреговичи; г — область расселения древлян; д — население Прутско-Днестровского междуречья; е — группы Русского севера; ж — северяне; з — поляне; и — вятичи; к — радимичи; л — кривичи Волго-Окского междуречья и смоленские; м — область распространения антропологических вариантов, характеризующихся крупными размерами черепной коробки, высоким сильно выступающим носом и широкой орбитой

Fig. 2. Eastern European groups of the X–XIII centuries: а — Novgorod Slavs; б — Polotsk Krivichi; в — Dregovichy; г — Drevlyane; д — groups of the Prut–Dniester interfluve; е — groups of northern Russia; ж — Severyane; з — Polyane; и — Vyatichi; к — Radimichi; л — Krivichi (the Volga–Oka interfluve and Smolensk); м — distribution area of a trait combination which includes a large braincase, high and sharply protruding nose, and wide orbit

древнерусской культуры с физическим типом, характерным для автохтонного финно-угорского населения. Так, по мнению Н. Н. Гончаровой (1995), интенсивность процесса метисации в новгородских группах преувеличивается, поскольку новгородские славяне обладают четко выраженными специфическими чертами, сходными с балтийскими славянами» (Бужилова 2005: 170).

В сущности, А. П. Бужилова тут не столько спорит со мной, сколько излагает мой собственный взгляд на проблему. Ведь и в автореферате кандидатской диссертации, на который она ссылается, и в монографии 2000 г. я рассматриваю проявление «финских» черт у позднего населения Новгородской земли именно как совокупный эффект процессов смешения и перехода местного населения к древнерусскому погребальному обряду, в результате массового распространения христианства (Санкина 1995: 17; 2000: 78, 98).

Вопреки тому, что мне пытаются приписать оппоненты, я отнюдь не рассматриваю метисацию славянского и финского населения Новгородской земли как главный формирующий процесс. Да и сам термин «метисация» редко употребляется в моих работах. «Смешение» и «метисация» — понятия несколько различающиеся, в частности, тем, что смешение может быть и механическим. Тем не менее, в определенном объеме метисация, несомненно, происходила. В пользу этого свидетельствуют повышенная внутригрупповая изменчивость некоторых комплексов признаков целого ряда поздних (XIII–XVI вв.) сельских групп Новгородчины и городского населения Пскова того же времени, а также наличие в их составе не только европеоидных и «лапоноидных» черепов, но и «промежуточных» вариантов.

В пользу метисации свидетельствуют и данные генетики. Так, О. П. Балановский объясняет высокую частоту финно-угорской гаплогруппы N1c у северных русских ассимиляцией дославянского населения (Балановский 2015: 95; рис. 2.22).

Следует уточнить: говоря о процессе смешения в поздних новгородских группах, я имею в виду прежде всего концентрацию восточных особенностей в так называемом лапоноидном (уральском) краниологическом варианте, характерном для серий черепов местного финно-угорского населения XII–XV вв., весьма условно называемого «водью» и «чудью». Это население обнаруживает явное сходство с саамами. В то же время другая часть местных финнов характеризовалась чисто европеоидными особенностями (Санкина 2000: 68–79).

По данным, опубликованным О. П. Балановским, можно заключить, что более-менее выраженные следы североуральской гаплогруппы N-1b фиксируются на всей территории Русского Северо-Запада и Севера (Балановский 2015: рис. 2.23). Наличие слабо выраженного «уральского» компонента для несколько более раннего населения обнаруживается здесь (а также в сопредельной Эстонии) и по данным краниоскопии (Моисеев и др. 2015: 92).

Средневековые группы Новгородской земли, исследованные в моей работе, датируются временем не позже XVI в. Более позднее и близкое к современности население тех же территорий (Псковско-Новгородской, Олонецкой губ. и Старой Ладogi) антропологически отличается как от «раннего», так и от «позднего» средневекового населения указанных территорий. Последнее заставляет предполагать очередную смену населения — уже в новое время.

Очень важные результаты были получены недавно коллективом петербургских антропологов во главе с В. Г. Моисеевым. Проведенное ими исследование базируется на интеграции данных краниометрии и краниоскопии. Оно включило в себя и древние материалы (серии черепов из могильников фатьяновской

культуры), и различные в этническом отношении группы эпохи средневековья и близкие к современности. Данное исследование выявило как палеоевропейский субстрат в средневековых группах Северо-Запада России и стран Балтии, так и восточные («уральские») черты в поздних русских группах. По мнению авторов, «...средневековые группы с территории северо-запада России, за исключением сборной серии из Сланцевского района Ленинградской области, не уступают по уровню выраженности европеоидных особенностей эстонским сериям и заметно превосходят в этом отношении близкие к современности группы русских из Себежа и Старой Ладogi» (Моисеев и др. 2015: 89).

Теперь перейдем к вопросу о хронологической несопоставимости западнославянских и древнерусских сравнительных материалов, которая якобы имела место в моей работе. Эту тему поднимает историк А. А. Молчанова, автор диссертации «Балтийские славяне и Северо-Западная Русь в раннем средневековье» (Молчанова 2007: 42–44). Обращаясь к данным антропологии, она пишет следующее: «...данные краниологии (по результатам Т. И. Алексеевой. — С. С.) позволяют предположить, что население севера Восточно-Европейской равнины формируется из носителей европеоидного антропологического комплекса, связанного с переселенцами южного побережья Балтики на Западе и центральных земель на востоке.

С данной точкой зрения во многом согласна Н. Н. Гончарова, которая внесла некоторые уточнения. В частности, она считает, что интенсивность процесса метисации пришлых славян с местным приильменским финно-угорским населением в новгородских группах преувеличивается. Новгородские славяне обладают четко выраженными специфическими чертами, сходными с балтийскими славянами...» (Молчанова 2007: 42).

Далее появляется первая неточность в отношении моих выводов: «...если Т. И. Алексеева отвергает наличие в физическом облике ободритов, поморян, полян (польских) и словен новгородских балтской основы... то С. Л. Санкина, напротив, утверждает, что древнерусские серии Новгородчины и западнославянские серии, принадлежащие ободритам, имеют антропологические особенности, которые характерны для балтов...» (курсив мой. — С. С.) (Молчанова 2007: 43).

Бросается в глаза небрежность автора в изложении цитируемого источника. У меня (Санкина: 2000: 50–59) говорится другое, а именно: что из четырех рассмотренных мной серий балтийских славян серия ободритов в наибольшей степени отражает позднее сходство с германцами. Ни о каких балтских особенностях этой группы речи не идет.

Далее А. А. Молчанова делает выводы: «Причиной столь яркого противоречия, на наш взгляд, может служить различная источниковая база исследователей... Если обратиться к источниковой базе, используемой С. Л. Санкиной, то становится видно, что для анализа новгородских серий ею был использован краниологический материал XI–XVI вв. ... В свою очередь, для сравнения с западнославянскими сериями южного побережья Балтийского моря С. Л. Санкина берет только поздние, датированные XI–XII вв. материалы из Мекленбурга. В это время, несомненно, процессы метисации славян и германцев в данном регионе шли стремительно. Поэтому к выводам, сделанным С. Л. Санкиной, на наш взгляд, следует относиться осторожно, учитывая хронологические особенности материала...» (курсив мой. — С. С.) (Там же: 43–44).

Создается впечатление, что А. А. Молчанова игнорирует большую часть информации, которую можно почерпнуть на страницах как моей работы, так и упо-

мянутого ею раньше классического труда Т. И. Алексеевой. Ведь в разделе, посвященном западным славянам, Т. И. Алексеева прямо говорит о том, что большинство имеющихся серий (в том числе черепа из Мекленбурга) относятся именно к X–XII вв.: «Западные славяне датируются VI–XIV вв. ...*Большинство краниологических серий, однако, принадлежит X–XII вв.* В целях сопоставления краниологических серий по восточным и западным славянам целесообразно было рассмотреть данные по западным, в соответствии с племенной принадлежностью...» (курсив мой. — С. С.) (Алексеева 1973: 39).

В свою очередь, к сравнению с западнославянскими я привлекала только ранние новгородские группы XI–XIII вв. Славяне Балтийского побережья — ободриты и поморяне — представлены в анализе четырьмя сериями IX–XII вв. Кроме них, рассматривались также территориально близкие группы вислян, польских полян и слезнян. Новгородские группы XIII–XVI вв. были привлечены позже и лишь для уточняющего дополнительного анализа. На сделанные ранее выводы это не повлияло.

В действительности, различия «источниковой базы» заключаются прежде всего в обширном новом средневековом антропологическом материале с территории Новгородской земли, появившемся в течении двух с половиной десятилетий, прошедших после выхода работ Т. И. Алексеевой. В моей работе группы западных славян названы по могильникам, а не «в соответствии с племенной принадлежностью». Я считаю это более корректным применительно к населению X–XII вв. н. э. Однако это те же самые группы, которые рассматривает Т. И. Алексеева. Нельзя не учитывать также новые возможности методов современного статистического анализа, позволяющие выделять значимые для дифференциации исследуемого материала комплексы признаков. Информативность такого анализа существенно выше, чем сравнение по отдельно взятым характеристикам, практиковавшееся несколько десятилетий назад.

Так что же все-таки нового предлагаю мои оппоненты по вопросу происхождения словен новгородских? Какие именно «специфические черты» указывают на связь Русского Северо-Запада со славянами южного побережья Балтики?

Вот как описывает Н. Н. Гончарова средневековых новгородцев: «Анализ изменчивости антропологических признаков у изученного населения позволяет охарактеризовать краниологический комплекс новгородцев следующим образом: короткий, широкий, относительно низкий череп, лицо низкое, ортогнатное, с узким носом, с большой шириной и малой высотой глазницы. Выступание носа сильное, лицо слегка уплощено на верхнем уровне, сильно профилировано на нижнем. Этот комплекс признаков хорошо отделяет новгородцев как от восточнославянских, так и от балтских и западнофинских групп» (Гончарова 1995: 21).

В другой публикации Н. Н. Гончарова детализирует облик описанного ею населения: «В целом население новгородской земли отличается мезокранией, среднешироким низким лицом, низкими глазницами... Высота носа малая или средняя, ширина средняя... Выступание носовых костей среднее или сильное» (Гончарова 2000: 86).

Описанные антропологические характеристики точно так же могли бы относиться к мезолитическому черепу из Пскова (Санкина 2000: 76), а также «чуди» и «води» из средневековых могильников Репьи и Великино (Ленинградская обл.). Сходные особенности, по описанию В. П. Алексеева, присутствуют у саамов: «...на общем фоне европеоидных признаков брахикrania, низкое и широкое лицо» (Алексеев 1969: 163). Не исключено, что на результаты анализа, проведенного

Н. Н. Гончаровой, повлиял комплекс признаков, свойственный части древнего «уральского» компонента населения лесной зоны Восточной Европы.

Следует подчеркнуть, что Н. Н. Гончарова рассматривает серии «словен новгородских» XI–XVI вв. суммарно, не разделяя их на ранние и поздние. При этом поздний материал в ее выборке численно преобладает: группы позднего времени и группы с широкой датировкой представлены значительно бóльшим количеством черепов, чем группы XI–XIII вв. (Гончарова 2000: 69–71). Добавлю, что в памятниках с широкой датировкой с территории Новгородской земли, как правило, преобладает поздний материал за счет лучшей его сохранности. Хотя Н. Н. Гончарова пишет о примечательной однородности серий черепов из «локальных могильников», она не упоминает, какие именно и какого времени памятники были ею изучены на предмет внутригрупповой изменчивости (Там же: 86). В связи с вышеизложенным допустимо предположить, что на результаты анализа повлияло позднее, по моим данным, смешанное население.

Даже в пределах одного могильника позднего времени население могло являться смешанным. Зачастую антропологические особенности можно связать с погребальным обрядом. Например, и мною, и Н. Н. Гончаровой рассматривалась группа XIV–XVI вв. из могильника Рагицы (Новгородская обл., Батецкий р-н). У меня она была разделена на подгруппы в соответствии с погребальным обрядом: грунтовые погребения в каменных ящиках и впускные погребения в насыпи сопки. В первом случае черепа показали исключительное сходство с карелами (носителями древнего европеоидного комплекса признаков). Во втором — серия черепов не имела отличий от большинства позднесредневековых серий Новгородской земли и сопредельных областей Эстонии, в которых фиксируются «уральские» черты. В работе же Н. Н. Гончаровой эта группа рассматривается суммарно.

Показательно, что охарактеризованному Н. Н. Гончаровой типу свойственно несколько уплощенное на верхнем уровне и резко профилированное на среднем лице. Это комплекс, имеющий древнее происхождение. По мнению В. И. Хартановича, он характерен и для части финского населения Северо-Запада (Хартанович 1986; 1991).

Описанный Н. Н. Гончаровой антропологический вариант сильно отличается от описанного мною в ранних группах Новгородчины долихомезокранного, относительно высоколицего и высоконосого варианта. Но, скорее всего, причина заключается в том, что более ранний материал, численно существенно меньший, «растворился» в общей массе черепов более позднего времени.

Базируясь на результатах статистического анализа, Н. Н. Гончарова делает вывод о своеобразии новгородцев на фоне других восточнославянских, а также финских и балтских групп. Отмечается сохранение у тех и других «неолитических особенностей». По результатам исследования автор делает вывод, что «новгородское население по ведущим признакам отличается от остальных восточных славян и балтов в ту же сторону, что и западноевропейские группы от восточноевропейских» (Гончарова 1995: 17, 2000: 91). Точнее, более низким по отношению к высоте носа лицом. Собственно, в этом и заключается предположительное родство. Однако, несмотря на замеченные Н. Н. Гончаровой тенденции, сближающие балтийских и новгородских славян, на графике, полученном ею в результате статистического анализа, западные славяне достаточно обособлены и далеки от хорошо локализованных на рисунке новгородских групп XI–XVI вв. (Гончарова 1995: рис. 1; 2000: 91).

По результатам моего собственного анализа, из 15 древнерусских черепных серий Новгородской земли единственной обнаружившей близость к балтийским славянам оказалась серия XI–XII вв. из могильника Хрепле (Новгородская обл., Батецкий р-н.). Ей оказались близки славяне Нижней Вислы (Санкина 2000: 54–56). Но судить на таком основании о сходстве насельников Северо-Запада с балтийскими славянами — это все равно что по наличию здесь отдельных групп скандинавского антропологического облика делать вывод о происхождении новгородцев непосредственно от скандинавов.

Тем не менее, именно такая идея (относимая, впрочем, не к скандинавам, а к другим носителям «германского» комплекса — ободритам и поморянам) получила развитие в недавней работе А. А. Романчука (Романчук 2013: 289).

В своей статье, посвященной «варяго-русскому вопросу», А. А. Романчук высказывает мысль, что отмеченное мной сходство балтийских славян с германцами, а населения ряда могильников Русского Северо-Запада и Севера — со скандинавами является свидетельством южнобалтийских истоков словен новгородских. Он пишет: «Однако, как легко убедиться, в основе ее (С. Л. Санкиной. — С. С.) рассуждений лежит опять-таки смешение понятий... она все время говорит именно о “германском комплексе”, а не сугубо скандинавском.

Иными словами, она фактически приравнивает германское и скандинавское.

Если далее учесть, что сама С. Л. Санкина показала особую близость славян Юго-Запада Балтики к германскому комплексу (Санкина 2000, с. 53–56), то в свете южнобалтийской гипотезы закономерен вопрос: а насколько серии с территории Руси, демонстрирующие “германский комплекс” — скандинавские?

Кстати, на это уже обратили внимание ранее и другие исследователи: “почему «скандинавам» Северо-Запада и Белозерья ближе всего не скандинавы Швеции или Норвегии (что было бы логично!), а раннесредневековое население Германии VI–VIII вв.?” (Балановская и др. 2011, с. 53).

То есть, и в данном случае “скандинавскость” на поверку адресует нас к Юго-Западу Балтики» (Романчук 2013: 289).

Автор, несомненно, лукавит, делая вид, что, не будучи антропологом, он не понимает, что германский комплекс — понятие более широкое, включающее в себя скандинавские локальные варианты. Подробно и, можно сказать, исчерпывающе, вариации в составе германского краниологического комплекса описаны Т. И. Алексеевой, и в каждой из них представлена какая-либо из скандинавских групп. Даже самые антропологически своеобразные скандинавские группы не выходят за его пределы, а средневековая группа из Норвегии и англосаксы, например, демонстрируют черты, являющиеся буквально «эталоном» германского комплекса (Алексеева 1973: 261–262). Таким образом, предположение о том, что в основе моих рассуждений лежит смешение понятий «германское» и «скандинавское», представляется несколько натянутым.

В мою задачу не входило выделить собственно скандинавские особенности внутри германского краниологического комплекса. Моей задачей было определить при помощи методов многомерной статистики наиболее близкие аналогии древнерусским группам, обнаружившим черты германского комплекса. Ими оказались в первую очередь группы Исландии, Швеции и Норвегии, и во вторую очередь — группы Британии, Дании и Германии (рис. 3).

В статье 2014 г. А. А. Романчук несколько изменил свой подход и сконцентрировался на отмеченном мной сходстве новгородского населения с балтами и наиболее близкими к ним группами славян Чехии и Словакии, а также

висянами. Отмечая, что эти территории в раннем средневековье были населены балтами, а «область балтообразной топонимии» простирается вплоть до Шлезвига и Гольштейна, А. А. Романчук заключает, что «данные антропологии... хорошо согласуются с археологическими и лингвистическими, и с гипотезой В. В. Седова» (Романчук 2014: 349).

В этой связи я хочу отметить, что одной из рассматриваемых мной гипотез происхождения древнерусских групп Новгородчины является высокая вероятность изначальной антропологической общности восточных и западных славян.

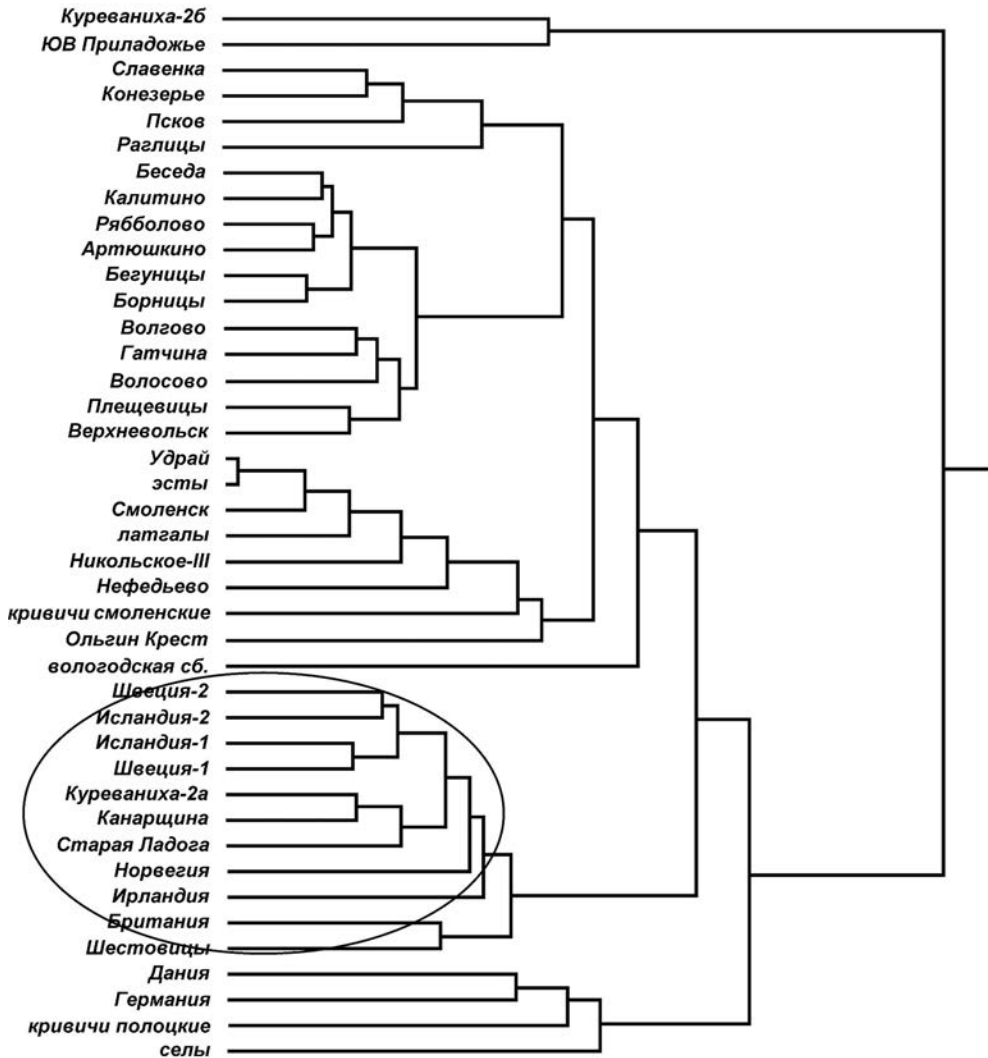


Рис. 3. Кластеризация матрицы расстояний Махаланобиса с поправкой на численность. Данные крианиометрии. Группы из Восточной, Западной и Северной Европы (VI–XIV вв.)

Fig. 3. Dendrogram based on the clustering of Mahalanobis distances corrected for sample size. Eastern, Western, and Northern European groups (VI–XIV cc.)

Однако особенности, общие с рядом западнославянских групп территорий Чехии, Словакии и Польши, характерны не только для словен новгородских. Наибольшим сходством с массивными славянскими сериями Центральной Европы обладают все-таки не они, а население Пруто-Днестровского междуречья, древляне и дреговичи, что может объясняться географическим положением последних, обеспечивающим дополнительные контакты с западнославянским населением (Санкина 2000: 65–67). Не противоречат этому и последние данные генетики, которые говорят о сходстве западных и восточных славян и, кроме того, показывают, что в генофонде северных русских отмечается также финская (уральская) примесь (Kushniarevich et al. 2015: 1–19).

Затрагивая эту тему, нельзя обойти результат, полученный Б. А. Малярчук. Этот исследователь обнаружил сходство генофондов популяций Великого Новгорода, Пскова и польско-литовского населения Северо-Восточной Польши (Сувалок). На таком основании был сделан вывод о «западных истоках генофонда северо-западных русских» (Малярчук 2009: 23–27). Примечательно, однако, что, как сообщает автор исследования, популяция Сувалок отличается от остального населения и Польши, и Литвы. Не затрагивая вопроса о происхождении и возрасте обнаруженных генетических факторов (о чем в статье сказано крайне мало, как и о составе исследованных выборок), можно сделать следующие предположения: 1. С учетом достаточно поздней даты основания Сувалок (1720 г.) и пограничного территориального расположения, возможно, уместнее было бы объяснять отмеченное сходство генофондов результатом поздних миграций, нежели древним родством. Известно, например, что в XVII в. в район Сувалок переселилось большое количество русских старообрядцев, в том числе из Пскова и Новгорода (Русские страницы... 2012: 7); 2. Территория Сувалкии совпадает с ареалом средневекового племени ятвягов. Как показывают антропологические исследования, сходство с ятвягами отмечается у части населения Русского Северо-Запада с эпохи средневековья до современности (Санкина 2000: 56, 62, 65; Беневоленская, Давыдова 1986: 3–52). Таким образом псковско-новгородское и сувалкское население может роднить участие в их происхождении балтского племени ятвягов.

Возвращаясь к вопросу о предположительной скандинавской атрибуции серий из некоторых могильников Северо-Запада и Севера, отмечу: в основу ее легли как данные антропологии, так и выводы археологов и историков, свидетельствующих о пребывании «варягов» непосредственно там, где располагались эти памятники. Разумеется, наличие иноэтничных, в том числе скандинавских, вещей в археологических памятниках Новгородчины можно объяснить также и торговыми связями, и я не обхожу вниманием эту проблему (Санкина 2000: 80; 2008: 142). Тем не менее, в данном случае в пользу скандинавского происхождения говорят данные не менее трех наук — истории, археологии и антропологии.

В связи с этим я хотела бы отдельно разобрать уже упомянутые выше замечания, высказанные в статье коллектива авторов во главе с Е. В. Балановской (Балановская и др. 2011).

«...почему по данным многомерных статистических анализов к скандинавским выборкам ближе всего оказываются не наиболее ранние группы “скандинавов” Северо-Запада... а наиболее поздние? Или почему “скандинавам” Северо-Запада и Белозерья ближе всего не скандинавы Швеции или Норвегии (что было бы логично!), а раннесредневековое население Германии VI–VII вв.? Кроме того,



нельзя не упомянуть результата, полученного для Старой Ладogi С. Г. Ефимовой, по данным которой эта выборка ближе всего стоит к вестготам Испании V–VII вв. (Ефимова, 2002. С. 170). С нашей точки зрения, выявленные С. Л. Санкиной краниологические комплексы... пока не позволяют говорить о том, что описаны именно «варяжские» серии...» (Балановская и др. 2011: 52–53).

В вышеприведенной цитате содержатся три последовательных утверждения, которые не вполне соответствуют тому, что в действительности говорится в цитируемых работах.

Так, группа из Старой Ладogi, являясь наиболее ранней, оказалась по результатам многомерного статистического анализа также и наиболее близкой к группам Скандинавии от эпохи викингов до средневековья (Санкина 2000: 90–95, рис. 23, 24; 2008: 151, рис. 1, 2).

«Скандинавским» группам Северо-Запада и Белозерья ближе всего не группа Германии, как пишет коллектив авторов, а именно скандинавы Исландии, Швеции и Норвегии (см. рис. 3).

Близкое положение на графике (Санкина 2008: рис. 1) группы Германии VI–VII вв. к группе из Старой Ладogi является результатом искажений, вызванных сокращением размерности, и не отражает наиболее близких связей. Здесь вполне достаточно сказать, что все предположительно скандинавские группы Древней Руси оказались в «облаке», образованном преимущественно группами Скандинавии.

Кстати, в работе о генофонде Русского Севера Е. В. Балановская и ее соавторы сами столкнулись с подобной проблемой, называя «артефактом» то, что архангельские поморы, вопреки величинам генетических расстояний, на графике оказались ближе к коми и марийцам (Балановская и др. 2011: 42–43).

Авторы статьи заключают, что, с их точки зрения, обнаруженные мной краниологические комплексы не позволяют говорить, что описанные серии являются варяжскими. В качестве аргумента они приводят, в частности, якобы обнаруженное С. Г. Ефимовой исключительное сходство староладожской серии XI–XII вв. с вестготами Испании V–VII вв. Но тут следует уточнить: С. Г. Ефимова говорит отнюдь не об исключительной близости этих двух краниологических серий, а лишь о том, что германские группы из различных регионов характеризуются особым комплексом признаков. По ее словам, «...в целом германские группы из различных регионов их расселения характеризуются определенным комплексом антропологических особенностей, отличным от такового у славян и балтов... Вот почему такие удаленные друг от друга материалы, как например, серия вестготов Испании и серия из Старой Ладogi располагаются в той части межгруппового корреляционного поля, которая занята в основном германцами...» (Ефимова 2002: 170).

О скандинавской (варяжской) принадлежности группы из Старой Ладogi высказывались А. Н. Юзефович (1941), В. В. Седов и Т. И. Алексеева (Алексеева 1973: 128). Историография вопроса подробно рассматривается в статье, посвященной серии черепов из Старой Ладogi (Санкина, Козинцев 1995: 90–91) и в моей монографии (Санкина 2000: 80–82).

В настоящее время существует и другая версия, объясняющая «скандинавские» краниологические комплексы, обнаруженные у отдельных групп средневекового населения Русского Северо-Запада и Севера с сохранением в его составе антропологических особенностей древнего населения Северной Европы. Поэтому, как считает Д. В. Пежемский, эти особенности не могут рассматриваться как доказательство скандинавского происхождения (Пежемский 2012: 88–107).

Однако новейшее исследование с применением метода интеграции краниологических и краниоскопических данных, проделанное коллективом авторов во главе с В. Г. Моисеевым, показало, что при наличии в антропологическом типе скандинавского населения древних особенностей, общих с другими обитателями Европы, наибольшее сходство с ним демонстрирует все-таки средневековая старолadoжская серия: «...данные, полученные в результате проделанного нами анализа, свидетельствуют в пользу наличия специфического сходства средневековой серии из Земляного городища Старой Ладogi с населением Скандинавии, которое, как и многие средневековые группы северо-запада России, включило в себя антропологический компонент, связанный с носителями культур шнуровой керамики» (Моисеев и др. 2015: 93). Авторы исследования считают, что «присутствие таких особенностей могло быть следствием сохранения как древнего субстрата, так и средневековых, эпохи викингов, связей населения Старой Ладogi и Скандинавии» (Моисеев и др. 2016: 398).

В Старой Ладoge, отмечают авторы, как и на всей территории Новгородской земли, не обнаруживается однозначной преемственности раннего и позднего населения: «В отличие от средневековой, близкие к современности серии с территории Земляного городища и церкви Святого Георгия явно занимают промежуточное положение между средневековыми сериями, с одной стороны, и современными как славяноязычными, так и финноязычными популяциями — с другой...» (Там же).

## Заключение

Обобщая результаты дискуссии по вопросу происхождения словен новгородских (по антропологическим данным), можно сформулировать следующие выводы.

По данным и антропологии, и генетики в популяциях Русского Северо-Запада и Севера от средневековья до современности обнаруживается ярко выраженный след древнего европеоидного населения, связанного, предположительно, с носителями культур шнуровой керамики и боевых топоров, в частности, фатьяновской культуры. На основе этого мощного субстрата сформировались балты, скандинавы, западные славяне, а также часть восточных славян и финнов. Это, на первый взгляд, противоречит сложившимся в науке представлениям о единой «прародине» всех славян и их быстром распространении на огромные территории в V–VI вв. н. э. Однако на деле подобный результат ярко свидетельствует о том, что лингвистическая, культурная история народов и формирование их антропологического облика — разные процессы.

Наряду с палеоевропейским, на рассматриваемой территории в разные эпохи наблюдается умеренное присутствие восточного, «уральского» элемента. Этот компонент также внес свой вклад в сложение населения как Русского Северо-Запада и Севера, так и более западных областей Балтийского побережья. Наиболее сильно он проявляется в некоторых позднесредневековых и близких к современности русских и финских популяциях.

Результаты проведенных в последнее время антропологических исследований не могут быть основанием для подтверждения теории происхождения средневековых новгородцев от балтийских славян. Отсутствие материалов I тыс. н. э. ограничивает возможности антропологии, на материалах же начала

II тыс н. э. такого сходства не выявляется. Предположение о наличии неких общих тенденций в изменчивости краниологических признаков, которые намекают на родство балтийских и новгородских славян, пока не получило достаточного обоснования.

Новгородское население XI–XIII вв. обладает теми же чертами, что и ряд других древнерусских групп, в отношении которых южнобалтийская версия происхождения не рассматривается.

Предположение о том, что принадлежность балтийских славян (поморян и ободритов) и некоторых новгородских групп XI–XIII вв. к германскому краниологическому варианту может служить доказательством их родства, не подтверждается ни данными антропологии, ни историческими источниками. Древнерусские группы с германским комплексом признаков тяготеют к группам Скандинавии, славяне юга Балтики — к группам Германии. Контакты населения Новгородчины с населением Скандинавии в эпоху средневековья более вероятны.

Попытка объяснить своеобразие отдельных древнерусских групп с признаками германского (скандинавского) комплекса исключительно проявлением особенностей реликтового европейского типа встречает контраргумент в исследовании последнего времени. Данные краниологии доказывают существование специфических особенностей, сближающих это население именно с населением Скандинавии. Последнее свидетельствует о контактах в более поздний период. В то же время сколько-нибудь заметного влияния скандинавского антропологического типа на средневековое население Северо-Запада и Севера не наблюдается.

## Литература

- Алексеев В. П. 1969. Происхождение народов Восточной Европы. М.: Наука.
- Алексеева Т. И. 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.: МГУ.
- Балановская Е. В., Пежемский Д. В., Романов А. Г., Баранова Е. Е., Ромашкина М. В., Агджоян А. Т., Балаганский А. Г., Евсеева И. В., Виллемс Р., Балановский О. П. 2011. Генофонд Русского Севера: Славяне? Финны? Палеоевропейцы? // Вестник Московского университета. Серия XXIII Антропология. 3, 27–58.
- Балановский О. П. 2015. Генофонд Европы. М.: Товарищество научных изданий КМК.
- Беневоленская Ю. Д., Давыдова Г. М. 1986. Псковские поозеры // Гохман И. И., Козинцев А. Г. (ред.). Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 3–52.
- Бужилова А. П. 2005. Homo Sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры.
- Гончарова Н. Н. 1995. Антропология словен новгородских и их генетические связи. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.
- Гончарова Н. Н. 2000. Особенности антропологического типа новгородских словен в связи с вопросами происхождения // Алексеева Т. И. (ред.). Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. Часть 2. М.: Старый Сад, 66–94.
- Еремеев И. И. 2015. Древности Полоцкой земли в историческом изучении Восточно-Балтийского региона (очерки средневековой археологии и истории Псковско-Белорусского Подвинья). СПб.: Дмитрий Буланин.
- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. 2010. Очерки исторической географии лесной части пути из варяг в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и оз. Ильмень. СПб.: Нестор-История.
- Ефимова С. Г. 2002. Население средневековой Европы: соотношение антропологических и этнокультурных общностей // Зубов А. А., Аксянова Г. А. (ред.). На путях

- биологической истории человечества. Т. I. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 157–178.
- Малярчук Б. А. 2009. Следы балтийских славян в генофонде русского населения Восточной Европы // *The Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия)* 1 (1), 23–27. <http://ru.rjgg.org>.
- Моисеев В. Г., Хартанович В. И., Ширококов И. Г., Селезнева В. И. 2015. О роли популяций с территории Фенноскандии в формировании антропологического состава населения российского СевероЗапада // *Уральский исторический вестник* 3 (48), 87–95.
- Моисеев В. Г., Григорьева Н. В., Ширококов И. Г., Хартанович В. И. 2016. Краниологические материалы из раскопок у церкви Святого Георгия в Старой Ладогге // Чистов Ю. К. (ред.). *Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г.* СПб.: МАЭ РАН, 390–399.
- Молчанова А. А. 2007. Балтийские славяне и Северо-Западная Русь в раннем средневековье. Дис. ... канд. ист. наук. М.
- Носов Е. Н., Плохов А. В. 2005. Новые раскопки поселений в Северном Приильменье // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. *Городище под Новгородом и поселения Северного Приильмения. Новые материалы и исследования.* СПб.: ИИМК РАН, 122–154.
- Пежемский Д. В. 2012. Скандинавское присутствие на Северо-Западе по данным палеоантропологии // Селин А. А. (ред.). *Староладожский сборник.* Вып. 9. СПб.: Нестор-История, 88–107.
- Плохов А. В. 1997. К проблеме появления славян в Приильменье // *Ладога и религиозное сознание. III чтения памяти Анны Мачинской.* Мат-лы к чтениям. СПб., 105–107.
- Романчук А. А. 2013. Варяго-русский вопрос в современной дискуссии: взгляд со стороны // *SP* 5, 283–299.
- Романчук А. А. 2013. Варяго-русский вопрос в современной дискуссии: взгляд со стороны (полная версия) <http://pereformat.ru/wp-content/uploads/2015/01/romanchuk.pdf>.
- Романчук А. А. 2014. Спор о древненовгородском диалекте в контексте варяго-русской дискуссии // *SP* 5, 345–355.
- Русские страницы в истории Польши (Śladami Rosjan w Polsce). 2012. Warszawa: “Rosyjski dom”.
- Санкина С. Л. 1995. Антропологический состав и происхождение средневекового населения Новгородской земли. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.
- Санкина С. Л. 2000. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Санкина С. Л. 2004. Антропология Средневекового населения Русского Севера (X–XIV вв.) // Козинцев А. Г. (ред.). *Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. Сборник статей к 75-летию И. И. Гохмана.* СПб.: МАЭ РАН, 83–107.
- Санкина С. Л. 2008. Скандинавская проблема в свете антропологических данных: группы Русского Севера и Северо-Запада эпохи средневековья (XI–XIII века) // *АЭАЕ* 1, 141–156.
- Санкина С. Л. 2009. Происхождение антропологических особенностей населения Новгородской Земли (X–XIII вв.) // *АЭАЕ* 3, 152–157.
- Санкина С. Л. 2010. Происхождение антропологических особенностей населения Новгородской Земли эпохи позднего средневековья (XIII–XVI вв.) // *АЭАЕ* 3, 147–155.
- Санкина С. Л. 2012. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии. Изд., испр. и доп. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
- Санкина С. Л., Козинцев А. Г. 1995. Антропологическая характеристика серии скелетов из средневековых погребений Старой Ладогги // *Антропология сегодня.* Вып. 1. СПб.: МАЭ РАН, 90–107.

- Хартанович В. И.* 1986. Краниология карел // Гохман И. И., Козинцев А. Г. (ред.). Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 63–120.
- Хартанович В. И.* 1991. Новые материалы к краниологии коми-зырян // Сборник МАЭ 44, 108–126.
- Юзефович А. Н.* 1941. Антропологические материалы из археологических раскопок в Старой Ладогге. Архив МАЭ, ф. К-1, о. 1. № 524.
- Kushniarevich A., Utevska O., Chuhryaeva M. et al.* 2015. Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data // PLOS ONE. September 2, 1–19.
- Platonova N. I.* 2016. Problems of early medieval Slavonic archaeology in Russia (a view from St.-Petersburg) // European Journal of Post-Classical Archaeologies 6, 333–416.

В. А. Назаренко

## Приладожская курганная культура, колбяги и все-все-все

*Так погибают замыслы с размахом,  
Вначале обещавшие успех,  
От долгих отлагательств...  
Но довольно!*

Вильям Шекспир

*Подержал за хобот слона  
и сказал, что он похож на змею...*

Притча о четырех слепых мудрецах

*Все объективные факты  
в изложении субъективны...*

Предупреждение

**Резюме.** По материалам своих раскопок автор описывает развитие погребальной обрядности в приладожских памятниках конца I — начала II тыс. н. э. и видит в нем археологическое отражение взаимодействия и трансформации различных по истокам культурных традиций. Русские летописи не связывают с территорией Приладожья никаких этнонимов. Это позволяет автору называть ее обитателей «приладожской чудью».

**Ключевые слова:** Приладожье, погребальные памятники, чудь, весь, колбяги.

**V. A. Nazarenko. Ladoga Kurgan culture, Kolbjags, and All, All, All.** The author uses the materials from his excavations to describe the development of funeral rituals in the Ladoga region in the late I — early II mil. AD. This process is thought to reflect the interaction and transformation of different cultural traditions. As no ethnonyms are associated with the territory of the Ladoga region in Russian chronicles, the author prefers to designate the inhabitants of the region as «Ladoga Chud».

**Keywords:** Ladoga region, burial sites, Chud, Ves, Kolbjags (Kylfings).

Видит бог, мне не свойственно утомлять коллег изложением своих представлений о специфике археологических источников, приемах их обработки, промежуточных целях и конечных задачах наших исследований. Однако они у меня есть, и их формирование проходило в период нарастающего интереса к этим темам, а также в близком общении с людьми, немало тому способствовавшими. Упоминание в этой связи Л. С. Клейна кажется мне вполне уместным (Клейн 2004). Параллельно и в дальнейшем в своей деятельности по не всегда зависевшим от меня причинам я оказался тесно связан с учеными разного масштаба, творческого потенциала и устремлений, работавшими в весьма отличных друг от друга областях археологии. Имена трех, оказавших на меня наибольшее влияние, назову. Прежде всего, речь идет, конечно же, о Г. Ф. Корзухиной, а еще М. В. Малевской и М. К. Каргере. Присутствие двух последних в этом

списке, с учетом, что я работал и с И. И. Ляпушкиным в Гнездово, многим может показаться странным. Охотно дам пояснения. Область научных интересов М. К. Каргера хорошо известна и, казалось бы, далека от моей. Однако раскопки архитектурных сооружений без ясного понимания этого их характера легко превращаются в изучение развалов строительного мусора. М. К. Каргер много раз повторял это, и сказанное им не только запомнилось. Его ученица М. В. Малевская — определенно лучший из встретившихся в моей жизни «раскопщиков» одного из самых сложных видов археологических памятников, а именно древнерусского города. Она была моим первым наставником на тернистом пути знакомства с полевой археологией. Начинается же он, кстати, с приобретения навыков перемещения по раскопу. Известна Марьяна Владимировна и работами по классификации и типологии такого массового материала, как керамика. Археологический тип для нее всегда был явлением историко-культурным. Интерес всех троих к общим вопросам археологии, как, впрочем, и многих в моем окружении по окончании университета, колебался в широком диапазоне по обе стороны от расположенного в середине шкалы нуля. Адекватные этому интересу представления находили отражение в их конкретных исследованиях, что, надо полагать, сказалось и на моем профессиональном облике. Отметив это, перейду к существу дела.

Хмурым январским днем 1966 года я пришел к Г. Ф. Корзухиной, намереваясь обсудить с ней новую тему курсовой работы. Новую, потому как еще весной прошедшего года приладожские курганы интересовали меня лишь как памятники, дающие аналогии для изучения наконечников стрел древнерусского Новогрудка. Спустя полвека мне уже не вспомнить предлагавшуюся мной тогда формулировку, но как отзвук отгремевшей «норманнской баталии» она определенно включала какое-нибудь имя выходцев из Скандинавии (норманны, викинги, варяги). Выслушав мои планы, а также пространные рассуждения о возможности их реализации, и проявив, как я теперь думаю, немалую терпимость, Гали Федоровна предложила для начала описать эти памятники, а затем дать им обоснованную и разностороннюю характеристику. Главными требованиями к описанию были, наряду, конечно, с максимальной полнотой сбора материала, его систематичность и унифицированность, понимаемая, прежде всего, как устранение излишнего словесного многообразия. В характеристике исключалась возможность употребления понятий, имеющих неясное или многозначное, без строго выявленных и указанных параметров, а уж тем более историко-культурное содержание. Учитывая, что в Приладожье многие годы работало большое число исследователей, раскопавших несколько сотен курганов, она предложила мне на первых порах ограничиться только материалами Н. Е. Бранденбурга. Не буду скрывать: эти предложения, требования и ограничения не вызвали у меня уже настроившегося на изучение важных вопросов русской истории, взрыва энтузиазма. Однако авторитет Гали Федоровны в нашей среде был велик, и оспаривать их я не посмел.

Спустя два года, ушедших на описание курганов из раскопок Н. Е. Бранденбурга и выявление их особенностей, результаты проделанной работы были изложены мной на заседании отдела славяно-русской археологии, а чуть позже опубликованы, правда, с большими сокращениями (Назаренко 1970: 191–201). Доклад сопровождало много таблиц, графиков и корреляционных полей, основу которых составляли сотни, если не тысячи вычислений и сопоставлений. Одним из их предназначений было обосновать правомерность использования взятых

мною характеристик как специфических черт изучаемых погребальных памятников. Из сегодняшнего далека очевидно, что набор их мог быть иным, а по количеству определенно меньше. Ряд изменений и сокращений в нем был сделан сразу. В чем-то они уточнили, но в целом мало изменили сложившуюся у меня к этому времени характеристику этих памятников. Во многом она повторяла выводы Н. Е. Бранденбурга и А. А. Спицына (Бранденбург 1895: 1–94, 143–154). В обсуждении все отмечали большой объем проделанной мной работы, а М. К. Каргер завершил его саркастической фразой: «Гора родила мышь». На нее отреагировала Г. Ф. Корзухина: «Зато это определено мышь, а не невесть что».

В культурно-историческом аспекте названный «грызун» был лишен оригинальности. Все погребальные сооружения так или иначе отражают представления людей о месте их постоянного или временного пребывания после смерти. Нередко они включают и идею устройства для умершего «избы смерти» или «дома мертвых». Обитатели Приладожья не были в этом отношении чем-то особенным. Их идеи и представления овеществились и дошли до нас в виде курганов, характерными и специфически приладожскими чертами которых, безусловно, были найденные в них очаги и деление сооружения на мужскую и женскую половины (Назаренко, Назаренко 1989: 38–41). Внимание к упомянутым особенностям в немалой степени определило направление дальнейших исследований. В то же время мной никогда не упускалось из виду, что они свойственны, в лучшем случае, половине приладожских памятников.

«Краткий журнал курганных раскопок» Н. Е. Бранденбурга сильно сокращен. На это указывал еще А. А. Спицын. Опущен ряд важных деталей в строении курганных насыпей. Описание «очагов или огневищ» не всегда понятно. Их размеры (от 0,5 до 2 м) и особенности устройства весьма различны. На некоторых был «очажный инвентарь», на других он отсутствовал. В наборе составлявших его предметов нет постоянства, а сами они нередко оказывались найденными отдельно, далеко в стороне от очагов, а в ряде случаев и в курганах без них. Немало отличий наблюдается в сооружении насыпей и их положении относительно захоронений. Последние, исключая способ погребения (кремация и ингумация), характеризуются еще большим многообразием. Размещение мужских захоронений в восточной, а женских в западной части кургана — лишь один из вариантов. Они могут находиться на его основании и в насыпи, на одном и разных уровнях. Остатки кремации бывают уложены слоем или в виде свертка, реже в берестяной туесок или горшок, а тела укрывались берестой и имели разную ориентировку. Немало различий в составе и размещении инвентаря. Привлечение материалов других исследователей это разнообразие лишь увеличивает, возможность же определить только по описаниям существенность выявляемых отличий в лучшем случае не уменьшается. Абсолютные и относительные количественные характеристики могут служить лишь ориентирами, поскольку нередко связаны с причинами, лишенными историко-культурного содержания (качество раскопок, наблюдательность и профессионализм исследователя, полнота доступного материала, сохранность объекта).

Потребность в новых полевых исследованиях стала очевидной. Их вдохновителем и идеологом выступил Г. С. Лебедев, организатором — В. П. Петренко, а предтечей во всех отношениях были раскопки Г. Ф. Корзухиной в урочище Плакун (Корзухина 1971: 59–64). Именно они лежат в основе моих представлений о целях, задачах и методике полевого изучения погребальных памятников. В сложившемся виде они были сформулированы и изложены позже Е. М. Колпаковым,



который счел возможным назвать меня соавтором (Колпаков, Назаренко 2004: 100–104). Полностью разделяя все положения статьи, замечу справедливости ради, что мое участие в ее написании ограничивается лишь многолетним и не всегда успешным стремлением следовать этим положениям, обсуждением возникавших при этом проблем, а также поиском путей их приемлемого решения. Ранее и применительно к курганам лежащая в их основе идея уже излагалась нами и может быть сведена к максимально полному обнаружению и фиксации всех фактов, связанных с археологизацией памятника, восстановлению его изначального вида и процесса функционирования (Колпаков, Назаренко 1996: 3–4).

В 1969 году было предпринято обследование мест раскопок Н. Е. Бранденбурга. Началось оно с сопок в окрестностях Старой Ладоги, потом переместилось на Пашу и Сязнигу, а за следующие пять лет охватило берега всех рек к югу, юго-востоку и востоку от Ладожского озера. Практически везде, кроме Свири и рек к северу от нее, где курганы, и прежде весьма редкое явление, оказались полностью уничтоженными, были произведены раскопки, длившиеся почти 20 лет. Растянутость работ во времени при сохранении ими своего целевого единства имела ряд причин. Во-первых, за весь этот период мне лишь однажды удалось проработать в Приладожье полный полевой сезон (чуть более трех месяцев). Параллельно, хотя и с пользой для своих главных интересов, я принимал участие в ряде других экспедиций. Во-вторых, на раскопки сооружения, равного по объему земляных работ среднему древнерусскому кургану, мне требуется (в зависимости от его сложности и насыщенности остатками) от 10 до 30 дней, что минимум в три раза превышает время, за которое его же раскопал бы любой известный мне археолог. В-третьих, после 3–5 лет полевых исследований накапливается материал, так или иначе трансформирующий прежние представления об изучаемых объектах, и требуется какое-то время на его осмысление. Естественная, а иногда и не вполне осознанная попытка отреагировать на эти изменения «по ходу дела» отражается на выборе памятников и приемов их раскопок, что часто приводит к плачевным результатам. В справедливости этого мне пришлось убедиться на своем опыте. Наконец, началу нового цикла работ надо предпослать соотнесение изменений в представлениях об изучаемых объектах с ними самими на местности, то есть фактически повторное их обследование, что тоже требует времени.

На случай, если все изложенное выше покажется кому-то досужими рассуждениями, придется воскресить некоторые малоприятные факты моей научной биографии. После обнаружения курганов с очагами на Сязниге вероятная связь между внешним видом и содержанием памятников, выявленная при их систематическом описании, стала реальностью (Назаренко 1974: 39–45). Успешное повторение опыта на Тихвинке ее канонизировало (Назаренко 1976: 99–100), а предсказанная при первом посещении могильника у Галично и случившаяся на следующий год находка двух мечей в одном из курганов превратила «канон» в «символ веры». Число раскопанных памятников уже перевалило за десяток, прояснились многие детали устройства очагов, были найдены следы их неоднократного разжигания и даже выявлен случай повторного создания очага в разрушившемся погребальном сооружении. Попытки реконструкции процесса и облика памятников в древности, возможно в первых попытках не вполне удачные, стали важной, а затем и необходимой частью исследования. Начала формироваться мысль о существовании в Приладожье предшествующих курганам наземных или надземных погребальных сооружений, то есть, если коротко и словами Владимира Высоцкого: «Ну хоть бы облачко, хоть бы тучка в том году на моем горизонте...».

Самые первые признаки отставания осмысления итогов полевых работ от их темпа начали проявляться уже на второй год раскопок в Овино. Древнейшая из изученных там насыпей содержала несколько захоронений остатков кремации, размещенных на основании, которое, вероятно, имело четырехугольные очертания. Иными словами, она была близка квадратным курганам близ Карлухи на Ояти, тогда уже найденным, но еще не исследованным. Единственным оправданием неотрефлексированности этого факта в процессе или сразу после раскопок можно признать полную разрушенность овинской насыпи. Определенную роль сыграла и моя зачарованность тем фактом, что это небольшое сооружение (около 8 м) оказалось прорезано с севера на юг копавшейся «вперекидку» траншеей шириной 4 м. Она уничтожила в центре основания очаг, но оставила нетронутыми четыре размещенные к востоку и западу от него погребения и стоявший рядом с ним горшок.

Годом позже в могильнике у Ганьково на Капше я раскопал последний оставшийся неисследованным курган. Наверное, случись это несколько лет спустя, мной вряд ли остались бы незамеченными и трехчастность курганной группы, позволявшая считать изучаемую насыпь одной из самой ранних, и слабовыраженная в горизонталях, но ориентированная все же вроде бы углами по сторонам света ее квадратность. Впрочем, обязательное вычерчивание планов насыпей в горизонталях до раскопок стало правилом лишь годом позже после изучения прямоугольных оятских курганов. В итоге вместо деревоземляного сооружения, которое, как теперь ясно, заняло бы в ряду приладожских памятников место между горкинскими «домами мертвых» и курганами «Овино-Галично», мной раскапывалась обычная насыпь с очагом в центре основания и погребениями в верхней части. Находки же отдельных сожженных костей и вещей на ее склонах и в ровике были объяснены как следы остатков кремации, разрушенной поздним впускным труположением головой на запад. По полевым чертежам и фото интерпретация памятника как деревоземляного сооружения очевидна и доказуема. Однако исходя из них же понятно, что при раскопках мной оказалась упущена редкая возможность прояснить характер его крыши и вообще перекрытий над очагами, ни разу потом уже не представившаяся.

Следующий случай убедиться в малой эффективности раскопок, не подготовленных осмыслением итогов предшествующих полевых исследований, не заставил себя долго ждать. После работ в Ганьково я раскопал на Тихвинке в могильнике у Галично две насыпи, давшие интересные, но, в общем, ожидаемые результаты. Юго-восточнее их, чуть в стороне от курганов, мое внимание привлекла пара расположенных рядом невысоких всхолмлений. Ни прежде, ни после побывавшие здесь археологи погребальные памятники в них не признали. Без долгих раздумий одно из этих всхолмлений было мной раскопано. На склонах всхолмления и вокруг него найдены мелкие угольки, пережженные кости, обломки плохо определимых оплавленных бронзовых и железных предметов, а также кусочки спекшихся бус. На основании всхолмления, безусловно, являвшегося неким подобием насыпи (до 0,75 м высотой), открыт тонкий слой погребенной почвы почти без подзола. В нижних частях склонов песок был слегка гумусирован. Следов очага или огневища не найдено. Ровик отсутствовал, но подрезка останца, на котором возвели насыпь, прослежена везде. Менее всего она была выражена с северо-восточной стороны. Каких-то сомнений в принадлежности открытых остатков погребальному сооружению нет, но и следов его намеренного разрушения не выявлено.

После обнаружения деревоземляных погребальных сооружений на Суде (Башенкин 1985: 77), а затем на Паше (Назаренко 1988: 75–79) понять характер памятника, раскопанного близ Галично, не сложно. Правда, судя по открытым следам и остаткам, думается, что и своевременное его опознание с необходимой коррекцией приемов раскопок вряд ли позволило бы существенно прояснить конструктивные особенности этого сооружения. Однако оно непременно заставило бы расширить зону работ вокруг него, что повлекло бы за собой ответ на вопрос о ритуальном огневище близ его северо-восточной стороны. Нереализация этой возможности представляется мне оплошностью. Рисунок горизонталей и особенности подрезки материкового останца под всхолмлением делают такого рода находку весьма вероятной. С ней и без этого заметное сходство обнаруженных остатков с памятником на Суде стало бы еще более очевидным. Наличие же костра или огневища рядом с сооружением поставило бы галичинский памятник в ряд с изученным мной сакральным комплексом напротив Шахново и погребальным сооружением у Орехово (Назаренко 2017: 352–360). Его соседство с курганами «Овино-Галично» и связь с деревоземляными сооружениями, «домами мертвых» и насыпями на других реках Приладожья, видимо, отражает какое-то единство всех, в деталях сильно различающихся между собой, памятников. Конечно, моя неподготовленность к раскопкам и неудачи их осуществления несравнимы с «успехом» С. И. Кочкуркиной, открывшей в своих первых же двух курганах лишь полсотни впускных погребений (Лапшин 1995: 99). Впрочем, довольно разоблачений, хотя ими и не ограничивается мой печальный опыт преждевременных полевых работ. Для доказательства положений, ради которых они были извлечены из памяти, и их вполне достаточно.

Итак, за два десятка лет мной раскопано 30 погребальных сооружений, один жальник с культовым строением в центре и один сакральный комплекс, возможно, включавший захоронения. К ним, пожалуй, следует добавить памятник, исследованный совместно с Е. М. Колпаковым позже в Гонгничицах на Ояти (Колпаков, Назаренко 2004: 196–201). Эти памятники с добавлением ряда курганных насыпей из раскопок других археологов и составляют взаимосвязанные цепочки, в которых отразилось развитие погребальной обрядности обитателей Приладожья конца I — начала II тыс. н. э. Каждое звено может быть представлено одним, несколькими и десятками памятников. Их хронология в целом совпадает со шкалой О. И. Богуславского (Богуславский 1992: 44–68). В самых общих чертах развитие выглядит следующим образом.

С позднего неолита и почти до рубежа VIII–IX вв. н. э., то есть на протяжении трех с лишним тысячелетий на берегах рек к югу и юго-востоку от Ладожского озера жили небольшие коллективы охотников и рыболовов, в культурном отношении близкие обитателям Верхней Волги (Гурина 1961: 153–165, рис. 29). Погребальные памятники ни тех, ни других неизвестны. Однако на рубеже эр территория расселения последних становится северно-западной частью ареала «дьяковских городищ», а с ними связаны минимум два «дома мертвых» (Гусаков, Патрик 2009: 122–136). Очевидно, что эти находки являются археологическими следами широко распространенной в древности у многих «лесных народов» традиции наземного или надземного захоронения умерших.

Описанный этап в развитии погребальной обрядности обитателей юго-восточного Приладожья представлен шахновским комплексом. Число такого рода памятников, как и коллективов живших здесь древних охотников и рыболовов невелико, вряд ли много больше пяти-шести и определенно менее десятка. Все

они находятся среди скопления курганных групп и почти всегда близ кладбищ из нескольких десятков насыпей с захоронениями XII–XIII вв. Места их расположения я могу назвать с точностью от сотен метров до двух-трех километров. На Паше это устье Шижни, где старики еще полвека назад показывали место, называвшееся городищем, правда, лишенное укреплений и каких-то следов культурного слоя. На Ояти один из таких памятников находился между Карлухой и Алёховщиной, но там все уничтожено А. М. Линевским. Другой наверняка был в Винницах, где тоже найти что-то надежд мало, слишком велик поселок. На Сяси это, конечно, окрестности Городища, а может быть, и оно само до того, как стало Алаборгом скандинавских саг (Мачинский, Мачинская 1988: 55).

Следующий этап развития изучаемой обрядности (IX — начало X в.) в материалах самих погребальных сооружений юго-восточного Приладожья почти не отразился, что меня как археолога не удивляет, ибо основным его содержанием было всегда укутанное в пелену тайны рождение нового археологического явления, то есть Приладожской курганной культуры (далее — ПКК). С этим этапом связаны памятники, датировка и ареалы которых позволяют считать их предшественниками и близкими соседями сооружений, характеризующих упомянутое явление в сложившемся виде. Такого рода памятниками на западе были волховско-сясьские сопки VIII–X вв. (Богуславский 1989: 30–32; Петренко 1995) и скандинавский курганный могильник в урочище Плакун IX–X столетий (Назаренко 1985: 165). На юго-востоке это сопковидные насыпи, длинные курганы и «дома мертвых» Верхней Волги V–IX вв., а также близкие им по культуре деревоземляные погребальные сооружения на Суде, возможно, Тихвинке (Башенкин 2002: 73–82). К ним же следует отнести и находку меча типа «В» (VIII — первая половина IX в.) на Ояти, а также некоторые из самых ранних курганных насыпей (860–890 гг.) на берегах приладожских рек (Богуславский 1993: 135–136, рис. 1, 1).

Прежде чем приступить к рассмотрению археологического явления, именуемого теперь всеми ПКК, но априори прошедшего, как и всё на этом свете, три фазы, а именно становление, расцвет и упадок, необходимо определиться с тем, что мной под ним понимается. В научный оборот это название применительно к приладожским курганам ввел Г. С. Лебедев (Лебедев 1977: 55, 194–220). Надо заметить, что данное им этим древностям описание (с поправкой на его научно-популярный характер) ближе всех к имеющимся у меня и сейчас о них представлениям. Здесь нет ничего удивительного, так как формирование последних у меня и написание книги Г. С. Лебедевым совпадали по времени и проходили в практически ежедневном общении. Сначала он положил в основу выделения ПКК территориальный принцип. Однако от такого тонкого и пронизательного наблюдателя археологических фактов, каким он, безусловно, был, не могли укрыться отличия памятников в разных частях ареала. В результате глава, посвященная описанию ПКК, состоит ни много ни мало из пяти разделов с особыми названиями, два из которых археологические, два этнические, одно историческое, и все отражают культурные различия. Между тем, в археологии наряду с территориальным принципом существует и выделение совокупностей объектов по устойчивым сочетаниям характерных элементов, которое и взято мной за основу. Соответственно, только группа памятников, имеющая устойчивый набор особенностей, выделяющих ее среди близких им по характеру объектов этой и соседних территорий, признаётся мной Приладожской культурой (далее ПК). Другими словами, не сомневаясь в существовании ПКК как территориально-археологического явления, мне кажется возможным выявить в ней культурные группы (рис. 1).

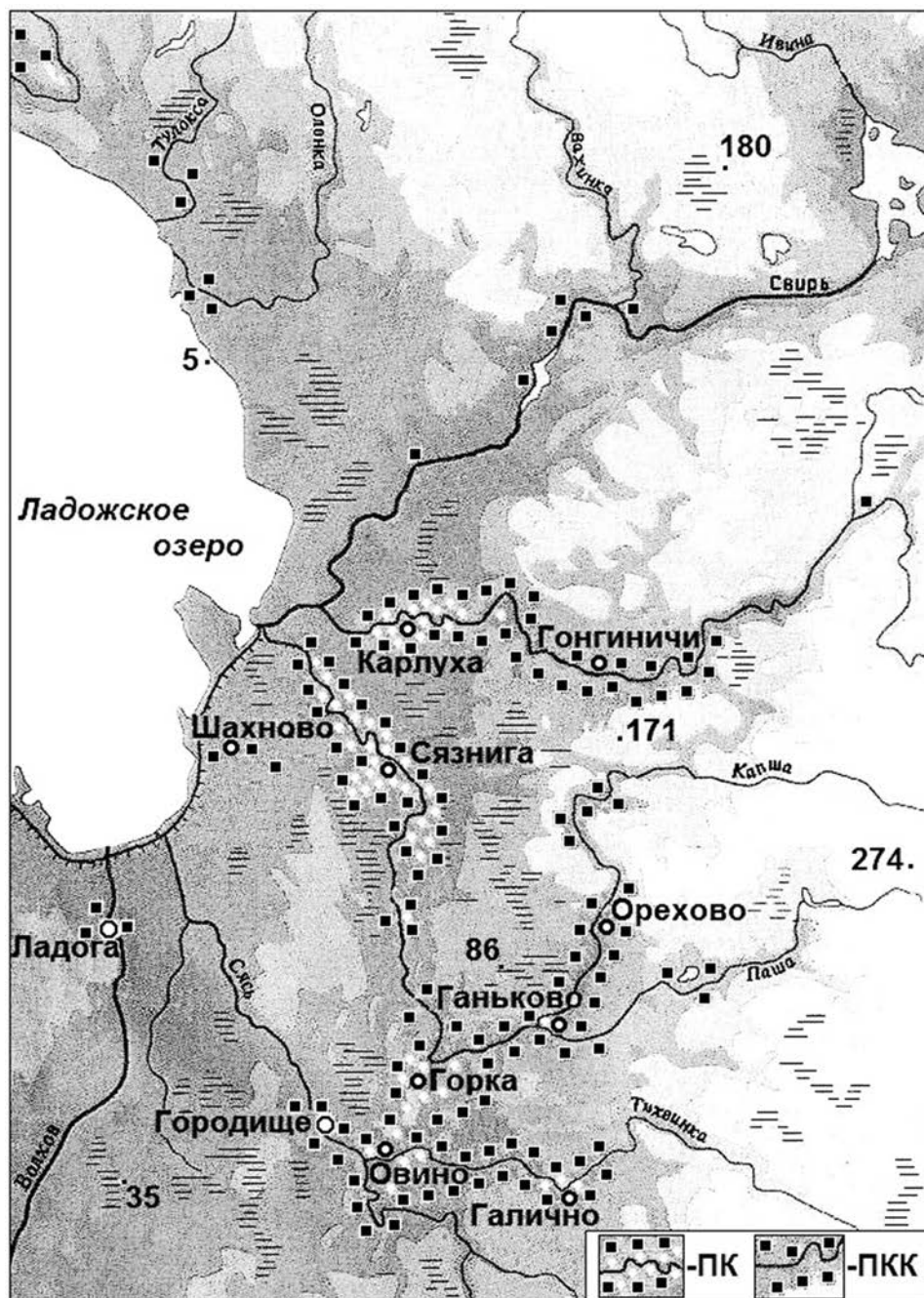


Рис. 1. Юго-восточное Приладожье: 1 — упомянутые места раскопок; 2 — Приладожская курганная культура; 3 — Приладожская культура

Fig. 1. Southeastern Ladoga Region: 1 — sites mentioned in the text; 2 — Ladoga Kurgan culture; 3 — Ladoga culture

Специфическими особенностями ПК, практически не имеющими аналогов вне границ Приладожья, следует признать центральное положение очага и деление сооружения на мужскую и женскую части. Все прочие многочисленные и яркие элементы, например захоронение отдельных голов или очажный инвентарь, встречаются и на других близких и далеких от Приладожья территориях. Некоторые из этих черт, такие как помещение останков умерших над основанием и в верхних частях сооружений или, наоборот, в могильных ямах, обнаруживают в ареале ПКК свои, обычно выраженные в развитии, территориальные привязки. Другие известны повсеместно и связаны с памятниками, которые сильно отличаются по датировкам. К ним относятся очажки и огневища в разных частях сооружений и за его пределами, использование бересты в захоронении, а также, что не вызывает удивления, почти все категории инвентаря и отдельные вещи. Именно поэтому мной почти не упоминаются элементы, в широком смысле слова, финской и скандинавской культуры.

Определившись с собственно приладожскими особенностями изучаемых памятников, можно очертить ареал ПК, дать описание и проследить изменения в ее облике на разных этапах существования. Процесс формирования (первая половина X в.) представлен исключительно сооружениями нижнего течения Паши и Ояти. Однако и там они с самого начала заметно отличаются друг от друга. На Паше при всех особенностях возведения и внутреннего обустройства это были всё же сооружения, внешне похожие на курганные насыпи. Есть основания полагать, что действия по их возведению мало напоминали «насыпку» кургана, как она нам представляется. В центре площадки сооружали очаг, нередко весьма сложного устройства. Минимум дважды установлено, что он полностью соответствовал очагам жилищ, то есть был овальным скоплением колотого обожженного камня. Неоднократные упоминания глиняной подмазки очага, встречающиеся в описаниях Н. Е. Бранденбурга, — скорее всего, ошибка в понимании слегка обожженного слоя суглинка в основании сооружения. Остатки кремации умерших помещались прямо на основание по разные стороны очага, как правило, мужские к востоку, а женские к западу от него. Погребение лошади при отдельном ее захоронении совершалось чаще в северной части сооружения. После размещения все они покрывались грунтом, который крепили дерном или каким-то иным, плохо или вовсе не отражающимся в археологических следах способом.

На нижней Ояти в это же самое время появляются четырехугольные деревоземляные сооружения. То, что их число невелико (около десятка; половина раскопана, а другие опознаны мною среди считавшихся круглыми курганов), свидетельствует лишь об уровне полевых исследований тех лет. В могильнике у Карлухи такими наверняка были курганы № 6 и, вероятно, № 17 и № 19 (раскопки В. И. Равдоникаса). Квадратным курганом оказалась изученная мной рядом с ними насыпь № 18. Прямоугольность одного из оятских курганов упомянута А. М. Линевским. Как выяснилось, сохранение формы обеспечивал бревенчатый (от трех до пяти венцов) каркас. Высота сооружения была близкой к средним пашским, но при отсутствии навыков их возведения песок после разрушения деревянных стенок оказывался в окружавших рвах и ямах. Впрочем, чуть позже обитатели Ояти или сами освоили необходимые приемы, или в их среде появились люди с ними знакомые. Во всяком случае в оятских могильниках сочетание едва заметных и высоких насыпей обычное дело. В одном из прямоугольных сооружений мне удалось выявить следы, указывающие на то, что при

создании и какое-то время после в его южной части сохранялся проход к очагу. Отделявшая сооружение от окружающей территории с этой стороны яма имела перемышку, а к входу в «дом мертвых» в Горках вело перекинутое через ров большое бревно. Возможность доступа к очагу и, соответственно, внутрь сооружения прослежена и в одном из курганов близ Галично. Причем в последнем случае в связи с частичным разрушением прежнего интерьера очаг был воссоздан заново поверх уже имевшегося со смещением к югу.

В середине X в. этап формирования ПК завершается полностью. К этому времени коллективы, оставившие характерные для нее памятники, осваивают Пашу и низовья Тихвинки, междуречье той и другой с Сясью. На юге они вступают в контакт с населением, возводившим сопки, и с весьма разнородными обитателями крупных притоков Верхней Волги. В результате в самих памятниках ПК наблюдается ряд изменений. Погребения размещаются не только на основании, но и в верхних частях сооружений, а подхоранивание превращает их в семейные усыпальницы. Появляются разные виды «домов мертвых» и других перевоземляных погребальных памятников.

Расцвет ПК (вторая половина X — начало XI столетия) характеризуется, прежде всего, серийностью памятников. На этом этапе происходит смена способа захоронения и отказ от самых варварских (человеческие жертвоприношения) элементов обрядности. С особой наглядностью проступает пашское ядро, полностью сохраняющее и после перехода от кремации к ингумации устойчивость сочетания всех специфических черт.

К середине XI в. становится очевиден закат ПК, но по единичным памятникам еще можно наблюдать замену южной ориентировки на западную. Десяток, максимум два десятка лет, и ПК прекращает свое существование. Сооружений с набором ее черт нет вовсе, да и отдельные элементы исчезают почти полностью.

Между тем ПМК продолжает жить еще сто, а то и полторы сотни лет. Как и в период формирования, ее территория охватывает все юго-восточное Приладожье. Возможность проиллюстрировать это ссылкой на карту О. И. Богуславского (Богуславский 1993: рис. 1) позволяет сразу перейти к особенностям памятников ПМК в тех или иных частях ее ареала на разных этапах существования. В отличие от ПК характеристикам ПМК всегда сопутствует слово «преимущественно». Конечно, оно может быть выражено в точных цифрах, но от этого существо дела не изменится. Парные или несколько одновременных погребений могут находиться рядом и в разных частях кургана вроде бы без видимой системы. Рядом с ними на одном уровне, но нередко и выше, а иногда даже вне сооружений разжигали ритуальные костры. Несколько позже появляются могильные ямы. Следует иметь в виду, что к погребениям в ямах могут относиться захоронения, обнаруженные в насыпи или близ ее основания. К финалу погребения в ямах явно преобладают, а возможно даже становятся единственными. Нередко в них ставят срубы, используется и валунный камень.

При характеристике памятников, расположенных на Ояти, Капше и отчасти Тихвинке, приходится преодолевать немало трудностей. Основная из них связана с качеством раскопок и документации А. М. Линевского и И. П. Крупейченко. Последствия их работ можно сравнить разве что со стихийным бедствием. Ни публикация С. И. Кочуркиной (Кочуркина, Линевский 1985), ни раскопки В. И. Равдоникаса, ни мои исследования не позволяют компенсировать причиненный ущерб. Это не избавляет от необходимости хотя бы в общих чертах описать особенности этих памятников.

Заметное, своеобразие оятским курганам придает чуть более раннее, чем в других районах, появление, а затем широкое распространение погребений в могильных ямах. Часть захоронений разрушены еще в давние времена, что нашло отражение в легендах «об ушедшей под землю чуди». Могилы обнаруживались по провалам и торчавшим из них кускам деревянных конструкций. О следах, целях и способах такого рода проникновений в «царство мертвых» существует немало мнений (Носов 2016).

В связи с ними можно вспомнить могильники «заволочской чуди». Они были найдены О. В. Овсянниковым, а мне довелось принять участие в их раскопках и последующем изучении (Назаренко и др. 1984: 197–216). Из 25 могил двух могильников не менее 15 имеют следы «аккуратных» проникновений. Контуры ям почти не нарушены, а нередко сохранились остатки стоявших в них срубов. Минимум в пяти открыты остатки кремации, в остальных — ингумации с ориентировкой, близкой к южной. Две ямы на более позднем Усть-Пуйском кладбище имели широтное расположение. В одной два костяка лежало головой на запад. Инвентарь обычен для финно-угорских окраин Руси XI–XIII вв. Близ могил в ряде случаев обнаружены ритуальные очажки. В итоге возникает «ощущение дежавю», которое усугубляется сходством ориентировок умерших, правда, отсутствуют насыпи. Это объяснимо: рядом нет ни сопков, ни курганов выходцев из Скандинавии. Срубы, то есть «дома мертвых», указывают на принадлежность аборигенов, как и жителей Приладожья, к «лесным народам», прежде практиковавшим наземные и надземные захоронения. Замена кремации ингумацией, а также появление ям могли быть следствием развития их представлений о «мире мертвых», а также следствием сторонних влияний. На последние, возможно, указывает небольшая заглубленность сруба с древнейшим в могильниках погребением остатков сожжения (конец XI века), а также смена южной ориентировки на западную в наиболее поздних могилах. Источник влияний очевиден: для этого периода им мог быть только Новгород.

С новгородской колонизацией, видимо, связано и появление погребений в могильных ямах на Ояти. Нельзя не заметить, что проникновение новгородцев в эти края шло в обход Приладожья. На Паше захоронения в ямах появляются позже, а на восточном побережье Ладожского озера их нет вообще. Объяснение этому феномену предложено мной еще в конце 70-х годов и кроется, по существу, в особенностях отношений скандинавского ярлства в Ладогe с Новгородом и Киевом (Назаренко 1979: 106–115). Заключительный этап ПКК — это становление в юго-восточном Приладожье нового явления, культуры финноязычных окраин древней Руси.

Чуть прояснив, надеюсь, ситуацию с приладожскими археологическими явлениями, коротко остановлюсь на колбягах и всех-всех-всех. Начну с того, что мое понимание этноса и этничности полностью совпадает с изложенным Е. М. Колпаковым (Колпаков 1995: 13–23). Они суть явления социально-психологические. Искать археологические их следы ни Л. С. Клейн, ни Г. Ф. Корзухина, ни другие упомянутые и не названные мной наставники меня не обучили. Не уверен, что это невозможно, но никаких следов такого рода исследований в работах людей, обзывающих обитателей Приладожья разными именами, я не обнаружил. Как и Е. М. Колпаков, вслед за Ю. В. Бромлеем я считаю, что в природе нет никаких этносоциальных групп и организмов (Бромлей 1983: 62–63). Сопоставлять же имеющееся с несуществующим и без меня «есть тьма искусников, я не из их числа».



Имя «приладожская чудь» выбрано мною потому, что применение его к обитателям юго-восточного Приладожья в доказательствах не нуждается. Это мое их название, такое же каким было наименование новгородцами аборигенов Заволочья и Перми, а наверное, прежде и Белозерья. По отношению к последнему можно добавить, где летопись знает весь. Не думаю, что в момент ее написания это имя там бытовало, но летописец был эрудит. О захоронениях колбягов в Приладожье ничего неизвестно. На этом можно было бы и закончить, но, боюсь, меня обвинят в уклонении от дискуссии.

Из всех-всех-всех само время оставило одну вещь, ибо против глупости человеческой даже оно бессильно. Всё по поводу связи с ней ПКК изложено мною давно (Назаренко 1983: 3–4). Упорное отнесение юго-восточного Приладожья к территории веси по крайне редким, а то и вовсе неизвестным в названных летописцем местах ее обитания «этнически определяющим признакам» требует внимания узких специалистов, очень далеких от археологии и истории. Труды языковедов рассматривать не буду. Тем более что один перечень литературы о возможности и проблемах соотнесения лингвистических и археологических ареалов занял бы все отведенное статье место.

В свете изложенного выше до находки хотя бы в одном из приладожских захоронений русской, византийской, да и любой другой монеты или предмета с надписью «колбягу за верную службу» обсуждение принадлежности им (колбягам) ПК или ПКК и раньше, и сейчас также представляется мне лишним смыслом. В середине 80-х, после четверти века дружеских отношений с Д. А. Мачинским, заявить это прямо я не смог, виноват. О чем сегодня, глядя на лежащую передо мной с последней его статьей об этих колбягах (Кулешов, Мачинский 2004: 207–228) книгу, посвященную памяти нашего общего друга Г. С. Лебедева и преподнесенную мне с дарственной надписью, не жалею. На мой взгляд, дружба дороже истины, любой, а научной тем более. Мнение Дмитрия Алексеевича по этому поводу не узнавал. Этим, кстати, дружба отличается от договора.

О колбягах «Русской Правды» замечу, что они названы там дважды и оба раза вместе с варягами, что и стало единственной основой для спекуляций об их этносоциальной близости и прочем. Между тем, «Русская Правда» правовой документ, в частности, регламентирующий действия людей, представляющих какой-то интерес для князя, то есть власти, и общества, им представляемого. Она не фиксирует родство мифических этносоциальных групп. Меченосцев на Руси в это время пруд пруди, а сколько мечей было припрятано по сеновалам, мы узнаём сейчас. Вообще-то число мечевых находок на Руси, в частности, в Приладожье (чуть более 20) может поражать воображение лишь весьма мало сведущего человека. В одной Норвегии, не сопоставимой с Русью ни по территории, ни по плотности населения, их около двух с половиной тысяч. Зачем «Русской Правде» наряду с русью и варягами, хотя и вся прочая гридь ходила не с колбями, еще одни меченосцы? Пока идет поиск бессмысленных ответов на этот вопрос, замечу: на мой историко-археологический взгляд, кем были колбяги, выяснено еще 100 и 33 года назад. Это переводчики, от литовского *kalbingas* («говорливый», «болтун») (Дювернуа 1884: 20–26), то есть люди, необходимые для общения с заморскими наемниками-варягами. Только этим они интересны и ценны для «Русской Правды», а поэтому и названы только в ней, и всегда вместе с варягами. Если византийские «кулпинги» те же колбяги, то и в Царьграде они не были лишними. Не противоречат этому и малочисленность топонимов «колбяги» на территории Руси. В отличие от прочих, это отождествле-

ние не нуждается в дополнительных гипотезах, ни исторических, ни археологических. Оно опирается на факты и одно предположение, сделанное, замечу, профессионалом лингвистом, то есть отвечает требованию их необходимости и достаточности. К тому же делает упомянутую выше находку возможной, что, впрочем, вряд ли изменит мое отношение к принадлежности колбягам памятников Приладожья. Ждем-с.

*Всё есть везде, важно лишь, что и где.*

Предупреждение

*Да поймите же! Мюнхгаузен славен не тем,  
что летал на Луну. А тем, что не врет...*

Барон Мюнхгаузен

*Мы исследуем «археологические памятники»,  
т. е. попросту копаем старые кладбища и свалки.  
Но ведь при этом мы совершаем то, что древние  
с почтительным ужасом называли  
«Путешествием в Царство Мертвых».*

Глеб Лебедев

Оно может быть опасным, будем же осторожны!

## Литература

- Башенкин А. Н. 1985. Погребальное сооружение у д. Никольское на р. Суде // Масон В. М. (ред.). Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 77–81.
- Башенкин А. Н. 2002. Юго-западное Белозерье в IX–XI вв. // Янин В. Л. (ред.). У истоков Новгородской земли. Любытино, 73–82.
- Богуславский О. И. 1989. Древнейший погребальный памятник юго-восточного Приладожья // Янин В. Л. (отв. ред.). Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 30–32.
- Богуславский О. И. 1993. Южное Приладожье в системе трансевропейских связей IX–XII вв. // Масон В. М., Носов Е. Н., Рябинин Е. А. (ред.). Древности северо-запада России (славяно-финно-угорское взаимодействие, русские города Балтики). СПб.: Петербургское востоковедение, 132–157.
- Бранденбург Н. Е. 1895. Курганы южного Приладожья. МАР 18. СПб.: тип. Глав. управ. уделов.
- Бромлей Ю. В. 1983. Очерки теории этноса. М.: Наука.
- Гурина Н. Н. 1961. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР (МИА 87).
- Гусаков М. Г., Патрик Г. К. 2009. Погребения на городищах лесной полосы раннего железного века (по материалам дьяковской, милоградской и юхновской культур) // Кузьминых С. В., Чижевский А. А. (ред.). У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника). Елабуга, 122–136.
- Дювернуа А. Л. 1884. Кого называло древнерусское законодательство колобьягом // Чтения Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 1. М.: Универ. тип., 20–26.
- Клейн Л. С. 2004. Введение в теоретическую археологию. Книга 1: Метаархеология. СПб.: Бельведер.
- Колпаков Е. М. 1996. Этнос и этничность // ЭО 5, 13–23.

- Колпаков Е. М., Назаренко В. А. 1996. Цель археологических раскопок // Савинов Д. Г. (ред.). Курганы: историко-культурные исследования и реконструкции. СПб.: СПбГУ, 3–4.
- Колпаков Е. М., Назаренко В. А. 2004. Методология археологических раскопок // Вишняцкий Л. Б., Ковалёв А. А., Щеглова О. А. (ред.). Археолог: детектив и мыслитель. СПб.: СПбГУ, 100–104.
- Колпаков Е. М., Назаренко В. А. 2004. Новый тип погребальных сооружений Приладожской курганной культуры // АВ 11, 196–201.
- Корзухина Г. Ф. 1971. Курганы в урочище Плакун близ Ладоги // КСИА 125, 59–64.
- Кочкуркина С. И., Линевский А. М. 1985. Курганы летописной веси X — нач. XIII в. Петрозаводск: Карелия.
- Кулешов В. С., Мачинский Д. А. 2004. Колбяги // Мачинский Д. А. (ред.). Ладога и Глеб Лебедев. СПб.: С.-Петербургский институт истории РАН, 207–227.
- Лапшин В. А. 1995. Археологическая карта Ленинградской области. Часть 2: Восточные и северные районы. СПб.: СПбГУ.
- Лебедев Г. С. 1977. Археологические памятники Ленинградской области. Л.: Лениздат.
- Мачинский Д. А., Мачинская А. Д. 1988. Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII–XI вв. // Чистов К. В. (ред.). Культура Русского Севера. Л.: Наука, 44–58.
- Назаренко В. А. 1970. Классификация погребальных памятников Южного Приладожья // Колчин Б. А., Шер Я. А. (ред.). Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 191–201.
- Назаренко В. А. 1974. О погребальном ритуале приладожских курганов с очагами // КСИА 140, 39–45.
- Назаренко В. А. 1976. Раскопки курганов на Тихвинке // КСИА 146, 99–100.
- Назаренко В. А. 1979. Исторические судьбы Приладожья и их связь с Ладогой // Баран В. Д. (ред.). Славяне и Русь (На материалах восточнославянских племен и Древней Руси). Киев: Наукова думка, 106–114.
- Назаренко В. А. 1983. Погребальная обрядность приладожской чуди. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
- Назаренко В. А., Овсянников О. В., Рябинин Е. А. 1984. Средневековые памятники чуди заволочской // СА 4, 196–214.
- Назаренко В. А. 1985. Могильник в урочище Плакун // Седов В. В. (ред.). Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. Л.: Наука, 156–169.
- Назаренко В. А. 1988. О первой находке «домика мертвых» в Приладожье // Лебедев Г. С. (ред.). Тихвинский сборник. Археология Тихвинского края. Тихвин: Б. и., 75–79.
- Назаренко В. А., Назаренко Ю. А. 1989. «Домики мертвых» и погребальная обрядность приладожской чуди (некоторые аспекты ее представлений о загробном мире) // Янин В. Л. (ред.). Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 38–41.
- Назаренко В. А. 2017. Тихвинский триллер (о раскопках на Вороньей реке в Приладожье) // Мусин А. Е. (ред.). В камне и в бронзе. СПб.: ИИМК РАН, 351–360.
- Носов Е. Н. (ред.). 2016. Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления. СПб.: ИИМК РАН.
- Петренко В. П. 1994. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII–X вв. Сопки Северного Поволжья. СПб.: Наука.

# Язык вещей





Б. А. Раев

## Гагатовые пряжки из Жутовского могильника. Археологические признаки миграций

*Гипотеза обходной миграции... предполагает подвижную группу населения, прошедшую по всем этим очагам и вобравшую там в свою культуру различные разнородные компоненты*

(Клейн 1973: 8)

**Резюме.** В статье рассматриваются находки неметаллических поясных пряжек, инкрустированных вставками камней и металла в памятниках кочевого населения Евразии в последние века до н. э. Находки концентрируются в трех регионах: на Юге Сибири в памятниках хунну, в погребениях кочевого населения оазисов Согдианы и в сарматских курганах Поволжья.

Памятники всех регионов единовременны, хронологические различия между ними, при современном состоянии разработанности проблемы, неуловимы или несущественны. Можно говорить о двух возможностях практически единовременного распространения пряжек на такой огромной территории: хорошо налаженных торговых контактах или перемещении вещей с их хозяевами, т. е. миграции. Последние века до н. э. — это время, когда связи по маршрутам Шелкового пути только начинают оформляться, и предпочтительным представляется второй вариант.

Анализ специфических конструкций могил, отдельных черт погребального ритуала и некоторых вещей выявляет поразительное сходство между могилами хуннов Забайкалья, Среднего Енисея и сарматов Нижнего Поволжья. Катакомбная форма

**B. A. Raev. Jet buckles from the Zhutovsky cemetery. Archaeological signs of migrations.** This paper deals with non-metal belt buckles inlaid with stones and metal inserts found in the Eurasian nomadic sites of the last centuries BC. The finds are concentrated in three regions: South Siberia, where they are known from the Xiongnu sites; the oases of Sogdiana, in the burials of the nomadic tribes; the Lower Volga region, in Sarmatian kurgans. The archaeological sites of all these regions are contemporary. At the present level of examination of the issue, the chronological differences between them are either subtle or insignificant. There are two possibilities that could explain the practically simultaneous widespread of the buckles: well-established trade contacts, or the travel of artifacts with their owners, i. e. migration. The last centuries BC was the time when the communication routes along the Silk Road were at the initial stage of formation, and the second possibility, in the author's opinion, is more preferable.

The analysis of certain specific grave constructions, funeral rituals and artifacts reveals striking similarities between the graves of the Huns in the Trans-Baikal and middle Yenisei regions, and the Sarmatians graves

могильной ямы, которая не известна хунну Сибири, могла быть заимствована у родственных кочевых племен Центральной Азии.

**Ключевые слова:** кочевники Евразии, ранний железный век, хунну, сарматы, поясная гарнитура, миграции.

of the Lower Volga. The catacomb as a form of grave construction, which was not known to the Huns in Siberia, could have been borrowed by them from the kindred nomadic tribes of Central Asia.

**Keywords:** nomads of Eurasia, Early Iron Age, Xiongnu, Sarmatians, belt buckles, migrations.

В 1964 году в междуречье Волги и Дона экспедицией ЛОИА были начаты исследования Жутовского курганного могильника, более ста насыпей которого вытянуты семикилометровой цепью на верхней террасе правого берега р. Есауловский Аксай. Сейчас это не только один из наиболее полно исследованных могильников региона, но и памятник, отдельные курганы которого входят в число самых богатых захоронений первых веков н. э. на юге России. Погребение 4 в кургане 27, из которого происходят пряжки, является не самым богатым, но, безусловно, одним из самых необычных захоронений могильника.

Оно было раскопано в первый год исследования памятника, и через 25 лет опубликовано в ряду других могил этого кургана (Скрипкин, Шинкарь 2010: 128–132). Планировка и оформление камеры необычны для подбойных могил железного века: из первой камеры был сооружен вход во вторую, а стены и потолок первой камеры обложены плахами. Широкий вход в подбой был также закрыт частоколом из плах, на который опирался наклонный накат из жердей во входной яме. Авторы публикации включили погребение в ряд хорошо известных комплексов кочевнической аристократии и отметили как общую для них черту влияние восточных традиций в вещевом материале (Скрипкин, Шинкарь 2010: 136). К этому можно добавить, что Жутовское погребение, помимо восточных влияний (скорее — вливаний) в вещевом комплексе, имеет явные восточные черты как в деревянном сооружении, так и в некоторых деталях погребального ритуала. Анализ конструкции погребального сооружения и его связи с восточными прототипами лежит вне темы данной работы; она будет посвящена редким для Поволжья находкам — гагатовым пряжкам — и их необычному положению в могиле.

Пряжка А (рис. 1*b*: 1; рис. 2: 1*a*). У коротких сторон просверлены по два круглых отверстия. Между одной парой отверстий на лицевой поверхности проточена неглубокая канавка, позволявшая «утопить» в ней шнур крепления. Вторая пара отверстий соединена такой же канавкой, но она не глубокая, слабо выделена и, скорее всего, появилась в результате выработки слоя гагата при трении, а не была проточена мастером.

Пряжка Б (рис. 1*b*: 2; рис. 2: 1*b*). У одной короткой стороны просверлено три отверстия, у второй сделан сквозной пропиленый вытянутой овальной формы. Между пропилом и краем пластины просверлено круглое сквозное отверстие, в которое вставлен круглый бронзовый стержень. На оборотной стороне стержень раскопан, на лицевой верхняя часть его обточена и превращена в крючок прямоугольного сечения в основании. Край крючка заострен, сработан. Края отверстий и пропила, через которые пропускались ремни и шнуры крепления, с лицевой стороны сильно сработаны.

Лицевые поверхности обеих пластин украшены просверленными вдоль длинных сторон и с угла на угол рядами круглых отверстий воронковидной формы

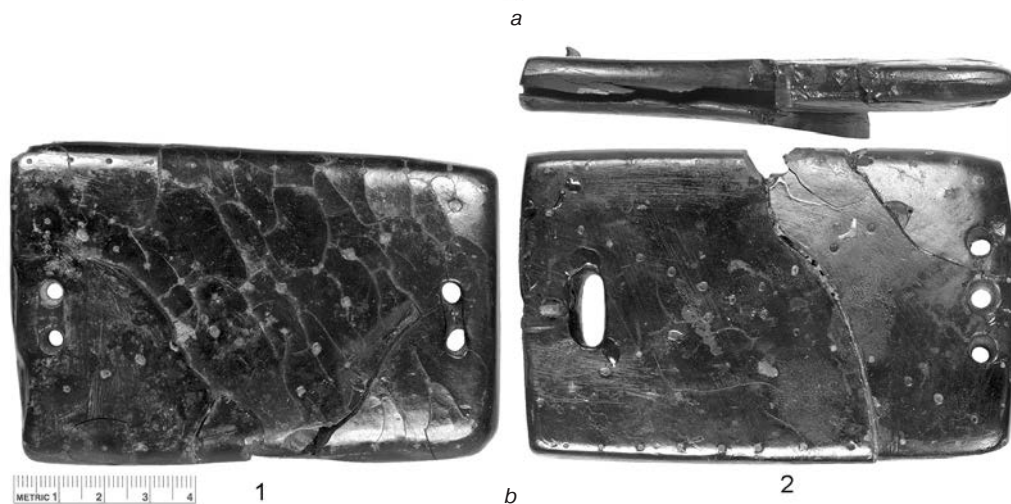
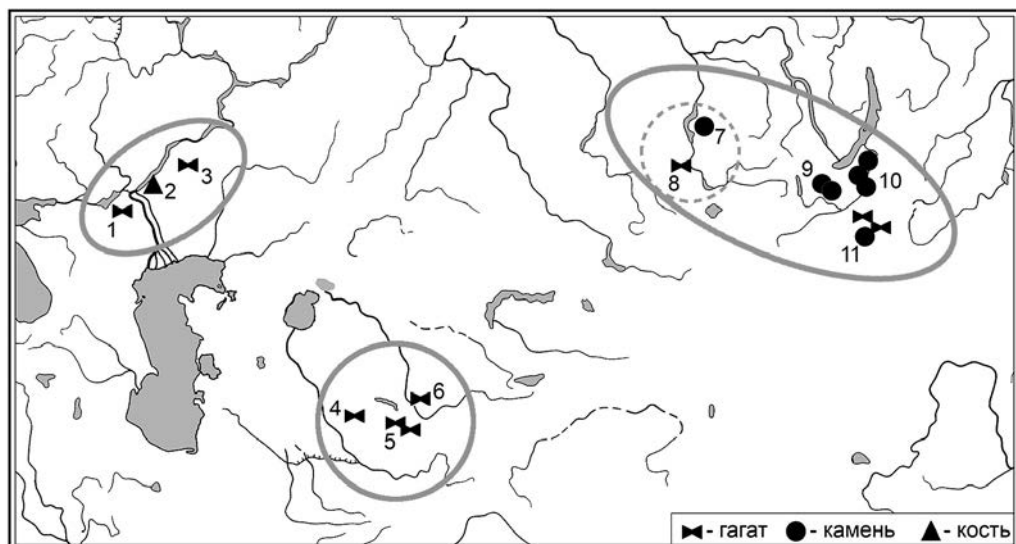


Рис. 1. а — находки поясных пряжек, инкрустированных металлом или бирюзой в Евразии: 1 — Жутово; 2 — Верхнее Погромное I; 3 — Питерка; 4 — Кую-Мазар; 5 — Кызылтепе; 6 — Жаман-Тогай; 7 — Каменка; 8 — Калы; 9 — Дырестуйский могильник; 10 — Иволгинский комплекс; 11 — Монгольское плато; б — поясные пряжки: Жутово, курган 27, погребение 4 (фото М. Ю. Трейстера, 2015)

Fig. 1. а — distribution of belt buckles inlaid with bronze, gold, silver or turquoise in Eurasia: 1 — Zhutovo; 2 — Verkhnee Pogromnoe; 3 — Piterka; 4 — Kuyu-Mazar; 5 — Kyzyltepe; 6 — Zhaman-Togay; 7 — Kamenka; 8 — Kaly; 9 — Dyrestuisky cemetery; 10 — Ivolginsky complex; 11 — Mongolian Plateau; б — Belt buckles from Zhutovo, barrow 27, grave 4 (photo by M. Yu. Treister, 2015)



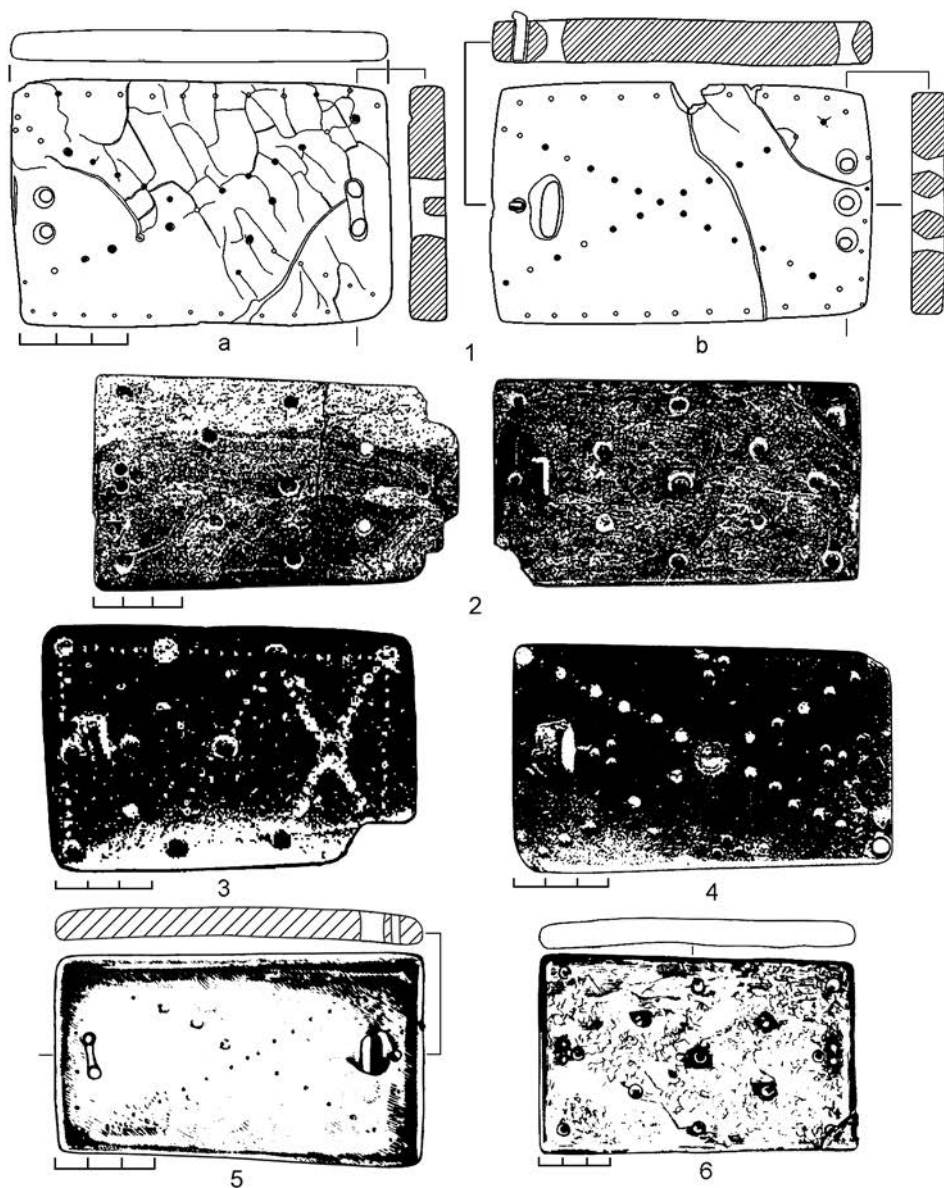


Рис. 2. Инкрустированные поясные пряжки: 1 — Жутово, курган 27, погребение 4 (рисунки Н. Е. Беспалой); 2–4 — Монгольское плато (по: Takahama 2002: табл. I: 5, 6, 8); 5 — Иволгинское городище, жилище 28 (по: Давыдова 1995: табл. 53: 7); 6 — Иволгинское городище, жилище 36 (по: Давыдова 1995: табл. 69: 25). 1, 3, 4 — жагат; 2, 5, 6 — камень

Fig. 2. Inlaid belt buckles: 1 — Zhutovo, kurgan 27, grave 4 (drawing by N. E. Besspalaya); 2–4 — The Mongolian Plateau (after: Takahama 2002: tabl. I: 5, 6, 8); 5 — Ivolginsky hillfort, dwelling 28 (after: Давыдова 1995: tabl. 53: 7); 6 — Ivolginsky hillfort, dwelling 36 (after: Давыдова 1995: tabl. 69: 25). 1, 3, 4 — jet; 2, 5, 6 — stone

с глубоким каналом в центре для инкрустации тонкими гвоздиками с широкими шляпками. В некоторых каналах сохранились обломки бронзовых гвоздиков<sup>1</sup>.

С территории Нижнего Поволжья происходит еще одна гагатовая пряжка (рис. 3: 5). Она была найдена в погребении 9 кургана 1 у с. Питерка в Саратовском Заволжье (Ляхов, Мордвинцева 2000: 105). Орнамент пряжки аналогичен Жутовской, в гнездах сохранились четыре золотых гвоздика, но ряд особенностей говорит о ее долгом использовании. Во-первых, она не парная, ее отличает и количество отверстий у короткого конца: их пять, хотя обычно отверстий бывает два, только в одном случае — у описанной выше пряжки Б — три. Два первоначальных, в центре, сильно сработаны. К ним дополнительно, вытащив из гнезд гвоздики инкрустации, просверлили еще два по углам, а когда одно из угловых сломалось, на месте соседнего гвоздика сделали еще одно отверстие. Дополнительные отверстия, сработанные гораздо меньше, понадобились или из-за увеличения ширины пояса, или — что более вероятно — из-за крепления пряжки не к поясу, а к краю распашной одежды. К поздним переделкам относится и скругление одной из коротких сторон из-за того, вероятно, что углы откололись. Сделана работа крайне небрежно, углы не симметричны, при их шлифовке полностью или частично были сточены несколько гнезд для инкрустации.

Интересна пара пряжек из погребения 13 кургана 1 у с. Верхнее Погромное, раскопанного в 1954 г. В. П. Шиловым на левобережье Волги (рис. 3: 4). Пластины роговые, инкрустированы чередующимися рядами железных и бронзовых гвоздиков, и в целом производят впечатление имитации гагатовых образцов, изготовленной из недорогих подручных материалов (Шилов 1975: 47, рис. 36: 1). Подтвердить это наблюдение хронологическими аргументами сложно. Погребение в кургане 27 Жутовского могильника датируется авторами II–I вв. н. э. (Скрипкин, Шинкарь 2010: 136), так же широко определяют время погребения у с. Питерка С. В. Ляхов и В. И. Мордвинцева, не находя в его инвентаре оснований для более узкой даты (Ляхов, Мордвинцева 2000: 108). В Верхнем Погромном кроме пряжек в могиле 13 был только короткий меч с кольцевым навершием рукояти, но в разделе работы о мечах и кинжалах дана только его прорисовка (ср.: Шилов 1975: рис. 49: 2). Сейчас принято считать, что появление их в Волго-Донских степях приходится на II–I вв. до н. э., продолжают они использоваться и в более позднее время, попадая с кочевниками далеко на запад (Скрипкин 2010: 341, 345–346).

Вторым районом, в котором сосредоточены находки гагатовых поясных пряжек, является Бухарский оазис и курганы среднего течения Сырдарьи (рис. 1а: 4–6).

Гагатовая пряжка была найдена на поясе погребенного в кургане 31 Кую-Мазарского могильника (рис. 3: 1) в подбойном захоронении, пол, стены и ступенька колодца которого были покрыты четырехсантиметровым слоем камыша. По описанию, на лицевой поверхности пряжки «видны вбитые в нее бронзовые стерженьки» (Обельченко 1956: 215). В составе инвентаря были также оселок, железные пряжки, трехлопастные наконечники стрел, костяные накладки на лук и длинный меч с прямым перекрестием (Там же: 215–216, рис. 13; рис. 16: 3).

<sup>1</sup> Размеры пластин: а — 10,4 × 6,7 см, толщина 0,8 см, Ø отв. 0,4 см; б — 10, × 6,7 см, толщина 0,9 см, Ø отв. 0,4–0,45 см, прорезь 1,5 × 0,5 см. Крючок: длина 1,6 см, сечение основания на лицевой стороне 0,36 × 0,25 см. Отверстия для инкрустации Ø 0,1–0,25 см. Пластины деформированы из-за растрескивания и вздутия отслаивающихся участков поверхности, по краям многочисленные сколы, инкрустация утрачена.

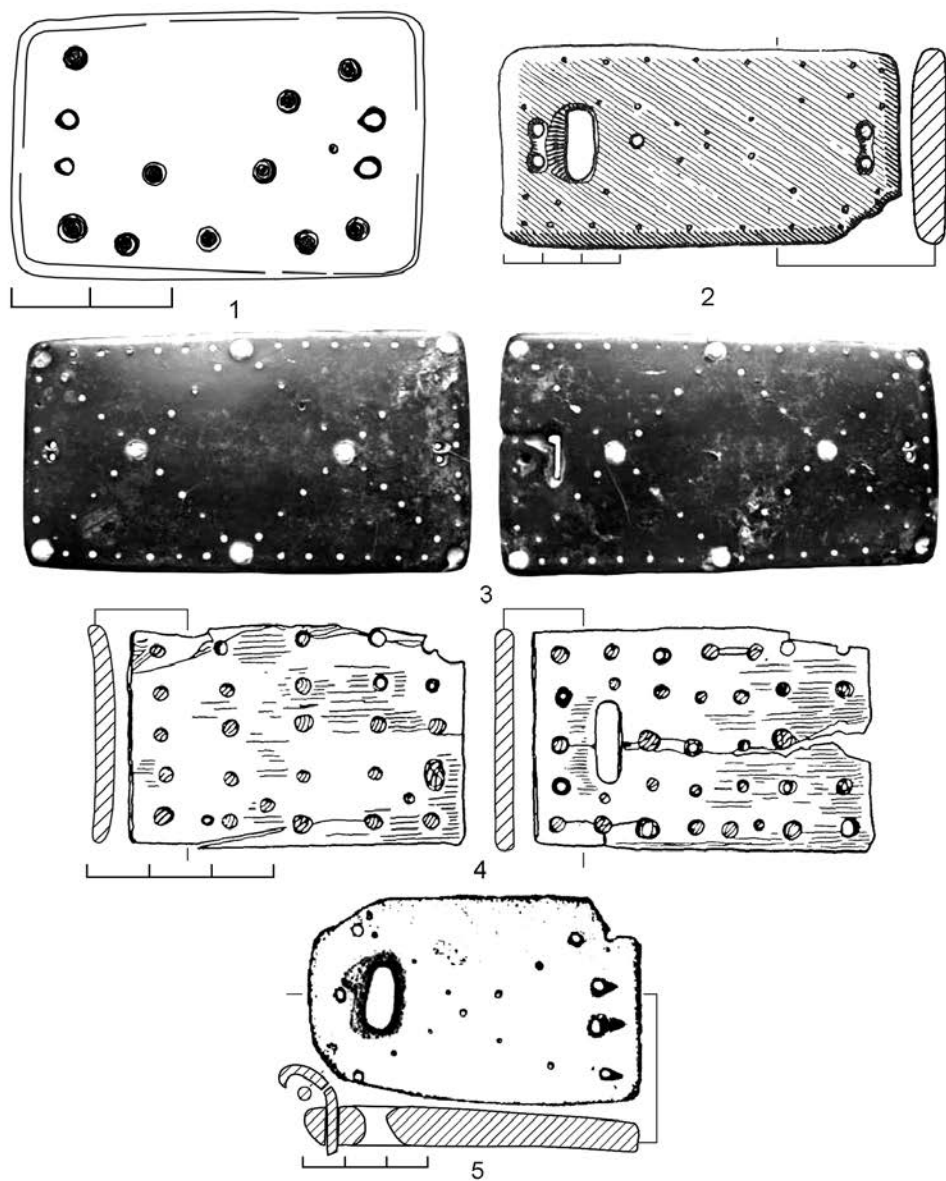


Рис. 3. Инкрустированные поясные пряжки: 1 — Кюю-Мазар, курган 31 (по: Обельченко 1956: рис. 13, обводка фото); 2 — Калы, погр. 32 (по: Кузьмин 1988: рис. 14: 34); 3 — Кызылтепе, курган 2 (по: Ильясов 2015: ил. 1); 4 — Верхнее Погромное I, курган 1, погребение 13 (по: Шилов 1975: рис. 36); 5 — Питерка, курган 1, погребение 9 (по: Ляхов, Половинкина 2009: рис. 9: 7). 1-3, 5 — гагат; 4 — кость

Fig. 3. Inlaid belt buckles: 1 — Kuiu-Mazar, kurgan 31 (after: Obelchenko 1956: fig. 13, drawing over a photograph); 2 — Kaly, grave 32 (after: Kuzmin 1988, fig. 14: 34); 3 — Kyzyltepe, kurgan 2 (after: Ilyasov 2015: ill. 1); 4 — Verkhnee Pogromnoe I, kurgan 1, grave 13 (after: Shilov 1975, fig. 36); 5 — Piterka, kurgan 1, grave 9 (after: Lyakhov, Polovinkina 2009, fig. 9: 7). 1-3, 5 — jet; 4 — bone

Позже О. В. Обельченко включил последний в группу длинных мечей с прямыми перекрестиями, как железными, так и бронзовыми, отметив, что находки их связаны с сарматскими могильниками на большой территории от Западной Сибири до Днепра (Обельченко 1978: 118–119). Общеизвестно, что длинные мечи с бронзовыми литыми перекрестиями изготовлены в Китае или китайскими мастерами, а такие же мечи с железными перекрестиями — в подражание им (Маслов 1999: 221; ср.: Симоненко 2015: 66–67)<sup>2</sup>. Автор раскопок датировал погребения Кую-Мазарского могильника II–I вв. до н. э., отметив их связь не с гуннской экспансией, а с сарматскими памятниками Поволжья и Южного Приуралья (Обельченко 1956: 226). Позже, характеризуя комплекс находок в могильнике, О. В. Обельченко счел возможным сузить дату кургана 31, отнеся его к группе захоронений второй половины II в. до н. э. (Обельченко 1992: 90).

Две пары пряжек были найдены в курганах 2 и 13 Кызылтепинского могильника, исследованного в Бухарском оазисе. В кургане 2 пряжки найдены в области пояса погребенного в камере катакомбы. Захоронение сопровождалось керамическими сосудами, оселком, железными наконечниками стрел и длинным мечом с литым бронзовым перекрестием (Там же: 41–42). Лицевая сторона пряжек инкрустирована бирюзой по периметру, а в центральной части ряды инкрустации образуют ромб, два угла которого соединены вставками с углами пластин (рис. 3, 3). Публикуя пряжки из кургана 2, Дж. Ильясов приводит им параллели в том числе из хуннских памятников Забайкалья (Ильясов 2015: 64, илл. 1; цв. вклейка, с. IV). Длинный меч с литым бронзовым перекрестием свидетельствует о связях с тем же кругом памятников, о чем говорилось выше.

Вторая пара пряжек из кургана 13 не воспроизводилась в публикациях, но, судя по описанию, ее оформление ближе к пряжкам из Жутовского кургана. Длина обеих пластин около 10 см, ширина 5–6 см. На одной из них у коротких сторон просверлено по два отверстия, у второй также два отверстия у одной из сторон, а у другой — широкая прорезь, рядом с которой кнопка для надевания ремня. По периметру пряжки инкрустированы слабо выступающими свинцовыми (?) или оловянными (?) гвоздиками, такие же ряды гвоздиков, пересекаясь в центре, соединяют углы пластин (Обельченко 1992: 55–56). Одна пластина лежала у коленного сустава, вторая — между костями руки и грудной клеткой. В погребении были керамические сосуды, оселок, железные пряжки и длинный железный меч с прямым перекрестием. О. В. Обельченко отнес все погребения могильника ко II–I вв. до н. э., а курганы 2 и 13 ко второй половине II в. до н. э. и I в. н. э. соответственно. Дата кургана 2 обоснована ссылкой на датированный монетой второй половины II в. до н. э. курган 14, в котором был найден меч, аналогичный мечу из кургана 2. Аргументов в пользу поздней даты кургана 13 автор не привел (Там же: 88).

Пара пряжек происходит из кургана 21 могильника Жаман-Тогай в Южном Казахстане (рис. 4: 5). Там мужское захоронение в узкой яме с заплечиками сопровождалось богатым инвентарем. Пряжки с зооморфными фигурами и тамгами на одной из сторон были найдены у кисти правой руки, на уровне пояса погребенного, авторы считали, что они сделаны из «смолы», а отверстия на обратной стороне сделаны для металлических заклепок крепления пряжек к ремню

<sup>2</sup> В 1978 г. О. В. Обельченко по соображениям привходящего характера просто не мог говорить о влияниях, а тем более об экспансии носителей культур Северного Китая в Центральную Азию, о чем я уже писал (Раев 2014: 172).

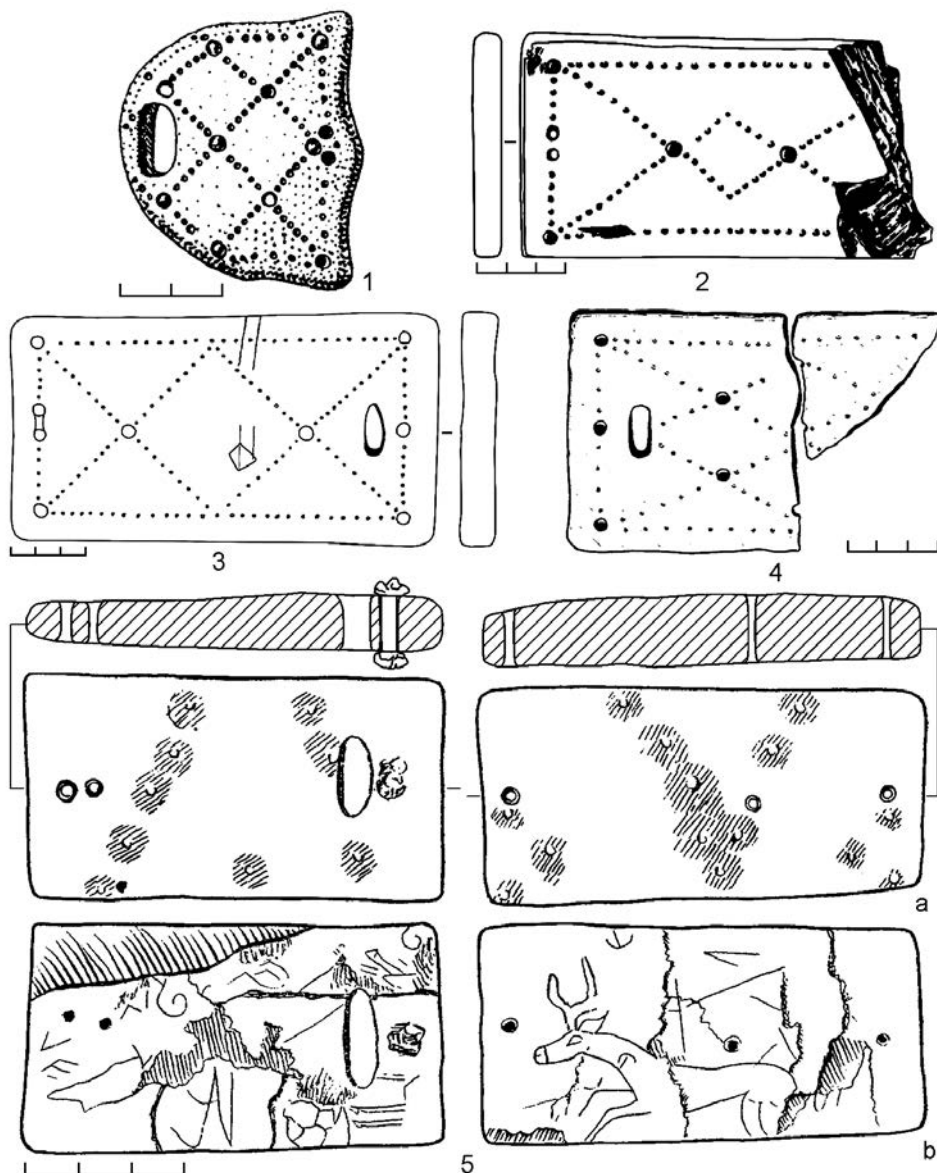


Рис. 4. Инкрустированные поясные пряжки: 1 — могильник Каменка V, погр. 6 (по: Пшеницына 1992: табл. 94: 80); 2 — Иволгинский могильник, погр. 139 (по: Давыдова, 1996: табл. 40: 3); 3 — Дырестуйский могильник, погр. 52 (по: Миняев 2007: табл. 36: 1); 4 — Дырестуйский могильник, погр. 123 (по: Миняев 2007: табл. 36: 1); 5 — Жаман-Тогай, курган 21 (по: Максимова и др.: 1968: рис. 5). 1-4 — камень; 5 — гагат

Fig. 4. Inlaid belt buckles: 1 — Kamenka V, grave 6 (after: Пшеницына 1992: tabl. 94: 80); 2 — Ivolginsky, grave 139 (after: Давыдова, 1996: tabl. 40: 3); 3 — Dyrestuisky, grave 52 (after: Миняев 2007: tabl. 36: 1); 4 — Dyrestuisky, grave 123 (after: Миняев 2007: tabl. 113: 8); 5 — Zhaman-Togay, kurgan 21 (after: Максимова et al.: 1968: fig. 5). 1-4 — stone; 5 — jet

(Максимова и др. 1968: 185, рис. 5). Кажется, никто до А. Н. Подушкина не описывал тронки отверстия с остатками металлических гвоздик на обратной стороне пряжки как часть геометрического орнамента (Подушкин 2012: 42)<sup>3</sup>. Стертость отверстий, отмеченная на рисунке (ср. рис. 4: 5а), дает основания полагать, что к моменту захоронения лицевой стороной была та, что с рисунками, а первоначальная инкрустация частично утрачена, и остатки ее зашлифованы.

Авторы датируют погребение рубежом эр, связав его вещевой комплекс с продвижением хунну на запад. Движение это, по их мнению, началось в I в. до н. э. и к рубежу эр достигло государства Кангюй в среднем течении Сырдарьи (Максимова и др. 1968: 188). Здесь, как и в 31-м Кую-Мазарском кургане, вывод основан на типе длинного меча с прямым перекрестием. Позже Дж. Я. Ильясов и Д. В. Русанов отметили найденную с мечом костяную скобу, сделанную в подражание китайским нефритовым (Ilyasov, Rusanov 1998: 135, note 13, pl. 16: 9).

В могильниках региона есть костяные пряжки, которые выглядят как подражания гагатовым. В отличие от пряжек из Верхнего Погромного, в орнаментации они утрачивают такой важный элемент, как инкрустация, и сохраняют общую схему: циркульные окружности по краям пластины, соединенные прочерченными линиями. Одна из таких пряжек найдена в кургане 7 упомянутого выше Кую-Мазарского могильника (Обельченко 1956: 209–210, рис. 5; Литвинский 1973: 70, табл. 9: 2). Вторая — в слое на городище Кампыртепа в Южном Узбекистане (Лунева 2001: 121, рис. 2, 1).

В областях, из которых, как полагают, хунну начали миграцию на запад, известны находки пряжек с подобным орнаментом (рис. 1а: 7–11)<sup>4</sup>. Прежде всего следует отметить, что в Южной Сибири, Забайкалье и Монголии пластины пряжек, за редким исключением, сделаны не из гагата, а из мягких пород камня, чаще всего из глинистого сланца. Такая пластина найдена в погребении 139 могильника Иволгинского городища (рис. 4, 2). Погребение нарушено грабителями, поэтому трудно сказать, была ли пластина парной (Давыдова 1996: 58, табл. 40: 1–5).

Пряжки из сланца, орнаментированные на лицевой стороне пересекающимися линиями вставок, обнаружены в жилищах Иволгинского городища (Давыдова 1995: 39, табл. 53: 7; табл. 69: 25). Элементы орнамента одной из них инкрустированы золотой фольгой (рис. 2, 5), у второй вставки изготовлены из перламутра и сердолика (рис. 2, 6). Автор раскопок городища и могильника А. В. Давыдова датирует его II–I вв. до н. э., выделяя находки конца III в. до н. э. (Давыдова 1985: 83). В 1996 году, возвращаясь к датировке комплекса и возражая оппонентам, А. В. Давыдова подчеркивает, что отдельные находки безусловно говорят о том, что Иволгинский комплекс — один из самых ранних

<sup>3</sup> Автор ошибочно описывает пряжки из кургана 21 Жаман-Тогай как «явно роговые» (Подушкин 2012: 42). Из досадных неточностей автора назову еще неверное изображение пряжки из могильника Каменка V на Енисее (Там же, рис. 5: 16): в могиле 6 была найдены одна пряжка, а не пара (о ней ниже).

<sup>4</sup> Из обзора пряжек, инкрустированных пересекающимися диагональными и прямыми рядами, исключены те, в которых линии углублений ограничены прочерченными линиями (ср., напр.: Давыдова 1995: табл. 16, 6, 7; табл. 145, 6). Это сделано, прежде всего, потому, что к западу от Южной Сибири пряжек с таким орнаментом нет, они не инкрустированы вставками, и их включение в сводку сибирских находок никакой новой информации в данном случае не даст. Я также исключаю из обзора работы, в которых изложены скорее экстравагантные, чем строго научные предположения о характере орнамента на пряжках (Марсадалов 2014: 441–459).

памятников хунну в Забайкалье. Основания для ранней даты, перечисленные А. В. Давыдовой, — фрагменты импортных зеркал, бронзовый наконечник стрелы, железные орудия самого конца III в. до н. э. (Давыдова 1996: 24), кажутся предметами, которые могли попасть в слой случайно и в более позднее время. Аргументация исследователей, относящих памятник к самому концу II — I в. до н. э., а по найденным монетам даже ко второй половине I в. до н. э., представляется более убедительной, тем более что она подкреплена исследованием технологии производства стеклянных украшений (Миняев 2007: 74).

Еще одна пара пряжек из глинистого сланца была найдена в погребении 52 Дырестуйского могильника (Миняев 2007: 91, табл. 36). Пластины лежали у коленных суставов погребенной, одна из них орнаментирована по периметру и в центральной части пересекающимися линиями просверленных углублений, образующими в центре ромб (рис. 4, 3), вторая гладкая. Скорее всего, одна из пластин была добавлена в комплект взамен утраченной парной.

В заполнении ямы ограбленного погребения 123 этого же могильника найдены обломки еще одной пряжки (рис. 4: 4). Ее орнамент аналогичен орнаменту пряжки из могилы 52 (Миняев 2007: 101, табл. 113: 2). С. С. Миняев считает наиболее вероятной датой могильника вторую половину I в. до н. э., обосновывая вывод некоторыми планиграфическими особенностями и находкой в нескольких комплексах монет, чеканенных не ранее 72 г. до н. э. (Там же: 74).

Южнее, на территории Монгольского плато были найдены несколько пряжек, не только территориально, но и типологически примыкающих к Забайкальским (Takahata 2002: fig. 1, 8). Две из них сделаны из гагата (рис. 2, 3, 4), одна пара каменных. У последних совпадает схема расположения линий орнамента, но форма отлична: передняя сторона одной пряжки оформлена ступенчатыми вырезами на углах (рис. 2, 2).

На Среднем Енисее, в памятниках Минусинской котловины, есть две пряжки с точечным орнаментом. Одна из них, каменная, происходит из погребения 6 могильника Каменка V, раскопанного Я. А. Шером в начале 1960-х гг. На лицевой стороне пряжки орнамент из пересекающихся рядов инкрустации вписан в иную, не прямоугольную форму (рис. 4, 1). М. Н. Пшеницына отметила, что пряжка инкрустирована сердоликом и «белой пастой», и предположила, что она сделана из половинки пряжки, завезенной из Забайкалья (Пшеницына 1992: 232, табл. 94: 80). Область, с которой автор связал происхождение этой пряжки, не вызывает сомнений, а вот вывод о ее переделке представляется не верным. Этот предмет был задуман, вырезан и орнаментирован именно таким, каким он был найден. Изгибы линий инкрустации с точностью следуют линии внешнего контура, что совершенно невозможно было сделать на старом прямоугольном изделии. Косвенно это подтверждается тем, что у хунну Забайкалья есть застёжки подобной формы (ср.: Takahata 2000: fig. 1, 4).

Вторая, гагатова, была найдена в погребении 32 могильника Калы (рис. 3, 2). В могильной яме с остатками сруба с перекрытием (потолком) были обнаружены скелеты трех погребенных, сосуд на поддоне, имитирующий бронзовый литой котел (?), бусы из цветного фаянса (Кузьмин 1988: 61).

Итак, находки пряжек с инкрустацией различными материалами сосредоточены в трех локальных — по масштабам степного пояса Евразии — регионах. Первый из них это юг Восточной Сибири, Забайкалье и Северная Монголия, где пряжки найдены на поселениях и в могильниках хунну. В этом регионе выделяются памятники Среднего Енисея — одной из периферийных провинций госу-

дарства Хунну. Она существовала в географических рамках Минусинской котловины, что и определило ее как Минусинскую провинцию хунну (Савинов 2009: 102). Основным материалом для изготовления пряжек был мягкий глинистый сланец, лишь три экземпляра изготовлены из гагата: два в Северной Монголии и один на Енисее. Если прибавить к ним неорнаментированные или орнаментированные в другом стиле, количество каменных пряжек станет преобладающим. Такая диспропорция кажется странной, если принять во внимание, что специалисты особо отмечают крупные месторождения гагата в районе Иркутска. Минерал добывали и обрабатывали в Прибайкалье в древности, дожил этот промысел и до нового времени (Ферсман 2003: 258)<sup>5</sup>.

Второй — Бухарский оазис и области к северу от него на правобережье Сырдарьи. Все четыре найденные здесь инкрустированные пряжки сделаны из гагата, и Урсула Бросседер полагает, что по крайней мере некоторые из них — местного производства (Brosseder 2011: 414). Не столько отсутствие месторождений гагата в Центральной Азии, сколько отсутствие каких-либо прототипов подобных пряжек заставляет не согласиться с ее предположением. Кроме того, пряжки появляются в комплекте с длинными мечами с бронзовыми перекрестиями — предметами китайского производства. Погребение в Жаман-Тогайском кургане 21, пряжка из которого подверглась серьезной переделке, совершено в яме с заплечиками и мощным перекрытием, все остальные захоронения — в ямах с подбоями, обычных для курганных могильников кочевого населения региона.

Наконец, третий регион — Нижнее Поволжье, где в двух могилах найдены три гагатовые пряжки. Еще одну находку, комплект пряжек из Верхнего Погромного, есть все основания считать упрощенной копией гагатовых пластин. Костяные пластины очень тонкие, что при наличии большого количества сквозных отверстий делает их ломкими и непригодными к использованию, поверхности их слабо подшлифованы. Не могут ли они быть частями подкладок под пластины металлических пряжек, которые слегка обработали и добавили инкрустацию? По своим размерным характеристикам они похожи на подобные пластины из дерева, часто встречаемые в могилах хунну Забайкалья (ср.: Миняев 2007: табл. 39: 2; табл. 88: 34; табл. 95: 14, 15; табл. 104: 15).

Серьезным препятствием для выявления связей между всеми тремя регионами служит отсутствие точной хронологии памятников. Захоронения во всех трех регионах, как и слои Иволгинского городища, суммарно относятся ко II–I вв. до н. э. Выводы тех немногих работ, в которых хронология могильников Южной Сибири и Поволжья представляется более дробной, пока нельзя признать устойчивыми. Могильники Центральной Азии, за редким исключением, в последние годы вообще лежат вне зоны интересов местной археологии. Отметив несомненную связь курганных захоронений Поволжья и регионов к северу от Амударьи, Урсула Бросседер пришла к выводу о том, что объяснить ее без хорошей хронологии трудно (Brosseder 2011: 414). Добавлю, что еще труднее объяснить культурную связь регионов, лежащих на противоположных концах степей Евразии — в Южной Сибири и на Нижней Волге.

<sup>5</sup> Ошибка авторитетного ученого сослужила дурную службу отечественной археологии. Допущенная им абберация букв «и» и «е» в слове «гишер» (армянск. *ночь*), которым часто обозначают гагат, привела к тому, что в большинстве современных работ ошибочно употребляется слово «гешир» (Ферсман 2003: 259; ср. Алексеева 1978: 6 и др.).



В отсутствие четкой хронологии попробуем сравнить некоторые детали конструкции погребальных сооружений в этих регионах. В Дырестуйском могильнике, согласно подсчетам С. С. Миняева, из 107 погребений 32 % составляют захоронения в гробах, помещенных или в срубы, или в каменные ящики (Миняев 2007: 19–22, 24, таблица, рис. 11).

Элитные погребения могильника Каменка V в Минусинской котловине совершены в срубках с жердяными перекрытиями, обложенных крупными каменными плитами (Савинов 2009: 53–54), или, как в могильнике Калы, в ямах, обложенных деревянными плахами, с деревянными потолками (Кузьмин 1988: 59). Любопытно, что в последнем могильнике зафиксирована такая необычная для региона конструкция, как подбойная могила со слабо скорченными ногами погребенного (Кузьмин 1988: 61). В данном случае поза погребенного, впрочем, могла быть продиктована недостаточной длиной подбоя (ср.: Кузьмин 2011: табл. 36).

Н. Ю. Кузьмин отмечает интересную особенность деревянных конструкций в грунтовых ямах. Поскольку его описание почти дословно повторяет описание и зафиксированные полевой документацией особенности деревянной конструкции в камере погребения 4 кургана 27 Жутовского могильника, приведу его полностью: «...стены обкладывались досками, одна на другой, доски прижимались к стенам врытыми в землю вертикальными столбиками, сохранившимися на высоту до 0,4 м; на эти столбики опирались концами поперечные жерди или плахи, на которые было уложено продольное покрытие из плах или досок» (Кузьмин 1988: 59–60). Разница лишь в том, что в Жутово на столбики были уложены продольные плахи, на которые опирались плахи поперечные (ср.: Шилов 1964а: 96. — [Шилов В. П.] 1964б: л. 6 и 7).

В Жутовском погребении прослежена еще одна особенность устройства могильного сооружения, сближающая его с захоронениями в могильниках тесинского этапа Минусинской котловины. Я имею в виду помещение гроба, а чаще — рамы в сруб или каменный ящик, что делает внешнюю оболочку захоронения как бы «двухслойной». По описанию, в Жутовском подбое погребенный лежал на подстилке из камыша, покрытой войлоком (Шилов 1964а: 97). Дерево на дне подбоя не фиксировалось, если не считать небольшой плашки между костями левой руки и грудной клеткой погребенного, но автор отчета отмечает, что покойник был положен в деревянный гроб, от которого сохранились пять угольников, скреплявших его углы. Само по себе отсутствие дерева на полевом чертеже выглядит странно при очень точной и подробной фиксации всех деталей деревянной конструкции обкладки камеры.

Угольники сделаны из железных пластин, зауженные концы которых загнуты под прямым углом и вбивались в стенки гроба. Скобы найдены по одной у стоп и две за черепом, в юго-восточном углу подбоя<sup>6</sup>. Там, где должен был находиться четвертый угол, скобы нет, где была упомянутая пятая скоба, непонятно. Поскольку на дне следов дерева нет, можно было бы говорить о том, что в могилу была поставлена рама, но отсутствие частей ее стенок и еще одной скобы дает основание говорить о том, что в подбой поместили только скобы, как символ второй камеры.

Помимо деталей конструкции обращает на себя внимание странная особенность положения пряжек в Жутовском погребении. В отличие от большинства

<sup>6</sup> В журнальной публикации (Скрипкин, Шинкарь 2010: рис. 3) на плане не отмечена деревянная плашка, а две скобы, найденные в юго-восточном углу подбоя (№ 3 полевого чертежа), ошибочно описаны вместе с деталями колчана как его детали.

могил, в которых пряжки найдены на поясе или на уровне пояса у костей рук, здесь они лежали у коленного сустава левой ноги. Одна из пряжек была поломана, и часть ее лежала под коленным суставом. Положение пряжек у коленных суставов было зафиксировано в кургане 13 Кызылтепинского могильника (Обельченко 1992: 55). В погребении 52 Дырестуйского могильника пластина с накрученными на нее двумя рядами костяных бус лежала между коленными суставами, а вторая пряжка — у кисти правой руки погребенной (Миняев 2007: 91, табл. 36).

Погребения в Кызылтепинском 13 кургане и в кургане 27 Жутовского могильника сопровождают сосуды, имеющие такую необычную деталь, как круглое отверстие в стенке в месте максимального диаметра тулова. В Жутово это двуручный сероглиняный гончарный сосуд с отбитым в древности горлом и специально пробитым отверстием, края которого зашлифованы (Скрипкин, Шинкарь 2010: 130–131, рис. 4-А: 3). В Кызылтепинском кургане это кувшин с залепленным алебастром отверстием. По мнению О. В. Обельченко в могилу был поставлен испорченный сосуд (Обельченко 1992: 55, таблица керамики, № 18). Между тем, отверстия вряд ли случайны. Исследователи не всегда отмечают такие детали отверстий в стенках сосудов, как обточка их краев, которая говорит об их специальном просверливании. Как пример, могу привести горшок из кургана 3 Друженского могильника в Челябинской области. Ни в отчете о полевых исследованиях (Архив ИА РАН, Р-1, № 11877, с. 3, рис. 15: 19), ни в публикации (Боталов, Гуцалов 2000: 44–45, рис. 12-III: 10) не описано отверстие, специально проточенное в его стенке (Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим», инв. № 401 Д/1). Отверстие с проточкой вокруг, улучшающей изоляцию вставляемой трубки (?), есть на кувшине из погребения 1 кургана 26 могильника Перегрузное I в Поволжье (рис. 5). Оно упомянуто при описании сосуда, но детали его не отмечены, а изображения нет ни в отчете (Архив Волгоградского областного краеведческого музея, № 198-а, рис. 40; рис. 44, 8), ни в публикации (Балабанова и др. 2014: рис. 51, 11). В погребениях сарматского времени в Приуралье и Поволжье найдено еще несколько сосудов со специально пробитыми в стенках отверстиями, которые, вероятно, использовались как детали каких-то перегонных приспособлений. Впрочем, этот сюжет выходит за рамки темы данной работы и будет рассмотрен отдельно.

Как бы то ни было, захоронения в трех разорванных большими пространствами регионах Евразийской степи несут в себе слишком много общих черт, чтобы их можно было считать случайными.

Я могу согласиться с Урсулой Бросседер, которая считала маловероятной прямую миграцию из Забайкалья в Поволжье (Brosseder 2011: 414). Мне представляется, что промежуточным пунктом этой миграции были степи к северу от Амударьи. Здесь мигрантами

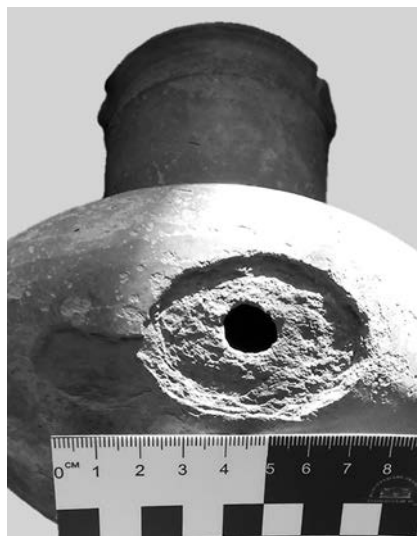


Рис. 5. Кувшин серолощенный, деталь. Могильник Перегрузное I, курган 26, погребение 1 (ВOKM, инв. № 32100/4, фото А. В. Жадаевой, 2017 г.)

Fig. 5. Gray burnished jar, detail. Peregruznoe I, kurgan 26, grave 1 (VOKM, inv. No. 32100/4, photo by A. V. Zhadaeva, 2017)

был воспринят и перенесен далее на запад подбойный тип могильной ямы (Раев, Дворниченко 2014). Отмечу, что процесс этот был достаточно кратковременным, в нем участвовали не более двух, много — трех поколений переселенцев, что отразилось в сохранении не только отдельных традиций погребальной практики, но и в прямом переносе части вещей. Не потому ли в памятниках Южной Сибири, несмотря на значительные запасы сырья, так мало поясных пластин из гагата, а в регионах, где гагата нет, они являются единственным видом неметаллических пряжек? Может быть, инкрустированные пряжки, как статусный предмет, сопровождали своих хозяев и были захоронены вместе с ними.

**Благодарности.** Я считаю своим приятным долгом выразить признательность друзьям и коллегам, которые помогли мне как информацией, так и полезными советами. Благодарю Николая Боковенко, Сергея Воронятова, Валерия Никонорова, Андрея Омельченко (Санкт-Петербург), Сергея Болелова, Владимира Малашева (Москва), Александра Подушкина (Шымкент), Алексея Горина, Джангара Ильясова (Ташкент), Елену Избицер, Александра Наймарка (Нью-Йорк). Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15–21–06001.

## Литература

- Алексеева Е. М. 1978. Античные бусы Северного Причерноморья (САИ Г1–12. Т. 2). М.: Наука.
- Балабанова М. А., Клепиков В. М., Кривошеев М. В., Демкин В. А., Перерва Е. В., Скрипкин А. С., Удадьцов С. Н., Яворская Л. В., Дьяченко А. Н. 2014. Курганский могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС.
- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю. 2000. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Рифей.
- Давыдова А. В. 1985. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятник хунну в Забайкалье. Л.: ЛГУ.
- Давыдова А. В. 1995. Иволгинский археологический комплекс. Том 1: Иволгинское городище. СПб.: АзиатИКА.
- Давыдова А. В. 1996. Иволгинский археологический комплекс. Том 2: Иволгинский могильник. СПб.: Петербургское востоковедение.
- Ильясов Дж. Я. 2015. Поясные наборы кочевников Согда // Омельченко А. В., Мирзаахмедов Д. К. (ред.). Бухарский оазис и его соседи в древности и средневековье: на основе мат-лов науч. конф. 2010 и 2011 гг. [Труды ГЭ. Т. LXXV]. СПб.: ГЭ, 63–7.
- Клейн Л. С. 1973. Археологические признаки миграций [IX Междунар. конгресс антропологических и этнографических наук, Чикаго, 1973. Доклады советской делегации]. М.: Наука.
- Кузьмин Н. Ю. 1988. Тесинский могильник у деревни Калы // Массон В. М. (ред.). Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири. Л.: Наука, 552.
- Кузьмин Н. Ю. 2011. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея. Тесинская культура. СПб.: Айсинг.
- Литвинский Б. А. 1973. Украшения из могильников Западной Ферганы [Могильники Западной Ферганы III]. М.: Наука.
- Лунева В. В. 2001. Ювелирные украшения из Кампыртепа // Ртвеладзе Э. В. (ред.). Мат-лы Тохаристанской экспедиции. Вып. 2. Археологические исследования Кампыртепа. Ташкент: SAN'AT, 113–28.

- Ляхов С. В., Мордвинцева В. И. 2000. Раннесарматское погребение у поселка Питерка Саратовской области // РА 3, 102–09.
- Ляхов С. В., Половинкина Ю. С. 2009. Курган раннего железного века у поселка Питерка в Саратовском Заволжье // Лопатин В. А. (ред.). Археология Восточно-Европейской степи. Вып. 7. Саратов: Научная книга, 196–231.
- Максимова А. Г., Мерциев М. С., Вайнберг Б. И., Левина Л. М. 1968. Древности Чардары. Алма-Ата: Наука.
- Марсадолов Л. С. 2014. «Модель мира» и основы сакрально-научных знаний древних кочевников Центральной Азии // Садыков Т. С. (ред.). Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Астана: Сарыарка, 441–459.
- Маслов В. Е. 1999. О датировке изображений на поясных пластинах из Орлатского могильника // Мелюкова А. И., Мошкова М. Г., Башилов В. А. (ред.). Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М.: ИА РАН, 219–236.
- Миняев С. С. 2007. Дырестуйский могильник. СПб.: Филологический факультет СПбГУ.
- Обельченко О. В. 1956. Кую-Мазарский могильник // Труды института истории и археологии АН Узбекской ССР VIII, 205–227.
- Обельченко О. В. 1978. Мечи и кинжалы из курганов Согда // СА 4, 115–127.
- Обельченко О. В. 1992. Культура античного Согда; по археологическим данным VII в. до н. э. — VII в. н. э. М.: Наука.
- Подушкин А. Н. 2012. К этнической истории государства Кангюй II в. до н. э. — I в. н. э. (по материалам могильников Орлат и Культобе) // SP 4, 31–53.
- Пшеницына М. Н. 1992. Тесинский этап // Мошкова М. Г. (ред.). Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 224–235.
- Раев Б. А., Дворниченко В. В. 2014. Восточные элементы обряда захоронения у с. Косика (Косика-2) // Бисембаев А. А. (ред.). Мат-лы IV Междунар. науч. конф. «Кадырбаевские чтения — 2014». Астана: Мега принт, 170–174.
- Савинов Д. Г. 2009. Минусинская провинция хунну (по материалам археологических исследований 1984–1989 гг.). СПб.: ИИМК РАН.
- Симоненко А. В. 2015. Сарматские всадники Северного Причерноморья. 2-е изд. Киев: Олег Филюк.
- Скрипкин А. С. 2010. Сарматские мечи с кольцевым навершием // Скрипкин А. С. Сарматы и Восток. Избранные труды. Волгоград: Изд-во Волгоградского ун-та.
- Скрипкин А. С., Шинкарь О. А. 2010. Жутовский курган № 27 сарматского времени в Волго-Донском междуречье // РА 1, 125–137.
- Ферсман А. Е. 2003. Очерки по истории камня. Т. 1. М.: ТЕРРА.
- Шилов В. П. 1964а. Отчет о работах Астраханской экспедиции за 1964 год // Архив ИА РАН, Р-1, № 3156.
- [Шилов В. П.] 1964б. Полевые чертежи курганов у с. Жутово // Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1, 1964, № 19–22.
- Шилов В. П. 1975. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука.
- Brosseder U. Belt Plaques as an Indicator of East–West relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennium // Brosseder U., Miller B. K. (eds.). Xiongnu archeology. Multidisciplinary perspectives of the first steppe empire in Inner Asia. Bonn: Universität Bonn. Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, 349–424.
- Ilyasov J. Ya., Rusanov D. V. 1998. A Study on the Bone Plates from Orlat // Silk Road Art and Archaeology 5, 107–159.
- Takahama Shu. 2002. Yūrajiya sōban chitai no hikinzoku seitai kazaita [Not-metallic belts in Eurasian Steppes] // Kanazawa Daigaku Kōko Kiyō [Kanazawa University Repository of Academic resources] 26, 50–63 [яп. яз.].

## Концепция «живой» и «мертвой» культур Г.-Ю. Эггерса — Л. С. Клейна и возможности познания прошлого на примере изучения амфорной тары

**Резюме.** В статье рассмотрена концепция «живой» и «мертвой» культуры Г.-Ю. Эггерса — Л. С. Клейна. Исходя из этой концепции, показаны возможности интерпретации наших знаний об амфорной таре — «остатках мертвой культуры» по Л. С. Клейну, происходящей из раскопок античных памятников.

**Ключевые слова:** концепция «живой» и «мертвой» культуры, Г.-Ю. Эггерс, Л. С. Клейн, амфорная тара.

**O. V. Sharov, H.-J. Eggers' and L. S. Klejn's concept of "live" and "dead" culture and the possibility of apprehension of the past (with special reference to amphora tare).** The author considers the concept of "live" and "dead" culture introduced by H.-J. Eggers and L. S. Klejn. With this concept as a basis, he analyses different interpretations of what is known about the amphora tare found at archaeological sites of the Classical period.

**Keywords:** concept of "live" and "dead" culture, H.-J. Egger, L. S. Klejn, amphora tare.

### Введение

Термины «живая» и «мертвая» культуры были впервые введены в научный оборот великим немецким археологом Г.-Ю. Эггерсом (Eggers 1950: 49–59). Концепция о принципиальных различиях «живой» и «мертвой» культур была оформлена несколько позднее, в 1959 году, в монографии "Einführung in Vorgeschichte" (Eggers 1959: 262–270), которая впоследствии многократно переиздавалась.

Самый тщательный и скрупулезный анализ концепции Г.-Ю. Эггерса был проведен в конце 70-х годов прошлого века Л. С. Клейном (Клейн 1978: 54–56). Коснемся кратко основных положений этой концепции.

Г.-Ю. Эггерс первым обратил внимание на качественные отличия *живой культуры* (lebende Kultur), изучаемой этнографами, от *мертвой культуры* (tote Kultur), изучаемой археологами. При этом он отметил, что до нас дошло далеко не все. На свалку и в отложения мусора у жилищ чаще попадали не те вещи, которые наиболее интенсивно использовались в жизни, а те, что чаще ломались или были слишком редко нужны. Металлические изделия служили долго; сломанные и сточенные, они не выбрасывались, а отдавались в переплавку. Горшки же разбивались, то и дело и попадали на помойку. Покойника клали в могилу не в той одежде и часто не с теми вещами, которыми он обычно пользовался при жизни (Клейн 1978: 54).

Л. С. Клейн дополнил эту концепцию, так как из этих рассуждений логически следует сделать вывод, что археологи имеют дело не с мертвой культурой, как считал Эггерс, а с остатками мертвой культуры. Разрушения, поражающие мертвую культуру, действуют на нее избирательно: разные материалы по-разному выдерживают длительное действие стихий. Металлы разрушаются от коррозии, древесина рассыпается в тлен, кости сохраняются лучше, а камень и керамика устойчиво противостоят времени. Археологи застают руины поселений почти лишенными металла, но это не значит, что его не было в живом обиходе. В то же время эти поселения перенасыщены керамикой, ее буквально горы, но это не значит, что в домах находилась вся уйма глиняной посуды сразу. Изменяется не только состав мертвой культуры, но и ее структура. Река подмывает городище, перемещает его остатки, береговую дюну разрушает ветер, и наслоения разных эпох перемешиваются в одну россыпь. Еще чаще резкие изменения вносит деятельность людей: перекопы старых отложений на городище (хозяйственными ямами, колодцами, котлованами для жилищ и т. п.), выборка грунта для укрепления, расчистка руин и нивелировка, вторичное использование крепких деталей, ограбление богатых могил и т. д.

Таким образом, необходимо выделять, по Л. С. Клейну, еще один контекст материальной культуры прошлого — «остатки мертвой культуры», которые и достаются археологам в итоге для изучения (Клейн 1978: 54–56).

Эггерс ввел еще одно состояние между «живой» и «мертвой» культурами — «умирающую культуру» (*sterbende Kultur*), обозначив так устаревшую, отживающую часть «живой культуры». Рубеж между «живой» и «умирающей» культурами проходит в разных частях культуры на разной глубине. Если повседневная одежда полностью обновляется каждые пять лет, а мебель с каждым поколением, то столовое серебро и женские драгоценные украшения (перстни, ожерелья, броши) живут в семье несколько поколений, около века, и считаются годными к употреблению. По немецким этнографическим коллекциям из восточной Померании Эггерс заметил, что и это состояние имеет предельный возраст, тоже неодинаковый в разных частях культуры (Eggers 1959: 264). Иными словами, у вещи «умирающей культуры» также есть предел их бытования, когда вещи уже не применяются в живом обиходе, а выпадают полностью в «мертвую культуру» и отлагаются там. В коллекциях почти не оказалось предметов сельского, крестьянского обихода старше XVIII в. Они не сохранились в быту и не попали в этнографический музей; их надо искать в археологических музеях. Мещанская культура горожан представлена в этнографическом музее и XVII в., отчасти XVI в. В дворянских имениях и дворцах сохранились как фамильные реликвии вещи XV в.: оружие, доспехи, инсигнии власти. Но только в церковном употреблении оказались предметы XIII в., несколько вещей XII в. и один драгоценный ларец XI в. (Eggers 1959: 258–261). Глубже в века начинается уже царство «мертвой» культуры.

Таким образом, по концепции Эггерса — Клейна существуют четыре состояния материальной культуры: 1) живая культура, 2) умирающая культура, 3) мертвая культура, 4) остатки мертвой культуры. Первыми двумя в основном занимаются этнографы, двумя последними археологи, причем первоначально археологам необходимо восстановить по сохранившимся «археологизированным» остаткам (4) мертвую культуру (3), а уж затем попытаться восстановить на основе этой реконструкции живую культуру (1). От того, насколько правильно будет проведена реконструкция *мертвой культуры* по «остаткам мертвой культуры», будет зависеть реконструкция культуры живой.

## Амфорная тара

Обратимся к одному из видов археологических источников — амфорной таре, которая является наиболее многочисленным видом находок в культурном слое античных памятников. И. Б. Брашинский отмечал, что «среди различных категорий массового археологического материала, встречающегося на античных памятниках и многих памятниках варварского Hinterland'a, керамическая тара занимает первое место. Амфоры, а чаще всего их фрагменты и амфорные клейма, нередко выступают в качестве единственного датирующего источника для определения времени археологического комплекса или даже целого памятника» (Брашинский 1984: 147). Какую информацию можно извлечь из фрагментов амфор, которые мы получаем при проведении раскопок в виде сотен, тысяч фрагментов стенок, ручек, венчиков и ножек? По характеру глины и примесей (теста) и морфологии профильных частей амфор мы можем определить центр производства, по профильным частям часто можем определить широкую дату бытования того или иного типа амфор, по клеймам — узкую дату производства и бытования того или иного типа, имя фабриканта, магистрата, в ряде случаев даже мастера. И. Б. Брашинский отмечал, что «амфорные клейма представляют для нас особую ценность, поскольку они помимо массовости имеют и другое важнейшее качество — в целом достаточно надежную и сравнительно узкую датировку. Поэтому для сравнительного изучения направлений и интенсивности или колебаний массового импорта товаров в керамической таре конкретных производственных центров в различных районах или пунктах Причерноморья в тех случаях, когда речь идет о группах амфор, в течение длительного периода клеймившихся систематически (Фасос, Синопа, Родос, Гераклея, Херсонес), можно пользоваться преимущественно керамическими клеймами, рассматривая их как выборку из генеральной совокупности всего соответствующего массового материала. Такой подход к использованию керамических клейм в качестве основного источника при изучении торговых связей получил широкое признание в науке» (Брашинский 1984: 52).

Все это так, и ценность амфорной тары, особенно клейменной, несомненно, велика для изучения торговых связей между государствами, отдельными полисами, для исследований торговых связей отдельных поселений в определенные хронологические периоды. При этих великих задачах, когда археологи становятся «политиками и экономистами античности», при современном археологическом «культе Амфоры», часто уходит на второй план тот факт, что амфора не более чем обычная тара для перевозки и временного хранения вина, масла, рыбы и т. д., и для жителей того или иного полиса, поселения или усадьбы было важно именно содержимое амфоры, а не керамическая тара, в которой продукт поступил в продажу. Но мы-то получаем лишь фрагменты амфор, иногда целые амфоры, но отнюдь не их содержимое! В живой культуре прошлого существовали известные Производитель, Заказчик, Продавец, Покупатель, вероятный Посредник и Потребитель. Можем ли мы установить этих людей, используя наши познания об амфорной таре, которая является, используя терминологию Эггерса — Клейна, «остатками мертвой культуры»? Где границы нашего познания живой культуры прошлого, если использовать для ее реконструкции амфорную тару, чаще всего в виде мелких фрагментов? Попытаемся представить вероятные этапы бытования амфорной тары в «живой» и «мертвой» культурах.

## Бытование амфорной тары в живой культуре

Можно гипотетически представить основные этапы бытования того или иного типа амфор в живой культуре, с момента производства партии амфор и до выброса ненужной пустой тары или ее вторичного использования. Возможно, с моей точки зрения, следующая условная схема:

1-й этап бытования: амфора как товар. С момента заказа и изготовления до продажи потребителю амфора является товаром, т. е. имеет реальную цену при заказе, изготовлении, перевозке и продаже, и ее цена входит в стоимость товара, в ней содержащегося (вино, масло, рыба и т. д.);

2-й этап бытования: амфора как предмет. С момента продажи Потребителю амфора является уже предметом утилизации, **предметом** бытового или сакарального использования, товарной цены уже не имеющей.

Можно предложить следующую условную схему циклов бытования амфорной тары:

*1-й цикл — от поставки амфор производителем заказчику.* Изготовленная в одном из центров производства амфорная тара является *предметом купли-продажи*. Отношения между заказчиком и производителем — *сама амфора является товаром*. Стоимость товара = стоимости амфоры (Товар-1).

*2-й цикл — от розлива продукта (вина, масла) в пустую тару до момента поступления товара в продажу.* Амфора — предмет для различного использования (розлив вина, оливкового масла для последующей доставки его в магазин, склад, рынок, корабль). Отношения между заказчиком и изготовителем продукта купли-продажи: заказчик и изготовитель продукта купли-продажи могут совпадать, могут не совпадать. Превращение амфорной тары в неотъемлемую часть другого товара. Стоимость товара = стоимость продукта (вина, масла) + стоимость амфоры, в которой он временно хранится, перевозится (Товар-2).

*3-й цикл — с момента поступления продуктов в амфорах в продажу до момента передачи товара продавцу.* Амфора — предмет для перевозки продуктов купли-продажи. Заказчик — изготовитель — продавец. В ряде случаев эти три лица также могут совпадать, но могут не совпадать, в любом случае в стоимость продукта уже включена и стоимость доставки. Стоимость товара = стоимость продукта + стоимость амфоры + стоимость перевозки, доставки (Товар 3).

*4-й цикл — с момента покупки до доставки потребителю.* Амфора — предмет для временного хранения и перевозки продукта потребления. Продавец — покупатель — потребитель. Покупатель и потребитель могут совпадать, но могут и не совпадать. Стоимость товара = стоимость продукта + стоимость амфоры + стоимость перевозки, доставки + стоимость аренды помещения + стоимость услуг продавца (Товар 4).

*5-й цикл — с момента доставки продукта к потребителю до его потребления.* Амфора — предмет для перевозки и временного хранения продукта потребления. Если покупатель и потребитель одно лицо, то стоимость товара больше не увеличивается, если же разные, то покупатель выступает посредником и стоимость товара увеличивается снова. Стоимость товара = стоимость продукта + стоимость амфоры + стоимость первичной перевозки, доставки + стоимость аренды помещения и услуг продавца + стоимость услуг покупателя-посредника для доставки продукта потребителю (Товар 5).

*6-й цикл — потребление продукта.* Возможны, как минимум, два различных вида потребления купленного продукта, который перестал быть товаром:



А. Бытовое потребление продукта (вина, масла, рыбы), купленного в амфорной таре, которая становится после потребления продукта Предметом различного назначения<sup>1</sup>.

Б. Сакральное или ритуальное потребление продукта — приношение продукта богам, духам, павшим героям или приношение умершему человеку вина в амфорной таре (Предмет 1).

Необходимо рассмотреть также два этапа употребления уже пустой амфорной тары:

*7-й цикл — от момента потребления продукта и переливания его в другую тару до вторичного использования пустой тары.* Амфора — предмет вторичного использования. Потребитель может использовать ее как минимум в двух вариантах:

А. Использование амфоры вторично для перевозки и хранения продуктов (Предмет 2).

Б. Использование амфоры для погребения как погребальной урны (Предмет 3).

*8-й цикл — от момента потребления продукта или переливания его в другую тару до выбрасывания пустой тары в места отходов, керамические кучи и т. д. (только в случае 6А).* Амфора — предмет утилизации. Археологизация амфорной тары, исчезновение части информации ввиду потери целостности (Предмет 4).

Зададимся вопросом: от кого могла зависеть форма амфоры, ее цвет, размеры, морфологические признаки оформления горла, тулова, венчика и т. д.? Мне кажется, что возможна следующая схема, которая, конечно, одна из многих:

Заказчик определяет объем, общую форму тары (государственный, городской стандарт, или новый стандарт, указанный заказчиком), цвет и отдельные детали, которые должны отличать именно его продукцию;

Производитель (мастер, фабрикант), исходя из заказа тары указанного объема и определения общей формы тары, выбирает технологию изготовления (стандартную, принятую в данной мастерской или новую) и глину, отошители, температурный режим и характер обжига, покрытие посуды ангобом, рифлением и т. д. Именно на этом этапе появляются особые морфологические детали, характерные только для этой мастерской или конкретного мастера в данный отрезок времени (ангоб, рифление, специфические морфологические детали, клеймо мастерской, дипинти), но вполне возможно, что некоторые детали могли быть указаны Заказчиком или могли копироваться или повторяться в другой мастерской, где могла изготавливаться партия продукции для того же Заказчика.

Заказчик либо поставляет продукцию (тару) изготовителю вина/масла, либо чаще всего сам является изготовителем этих продуктов, и тара после розлива вина и масла становится неотъемлемой частью товара, в цену которого включена и условная стоимость ее изготовления для заказчика.

Покупатель выбирает товар на рынке, в магазине, в лавке и первичной информацией для определения марки и типа товара для него может быть внешний вид амфорной тары, в которой тот хранится (общий контур формы, цвет, ангоб, рифление, характерные детали ручек и т. д.).

Покупатель при этом выбирает не амфоры, а продукт, находящийся в амфорах, и поэтому для него на следующем этапе выбора продукта важнее информация о самом продукте: кто его произвел, марка вина, год урожая, имя поставщи-

---

<sup>1</sup> См. ниже: Предметы № 2–4.

ка, объем в данной таре, цена товара. Эта информация могла находиться на бирках, пробке или это могла быть устная информация продавца. Вряд ли имели значение в последующем выборе вина или масла цвет амфоры, ее форма, профилированы ли ручки одним или двумя валиками, какой тип венчика и т. д. Марка вина, год урожая, фирма изготовителя или поставщика определяли качество и цену товара — продукта купли-продажи, а эта цена, главным образом, определяла объем покупки, когда вино становилось уже продуктом потребления.

Таким образом, в живой культуре прошлого были известны производитель амфорной тары, ее заказчик, производитель продукта (вина, масла, рыбы), размещенного в амфорной таре, продавец продукта в амфорной таре, покупатель продукта в амфорной таре и потребитель продукта в амфорной таре. Также были известны, вероятно, по несохранившимся биркам, пробкам: год урожая, год розлива вина, масла в амфоры или время вылова рыбы, сорт вина, масла, рыбы, место происхождения и имя владельца продукта.

Если коснуться темы экспорта-импорта, то, конечно, на основании работы магистратов городов, полисов хорошо были известны все керамические мастерские, все поставщики товаров, время поставок вина, масла, центры поставок товаров и их точные объемы.

Посмотрим, как может археология на основании фрагментов амфорной тары попытаться восстановить живую культуру.

### **Бытование амфорной тары в мертвой культуре**

Мы изучаем артефакты мертвой культуры, которые в очень неполной степени отражают живую культуру прошлого. Основной материал на античных поселениях Северного Причерноморья — это фрагменты использованной амфорной тары, но в ряде случаев, о которых поговорим ниже, встречаются и целые амфоры.

К археологам могут попадать целые или археологически целые амфоры в следующих случаях: амфоры из технического брака на месте производства (1); амфоры из открытых археологами складов амфорной тары до момента розлива вина (2); амфоры с вином в месте продажи из открытых археологами складов или магазинов в доме торговцев (3); амфоры из затонувших кораблей в процессе доставки вина потребителю (4, 5); амфоры с вином, маслом в погребениях как элементы тризны (6Б); амфоры для хранения припасов в подвалах домов (7А); амфоры в погребениях как урны (7Б); амфоры после их утилизации (8). Именно последний, 8-й цикл дает основной археологический материал.

Значительное количество амфор происходит из погребений, где амфоры выступают в качестве сопровождающего инвентаря (6Б) или в качестве погребальных урн (7Б). В ряде случаев (1–4, 6Б, 7Б) амфоры остаются целыми, часто раздавленными, но их можно склеить и получить представление об их морфологии, декоре поверхности и т. д. При значительном количестве находок целых амфор проводится классификация материала, выделяются типы, варианты, определяется их хронология, место изготовления амфор и т. д.

И на этом этапе у исследователей часто возникает вопрос — насколько проведенная классификация является естественной, т. е. насколько она отражает реальность прошлого, и для кого эти выделенные археологические типы могли быть реальностью? Для производителя, заказчика, изготовителя продуктов, продавца, покупателя или потребителя?

Форма амфоры, ее морфология, напрямую зависела от производителя<sup>2</sup> (мастерской, эргастерия), которые изготавливали партию амфор заданной заказчиком формы и указанного декора поверхности (или то и другое согласовывалось с заказчиком), используя технологию, присущую своей мастерской (выбор глины и отощителей, изготовление отдельных частей на гончарном круге и ручную, оформление венчика, горла, ручек различными приемами, но в характерном для данной мастерской или мастера стиле, характер обжига, температура обжига, цвет глины после обжига и т. д.)<sup>3</sup>. Определяя характерные группы примесей в глине, цвет черепка, полученный после обжига, мы можем определить с достаточной степенью уверенности центр производства таких амфор, особенно в случаях проведения специальных петрографических исследований (Внуков 2006: 18–100). Выделение петрографических и технологических классов амфор определяет именно производителя. А выделение морфологических типов по совокупности признаков формы и декора может определять и производителя, и заказчика.

Та или иная форма амфорной тары, тип ручки, ножки, ангоб на поверхности были до определенных пределов более важны для заказчика-изготовителя продуктов потребления, чем для производителя, чтобы товар изготовителя продукта по внешнему виду тары, в которой он временно хранился, отличался от других видов товара или от тех же видов товара, но других изготовителей. Если мы выделяем морфологические классы амфор, то, вероятно, мы можем потенциально выйти на заказчика-изготовителя, который мог заказывать в различных мастерских тару, обладающую тем не менее морфологическим сходством и близкими стандартами. В ряде случаев это было возрождение старых, хорошо знакомых всем форм амфорной тары, в которые когда-то разливали известное всем вино, например, косское. Отсюда появление названий новых типов амфор — псевдокосские или псевдородосские, так как они начали производиться в более позднее время, чем их прототипы, в других центрах, из другой глины, по другой технологии, и в них разливали совсем другие вина — дешевые гераклейские и синопские вина.

Продавцу было также важно ориентироваться в товаре, и поэтому запоминающиеся морфологические детали сосудов, связанные с конкретным товаром, для него также были очень важны. Но это могла быть также и бирка, или дипинти (знаки, нанесенные краской на тулове или горле амфоры), или клеймо, которые и определяли место и год урожая, марку продукта. При этом для каждого центра существовали некие свои стандарты объема и формы, и амфоры с различными продуктами, но одного поставщика-изготовителя (например, Фасоса, Хиоса, Гераклеи) были все морфологически однородны. В любом случае от продавца не зависела ни форма амфоры, ни ее декор, ни отдельные характерные детали, но мы можем определить продавца только в том случае, когда заказчик-изготовитель продукта и продавец — это одно и то же лицо.

<sup>2</sup> И. Б. Брашинский считал, что существовали эталоны стандартных амфор, санкционированные государственной властью, которые, подобно черепичным эталонам, выставлялись на агоре для всеобщего руководства (Брашинский 1984: 69). Тот или иной тип амфоры выражал определенный стандарт ее емкости, и, следовательно, стандарт амфоры определял и ее форму, и линейные размеры (Брашинский 1984: 73).

<sup>3</sup> Особенности деталей сосуда (формы венчика, ножки, посадки ручек и т. д.) отражают индивидуальные вкусы конкретного гончара или приемы работы той или иной гончарной мастерской (Брашинский 1984: 73–75).

Покупатель также при первичном осмотре ориентировался в товаре благодаря внешним визуальным признакам формы, декору поверхности, но далее его интересовал только сам продукт потребления, а не тип амфоры и детали ее формы. Если покупатель и производитель не одно и то же лицо, то определить покупателя как посредника между продавцом и потребителем практически невозможно. Но мы можем достаточно точно определить на основании находок использованной тары в конкретном месте самого потребителя — жителей метрополии или жителей сельских поселений, удаленных от метрополии, и т. д.

Таким образом, на уровне изучения артефактов мертвой культуры мы можем достаточно точно определить производителя (центры производства), потенциально — заказчика и изготовителя продуктов потребления (в том случае, если вино, масло разливалось в местные амфоры)<sup>4</sup>, и достаточно определено — потребителя данных продуктов. При этом, в отличие от живой культуры, когда современникам было часто известно имя мастера или главы мастерской, взявшего заказ на изготовление партии амфор для такого-то вина, имя заказчика и изготовителя вина, имя человека, купившего партию вина, на уровне изучения артефактов мертвой культуры эта информация из вещественных источников вряд ли может быть когда-либо добыта.

Можно на основании изучения амфорной тары выйти и на совсем высокий уровень — выяснить торговые связи того или иного крупного поселения или полиса. На основании изучения амфорных клейм, по мнению ведущего российского исследователя керамических клейм В. И. Каца, «появилась возможность поставить на реальную почву выяснение таких слабо изученных сторон экономической жизни... как объем и динамика производства черепицы и керамической тары в гончарных мастерских, объем и динамика экспорта вина в амфорах, а также удельный вес продукции виноделов на рынках других... центров» (Кац 1994: 10).

Но с какой точностью мы можем датировать амфоры, найденные в подвалах домов, или в погребении, или в затонувшем корабле? В мире живой культуры это час, день, месяц, максимум год, с миром мертвой культуры все обстоит, естественно, иначе. И. Б. Брашинский считал, что закрытые комплексы короткого накопления (инвентарь погребений, тризны и др.) содержат сосуды, изготовленные за несколько ближайших лет, а порой и за 1–2 года до отложения комплекса (Брашинский 1984: 128). В комплексах более длительного накопления (в основном складах пустой тары, предназначенной для вторичного использования) присутствуют сосуды, произведенные за «одно, возможно, два или даже несколько десятилетий» (Там же: 129).

С. Ю. Монахов также коснулся этого вопроса и разделил все комплексы на две группы. К первой он отнес материалы кораблекрушений, инвентарь однократных погребений, тризн и т. п. Составляющие такие закрытые комплексы амфоры использовались по прямому назначению, как тара, то есть содержали импортное вино или масло. В большинстве случаев определяемые по клеймам даты сосудов одного такого комплекса весьма близки (в пределах 5–7 лет), и очень редко разница может чуть превышать 10 лет.

<sup>4</sup> В антиковедении принято как аксиома, что центры производства амфор совпадают с центрами производства перевозимых в них товарных продуктов. В случае, если специально заказывалась в одном центре партия амфорной тары, затем она перевозилась в другой центр, и в нее наливали вино совсем другого центра, выяснить по клеймам или тесту амфоры заказчика и изготовителя продукта (вина) становится практически невозможно.

К комплексам второй группы относятся склады пустой тары, амфорные кладды погребений, материалы из заполнений ям и т. п. Как правило, они содержат амфоры, уже опороченные и использовавшиеся или сохранявшиеся для использования вторично. Часто эти сосуды фрагментированы (Монахов 1999: 457). Порой некоторые из них практически уже вышли даже из вторичного употребления, но сохранялись «на всякий случай». Основная масса таких комплексов содержит амфоры, накапливавшиеся на протяжении периода до 10 лет, но встречаются и немногочисленные склады долговременного накопления — до 15–20 и даже 25 лет (Монахов 1999: 419, 457).

С. Ю. Внуков, анализируя работы своих предшественников, для амфор I в. до н. э. — II в. н. э. пришел к выводу, что «по всей видимости, максимальная точность датирования по комплексам амфорной тары этого времени может быть порядка 10 лет» (Внуков 2006: 105–106). Это утверждение не исключает того, что амфоры, не имеющие клейм, дипинти, могут датироваться и намного более широко — до 50–70 лет.

В этом случае возможно лишь выявление центра производства по глине, но не конкретной мастерской, не говоря уже о выявлении заказчика, производителя или продавца.

Известно, что цвет амфорной тары, ее форма и клеймо характеризовали ввозимый продукт и выражали вкусовые особенности, гарантии качества, место производства, имя поручителя за качество изготовления самой упаковки. Такое же клеймо при «бутилировке» и укупорке ставилось на запечатываемую воском или глиной пробку. Это гарантировало целостность разлива, сохранность продукта, обеспечивало герметичность упаковки. Каждая амфора снабжалась ярлыком с указанием года, места производства, цвета и наличия сладких добавок. Пробка и ярлык клеймились по воску непосредственными производителями вина, а также магистратами, инспекторами и гарантами продукта. Клеймо было своеобразным знаком качества изделия, этикеткой, накладной и кассовым чеком одновременно. Если амфора была недостаточно обожжена и протекла, клеймо указывало адрес для предъявляемых претензий. По клейму брак обменивался на новую продукцию. Технически клеймо выполнялось печатным способом (штемпелеванием), вдавливаясь в горлышко, ручку, реже в ножку амфоры до ее просушки и обжига, что свидетельствовало о тиражном изготовлении. Клеймо фабриканта выполняло роль гарантийных обязательств при проверке продукции.

Что мы имеем в результате раскопок: клеймо, где есть имя мастера, магистрата, но нет имени производителя вина, винодельни, сорта вина, года урожая и т. д. Нет найденных бирок или пробок с информацией, они утеряны для нас навсегда. В итоге, вся информация о продукте, находящемся в амфоре, нам на 99 % недоступна, и мы изучаем только тару для перевозки товара, ради чего ее и использовали. Все становится обезличенным, и наши представления о том, что на основании клейменной амфорной тары можно выяснить торговые отношения, объемы товарооборота, тоже очень условны. Оказывается, и здесь нас ждут подводные камни. «Статистические вычисления, базирующиеся на основе анализа клейм, обладают одним несомненным преимуществом — дают возможность проследить динамику поступления товаров и зафиксировать колебания в торговле в рамках довольно узких хронологических промежутков, иногда с точностью до 10 лет. Вместе с тем, практика систематического клеймения появляется только на рубеже V и IV вв. В более ранний

период оттиски на различных амфорах встречаются, но их количество столь незначительно, что не может дать сколько-нибудь достоверного представления о торговых отношениях. Кроме того, в эпохи поздней классики и эллинизма в реальном торговом процессе участвовало гораздо большее количество производственных центров, чем можно проследить по клеймам. Исследователям известен список основных экспортеров, однако, при использовании указанной методики они выпадают из общего обзора. Из-за этого керамические клейма могут отражать динамику экономических связей конкретного поселения только с усеченным кругом контрагентов» (Кузнецова 2013: 12).

### Заключение

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. В ряде случаев по клеймам можно определить производителя амфорной тары — имя мастера, фабриканта. Заказчик для нас почти всегда остается безымянным, как и изготовитель продукта-товара (вина, масла, рыбы и т. д.), размещенного в амфорной таре, и продавец товара в амфорах, если конечно производитель амфор, заказчик, изготовитель товара и его продавец не одно и то же лицо. Покупатель продукта в амфорной таре и его потребитель могут быть одним и тем же лицом, и мы можем определить по археологическим данным место его проживания, указать точный адрес усадьбы, постройки, а в ряде случаев даже имя владельца постройки<sup>5</sup>. Зная списки магистратов (астиномов, агораномов, менявшихся через 1–2 года), можно в ряде случаев установить год розлива в амфоры вина, масла и место происхождения урожая, улова и т. д. Используя химические анализы винного камня и налета на стенках, можно определить сорт винограда, его кислотность, содержание сахара, спирта, состав купажа и т. д. В ряде случаев, если известны анализы винных осадков для разных центров виноделия = мастерской, можно решить и проблему соответствия амфорной тары и находящегося там вина. Но пока нет анализов сохранившихся следов вин, масла из амфор, найденных в центрах производства вина, масла, мы будем изучать по остаткам мертвой культуры (фрагментам амфор) только мертвую культуру, т. е. только амфорную тару, но не вина и другие продукты, которые хранились в них и ради которых и изготавливались сами амфоры как тарная посуда. Изучение живой культуры прошлого — это, прежде всего, изучение виноделия и маслопроизводства, а не амфороведение, и эту границу между мертвой и живой культурой прошлого мы пока перейти не можем.

### Литература

- Брашинский И. Б.* 1984. Методы исследования античной торговли. Л.: Наука.  
*Внуков С Ю.* 2003. Причерноморские амфоры II в. до н. э. — I в. н. э. (Морфология). М.: ИА РАН.  
*Внуков С. Ю.* 2006. Причерноморские амфоры II в. до н. э. — I в. н. э. (Петрография, хронология, проблемы торговли). СПб.: Алетейя.  
*Кац В. И.* 1994. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та.

---

<sup>5</sup> Например, дом Хрисалиска у пос. За Родину Темрюкского района Краснодарского края.

*Кузнецова Е. В.* 2013. Экономические связи городов азиатского Боспора в VI–III вв. до н. э. (по керамической таре). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов.

*Клейн Л. С.* 1978. Археологические источники. Л.: ЛГУ.

*Монахов С. Ю.* 1999. Греческие амфоры в Причерноморье. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та.

*Eggers H.-J.* 1950. Das Problem der ethnischen Deutung in der Frühgeschichte // Dauer A., Kirchner H. (Hrsg.). Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft (Wahle-Festschrift). Heidelberg, 49–59.

*Eggers H.-J.* 1959. Einführung in die Vorgeschichte. München: Piper Verlag.

## Сарматская пара «зеркало — ножницы» в Усукском кладе предметов стиля «варварских эмалей»

**Резюме.** В работе рассматриваются необычные для кладов украшений стиля «варварских эмалей» предметы — сарматские зеркало и ножницы. Именно эти предметы составляют ритуальную пару в позднесарматской культуре. Усукский клад является уже вторым подобным комплексом с предметами и изображениями, связанными с сакральной сферой культуры сарматов. Это может свидетельствовать о том, что «эмалевые» клады зарывали люди, связанные с сарматским миром и знакомые с его культовой практикой. Сделанные наблюдения дают дополнительный аргумент в пользу возможности интерпретации некоторых «эмалевых» кладов как вотивных.

**Ключевые слова:** Восточная Европа, позднеримское время, клады, восточно-европейские выемчатые эмали, сарматы.

**S. V. Voroniatov. Sarmatian set “mirror — scissors” in the Usukh hoard of “enamelled-style” items.** The paper deals with the Sarmatian mirror and scissors — a set that is quite untypical of hoards of “enamelled-style” items. In the late Sarmatian culture, the two objects make a ceremonial set. Usukh hoard is the second complex containing objects and images associated with the sacred realm of the Sarmatian culture. This may testify that hoards of “enamelled” items were made by people somehow connected with the Sarmatian world and familiar with its cult practices. The observations presented in the article support the interpretation of some hoards of “enamelled” items as votive ones.

**Keywords:** Eastern Europe, Late Roman period, hoards, East European champleve enamels, Sarmatians.

Крупнейший клад предметов стиля «варварских эмалей» III в. н. э. был обнаружен в 2010 г. у бывшей д. Усук Суземского района Брянской области. Комплекс выделяется среди известных «эмалевых» кладов в ареалах киевской и мощинской культур числом предметов (более 275) и их представительностью (Ахмедов и др. 2013: 100–105, 2015: 146). Помимо таких стандартных категорий украшений, как фибулы, браслеты, цепи, гривны, подвески-лунницы и др., впервые в составе подобного клада встречены гарнитуры рогов для питья, уникальная биметаллическая рукоять плети, большая поясная пряжка. Необычными также являются предметы, названные исследователями «бытовыми»: пружинные железные ножницы (рис. 1, 1) и проколка-кочедык (Ахмедов и др. 2015: 159). Наконец, более чем необычно в составе клада выглядит зеркало из белого металла с петелькой в центре оборотной стороны (рис. 1, 2), нарушающее этнокультурное единство комплекса.

Следует отметить, что зеркала для лесной зоны находка очень редкая. Такие вещи характерны для степных памятников, для культуры кочевников сарматов и меотского населения Нижнего Подонья и Прикубанья. Орнаментальной особенностью зеркала из Усукского клада является не самый распространенный мотив прямоугольника, вписанного в круг. Наиболее близкая схема



орнаментации присутствует на зеркале из инвентаря погребения № 6 некрополя Темерницкого городища, расположенного на территории Ростова-на-Дону. Этот комплекс осторожно датируется исследователями серединой II в. н. э. (Парусимов, Рогудеев 2000: 257, 263, рис. 2, 6). Большинство других аналогий «усухскому» зеркалу встречается в погребениях кочевников позднесарматского времени, во второй половине II — III в. н. э. (Кривошеев 2004: 238–240).

Нахождение в составе «эмалевого» клада предмета, характерного для культуры сарматов, — примечательный факт. Это не первый случай присутствия элемента кочевнической культуры в аналогичном контексте. Схожая ситуация известна по Мощинскому кладу предметов стиля «варварских эмалей», найденному Н. И. Булычевым в конце XIX в. при раскопках городища Мощины Мосальского района Калужской области. На одной из трапециевидных подвесок из этого клада изображена тамга (Булычев 1899: табл. XI, 1). Знак без сомнения относится к культуре сарматов и имеет точную аналогию в виде изображения на каменной плите, обнаруженной на холме Каменная могила в Северном Приазовье (Михайлов 1994: 244, рис. 1, 2).

Считать, что сарматская тамга и сарматское зеркало оказались в крупных кладах украшений стиля «варварских эмалей» случайно и что эти факты не имеют никакой связи, на мой взгляд, было бы ошибочно. Появление уже второго комплекса с сарматской составляющей позволяет видеть в присутствии элементов кочевнической культуры в контексте «эмалевых» кладов некую закономерность. Можем ли мы приблизиться к пониманию смысла, скрывающегося за ней? Следует ли из этой закономерности какой-либо вывод? Найти ответы на эти вопросы, по-моему, можно, только оценив роль сарматских знаков и зеркал в средне- и позднесарматской культурах и попытавшись реконструировать их значимость для людей, сокрывших Усухский и Мощинскийклады.

Вопреки давно утвердившемуся мнению, что сарматские тамги являются знаками собственности на участки земли и ценные вещи, есть основания предполагать, что их роль в культуре сарматов была шире, что они выполняли не только сугубо утилитарные функции. То обстоятельство, что сарматские тамги присутствуют на инсигниях власти (золотые гривны, браслеты, поясная гарнитура, оружие) и на предметах, использовавшихся в различного рода церемониальных действиях (золотые и серебряные сосуды, конское снаряжение), позволяет говорить об их глубоком символическом значении и важной роли в духовной культуре сарматских племен. Знак, изображенный на трапециевидной подвеске Мощинского клада, также вряд ли имел утилитарное значение. Для людей, использовавших подвеску в личном уборе или участвовавших в сокрытии клада, он был наделен определенным смыслом.

Изучение такой категории археологического материала, как металлические зеркала, закономерно приводит исследователей к вопросу об их роли в верованиях и культурной практике кочевников. Анализируя погребальный обряд кочевников, археологи приходят к выводу, что бытовая функция зеркал в качестве туалетной принадлежности далеко не единственная и, более того, во многих случаях не основная. Использование зеркал сарматами и другими кочевниками различных эпох в качестве оберегов и амулетов, наделение их магическими свойствами не вызывает сомнений у исследователей (Хазанов 1964: 89–96; Тишкин, Серёгин 2011: 111–122; Вагнер 2012: 173–175).

Кроме этих наблюдений, в погребальном обряде позднесарматской культуры М. В. Кривошеевым недавно отмечена интересная закономерность, которая

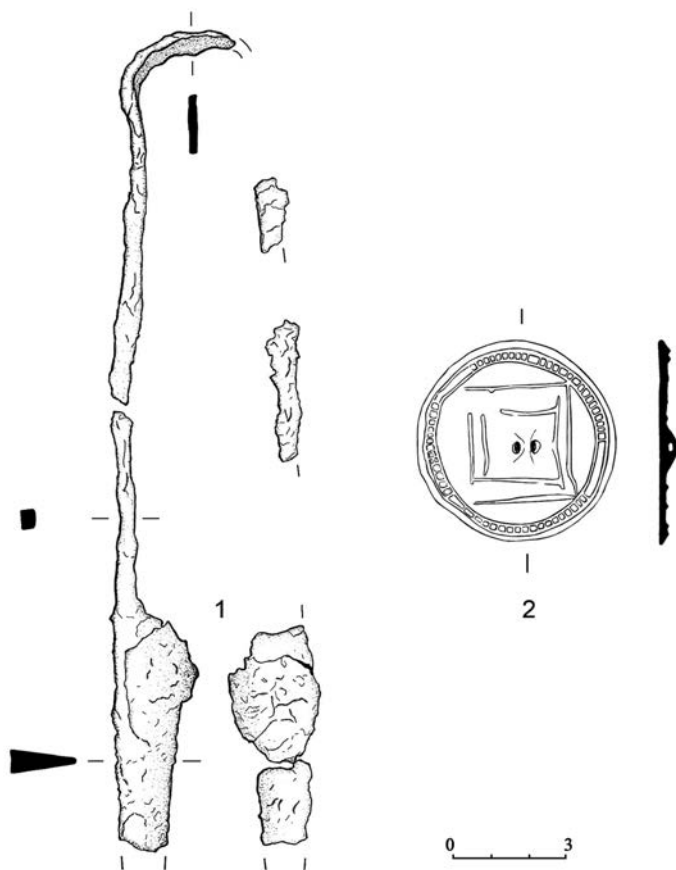


Рис. 1. Усухский клад: 1 — ножницы, 2 — зеркало (рисунки автора)  
 Fig. 1. Usukh hoard: 1 — scissors, 2 — mirror (drawings by the author)

напрямую перекликается с составом Усухского клада предметов стиля «варварских эмалей». Зеркала в погребениях позднесарматской культуры периода с середины II по середину III в. н. э. показывают высокую частоту встречаемости (в женских погребениях до 70 %) с пружинными ножницами. Этот факт дополняется важным обстоятельством совместного расположения ножниц и зеркал в могиле. Это позволило исследователю увидеть в сочетании зеркал с петелькой в центре оборотной стороны и ножниц «некое сакральное значение» (Кривошеев 2016: 127, 129). Напомню, что среди необычных для «эмалевых» кладов предметов в составе Усухского комплекса, наряду с зеркалом, фигурируют железные пружинные ножницы (рис. 1, 1). Они, на мой взгляд, не будут выглядеть странно в составе клада, если, согласно традиции позднесарматской культуры, составят ритуально-функциональную пару зеркалу.

Итак, мы имеем следующую ситуацию: в составах двух крупнейших «эмалевых» кладов позднеримского времени присутствуют находки и изображения, характерные для сакральной сферы культуры кочевников-сарматов.

Надо сказать, что подобные находки не являются абсолютно неизвестными и чуждыми для населения лесной зоны Восточной Европы в позднеримское время. В некотором смысле схожие загадочные «сарматские следы» выявлены в позднеримской культуре Москворечья (Кренке 2011: 89–93). Реконструируются такие явления и в материальной культуре постзарубинецкого населения Подесенья I в. н. э. (Воронятов 2012: 419). Но рассматриваемая история с «эмалевыми» кладами открывает еще одну грань «сарматской загадки». Заключается она в том, что отнюдь не утилитарные элементы культуры кочевников присутствуют именно в кладовых комплексах, выделяющихся численностью и представительностью состава.

Вряд ли при сегодняшнем состоянии источников нам удастся окончательно разгадать саму загадку, на которую стало возможно взглянуть под новым углом зрения после открытия Усукского клада. Но новая информация, на мой взгляд, может пролить свет на особенности «эмалевых» кладов. А точнее, на причины их сокрытия. Сегодня в литературе доминирует точка зрения, что все клады украшений стиля «варварских эмалей» зарывались в моменты потрясений военного характера. В случае с Усукским кладом исследователи пришли к выводу, что факт присутствия в его составе бытовых предметов свидетельствует о том, «что клад был зарыт в состоянии крайней опасности, когда уберечь от разграбления пытаются всё ценное, в том числе и нужное в быту» (Ахмедов и др. 2015: 159).

Однако не все предметы, характеризующиеся, на первый взгляд, как бытовые, могут таковыми являться. Пружинные ножницы в сочетании с сарматским зеркалом могли иметь совсем не утилитарное предназначение как в повседневной жизни, так и в ритуальной практике. Несомненно, можно сомневаться в правомочности проецирования ситуации с парой «зеркало — ножницы» из погребальных памятников позднесарматской культуры на ситуацию с составом Усукского клада. Но я не склонен считать случайностью попадание ножниц в состав клада, в котором присутствует и сарматское зеркало. Более того, считаю, что они составляют с зеркалом пару того же сакрального значения, которое было выявлено М. В. Кривошеевым в контексте погребального обряда позднесарматской культуры.

Непонятный пока нам сакральный смысл пары «зеркало — ножницы» и изображение тамги подсказывает, тем не менее, что люди, зарывавшие Усукский и Мощинский клады, были связаны с сарматским миром и знакомы с его культурной практикой. Этот вывод дает дополнительное основание для предположения, что «эмалевые» клады были сокрыты не для того, что бы за ними вернулись их владельцы после исчезновения опасности. Другими словами, клады предметов стиля «варварских эмалей» могут являться приношениями и жертвами, т. е. вотивными кладами. Основным же доказательством такой интерпретации служит более прозрачный для понимания факт. В составе всех крупных «эмалевых» кладов — Межигорского, Мощинского и Усукского — присутствуют намеренно поврежденные, разрубленные на части шейные гривны, что является признаком яркого символического значения, отражением конкретного ритуала «порчи вещей» (Булычев 1899: 18, табл. VIII, 3; Спицын 1903: 178, рис. 242; Хойновский 1896: 167, табл. XIX, 853), за которым скрывается сакральное действие выведения, изъятия предметов из сферы «живой» культуры.

Важно отметить, что обычай ритуального разрушения ценных вещей перед сокрытием их в виде кладов существовал на территории Европы с эпохи бронзы. Значительное количество кладов этого времени определяется сегодня исследователями как вотивные жертвоприношения (Хансен 2013: 278–288). Не следует исключать и более широкого распространения архаической тради-

ции вотивных кладов во времени и пространстве. В позднеримское время данный обычай вполне мог существовать и на территории лесной зоны Восточной Европы и «проявиться» в случае складами вещей стиля «варварских эмалей», в составе которых присутствуют преднамеренно сложенные украшения (Voroniatov 2016: 218; Воронятов, Хомякова: в печати). Изображение тамги на подвеске из Мощинского клада и, в особенности, сарматская ритуальная пара «зеркало — ножницы» в Усусском кладе дают дополнительный аргумент в пользу возможности интерпретации некоторых подобных комплексов как вотивных, а также характеризуют этнокультурную специфику этой традиции.

## Литература

- Ахмедов И. Р., Обломский А. М., Радюш О. А. 2013. Клад из Суземского района Брянской области // Демиденко О. М. (ред.). Археологические исследования в еврорегионе «Днепр» в 2012 г. Гомель: Изд-во Гомельского ун-та, 99–107.
- Ахмедов И. Р., Обломский А. М., Радюш О. А. 2015. Брянский клад вещей с выемчатыми эмальями (предварительная публикация) // РА 2, 146–166.
- Булычев Н. И. 1899. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.
- Вагнер Е. В. 2012. История изучения сарматских бронзовых зеркал // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История 1(21), 168–176.
- Воронятов С. В. 2012. О проблеме появления сарматских тамг и антропоморфных изображений в ареалах позднедьяковской и мощинской культур // РАЕ 2, 412–432.
- Воронятов С. В., Хомякова О. А. Витые гривны с окончанием в виде петель. (в печати)
- Кренке Н. А. 2011. «Сарматский след» в Подмосковье и особенности позднедьяковского культового комплекса // Кренке Н. А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москва-реки в I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. М.: ИА РАН, 89–93.
- Кривошеев М. В. 2004. О хронологии позднесарматских зеркал с центральной петелькой // Скрипкин А. С. (ред.). Проблемы археологии Нижнего Поволжья. Волгоград: Изд-во Волгоградского ун-та, 238–242.
- Кривошеев М. В. 2016. Ножницы в погребальном обряде сарматов // Яблонский Л. Т., Краева Л. А. (ред.). Константин Фёдорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии. Оренбург: Изд-во Оренбургского педагогического ин-та, 122–131.
- Михайлов Б. Д. 1994. Сарматские знаки на холме Каменная могила в Северном Приазовье // Яровой Е. В. (ред.). Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э. — V в. н. э. Тирасполь: НИЛ «Археология», 243–245.
- Парусимов И. Н., Рогудеев В. В. 2000. Некрополь Темерницкого городища // Гугуев Ю. К. (ред.). Сарматы и их соседи на Дону. Ростов н/Д: Терра, 256–271.
- Спицын А. 1903. Предметы с выемчатой эмалью // ЗРАО V (1), 149–192.
- Тишкин А. А., Серёгин Н. Н. 2011. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая. Барнаул: Азбука.
- Хазанов А. М. 1964. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов // СЭЗ 3, 89–96.
- Хансен С. 2013. Клады в Европе эпохи бронзы // Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое — первое тысячелетие до н. э. Каталог выставки. СПб.: Чистый лист, 279–289.
- Хойновский И. А. 1896. Краткие археологические сведения о предках славян и Руси, и опись древностей собранных мною, с объяснениями и XX таблицами рисунков. Вып. I. Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 166–171.
- Voroniatov S. 2016. Neck-rings of the 'enamelled style' in the South Eastern Baltic area and in the Dnieper-Oka region // 22<sup>nd</sup> Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts book. Vilnius, 218.

## Молотильный ток или сельское святилище? К интерпретации объекта, открытого на поселении Артющенко-1 (Таманский полуостров)

**Резюме.** В 2012, 2015–2016 гг. на античном поселении Артющенко-1, расположенном на Таманском полуострове, была исследована часть весьма необычной конструкции. Она представляет собой площадку, покрытую слоем глины (5 см толщиной), которая датируется II–III вв. н. э. На ней было обнаружено большое количество обгоревших зерен пшеницы-однозернянки (*Triticum monococcum*). По понятным причинам эта площадка сначала была интерпретирована как молотильный ток, хотя пленчатая пшеница не была характерна для Таманского полуострова и Прикубанья. На этой площадке было исследовано также несколько крупных ям. Три из них содержали скелеты животных (собак, свиней и т. д.), в одной были найдены четыре человеческих черепа. Есть основания полагать, что в западной части поселения частично изучено сельское святилище.

**Ключевые слова:** Тамань, античность, погребения животных, святилище.

**Yu. A. Vinogradov. The threshing floor or the rural sanctuary? To the interpretation of the site found at the settlement Artyushchenko-1 (Taman peninsula).** A part of a very unusual structure was excavated at the classical-time agricultural settlement Artyushchenko-1 on the Taman peninsula in 2012 and 2015–16. This is an area covered with a layer of clay (5 cm thick), which contained a large amount of charred grains of bearded wheat (*Triticum monococcum*). The structure is dated to the II–III centuries AD. Initially it was interpreted as a threshing floor, though bearded wheat was not characteristic for the Taman peninsula (and for the Kuban region in general). A number of big pits were investigated within this area. Three of them contained skeletons of animals (dogs, pigs etc.), and in one pit four human skulls were found. There are grounds to suggest that the structure in question represents a part of a rural sanctuary.

**Keywords:** Taman peninsula, Classical time, animal burials, sanctuary.

Античная или, как ее еще называют, классическая археология — особая отрасль знания. Настолько особая, что некоторые из современных археологов отказывают ей в праве называться археологией. К счастью, Л. С. Клейн не входит в этот круг, более того, он внес немалый вклад в изучение некоторых сюжетов, связанных с фундаментальными проблемами античной истории и культуры. Но я бы хотел подчеркнуть иное — непреходящее значение его трудов, связанных с пониманием миграций, их археологических признаков, культурных трансформаций, всегда сопровождающих передвижения народов. Цивилизация Эллады, распространившаяся в результате великой колонизации на обширных территориях от средиземноморского побережья Испании до берегов Грузии, в этом отношении дает огромный материал для научного анализа. По моему

глубочайшему убеждению, в Северном Причерноморье античная цивилизация продемонстрировала в высшей степени специфический вариант адаптации к местным условиям. В моей статье я рискнул коснуться небольшого сюжета, связанного с изучением крупного сельского античного поселения Артющенко-1, расположенного на обрывистом черноморском берегу Таманского полуострова (азиатская часть Боспора Киммерийского). Полученные здесь материалы не очень укладываются в систему устоявшихся представлений об античной культуре как о «светлом храме» классической культуры.

Археологические исследования поселения Артющенко-1 ведутся с 1998 г. (Виноградов 2001; 2013а; Vinogradov, Lebedeva 2005; Vinogradov 2015). Поселение сильно разрушается от береговой абразии (Виноградов, Кашаев 2015). За время раскопок удалось отчетливо обозначить некоторые его особенности. Прежде всего, поселение делится глубокой балкой на две половины — восточную и западную, при этом все объекты, обнаруженные в восточной части, относятся к VI–II вв. до н. э., а все объекты, открытые в западной части, — к времени после рубежа эр: I–III вв. н. э., IV в. н. э., VIII–IX вв. (салтово-маяцкая культура).

В отношении поселения I–III вв. н. э. можно считать надежным установленным, что оно носило сезонный характер, земледельцы появлялись здесь только на время проведения полевых работ. Соответственно, никаких стационарных построек здесь не возводилось, строились лишь весьма примитивные полужемлянки, порой неправильных, аморфных очертаний (Виноградов 2013б), и, естественно, откапывалось немалое количество ям. В некоторых из них, помимо рядового археологического материала, зафиксированы *скелеты животных — собак или свиней* (обычно по одному скелету в яме). Почти нет сомнения, что они связаны с жертвоприношениями, смысл которых, конечно, заключался в обеспечении плодородия полей.

Весьма необычная конструкция была выявлена в первый раскопочный сезон 1998 г., когда исследования были проведены на западной окраине поселения. Тогда среди комплексов салтово-маяцкой культуры была изучена необычная яма № 9, относящаяся к II–III вв. н. э. В вертикальном сечении она имела грушевидную форму; диаметр устья — 2,1 м, диаметр дна — 2,7 м, глубина от поверхности материка — 1,6 м. Яма № 9, однако, выделялась не только своими размерами, но и своеобразием заполнения. Помимо обычных для обозначенного времени керамических фрагментов, кусков «печины», разрозненных костей животных и пр., в ней были обнаружены целые *скелеты животных*. Все они происходили из нижнего горизонта заполнения — 0,6 м над дном. В общей сложности здесь было зафиксировано три скелета и два черепа собак, шесть скелетиков молодых поросят, два скелета более крупных особей, один череп поросенка, а также два черепа очень крупных свиней. Здесь же был обнаружен череп дельфина. Весь этот необычный набор позволил предположить, что яма № 9 была использована для совершения жертвоприношения, при этом жертвоприношения весьма масштабного. На протяжении многих лет эта яма оставалась уникальной, похожие конструкции были открыты только в 2015–2016 гг., о чем будет сказано ниже.

В 2012 г., когда раскопки были возобновлены на западной окраине поселения, здесь удалось открыть необычное сооружение — глинобитную площадку. Слой желтоватой глины толщиной 5 см залегал на большой площади, при этом под ним находился культурный слой толщиной до 10 см, который подстилался материком. Площадка была датирована II–III вв. н. э. Самое любопытное

обстоятельство, связанное с этим сооружением, заключается в том, что при просеивании культурного слоя, залегающего над ним, было обнаружено огромное количество обгоревших зерен злаковых.

Не удивительно, что глинобитная площадка была интерпретирована как молотильный ток (Виноградов, Vinogradov 2015: 159), и ее дальнейшее изучение было признано первостепенной задачей работ экспедиции. В этом отношении необходимо подчеркнуть, что за всю историю исследования сельских поселений античного Северного Причерноморья сооружения, предназначенные для обработки зерна, обнаружены не были (см.: Кругликова 1975; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989; Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990; Масленников 1998). Лишь в Восточном Крыму, на поселении Заветное 5 (сельскохозяйственная округа города Акра) удалось исследовать уникальный производственно-хозяйственный комплекс IV в. до н. э., сочетавший в себе основные функции обработки зерна: вымощенная каменными плитами площадка, предназначенная для просушки и обмолота, и сооружение из сырца для развешивания (Соловьёв, Шепко 2004: 32, 44; Соловьёв 2014: 174). Эта площадка была завалена зернами проса (Соловьёв, Шепко 2004: 32). По понятным причинам, открытие молотильного тока на поселении Артющенко-1 имело бы очень большое значение для изучения сельского хозяйства Боспорского царства.

Половина из найденных на площадке в 2012 г. зерен была передана на хранение в Таманский археологический музей, а другая направлена для определения крупнейшему специалисту в области палеоботаники, старшему научному сотруднику Института геологических наук НАН Украины, доктору биологических наук Г. А. Пашкевич<sup>1</sup>.

Образец, который она взяла для определений, насчитывал 1565 зерновок. Результат, полученный Г. А. Пашкевич, оказался следующим:

пшеница однозернянка (*Triticum monococcum* L.) — 1523 зерновки;  
ячмень пленчатый (*Hordeum vulgare* L.) — 37;  
пшеница голозерная (*Triticum aestivum* L.) — 2;  
горох посевной (*Pisum sativum*) — 2 семени;  
вика эрвлия (*Vicia ervilia*) — 1 семя.

Этот результат по причине доминирования зерновок пленчатой пшеницы-однозернянки (97 %) никак не соответствовал нашим ожиданиям. Дело в том, что ситуация, выявленная на площадке поселения Артющенко-1, очень необычна. Хорошо известно, что в греческих колониях Северного Причерноморья, в том числе и на Боспоре Киммерийском, очень рано сложился набор злаковых, в котором доминировали две культуры: голозерная пшеница (*Triticum aestivum* L.) и пленчатый ячмень (*Hordeum vulgare*), что подтверждается большим количеством анализов, проведенных на материалах различных археологических памятников (см.: Янушевич 1986: 46; Пашкевич 1990: 116; 1995: 98; 2004: 136; Крижицкий, Щеглов 1991: 51; Виноградов 2005а), при этом именно голозерные пшеницы стали главным предметом хлебного экспорта из Северного Причерноморья в Средиземноморье (Янушевич 1986: 46 сл.; Щеглов 1990: 113 сл.). Подчеркну, что этот набор характерен и для поселения Артющенко-1

<sup>1</sup> Выражаю Г. А. Пашкевич огромную благодарность за постоянную поддержку в проведении палеоботанических исследований.

начиная с времени архаики (Виноградов 2011: 317; Пашкевич 2016: 221–223; Vinogradov, Lebedeva 2005: 316), но в данном случае проявилось что-то в высшей степени необычное.

Меотские племена Прикубанья тоже не культивировали пшеницу-однозернянку; они в большом количестве выращивали просо, а также голозерную пшеницу, которую, скорее всего, в значительной части поставляли на боспорский рынок для последующей перепродажи в Грецию (Лебедева 1994: 110; 2000: 99). Пленчатые пшеницы были характерны для лесостепей Северного Причерноморья, при этом пшеница-двухзернянка была здесь основной пищевой культурой (Янушевич 1976: 102; 1986: 35; Шрамко, Янушевич 1985: 61; Пашкевич 2005: 85). Такие неожиданные параллели открывали новые перспективы для исследований. Не удивительно, что когда в 2015–2016 гг. раскопки на поселении были возобновлены, то основным объектом изучения стала глинобитная площадка. После этих работ стало ясно, что она имела форму, приближающуюся к четырехугольной и вытянутую в меридиональном направлении; обнаружены южная, восточная и западная границы этого «четырёхугольника». Его ширина составляет 7–9 м, выввленная длина — 15 м; исследованная площадь достигает сейчас 120 кв. м.

Наиболее показательная часть площадки была изучена в 2015 г. Грунт из всех связанных с ней слоев и прослоек тщательно просеивался, в результате обгоревшие зерновки были обнаружены во всех изученных контекстах. Эти находки были переданы в Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетики ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), определения были произведены И. Г. Чухиной — старшим научным сотрудником Отдела агроботаники и сохранения *in situ* генетических ресурсов растений<sup>2</sup>. Она изучила 21 633 зерновки. Результат — 95 % из них приходится на пленчатую пшеницу-однозернянку, т. е. результаты определений Г. А. Пашкевич в полной мере подтвердились.

После получения этих определений возникло немало недоуменных вопросов. Прежде всего, если площадка была молотильным током, то по какой причине она была предназначена почти исключительно для обработки пшеницы-однозернянки, т. е. злаковой культуры, не имевшей значения в пищевом рационе боспорян? Другой вопрос — почему эти злаки здесь сжигались? Наконец, нельзя ли предположить, что их выращивали в некотором количестве на близлежащих полях не для людей, а, так сказать, для богов? Естественно, возникла идея о связи этого комплекса с какими-то культовыми представлениями.

Археологические находки, происходящие с площадки и с примыкающих к ней площадей, дают мало оснований для такой однозначной интерпретации. На первый взгляд, ничего особенного в них нет, к примеру, не обнаружено ни единой терракотовой статуэтки. Правда, лепная посуда, найденная здесь, чаще, чем в других частях поселения, имеет орнаментацию в виде налепов, при этом не только в виде обычных полусфер или горизонтальных выступов, но и в виде волнистых налепов и даже крестов. В полной мере уникальным является сложный мотив, в котором можно усмотреть общий облик человеческой фигуры с раскинутыми по сторонам руками. Пусть всего в нескольких экземплярах, но найдены керамические диски, которые вполне можно назвать «хлебцами». Один из них имеет орнаментацию в виде наколов.

<sup>2</sup> Выражаю И. Г. Чухиной сердечную благодарность за проведенные определения.



В этом отношении стоит обратить внимание на ямы, пробивающие глинобитную площадку. Некоторые из них представляются вполне обычными, заполненными мусором, но две другие (№ 69 и 80) очень напоминают описанную выше яму № 9.

Яма № 69 имела грушевидную форму; диаметр устья — 1,60 м, горловина идет на глубину 0,95 м, далее она начинает расширяться, и диаметр дна достигает 2,10 м. Глубина ямы от уровня материка — 1,95 м. Важной особенностью этого археологического комплекса является наличие в нем скелета собаки, а ниже его, на различных уровнях заполнения зафиксированы весьма необычные скопления костей животных.

*Скелет собаки* (рис. 1) был открыт в верхней части заполнения ямы, на глубине 1,20 м от уровня материка. Он лежал на левом боку головой на север. Под этим скелетом, на глубине 1,30 м от уровня материка были зафиксированы *четыре свиные ножки* с копытцами. На глубине 1,40 м от уровня материка было обнаружено весьма необычное *скопление костей животных*, которые в совокупности очень напоминают скелет барана (рис. 2). В южной части, на месте предполагаемой головы, находились две положенные параллельно нижние бараньи челюсти. С ними соседствовали шейные позвонки. Отдельно лежала часть позвоночника и ребра с одной лопаткой на них. В наборе имеются все четыре конечности, хотя и представленные не всеми костями. Если это скопление не считать случайным, то приходится признать, что в яме было сделано жертвоприношение, пусть и очень необычное. Наконец, на дне ямы, около западного ее борта находились *два бараньих черепа*, один из которых не имел нижней челюсти.



Рис. 1. Яма № 69, скелет собаки. Вид с запада  
Fig. 1. Pit no. 69. Dog skeleton. View from the west



Рис. 2. Яма № 69, скопление костей животных. Вид с востока  
 Fig. 2. Pit no. 69. Accumulation of animal bones. View from the east

Яма № 80 еще более любопытна, поскольку в ней вместе с большим количеством костных остатков были обнаружены два лепных сосуда: миска и горшок, украшенный налепами. Эта яма тоже имела грушевидную форму: диаметр устья — 1,40 м, диаметр дна — 2,15 м, глубина от уровня материка — 2,25 м. В верхней части заполнения, в центре ямы (на глубине 1,17 м от уровня материка) было обнаружено скопление костей животных с лепной миской посреди него. Основу скопления составляла часть позвоночника с крестцом, принадлежавшая корове: поперек него головой на северо-запад была положена собака (рис. 3). Ниже него (на глубине 1,24 м) в центре ямы зафиксировано еще одно скопление — часть позвоночника собаки и череп козы, под которым находился скелетик молочного поросенка. На этом же уровне около западного борта были зафиксированы два черепа молочных поросят.

Ниже этого уровня в северном борту ямы была вырублена ниша, в которой на глубине 1,32 м были обнаружены пять скелетов молодых животных, три из которых были определены вполне уверенно: барашек, козленок и поросенок (рис. 4). Под ними (на глубине 1,44 м от уровня материка) был найден лепной горшок.

Еще ниже, почти на уровне дна, около южного борта был найден череп козы, а около восточного борта — скелет собаки, уложенной на правый бок, головой на север (рис. 5). На самом дне ямы лежала крупная челюсть коровы.

Кратко охарактеризованные «странные» ямы, связь которых с глинобитной площадкой не вызывает сомнений, дают веские основания считать, что они использовались для совершения жертвоприношений. В таком контексте следует



Рис. 3. Яма № 80, скелет собаки на части позвоночника коровы. Вид с востока  
Fig. 3. Pit no. 80. Dog skeleton lying on a piece of a cow's vertebral column. View from the east



Рис. 4. Яма № 80, скелеты молодых животных. Вид с юга  
Fig. 4. Pit no. 80. Skeletons of young animals, View from the south



Рис. 5. Яма № 80, скелет собаки. Вид с запада  
 Fig. 5. Pit no. 80. Dog skeleton. View from the west

упомануть еще об одной яме (**№ 55**), открытой в 2012 г. приблизительно в 5 м к юго-востоку от глинобитной площадки. Она является одним из самых любопытных комплексов из обнаруженных на поселении за все годы раскопок. В вертикальном сечении яма имела цилиндрическую форму; диаметр — 2 м, глубина от поверхности материка — всего 0,15 м. При разборке заполнения было обнаружено несколько фрагментов керамики, относящихся к первым векам н. э., которые не представляют ничего особенного, а вот на дне ямы было сделано очень необычное открытие. В ней рядом с бортами, практически строго по сторонам света были уложены четыре человеческих черепа (рис. 6). Около них было найдено несколько разрозненных человеческих костей, а также кости животных.

Все костные остатки были осмотрены в полевых условиях московскими исследователями: антропологом М. В. Добровольской и палеозоологом Е. В. Добровольской<sup>3</sup>. Они сделали следующее заключение:

*Череп 1* имеет очень плохую сохранность. Зубы сохранились только в верхней челюсти. Он принадлежит молодому индивиду (около 35 лет), пол которого определить трудно, вероятнее женщине. Прижизненных повреждений не наблюдается.

*Череп 2* принадлежит взрослому мужчине 30–40 лет. Патологий или прижизненных повреждений не имеет.

*Череп 3* принадлежит мужчине 40–49 лет. Он брахикранный, нос очень узкий. В черепе находились: кость пальца ноги и грудной позвонок, возможно, подростка.

<sup>3</sup> Выражаю уважаемым исследовательницам мою глубочайшую признательность.



Рис. 6. Яма № 55 с человеческими черепами на дне. Вид с севера  
Fig. 6. Pit no. 55. Human skulls. View from the north

Череп 4 принадлежит женщине в возрасте ближе к 50 годам. Он, как и № 3, отличается очень узкими носовыми костями. Череп не сразу попал в яму, до этого он где-то находился.

Помимо этого, были найдены другие человеческие кости, на которых следов расчленения тел (порубов и пр.) не наблюдается. Они представлены следующими экземплярами:

Правая сторона верхней челюсти мужчины в возрасте 35–45 лет.

Фрагмент нижней челюсти немолодой, крупной женщины. Присутствует подъязычная кость, что свидетельствует в пользу того, что в яму была положена голова, а не череп. На коренных зубах присутствует кариес и следы прижизненного хронического воспаления.

Обломок челюсти молодого мужчины в возрасте 15–19 лет.

Плечевая кость крупного мужчины.

Три диафиза бедренных костей.

Большие берцовые кости минимум двух индивидов.

Малая берцовая кость мужчины 20–25 лет.

Крупные таранная и пяточная кости, вероятно, мужские.

Пяточная кость индивида в возрасте от 30 лет. Наблюдаются следы склеротизации ахиллесова сухожилия.

Заключение специалистов сводится к тому, что в яме, вероятно, произошло вторичное перемешивание разрозненных останков людей, сопровождаемых костями животных. Такое заключение, как нетрудно понять, оставляет

свободу для самых разных интерпретаций. Но в этом отношении необходимо отметить, что в 2016 г. была выявлена западная граница глинобитной площадки. Приблизительно в 4 м от нее к западу были найдены обломки человеческого черепа, принадлежавшего совсем молодому человеку. Такие находки в культурном слое поселения больше нигде не зафиксированы, и, в общем, связь этого черепа с характеризуемым комплексом представляется весьма вероятной.

Подводя итог сказанному, можно признать, что наша первоначальная интерпретация глинобитной площадки как молотильного тока вряд ли реалистична. Имеющимся материалам больше соответствует ее понимание как части сельского святилища, при этом святилища, не имеющего почти ничего общего с греческой традицией (см.: Масленников 2006). Если судить по материалам лепной керамики, изготовленной в традициях местных племен (ее количество в ямах I–III вв. составляет не менее 50% от всех керамических находок, без учета амфор), варварский компонент в составе обитателей Артющенко-1 был весьма высок. К сожалению, на территориях, отдаленных от Боспора, подобные святилища мне не известны. Может быть, какое-то сходство можно искать в местских ритуальных комплексах более раннего времени, в которых наряду с костями животных порой встречаются костные останки людей (Эрлих 2001; 2004; Лимберис, Марченко 2010: 203), но настаивать на таком понимании пока нет никакой возможности.

На Артющенко-1, в его восточной части, ранее было открыто святилище второй половины III — первой половины II в. до н. э. (Виноградов 2007; Vinogradov, Lebedeva 2005: 317–318; Vakhtina, Vinogradov, Goroncharovskiy 2010, 370–373). Оно было связано с функционировавшей тогда на поселении железоделательной мастерской (Виноградов 2010). Точнее, в восточной части Артющенко-1 была открыта серия сакральных объектов, ограничивающих эту мастерскую с южной и западной сторон. Все они в большем или меньшем количестве включали весьма любопытные терракотовые статуэтки (Виноградов 2004; 2005б; 2008). В отношении этих объектов было высказано предположение, что в совокупности они создавали своего рода защиту от зловредных, демонических сил. Люди, связанные с производством железа, а значит вступающие в контакт с опасным подземным миром и не менее опасной огненной стихией, в такой защите очень нуждались.

Выше неоднократно говорилось, что ямы со скелетами животных, обнаруженные в западной части поселения, можно связывать с культом плодородия. И это, скорее всего, действительно так! Однако следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Глинобитная площадка с обгоревшими зерновками пшеницы-однозернянки и наиболее показательные ямы, содержащие многочисленные костные остатки животных, а также яма с человеческими черепами расположены на самой окраине поселения I–III вв. Совсем не исключено, что этот сложный комплекс рассматривался также и как элемент сакральной защиты его обитателей от внешнего мира.

## Литература

Виноградов Ю. А. 2001. Итоги археологического изучения поселения Артющенко I на Таманском полуострове // Третья кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар — Анапа, 17–20.

- Виноградов Ю. А. 2004. Музыкант из поселения Артющенко I (Бугазское) на Таманском полуострове // Вопросы инструментоведения 5 (2), 141–142.
- Виноградов Ю. А. 2005а. К изучению зерен культурных растений, найденных в Мирмекии // Херсонесский сборник 14, 94–98.
- Виноградов Ю. А. 2005б. Терракотовые статуэтки поселения Артющенко I // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар, 44–46.
- Виноградов Ю. А. 2007. Культурные комплексы поселения Артющенко I на Таманском полуострове // Боспорские чтения 8, 62–65.
- Виноградов Ю. А. 2008. Терракотовые статуэтки с изображением актера и музыкантов с поселения Артющенко I на Таманском полуострове // Мациевский И. В. (ред.). Инструментальная музыка в межкультурном пространстве. Проблемы артикуляции. СПб.: Астерион, 181–184.
- Виноградов Ю. А. 2010. Железоделательная мастерская на поселении Артющенко I (Таманский полуостров) // Боспорские чтения 11, 80–84.
- Виноградов Ю. А. 2011. Комплекс IV в. н. э. на поселении Артющенко I (Таманский полуостров) // Мачинский Д. А. (ред.). Европейская Сарматия. Сборник, посвященный Марку Борисовичу Шукину. СПб.: Нестор-История, 314–320.
- Виноградов Ю. А. 2013а. Основные итоги изучения поселения Артющенко I (Таманский полуостров) // Проблемы истории, филологии и культуры 2, 233–241.
- Виноградов Ю. А. 2013б. Строительные комплексы римского времени на поселении Артющенко I (Таманский полуостров) // III «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Мат-лы междунар. археологической конф. Краснодар: Вика-Принт, 25–30.
- Виноградов Ю. А. 2015. Об открытии молотильного тока на поселении Артющенко-1 (Таманский полуостров) // Таврические студии 7, 43–45.
- Виноградов Ю. А., Кашаев С. В. 2015. Античные поселения Артющенко-1 и 2 на Таманском полуострове. К оценке масштабов природного разрушения // Боспорские чтения 16, 55–59.
- Крижицкий С. Д., Щеглов О. Н. 1991. Про зерновий потенціал античних держав Північного Причорномор'я // Археологія 1, 46–65.
- Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Бураков А. В., Отрешко В. М. 1989. Сельская округа Ольвии. Киев: Наукова думка.
- Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Отрешко В. М. 1990. Античные поселения Нижнего Побужья (археологическая карта). Киев: Наукова думка.
- Кругликова И. Т. 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука.
- Лебедева Е. Ю. 1994. Результаты исследования палеоботанических материалов с меотских памятников Прикубанья // Боспорский сборник 5, 108–112.
- Лебедева Е. Ю. 2000. Палеоботанические материалы по земледелию скифской эпохи: проблемы интерпретации // Гуляев В. И., Ольховский В. С. (ред.). Скифы и сарматы в VII–III вв. до н. э. Палеоэкология, антропология и археология. М., 91–100.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И. 2010. Меоты // Бонгард-Левин Г. М., Кузнецов В. Д. (ред.). Античное наследие Кубани. Т. 2. М.: Наука, 186–217.
- Масленников А. А. 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория европейского Боспора в античную эпоху. М.: Индрик.
- Масленников А. А. 2006. Античное святилище на Меотиде. М.: Гриф и К.
- Пашкевич Г. А. 1990. Состав культурных и сорных растений из раскопок поселений сельской округа Ольвии // Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Отрешко В. М. Античные поселения Нижнего Побужья (Археологическая карта). Киев: Наукова думка, 114–119.
- Пашкевич Г. О. 1995. Палеоботанічні матеріали з розкопок Ольвії // Археологія 3, 97–108.
- Пашкевич Г. О. 2004. Про склад рослин, вирощувааних на початку грецької колонзації Північного Причорномор'я // Borysthenika-2004: Мат-лы междунар. науч. конф.

- к 100-летию начала исследований острова Березань Э. Р. фон Штерном. Николаев: б. и., 131–138.
- Пашкевич Г. О. 2005. Археология та палеоботаника // Археология 2, 80–88.
- Пашкевич Г. А. 2016. Археоботанические исследования Боспора // Боспорские исследования 32, 205–299.
- Соловьёв С. Л. 2014. Античная комплексная археологическая экспедиция // Экспедиции. Археология в Эрмитаже. СПб.: ГЭ, 166–201.
- Соловьёв С. Л., Шепко Л. Г. 2004. Археологические памятники сельской округи Акры. Поселение Заветное 5. Т. 1. СПб.: ГЭ.
- Шрамко Б. А., Янушевич Э. В. 1985. Культурные растения Скифии // СА 2, 47–64.
- Щеглов А. Н. 1990. Северопонтийская торговля хлебом во второй половине VII — V вв. до н. э.: письменные источники и археология // Причерноморье в VII–V вв. до н. э. Тбилиси: Мецниереба, 99–121.
- Эрлих В. Р. 2001. Святылища в меотской культуре Закубанья скифского времени (к постановке проблемы) // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Мат-лы Междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб.: ГЭ, 115–119.
- Эрлих В. Р. 2004. Меотские святилища Абхазии // ВДИ 2, 158–172.
- Янушевич Э. В. 1976. Культурные растения юго-запада СССР по палеоботаническим исследованиям. Кишинев: Штиинца.
- Янушевич Э. В. 1986. Культурные растения Северного Причерноморья. Палеоботанические исследования. Кишинев: Штиинца.
- Vakhtina M. Yu., Vinogradov Yu. A., Goroncharovskiy V. A. 2010. Cult complexes and objects discovered by the Bosporan expedition of the Institute for History of Material Culture, Russian Academy of Sciences (Saint-Petersburg) // Petropoulos E. K., Maslennikov A. A. (eds.). Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. Thessaloniki: Kyriakidis Brothers' Publishing House, 367–398.
- Vinogradov Yu. A. 2015. Excavations at the Settlement of Artyuschenko I (Bugazskoe) on the Taman Peninsula // Hyperboreus 21 (1), 157–160.
- Vinogradov Yu. A., Lebedeva E. V. 2005. Excavations at the Classical-Period Settlement of Artyushchenko-1 (Bugazskoye) on the Taman Peninsula // Hyperboreus 11 (2), 316–319.



## Размеры и вес актовых печатей

*...Но можно найти и более целесообразные измерения и подсчеты. Скажем... подсчеты металлических изделий — по весу, по размерам...*

(Клейн 2012: 156)

**Резюме.** В литературе высказывалось мнение, согласно которому размеры вислых свинцовых печатей (моливдовулов) с течением времени увеличивались. Однако при изучении комплекса так называемого «архива», обнаруженного при раскопках в Довмонтовом городе Пскова, было установлено, что для средневековых русских печатей характерно не увеличение размеров, а их уменьшение с течением времени. При этом постепенное уменьшение размеров печатей не является особенностью псковского делопроизводства XV в., а распространено значительно шире и прослеживается в сфрагистике других государств (Византия, Венеция, Ватикан). По-видимому, уменьшение размеров подвесной металлической печати было в эпоху средневековья повсеместным явлением.

**Ключевые слова:** Средневековье, Псков, актовые печати, размеры, вес.

**S. V. Beletsky. Size and weight of business seals.** It was argued that the size of pendant lead seals (molivdovuls) had increased over time. However, the study of the so called «archive» complex, excavated in the Dovmont town of Pskov, has shown that the size of the medieval Russian seals decreased rather than increased with time. Moreover, the gradual decrease in the size of seals was characteristic not only of the Pskov records management of the XVth century, but also of many other states (Byzantium, Venice, Vatican). It appears that the decrease of sizes of pendant metal seals was a ubiquitous phenomenon in the Middle Ages.

**Keywords:** Middle Ages, Pskov, business seals, size, weight.

В литературе давно обсуждается вопрос о том, случайностью или же закономерностью следует объяснять такие характеристики подвесных свинцовых печатей (моливдовулов), как их размеры и массивность. Высказывалось мнение, согласно которому размер моливдовула является хронологическим признаком. Действительно, большинство древнейших русских печатей X–XI вв. были сравнительно крупными — до 30–40 мм в диаметре. В XII–XIII вв. преобладали моливдовулы размерами 14–17 мм. В XIV–XV вв. размеры буллы постепенно увеличиваются, и в XVI в. вновь встречаются моливдовулы размером 40 мм и более (Янин 1970а).

Однако диаметр печати все-таки не является твердо датирующим признаком: расхождение в размерах близких по времени моливдовулов достигает 5–10 мм. Кроме того, печати не были правильной круглой формы, и «диаметра» в геометрическом понимании термина не имели. Как правило, моливдо-

буллы имеют овальную форму, и горизонтальный размер в подавляющем большинстве случаев больше вертикального. Такая форма моливдовула объясняется техникой привешивания печати к документу: при сжатии заготовки клещами буллотиря происходит сплющивание каналов, сквозь которых пропущены нити, соединяющие печать с документом, и это «раздвигает» заготовку вширь, увеличивая горизонтальный размер буллы. Вертикальный размер сохраняется при этом более или менее близким диаметру заготовки, превышая его лишь за счет естественной деформации свинца. Таким образом, каждая булла имела не диаметр, а два основных размера — горизонтальный (перпендикулярно каналу для нитей) и вертикальный (вдоль канала).

Уникальную возможность для изучения размера моливдовулов дает комплекс так называемого «архива», обнаруженного при раскопках в Довмонтовом городе Пскова (Белецкий, Белецкий 2003). Речь идет о «печатах псковских» и именных владычных печатах Пскова: и те, и другие представлены в составе «архива» десятками оттисков одних и тех же пар матриц.

«Печати псковские» составляют около половины комплекса «архива» (278 экз.). Они разделяются на две группы, сменяющие друг друга во времени — печати 6933 г. и печати 6977 г. (Белецкий 1994). Совмещение на корреляционном поле горизонтального и вертикального размеров печатей 6933 г. (рис. 1А) не вполне отчетливо фиксирует существование больших и малых моливдовулов. Заметим, что среди печатей 6933 г. нет ни одного экземпляра, который соответствовал бы по размеру двум заготовкам, имеющимся в составе «архива». Совмещение на корреляционном поле горизонтального и вертикального размеров печатей 6977 г. (рис. 1Б) дает более или менее равномерное рассеивание и не выявляет заметного разделения моливдовулов по размеру. При этом наиболее мелкие экземпляры печатей 6977 г. максимально сближаются по размеру с заготовками из комплекса «архива».

«Печати псковские» использовались в делопроизводстве длительные отрезки времени — с 1424 по 1468 г. (печати 6933 г.) и с 1468 по 1510 г. (печати 6977 г.). Поэтому нет ничего удивительного в том, что разделение

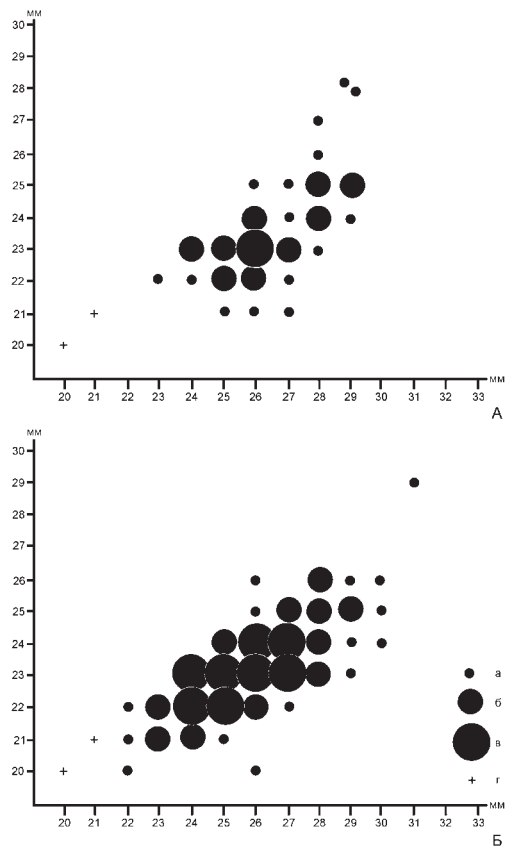


Рис. 1. Распределение по размерам «печатей псковских» 6933 г. (А) и 6977 г. (Б): а — 1–2 экз.; б — 3–5 экз.; в — более 5 экз.; г — заготовки для печатей

Fig. 1. Size distribution of «Pskov seals» of years 6933 (А) and 6977 (Б): а — 1–2 items; б — 3–5 items; в — more than 5 items; г — blanks for seals

моливдовулов по размерам неотчетливое. Значительно более показательным источником являются размеры именных владычных печатей (Белецкий: в печати). Они составляют около половины комплексов «архива» (265 экз.). Совмещение горизонтального и вертикального размеров именных владычных печатей на корреляционном поле (рис. 2) позволяет уверенно выделять две группы моливдовулов — большие и малые. При этом самые маленькие экземпляры печатей максимально сближаются по размеру с заготовками из комплекса «архива».

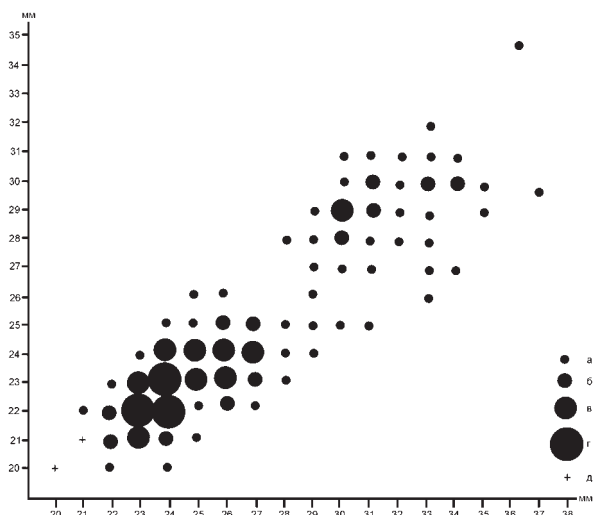


Рис. 2. Распределение по размерам именных владычных печатей: а — 1–2 экз.; б — 3–5 экз.; в — 6–10 экз.; г — более 10 экз.; д — заготовки для печатей

Fig. 2. Size distribution of archbishop's seals: а — 1–2 items; б — 3–5 items; в — 6–10 items; г — more than 10 items; д — blanks for seals

Большинство именных владычных печатей представлено серийными оттисками матриц, использовавшихся в делопроизводстве в течение коротких отрезков времени. Корреляция горизонтального и вертикального размеров печатей 1466–1467 гг. (рис. 3А) отчетливо фиксирует наличие больших и малых моливдовулов. Все четыре буллы 1429–1458 гг. укладываются по размерам в пределы группы больших печатей, в то время как единственная булла 1469–1470 гг. вписывается в группу малых печатей.

Корреляция горизонтального и вертикального размеров печатей 1471–1480 гг. (рис. 3Б) показывает, что при полном преобладании и достаточной компактности группы малых булл группа больших булл распадается на две подгруппы, более или менее изолированные друг от друга. Из 15 булл 1470–1471 гг. группе малых печатей соответствуют 14 экземпляров, а одна попадает в группу самых больших. Единственная булла 1483–1484 гг. по своим размерам вписывается в группу малых печатей.

Корреляция горизонтального и вертикального размеров печатей 1487–1504 гг. (рис. 3В) фиксирует, что эти печати распадается на две обособленные друг от друга группы. Печати 1485–1487 гг. демонстрируют значительное рассеивание. Печати же 1506–1509 гг. (рис. 3Г) отчетливо концентрируются в пределах ареала самых маленьких печатей 1487–1504 гг.

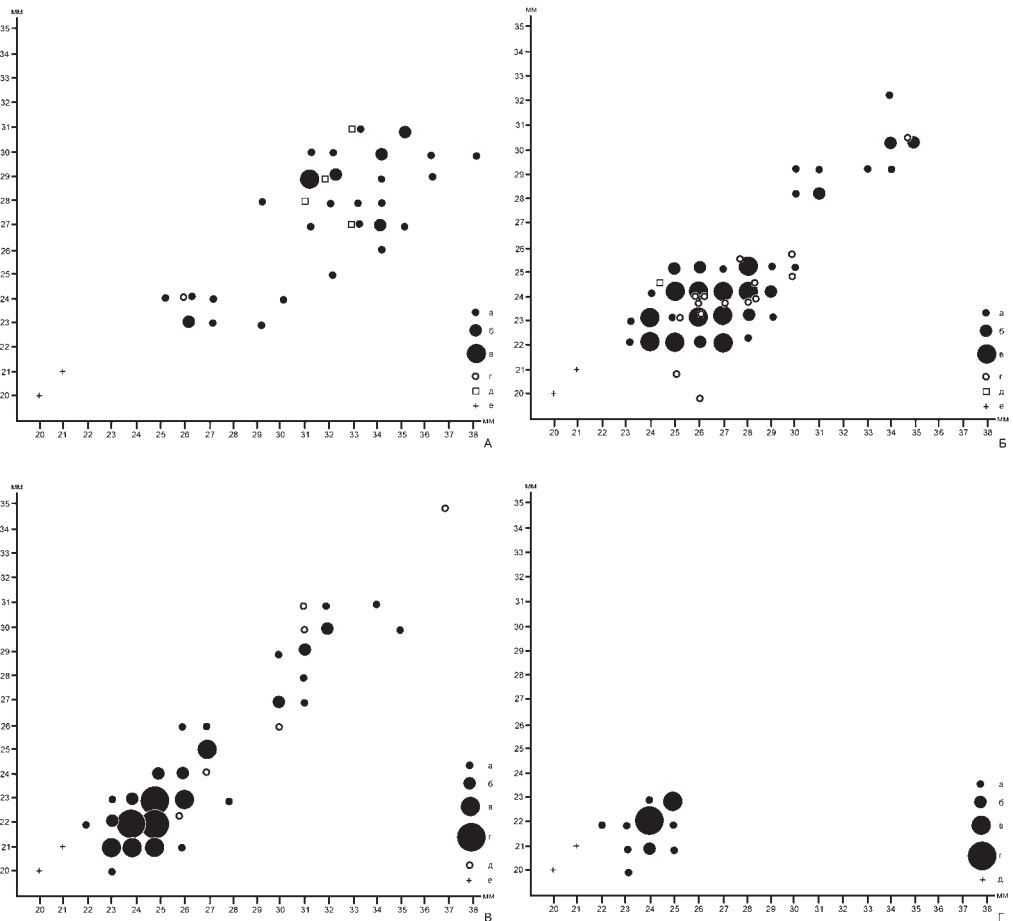


Рис. 3. Распределение по размерам именных владычных печатей. А: а-в — печати 1466–1469 гг. (а — 1 экз.; б — 2 экз.; в — 3 экз.); г — печать 1469–1470 гг.; д — печати 1429–1458 гг.; е — заготовки; Б: а-в — печати 1471–1480 гг. (а — 1 экз.; б — 2 экз.; в — 3 экз. и более); г — печати 1470–1471 гг.; д — печать 1483–1484 гг.; е — заготовки; В: а-г — печати 1487–1504 гг. (а — 1 экз.; б — 2 экз.; в — 3–5 экз.; г — 6 экз. и более); д — заготовки; Г: а-г — печати 1506–1509 гг. (а — 1 экз.; б — 2 экз.; в — 3–5 экз.; г — 6 экз. и более); д — заготовки

Fig. 3. Size distribution of archbishop's seals. А: а-в — seals of 1466–1469 (а — 1 item; б — 2 items; в — 3 items); г — seal of 1469–1470; д — seals of 1429–1458; е — blanks for seals; Б: а-в — seals of 1471–1480 (а — 1 items; б — 2 items; в — 3 and more items); г — seals of 1470–1471; д — seal of 1483–1484; е — blanks for seals; В: а-г — seals of 1487–1504 (а — 1 item; б — 2 items; в — 3–5 items; г — 6 and more items); д — seals of 1485–1487; е — blanks for seals; Г: а-г — seals of 1506–1509 (а — 1 item; б — 2 items; в — 3–5 items; г — 6 and more items); д — blanks for seals

При анализе размеров печатей, безусловно, важным является и третий размер — толщина буллы. Этот размер часто применяется для характеристики массивности моливдовула. К сожалению, практическое использование толщины печати затруднительно: в разных точках моливдовула толщина различная, а выведение средней толщины путем нескольких измерений дает все-таки недостаточно точную картину. Оценить массивность печати позволяет вес моливдовула.

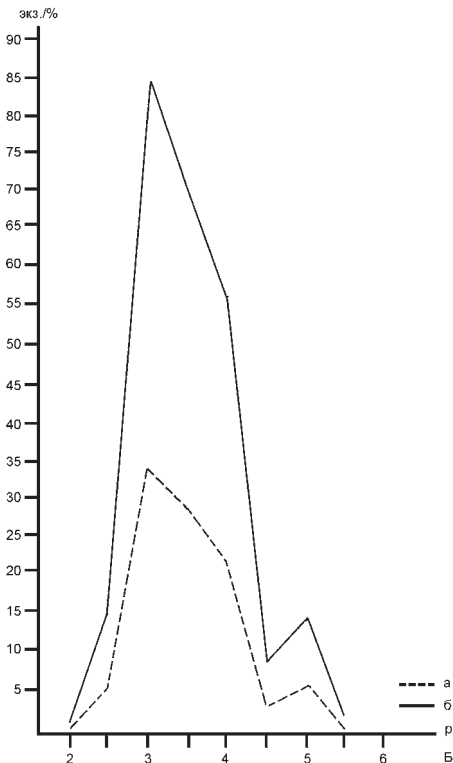
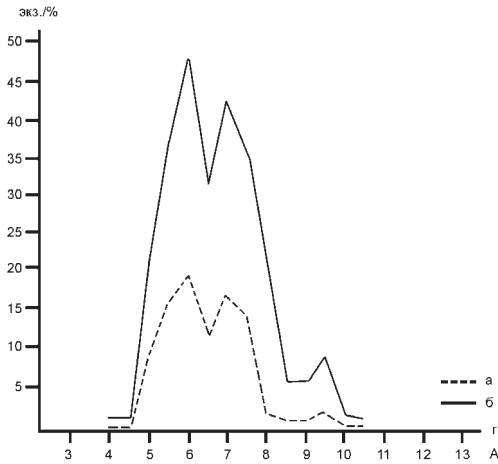


Рис. 4. Распределение по весу «печатей псковских». А — в граммах; Б — в резанах; а — количество; б — проценты  
 Fig. 4. Weight distribution of «Pskov seals». А — in grams; Б — in rezuns; а — quantity; б — percents

Результаты измерения веса «печатей псковских» для удобства представлены в виде частотного полигона (рис. 4А). Полученный трехвершинный полигон можно было бы интерпретировать как свидетельство существования трех стандартов заготовок. Однако все измерения были произведены в граммах, то есть в системе измерений XIX–XX вв., так что вопрос о том, в какой мере намеченная картина характеризует свинцовые печати XV в., остается открытым.

Ключом для ответа на поставленный вопрос являются две заготовки, происходящие из комплекса «архива». Вес у них почти одинаковый — 5,72 и 5,75 г. При сравнении этого веса с установленными В. Л. Яниным весовыми нормами для монет (Янин 1970б: 327) выясняется, что вес заготовок максимально сближается с тремя резанами ( $1,96 \text{ г} \times 3 = 5,88 \text{ г}$ ) — соответственно 2,92 и 2,95 р. С учетом же того, что при реставрации каждая из заготовок потеряла до сантиграмма металла, реально вес заготовок почти точно соответствовал трем резанам.

Результаты измерения веса «печатей псковских» в резанах также представлены в виде частотного полигона (рис. 4Б). Полученный двухвершинный полигон очевидно свидетельствует о существовании больших и малых «печатей псковских». Результаты отдельного изучения веса печатей 6933 г. и 6977 г. (рис. 5) определенно указывают на то, что наличие больших и малых моливдовулов объясняется не хронологическими различиями между ними, а сосуществованием в делопроизводстве одновременно как минимум двух стандартов заготовок.

Еще нагляднее сосуществование в делопроизводстве заготовок нескольких стандартов выявляется при изучении веса именных владычных

печатей. Полученный трехвершинный полигон веса печатей в граммах (рис. 6А) и в резанах (рис. 6Б) свидетельствует о существовании заготовок трех стандартов. При этом три буллы были оттиснуты на особо крупных заготовках индивидуальной отливки.

Результаты отдельного изучения веса одновременных именных владычных печатей подтверждают сосуществование в делопроизводстве заготовок разного размера. Четырехвершинный полигон распределения моливдовулов 1466–1469 гг. (рис. 7), вероятно, объясняется недостаточно репрезентативной серией моливдовулов. Буллы 1429–1458 гг. в целом массивнее, чем буллы 1466–1469 гг. Единственная булла 1469–1470 гг. принадлежит к числу наименее массивных.

Полигон распределения печатей 1471–1480 гг. (рис. 8) в граммах трех- или неотчетливо четырехвершинный, а в резанах — четырехвершинный. По всей видимости, в период применения в делопроизводстве этой пары матриц использовались заготовки как минимум трех различных весовых стандартов. Более ранние печати 1470–1471 гг. в основном представлены наименее массивными экземплярами, хотя одна булла принадлежит к числу массивных. Единственный моливдовул типа 1483–1484 гг. вписывается в весовой стандарт наименее массивных печатей.

Полигон распределения печатей 1487–1504 гг. (рис. 9) трехвершинный (одна булла оттиснута по заготовке индивидуальной отливки), что, очевидно, свидетельствует об использовании в делопроизводстве заготовок трех весовых стандартов. Печати 1485–1487 гг. в основном оттиснуты на заготовках средней массивности, но одна из булл оттиснута на небольшой заготовке, а еще

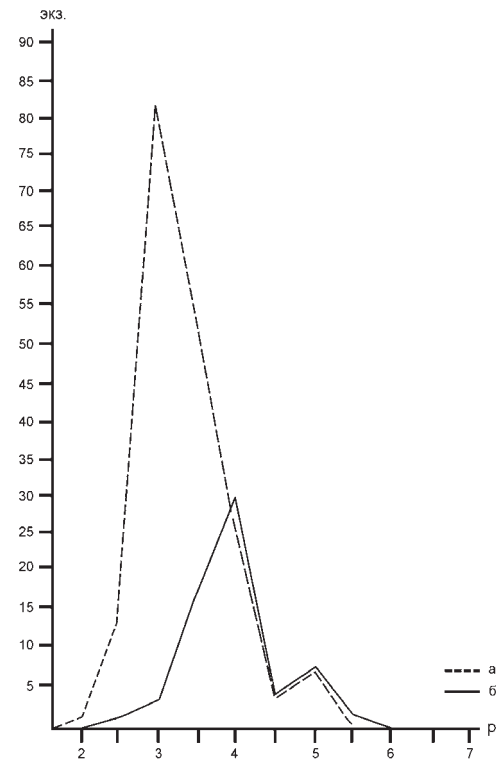
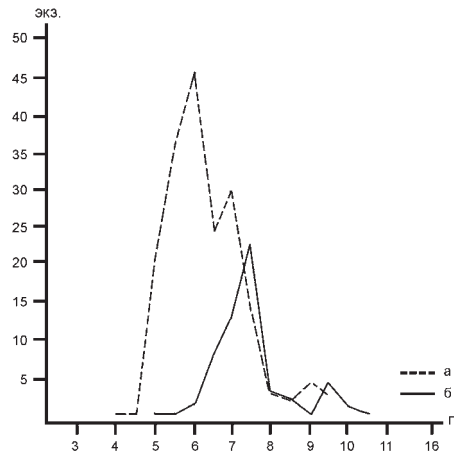


Рис. 5. Распределение по весу «печатей псковских». А — в граммах (а — печати 6977 г.; б — печати 6933 г.); Б — в резанах (а — печати 6977 г.; б — печати 6933 г.)

Fig. 5. Weight distribution of «Pskov seals». А — in grams (а — seals of 6977; б — seals of 6933); Б — in rezuns (а — seals of 6977; б — seals of 6933)

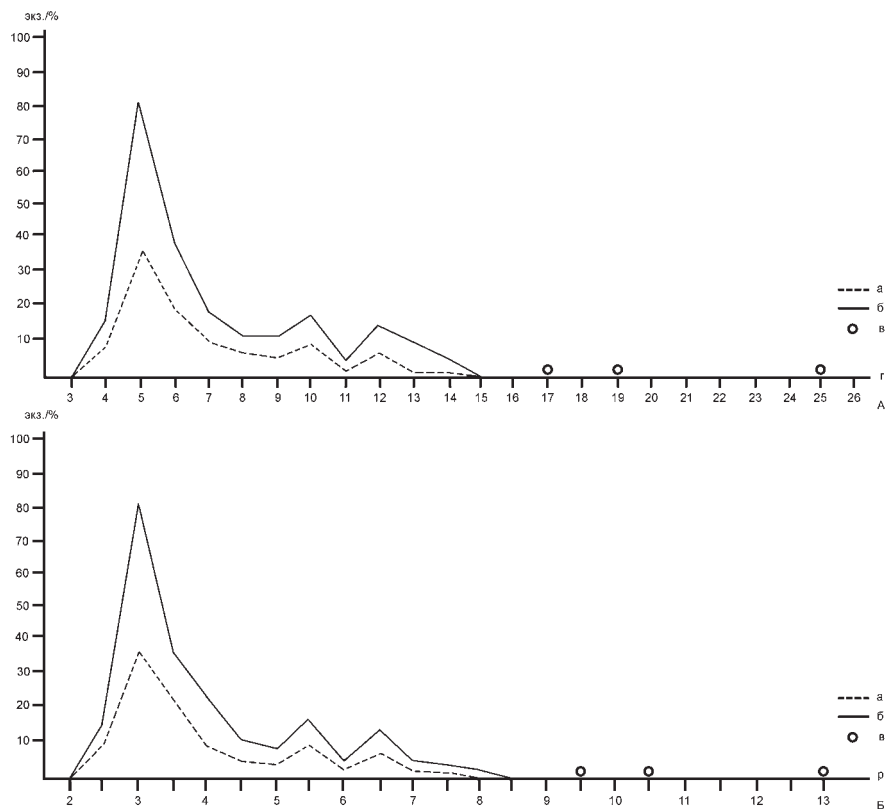


Рис. 6. Распределение по весу именных владычных печатей. А — в граммах; Б — в резаных; а — количество; б — проценты; в — оттиски на заготовках индивидуальной отливки

Fig. 6. Weight distribution of archbishop's seals. А — in grams; Б — in rezuns; а — quantity; б — percents; в — imprints on individually cast blanks

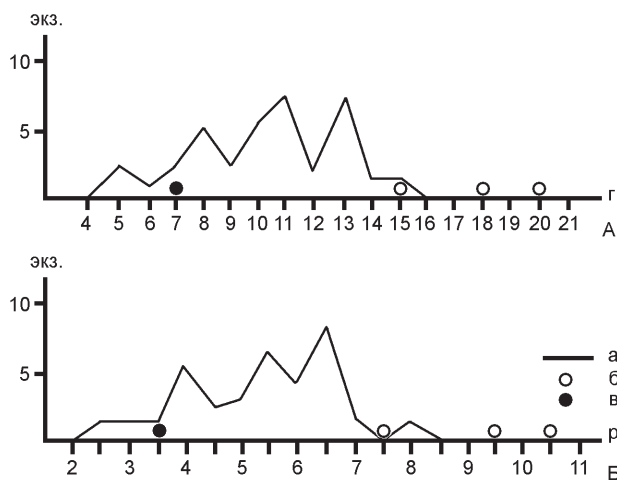


Рис. 7. Распределение по весу именных владычных печатей в граммах (А) и резаных (Б): а — печати 1466–1469 гг.; б — печати 1429–1458 гг.; в — печати 1469–1470 г.

Fig. 7. Weight distribution of archbishop's seals in grams (А) and in rezuns (Б); а — seals of 1466–1469; б — seals of 1429–1458; в — seals of 1469–1470

одна принадлежит к числу наиболее массивных. Все печати типа 1506–1509 гг. оттиснуты на наименее массивных заготовках.

Таким образом, для именных владычных печатей характерно постепенное уменьшение размеров и массивности — от наиболее массивных и крупных моливдовулов 1429–1458 гг. к наименее массивным и мелким буллам 1506–1509 гг.

При общей тенденции к уменьшению у наиболее представительных в количественном отношении именных владычных печатей наблюдается сосуществование до трех стандартов заготовок. Буллы, принадлежащие к большинству сфрагистических типов рассматриваемого разряда, в основном представлены оттисками на малых и наименее массивных заготовках. Очень массивные буллы редки и, как правило, принадлежат к числу наиболее ясно и четко оттиснутых экземпляров. Не исключено специфическое назначение этих моливдовулов. Н. П. Лихачев отмечал: «Склонность увеличивать печать сообразно с значением лица или учреждения привела к установлению государственных печатей чрезвычайной величины» (Лихачев 1928: 5). Правда, это наблюдение сделано на материалах вощаных печатей западноевропейского происхождения. Но, однако, «стремление отличить величиной *официальную* (выделено Н. П. Лихачевым.— С. Б.) печать важного лица или учреждения, может быть подмечено и в Византии» на примере моливдовулов (Лихачев 1928: 6). В нашем случае и малые, и большие, и наиболее массивные печати оттискивались в одном металле и одними матрицами, так что выделение моливдовула величиной могло быть вызвано, например, важностью скрепленного документа.

Разумеется, предлагаемые наблюдения требуют проверки на более широком фактическом материале. Однако представляется, что тенденция к постепенному уменьшению размеров заготовки не является особенностью псковского делопроизводства XV в., а распространена значительно шире. Контрольное взвешивание печатей различного происхождения, хранящихся в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, показало, что уменьшение массивности свинцовых

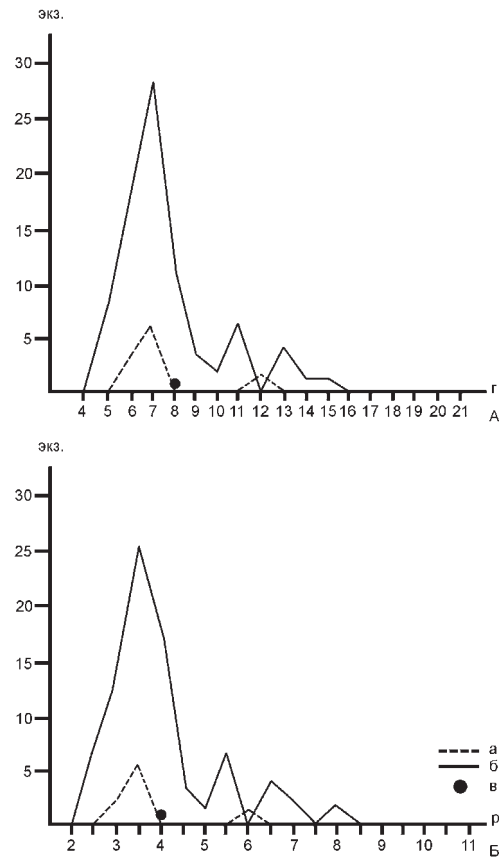


Рис. 8. Распределение по весу именных владычных печатей (А) и резанах (Б): а — печати 1471–1480 гг.; б — печати 1470–1471 гг.; в — печати 1483–1484 гг.

Fig. 8. Weight distribution of archbishop's seals in grams (A) and in rezuns (B): а — seals of 1471–1480; б — seals of 1470–1471; в — seals of 1483–1484



заготовок для печатей прослеживается и в сфрагистике других государств (Византия, Венеция, Ватикан), так что понижение веса моливдовулов, то есть уменьшение, а не увеличение размера подвесной металлической печати, было в эпоху средневековья, судя по всему, повсеместным явлением (Белецкий 1984: 52–53).

### Литература

- Белецкий В. Д., Белецкий С. В. 2003. «Архив» актовых печатей из раскопок в Пскове // Миролубова Г. А., Тарасова Э. А. (ред.). Русское искусство в Эрмитаже. К 60-летию Отдела истории русской культуры. СПб.: ГЭ, 53–63.
- Белецкий С. В. 1984. Диаметр и вес актовой печати // Комплексные методы в изучении истории с древнейших времен до наших дней. Тезисы докладов совещания. М.: Институт истории АН СССР, 52–53.
- Белецкий С. В. 1994. Сфрагистика средневекового Пскова. Вып. 1. Печати псковские. СПб.: ИИМК РАН.
- Белецкий С. В. (в печати). Печати владычных наместников Пскова XIV–XV вв. Часть 2: печати XV — начала XVI вв. // РАЕ (в печати).
- Клейн Л. С. 2012. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. Кн. 1. Донецк: Изд-во Донецкого ун-та.
- Лихачев Н. П. 1928. Материалы для истории русской и византийской сфрагистики. Вып. 1. Л.: Музей палеографии АН СССР.
- Янин В. Л. 1970а. Актовые печати древней Руси X–XV вв. Т. 1–2. М.: Наука.
- Янин В. Л. 1970б. Деньги // Очерки истории русской культуры XIII–XV вв. М.: МГУ, 317–347.

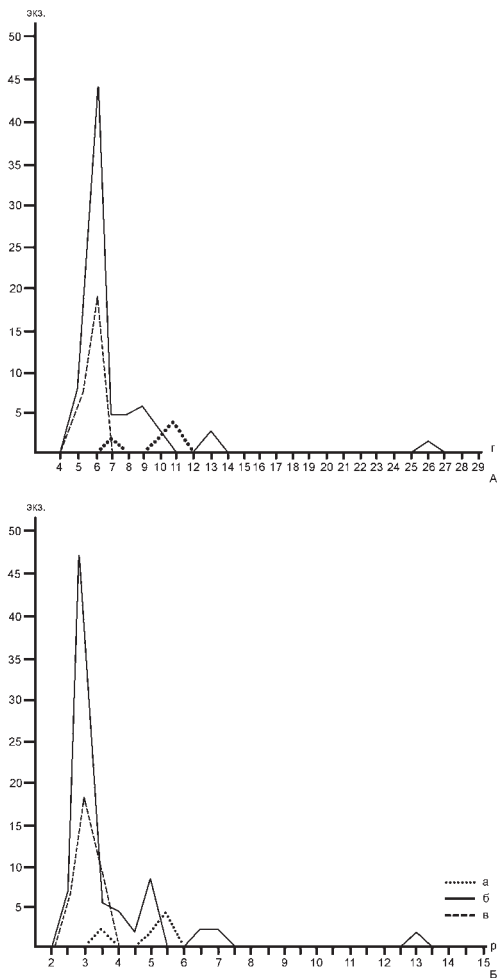


Рис. 9. Распределение по весу именных владычных печатей в граммах (А) и резанах (Б): а — печати 1485–1487 гг.; б — печати 1487–1504 гг.; в — печати 1506–1509 гг.

Fig. 9. Weight distribution of archbishop's seals in grams (A) and in rezuns (B): а — seals of 1485–1487; б — seals of 1487–1504; в — seals of 1505–1509

# Злоба дня:

"археология" под черной маской





## Российская археология в черно-белую полосу

(развивая критику Л. С. Клейном незаконной добычи древностей и уточняя отношение к ней дипломированных археологов)

**Резюме.** В статье отмечен как этапный вклад Л. С. Клейна в консолидацию академического сообщества археологов против современных грабителей памятников старины с помощью металлоискателей. Прослежена предыстория так называемой «черной археологии», анализируются ее социально-психологические причины и политический контекст. Критикуются соглашательские позиции многих специалистов в отношении находок, добытых из культурного слоя незаконным путем.

**Ключевые слова:** незаконный оборот древностей, «черная археология», законодательство, общественное мнение.

**S. P. Shchhavelev. Russian archaeology striped black and white (developing L. S. Klejn's criticism of illicit antiquities trade).** The paper highlights L. S. Klejn's contribution to the consolidation of academic archaeological community against archaeological site looters. The author tracks the history of what is called 'black archaeology' and analyses its social-psychological causes and political context. He criticizes the compromising positions of some specialists regarding non-scientific and illegal extraction of archaeological materials.

**Keywords:** illicit antiquities trade, 'black archaeology', legislation, public opinion.

Литературно-публицистический темперамент Л. С. Клейна не позволил ему избежать участия в одной из самых острых дискуссий последних лет — о так называемой «черной археологии», а точнее говоря, о самом масштабном в истории разграблении памятников археологии, происходящем в Российской Федерации начиная с 1990-х годов и по сию пору (Клейн 2013: 12). Его выступление на эту тему предельно доказательно объясняет любому непредубежденному читателю всю неправоту и преступность призывов как-то легализовать незаконную добычу древностей. Однако отношение профессиональных археологов к своим конкурентам — самовольным копателям и полуподпольным торговцам антиквариатом, изображается Львом Самуиловичем упрощенно, как однозначно отрицательное. Между тем ситуация здесь более сложная, и хотя меняется в лучшую сторону, но с большим запозданием и очень медленно.

Заголовок моей статьи перекликается с названием книги, посвященной критике так называемой «фольк-истории», — «История России в мелкий горошек». Ее авторы справедливо расценивают псевдоисторические опусы, заполнившие читательское и зрительское внимание, как «глобальный вред для ума» и «урон для культуры» (Володихин, Елисеева, Олейников 1998: 8). Ситуация с общественной трансляцией археологического знания складывается похожая, только, на мой взгляд, гораздо более опасная. Ведь на ниве памятников

археологии теория (то есть информация о них) сегодня прямо и все интенсивнее переходит в варварскую практику их самовольного поиска, разрушения и разграбления. Между тем позиция и ученого сообщества, и государственных органов, и средств массовой информации в отношении так называемой «черной археологии» остается, к сожалению, до сих пор по преимуществу пассивной. Больше того, в целом ряде случаев происходит вольное или невольное сращивание, так сказать, резонанс, идейный и организационный, официальной (музейной, университетской) и «теневой» (криминальной) археологии. Метафорой столь противоестественного, «полосатого, как зебра, кентавра» служит заглавие нижеследующих заметок.

Первоначально мои возражения против криминальной археологии на материалах из Курской области и соседних с ней регионов публиковались журналом «Российская археология» в материалах «круглого стола» «Незаконные раскопки и археологическое наследие России» (Щавелёв 2002: 85–89). В ответ на эту публикацию кандидат исторических наук А. В. Зорин от лица директора и ученого секретаря Курского областного музея археологии высказал на страницах «Российской археологии» свою аргументацию в пользу того, что ученым и музейным работникам необходимо общение с «черными археологами». Доводы сводятся к следующему: ради спасения для науки информации о ценных, нередко уникальных находках приходится консультировать грабителей, принимать на экспертизу их находки, не мешать их разрушительной деятельности (Стародубцев, Зорин, Шпилев 2004: 120–121).

А в следующем выпуске этого же журнала была опубликована диаметрально противоположная зоринской по своим выводам и аргументам статья В. С. Флёрова. Эти выводы и аргументы полностью совпадают с моей позицией, обнаруженной на упомянутом «круглом столе» 2002 г. В. С. Флёров абсолютно верно призывает нас признать: «...Соучастие ученого в торговле древностями — это вопрос не только юридический, но и профессиональной этики». Цитируется «Кодекс профессиональной этики» Международного совета музеев за 1986 г. В частности: «Музейные работники не должны атрибутировать или иным путем определять аутентичность предметов, в отношении которых может возникнуть подозрение, что они нелегально или незаконно приобретены...» (Флёров 2004: 121).

Прошло еще лет десять, пока руководство «Российской археологии» пришло к такому же выводу и перестало принимать к публикации статьи, где при ссылках на археологические находки есть сомнения в их происхождении. В «Правилах для авторов» этого журнала наконец-то появился соответствующий пункт: «К публикации не принимаются статьи, основанные на анализе материалов, собранных в поле или полученных иным путем без официального разрешения государственных органов (открытого листа) или же не сданных на хранение в Государственный музейный фонд (указание на место хранения желательно)». Однако в многочисленных монографиях и сборниках научных трудов сотрудников государственных университетов и институтов РАН ссылки на явно незаконные находки древности продолжают присутствовать в изобилии, застенчиво именуясь «случайными находками» или «дарами коллекционеров». В этом качестве нередко фигурируют фотографии-сканы, а местонахождение самих находок чаще всего остается неизвестным («из частной коллекции»).

Жизнь, как мне представляется, рассудила наше разногласие с курскими музейщиками и другими сторонниками сотрудничества настоящих ученых и «черных археологов». Вот что пишет публикатор очередных монетных нахо-

док: «Опасность складывающейся ситуации состоит не только в том, что меня владельцы, монеты безвозвратно теряют “паспортные данные” о своем происхождении, но и в том, что вымышленные сведения о месте обнаружения сребреников могут попадать в научную литературу. В качестве примера можно привести публикацию в журнале “Российская археология” (№ 1 за 2004 г.), где приведены недостоверные сведения о находках двух сребреников князя Владимира в Курской области (Стародубцев, Зорин, Шпилев 2004: 120). Информация об одной из монет почерпнута на сайте “Кладоискатель Черноземья”, где было указано неверное место ее обнаружения (близ д. Банищи) для направления по ложному следу конкурирующих кладоискателей из других регионов. В случае с другим сребреником, публиковавшимся ранее в журнале “Нумизматический альманах” (Молчанов, Селезнев 2000: 15–16) и якобы найденном на Бесединском (Ратском) городище в Курском районе, сама подлинность монеты вызывает большие сомнения» (Зайцев 2007: 6).

Не об этом ли я предупреждал на «круглом столе» 2004 г. и других своих публикациях последующих лет? Об этом самом — нельзя верить «черным археологам»; они то и дело обманывают музейных работников относительно мест и обстоятельств своих находок; могут их фальсифицировать; утаивают от музеев самые ценные находки, чтобы продать их подальше и подороже.

В процитированной работе В. В. Зайцева содержится наблюдение, которое почти экспериментально подтверждает, археологи каких регионов нашей страны теснее всего ассоциированы с грабителями памятников старины и к чему это приводит. За последние 10–15 лет, отмечает этот автор, количество находок древнейших русских монет X–XI вв. в сравнении с предыдущими годами значительно возросло. «Значительная часть... монет происходит с территории современных Брянской и Курской областей Российской Федерации... Находки сребреников в этих областях были известны и ранее... В последние годы количество находок резко возросло. Так, за прошедшие 5–7 лет только в Брянской области было обнаружено не менее 15 экз. древнерусских монет. Однако большая их часть известна только по фотографиям и изображениям на интернет-сайтах» (Там же: 7), так что проверить их на подлинность затруднительно.

На книжном рынке современной России за последние годы распродано несколько переводных и доморощенных изданий о кладоискательстве, написанных в квазинаучно-популярной манере. Еще больше имеется интернет-ресурсов той же направленности. Так подрабатывают неразборчивые в темах журналисты либо сами активисты «черной археологии». Но одну из нарядно изданных книжек на эту тему написал не кто-нибудь, а доктор исторических наук, специалист по отечественной историографии, профессор Вятского педагогического университета В. А. Бердинских, который известен своими основательными монографиями — об уездных историках XIX в., Вятском лагерном комплексе, спецпоселенческом контингенте ГУЛАГа, по устной истории страны в преданиях колхозного крестьянства. К тому же перед нами член Союза писателей и журналист со стажем, что для такой экзотической темы, как клады, немаловажно. Издательская аннотация адресует книгу не только «историкам и краеведам», но и «любителям поисков и рискованных путешествий» (Бердинских 2005: 4). На первых же страницах автор уточняет избранную им аудиторию — это, оказывается, отнюдь не коллеги-историки да музейщики, чьи профессии на нынешнем безденежье науки и культуры в нашей стране якобы вырождаются, а именно начинающие кладоискатели. «Убогое финансирование музеев,

археологических институтов привело к тому, что в общество потек ручеек ценностей из краеведческих музеев, картинных галерей, археологических раскопок... Теневой рынок антиквариата процветает. За металлоискатель берутся все новые отряды молодежи. Для них и написана эта книга» (Там же: 11). Написана, скажу сразу, не столько затем, чтобы предостеречь от опасного и незаконного занятия, сколько в качестве поощрения к таковому и, что самое печальное, ради ориентировки на наиболее археологически перспективные места использования металлоискателей.

Отмечая районы наибольшего отложения кладов в те или иные эпохи, автор вслед за официальными археологами зовет туда же «археологов черных». «Там, где больше было археологических и прочих раскопок, найдено больше кладов» (Там же: 31). «...Детальное изучение, например, торгового пути “из варяг в греки” очень много дает не только археологу, но и любому кладоискателю» (Там же: 34). А «сройте до основания землю Старой Рязани, Владимира или Суздаля — и вы найдете гораздо больше кладов» (Там же: 32). «Вообще территория бывших кремлей русских городов исключительно кладоносна. Нередко сейчас в этой зоне нет жилых домов, а археологи раскопки вообще не ведут... Места вблизи земляных валов, городских стен — очень перспективны в отношении поиска кладов» (Там же: 41). «В южных степях, — напоминает сегодняшним поисковикам, — рыли курганы, на севере обследовали древние лабиринты, в лесах — памятные кресты на перекрестках дорог и так далее» (Там же: 173). «Немало кладов скрывают старые разрушенные церкви, храмы, монастыри» (Там же: 170).

«Практическая» направленность книги нарастает от главы к главе и достигает своего апогея в последней главе — «Кладоискатели XX века» и в заключении. Последнее хотя и названо «Миражи и мифы русского кладоискания», но содержит перечень наиболее известных кладов России (от легендарной библиотеки Ивана Грозного до основательно затерянной Янтарной комнаты, включая и реальные клады археологического характера вроде восточного серебра, монетного и посудного; даже «золота скифского, сарматских и сибирских курганов»). Тем, кто проживает далече от предполагаемых мест упокоения крупнейших кладов, автор предлагает «искать клады недалеко от дома... Проверьте... собственный огород... Обойдите по берегу высокий склон реки, осмотрите осыпи. Найденная в речке монетка подарит вам больше радости, чем внеочередная премия по службе» (Там же: 208). О том, что на указанных местах находки «монеток» и прочих древностей почти наверняка располагается культурный слой, древние поселения и могилы, охраняемые законом от расхищения частными лицами, книга умалчивает.

Специальный раздел составляют «Практические советы начинающему кладоискателю». Оказывается, подземными кладами надо считать только те, что залегают на глубине более трех метров. Такие пусть ищут опытные кладоискатели. «Ваше дело, — настаивает широкого читателя В. А. Бердинских, — это поверхностные клады: в зданиях, верхнем слое грунта. Их поиск не требует больших начальных затрат... Шансы на успех есть в любом регионе России. Очень важную роль при поиске конкретного клада играет предварительная проработка материалов в библиотеке и архиве... занятия историей родного края... Поиск мини-кладов вполне по силам любому человеку, купившему простейший металлоискатель и за пару часов его освоившему. *Очень интересны древние пещеры. Жизнь была ключом и на подступах к ним*» (Там же: 205–208); и т. д., и т. п.

Иначе как реквизиемом по научной археологии и национальному музейному делу эти заливчатские подсазки разрушителям культурного слоя и не зовешь. А завершается данный раздел «истории русского кладоискательства» таким вот пассажем: «Будем надеяться, что в России на смену хмурым и оборванным одиноким волкам и браткам в джипах придут добродушные бюргеры с милым походом выходного дня» (Там же: 208) — за всеми теми монетными и вещевыми кладами, которые автор довольно подробно рекомендует их вниманию. Раз «на Западе кладоискательство давно стало развитой отраслью индустрии досуга со своей инфраструктурой: периодикой, техническим обеспечением, лавиной пособий, карт, справочников», то неужели России отставать и в этом отношении... «От 5 до 10 % населения могут реализовать эту свою склонность в благоприятных условиях» (Там же: 6). То есть этот автор, дипломированный историк, в своих мечтах видит на «русском поле» миллионы людей с миноискателями!..

Основная для историографа сторона проблемы — как российское государство и общество относились к поискам и находкам кладов на разных этапах отечественной истории — прослежена автором далеко не полно. Эпидемии кладоискательства вспыхивали и гасли не всегда и не во всех регионах России, служили явственной приметой маргинализации отдельных личностей и малых социальных групп (пресловутых сибирских бугровщиков или же крымских «счастливчиков»). У В. А. Бердинских же получается, что русский человек — прирожденный кладоискатель и тем самым культурный герой. Неоднократно цитируя крестьянские, по сути языческие поверья на сей счет, автор оставляет в стороне позицию православной церкви, запрещавшей осквернять любые могилы, тем более в поисках сокровищ.

По сути дела, обойдена в книге и миссия первых поколений наших археологов, в свое время перешедших от сугубо коллекционерского, знаточеского восприятия кладов к их научно-историческому анализу и комплексной музеефикации. Примерами расхищения и утраты кладов «история» В. А. Бердинских изобилует, а вот фактов спасения найденных ценностей для музея, университета в ней не найдешь (хотя и таких случаев, по сути подвигов честных и образованных людей, в нашей истории сыщется немало).

Издатель Захаров, вероятно, рассчитывал на успешный сбыт трехтысячного тиража, и не без основания. Автор и издатель завершают книгу совместным обращением к «дорогим читателям». Их просят присылать в издательство любые материалы для подготовки «нового документального издания “История России в кладах”» (Там же: 239). Но несколько раз упоминая о том, что клад — важный источник изучения родной истории, В. А. Бердинских ведь так и не раскрывает элементарных условий, при которых находка спрятанных когда-то вещей способна дать такого рода информацию. В действительности каждому мало-мальски образованному читателю должно быть ясно, что любой клад, не дошедший до ученых и музейных работников, безвозвратно потерян для науки и культуры. Никакой истории по разрозненным и беспаспортным вещам из антикварных лавок или частных коллекций изучить невозможно. Живописуя, как его родной дядя нашел монетный клад идеальной сохранности, автор ни слова не говорит о том, куда его передали. По всей видимости, он оказался незаконно присвоен находчиком. Чего тогда стоит следующая за этим сюжетом декларация о том, что «любой монетный клад — это история села, города, страны определенного времени» (Там же: 186).



Вся книга только отпугивает потенциальных находчиков кладов от общения по их поводу с «алчным государством» или «растяпами-археологами». С точки зрения этого доктора исторических наук, профессора «грань между вещами, относящимися к памятникам истории и культуры и не относящимися, часто провести очень затруднительно» (Там же: 203). После таких заявлений, ясное дело, ему «не видать находчиков кладов, штурмующих двери властных структур с желанием сдать клады». Между тем кроме тривиальной жадности у многих нормальных людей присутствует здоровое честолюбие. Увидеть свою находку, в огромном большинстве случаев вовсе не драгоценную, на витрине музея или на книжной иллюстрации для этих людей гораздо важнее, чем разжиться не принципиально великой суммой денег на ее продаже. Поэтому, хотя археологических находок несут в музеи для пожертвования или продажи то больше, то меньше, полностью этот ручеек никогда не иссякнет.

После всего, процитированного мной из его книги, уже не удивляет пристрастное отношение автора к археологам и музейным работникам. По мнению В. А. Бердинских, «вся археология — наука о мертвых вещах. Ведь утеряны отношение, чувство, жизненное предназначение вещи» (Там же: 31); «предметы давних эпох, выставленные в музеях, вообще мертвы и не могут рассказать нам сегодня практически ничего о своих владельцах» (Там же: 6). Получается, что ученые только омертвляют древности, а вот кладоискатели мистическим образом проникают завесу времен... Между тем все путное, что в этой книге все-таки сказано о времени, причинах выпадения разного рода кладов, их составе и социально-историческом значении, заимствовано, понятное дело, из работ историков и археологов. Хотя автор книги о кладоискательстве не знаком со многими принципиальной важности их работами на его тему.

В книге есть раздел «Что думают “черные следопыты” об археологах?». Цитируя кладоискательские издания, автор явно сочувствует их идеологии. Окачивается, «расхищение материалов археологических раскопок поставлено на поток» (Там же: 196). Ими будто бы всю торговлю и студенты, проходящие там практику (таких студентов автор «видел сам»); и начальники раскопов («одна монетка — бутылка» водки)», и «высшая каста — руководители музеев и экспедиций». Автор, правда, делает оговорку, сквозь зубы признавая: «Худо-бедно, но науку и культуру двигают все же археологи». Доверчивому историку не приходит в голову, что многие тексты на кладоискательские темы — не более чем плод досужей фантазии подрабатывающих «желтой» журналистикой субъектов.

Апофеозом авторских претензий к ученым является раздел «Что думают археологи о “черных следопытах”?». Здесь выборочно пересказаны материалы «круглого стола» на тему «Незаконные раскопки и археологическое наследие России», состоявшегося в редакции «Российской археологии» в 2002 г. По мнению В. А. Бердинских, никто из участников того мероприятия «не поднял вопросов о неблагополучии с этикой самих археологов»; о «заржавевшем механизме официальных археологических структур» (Там же: 200).

Слава богу, в книге имеется послесловие, написанное А. А. Формозовым — «Люди ищут клады». Отдавая должное труду В. А. Бердинских, он как профессиональный археолог, с присущей ему принципиальностью оговаривает самые важные моменты поднятой темы:

- кладоискательство — отнюдь не безобидное занятие романтической молодежи, а нечто предосудительное, даже преступное;

- спасти для науки и культуры памятники старины могут только настоящие археологические раскопки, а кладоискатели всегда эти памятники разрушают;
- они вовсе не помощники и не заместители ученых-археологов, а преступники; ими движет не романтика, а самая заурядная корысть; из-за них культурное наследие России несет невосполнимые потери.

«Вот почему вспыхнувшее в нашей стране кладоискательство надо не поощрять, а всюду и категорически пресекать» (Там же: 236). Все ли читатели книги, изданной трехтысячным тиражом, прислушаются к этим выводам? А не разделят ли они прямо противоположный манифест автора и издателя, согласно которым «клад — это игра, столь нужная человеку в нашем обществе, захавшем его в тиски мощной индустриальной цивилизации» (Там же: 239)?

Но упомянутые в печати и в интернете незаконные находки древностей означают, что местные и приезжие кладоискатели уже не довольствуются отдельными памятниками, где недавно поработали официальные археологи (и тем волей-неволей засветили их местонахождение). Грабители теперь пошли-поехали *по всем без исключения памятникам*, нанесенным на доступные им археологические карты. Кроме примитивных ям-закопушек, вырытых на памятнике произвольно по данным детектора, все чаще грабители закладывают вполне правильные археологические раскопы, выбирая вещи по квадратам, слоям — ведь на подпольном рынке антиквариата стали особенно цениться археологические комплексы находок. Систематические рейды «черных следопытов» способны навсегда стереть с археологической карты целые субъекты Российской Федерации. Таков должен быть правдивый вывод из новейшей истории отечественного кладоискательства. Однако автор рецензируемого издания его не сделал. Неразборчивый в выборе художественных приемов беллетрист на сей раз победил в нем историка.

Кладоискательский клич профессора Бердинских подхвачен не только в интернете, но и в бумажной литературе. Среди многих других выделяется своей опасностью книжка еще одного по внешней видимости кастового историка (Станюкович 2010). Я узнал о ней из рецензии в номере «Книжного обозрения». Рецензента книжка очаровала: «Поиск старинных сокровищ — дело завораживающее. Особенно если авторы обещают тексты с элементами документальности... Андрей Станюкович — доктор исторических наук, археолог, главный редактор журнала “Родная старина”, и гораздо больше, чем кокарды и рубли... его интересуют предметы, относящиеся к домонгольскому периоду Руси и неолиту». Интерес автора простирается до того, что им описаны соответствующие памятники и составлена карта «Чем богаты столичные окрестности». На схему Подмосковья положены фотографии типичных археологических находок — металлических украшений, предметов культа, быта с... указанием их рыночной цены — от 500 рублей за екатерининский пятак до 100 000 рублей за «редкую чешуйку городского княжества XV в. (Шулаков 2011: 8). Перед нами еще один оборотень в якобы академической мантии. Своим беллетристическим приемом он обаял малограмотного журналиста, сотрудничающего с одним из самых культурных, по идее, печатных изданий нашей страны.

Недавно увидела свет книга (Бабаев 2009), очень похожая на монографию по нумизматике: прекрасная полиграфия, с множеством иллюстраций, благодарности коллегам-коллекционерам и научным сотрудникам, включая довольно известных специалистов. Настораживает отсутствие указания редактора

и рецензентов. Подавляющее большинство упомянутых в книге монет якобы тмутараканского чекана содержится в частных коллекциях. Каков среди них процент подделок, трудно сказать, но наверняка немалый. Например, так называемые «монеты боярина Ратибора» явно копируют давно известные специалистам печати этого киевского посадника в Тмутаракани. Как видно, «монеты Ратибора создавались именно по образу и подобию его печатей, имеющих идентичную структуру», только добавлю, не в древние, а в новейшие времена фальшивомонетчиками для сбыта на антикварном рынке. Не случайно столь явные новоделы «появились в середине девяностых годов» (прошлого века. — С. Щ.) и «до недавнего времени эти чрезвычайно редкие монеты из-за их низкого качества и еще более неудовлетворительной сохранности не публиковались» (Зайцев 2007: 8–10). Первая публикация, признавшая их древнерусскими денежными знаками, не убедительна (Бабаев 2009). Представить, что денежной эмиссией занялся бы не представитель княжеского Дома Рюриковичей, а кто-то из их подчиненных, для историка Руси невозможно — это противоречит всей системе научных знаний об ее политической системе. На примере издания К. В. Бабаева видно, что коллекционеры подлинных и поддельных монет претендуют на научный статус, имитируют атрибуты профессиональной экспертизы своих сокровищ.

Сотрудничество некоторых археологов с грабителями памятников старины выражается в следующих формах:

- пассивное отношение к замеченным участниками официальных раскопок на охраняемой территории лицам с металлодетекторами (нередко их приглашают в гости, к экспедиционному столу, расспрашивают о находках и т. д.);
- консультации и экспертиза незаконно выкопанных из культурного слоя вещей;
- публикация изображений награбленных вещей в своих работах;
- приобретение и бесконтрольное использование металлоискателей в официальных экспедициях по открытым листам.

В качестве примера всего только что сказанного приведу заявление такого рода: «Краеведом из Курчатова А. А. Катуниным в осыпях склонов городища собраны представительные материалы, которые он передал в Курский государственный университет» (Енуков 2005: 263). Умолчанию подвергаются «методы» сбора — использование «краеведом» металлоискателя и, соответственно, лопаты для вырывания засеченных под землей вещиц. Судя по большому числу и малой величине находок, культурного слоя на упомянутом городище «краеведом» было перелопачено немало (найлены наконечники стрел и копья, 14 бляшек от ременной гарнитуры, серебряный перстень). «За кадром» остается и тот несомненный факт, согласно которому и упомянутый грабитель, и многие его «коллеги» по криминальной «археологии» идут по областным памятникам археологии уже не выборочно, а систематически — пользуясь приобретенной у тех же музейных археологов картой этих памятников. Следовательно, вскорости в Курской области уже не останется памятников старины с неповрежденным культурным слоем.

Сомнительные находки с кладоискательских сайтов обильно фигурируют также среди иллюстраций к «Очеркам истории Курского края с древнейших времен до XVII в.» (Стародубцев, Зорин, Шпилёв, Щеглова 2008: 268, 280, 292, многие др.). Причем повторяются злонамеренно ошибочные локализации монетных и прочих криминальных находок, вроде вышеупомянутых В. В. Зайцевым.

В иных случаях истинное происхождение и местонахождение вещей из грабительских «раскопок» авторами «Очерков» умалчивается (например, «печать... XV–XVI вв., серебро, д. Липино (Октябрьский район Курской области)» (Там же: 371; рис. 72, 1). В других случаях глухо упоминаются «дары» соответствующего коллекционера награбленных древностей. Вот характерный пассаж: «К ордынскому времени относятся найденные там же (на территории Ратского археологического комплекса под Курском.— С. Щ.) полностью собранный из обломков чугунный котел диаметром 51 см (рис. 67, 5) и также фрагмент круглого зеркала... Еще одно зеркало из оловянистой бронзы, найденное на поселении у Ратского городища, было передано в 2002 г. Курскому областному краеведческому музею... В 1990-х гг. здесь была найдена орнаментированная куфической вязью прямоугольная пластинка, а в 2002 г. в выбросе кротовины обнаружен... золотой перстень, щиток которого украшала арабская надпись... В настоящее время эта редкая находка в фондах Курского областного краеведческого музея... В фондах Курского государственного областного музея археологии хранятся и собранная (орфография издания.— С. Щ.) на территории Ратского поселения коллекция джучидских дангов (49 экз.) и пулов (65 экз.)» (Там же: 355–356).

Итак, «найденные» «на памятнике» «вещи» переданы в музей. Давайте уточним. Кем найденные? Каким образом найденные? Где именно найденные? Какая же часть этих массовых находок в музей не передана? Как говорил булгаковский персонаж, «подумаешь — бином Ньютона!». Найдены упомянутыми по фамилиям или оставшимися анонимными грабителями памятников. Так, пресловутый чугунный котел — «дар В. Н. Катышева» (Там же: 339). Найдены с помощью металлодетектора и лопаты. Территории Ратского и Липинского комплексов уже лет 20 не пахутся их землевладельцами, поверхность там основательно задерновалась. Пока в начале 1990-х она была под пашней, археологи собирали там подъемный материал. Несколько обломков чугунных ордынских котлов, отдельные монеты тогда попадались. Но извлечь археологически целый сосуд такого размера можно исключительно с помощью металлодетектора, разрыв целую яму в человеческий рост. А для множества монет — множество ям. «Золотой перстень в кротовине». Эта фраза рассчитана на астрономическую наивность. Хотя по сути — воровская наглость.

Какие еще более редкие находки грабители утаили от археологов, можно отчасти узнать из кладоискательских ресурсов интернета (см. упомянутые «Очерки» А. В. Зорина и его соавторов). Сравнение вещей, подаренных или проданных местному музею, и утаенных для продажи на интернет-аукционах однозначно показывает: сбываются в частные коллекции, в том числе за границу, безусловно самые ценные художественно и научно вещи. Курские археологи имели несколько случаев убедиться в этом, но продолжают сотрудничать с нелегальными поставщиками древностей. По принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок».

Сборы подъемного материала, особенно по распахиваемой или иначе поврежденной поверхности археологического памятника, тем более находящегося в аварийном состоянии, — полноправный способ его научного изучения. Разумеется, при условии фиксации, музеефикации, а в идеале и публикации добываемого таким путем вещевого материала. Для ученого археолога так называемая «подъемка» — сугубо вспомогательный прием, ценный лишь в комплексе с разведками, раскопками, картографической съемкой и прочими составляющими научной методологии изучения и экспонирования древностей.

Собиратель же дилетант ставит эту методику с ног на голову — в его руках бездумно вырытая из культурного слоя древняя вещь теряет едва ли не большую часть потенциально заключенной в ней исторической информации, да и, пожалуй, экспозиционной ценности. В конце концов, зачем научной археологии неизвестно откуда взявшиеся украшения или даже монета, пломба, когда однотипных с ними и без того множество в музейных собраниях? Тут, верно, отдельным археологам очень хочется отличиться — занять именно в «своем» регионе для публикации, экспозиции редкие находки.

Причем одно дело, когда Эрмитаж, Государственный исторический музей, иное центральное учреждение культуры принимают на экспертизу и приобретают для своих фондов у частных лиц раритеты, чье происхождение затерялось на просторах страны. Другое дело — провинциальный музей, одна из прямых обязанностей которого — мониторинг сохранности памятников старины в его так или иначе обозримой округе.

Вместо того чтобы привлечь заядлых коллекционеров и торговцев антиквариатом к ответственности за порчу археологических памятников, музей выполняет экспертизу их добычи с курских городищ, экспонирует ее у себя для широкой публики; частично приобретает для своих фондов, включает в монографии и учебные пособия многочисленные изображения их «даров». Только на поверхностный взгляд приваживание государственными учреждениями кладоискателей да лидеров собирательских объединений оправдано задачей спасти для науки и культуры самую ценную часть их добычи. Рассуждая так, археолог покидает устои своей профессии и скатывается к давно устаревшему в научном плане коллекционерству, так называемому знаточеству. Вполне почтенное само по себе, любительское собирание древностей не должно, как известно, нарушать законодательства об охране национального достояния нашей страны. Вырванная из контекста культурного слоя памятника, а тем более из комплекса сопредельных находок вещь почти всегда обесценивается для науки.

В конце концов федеральные законодатели, наконец, внесли соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. К этим последним приравнены покушения на памятники истории и культуры. Одна статья (7.15) предупреждает **«Ведение археологических разведок или раскопок без разрешения»**, а другая (7.33) — **«Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации»** (выделено мной. — С. Щ.). Административные штрафы за указанные нарушения составляют для граждан от 15 до 25 минимальных размеров оплаты труда, а для юридических лиц — от 400 до 500. Разумеется, с конфискацией предметов, добытых в результате незаконных работ, также их инструментов и оборудования (Российская газета 2006). Так что теперь человек с миноискателем и без открытого листа на археологическом памятнике никакой не «краевед», а правонарушитель. Ничем не отличимый от человека с отмычкой на складе чужого добра или в чьей-то квартире. А музейный работник, научный сотрудник, археолог, который консультирует такого незаконного поисковика, принимает его находки на экспертизу — его сообщник в административном правонарушении. По сути и букве закона — скупщик краденого. Археологи, стоящие вне профессиональной этики, не отреагируют ни на какие меры убеждения, кроме административных. В числе этих последних напрашиваются следующие: плановая сверка археологических фондов музе-

ев независимыми комиссиями, включающими в себя представителей соответствующих центральных ведомств и академических институтов; инспекция хода проведения раскопок по открытым листам и, попутно, состояния поставленной на охрану территории изучаемых памятников; рецензирование научных изданий по истории и археологии, содержащих ссылки на незаконно добытые древности; согласование замеченных нарушений законодательства и профессиональной этики с руководством тех учреждений науки и культуры, где трудятся специалисты, запятнавшие себя сотрудничеством с грабителями памятников.

## Литература

- Бабаев К. В. 2009. Монеты Тмутараканского княжества. М.: Древлехранилище.
- Бердинских В. А. 2005. История кладоискательства в России. М.: Захаров.
- Володихин Д., Елисеева О., Олейников Д. 1998. История России в мелкий горошек. М.: ЗАО «Мануфактура», изд-во «Единство».
- Енуков В. В. 2005. Славяне до Рюриковичей. Курск: Учитель.
- Зайцев В. В. 2007. О новых находках древнерусских монет X–XI вв. // Средневековая нумизматика Восточной Европы. Вып. 2. М.: Древлехранилище.
- Зорин А. В., Стародубцев Г. Ю., Шпилёв А. Г. 2004. О проблеме сохранения археологического наследия // РА 1, 120–125.
- Зорин А. В., Стародубцев Г. Ю., Шпилёв А. Г., Щеглова О. А. Очерки истории Курского края (с древнейших времен до XVII в.). Курск: График.
- Клейн Л. С. 2013. Археологи против «черных» // Троицкий вариант 123, 12.
- Молчанов А. А., Селезнёв А. Б. 2000. Сребреник Владимира Святославича с Бесединского городища под Курском // Нумизматический альманах 4, 15–16.
- Российская газета. 2006. 27 июля. № 162 (4128). 6.
- Станюкович А. 2010. В десяти саженях отсюда. М.: Группа «Искатели».
- Флёров В. С. 2004. Найдено на аукционе «Christie». Роль эксперта в торговле древностями // РА 2, 115–122.
- Шулаков С. 2011. В поисках вчера (рубрика «Кладоискатели») // Книжное обозрение 4 (2302), 8.
- Щавелёв С. П. 2002. [Выступление на заседании редакционной коллегии и редакционного совета журнала] Незаконные раскопки и археологическое наследие России. Мат-лы круглого стола, проведенного редакцией и редколлекцией журнала «Российская археология» // РА 4, 86–89.

## Список сокращений

### Названия учреждений

АН СССР — Академия наук СССР.  
АН УРСР — Академія наук УРСР.  
ВНУ — Восточно-украинский национальный университет. Луганск.  
ВУАК — Всеукраїнський археологічний комітет.  
ВУАН — Всеукраїнська Академія наук.  
ГИМ — Государственный Исторический музей. Москва.  
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.  
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной академии наук Украины. Киев.  
ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук. Москва.  
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Санкт-Петербург.  
КГПУ — Красноярский государственный педагогический университет.  
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.  
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР  
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии Российской академии наук. Санкт-Петербург.  
МГУ — Московский государственный университет.  
НИЛ «Археология» — научно-исследовательская лаборатория «Археология» Приднестровского государственного университета. Тирасполь.  
НГОМЗ — Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.  
РАН — Российская академия наук.  
Сам. ГПУ — Самарский государственный педагогический университет.  
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет.  
УАН — Украинская академия наук.

### Названия периодических и продолжающихся изданий

АА — Археологический альманах. Донецк.  
АВ — Археологические вести. СПб.  
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинев.  
АКМ — Археологическая карта Молдавской ССР. Кишинев.  
АП УРСР — Археологічні пам'ятки УРСР. Киев.  
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л./СПб.  
АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.  
БКИЧП — Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. М.  
ВА — Вестник антропологии. М.  
ВДИ — Вестник древней истории. М.  
ВИ — Вопросы истории. М.  
ДИНЮВС — Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск.  
ЗРАО — Записки императорского русского археологического общества. СПб.  
ИГАИМК — Известия Государственной академии истории материальной культуры. Л.  
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР / РАН. М.

- КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии АН Украинской ССР. Киев.
- КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М. — Л.
- КСОГАМ — Краткие сообщения Одесского Государственного археологического музея. Одесса.
- МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья. Одесса.
- МДАПВ — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів.
- МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М. — Л.
- РА — Российская археология. М.
- РАЕ — Российский археологический ежегодник. СПб.
- СА — Советская археология. М.
- САИ — Свод археологических источников. М.
- СЭ — Советская этнография. М.
- ТКИЧП — Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. М.
- УСА — Успехи среднеазиатской археологии. Л.
- ЭО — Этнографическое обозрение. М.
- 
- AA — Acta Archaeologica. Kobenhavn.
- AAH — Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
- BAR IS — British Archaeological Reports: International series. Oxford.
- CAn — Current Anthropology. Chicago.
- DP — Documenta Praehistorica. Ljubljana.
- EA — Eurasia Antiqua. Berlin.
- EP — Etnoantropološki problemi. Beograd.
- ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki.
- JRAI — The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. London.
- NAR — Norwegian Archaeological Review. Bergen.
- PPS — Proceedings of the Prehistoric Society. London.
- RA — Revista Arheologică. Chişinău.
- SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti.
- SP — Stratum plus. Кишинев.
- WA — World Archaeology. Abingdon.



## Сведения об авторах

**Белецкий Сергей Васильевич** (С.-Петербург), доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН (serge\_beletsky@mail.ru).

**Васильев Сергей Александрович** (С.-Петербург), доктор исторических наук, заведующий отделом палеолита ИИМК РАН (sergevas@av2791.spb.edu).

**Вишняцкий Леонид Борисович** (С.-Петербург), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН (paleo@lv8699.spb.edu).

**Воронятов Сергей Вячеславович** (С.-Петербург), младший научный сотрудник Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа (s.voroniatov@gmail.com).

**Ефимов Сергей Владимирович** (С.-Петербург), кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (sv-efimov@yandex.ru).

**Избицер Елена Владимировна** (Нью-Йорк), кандидат исторических наук, независимый исследователь (eizbitser@gmail.com).

**Кайзер Элке** (Берлин), доктор исторических наук, профессор, Институт доисторической археологии, Свободный университет (elke.kaiser@topoi.org).

**Кашуба Майя Тарасовна** (С.-Петербург), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии ИИМК РАН (mirra-k@yandex.ru).

**Кирпичников Анатолий Николаевич** (С.-Петербург), доктор исторических наук, профессор, Институт истории материальной культуры РАН.

**Козинцев Александр Григорьевич** (С.-Петербург), доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела антропологии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (agkozintsev@gmail.com).

**Кузьминых Сергей Владимирович** (Москва), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН (kuzminykhsv@yandex.ru).

**Лич Стивен** (Ньюкасл-андер-Лайм), доктор философии, старший научный сотрудник факультета политики, международных отношений и философии Килского университета (s.d.leach@ Keele.ac.uk).

**Манзура Игорь Васильевич** (Кишинев), доктор истории, Высшая антропологическая школа (igormanzura@mail.ru).

**Мистрянэ Евгений** (Кишинев), магистр археологии, научный сотрудник Национального музея истории Молдовы (eugenmistreanu@gmail.com).

**Мусин Александр Евгеньевич** (С.-Петербург), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН (aleksandr\_musin@mail.ru).

**Мюррэй Тим** (Мельбурн), профессор факультета гуманитарных и общественных наук университета Ла Троба (t.murray@latrobe.edu.au).

**Назаренко Владимир Александрович** (Мюнхен), кандидат исторических наук, независимый исследователь (vlnaz45@yandex.ru).

**Палагута Илья Владимирович** (С.-Петербург), доктор исторических наук, заведующий кафедрой искусствоведения Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (ipalaguta@yandex.ru).

**Платонова Надежда Игоревна** (С.-Петербург), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН (niplaton@gmail.com).

**Раев Борис Аронович** (Ростов-на-Дону), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории археологии Южного научного центра РАН (boris\_raev@mail.ru).

**Сава Евгений** (Кишинев), доктор истории, директор Национального музея истории Молдовы (savamd2014@gmail.com).

**Санкина Серафима Львовна** (С.-Петербург), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (serafima\_sankina@mail.ru).

**Сырбу Мариана** (Кишинев), магистр археологии, научный сотрудник Национального музея истории Молдовы (sirbumary24@yahoo.com).

**Тихонов Игорь Львович** (С.-Петербург), доктор исторических наук, директор Музея истории СПбГУ (igor@it6949.spb.edu).

**Усачук Анатолий Николаевич** (Донецк), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии областного краеведческого музея (doold@mail.ru).

**Шаров Олег Васильевич** (С.-Петербург), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела античной археологии ИИМК РАН (olegsharov@mail.ru).

**Щавелёв Сергей Павлович** (Курск), доктор философских наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой философии Курского государственного медицинского университета (sergei-shhavelev@yandex.ru).

*Научное издание*

## **Ex Ungue Leonem**

Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна



Корректор *М. А. Молчанова*  
Оригинал-макет *М. А. Гунькин*  
Дизайн обложки *Б. Х. Петрушанский*

Подписано в печать 05.06.2017. Формат 70×100/16  
Бумага офсетная. Печать офсетная  
Усл.-печ. л. 29,25  
Тираж 300 экз. Заказ № 958

Издательство «Нестор-История»  
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7  
Тел. (812)235-15-86  
e-mail: [nestor\\_historia@list.ru](mailto:nestor_historia@list.ru)  
[www.nestorbook.ru](http://www.nestorbook.ru)

Отпечатано в типографии  
издательства «Нестор-История»  
Тел. (812)235-15-86

По вопросам приобретения книг  
издательства «Нестор-История»  
звоните по тел. +7 965 048 04 28

